

НЕЛЛИ БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ

**ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА ЖУРНАЛА
«НОВЫЙ МИР»
А.Т.ТВАРДОВСКОГО
(1958-1970 гг.)**

**КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ПЕРВОПЕЧАТНИК»**

МОСКВА

1996

НЕЛЛИ БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА ЖУРНАЛА
«НОВЫЙ МИР»
А.Т.ТВАРДОВСКОГО
(1958-1970 гг.)

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ПЕРВОПЕЧАТНИК»
МОСКВА
1996

UNIVERSITÉ DE GENEVE

FACULTÉ DES LETTRES

**LA CRITIQUE LITTÉRAIRE DANS LA
REVUE «NOVYJ MIR»
(1958-1970)**

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
(1958-1970)**

THÈSE

présentée à la Faculté des lettres

de l'Université de Genève
pour obtenir le grade de Docteur ès lettres

par

Nelly BIOUL-ZEDGINIDZE

Moscou, RUSSIE

**KOULTOURNO-PROSVËTITELSKÏI TSENTR
«PERVOPETCHATNIK»
1996**

La Faculté des lettres, sur le préavis d'une commission composée de MM. les professeurs Ladislav MYSYROWICZ, président du jury; Georges NIVAT, directeur de thèse; Bronislaw BACZKO (Genève); Efim ETKIND (Paris X); Simon MARKISH (Genève), autorise l'impression de la présente thèse, sans exprimer d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.

GENEVE, le 27 avril 1995

Le doyen: Charles MELA

Thèse N° 384

ISBN 5-89041-009-1

KOULTOURNO-PROSVËTITELSKÏI TSENTR
«PERVOPETCHATNIK» 1996
Moscou, RUSSIE

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
(1958-1970)**

**LA CRITIQUE LITTÉRAIRE DANS
LA REVUE "NOVYJ MIR"
(1958-1970)**

Настоящее исследование было осуществлено как докторская диссертация (под тем же названием). Защита диссертации проходила на Факультете славистики Женевского университета в мае 1992 года. Исследование было начато в последний год брежневского правления, писалось и было завершено в эпоху горбачевской «перестройки».

Публикуется без существенных изменений.

Автор выражает глубокую признательность бывшим новомирским литературным критикам – Игорю Виноградову, Юрию Буртину и Андрею Синявскому за непосредственное участие, внимание и помощь в создании настоящей работы.

Автор выражает также искреннюю благодарность своему научному руководителю Жоржу Нива за помощь, советы и содействие в осуществлении этой работы.

Автор сердечно признателен также бывшим новомирским авторам, современникам и друзьям журнала А.Твардовского – Ефиму Эткинду, Анне Берзер†, Виктору Некрасову†, Елене Ржевской, Георгию Владимову, Владимиру Войновичу, Борису Заксу, Раисе Орловой†, Льву Копелеву, Владимиру Лакшину†, Булату Окуджаве, Лилии Лунгиной, Симону Маркишу, Владимиру Максимову†, Лёну Карпинскому†, Льву Аннинскому – за живой отклик, доброе отношение и ценные свидетельства о журнале и о времени.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* Звёздочкой обозначены ссылки автора настоящей работы на интервью с бывшими сотрудниками и авторами журнала «Новый мир» А.Твардовского:

- с А.Берзер — Москва, 11 сент. 1985
- с Ю.Буртилым — Москва, 23 июля 1986
- с И.Виноградовым — Москва, 5 и 13 сент. 1985
- с Г.Владимовым — Франкфурт, 1 апр. 1986
- с В.Войновичем — Мюнхен, 23 окт. 1985
- с Б.Заксом — Нью-Джерси, 15 сент. 1986
- с Л.Копелсым — Кёльн, 27 окт. 1985
- с В.Лакшилым — Москва, 6 сент. 1985
- с С.Маркшесем — Женева, 18 апр. 1986
- с В.Некрасовым — Женева, 16 окт. 1985
- с К.Озровой — Москва, 31 июля 1986
- с Р.Орловой — Кёльн, 27 окт. 1985
- с Е.Ржевской — Москва, 5 авг. 1986
- с А.Синявским — Париж, 6 авг. 1985
- с Е.Эткиндом — Женева, 5 марта 1985
- с Л.Ашинским — Москва, 7 авг. 1986
- с В.Максимовым — Париж, 25 окт. 1986
- с Б.Окуджавой — Москва, 6 авг. 1986
- с Л.Карпинским — Москва, авг. 1985

Ввиду того, что интервью эти не были ещё опубликованы, цитаты из них приводятся в тексте без отсылок на страницы. Кроме того, некоторые выдержки из них приводятся иногда в пересказе и потому не заключаются в кавычки.

Указания на страницы подробно разбираемых новомирских работ, равно как и на сам источник, даются в тексте — в скобках и в сокращённом виде. Например, вместо: («Новый мир», 1965 г., № 5, стр. 87) — (1965, 5, с.87).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. «НОВЫЙ МИР» И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 50—60-х гг.	1
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ «НОВОГО МИРА»	20
ГЛАВА II. ТВОРЧЕСТВО ВЯЛAKШИНА	34
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА	38
1. МАТЕРИАЛ И ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЕЙ В. ЛАКШИНА.....	38
2. ОБЩЕСТВЕННО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ.....	39
3. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ.....	45
ВТОРОЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА	49
1. «ИВАН ДЕНИСОВИЧ. ЕГО ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ» (1964, 1).....	51
2. «ЧИТАТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК» (1965, 4; 1966, 8).....	63
А. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.....	64
В. СТАТЬЯ ВТОРАЯ.....	69
3. ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ПОЗДНЕЙШИХ СТАТЕЙ В. ЛАКШИНА.....	75
А. НЕФОРМАЛЬНАЯ ОПОРА НА МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ.....	75
В. НЕАДЕКВАТНОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.....	80
С. ХАРАКТЕР ЗАЩИТЫ ПОЗИЦИЙ «НОВОГО МИРА».....	83
D. ВОПРОС О МЕРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПРОМИССОВ, ПОДНИМАЕМЫЙ ЛАКШИНЫМ В СТАТЬЯХ 1967 — 1968 гг., И ТРИ ЭПИЗОДА ИЗ РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЖУРНАЛА.....	89
а) ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД. 1968 г.....	95
в) ВТОРОЙ ЭПИЗОД. ВНУТРИЖУРНАЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ ПОСЛЕ РАЗГРОМА РЕДКОЛЛЕГИИ «НОВОГО МИРА» (1970 г.).....	96
с) ТРЕТИЙ ЭПИЗОД. ПОЛЕМИКА В. ЛАКШИНА С А. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ.....	99
Заключение	109

Г Л А В А III. ТВОРЧЕСТВО Ю.Г.БУРТИНА.....	113
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА. КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА Ю.БУРТИНА	115
2. НОВОМИРСКАЯ НАУЧНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА Ю.БУРТИНА.....	119
3. ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА.....	127
4. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА.....	145
Заключение	153
Г Л А В А IV. ТВОРЧЕСТВО И.И.ВИНОГРАДОВА	158
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД	160
1. ХАРАКТЕР КРИТИКИ И.ВИНОГРАДОВА: КРИТЕРИИ ПОДХОДА К ЛИТЕРАТУРЕ, ЖАНРЫ, ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, МЕТОД И ОБЩЕСТВЕННО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ.....	160
2. НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА	168
3. «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ» ГЕРОЙ ВРЕМЕНИ, ОБЩЕСТВЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ	178
4. ТЕМА НАРОДА. МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «УПРАВЛЯЮЩИХ» И «УПРАВЛЯЕМЫХ».....	186
А. ВОЕННАЯ ТЕМА.....	186
В. ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА	189
а) «ДЕРЕВЕНСКИЕ» ОЧЕРКИ ВАЛЕНТИНА ОВЕЧКИНА» (1964, 6).....	191
в) «ПО СТРАНИЦАМ «ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА» ЕФИМА ДОРОША» (1965, 5).....	199
ВТОРОЙ ПЕРИОД	205
1. ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕСВОБОДЫ: «ГУМАНИЗМ БЕЗ СВОБОДЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ»	206
2. «ЛИЧНОСТЬ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ».....	212
3. «СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА СТАНОВИТСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ТОЛЬКО НА ПУТЯХ ГУМАНИЗМА»	214
4. «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ «НОРМАЛЬНОСТЬ».....	217
Дальнейшая эволюция творчества.....	222
Г Л А В А V. ТВОРЧЕСТВО А.Д.СИНЯВСКОГО.....	228
1. А.СИНЯВСКИЙ И А.ТЕРЦ. ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ.....	228
2. ОРИЕНТИРЫ И КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА ПОЭЗИИ.....	239

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ В ПОДХОДЕ СИНЯВСКОГО К АНАЛИЗУ ПОЭЗИИ МОЛОДЫХ.....	244
4. КОНКРЕТНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СТАТЬЯХ СИНЯВСКОГО.....	261
5. МАСТЕРСТВО ИРОНИИ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КРИТИКИ СИНЯВСКОГО В РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫХ ОСТРОСАТИРИЧЕСКИХ РЕЦЕНЗИЯХ.....	265
Заключение.....	277
Г Л А В А VI. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТВОРЧЕСТВО В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА, А.СИНЯВСКОГО И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» В ЦЕЛОМ.....	282
1. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО АНАЛИЗА ТВОРЧЕСТВА В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА И А.СИНЯВСКОГО.....	282
2. ТВОРЧЕСТВО В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА И А.СИНЯВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ОСТАЛЬНОЙ КРИТИКИ «НОВОГО МИРА».....	286
А. В.ЛАКШИН И ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КРИТИКА «НОВОГО МИРА» РЕАЛИСТИЧЕСКИ- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА. СТАТЬИ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ЖУРНАЛА. ИДЕЙНАЯ БОРЬБА С ТЕНДЕНЦИЕЙ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ».....	287
В. Ю.БУРТИН И РАДИКАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, «НАРОДНИЧЕСКАЯ» КРИТИКА «НОВОГО МИРА».....	291
С. В.ЛАКШИН, Ю.БУРТИН, И.ВИНОГРАДОВ, А.СИНЯВСКИЙ И КРИТИКА «НОВОГО МИРА» В БОРЬБЕ С НИЗКОПРОБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И С ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ ИСТОРИИ.....	295
Д. И.ВИНОГРАДОВ И НРАВСТВЕННО- ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА В «НОВОМ МИРЕ».....	300
Е. А.СИНЯВСКИЙ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В КРИТИКЕ «НОВОГО МИРА».....	306
П Р И Л О Ж Е Н И Я.....	315
П Р И Л О Ж Е Н И Е I. ОБЩИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНЫЙ ПОРТРЕТ КРИТИКО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» А.Т.ТВАРДОВСКОГО 50—60-х гг.....	317
П Р И Л О Ж Е Н И Е II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» С ЧИТАТЕЛЕМ.....	353
П Р И М Е Ч А Н И Я.....	381

ВВЕДЕНИЕ «НОВЫЙ МИР» И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ОБЩЕСТВЕННО- ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 50—60-х гг.	382
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ «НОВОГО МИРА».....	396
ГЛАВА II. ТВОРЧЕСТВО В.Я.ЛАКШИНА	397
ГЛАВА III. ТВОРЧЕСТВО Ю.Г.БУРТИНА.....	409
ГЛАВА IV. ТВОРЧЕСТВО И.И.ВИНОГРАДОВА.....	411
ГЛАВА V. ТВОРЧЕСТВО А.Д.СИНЯВСКОГО.....	413
ГЛАВА VI. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТВОРЧЕСТВО В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА, А.СИНЯВСКОГО И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» В ЦЕЛОМ.....	417
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ	421
ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПОРТРЕТ ОТДЕЛА КРИТИКИ.....	421
ПРИЛОЖЕНИЕ II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЧИТАТЕЛЕМ.....	421
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	429

В В Е Д Е Н И Е. «НОВЫЙ МИР» И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ОБЩЕСТВЕННО- ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 50—60-х гг.

Известный советский журнал «Новый мир» относится к необычному для Западной Европы типу изданий, которые в России издавна, с 19-го столетия, называют «толстыми» журналами. Это периодические издания крупного книжного формата, большой объём которых определяется во многом уже самой их жанрово-композиционной структурой — «литературно-художественных и общественно-политических» ежемесячников. Действительно, одна книжка таких журналов прошлого века, как «Библиотека для чтения», «Современник», «Русский вестник», «Москвитянин», «Отечественные записки», включала в себя от шестнадцати до сорока печатных листов(1) (советские «толстые» — от пятнадцати до двадцати печатных листов), значительную часть которых занимала оригинальная или переводная беллетристика. Помимо же беллетристического, «толстые» журналы всегда, как правило, имели обширные разделы, относящиеся к сферам науки, литературной критики, искусства, библиографии, сельского хозяйства, промышленности и пр., что позволяло им откликаться практически на все существенные проблемы и события общественно-политической, научной и культурной жизни в России и за рубежом. За это их именovali также энциклопедическими журналами.

Одной из характерных особенностей «толстых» журналов 19-го века, сохранившейся и в советских изданиях такого же типа, было то, что поэты и прозаики всегда стремились осуществить первую публикацию своего произведения именно через журнал, поскольку именно и только такая публикация обеспечивала роману, повести или поэме наиболее широкую известность и шансы на обсуждение в печати.

Особое значение русские «толстые» издания приобрели в 40—60-е гг. прошлого столетия, когда они стали органами формирующихся общественно-политических и эстетических течений — трибуной, с которой говорила русская общественная мысль и русская литература. Поэтому для русских писателей никогда не был безразличным вопрос о том, где печататься, в каком издании.

Наиболее знаменитыми журналами 19-го века были пушкинский «Современник», перешедший затем, в 1848 году, к Некрасову и Панаеву и ставший органом революционно-демократической идеологии. В 60—70-е гг. большую популярность получил журнал «Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова-Щедрина, продолживший традиции «Современника» после его закрытия в 1866 г. Близкими к этим изданиям по направлению были журналы Г.Благосветова — «Русское слово» и «Дело», а противостояли им в той или иной мере либерально-эстетическая «Библиотека для чтения», «почвеннические» журналы «Время» и «Эпоха» братьев Достоевских, орган консервативного либерализма «Русский вестник» Каткова и др.

Как правило, самоопределение «толстого» журнала 19-го века происходило через его литературную критику. Это объясняется тем, что в условиях цензурного засилья (институт цензуры, как известно, существовал и в России прошлого столетия, но, конечно, не имел тех «особых» полномочий, которые он получил после 1917 г.) именно литературная критика предоставляла нередко наиболее удобные возможности для прикровенного высказывания через легальную печать тех или иных оппозиционных официальной идеологии взглядов на русскую действительность. Поэтому литературная критика в России издавна, начиная с 40-х гг. прошлого века, и носила, как правило, откровенно публицистический характер, что позже получило даже и особое теоретическое обоснование со стороны Н.Добролюбова, ведущего критика революционной демократии 60-х гг., сформулировавшего в своих статьях принципы так называемой «реальной критики». «Реальная критика, — писал Добролюбов в статье «Тёмное царство» (1859 г.), — относится к произведению художника так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные, характерные черты, но вовсе не суетясь из-за того, зачем это овёс — не рожь и уголь — не алмаз»(2). Иными словами, литературный материал брался «реальной критикой» прежде всего как достоверное свидетельство о жизни и для изучения именно самой жизни — для её анализа и оценки через отражение её в литературе.

В традициях этого метода писала, в сущности, вся передовая социальная критика революционно-демократического направления, которая научилась превосходно пользоваться произведениями русского реализма для социальной и политической критики российской действительности. «Реальными» критиками были Н.Добролюбов, Д.Писарев, Н.Михайловский и другие литераторы того времени.

Наряду с традицией радикально-демократической социальной критики уже в 50-х гг. 19-го века возникла в России и так называемая «почвешинская» критика. Но характерно, что и она тоже нередко переходила в публицистику, то есть следовала, в сущности, методу «реальной критики». Точно так же и возникшая к концу 19-го века, а в начале 20-го века приобретающая особое влияние на общество критика религиозно-философского характера для выражения своих идей и позиций тоже прибегала нередко к тем же «реальным» принципам, только под своим зрением.

Лицо русского журнала 19-го века всегда определялось, таким образом, прежде всего через его литературную критику. И не случайно поэтому тот или иной журнал приобретал особую популярность среди читателей именно тогда, когда на его страницах начинал выступать тот или иной крупный литературный критик, умевший в своих статьях выразить идеологию, позиции и эстетические принципы своей «партии». В 19-м веке такими фигурами для «Современника» были Н.Чернышевский и Н.Добролюбов, для «Дела» и «Русского слова» — Д.Писарев, для «Отечественных записок» и «Русского богатства» — Н.Михайловский, для «Времени» и «Эпохи» — Н.Страхов и А.Григорьев. В начале 20-го века для «Пути», «Нового Пути»

и «Вопросов Жизни» — Д.Мережковский, В.Розанов, Н.Бердяев, С.Булгаков.

Журнально-цензурная ситуация, существовавшая в первые годы советской власти, в какой-то мере позволяла продолжить эти традиции, поскольку в стране всё ещё сохранялся некоторый плюрализм, хотя уже и на некой непрременной общей платформе — поддержки революции. С целью привлечения к сотрудничеству представителей различных дореволюционных течений и тенденций в искусстве в 20-е гг. по инициативе Луначарского были созданы первые «толстые» советские журналы — «Красная новь», «Сибирские огни», «Новый мир». Первый советский «толстый» журнал «Красная новь» начал выходить под редакторством критика А.Воронского с 1921 года, затем, с 1925-го, — журнал «Новый мир» под руководством В.Полонского. Именно эти журналы и продолжили в какой-то мере классические традиции русской журналистики 19-го века, сохранив структуру своих предшественников. Они, как правило, отличались достаточно высоким уровнем художественных публикаций, но, будучи «объединительными», быстро потеряли, однако, то значение органов определённых общественно-политических и эстетических направлений, которое имели журналы 19-го — начала 20-го века.

С 1932 года, после Постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», мы имеем уже совершенно новую ситуацию в советской журналистике: всё советское искусство по сферам объединено в творческие союзы, в уставах которых отныне единственным и обязательным методом творчества провозглащён социалистический реализм. Все советские журналы приобретали, таким образом, единое социалистическое направление, и, кроме того, издание их вновь стало монополией. Так «толстые» «объединительные» журналы «Попутчиков», «Красная новь» и «Новый мир», наряду с возникшим как орган Московской ассоциации пролетарских писателей журналом «Октябрь», стали изданиями Союза писателей.

К пятидесятым годам «толстые» советские журналы различались, в принципе, лишь с точки зрения большей или меньшей их популярности среди читателей, объясняемой нередко лишь чисто внешними обстоятельствами. И только в годы хрущёвской «оттепели» мы впервые наблюдаем серьёзные перемены в журнальной ситуации: в рамках тех ограниченных свобод, что были предоставлены в эти годы режимом для художественной и интеллектуальной культуры, начинают формироваться некоторые идейные, философские, эстетические течения, оппозиционные по отношению к существующему строю. Именно поэтому намечается в эти годы и некоторая дифференциация журналов, каждый из которых начинает тяготеть к тем или иным ценностным ориентациям — впервые в истории русской советской журналистики журналы снова обретают, наконец, какое-то своё лицо.

Самым знаменитым журналом 60-х гг., ставшим крупным общественным и культурным явлением, издаваемым широко известным на Западе, был «Новый мир» под редакторством А.Т.Твардовского.

Первоначально это был тот легальный общественный и литературный орган советской печати, который поддерживал реформаторские устремления правительства Хрущёва, строго и неукоснительно проводя линию на десталинизацию, демократизацию общества, намеченную на 20-м съезде партии. Однако позже, когда стало очевидным, что хрущёвские реформы носят достаточно ограниченный характер, и особенно после 1964 года, когда в результате партийно-правительственного заговора Хрущёв был отстранён от руководства страной, журнал Твардовского начал выступать в качестве печатного органа, выразившего настроения тех общественных сил и кругов, которые встали в оппозицию к новой ретроградной политике правительства. С этого момента «Новый мир» стал главным органом широкого демократического движения сопротивления режиму и средоточием всего лучшего в русской литературе и культуре, за что и был уничтожен в январе 1970 г. Таким образом, в истории «Нового мира» 1958—1970 гг. можно условно выделить как бы два этапа: 1958—1964 гг. — период альянса журнала с партией под руководством Хрущёва; 1965—1970 гг. — период сопротивления журнала сталинистской политике партии.

По сравнению с журналами, формировавшимися на предыдущих этапах истории русской и советской журналистики, «Новому миру» под редакцией Твардовского пришлось сыграть совершенно особую, в чём-то поистине уникальную роль. Журнал Твардовского часто сравнивали с «Современником», с «Отечественными записками», а критиков отдела — с Н.Добролюбовым, с В.Белинским и т.п., и в какой-то мере такая аналогия верна. Но вместе с тем сходство здесь всё-таки довольно относительное. «Современник» и «Отечественные записки» были в свою эпоху отнюдь не единственными изданиями, где могли более или менее свободно печататься русские писатели. И.Тургенев, например, мог печататься как в «Русском вестнике», так и в «Вестнике Европы», Л.Толстой — в «Русском вестнике» и в «Современнике» и т.д. Что же касается «Нового мира» А.Твардовского, то он был практически как раз единственным журналом, равным по профессиональному уровню лучшим изданиям 19-го столетия и сосредоточившим на своих страницах благодаря этому и благодаря своей оппозиционности почти всю серьёзную, талантливую прозу, публицистику и критику. И он оказался, в сущности, единственным легальным органом печати, который действительно полномерно и более или менее последовательно выразил в эти годы дух новых, оппозиционных по отношению к возрождению сталинизма умонастроений в советском обществе, сыграв, таким образом, действительно особую и огромную роль в демократическом движении, в становлении советской культуры этого периода.

Основные вехи истории журнала теперь обстоятельно изучены и достаточно хорошо известны западному и русскому читателю по журнально-газетным публикациям последних лет. Поэтому ограничимся тем, чтобы кратко напомнить здесь эти вехи.

Напомним прежде всего о том, что с именем А.Твардовского в истории журнала «Новый мир» связаны два периода его редакторства.

Первый — 1950—1954 гг. В эти годы — ещё при жизни Сталина — Твардовский публикует в журнале эпический роман В.Гроссмана «За

правое дело» (1952 г.), который наряду с повестью В. Некрасова «В окопах Сталинграда», напечатанной в журнале «Знамя» в 1948 г., обозначил собой начало новой литературы об Отечественной войне 1941—1945 гг. В том же году А. Твардовский опубликовал в журнале очерковый цикл В. Овечкина «Районные будни», который, в свою очередь, положил начало так называемой «деревенской» прозе в советской литературе. Наконец, в период 1953—1954 гг. в «Новом мире» были опубликованы такие нашумевшие в своё время литературно-критические статьи, как «Об искренности в литературе» В. Померанцева (1953 г.), «Русский лес» Леонида Леонова» М. Щеглова (1954 г.), «Дневник Мариэтты Шагинян» Мих. Лифшица (1954 г.) и «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» Ф. Абрамова (1954 г.). Эти статьи ознаменовали собой первые попытки литературной критики вырваться за пределы привычных ждановско-ермиловских нормативов, сказать правдивое слово о литературе и о жизни. Они, как и некоторые другие смелые для своего времени публикации «Нового мира», получили большой общественный резонанс и засвидетельствовали принципиальность позиций, занятых Твардовским-редактором. Именно поэтому они очень быстро стали предметом резкой официальной критики по адресу журнала и, наряду с обсуждавшейся в это время в литературных кругах поэмой «Тёркин на том свете», послужили основной причиной отстранения Твардовского от должности главного редактора в 1954 г. (3).

Второй период в истории журнала, связанной с именем Твардовского, начинается в июле 1958 года, когда после известной беседы с Хрущёвым Твардовский снова принял руководство «Новым миром».

Вернувшись в журнал, Твардовский сразу заявляет рядом публикаций о том, что будет проводить начатую им ещё на первом этапе своего редакторства в «Новом мире» литературную политику, формулируемую двумя простыми словами — говорить правду. Так, уже в первых номерах он предлагает читателю ряд острых прозаических произведений критической направленности. Рассказ С. Залыгина «Без перемену» (№11) и повесть Г. Троицкого «Кандидат наук» (№12) по-прежнему продолжали тему, поднятую В. Дудинцевым в романе «Не хлебом единым»; о тяжёлой судьбе колхозной деревни после коллективизации рассказал Е. Дорош в очерке «Два дня в Райгороде» (№7), а «Стихи комбайнёра» Бориса Шумилова (№7) положили начало высмеиванию литературных «лакировщиков» колхозного быта и труда. Такие публикации 58-го года, как «Первое знакомство» В. Некрасова (№7—8) и статья Л. Лазарева «Время жить» о романе «Три товарища» Э.-М. Ремарка символизировали ослабление традиционных нападок на Запад. Наконец, из литературно-критических выступлений за этот период стоит отметить статью А. Демснёва «Заметки критика», в которой автор, в частности, резко отрицательно оценил роман В. Кочетова «Братья Ершовы» (1958 г.), а также статьи И. Вишюградова (о повести В. Теңдрякова «Чудотворная»), Г. Владимова (о романе В. Закурткина «Сотворение мира»), В. Лакина (о романе Д. Гранина «После свадьбы»).

Вместе с тем 1958 год — это и год травли Б. Пастернака, в ситуации которой журнал не оказался на должной высоте (4).

1959 год — год двух съездов: 21-го партийного (январь-февраль) и Третьего съезда писателей СССР (май). Только что, в декабре 1958 года, состоялся Первый съезд писателей РСФСР. Политическая обстановка в стране довольно сложная. Во главе московской секции СП РСФСР — Леонид Соболев, один из главных зачинщиков недавней кампании против «Нового

мира» в 1957 году, связанной с публикацией в «Новом мире» романа В.Дудинцева «Не хлебом единым». Выступления на 21-м съезде КПСС и Первом съезде писателей РСФСР отражают желание консерваторов удушить новую литературу. Вероятно, по этой причине речь Твардовского на 21-м съезде КПСС носит довольно сдержанный характер.

В мае 1959 года на Третьем съезде писателей СССР Твардовский произносит речь, центром которой становятся слова: «Самым главным для нас является [...] осознать нашу задачу борьбы за высокое, несравнимое с прежним нашим «общим уровнем» качество всех видов и родов литературы»(5). Эта важная общественно-культурная задача становится одним из главных пунктов программы литературной критики журнала «Новый мир» ввиду того резкого понижения культурного и профессионального уровня советской литературы, которое мы наблюдаем в период 40-х — начала 50-х гг. Так, в 1959 году журнал публикует ряд статей и рецензий, посвящённых проблемам мастерства или критике серых произведений (см., в частности: Т.Трифонов — «Талант и мастерство» о книге статей М.Щеглова (№3); В.Лакшин — «Глазами писателей» (№8), Ю.Константинов — «Беды описательства»; А.Меньшутин, А.Синявский — «Дене, русской поэзии» (№2); В.Сурвилло — «На путях романтики» (о романе В.Очеретина «Саламандра» (№4) и др.).

Апиккультовая проза и литературная критика в книжках журнала за 1959 год представлены статьями А.Дементьева «По поводу статьи Степана Злобина» (№7), В.Сурвилло «На путях романтики. Статья вторая» (о романе Н.Шундики «Родник у берёзы») (№9), повести Нины Ивантер «Снопа август» (тема 37-го года) (№8), «Записками из плена» В.Боцарца (где удаётся параллель гитлеровского лагеря со сталинскими и упоминается — возможно, впервые в советской печати — о заключении русских пленных в гитлеровских лагерях).

В 1959 году появляются и ряд признаков возможной поддержки сверху, без чего «Новый мир» не смог бы продолжать свою литературную политику. В.Кочетов снят с поста главного редактора «Литературной газеты», речь Твардовского на Третьем съезде писателей СССР, опубликованная в «Правде» 22 мая 1959 года, не была цензурирована.

Из неназванных публикаций этого года особенно следует отметить «Сентиментальный роман» В.Пановой, «Пядь земли» Г.Бакланова, «Поход на Невскую заставу» О.Берггольц, рассказы Л.Первомайского («Любисток», «Дурень») и Ю.Куранова («Лето на севере»), «Три встречи» В.Некрасова, а также рецензию Ю.Буртина на роман Ф.Абрамова «Братья и сёстры» и статью И.Виноградова «Точка опоры» (о романе М.Жестева «Золотое кольцо»).

1960—1962 гг. отмечены дальнейшим развёртыванием демократического движения и некоторыми жестами режима как бы в его поддержку. В июне 1960 года Твардовский награждён орденом Ленина, а в октябре 1961-го ему присуждена Ленинская премия. Твардовский приглашён на 22-й съезд партии выступить с речью(6), а в конце съезда его имя называется в списке выбранных новых кандидатов в члены ЦК КПСС. Всё это имело для журнала немаловажное значение.

Однако в это же время (в 1960 году) В.Кочетов становится главным редактором журнала «Октябрь» и превращает его в бастион сопротивления либеральному движению. Новомирские публикации 1960—1962 гг. встречают уже постоянный недоброжелательный приём в консервативной печати, но особую бурю вызывают такие произведения, напечатанные в

«Новом мире», как повесть «Один день Ивана Денисовича» А.Солженицына, «Вологодская свадьба» А.Яшина, «По обе стороны океана» В.Некрасова, мемуары И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь», «Большая руда» Г.Владимова, «Хочу быть честным» В.Войновича, «Сухое лето» Е.Дороша и «Суд» В.Тендрякова. «Новый мир» не заставляет себя ждать с ответом на критику этих произведений, и с этой поры начинается постоянная полемика (открытая ещё в 1958 году двумя статьями А.Дементьева) и противостояние журналов «Октябрь» и «Новый мир». Основную роль в борьбе с консервативной оппозицией играет критико-библиографический отдел «Нового мира», который в период 1960—1962 гг. публикует ряд острых выступлений, нацеленных на обличение произведений реакционной направленности и произведений, несостоятельных в художественном отношении (см. в частности, две статьи А.Меньшутина и А.Синявского — «За поэтическую активность» и «Давайте говорить профессионально»; статью А.Марьямова «Снаряжение в походе» о романе В.Кочетова «Секретарь обкома»; рецензию А.Берзер на повесть Ивана Шевцова «На краю света. Записки офицера»; статью И.Виноградова «По поводу одной вечной темы», статью И.Роднянской «О беллетристике и строгом искусстве», а также статьи 1960—1961 гг., напечатанные с подзаголовками «Обсуждаем проблемы современного романа», «О научно-художественной литературе», «Обсуждение вопросов развития лирической поэзии»).

Среди наиболее значительных литературно-критических выступлений этого периода, обращённых к новым темам и сюжетам, назовём также работы: Б.Мейлаха («Уход и смерть Льва Толстого»), В.Лакшина («Спор с ветхой мудростью» о повести Ф.Абрамова «Безотцовщина» и «Доверие» о повестях Павла Нилина), Ю.Машина («Поэзия критической мысли»), Ю.Буртина («Бьёт хозяином»), И.Виноградова («О современном герое»), М.Туrowsкой («Прозаическое и поэтическое кино сегодня» о фильмах Ю.Райзмана, А.Тарковского).

Огромным литературным и общественным событием в жизни страны становится публикация в ноябрьской книжке «Нового мира» за 1962 год повести А.Солженицына, «Один день Ивана Денисовича», за которую, как известно, А.Твардовский сражался около года, добившись её публикации лишь с согласия Хрущёва. Повесть, кроме своего литературного значения и того влияния, которое она оказала на целый ряд произведений молодых прозаиков, открыла дорогу и огромному потоку литературы о сталинских лагерях.

К 1962 году окончательно оформился состав той редколлегии и старших редакторов отделов редакции, которые будут вместе с Твардовским вести «Новый мир» и отвечать за его работу вплоть до конца 1966 г. — времени первого крупного кризиса в жизни журнала.

Главный редактор — А.Т.Твардовский.

Заместители главного редактора — А.Г.Дементьев, А.И.Кондратович.

Ответственный секретарь редакции — Б.Г.Закс.

Действующие (рабочие) члены редколлегии — Е.Н.Герасимов, а с 1965 года — И.И.Виноградов (проза), В.Я.Лакшин (критика), А.М.Марьямов; (публицистика), И.А.Сац.

«Нерабочие» (т.е. скорее почётные) члены редколлегии — В.В.Овечкин, К.А.Федин, с 1966 г. — А.А.Куленюв и Р.Г.Гамзатов.

Старшие редакторы — А.С.Берзер, И.П.Борисова (проза), К.Н.Озерова, Г.П.Койранская (критика), Л.И.Лерер, И.Б.Брайнин (публицистика), С.Г.Караганова (поэзия), И.П.Архангельская (иностранный отдел).

1963—1964 гг.

Речь, произнесённая Хрущёвым 8 марта 1963 года на встрече руководителей партии и правительства с представителями художественной интеллигенции, знаменует начало «проработочных» кампаний, которые не только ухудшили отношения между партийным руководством и творческой интеллигенцией, но явились свидетельством начинающейся сдачи Хрущёвым своих позиций и, следовательно, ослабления позиции Твардовского(7). В.Лакшин называет весну 1963 года периодом первого серьёзного кризиса журнала, когда вслед за критикой Хрущёва начались беспрестанные нападки на «Новый мир» и когда кроме того (небывалый прежде случай) 2 апреля 1963 года «Литературная газета» напечатала выступление прозаика М.Соколова (редактора ростовского журнала «Дон», близкого к направлению «Октябрь»), в котором он открыто критиковал позицию Твардовского(8)(9).

Публикация в 1963 году новых рассказов А.Солженицына, — «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела» и поэмы А.Твардовского «Тёркин на том свете» была свидетельством того, однако, что «Новый мир» благополучно вышел из кризиса. Об этом говорят и нижеследующие строки из письма Твардовского В.В.Овечкину в декабре 1963 года:

«Журнал завершает свой труднейший, пожалуй, самый трудный за все эти годы год. И смотри: по неполным данным, подписка на 64-й г. увеличилась на одну треть примерно! Это /.../ настоящая радость подтверждения того, что не зря хлопочем...!.../

О журнальных делах вообще не буду, а то невольно приходится впадать в жалобный тон. Жаловаться нечего, мы сами себе создаём эти трудности тем, чем можно гордиться»(10).

Из публикаций 1963 года особенно следует отметить, помимо упомянутых, стихотворения А.Ахматовой и Д.Самойлова, мемуары И.Эренбурга и М.Галлая, рассказ В.Шукшина «Они с Катюши» и рассказ И.Шмелёва «Русская песня», повесть Н.Дубова «Мальчик у моря», повесть «Брянские» В.Лихоносова, два рассказа В.Войновича — «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», «Книгу скитаний» К.Паустовского, а также статьи и рецензии Ю.Маина («Художественная условность и время»), А.Берзер («Из лучших побуждений» о романе В.Очеретина «Сирена»), М.Чудаковой и А.Чудакова («Искусство целого /Заметки о современном рассказе/»), Н.Ильиной («К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести»), В.Лакшина («Две биографии»), Н.Гудзия («Что считать каноническим текстом «Войны и мира»), Ю.Буртина («Беллетристика и публицистика» и «Обратный эффект»).

Несмотря на огромный поток резкой критики по адресу трёх рассказов А.Солженицына, появившихся на страницах «Нового мира» в течение 1963 года, «Новый мир» выдвигает «Один день Ивана Денисовича» на соискание Ленинской премии 1964 года. Публикация статьи В.Лакшина «Иван Денисович. Его друзья и недруги» в первом номере журнала за 1964 год должна была, как о том пишет В.Лакшин в своей книге «Открытая дверь», защитить произведение от критики и дать ему шансы на успех в общественном обсуждении(11).

Однако премия, как известно, благодаря усилиям консерваторов, была признана О.Гончару.

Твардовский тем не менее не складывает оружия. В 1964 году он публикует боевой политический очерк Ю.Карякина «Эпизод из современной борьбы идей», роман Ю.Домбровского «Хранитель древностей», «Дневник Нины Костериной», мемуары А.Горбатова, мемуары А.Побожьего, «На Иртыше» С.Залыгина, две статьи И.Виноградова — «Деревенские очерки Валентина Овечкина» и «Философский роман Лермонтова», статью М.Туrowsкой «Гамлет и мы», работу М.Лифшица «В мире эстетики», рецензию А.Синявского на роман И.Шевцова «Тля», рецензию Ю.Буртина на сборник литературно-критических статей А.Эльяшевца и некоторые другие значительные и злободневные материалы. В апонсе «Нового мира» на 1965 год объявляется новая весть Солженицына.

В октябре 1964 года на заседании Президиума ЦК был решён вопрос о снятии Хрущёва, однако тот факт, что к власти пришли реакционеры, становится очевиден не сразу.

1965—1966 гг.

Три статьи главного редактора «Правды» А.Румянцева от 24 января, 21 февраля и 9 сентября 1965 года создают видимость того, что новое руководство довольно лояльно по отношению к либеральной интеллигенции: никаких репрессий, погромов и «проработочных» кампаний. Но вместе с тем нападки на «Новый мир» продолжают. Так, выступившие на съезде писателей РСФСР (март 1965 г.) секретарь ЦК КПСС А.П.Кириленко, первый секретарь Московского партийного комитета Н.Г.Егорьев и первый секретарь комсомола С.П.Павлов назвали «Новый мир» источником идеологической заразы. Здесь же, на съезде, было брошено два лозунга: приостановить печатание произведений «односторонне тенденциозных» и «идеологически дезориентирующих» читателя в оценке культа Сталина. В первую очередь под прицелом оказался, естественно, «Новый мир»(12).

Весь конец 1964 года и в начале 1965 года «Новый мир» публикует статьи и архивные материалы, посвящённые сорокалетию юбилею журнала. В первом номере была опубликована статья Твардовского «По случаю юбилея», представлявшая собой по форме и содержанию развёрнутый вариант ежегодных программно-отчётных обращений редакции к читателю, в которой по всем пунктам отстаивалась прежняя литературно-общественная позиция журнала. Вёрстка статьи была задержана, и только после встречи Твардовского с Суслонским и его поощрок к тексту статья была разрешена к печати(13).

Сентябрь 1965 года обозначил собой начало не только цензурной реакции, но и полицейских репрессий против писателей и представителей творческой интеллигенции. Новомирец А.Синявский и его друг Ю.Даниэль арестованы 8 и 12 сентября и судимы по обвинению в антисоветской пропаганде за их нелегальные публикации под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак на Западе.

Арест Синявского, которого только что в своей юбилейной статье похвалил Твардовский, и Даниэля, опубликовавшего в «Новом мире» буквально перед арестом ряд переводов с чешского, ставил «Новый мир» в ещё более трудное положение. Кроме того, почти одновременно с арестом Синявского и Даниэля КГБ конфискует большинство солженицынских вещей, хранившихся у Теушей. У «Нового мира» теперь появляется новый опасный открытый враг — КГБ(14).

В этой ситуации журнал стремится выработать курс, нацеленный на то, чтобы избежать репрессий и вместе с тем оставаться последовательным в своей литературной политике. В июле 1965 года после двухмесячной депрессии — больницы, санаторий — Твардовский, как пишет А.Солженицын в своих «Очерках литературной жизни», возвращается к делам «хоть с телом большим, но с поздоровевшей душой»(15)(16). Об этом свидетельствуют и произведения, опубликованные на страницах «Нового мира» в период 1965—1966 гг., — в частности такие, как «Театральный роман» М.Булгакова, «Созвездие Козлотура» Ф.Искандера, «Посадка в Любогостицы (Из «Деревенского дневника»)» Е.Дорожа, «Мёртвым не больно» В.Быкова, «Из жизни Фёдора Кузькина» Б.Можаяева, «Захар-Калита» А.Солженицына «Месяц во Франции» и «В мире таинственного» В.Некрасова, «От дома до фронга» Е.Ржевской, «Дома» А.Макарова, а также статья И.Виноградова «По страницам «Деревенского дневника» Ефима Дорожа», две статьи В.Лакишина под названием «Читатель, писатель, критик», работа А.Твардовского «О Бушине», статья В.Кардина «Легенды и факты», статья Е.Поляковой «Современный путевой очерк», статья Ф.Свстова «О ремесленной литературе», рецензия Ю.Буртина на повесть М.Алексеева «Хлеб — имя существительное» и др.

В начале 1966 года новое партийное руководство ужесточает меры по обузданию всякого рода оппозиционных «ересей» в литературе и искусстве. Главным жупелом в борьбе официальной критики с новомирицами вновь становится традиционный принцип «партийности» в литературе, но в это понятие вкладывается уже иное содержание, чем при Хрущёве. На разных идеологических совещаниях резко критикуются журналы «Новый мир» и «Юность». Однако у «Нового мира» — самый крупный тираж среди «толстых» и огромная популярность среди читателей, что служит серьёзной помехой на пути его дискредитации. Поэтому предпринимаются попытки искусственными санкциями урезать тираж «Нового мира». Так, Политическое управление Советской Армии объявляет, что опубликованный в восьмой книжке «Нового мира» за 1966 год рассказ А.Макарова «Дома» (где показано возвращение солдата в родную деревню, погрязшую в пьянстве) является произведением, «порочающим честь советского воина», и под этим предлогом отдаёт приказ запретить подписку на «Новый мир» в армейских библиотеках.

Ударили и по Твардовскому лично: после нескольких представлений спектакль Театра сатиры по поэме «Тёркин на том свете» в постановке режиссёра В.Н.Плучека был снят из репертуара, а на 23-м съезде КПСС, который проходил в марте 1966 года, Твардовского уже не избирают в состав ЦК.

На заседаниях съезда «Новый мир» был подвергнут критике в шести выступлениях, — в частности в выступлениях И.Боддла и Н.Егорычева. Съезд ознаменовал победу консервативной коалиции в партии. Ещё резче «Новый мир» вместе с «Юностью» критиковался на всесоюзном совещании идеологических работников, которое состоялось в Москве в октябре 1966 года(17).

По мнению И.Виноградова, непрекращавшийся поток всех этих целенаправленных атак консерваторов «должен был создать такую атмосферу общего критического напора на общественное мнение против «Нового мира», когда в верхах начинают говорить: «надо разобраться, надо что-то сделать»*

Разогнать журнал, снять Твардовского было ещё невозможно в это время — мог разразиться крупный общественный скандал. Поэтому власти решают в качестве первого предупреждения журналу за слишком большие «вольности», которые он себе позволяет, уволить из редколлегии сотрудников, занимавших ключевые позиции, — заместителя главного редактора А.Г.Дементьева и ответственного секретаря редакции Б.Г.Закса(18).

Новая редколлегия с начала 1967 года и по январь 1970-го.

Главный редактор — А.Т.Твардовский.

Заместители главного редактора — А.И.Кондратович, В.Я.Лакшин (неофициально).

Ответственный секретарь редакции — М.Н.Хитров.

Рабочие члены редколлегии — И.И.Виноградов (критика) Е.Я.Дорош (проза), А.М.Марьямов (публицистика), И.А.Сац.

«Нерабочие» члены редколлегии — К.А.Федин, А.А.Кулешов, Р.Г.Гамзатов, В.В.Овечкин (только до 1967 г.), Ч.Айтматов.

Старшие редакторы — А.С.Берсер, И.П.Борисова (проза), К.Н.Озерова, Г.П.Койранская (критика), Л.И.Лерсер, Ю.Г.Буртин (публицистика), С.Г.Караганова (поэзия).

Вслед за изгнанием А.Дементьева и Б.Закса из редколлегии «Нового мира», буквально через месяц — 27 января 1967-го в «Правде» появляется статья под названием «Когда отстают от времени». Критике подвергаются — для равновесия — «эстетические концепции» и «Нового мира», и «Октябрь»(19), но в действительности появившиеся статьи были официальным предупреждением именно непокорному «Новому миру»(20), и последующему ужесточённому цензурному надзору был подвергнут именно «Новый мир». Так, в частности, объявленный в анонсе журнала на 1965 год «большой роман» А.Солженицына, не появился ни в 65-м, ни в 66-м, ни позднее. В своих воспоминаниях о Твардовском Юрий Трифонов приводит следующие подробности из жизни журнала этого периода:

«Всё, что печаталось в журнале Твардовского, часть критики рассматривала в лупу. За всем виделись злоумышления, второй шаг. Именно теперь модным, у всех на устах, сделался литературоведческий термин «аллюзия», известный прежде лишь профессионалам...»(21).

В марте 1967 года секретариат СП СССР обсуждает работу журнала «Новый мир» на специальном заседании(22). Особенно враждебно были настроены по отношению к журналу Л.Новиченко, М.Турсун-Заде и К.Ворошиков, которые заявили, что как лишь «Нового мира» в целом, так и повесть Солженицына, в особенности не отвечают критериям социализма и что «Новый мир», несмотря на «справедливую во многом» критику делегатами 23-го съезда партии, участниками идеологического совещания ЦК КПСС в 1966 году, в армейских кругах, в печати и, совсем недавно, в «Правде», продолжает «гнуть» свою линию(23).

Несмотря на все эти «проработки», надежда на существование журнала всё-таки остаётся.

«Только вчера, кажется, закончилась длинная серия мытарств с журналом. — писал Твардовский Б.В.Шинкубе 16 марта 1967 г., — прошло обсуждение журнала на секретариате Союза, утверждены представленные мной новые члены редколлегии (Ч.Айтматов, Е.Дорош, М.Хитров — из «Известий»). Анось ещё потянем, поработаем»(24).

Последним крупным писательским собранием 1967 года, на котором вновь «прорабатывали» «Новый мир», стал Четвёртый съезд писателей СССР, проходивший 22--27 мая. М.Шолохов, в частности, подверг резкой критике «ревнителей свободы печати». А.Солженицын адресовал съезду письмо, в котором высказался против «незаконной», неконституционной цензуры в лице Главлита и, потребовав вернуть изъятые у него рукописи, предложил обеспечить законом защиту писателей, подвергшихся клевете и преследованиям. П.Ангокольский, Г.Владимов, В.Конецкий, В.Соснора и ряд других писателей адресовали президиуму съезда свои письма в поддержку Солженицына и его требований(25).

Письмо Солженицына, борьба Твардовского за опубликование «Ракового корпуса» в журнале, начавшаяся ещё в 1966 году, постоянные нападки на «Новый мир» теперь уже в официальных органах печати — эти и другие события и факты последних трёх-четырёх лет сказываются на изменении взглядов Твардовского. Как писал Солженицын в «Телёнке», «весь 1968 год, начатый трёхнедельным письмом к Федину, был годом быстрого развития Твардовского»: «Когда летом 68-го я увидел А.Т., -- пишет А.Солженицын, — я поразился перемене, произошедшей в нём за четыре месяца. /.../ ...О Самиздате, восхищённо взявшись за голову обеими руками: «Ведь это ж целая литература! И не только художественная, но и публицистическая, и научная!» Давно ли коржило его всё, что не напечатано *законно* (26), что не прошло одобрения какой-нибудь редакции и не получило штампа Главлита, хоп и не улажаемого нисколько. Лишь опасную контрабанду видел он уже во скольких моих вещах, пошедших самиздатским путём, — и вдруг такой поворот!»(27).

21 августа 1968 г. — оккупация Чехословакии

Из «Телёнка»: «Верховодцы СП, чтобы шире и надёжней перепечатать круг писателей в эти дни прислали А.Т. подписать два письма: 1) об освобождении какого-то греческого писателя (излюбленный отвлекающий маневр) и 2) письмо чехословацким писателям: как им не стыдно защищать контрреволюцию? Твардовский ответил: первое — неуместно, от второго отказываюсь»(28)(29).

Действительно, Твардовский не подписал коллективного письма от «секретариата СП», но, как отмечает Солженицын в «Телёнке», на журнал «жали»: «не обычный секретариат СП, к которому уже привыкли, но райком партии (дело *партийной должности!*)»(30) звонил в «Новый мир» каждые два часа и требовал резолюцию»(31). И собрание редакции «Нового мира» в конце концов проголосовало за соответствующее «осуждение». «Да, впрочем, и «Современник» голосовал единогласно, — пишет далее Солженицын. — Да кто не голосовал? кто себя не спасал? Сам ли я, — признаётся Солженицын, — не промолчал..?»(32)(33).

«В сентябре 1968 года Твардовский почти не бывал в редакции, как бы постепенно приучая себя отстать от любимого дела», — пишет Лакшин в статье «Не власть в беспамяство»(34)(35). Наглядным свидетельством трудностей, какие переживал журнал, было и то, что номер пятый за 1968 год вышел в объёме 208 страниц вместо обычных 288. Начались постоянные опоздания журнала на три-четыре месяца, и становилось всё более ясно, как пишет Лакшин в названной статье, что «журнал приговорён к смерти и казнь его только отсрочена»(36)(37).

Вместе с тем за период 1967--1968 гг. журналу удалось опубликовать ряд замечательных и острых произведений. А именно: романы С.Зальгина («Солёная падь») и Ф.Абрамова («Две зимы и три лета»); рассказы Ф.Искандера («Колчерицкий», «Дедушка»), В.Шукшина, В.Лихоносова,

Ю.Трифорова и «Плотничьи рассказы» В.Белова; повести В.Быкова («Атака с ходу»), Ник.Воронова («Юность в Железнодорожке») и В.Войновича («Два товарища»); автобиографический очерк Б.Пастернака; очерки В.Овечкина; мемуары академика И.Майского; статью Ж.Медведева «У истоков генетической дискуссии», публицистические выступления Г.Лисицкого («О чём говорят факты», «Смелые решения») и Ю.Черныченко («Ржаной хлеб»); литературно-критические статьи В.Лакшина («Пути журнальные /Заметки о книгах по истории журналистики/», «Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Посев и жатва»), А.Лебедева («Судьба великого наследия»), И.Травяной («Реклама и книга, или «Всем сёстрам по серьгам»), И.Золотусского («Добавление к эпосу / Толстой в романе и Толстой в фильме/»); Ю.Буртина («О частушках»); И.Виноградова («На краю земли» — о повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда»); Ю.Манна («К спорам о художественном документе» и «Базаров и другие»), С.Маркиша («Античность и современность /Заметки переводчика/»); Э.Соловьёва («Цвет трагедии» — о творчестве Э.Хемингуэя) и др.

1969—январь 1970 гг.

Несмотря на трудные условия, в которых приходилось работать «Новому миру», редакция и её авторский коллектив смогли найти такую форму работы, при которой публикуемые произведения читали с воодушевлением либеральные, демократические слои нашей интеллигенции, — свидетельствует Жорес Медведев в своей книге «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». — Консервативные бюрократические деятели руководства воспринимали это творчество с неудовольствием и обычно блокировали последующие самостоятельные издания этих произведений»(38). Ж.Медведев отмечает также, что читатели не реагировали на недоброжелательную официальную критику в адрес «Нового мира», были благодарны журналу, и «при подписке в сентябре 1969 г. число подписчиков увеличилось на 40000 по сравнению с предыдущим годом»(39). Однако цензурный гнёт не ослабевал. Как свидетельствует Лакшин, «из февральской книжки журнала были сняты очерки Ефима Дороша, члена редколлегии, и стихи Твардовского, вошедшие позднее в поэму «По праву памяти»(40).

В марте 1969 года в «Правде» появилась статья, в которой, в частности, говорилось о том, что «Новый мир» «упорствует в своих заблуждениях» и новые «организационные выводы неизбежны». И в марте же К.В.Воронков пригласил Твардовского для беседы. Как пишет об этом Лакшин в статье «Не впасть в беспамятство», К.Воронков «в тоне дружеского увещания предлагал несколько «освежить» состав редколлегии: ввести в неё, скажем, писателя В.Чивилихина, критиков Лидию Фоменко, Льва Якименко. «Да я никого из них не знаю, ни по литературе, ни лично. — отвечал Твардовский. — Не буду же я жёститься на девице, которую не знаю и не люблю». Дело затормозилось, но все мы понимали, — пишет Лакшин, — что первый звонок к уходу прозвенел»(41).

Между тем Твардовский заканчивает поэму «По праву памяти», над которой работал несколько лет и которая предназначалась для публикации в майской книжке «Нового мира». Но ни в мае, ни в июне, ни позже поэма так и не появилась на страницах журнала(42). По словам Лакшина, К.В.Воронков предложил теперь уже Твардовскому самостоятельно подать заявление об уходе. «Дальнейшее со всех сторон возрастало, — пишет В.Лакшин в статье «Не впасть в беспамятство». — Приехал доцент из Ярославля, рассказал: уничтожили

уже отпечатанный выпуск «Учёных записок» со статьёй о «порочной» поэме «Тёркин на том свете». Из издательства «Художественная литература» звонок: разобрать набор 5-го тома собрания сочинений Твардовского, так как автор не согласился на предложенные ему поправки»(43)(44).

21 июля Твардовский у себя на даче оступился на лестнице и упал. «В ту пору, когда он, выйдоравливаясь, лежал в Кунцевской больнице. — пишет В.Лакшин всё в той же работе. — и началась массированная атака печати на «Новый мир»(45). «Такого рассчитанного и циничного хамства, — писал Трифонов об этой кампании в статье «Вспоминая Твардовского», — в нашей печати давно не бывало: со времён, может быть, пресловутой «борьбы с космополитизмом»(46).

Тон кампании задал журнал «Огонёк», напечатав 26 июля 69-го года статью под заглавием «Против чего выступает «Новый мир»?», подписанную одиннадцатью литераторами (М.Алексеев, С.Виктулов, С.Воронин, В.Закруткин, Ан.Иванов, С.Малашкин, А.Прокофьев, П.Проскурин, С.В.Смирнов, В.Чивилихин, Н.Шундик). За письмом последовали выступления против «Нового мира», опубликованные в газетах «Советская Россия» (3 августа 69-го), «Литературная Россия» (1 августа 69-го), «Ленинское знамя» и «Социалистическая индустрия» (31 июля 69-го).

«Мы пережили страстную неделю — что ни день, то служба», — пошутил Твардовский, когда я навестил его в больнице. — пишет Лакшин в статье «Не впасть в беспамягство. — А если говорить серьёзно, то и тогда было ясно, что вся эта кампания — результат сознательного сговора с участием группы литераторов, «обиженных» «Новым миром», видевших в его существовании прямую угрозу своим интересам»(47)(48).

Летом Твардовский, находившийся всё ещё в больнице, ответил своим оппонентам. Как пишет Лакшин, редакции «Нового мира» удалось напечатать свой ответ на письмо «одиннадцати» в седьмом номере журнала за 1969 г. (подписанном к печати, по уточнению Ю.Буртина, только 4 августа), лишь заручившись поддержкой Федина, который совмещал должность председателя СП с членством в редколлегии «Нового мира». Сам факт появления ответа редакции «Нового мира» на письмо «одиннадцати», как отмечает Ю.Буртин в статье «И нам уроки мужества даны...», «говорил сведущим людям: если дали ответить, значит, журнал ещё будет жить...»(49).

«Осень для Твардовского ознаменовалась тем, что из его одиотомника в издательстве «Художественная литература», выходившего в серии «Всемирная литература», выбросили поэму «Тёркин на том свете»(50). Жорес Медведев сообщает, что осенью же Твардовского вызвали «в соответствующий отдел авторитетного учреждения и показали ему свежий номер журнала «Посев», в котором была напечатана его последняя поэма. Твардовский немедленно написал резкий протест», который, однако, был опубликован в «Литературной газете» лишь 11 февраля 1970 года с изменённой датой написания письма(51)(52).

Нападки в печати на «Новый мир» осенью 1969 года продолжались. «Огонёк» выступил с резкой критикой повести Василя Быкова «Круглянский мост». «В конце 1969 г. секретарь СП Воронков стал настойчиво уговаривать Твардовского подать в отставку «по состоянию здоровья», — пишет Ж.Медведев в книге «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». — Твардовский отказался, несмотря на то, что ему

одновременно была предложена «номснклатурно» более высокая должность секретаря ССП»(53).

С ноября начали, — как вспоминает Лакшина в той же статье, — «циркулировать слухи, что где-то «в кабинетах» вызрел план убрать из редакции А.И.Кондратовича, И.И.Виноградова, И.А.Саца и меня — тогда, мол, Твардовский сам уйдёт. Имея это в виду, Твардовский говорил Соколову-Микитову: «Корабль получает страшную пробоину. Вероятно, придётся открыть кингстоны»(54)(55).

В 1969 г. журнал опубликовал в прозе и в поэзии: «Пелагею» Ф.Абрамова; «Круглянский мост» В.Быкова; «Такова должность» А.Бека; «Бухтинны вологодские» В.Белова; роман Г.Владимова «Три минуты молчания»; «Иван Федосеевич уходит на пенсию. Деревенский дневник. 1961» Е.Дороша; три рассказа Ф.Исхаидера; «Кубик» В.Катаева; «Лесную дорогу» Б.Можаяна; очерк «В жизни и в письмах» В.Несрасова; повесть Ю.Трифопова «Обмен»; «В селе Чебровка» и др. рассказы В.Шукшина; стихи разных лет Анны Ахматовой (публикация акад. В.Жирмунского); «Из лирики» А.Вознесенского; «Новые стихотворения» Е.Евтушенко; стихотворения Новеллы Матвеевой, А.Твардовского; публицистику Ю.Черниченко («Колос Юга»), П.Реврина и А.Стреляного («Ячейка хозрасчёта»); литературно-критические выступления И.Ледкова («Страницы деревенской жизни (Полемические заметки)»), А.Дементьева («О традициях и народности /Литературные заметки/»), В.Лакшина («Мудрецы» Островского — в истории и на сцене»), академика В.Жирмунского («О творчестве Анны Ахматовой /К восьмидесятилетию со дня рождения/»), Н.Ильиной («Литература и «массовый тираж» /О некоторых выпусках «Роман-газеты/»).

Первый номер за 1970 год был последним, подписанным редколлегией Твардовского.

11 февраля в «Литературной газете» было напечатано сообщение о состоявшемся заседании секретариата правления Союза писателей СССР, на котором бюро секретариата освободило от обязанностей членов редколлегии журнала «Новый мир» И.И.Виноградова, А.И.Кондратовича, В.Я.Лакшина и И.А.Саца и утвердило новую редколлегию. 12 февраля А.Твардовский подал в секретариат СП заявление об уходе с поста главного редактора «Нового мира», а шестнадцатого февраля свои заявления подали члены редколлегии А.М.Марьянов и Е.Дорош, позднее — ответственный секретарь редакции М.Н.Хитров.

«Так и не получив ответа на своё заявление», Твардовский 20 февраля обошёл отделы, попрощался с сотрудниками и ушёл из редакции(56). В сентябре его положили в больницу с диагнозом «рак легкого», спустя несколько месяцев Твардовского не стало(57).

В.Лакшина направили в журнал «Иностранная литература», А.Кондратовича — в журнал «Советская литература», И.Виноградова, освободив от должности, никуда не перевели и никуда не хотели брать долгое время. М.Хитрова, по словам Виноградова, Твардовский сам просил остаться в журнале для того, чтобы в виде жеста лояльности по отношению к преемнику — В.Косолапову в течение года передать ему дела.* Ю.Буртин ушёл из редакции в апреле 1970 года. Через год была уволена из журнала старший редактор отдела прозы А.С.Берзер, после этого не работала — ни где её не печатали вплоть до времен горбачевской «перестройки». Старшего

редактора отдела критики К.Озерову также уволили, предоставив ей, однако, возможность доработать в журнале (на ипутреннем рецензировании) до пенсии.

Вслед за Твардовским ушли из жизни Е.Дорош, А.Марьямов, И.Сац, А.Дементьев, А.Кондратович, Е.Герасимов.

После разгона редколлегии Твардовского проза журнала в первые месяцы ещё сохраняла прежний уровень ввиду огромного запаса публикаций, накопленных в портфеле прежней редакции, и указаний, данных новому главному редактору слыше — быть лояльным по отношению к новомирскому авторскому составу, временно сохранять видимость того, что с уходом Твардовского ничто в журнале не изменилось. Так в 1970 году печатаются произведения Ф.Абрамова, Ф.Искандера, В.Быкова, В.Некрасова, В.Шукшина и др. авторов «Нового мира» Твардовского. Что касается критики, то она тут же «угасла». Во втором номере за 1970 год была опубликована лишь одна литературно-критическая статья.

«Превращение... лучшей части тогдашнего демократического движения в оппозиционное, а энергии положительного социального преобразования в энергию протеста — печальная и драматическая страница нашей истории»(58). Дальнейшая судьба многих новомирцев связана с эмиграцией — А.Солженицын, Б.Закс, С.Бабёпшсена, Л.Конелев, Р.Орлова, В.Войлович, Г.Владимов, В.Некрасов, А.Спнпвский; с лагерями — Ф.Светов; с почти что двадцатилетним неучастием в живой литературной жизни — И.Виноградов, Ю.Буртин, А.Берзер и др.

Таковы, в основных линиях, события истории журнала «Новый мир» А.Твардовского 50—60-х гг.

В российской и зарубежной литературе существует уже немалое количество работ, в которых так или иначе освещены отдельные примечательные эпизоды этой истории. В последние же несколько лет в отечественной периодике и издательствах появился целый поток публикаций, связанных с этой темой: воспоминаний и дневников бывших сотрудников и авторов журнала, документов из литературных архивов и т.п.

Работа над настоящей книгой началась в 1985 году, ещё до горбачевской «перестройки», — в эпоху, когда сама тема «Новый мир» А.Твардовского была в СССР практически под запретом, а доступ в архивы журнала — закрыт. Потому одним из важнейших источников для изучения истории журнала стали материалы, собранные в ходе частных бесед и интервью с бывшими новомирцами.

Эти беседы имели для автора первостепенное значение — прежде всего для того, чтобы «проинкнуть» в эпоху и сколько-нибудь адекватно понять психологию времени, общественно-культурные проблемы, нравственные дилеммы поколения, принимавшего самое непосредственное, активное гражданское участие в демократическом процессе 50—60-х гг. Да и выбор в качестве темы исследования литературной критики журнала «Новый мир» 50—60-х гг. был тоже связан в первую очередь именно с желанием понять эту сложную эпоху — понять её, если перефразировать Белинского, через её «сознание о самой себе, выражавшееся в критике»(59).

Какие основания позволили автору настоящей работы надеяться, что, изучая критику «Нового мира», можно тем самым выявить это «сознание эпохи о самой себе»?

Это, во-первых, тот факт, что именно в «Новом мире» впервые за долгие десятилетия истории русской советской журналистики возобновилась давняя традиция русских журналов самоопределяться через свою литературную критику, выражать через неё своё направление, своё лицо.

Во-вторых, существенно и то обстоятельство, что, являясь боевым выразителем позиций журнала, его критика выражала одновременно, как уже сказано, и позиции очень широкого общественно-культурного движения, во главе которого как раз и стоял в 50—60-е гг. журнал Твардовского. Так что и в этом отношении критика «Нового мира» в высшей степени репрезентативна.

Наконец, новомирская критика не только взяла на себя функции выразителя мнений демократически настроенной части советского общества, но сыграла немалую роль и в самом становлении общественного сознания, в реальном формировании литературного процесса в целом. «И.Виноградов, В.Лакшин, А.Берзер, Ф.Светов, В.Кардин, И.Борисова... — я мог бы назвать десятка два-три имён, — свидетельствует В.Максимов. — которые действительно сформировали литературный процесс 60-х гг.»*

Со всех этих точек зрения литературная критика журнала Твардовского представляет собой, таким образом, действительно очень интересный историко-литературный и общественно-духовный факт. Через неё можно лучше понять движение общественной мысли 60-х гг. и ближе познакомиться с позициями журнала «Новый мир». Поэтому изучение литературной критики журнала «Новый мир» времён Твардовского является сегодня, на наш взгляд, весьма актуальной историко-литературной, культурологической и просто исторической задачей, тем более, что практически она ещё не была сколько-нибудь основательно поставлена и решена в советологии и в историко-литературных исследованиях, хотя, как уже упоминалось выше, в отечественной и зарубежной литературе уже и сегодня имеется целый ряд книг, диссертаций и статей, написанных о журнале «Новый мир» 50—60-х гг. Среди них следует назвать прежде всего книгу Эдит Роговин-Франкель, опубликованную в Англии в 1981 г. и рассказывающую о журнале периода 1952—1958 гг., о литературной политике А.Твардовского и К.Симонова(60). Во-вторых — диссертационную работу Александры Квятковской (Сорбонна, 1975 г.), в которой, опираясь на публикации «Нового мира» 1965—1975 гг., автор исследует аспекты неконформизма в литературе послехрущёвского периода(61); наконец, — книгу Дины Р.Спенслер, вышедшую в американском научном издательстве «Praeger» в 1982 г. и посвящённую истории журнала «Новый мир» за период 1950—1970 гг.(62).

Кроме того, интересующая нас тема так или иначе затрагивается и в некоторых других работах, вышедших за рубежом, — таких, как книга А.Солженицына «Бодался телёнок с дубом» («Очерки литературной жизни»)(63); как разного рода полемические отклики на эту книгу в 70—80-е гг.(64); как книга Ж.Медведева «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», в которой описаны события истории журнала Твардовского, непосредственно связанные с именем А.Солженицына(65). Наконец, уместно назвать здесь и серию тех, обращённых к событиям истории журнала 60-х гг. материалов, которые были опубликованы сравнительно

недавно в советской печати: воспоминания Ю.Трифонов(66) и Фёдора Абрамова(67), дневники и письма А.Твардовского(68), новомирские дневники А.Кондратовича(69), дневники, мемуары и статьи В.Лакшина(70), статьи И.Виноградова(71), статьи и исследования Ю.Буртина(72), статья С.Чупришина (73).

Во всех перечисленных выше работах можно найти немало интересных и важных фактов и сведений, относящихся к нашей теме, есть в них и те или иные попытки осмысления той роли, которую сыграла в истории журнала и в истории русской общественной мысли литературная критика «Нового мира».

Вместе с тем обращение к литературной критике журнала во всех этих работах носит, как правило, всё-таки либо подчинённый каким-то иным задачам, либо выборочный, фрагментарный характер. И, по нашим сведениям, пока ещё не существует сколько-нибудь обстоятельных, больших исследований, специально посвящённых изучению феномена литературной критики журнала «Новый мир» (1958—1970) в целом. Этим и определена задача настоящей работы.

Новизна темы создаёт и определённые трудности её разработки, обусловившие ряд особенностей исследования. За двенадцать лет существования под руководством Твардовского (1958—1970 гг.) журнал выпустил 139 книжек, и литературно-критические статьи и рецензии, опубликованные здесь, представляют собой огромный материал для изучения (более двухсот статей и более семисот рецензий). Задача изучения этого материала была, тем не менее, нами поставлена перед собою и решена, но описать сколько-нибудь адекватно результаты проделанной работы в более или менее компактном исследовании практически невозможно. Поэтому автором был избран другой путь: дать аналитическое описание критики «Нового мира», представив её в основных её тенденциях через подробное исследование творчества четырёх ведущих авторов отдела — В.Я.Лакшина, Ю.Г.Буртина, И.И.Виноградова и А.Д.Синявского, фигуры которых мы считаем наиболее значительными и наиболее репрезентативными для критики «Нового мира» в целом. Доказать эту их репрезентативность для литературно-критических выступлений журнала в целом является, в частности, одной из задач настоящего исследования.

Поскольку новомирская критика развивалась в определённых исторических условиях и поскольку это была критика не каких-то разрозненных и разнородных авторов, а критика, выражавшая позиции определённого общественно-литературного движения и имевшая круг вполне конкретных и исторически обусловленных вопросов и задач, наше исследование начинается с некоторой общей предварительной характеристики этих позиций, способной послужить своего рода минимальным плацдармом для дальнейшего исследования — некоторым подспорьем для общего предварительного ориентирования в изучаемом материале. Это составит задачу **первой главы**, в которой будет сделана попытка обозначить те исходные и более или менее общие для всей критики журнала идейно-духовные и эстетические параметры, в пределах которых развивалась, но за пределы которых нередко и выходила — и достаточно далеко — деятельность этих четырёх ведущих критиков журнала.

Вторая, третья, четвёртая и пятая главы посвящены подробному исследованию новомирского творчества В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Снявского — с необходимыми дополнениями, касающимися дальнейшей эволюции их творческого пути (отметим, что композиционное построение каждой из четырёх монографий зависело от самого материала исследования и тех проблем, которые возникали в процессе его осмысления).

Наконец, в последней, шестой главе, на основе проделанной работы и сопоставления творчества четырёх указанных критиков между собой, будет сделана попытка очертить границы тематической и проблемной характеристики их работ для критики журнала в целом и подвести некоторые итоги исследования.

Настоящему исследованию предшествовала весьма значительная работа по описанию и статистическому изучению материала, по знакомству со структурой отдела критики и прочими аспектами его деятельности. Результаты этого изучения заключают в себе немало интересных, на наш взгляд, хотя порою и достаточно частных моментов, которые могут быть, однако, любопытны и читателям, и историкам литературы и журналистики. Ввиду этого работа дополнена соответствующими приложениями:

Приложение I. Портрет отдела критики. Общие сведения о структуре и рубриках отдела, о жанрах, типах новомирских статей и т.д.

Приложение II. Взаимоотношения журнала с читателем

Г Л А В А I. ОБЩИЕ ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ «НОВОГО МИРА»

В эпоху деятельности журнала А.Твардовского в стране, как известно, существовал институт цензуры — ГЛАВЛИТ. И, следовательно, всякое выражение программных устремлений редакции «Нового мира» должно было укладываться в рамки тех условий, которые предлагала господствующая идеология и через которые невозможно было перейти ни одному органу печати. Это необходимо учитывать при изучении критики «Нового мира», и поэтому мы начнем с того, что попытаемся вкратце очертить параметры той ее легальной платформы, через которую «Новый мир» «гнул» свою линию.

Понятно, что той единственно легальной основой (в предложенных двумя партийными съездами — 20-м и 22-м — рамках), которая была обязательна для всех советских журналов, являвшихся органами общественных организаций, творческих или политических союзов, мог быть лишь марксизм — философия исторического материализма и, соответственно, марксистско-ленинская эстетика (в той её интерпретации, которая строго соответствовала очередным партийным постановлениям). Разумеется, при этом предоставлялась определённая возможность опираться и на некоторые «традиции», в генетической связи с которыми считала себя марксистская идеология: на материалистическую эстетику европейских просветителей 18-го века, и особенно на философию и эстетику русских революционных демократов. Это открывало перед авторами и органами печати, стремившимися выйти за жёсткие рамки официальной идеологии, некоторые возможности.

«Линия партии в литературе у нас одна, — писал А.Твардовский в программной статье 1965 года «По случаю юбилея», — обязательная(!) для всех журналов и газет. /.../

Идейно-политические позиции журнала, естественно(!), определяются политикой нашей партии, задачами, которые поставила перед литературой великая эпоха строительства коммунизма...»(1).

В приведённой выдержке характерна содержательная нагрузка слов «обязательная» и «естественно», звучащих несколько иронично для привычных в те годы высокопарных выражений и деклараций лояльности того или иного органа печати по отношению к партии. Характерно и то, что, излагая далее в названной статье эстетические позиции журнала, Твардовский говорит уже, собственно, не о социализме, а о реализме вообще, о классических традициях русской литературы:

«...Предпочтительное внимание журнал уделяет произведениям, правдиво, реалистически отражающим действительность, по форме простым, но отнюдь не упрощённым, чуждым формалистической замысловатости, более близким классической традиции, но и не избегающим новых средств выражения, оправданных содержанием»(2).

Если вспомнить два предыдущих десятилетия истории страны, когда в печатном слове безраздельно господствовало единомыслие, то в 50—60-е гг. журнально-цензурная ситуация отличалась некоторой плюралистической свободой. Так, наряду с журналом «Новый мир», ориентированным на реализм, вокруг журнала «Юность» объединились молодые писатели и поэты, ориентированные более «модернистски». Журнал «Октябрь» в те годы ревностно отстаивал социалистический реализм, если это понятие трактовать в духе знаменитой статьи А.Терца «Что такое соцреализм», а журнал «Молодая гвардия» где-то со второй половины 60-х гг. стал превращаться в орган вначале несколько расплывчатого неоруссофильского направления, соединённого, однако, с державно-имперскими ориентациями, а позднее — в издание откровенно шовинистического, национал-социалистического характера. Но, повторяем, это **некоторое многоголосие** могло легально существовать в те годы лишь на некоем «общем» теоретическом фундаменте, а именно — **на фундаменте материалистической философии и эстетики**. В узких рамках представленных в те годы искусству свобод не могло быть и речи об отмене соцреализма, зарегистрированного в 1934 году в уставе Союза писателей в качестве основного метода литературы и критики, и это, конечно, сильно затрудняло процесс идеологического размежевания журналов в его сколько-нибудь откровенном, понятном для читателя варианте. Недаром по случаю тех или иных партийно-правительственных постановлений или съездов **каждый журнал должен был в обязательном порядке не только перепечатывать официальные тексты докладов и выступлений руководящих лиц, но и откликаться на них статьями программного характера**(3). **И только в этих пределах** можно было думать о том, как обозначить собственные позиции журнала или газеты, если такие позиции были.

Итак, перед нами, используя терминологию формальной школы, ситуация литературного, журнального быта, в которой **суть дела** при выяснении идейного и эстетического направления того или иного органа печати следует искать **в нюансах**.

Касательно «Нового мира» и его позиций необходимо помнить к тому же и о двух различных периодах его существования, которые по временным параметрам соответствуют двум историческим эпохам развития советского государства на рубеже 50—60-х гг. Возникнув на установке «за социализм с человеческим лицом», журнал Твардовского в первые годы, как уже упоминалось ранее, активно пропагандировал реформаторские устремления правительства Хрущёва, и отсюда — легальность, «правочность» и даже поддержка сверху печатного слова, сходящего с его страниц. Этот период длился приблизительно до 64-го года — точнее, до окончания кампании вокруг присуждения Ленинских премий в литературе, когда «Новый мир», выдвинувший кандидатуру А.Солженицына, проиграл сражение.

С осени 65-го года начались гонения на свободомыслящую интеллигенцию и аресты, и с этого момента в истории журнала открывается второй период — **период сопротивления** ретроградной, антидемократической политике партии и правительства.

Характерно в этом смысле отстаивание Твардовским позиций журнала в 1967 году, через два месяца после появления в январском номере газеты

«Правда» за 1967 год известной статьи «Когда отстают от времени». В этой статье официально, от имени партии, осуждалась «порочная», «односторонняя» линия журнала «Новый мир», «упорство в отстаивании ошибочных позиций», критиковались его публикации последних лет за «несоответствие масштабов жизни масштабу художественного произведения», за отход от социализма (4). В связи с этой статьей А.Твардовский, приглашённый на обсуждение журнала в СП СССР (март 1967 года), заявил:

«Часто говорят: «линия «Нового мира». И чаще всего под этим имеется в виду линия дурная, порочная, противопоставляющая себя линии нашей партии в литературе. Подразумевается, что само по себе наличие линии — это уже что-то греховное, противопоставленное советскому журналу. Здесь, на мой взгляд, скальшается смешение понятий. Линия партии в литературе у нас одна, **обязательная**(!)(5) для всех журналов и газет. Но линия журнала — это частное, конкретное выражение линии партии, это лицо журнала, более или менее определившегося в единстве его идейно-эстетических пристрастий и принципов. Журнал, не имеющий такой линии, — это издание безликое, неразборчивое относительно формы и содержания публикуемых произведений, т.е. это серый журнал, каких у нас, к сожалению, достаточно».

«Новый мир» открыто заявляет о своих идейно-эстетических пристрастиях и воспринимает как похвалу странные упреки в том, что он «гнёт свою линию». «Гнуть свою линию» — значит быть принципиальным, держаться того, в чём убеждён и что усвоил из того учения, которое всесильно, потому что верно... Да, — заявил Твардовский, — мы придерживаемся линии **реализма**(!), правдивого изображения действительности, верности великим заветам русской классической литературы, являющей миру непревзойдённые образцы реалистического искусства. Наконец, мы придерживаемся принципа повышенной требовательности к мастерству, нетерпимости к фальши и серости во всех её видах и модификациях. /.../ Мы знаем, что именно по этой причине нашей повышенной требовательности мы не можем не снискать обид и нареканий у известной части литераторов, чьи рукописи редакция вынуждена была отвергнуть и чьи вышедшие из печати произведения подверглись суровой критике на страницах журнала»(6).

В своей речи Твардовский, по существу, объявляет Секретариату СП СССР о своём намерении и впредь «гнуть» свою линию, и ясно что «партийность» позиций его журнала уже не отождествляется для него с официальной идеологией. Эстетические позиции журнала опять-таки сформулированы Твардовским в этом выступлении как верность классическим традициям русского реализма.

Принимая во внимание все перечисленные факторы журнально-цензурных условий 50—60-х гг., в которых пришлось работать редакции журнала «Новый мир», мы попытаемся обозначить теперь те главные направления, по которым критика «Нового мира» пыталась теоретически переосмыслить и приспособить официально заданные ей обязательные политические и эстетические ориентиры для отстаивания и выражения своей собственной «линии».

Как известно, во времена ждановско-ермиловской диктатуры в искусстве марксистско-ленинская философия и эстетика, равно как и последние русских мыслителей революционно-демократического лагеря 19-го столетия, приобрели характер, не имеющий ничего общего ни с наукой, ни с искусством.

В 60-е годы этому особенно способствовал журнал «Октябрь». Что же касается «Нового мира», то здесь пытались не то чтобы как-то обновить или трансформировать материалистическую эстетическую систему, а хотя бы восстановить её в прежнем, не столь вульгарном, в её классическом, так сказать, виде — и в этом виде использовать для выражения своих позиций.

Возьмём, к примеру, рецензию В.Лакшина на сборник статей Ленина под названием «Против догмы, сектанства, «левого» оппортунизма», который был выпущен Политиздатом в 1964 году. Исторический контекст появления статьи — «заморозки» 65-го года, когда выступившие на Втором съезде писателей РСФСР секретарь ЦК А.Кириленко, первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.Павлов и первый секретарь московского партийного комитета Н.Егорычев назвали «Новый мир» источником заразы и призвали остановить публикации, «идеологически дезориентирующие» читателя в оценке культа личности Сталина(7). Для ответа на подобные обвинения В.Лакшин выбирает в качестве подручного материала сборник статей Ленина. Актуализация содержания сборника, как это совершенно очевидно из текста статьи Лакшина, вызвана отнюдь не намерением критика выяснить что-то в истории борьбы идей, а просто с его желанием сказать своим оппонентам: ваш стиль и ухищрения, на которые вы идёте для дискредитации журнала, не имеют ничего общего с ленинизмом, — и тем оборонить позиции журнала.

Не нововмиры, а их оппоненты, как справедливо отметил С.Чуприхин в своей статье «Позиция», принуждены были «в силу скорой переменчивости идеологической конъюнктуры то и дело перетолковывать азбучные истины марксизма, а порою и подменять их домоделными «изобретениями», рассчитанными, случалось, и на одиозное использование»(8). Так, в 60-е годы были изобретены «новые эстетические законы и теоретико-литературные категории», согласно которым «общепринятое в материалистической эстетике понятие художественной правды», например, делилось на «правду века» и «правду факта»(9). В программном же обращении редакции «Нового мира» к читателю в 1965 году, когда после борьбы за ленинские премии нововмирские противники особенно охотно пользовались аргументами этого типа («правда факта» и «правда века») для общественной дискредитации повести Солженицына, особое внимание было обращено, естественно, на то, что противопоставление «большой правды» «малой правде», «правды фактов» — «правде века» выражает «превратное, вульгаризаторское понимание природы реалистической типизации» и что «с точки зрения философии марксизма рассуждения о разных правдах совершенно неосновательны как очевидный крен к признанию множественности истин, субъективизму и прагматическому выводу: «Правда то, что выгодно ей считать». «В хозяйственно-практической деятельности такая позиция порождает очковничество и разного рода «приписки», в

искусстве же она ведёт к оправданию всевозможных антиреалистических тенденций»(10).

Новомирицы, таким образом, в своей борьбе с официальной идеологией вынуждены были постоянно использовать прежде всего именно оружие господствовавшей в стране эстетической доктрины. И делали они это так искусно, что, по замечанию Чупринина, невероятно «раздражали прежде всего как бюрократов, приставленных к писателям, так и самих писателей — тех из них, кто сызмала был приучен и привык не идеологии служить, а бюрократии прислуживать, и притом своеобразно»(11).

Что же касается русских мыслителей революционно-демократического лагеря, то новомирицы также постоянно пытались «очистить» их творческое наследие от схоластических и догматических наслоений времён сталинизма. Любопытна в этом смысле статья А.Лебедева «Судьба великого наследия», опубликованная в двенадцатом номере журнала «Новый мир» за 1967 год. Здесь А.Лебедев обращает, в частности, внимание на то, что недавние переиздания сочинений крупнейших представителей революционно-демократической мысли «впервые за многие десятилетия русской истории» не имели никакого общественно-культурного резонанса. И Лебедев объясняет далее, что причины тому следует искать в долголетнем недобросовестном использовании их трудов: в цитировании отдельных положений и высказываний критиков в отрыве от контекста их собственных работ и в конъюнктурном использовании имён «великих предшественников» для «освящения современных писаний».

«В одну, к примеру, пору, — пишет А.Лебедев, — революционных демократов заставили вдруг как по команде произносить самые грозные слова по адресу людей, которые без особой готовности признавали, что паровая машина или, скажем, рентгеновские лучи впервые изобретены или открыты именно в России. Сами вышедшие, как известно, из «западничества», тесно связанные с «западнической» идеологией, революционные демократы начали в ту пору поносить Гегеля и Канта, Фейербаха и великих французских просветителей. Мобилизованы были личные письма и частные записки, черновики и перечёркнутые в последующей работе самими авторами предварительные записи, дневники и беглые, подчас не очень даже внятные заметки на полях книг, — и чуть не в один день дело было сложено».

В результате в сознании широких читательских кругов, заключал критик, образ типичного революционно-демократического деятеля 19-го столетия стал ассоциироваться с образом такого «распекателя и начетчика», «в каждую минуту готового призвать не понравившегося ему писателя к ответу»(12).

О том, что описанная Лебедевым история с конъюнктурным «приспосабливанием» и классиков марксизма, и классиков революционно-демократической эстетики к нуждам партийной политики была предельно характерна для 60-х гг., свидетельствует и полемика Г.Бровмана с В.Лакшиным, развернувшаяся в 1964 году вокруг новомирской статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги». «Вряд ли стоило бы... затевать спор со статьёй Г.Бровмана, — объясняет Лакшин причины, побудившие его откликнуться на статью Г.Бровмана «Живая жизнь и

нормативность»(13), — если бы он неожиданно не попытался представить своим единомышленником Н.А.Добролюбова»(14).

«Критика должна служить приложением вечных законов искусства к частному произведению. — цитирует Г.Бровман Добролюбова, — должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться».

Открыв статью Добролюбова «Забитые люди», Лакшин удостоверяет подлинность цитации, но вместе с тем отмечает и «свободу обращения» Бровмана с Добролюбовым, ибо выдержка, которую тот приводит, вырвана из живого контекста, который сообщает изречению прямо противоположный смысл. А именно: Добролюбов отнюдь не советует критике указывать автору «верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться», но, напротив, возражает против «требований и возгласов подобного рода»:

«По мнению одного критика, мне от них нет другого спасения, как признаться откровенно, что решение вопросов подобной важности мне не под силу. — цитирует Лакшин Добролюбова. — Я бы, пожалуй, и готов признаться; но ведь это, во-первых, для самолюбия обидно, а, во-вторых — зачем же мне клепать на себя? Разумеется, критика должна служить приложением вечных законов искусства к частному произведению, должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться. Такова ведь должна быть настоящая критика? Да, но знаете ли, что чистая теория критики так же точно неприложима бывает, как теория о том, как сделаться богатым и счастливым или как приобрести любовь женщин».

Бедный Г.Бровман! — восклицает Лакшин. — Он всерьёз принял ироническое изложение Добролюбовым «чистой теории критики» и поднял его на цит. Он слишком рано прервал своё чтение статьи «Забитые люди»...»(15).

Любопытно с точки зрения приёмов «разоблачения» Лакшина также и то место статьи Бровмана «Живая жизнь и нормативность», где он пытается поставить под сомнение партийность позиций критики Лакшина и при этом старается опереться на рассуждения Лакшина о двух современных типах критического анализа — нормативном и аналитическом.

«Коротко говоря, нормативный подход состоит в том. — цитирует Бровман строки из статьи Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги», — что у критика ещё до знакомства с произведением, о котором он будет судить, готовы понятия обо всём, что касается этого произведения. Критик заранее знает, как должен выглядеть основной герой, чем должен завершаться конфликт, в каких пропорциях должны находиться светлые и тёмные краски, каков при этом должен быть «фон» и т.п.».

Приведя эти строки, Г.Бровман начинает защищать «нормативного» критика и «обнажает» мысль Лакшина таким образом:

«Можно ли говорить о партийности критика, если он, по мнению В.Лакшина, не должен иметь никаких «готовых понятий» «до знакомства с произведением, о котором он будет судить»(16).

Чтобы разобраться в этой полемике, важно обратить внимание на один очень важный нюанс, связанный с тем самым понятием **партийности** искусства, которое пытался использовать в своей статье Бронман и которое, как известно, в паре с понятием «народность» составляло тот фундамент, на котором держался так называемый социалистический реализм.

Дело в том, что даже в партийной печати понятие «партийность» в разные времена наполнялось разным содержанием. Так, в годы хрущёвского правления, например, «партийность» искусства и литературы включала в себя борьбу со злоупотреблениями и преступлениями периода «культы личности», а с 1965—1966 гг. новое руководство идеологией и культурной жизнью стало опять пытаться, по выражению Ж.Медведева, «ввести стихию творчества в строгие и привычные рамки, обозначаемые понятием «партийность»(17). Критик А.Метченко, к примеру, в одной из своих статей 1966 года, опубликованных в журнале «Октябрь», определил «партийность» как классовость.

Это обстоятельство тоже сумела использовать новомирская критика, сделав даже и понятие «партийность» одним из средств защиты своих позиций. Так, в новомирских ежегодных программных отчётах перед читателем непременно встречается обычно слово «партийность». Но — всегда в характерной нюансировке: либо в сочетании с определением «подлинная», либо как «партийность», выражающая «верность ленинским позициям». Такое употребление термина выражало, несомненно, прямое желание редакции отмежеваться от той официальной концепции идейности и партийности, которую поднимали в качестве своего флага идейные враги журнала. Поэтому понятие «партийность» всегда отождествлялось в официальных материалах, публикуемых журналом (вплоть до последних дней его существования), лишь с идеями, провозглашёнными на 20-м и 22-м партийных съездах. Отсюда — ироничные «обязательная», «естественно» рядом с использованием термина «партийность позиций журнала» в вышеприведённых выдержках из выступлений Твардовского в 1965 и в 1967 гг.

Интересно и верно, на наш взгляд, объясняет этот казус с понятием «партийность» применительно к официальной линии журнала Ю.Буртин — в своей статье конца 80-х гг: «Вам, из другого поколения...»:

«В своё время. — пишет Буртин. — в зарубежной печати немало ломали голову над тем, как определить общественную позицию Твардовского, поэта и редактора: «партийная» она или «оппозиционная»? Партийная? Почему же одну его поэму не печатают 9 лет, другую — 18, а руководимый им журнал сначала подвергают многолетней осаде и массированному обстрелу, а затем захватывают по всем правилам военного искусства? Оппозиционная? Почему же тогда именно его, Твардовского, стихи о Ленине наши дети заучивают в школе?!.../Это ли оппозиция?»

Кажется, ни к какому общеубедительному решению, — замечает Буртин, — так и не пришли. И, пожалуй, правильно, почему: из-за неправильности

самой постановки вопроса. Неправильности чисто логической, состоящей в исходном убеждении, что уж или партийность, или оппозиционность...»(18).

Говоря о понятии «партийность», которое в обязательном порядке входило в текст любой программной повомированной статьи, и о его нюансировке, не следует к тому же распространять его на мировоззрение тех или иных сотрудников и авторов журнала лично — особенно в поздний период деятельности «Нового мира», когда от веры в социалистическое переустройство общества многие из них пришли к иному мирозерцанию, к иным принципам философской и эстетической ориентации в жизни. Следует отметить, что авторский актив отдела критики «Нового мира» состоял главным образом из представителей молодого поколения — людей, в определении Твардовского, «куда менее отягощённых старыми навыками догматического мышления». Что же касается самого Твардовского, его трактовки понятия «партийность», то до какого-то времени слово «партийность», безусловно, произносилось им искренне. Но затем, как мы видели, — уже в сочетании с ироничными «обязательная» и «естественно», которые в 1969 году (когда Твардовский вдруг с отчаянием восклицает: «Да вы освободите меня от марксизма-ленинизма»(19)) означают уже, в сущности, — «опостылевшая».

Следует подчеркнуть к тому же, что теоретические статьи на базе марксистско-ленинской философии писались в «Новом мире» по преимуществу именно критиками старшего поколения — Мих. Лифшицем, И.Сацем (бывшими сотрудниками известного в 30-е годы журнала «Литературный критик») и А.Дементьевым.

Сходная ситуация сложилась в критике «Нового мира» и с понятием «соцреализм».

Введение соцреализма как обязательного метода литературы и искусства было, как известно, политической операцией и на практике означало конец даже тех остатков творческой свободы, которые ещё оставались в новой России, знаменовало собою начало утверждения тоталитарного коммунистического государства. Цель объединения всех деятелей литературы и искусства в одном союзе, в котором навязывался им единый творческий метод, заключалась в том, чтобы поставить искусство на идеологическую службу партии. Лишённое всех своих традиционных инструментов — поиска новых средств, новой техники, экспериментаторства и т.д., — искусство должно было заниматься только одним — транскрипцией партийной «правды». Той «правды», которая, как известно, неизменно доказывала, что не имеет как раз ничего общего ни с реальностью в жизни, ни с реализмом в искусстве. А потому ничего общего с правдой не имел и соцреализм: «Соцреализм — это утверждение государственной исключительности...», «это зеркальце, которое на вопрос партии и правительства «кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?» отвечает: «Ты, ты, партия, правительство, государство, всех прекрасней и милее!», говорит Мадьяров — герой романа В.Гроссмана «Жизнь и судьба»(20). А.Герц, в статье «Что такое соцреализм» писал, что по своему содержанию, по характеру своих героев, по всему своему духу соцреализм гораздо ближе к псевдоклассицизму, чем к реализму(21). А.Солженицын назвал соцреализм «клятвой воздержания от правды»(22). В повести «Всё

течёт...» Василий Гроссман определил литературу соцреализма как литературу лжи: «Писатели выдумывали людей, их чувства и мысли, выдумывали комнаты, в которых они живут, поезда, в которых они ездят... Называя себя реалистической, литература была не менее условна, чем буколические романы восемнадцатого века. Литературные колхозники, рабочие, деревенские женщины казались сродни тем наряженным стройным поселянам и завитым пастушкам, что играли на свирелях и танцевали на лужках среди беленьких барашков с голубыми бантиками. /.../ А некоторые писатели, выдавая ложь за правду, с особой тщательностью воспроизводили подробности одежды, обстановки, поселая среди живых декораций своих выдуманных богошущих героев»(23).

Отсюда понятно, что появление статей о соцреализме в «Новом мире», главным эстетическим принципом которого был принцип правды, реализма, тоже было вызвано именно **цензурными**, в сущности, условиями. Поскольку именно соцреализм официально оставался творческим методом всего советского искусства, то именно через категории этого метода приходилось нередко теоретически отстаивать ту или иную концепцию искусства, втискивая свою позицию в прокрустово ложе понятий идейности, партийности, народности и т.п.

Так, в одном из своих программных заявлений редакция «Нового мира» определяла, например, социалистический реализм как «литературу смелого поиска, развеивающую новые слои действительности, возбуждающую в общественном сознании новые вопросы, поддерживающую передовые тенденции жизни и решительно борющуюся с недостатками и злоупотреблениями»(24). А некий «Литератор» в статье, опубликованной в январском номере «Правды» за 1967 год, отождествил соцреализм с «литературой социалистической уверенности», которая «исходит из понимания того, что ныне социализм воздействует на мировое развитие прежде всего положительной силой своего примера»(25). Критик «Октября» А.Метченко в одной из своих статей совершенно справедливо отметил, что «ошибочность некоторых идейно-художественных принципов, которые, в частности, защищает редакция «Нового мира», лежит в плоскости «отступлений от социалистического реализма»(26). Другой критик журнала «Октябрь» — П.Строковский в своём обзоре выступлений на пленуме Союза писателей РСФСР 1966 г., намекая на «Новый мир», также совершенно справедливо отметил возникновение «в нашей литературе» «так называемого «критического направления»(27).

Возвращаясь опять к новоявленным статьям, в которых поднимался вопрос о соцреализме, следует отметить и такой момент. Присмотревшись к контексту и времени их появления, нетрудно увидеть здесь определённую **закономерность, симптоматичность**: эти статьи всегда сопровождают обычно какой-либо официальный партийно-правительственный документ. Так, например, поток из пяти статей под названиями: «За идейность и соцреализм» (1963, №4), «В.И.Ленин и литературная журналистика» (1963, №5), «Всесильно, потому что верно» (1963, №6), «О взглядах А.В.Луначарского на изобразительное искусство» (1963, №6), «Модернизм и соцреализм» (1963, №8) — следует за публикацией в «Новом мире» речи Хрущёва, произнесённой 8 марта 1963 года на встрече руководителей

партии и правительства с деятелями литературы и искусства (1963, №3). Второй поток из трёх статей о соцреализме появляется на страницах «Нового мира» в дни работы 23-го съезда КПСС (А.Дементьев, «На первом съезде писателей», 1966, №10; Т.Мотылёва, «Глазами друзей и врагов», 1966, №11; А.Дементьев, И.Сац, «А.В.Луначарский и советская литература», 1966, №12)(28).

Появление этих статей, как уже говорилось ранее, было связано, с одной стороны, с непреложной обязанностью каждого журнала откликаться на партийно-правительственные события, но, с другой стороны, даже и в этих обязательных откликах новомирские авторы пытались провести именно свою, не ортодоксальную трактовку соцреализма, в сущности, снимающую это понятие. (Так, например, главный нерв статьи А.Дементьева «На первом съезде писателей» (1966г.), составленной по материалам стенографического отчёта, именно в том и состоял, чтобы осветить борьбу с конъюнктурными трактовками соцреализма, которая имела место на съезде, и тем самым актуализировать её смысл и содержание в дни заседаний 23-го партийного съезда.)

Итак, встречающийся в новомирских публикациях термин «соцреализм» тоже следует воспринимать с учётом всех вышеоговоренных нюансов.

Какие же кардинальные, сквозные принципы общественно-политической, социальной и эстетической ориентации отстаивала новомирская критика, всячески проясняя обязательные для неё категории партийности, идейности, соцреализма и т.д.? Как можно определить ту принципиальную общественную и эстетическую программу, которая стояла за всеми этими терминами и частично выражалась даже и через них?

Здесь очень важно обратить внимание, может быть, прежде всего на тот факт, что новомирская критика была по своему характеру критикой преимущественно публицистической. Для неё был характерен именно публицистический тип статьи, причём статьи, восходящей прежде всего к традициям Добролюбовской «реальной» критики. Это был, несомненно, преобладающий жанр новомирских выступлений(29).

И эта преемственность была отнюдь не только жанровой и отнюдь не случайной. Ибо если говорить о главных мировоззренческих чертах новомирской критики, то здесь, во-первых, следует отметить, что она преемствовала у революционно-демократической критики прошлого века прежде всего её главную идею, которая стала, соответственно, и идеей новомирской критики. — идею демократии, идею демократического устройства общества, причём понятие родины никоим образом не отождествлялось с понятием государства, а патриотизм — с верноподданничеством. Именно это содержание наполнило собою, в сущности, те официальные понятия партийности, народности, идейности и т.д., которыми приходилось пользоваться и новомирской критике. Во-вторых, так же, как и революционные демократы, их предшественники, новомирские критики отстаивали в своих статьях свободу и суверенность личности в демократически организованном обществе. В-третьих, как и у Добролюбова, важнейшим «нервом» новомирской критики (как и прозы) был народ, стремление выразить и защитить его коренные интересы. В-четвёртых, переняв у шестидесятников прошлого столетия демократическую этику, новомирцы взяли на

вооружение и вытекающую из этой этики теорию воспитания читателя в демократическом духе, то есть установку на революционно-демократическое просветительство. И, наконец, в-пятых, новомирским критикам, как и их предшественникам, было в высшей степени свойственно активное пропагандистское начало: пафос действительности, дела, реального воздействия на жизнь. Поэтому-то и в плане методологическом новомирцы, как уже сказано, чаще всего пользовались в своих статьях именно так называемым «реальным» методом, разработанным Добролюбовым.

Этот метод, в определении Ю.Буртина, представляет собой «сложную промежуточную литературную форму», «обеспечивающую возможность публицистического исследования действительности на материале литературы». Причины, которые привели к возрождению через столетие этого метода на страницах «Нового мира», объясняются, конечно, прежде всего параллелизмом цензурных условий полугласности, на что нередко в своих статьях намекали и сами критики(30). Но главное в том, что именно этот метод позволял критике «Нового мира» решать свою основную общественную задачу — отстаивание идеи демократии, демократического преобразования общества. А отсюда, в свою очередь, следует, что именно и только принципы реализма в литературе, правдивого изображения действительности могли определять эстетические предпочтения и критерии новомирской критики. Потому что лишь правда жизни, отражённая искусством, могла помочь критике выполнить эту главную её общественную задачу, решение которой предполагало два главных русла критико-публицистической работы: критическое переосмысление всей истории так называемого «реального социализма» (главными темами переосмысления были ключевые моменты истории — коллективизация, тридцать седьмой год, Отечественная война 1941—1945 гг.), во-первых, и, во-вторых, осмысление природы сегодняшнего дня страны, глубокое проникновение в важнейшие проблемы жизни современного советского общества.

Именно здесь, наконец, ключ и к «расшифровке» того «соцреализма», за который, бывало, приходилось ратовать и «Новому миру». Недаром в характеристиках Твардовским эстетической платформы журнала, которые мы приводили выше, так бросается в глаза почти полное отсутствие ссылок на соцреализм. Упор делался прежде всего на реализм, на художественную правду вообще, — и именно так интерпретировался и термин «соцреализм», когда он появлялся в тех или иных публикациях журнала, а порой выносился даже и в заглавие статей. Несомненно, что за всем этим перед нами вырисовываются контуры художественного направления, которое нельзя назвать иначе, чем **критическим реализмом** (если использовать привычные термины).

«Новый мир» действительно пытался продолжать в своей деятельности традиции именно русского критического реализма, и это не должно казаться эпитетом или тривальностью, достойной лишь того высокомерного пренебрежения, с каким Г.Бронман в одной из своих статей, опубликованных в «Октябре», назвал новомирского автора А.Яшина эпитетом Бунина. После долгих лет служения искусству интересам государства, интересам партии, которая сделала литературу просто

средством агитпропаганды, возрождение и отстаивание журналом Твардовского этих традиций как нельзя лучше отвечало на главный социальный запрос общества — знать **правду**, если даже и не всю (всю правду, по выражению Виктора Некрасова, тогда сказать никто не позволил бы*), то всё-таки **только** правду:

«Правды — вот чего в первую очередь не хватает русской литературе. Писатель — изголодался, слишком привык говорить с оглядкой и с опаской», — писал Евгений Замятин ещё в 1924 году, до приобщения искусства к соцреализму(31).

Повторяем: новомирское художественное направление, с нашей точки зрения, можно и следует определять, таким образом, именно как направление критического реализма, ибо и в основе прозаических и поэтических публикаций журнала, и в основе его критики лежало прежде всего стремление к правдивости и к критическому осмыслению реальной действительности своего времени и прошлого, тогда как направление журнала «Октябрь» характеризовали сознательный отказ от критики реального социализма, следование традициям соцреалистической литературы 40—50-х гг. и всем тем принципам, которые лежали в основе сталинских концепций государства и культуры.

Это критическое направление журнала «Новый мир» вполне отчётливо обозначилось ещё в 1953 году, спустя девять месяцев после смерти Сталина, в первом же журнале Твардовского, когда В.Померанцев осмелился выдвинуть толстовский критерий искренности в искусстве, и осталось таким же и тогда, когда Твардовский в своей статье «По случаю юбилея» (1965г.) сформулировал в качестве основного требования к литературе именно критерий правды:

«Всё, что талантливо и правдиво в искусстве, — нам на пользу. И, наоборот, всякая фальшь, всякая ложь, как и всякое наше недомыслие, — во вред нам и вернее всего может быть использовано нашими врагами против нас»(32).

Учитывая реальные условия зависимости искусства от государственной власти, в которых существовал журнал «Новый мир» в 50—60-е гг., не следует говорить о какой-либо архаичности или упрощённости ведущих идейно-эстетических принципов журнала А.Твардовского, об эпигонстве или о тривиальности критерия художественной правды. И нужно, как мы видели, очень осторожно подходить к трактовке содержания официальных материалов, опубликованных в журнале, очень внимательно различать нюансы в использовании журналом официальной терминологии, учитывая ту объективную журналильно-цензурную ситуацию и ту политическую атмосферу в стране, с которыми и была связана история существования и история борьбы «Нового мира».

При этом следует иметь в виду и то очень важное обстоятельство, что стержневая эстетическая установка новомирской критики, опиравшаяся, как было уже сказано, прежде всего на критерии правдивости и высокой художественности искусства, имела и ярко выраженную просветительскую ориентацию — на борьбу за повышение культурного, эстетического и профессионального уровня советской литературы, сопрягалась прежде всего

с «очистительной» работой. В своей борьбе с ремесленничеством, литературной поделкой критика «Нового мира» была принципиальной, бескомпромиссной и последовательной. Она руководствовалась при этом чисто профессиональными, прежде всего, требованиями к литературному делу и в этом смысле выполняла в обществе функцию своего рода барометра его культурного уровня.

Эта политика, естественно, не могла правиться тем из литераторов, чьи произведения резко критиковались или, тем более, саркастически высмеивались на страницах «Нового мира». Так, например, на пленуме СП РСФСР в 1966 году писатель И.Стадинок жаловался на «жестокие критические разносы», которым подверглись на страницах «Нового мира» произведения В.Очеретина, Е.Карпова, М.Алексеева, В.Фирсова, В.Чивилихина, В.Тельпугова, А.Исбаха, А.Калинина и др. В.Чивилихин пытался доказать, что эти «разносы» были «несолидной критической игрой без правил», А.Дымшиц назвал критику «Нового мира» «односторонне-критицистской, групповой, во многом эстетской» и т.п. «Сколько там предвзятых оценок, проработочных, издательских отзывов о Долматовском, Софропове, Штейне, Пермяке, Алексееве!» — жаловался он на пленуме(33). Недовольство и злоба этих литераторов, «обиженных» журналом Твардовского, росли из года в год — до тех пор, пока не представился удобный момент уничтожить журнал.

Но и всё это тоже было закономерным следствием той деятельности журнала, которая определялась его ориентацией на демократические принципы организации советского общества и на критерии критического реализма. И всё это нашло своё отражение в тех ежегодных новомирских программно-отчётных обращениях «От редакции», которые по традиции помещались в каждом десятом номере и существовали с 1958 по 1965 год включительно. Если собрать их воедино и сделать своего рода коллаж из сформулированных там принципов, то это и будет та самая программа, смысл и характер которой мы попытались очертить выше:

«Критика придаёт законченный облик журналу, яснее очерчивает его физиономию. С этой точки зрения мы надеемся, что... статьи вместе с рецензиями «Книжного обозрения» дают читателю представление о критериях «Нового мира» применительно к искусству...»(34).

«Отдел критики и библиографии «Нового мира» видит свою задачу в борьбе за глубокую идейность, высокий художественный уровень нашей литературы»(35).

«Обширный отдел критики и библиографии журнала будет по-прежнему, но — как мы надеемся — с большей последовательностью придерживаться принципа рассматривать произведения литературы с позиций жизни, с точки зрения верности их действительности, оценивать не по заглавию и не по «номинальному» содержанию, а по их подлинной идейно-художественной ценности, невзирая на лица»(36).

Отдел критики «поддерживает всё новое, свежее и талантливое в литературе» и «особенно работу писателей над произведениями на современную тему». «При этом, как и в других разделах, мы надеемся на

привлечение новых сил, на тесный союз опытных критиков и литературоведов с молодыми»(37).

«Особое значение мы придаём борьбе с серостью, холодным ремесленничеством, изготовлением на скорую руку поверхностных сочинений. Такие сочинения не только бесполезны — они наносят прямой вред, поддерживая иллюзию, что в сложном и трудном литературном деле можно обойтись без труда, без усилий мысли»(38).

* * *

В этой первой главе мы попытались в кратких чертах обозначить, разумеется, лишь самую общую идейно-эстетическую платформу новомирской критики, её легальную теоретическую основу и политику в контексте журнально-цензурной ситуации 50—60-х гг. Перейдём теперь к более детальному изучению новомирской критики, следуя той схеме, которую мы выбрали изначально, а именно: всмотреться в литературную критику журнала в её основных мировоззренческих и эстетических тенденциях через подробное исследование творчества наиболее значительных и репрезентативных, с нашей точки зрения, для критики «Нового мира» авторов — В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Снявского. Обращение к этому материалу позволит нам понять, что «Новый мир» был органом действительно очень широкого демократического течения, внутри которого можно различить весьма разнообразные идейные и эстетические тенденции, не говоря уже о творческих индивидуальностях. Станет окончательно ясно, надеемся, и то, что при определении направления журнала нельзя ограничиваться лишь материалами официальной, декларированной программы журнала, его отчётами перед читателем или публикациями вынужденного характера. Рассмотрение творчества четырёх критиков «Нового мира» даст нам также возможность увидеть, по каким основным руслам развивалась русская демократическая общественная мысль 50—60-х гг., какие периоды эволюции она прошла в осмыслении действительности вплоть до сегодняшнего дня, какие позиции занимали критики по отношению к тем или иным событиям журнальной жизни, какие темы и проблемы волновали каждого из них.

Г Л А В А II. ТВОРЧЕСТВО ВЯЛАКШИНА

Краткая биографическая справка

Владимир Яковлевич Лакшин родился в Москве в 1933 г. В 1955-м окончил филологический факультет МГУ, был оставлен в аспирантуре на кафедре русской литературы и защитил кандидатскую диссертацию (по Чехову и Л.Толстому).

Литературно-критический дебют Лакшина связан с первым журналом А.Твардовского, где он в 1954 г. опубликовал свою первую работу («О мастерстве драматурга», «Новый мир», 1954, 4). Постоянным автором журнала Лакшин становится сразу по возвращении Твардовского в «Новый мир» летом 1958 г. За первые четыре года своего сотрудничества в журнале (с 1958 г. по 1961 г.) Лакшин опубликовал девять работ: четыре статьи и пять рецензий, построенных на материале современной советской и зарубежной прозы, истории литературы и литературной критики.

Сближению Лакшина с редакцией «Нового мира» способствовало его участие в комиссии по литературному наследию новомирского критика Марка Щеглова, яркий талант которого чтили в журнале Твардовского. Лакшин явился первым составителем книги литературно-критических работ М.Щеглова, отзыв на которую был опубликован в «Новом мире» в 1959 г. в рубрике «Книжное обозрение». В дальнейшем Лакшин публикует ряд других материалов из наследия М.Щеглова, пишет воспоминания и статьи, посвящённые литературной судьбе и творчеству одного из первых и самых одарённых критиков «оттепели»(1).

В июне 1962 года по приглашению А.Твардовского Лакшин переходит из редакции «Литературной газеты» в «Новый мир» и становится членом редколлегии, ответственным за литературно-критический отдел журнала. Однако редакторское поприще не препятствует собственно критической деятельности Лакшина. Он пишет так же много, как и прежде: за период с 1962 г. по 1966 г. критик опубликовал в «Новом мире» двенадцать работ, построенных на довольно разнообразном материале.

По праву первого критика журнала Лакшин имеет и ряд привилегий в выборе тем и сюжетов для своих выступлений. Так, в частности, ему «достаётся» на разбор «редкий роман», по выражению А.Солженицына, — «Мастер и Маргарита» М.Булгакова, впервые опубликованный в 1967 году в журнале «Москва».

Боевой полемический темперамент Лакшина—журнального деятеля можно проследить по таким его работам, как «Иван Денисович. Его друзья и недруги» (1964 г.), статьям «Читатель, писатель, критик» (1965 г. и 1966 г.) и «Пути журнальные» (1967 г.).

С 1967 года Лакшин становится фактически первым заместителем главного редактора ввиду того, что формально кандидатура Лакшина на этот пост не была утверждена секретариатом СП. За период с 1967 г. по 1969-й включительно Лакшин публикует восемь работ, построенных главным образом на материале истории литературы, журналистики и драматургии. Исторический материал при этом выбирается критиком как удобный фон для разговора о проблемах современности в условиях ожесточения цензуры. Кроме того, начиная со статей «Читатель, писатель, критик», Лакшин всё

более удаляется от «конкретной» критики (конкретного литературного анализа), отдавая предпочтение общелитературной, общезурнальной и общеполитической проблематике.

О популярности Лакшина-критика в те годы свидетельствует, в частности, целая литература полемических откликов на его статьи 60-х годов в оппозиционной «Новому миру» прессе.

После разгрома редколлегии журнала А.Твардовского В.Лакшина была предложена должность литературного консультанта в журнале «Иностранная литература», где он оставался вплоть до начала «перестройки». Три года Лакшина (по его собственным словам*) не печатали, но вскоре он опубликовал ряд статей на историко-литературные темы и книги: «Толстой и Чехов» (1963, 1975 гг.), «А.Н.Островский» (1976 г.), «Биография книги» (1979 г.).

В 1986 году Лакшин переходит в журнал «Знамя» на пост первого заместителя главного редактора, однако почти не выступает со статьями в своём журнале. «Конкретной» критикой Лакшин также практически не занимается. Если не считать опубликованных им книг и статей по истории литературы, а также его теле- и кинодеятельности, то можно сказать, что тема «Нового мира» времён Твардовского, постепенно уходящая в историю литературы и журналистики, заняла не последнее место в творчестве критика в 70-е — начале 90-х гг. Так, он написал две книги воспоминаний — «Вторая встреча» («Советский писатель», М., 1984г.) и «Открытая дверь» («Московский рабочий», М., 1989г.), центром которых являются главы об А.Твардовском и некоторых бывших новомирицах — М.Щеглове, И.Саце, С.Маршаке, генерале Горбатове и др. В 1977 г. Лакшин опубликовал за границей, в общественно-политическом и литературном альманахе «Двадцатый век», свою статью-ответ на литературные мемуары А.Солженицына «Бодался телёнок с дубом» под названием «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» (Т.С.D.Publications LTD, Лондон, 1977 г., выпуск второй). Это выступление положило начало полемике, которая печатно оформилась и углубилась в мировоззренческое разделение, которое наметилось ещё с конца 60-х гг. внутри общедемократического движения. В этой полемике также приняли участие бывшие новомирицы — Ф.Светов, И.Сац, В.Некрасов, Б.Можасв и некоторые другие.

Среди публикаций В.Лакшина конца 80-х — начала 90-х гг., затрагивающих различные обстоятельства истории журнала Твардовского, две статьи — «В кильватере» («Огонёк», 26 июня 1988 г.) и «Не власть в беспамятство» («Знамя», 1988 г., №8) — являются отзвуками стародавней полемики «Нового мира» с «Молодой гвардией». В двух других публикациях критика о новомирицком прошлом — «Один день...» и три года» («Московские новости», 11 июня 1989 г.) и «Без покаяния» («Комсомольская правда», март 1990 г.) всплывает имя Солженицына. Наконец, в ответ на перепечатку газетой «Аргументы и факты» в конце 1989 г. отрывка из книги Солженицына «Бодался телёнок с дубом» Лакшин публикует в этом же издании отрывок с сокращениями из своей статьи-ответа Солженицыну 1975 г. («Ещё о Твардовском и Солженицыне», «Аргументы и факты», декабрь 1989 г.), что переносит, таким образом, давнюю и известную лишь узкому кругу людей полемику В.Лакшина с А.Солженицыным в советскую печать и, в свою очередь, открывает новую полемику — между В.Лакшиным и Б.Можасвым (письмо Б.Можасва в редакцию «АиФ» — «Канюва печать и нательный крест», «АиФ», 1990, №3, с.5; ответ В.Лакшина Б.Можасву — «В запале полемики», «Вечерняя Москва», 18 февраля 1990 г.;

ответ Б.Можаяна В.Лакшину — «Ещё о кашиновой печати и пательном кресте», «Книжное обозрение», 6 апреля 1990 г., с.5,7).

Упомянутая полемика В.Лакшина с А.Солженицыным, а также с Ф.Световым и Б.Можаяным будет частично рассмотрена нами в настоящей главе, ибо она, как упоминалось выше, отражает существенный этап в истории общественной демократической мысли в посленовомирскую эпоху. **

Создание правдивого и точного портрета В.Я.Лакшина как литературного критика на основе изучения его новомирского творчества представляет ряд специфических трудностей, не всегда возникающих при обращении к творчеству других авторов новомирского отдела критики. Дело, конечно, не в количестве работ Лакшина, хотя по числу публикаций за весь период существования журнала Лакшин побил, как говорится, все рекорды среди своих новомирских коллег: ему принадлежит около тридцати работ, опубликованных в «Новом мире» и постросинных на самом различном материале (современная советская и зарубежная проза, история литературы, драматургии и журналистики; филология, политика, философия и пр.).

Главная трудность в изучении творчества критика состоит в уяснении степени искренности и адекватности его литературно-критического самовыражения личностному литературно-критическому «я»(2).

Почему возникает такая проблема?

Здесь следует обратить внимание на следующие характерные моменты, отличающие критику Лакшина. Первой особенностью творчества Лакшина и даже очевидным свойством его критического темперамента (что подтверждается его новомирскими и последующими работами) являются, несомненно, и всегдашняя ориентированность его критики на то, чтобы быть прежде всего словом ведущего журнального политика и стратега, и столь же несомненный соответствующий настрой и самого критического его таланта. Если рассматривать идеологическое содержание новомирских статей Лакшина, то здесь с полной очевидностью вырисовывается ориентация его критики прежде всего на **официальную** идейно-эстетическую платформу журнала «Новый мир». И уже это весьма затрудняет, как нетрудно понять, выяснение его собственного, личного мировосприятия и мировоззрения. Такой **программный характер** статей и рецензий Лакшина объясняется, несомненно, тем, что Лакшин был не просто одним из ведущих критиков журнала, а членом редколлегии, заведующим критико-библиографическим отделом, а затем заместителем главного редактора, и этот круг его деятельности, безусловно, накладывал печать как на личностное самоощущение критика, так и на характер его литературно-критических выступлений. Статьи и рецензии Лакшина воспринимались читателями и осознавались самим критиком как выражение официальной журнальной политики, а проведение журнальной политики, как известно, всегда сопряжено с решением целого ряда тактических проблем, которые могли мешать полноте и свободе критического самовыражения Лакшина.

** В.Я.Лакшин внезапно умер в 1993 году, когда настоящая работа была уже завершена и находилась в производстве.

Второй отличительной чертой критического темперамента Лакшина является явная склонность его к полемике. Большинство его крупных статей отличается полемической заострённостью, носит наступательный характер. Они направлены против врагов «Нового мира», в защиту новоявленных публикаций. В этом улавливается постоянное внимание Лакшина к тому, как принимались другими печатными органами новоявленные материалы, и всегдашняя его готовность их отстаивать. Этот расчёт всё время присутствует в статьях Лакшина, и потому его полемика также носит программный характер, что объясняется опять-таки его положением руководящего критика, журнального деятеля, постоянно ориентированного на то, чтобы выступать всё время как бы от лица журнала в целом, а не просто от своего собственного.

Таким образом, для исследователя творчества Лакшина встаёт проблема уяснения характера и уровня личностного элемента в подходе критика к своему материалу, т.е. **проблема адекватности литературно-критического самовыражения Лакшина.**

Эта проблема уже была обозначена в литературе о Лакшине. А.Солженицын, например, отзывался о нём как о «гении осмотрительности»(3). С.Рассадин в своей статье «Что было, чего не было...», опубликованной в «Литературной газете», упоминая о работе Лакшина 1964 года «Иван Денисович. Его друзья и недруги», также выражает сомнения в адекватности интерпретации Лакшиным философии повести А.Солженицына своему подлинному пониманию произведения:

«Профессиональная обязанность критика сказать... ну, если не больше того, что сказали романист и поэт, то прояснить и развить его мысль, — пишет С.Рассадин в названной статье. — А мы постоянно пребывали в том состоянии, когда прояснить мысль Быкова или Искандера значило написать донос от чистого сердца и легкомысленного ума...

Самая знаменитая статья «эпохи Твардовского», «Иван Денисович. Его друзья и недруги» Лакшина, — могла ли она решиться на то, чтоб полностью выявить солженицынские мысль и боль? Неизбежная и не на шутку почтенная роль статьи была и вот в чём: защитить великую повесть, окружить оговорками, подостлать соломки, но возможности обезопасить от вмиг обьявившихся стукачей»(4).

Сам Лакшин в своей статье 1977 г. «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» также признавался в том, что бывали порой в его новоявленных статьях «слова и способы высказывания принуждённые, вынужденные тактикой, журнальными «соображениями»(5). Насколько правомочны высказанные А.Солженицыным и С.Рассадиным предположения относительно вопроса об абсолютной адекватности самовыражения критика и что конкретно имел в виду сам Лакшин, говоря о тактике журнальных соображений, — вот одна из проблем, которые нам придётся постоянно решать в настоящей главе.

Наконец, ещё один существенный момент, который следует учитывать при рассмотрении творчества Лакшина в целом, — **вопрос о творческой и мироозраженческой эволюции критика.** Со времён работы в «Новом мире» Лакшин прошёл довольно большой, почти сорокалетний, творческий путь, однако характерно, что ни в одной из своих поздних работ критик сам прямо

не говорит о каких-либо изменениях в своем мировосприятии, в своей эстетической концепции. Даже в книгах мемуарного жанра, опубликованных в эпоху «перестройки», не найти у Лакшина каких-то самопризнаний исповедального характера, за исключением, может быть, частных замечаний о юности; нет в них и обозначения противоречивости прожитого пути, попыток объяснить свою новомирскую позицию — отделить редактора от критика. Эта лакуна в самораскрытии ставит перед нами ещё одну проблему: посмотреть, как развивался Лакшин не только на протяжении новомирского периода его деятельности, но и в последующие времена.

Наша цель состоит, таким образом, в том, чтобы, рисуя литературно-критический портрет Лакшина в его живом развитии, попытаться решить все эти проблемы. В связи с этим при обращении к его творчеству нас особенно будет интересовать показательность выбора Лакшиным той или иной темы или сюжета для своих выступлений; во-вторых, — **содержательная сторона идейной программы Лакшина** (общественной и эстетической), которая позволит уяснить законы, которые критик сам себе устанавливал на разных этапах своей эволюции; и в-третьих — характерные для В.Лакшина приёмы и методы «конкретного» критического анализа, уровень адекватности его литературно-критических интерпретаций реальному содержанию произведений, принципы его подхода к ним.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА

Первый период творчества В.Лакшина формально-хронологически может быть очерчен рамками 1958—1962 гг. — временем, когда критик сотрудничал с редакцией «Нового мира» в качестве постоянного автора и не стал ещё членом редколлегии, заведующим литературно-критическим отделом «Нового мира». Фактически же первый период должен быть обозначен более широкими рамками — до 1964 года, то есть до той поры, когда, как нам кажется, Лакшин стал осознавать себя одним из руководителей журнала, о чём свидетельствует, в частности, взятая критиком на себя летом 1963 года инициатива защитить статьёй (от лица всего журнала) повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», выдвинутую «Новым миром» на соискание Ленинской премии 1964 года.

В обозначенный период Лакшин написал, как уже упоминалось, более десяти работ. Попробуем вначале выявить характер и основную проблематику книг, которые Лакшин выбирает для своих литературно-критических выступлений.

1. МАТЕРИАЛ И ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЕЙ В.ЛАКШИНА

Общий обзор творчества Лакшина первого периода показывает, что критика интересуют в первую очередь книги активного, демократически-гражданского характера, обращённые к актуальным для эпохи после 20-го и

22-го съездов КПСС проблемам демократического переустройства общества в целом, на решение которых и была, в сущности, нацелена работа всех отделов журнала «Новый мир».

К книгам такого типа относятся, во-первых, художественные произведения, обращённые к проблеме нравственно-гражданского идеала советского человека 50-х — начала 60-х гг. Угол зрения, центральный интерес Лакшина при рассмотрении этой проблематики направлен на выяснение содержательной стороны нравственных ценностей и гражданских ориентаций героя эпохи, имеющих значение для формирования его мировоззрения. К книгам такого характера можно отнести роман Д.Гранина «После свадьбы» (1958г.) и повесть Ф.Абрамова «Безотцовщина» (1961г.), темой которых является перевоспитание героя в духе идеалов «подлинного социализма», а также повести П.Нилина 50—60гг., в которых изображено столкновение героев, являющихся выразителями двух противоположных систем нравственных ценностей — сталинской и «подлинно коммунистической».

Ко второму типу книг, интересовавших Лакшина, следует отнести произведения, которые были ориентированы на то, чтобы оказать практическое воздействие на социально-политическое и экономическое преобразование страны. К книгам такого рода принадлежат, например, «деревенские» очерки Е.Дорошина, вошедшие в книгу «Дождь пополам с солнцем» (1959г.).

К третьей группе книг можно отнести произведения, ставшие уже классикой, анализ которых, неизменно изобилующий самыми острыми ассоциациями и аллюзиями, Лакшин строит всегда в целях обсуждения тех или иных актуальных литературно-публицистических проблем. Это, в частности, повесть М.Булгакова «Жизнь господина де Мольера» (изд-во «Молодая гвардия», 1962 г.).

Наконец, к четвёртому типу относятся книги, обращённые к проблемам художественного и литературно-критического мастерства: сборник литературно-критических статей В.Александрова «Люди и книги» (1956 г.); вышедшие в 1957—1958 гг. книги советских писателей о литературе и об искусстве (К.Федин, М.Шагинян, В.Саянов, П.Аптокольский, В.Иинбер); книга статей, заметок и воспоминаний «Воспитание словом» С.Маршака (1961 г.). Материал этих книг служит Лакшину прежде всего для изложения и формулирования своих собственных литературно-эстетических позиций.

2. ОБЩЕСТВЕННО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ

Если говорить об идеологическом содержании критики Лакшина раннего новомирского периода, то здесь в первую очередь следует отметить безусловное отстаивание критиком коммунистической, коллективистской идеологии, ибо те нормы гражданского поведения человека, те нравственные ценности, которые Лакшин утверждает в своих статьях и рецензиях в связи с разговором о положительном герое времени, всегда имеют самое прямое отношение к теориям Маркса и Ленина, к установочным идеям 20-го съезда КПСС.

Так, например, в своей статье «Возмужание героя» (1958,12) критик видит «основной интерес» романа Д.Гранина «После свадьбы» «в истории характера Игоря Малюткина, в его возмужании и переменах» (с.199).

В чём же заключаются эти перемены?

«Идеи советского коллективизма, коммунистические идеи», которые Игорь «и раньше знал, но как нечто умозрительное, теоретическое, далёкое от каждодневной жизни, стали наконец, — поясняет критик, — его мыслями и его опытом» (с.202).

Эти идеи и являются для Лакшина «наиболее острыми и значительными», играющими главную роль в «формировании мировоззрения поколения пятидесятых годов, вступающего сейчас в жизнь» (с.199).

«Доверие к труду и людям, к советскому коллективизму и коммунистическим идеям» (с.205) — плод жизненной и духовной эволюции (по определению критика) и другой героини романа Гранина — Веры Сизовой, изображённой первоначально как типичная комсомолка-активистка, жёсткая и категоричная в своих суждениях, с «книжным, окостенелым, сугубо прямолинейным» представлением о жизни (с.202).

Характерно с точки зрения идей, акцентируемых Лакшиным в этой статье, повторённое критиком вслед за романистом суждение о том, что старые большевики, «лучшие представители первого поколения, строившего Советскую власть», даже «в самые тяжёлые моменты» «сохраняли выдержку, упорство, веру в коммунистические идеи» (с.202)(6).

Наконец, характерно, что и позиции, противоположные нравственно-гражданским позициям положительных героев Гранина, рассматриваются Лакшиным в плоскости тех же идеологических критериев. Так, отрицательность образа Лосена определяется его антиколлективистской психологией (частнособственнический эгоизм, скепсис и пр.), характер которой передаёт фраза другого отрицательного героя романа — Ипполитова: «На кой чёрт нам пужна эта морочка?.. Не занкались бы мы про эту модернизацию, никто бы с нас не потребовал...» (с.205).

Одной из главных проблем повести Фёдора Абрамова «Безотцовщина», которую Лакшин рассматривает в статье «Спор с ветхой мудростью» (1961,5), также является проблема «перевоспитания» героя. В повести Абрамова путь «перевоспитания» проходит пятнадцатилетний деревенский мальчик Володька. Окружением ему с детства была привита «философия» жизни и труда, знакомая нам уже по отрицательным персонажам Гранина: не дать «ездить на себе», «работа дураков любит» и пр. Своим же «перевоспитанием» в духе хозяйской заинтересованности в работе и отношении к человеку «с серьёзностью и доверием» Володька обязан спосей встрече («новремя», как пишет Лакшин) с «таким человеком, как Кузьма, заставившим его и на себя, и на жизнь взглянуть по-другому!» (с.225). Залог успеха морального воздействия Кузьмы на Володьку критик видит в воспитании доверия к советской жизни:

«Доверие, полное и безраздельное доверие рождает праздничную радость свободного и самостоятельного труда, а с нею вместе и сознание ответственности перед людьми» (с.226).

«Доверие», «свободный самостоятельный труд», «ответственность» рассматриваются критиком как несомненные ценности коммунистической этики, равно как и в сюжетном финале повести Ф.Абрамова Лакшин видит символ «неизбежной победы коммунистической сознательности над остатками грибовской психологии» (с.228).

Наконец, те же нравственные и гражданские коммунистические идеалы отстаиваются критиком и в его статье «Доверие» (1962,11), посвящённой анализу повестей Павла Нилина «Жестокость» и «Через кладбище». Содержание моральной категории «**доверие**», которое является центральным образом-символом повестей Нилина, Лакшин связывает с «чистотой идеалов революции», «**коммунистической совестью**» (с.228) и с «восстановлением социалистической законности и ленинских норм партийной жизни» (с.299). В этом смысле показателем выбора Лакшиным эпизода из повести «Жестокость», где описывается столкновение двух героев, выражающих два противоположных типа отношения к жизни и к людям. Подлинно коммунистические позиции, по Лакшину, отстаивает следователь угрозыска Венька Мальшев, а выразителем прежних норм мышления является газетчик Яков Узелков (Якуз). Венька Мальшев упрекает Якуза за то, что тот приукрашивает в своих статьях события:

«Для коммуниста, — говорит он, — не существует «лжи во спасение», «ложь во спасение», сопутствующая недоверию к людям, никогда ещё не вела к большой правде. Так думает Венька, — шутит Лакшин. — И ему трудно примириться с жуеолом «высших соображений».../

Все доводы разума, — продолжает критик, — действуют лишь до тех пор, пока твой собеседник не уронит многозначительно: «Этого я не могу вам объяснить», или «Не нам с вами решать», или «Есть такое мнение», или «Считают, что это необходимо» (с.234—235).

Лакшин критикует якузовскую «философию» жизни и вслед за Нилиным отстаивает право гражданина на активное вмешательство в дела государства и личную нравственную ответственность людей за свои поступки.

Как видим, в критике произведений советской прозы нравственно-гражданской проблематики Лакшин защищает **демократические** принципы устройства общества, свободное отношение человека к труду и к другим людям, основанное на доверии. Общественно-мировоззренческая позиция его основана на вере в торжество коммунистических идеалов, которые критик противопоставляет сталинизму во всех его проявлениях.

Так, говоря в рецензии на повесть Абрамова «Безотцовщина» о «перевоспитании» Володьки, Лакшин следующим образом уточняет понятие «перевоспитание человека»: «воспитание воспитанию рознь», раньше тоже воспитывали человека, но воспитывали в страхе. Характерно для мировоззрения Лакшина тех лет и то, что «корни... нерадения, равнодушия к труду, к общему благу» он видит в пережитках «собственнической, антиобщественной психологии», сохранившейся в «невыветрившемся запахе дедовских сундуков» (с.229).

С отрицанием сталинизма в критике Лакшина тесно связана, как уже было сказано, и тема «доверия», постоянным мотивом проходящая в прозе Гранина, Абрамова, а у Нилина становящаяся центральной проблемой. Как

подчеркивает Лакшин в своей рецензии на повести Нилина, сама эта моральная категория антиномична сталинизму:

«Известна фраза, оброненная как-то Сталиным: «Здоровое недоверие — это хорошая основа для совместной работы» (с.236).

Характерна с точки зрения критики сталинизма и рецензия Лакшина на повесть М.Булгакова «Жизнь господина де Мольера» («Две биографии», 1963, 3), в которой проблема взаимоотношений между художником и властителем совершенно однозначно трактуется Лакшиным как коллизия, типичная и для сталинской эпохи.

«Трудно смириться с мыслью, — пишет Лакшин, — что самое ничтожное, самое по существу непрочное — внешний успех или неуспех, и успех не столько у театральной залы, сколько у королевской ложи, — вот от чего зависела судьба Мольера-драматурга» (с.254).

Лакшин негодует против «произвола личного вкуса, грубого субъективизма» навязываемых Мольеру «решений», проводя, как нетрудно понять, прямую аналогию с практикой сталинского тоталитаризма. А в конце своей рецензии Лакшин уже открыто пишет о том, что «жизнь господина де Мольера имеет большее отношение к жизни гражданина Булгакова», чем к жизни Мольера (с.254):

«Теперь мы знаем, почему талантливая пьеса «Бег», снятая с репертуара в 1928 году и грубо, бесосновательно названная Сталиным в его письме к В.Билль-Белоцерковскому «антисоветским явлением», появилась на сцене лишь в 1957 году. Знаем и то, что биография Мольера, о которой мы говорим, законченная ещё в 1933 году, могла увидеть свет лишь в 1962-м» (с.255).

Утверждение «подлинных» коммунистических идеалов, отрицание сталинизма как основное идеологическое содержание критики Лакшина раннего периода вполне соответствовало, таким образом, идейному направлению, которое мы охарактеризовали выше как официальную линию журнала «Новый мир». Насколько, однако, эта идейная позиция, выразившаяся критиком в его статьях, соответствовала его действительным убеждениям?

Программные высказывания критика в статьях и рецензиях этого времени, взятые во всей их совокупности, отражают **неформальное** отстаивание Лакшиным в этот ранний период его творчества коммунистических идеалов.

Характерной в этом смысле является, например, трактовка критиком понятия доверия. В статье о повестях П.Нилина Лакшин утверждает, что «доверие», в его понимании, — «не просто отвлечённая моральная истина, а идея социалистическая», «важная часть коллективистской, социалистической морали» (с.235), которая была возвращена обществу после 20-го съезда партии:

«В своих повестях Нилин отстаивает мысли, ныне, особенно после 20-го и 22-го съездов партии, как будто очевидные для каждого коммуниста, каждого сознательного советского гражданина, — пишет Лакшин. — Но ведь было

время, когда доверие выглядело идеей сомнительной, а крайняя подозрительность поощрялась и культивировалась./.../

Партия решительно осудила злоупотребления былых лет./.../ Надо ли, таким образом, доказывать, что мысль о доверии, утверждаемая Нилиным, и современна, и значительна?» (с.236).

В тех же идеологических параметрах, что и понятие «доверие», трактуется Лакшиным «гуманизм» — одна из центральных тем литературы «оттепели». Так, в своей рецензии на сборник литературно-критических статей В.Александрова («Литературное и человеческое», 1958, 10) Лакшин пишет:

Книга В.Александрова «проникнута тем ярким, органическим гуманизмом, который нигде не равен всеприматию и всепрощению. И это, конечно, потому, — объясняет критик, — что основа гуманизма В.Александрова — осознанный марксистский взгляд на жизнь, историю, культуру» (с.243).

«Гуманизм» и «доверие» являются, таким образом, для Лакшина понятиями **социально-классовыми**, в их марксистско-ленинском определении, и поэтому, когда Лакшин говорит о гуманизме Нилина, он и спешит сразу же оговориться:

«...Последовательно отстаивая идею доверия к людям и отмечая всякую подозрительность, не впадает ли сам Нилин в некоторый род благородной, но утопической иллюзии, не смыкается ли он в своём гуманизме с христианской терпимостью к врагу, с толстовскими идеями всепрощения?»

Нет, Нилин не хуже любого знает, что в современном мире, где не искоренены ещё насилие и злоба, насилием приходится отвечать на насилие, что у нашего общества есть свои недоброжелатели, к которым наивно было бы идти с пальмовой ветвью доверия» (с.236).

В более поздней своей статье «Три меры времени», написанной по случаю выдвижения очерков Ефима Дороша (вошедших в книгу «Дождь пополам с солнцем») редакцией «Нового мира» на Ленинскую премию 1966 г., Лакшин особо подчёркивает «партийность» «деревенских» исследований Дороша. Лакшин дифференцирует понимание партийности: для него партийность книги Дороша — это партийность «вне расчёта на конъюнктурный успех», очерки «призваны помочь партии улучшить положение в деревне», многие, описанные им в этой книге недостатки в жизни деревни «исправляются ныне в согласии с последними решениями партийных Пленумов»(с.227). «Гражданская ответственность», «мужество писателя», «моральная ответственность писателя перед читателем, перед будущими поколениями», искренность — вот, в определении Лакшина, критерии настоящего творчества, они и определили подлинно партийный характер его книги (с.228).

Итак, боевая публицистическая нацеленность творческой работы П.Нилина, Д.Граина, Ф.Абрамова и Е.Дороша, активное гражданское участие писателей в общедемократическом движении (в рамках социализма и «подлинной» коммунистической идеологии) за переустройство жизни являются для Лакшина решающим основанием для поддержки произведений этих авторов. Статьи Лакшина, посвящённые анализу их произведений,

тоже написаны именно с позиций активного **гражданского** участия в перестройке общества на демократический лад, проникнуты агитсталинским пафосом, утверждают коммунистические идеалы. Причём отстаивание коммунистических идеалов имсет для критика отнюдь, как уже сказано, **не формальный** характер, связано не с принудительно-обязательной для критика подцензурной формой высказывания, а отвечает искренней его убеждённости, действительной вере его в идеалы революции, в то, что сталинизм есть всего лишь искажение ленинского плана построения социализма и т.д.

Перед нами, таким образом, вырисовывается достаточно цельная общественно-мировоззренческая позиция, которую позже стали определять формулой **«социализм с человеческим лицом»** и которая включала в себя борьбу за демократическое обновление страны, за искоренение всяческих беззаконий, за «очищенный», «подлинный» марксизм (со всеми характерными, однако, для марксизма ограничениями классового характера). В этом отношении такие цитированные уже высказывания Лакшина, как «...в современном мире... не искоренены ещё насилие и злоба», «насилом приходится отвечать на насилие», «у нашего общества есть свои недоброжелатели, к которым наивно было бы идти с пальмовой ветвью доверия» и т.п., нашему сегодняшнему восприятию кажутся какими-то догматическими заклинаниями. Именно они и провоцируют вопрос об адекватности самовыражения критика.

Следует, однако, помнить, что русская демократическая мысль в рассматриваемый период постепенно высвобождалась из пут марксистских догм, хотя для многих общественно-литературных деятелей высказывания типа лакшинских были немыслимы уже во второй половине 60-х гг.

Насколько подвержен оказался этому процессу освобождения Лакшин — вопрос, который мы будем рассматривать в следующих главах работы. Здесь же следует, может быть, особо подчеркнуть то, что рассмотренная нами в этой главке общественно-мировоззренческая позиция Лакшина была характерна не только для официальной позиции «Нового мира», но в какой-то мере **репрезентативна и для его критики в целом.**

Мы не раз говорили, что «Новый мир» представлял собой довольно сложный организм: он был действительно «окном» и «целью» для людей демократических умонастроений. И если идея демократии, идея свободы, отвержение сталинизма были общими идеями новомирцев, то не только оттенки в выражении их, но и само понимание их у разных авторов «Нового мира» было разным. В этом смысле Лакшин в своих статьях раннего периода выражал позицию, довольно характерную для определённой и очень значительной части демократической интеллигенции 50-х—начала 60-х гг., — позицию, близкую взглядам А.Твардовского и линии редколлегии журнала, которая была в те годы ориентирована вполне лояльно по отношению к коммунистической идеологии и даже пыталась развивать её «идеальные» потенции.

3. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ

Художественная слаженность произведения, писательское мастерство всегда были для Лакшина отправными эстетическими критериями при оценке им любого произведения. Поэтому характер его эстетических ориентаций теоретически полнее всего и выражен именно в тех его статьях и рецензиях, которые были посвящены проблемам мастерства.

Это, во-первых, статья «Глазами писателей» (1959, 8), обращённая к книгам советских писателей-«классиков» о литературе и об искусстве (К.Федин, «Писатель, искусство, время», 1957г., М.Шагинян, «Об искусстве и литературе», 1958г., В.Саянов, «Статьи и воспоминания», 1958г., П.Антокольский, «Поэты и время», 1957г., В.Инбер, «Вдохновение и мастерство», 1957г.). Это, во-вторых, рецензия Лакшина на книгу заметок и воспоминаний С.Маршака «Воспитание словом», 1961г. («Слово — золотое», 1962, 4); и, наконец, рецензия на сборник литературно-критических статей В.Александрова «Люди и книги», 1956г. («Литературное и человеческое», 1958, 10).

При рассмотрении этого материала мы попытаемся выяснить содержательную сторону эстетических суждений Лакшина, соотнося позицию критика прежде всего с «официальной» новомирской эстетической платформой и выявляя при этом степень адекватности отдельных утверждений критика его действительному восприятию искусства. Кроме того, мы попытаемся охарактеризовать методологию анализа критиком выбранных им книг и сам характер отбора этих книг и авторов, понадобившихся ему и послуживших материалом и поводом для обсуждения теоретических проблем эстетики.

Скажем с самого начала, что те эстетические принципы, которые Лакшин излагает в названных работах, являются опять-таки достаточно общими для официальной советской марксистско-ленинской концепции искусства, разработанной на основе эстетических учений Белинского, Добролюбова, Чернышевского и других мыслителей прошлого столетия из лагеря революционной демократии.

Статья «Глазами писателей» в первую очередь характерна с точки зрения тех просветительских задач, которые Лакшин ставит перед собой в соответствии с новомирской программной установкой на борьбу за высокий художественный уровень литературы. Так, несколько главок своей статьи Лакшин посвящает выяснению довольно элементарных, с нашей сегодняшней точки зрения, требований к писательской профессии. Опираясь на тексты Федина, Саянова, Антокольского, Павленко, Инбер, Лакшин объясняет молодым, что есть вдохновение и писательский труд, в чём состоит мастерство художника (с.216—218); он отстаивает индивидуальность писательского взгляда как психологическую первооснову творческого процесса (с.220); говорит о значении для художника высокой культуры и специальной филологической подготовки (с.221). Словом — отстаивает самые обычные, элементарные общенормативные критерии мастерства и профессионализма в литературном деле.

В этой же статье критик формулирует и такой принцип своего подхода к искусству:

«...Подлинная культура всегда демократична, — пишет Лакшин, — она не уводит в интеллигентские скиты, а ставит писателя ближе к народу» (с.221—222).

«Демократичность как содержание и направление искусства» и «демократичность как общедоступность искусства» выдвигаются Лакшиным в качестве эстетических принципов и критериев и в рецензии на книгу критика В.Александрова, который в числе других теоретиков марксистской литературной критики, работал в 30-е годы в журнале «Литературный критик». Лакшин с удовольствием повторяет вслед за ним, что «культурности нет без демократизма», что культура должна быть связана «и просто с обыкновенными людьми»(7), да и главное достоинство стиля самого Александрова видит опять-таки в общедоступности его слога (с.246).

Проводимый Лакшиным в статье «Глазами писателей» и в рецензии на книгу В.Александрова принцип «демократичность как общедоступность» является, по существу, одной из характеристик многомерного понятия «народность» искусства — в той его трактовке, которую «народность» получила в революционно-демократической (впервые у Добролюбова), а затем в марксистско-ленинской эстетике. В 30-е годы в журнале «Литературный критик» (в котором, как уже упоминалось, работал и В.Александров) был разработан ещё один социально-исторический критерий «народности» искусства, который должен был определять принципы подхода марксистской критики к творчеству писателей непролетарского происхождения. Этот принцип использовался и Александровым в его этюдах о народности Некрасова, Пушкина и Достоевского. И Лакшин, разбирая этот материал, видит достоинство этюдов Александрова в **«особой чёткости социальных акцентов, чувстве исторической эпохи»** — качествах, которые, в свою очередь, критик объясняет тем «благотворным влиянием», которое оказала «на Александрова-критика его вторая профессия: социолога-марксиста» (с.245).

В чём же конкретно, с точки зрения Лакшина, состоит «благотворность» подхода Александрова к литературному наследию прошлого? Каково содержание принципа «народности» в его понимании?

«Признавая неизбежную классовую ограниченность и противоречивость мировоззрения писателей прошлого, — объясняет Лакшин, — В.Александров стремился выделить, взять всё нестареющее и живое в наследи классиков, то, что может послужить и нам, и нашим потомкам, что нужно и дорого помнить для воспитания человека новой, социалистической культуры» (с.245).

Один из характерных примеров применения принципа «народности» В.Александровым Лакшин рассматривает на материале его статьи «Идеи и образы Достоевского» (1948 г.):

Александров ставил перед собой задачу «понять жизненную трагедию Достоевского, — пишет Лакшин, — не с тем, чтобы «всё простить», а с тем, чтобы не угерять, не отвергнуть вместе с реакционными сторонами и идейное и художественное богатство — антибуржуазную критику, поиски путей к

будущему «золотому веку», осуждение индивидуализма и антиобщественности и т.д.» (с.245—246).

Никак не дистанцируясь от точки зрения В.Александрова на значение творчества Достоевского, Лакшин полностью, таким образом, разделяет этот социально-классовый и, в сущности, ограниченный и утилитарный подход к искусству, характерный вообще для марксистско-ленинской эстетики.

Другой пример того же понимания Лакшиным принципа «народности» литературы мы находим в его анализе статьи В.Александрова «Частная жизнь», посвящённой творчеству Б.Пастернака. В этой статье, по словам Лакшина, Александров «тщательно анализирует стихи Б.Пастернака, стремится нащупать самый «нерв» его поэзии, суть его эстетических и идейных представлений» (с.247). Какова же эта суть с точки зрения В.Александрова и в определении Лакшина?

«В поэзии Пастернака В.Александров находит доказательства против неё же самой: ощущение тщетности искусства, усталости и разочарования (вступление к «Спекторскому»)», — пишет Лакшин (с.247).

Но «щё важнес» для Лакшина «проверка поэзии действительностью». Отношение Пастернака к жизни и к людям, его мировосприятие Лакшин характеризует как «органически чуждое» жизни простого народа, ибо поэт, по его словам, «умело и любовно» изображает лишь «идиллический покой» и «замкнутый семейный мирок, в центре которого один или двое» (с.247).

«Чувство, питающееся самим собою, не включающее в себя жизни других людей, срабатывается, истрачивается, изнашивается; остаётся пустота, становится тоскливо и скучно. Очевидно, и жить и писать нужно по-другому» (с.247), — цитирует критик строки из статьи Александрова.

И вот этот-то взгляд, эту-то позицию Александрова в отношении к творчеству Пастернака Лакшин и определяет как «органический демократизм», заявляя при этом, что «за двадцать с лишним лет, прошедших со дня появления этой статьи, никто, кажется, не сказал о Б.Пастернаке убедительнее и лучше» (с.247). В.Александров, оказывается, «подошёл к творчеству Б.Пастернака без раздражения», но и «без предвзятого восторга, он не ставил своей целью «разгромить» или, наоборот, «защитить» поэта» (с.247), а потому и сумел высказать о Б.Пастернаке суждения, которые Лакшин называет «безукоризненно доказательными». А именно:

«Конечно, поэзия Пастернака — не вершина советской поэзии, но всё же явление значительное, и понимать Пастернака нужно», — цитирует Лакшин слова Александрова. И далее: «Но нужно помнить и то, о чём безоговорочные ценители Пастернака забывают: вопрос о мастерстве поэта нельзя отделять от вопроса о том, как поэт относится к жизни и к людям». Это последнее, подчёркивает Лакшин, для Александрова «необходимый критерий ценности всякого поэтического произведения» (с.247).

Критерий художественного мастерства, талантливости в искусстве является, таким образом, для Лакшина хотя и безусловным, но отнюдь не основополагающим. Основополагающим для него остаётся критерий

содержательной направленности творчества писателя — его народности. «Народность» же искусства понимается Лакшиным в её марксистско-ленинской трактовке — как мера эстетической и социальной доступности искусства массам, как мера отражения в творчестве художника (даже если он принадлежит к непролетарскому классу) интересов и мирозерцания широких народных масс. Конкретное применение принципа «народности» в таком его понимании приводит, как мы видели, к определению мировоззрения Достоевского как классово-ограниченного, а поэзии Пастернака — как недоступной для народа. Очевидная **узость** такого понимания творчества этих художников нагляднее всего, пожалуй, раскрывает **псевдодемократический характер типичных для марксистской эстетики представлений о «народности»**, где всякое «не-народное» мирозерцание считается ошибочным, а всякое сложное искусство объявляется недоступным для народа. Именно эти мировоззренческие шоры мешают Лакшину проникнуть в ту общечеловеческую проблематику, которая лежала в центре поисков Достоевского и Пастернака и которая является в действительности основой духовной жизни человека, а значит — и народа. Отсюда же, несомненно, и то пренебрежение, с которым Лакшин говорит и о модернизме, не случайно роняя в своей статье 1966 года об очерках Е.Дороша такую, например, фразу:

«Надо сразу отделить его (Дороша. — Н.Б.) от тех любителей старины, для которых русская древность с её соборами и иконописью — последнее модное увлечение. искусство для немногих, стоящее где-то невдали от Пикассо и Модильяни и своей наивной простотой ласкающее утончённый вкус» (с.223).

Эстетическая позиция Лакшина и, в частности, его отношение к творчеству Пастернака были характерны для **целой группы новомирцев**, в том числе и для А.Твардовского, о чём мы ещё будем говорить.

Итак, обращаясь к идейно-эстетической системе взглядов Лакшина в период его раннего новомирского творчества, мы можем, следовательно, заключить, что его критика была неизменно сориентирована на марксизм (чем во многом объясняется, видимо, и то, что для теоретического анализа, имевшего целью высказать его собственное эстетическое кредо, он **выбрал** книгу именно марксистского автора). Во всяком случае, именно эта опора на марксизм становится, как мы видели, **основной причиной** того, что Лакшин оказывается во многом слеп и глух к творчеству художников иного мирозерцания, даёт неадекватное прочтение их произведений(8). Тут налицо именно тот как раз случай, о котором вспоминает Лакшин в статье «Чехов и Лев Толстой» (1960, 1), цитируя слова Толстого: «Споришь с человеком и не можешь понять, как он не сдаётся на очевидность доказательств. А пожди и ты увидишь, что несогласие его от того, что его **мировоззрение несогласно с твоим**» (с.234).

Лакшин в принципе всегда верно формулирует общие задачи критики реалистической ориентации, добросовестно усваивая исходные положения, высказанные на этот счёт революционно-демократической теорией критики(9). Но в реальном приложении этих общих формул к конкретному материалу в его раннем творчестве сказывается неизменная и немалая

содержательная и методологическая ограниченность подхода, объясняемая общей ужасью его марксистской философской и эстетической веры.

Это ощущается и в конкретном анализе им тех произведений, на обращении к которым Лакшин раскрывает свою общественную и литературно-критическую ориентацию. Выбирая материалом для статей и рецензий прозу социально-нравственной проблематики — роман Д.Гранина, повести Ф.Абрамова и П.Нилина, критик интересуется прежде всего именно идеологическим их содержанием, художественная же ценность этих произведений измеряется в первую очередь степенью их правдивости. Правда, при этом неизменным критерием оценки произведения для Лакшина всегда остаётся и его художественная слаженность. Более того — он, как правило, никогда не избегает разговора о слабых сторонах той или иной в целом положительно оцененной и защищаемой им вещи (так, в рецензии на роман Д.Гранина «После свадьбы» критик отмечает, что роман «небезупречен» в художественном отношении, и обстоятельно разбирает его слабые стороны). Однако с точки зрения оригинальности художественного мышления, характера их художественной идеи эти произведения, в сущности, не разбираются. Показательно в этом смысле и то, что, выдвигая в своих ранних работах об искусстве и мастерстве критерии высокой художественности, Лакшин в качестве **ориентиров и авторитетов** выбирает таких писателей, как Федин, Саянов, Павленко, Антокольский, то есть советских «программных» авторов, официально признанных классиками соцреализма. И тут Лакшину тоже изменяет эстетический вкус, художественное чутьё, ибо он не видит, не чувствует того, каков действительный уровень этой литературы.

Впрочем, эти характеристики и выводы относятся, напоминаем, лишь к критике Лакшина первого периода его новомирского творчества. Перейдём теперь к рассмотрению его работ второго этапа, когда Лакшин из обычного автора журнала превращается в одного из его руководителей.

ВТОРОЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА

Второй период новомирского творчества В.Лакшина мы связываем не столько с моментом назначения его членом редколлегии, заведующим отделом критики «Нового мира» (июнь 1962 г.), сколько со временем опубликования в журнале статьи «Иван Денисович. Его друзья и недруги», где критик выступил впервые перед читателями в роли выразителя линии редколлегии журнала Твардовского. Среди многочисленных работ Лакшина, написанных в период с 1964-го по 1969 год, мы отобрали для рассмотрения в основном самые большие, проблемные его статьи, такие, как «Иван Денисович. Его друзья и недруги» (1964, 1), «Читатель, писатель, критик» (1965, 4; 1966, 8), «Пути журнальные» (1967, 8), «Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (1968, 6) и «Посев и жатва» (1968, 9).

Характерно, что и в этих своих статьях Лакшин выступает, в общем, с тех же идейно-эстетических позиций, что и в рассмотренных нами работах первого периода его деятельности. Так, например, в статье 1967 года «Пути журнальные» общая идейная платформа критики журнала сформулирована

Лакшиным как защита «народности литературы, идейности, реализма» (с.241). Народность и идейность непосредственно сопрягаются критиком в первую очередь с такими понятиями, как «советскость», партийность, несовместимыми, с его точки зрения, с идеологией сталинского социализма. Реалистическим же произведением для критика является то, которое отвечает требованию безусловной правдивости. И этот критерий остаётся главным для Лакшина и в конце 60-х гг., ибо, как он объясняет в статье «Пути журнальные», цитируя Добролюбова, в нашей литературе слишком мало говорится правды, а «общество ещё не сыто правдой». Отсюда и вытекает главная задача критики — «всюду, где можно, находить и поддерживать эту правду» (с.242).

Требованию находить и поддерживать правду отвечают, в частности, уже упомянутые нами статьи Лакшина о прозе Д.Гранина, Ф.Абрамова, П.Нилина и Е.Дороша. В свете этого же требования в своих работах второго периода Лакшин ведёт полемическую борьбу против той части критики, которая стремится перечеркнуть такие опубликованные в «Новом мире» произведения «критического» реализма, как повесть В.Сёмина «Семеро в одном доме», рассказ И.Грековой «Дамский мастер», повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матрёнин двор» А.Солженицына.

Но если задачи критики, основные критерии подхода в работах Лакшина второго периода остаются в целом прежними, то характер его крупных статей по сравнению с предшествующими публикациями существенно меняется: материалом его работ становятся по преимуществу художественные произведения, напечатанные в самом «Новом мире», а задачей его критики — защита этих публикаций и отстаивание идейной линии «Нового мира». Такая нацеленность критики Лакшина на решение общежурнальных проблем, ощущаемая и в тех его работах, где предметом анализа являются и неновомирские произведения, не случайна: она была сопряжена, несомненно, с его положением заведующего отделом критики, а затем, с 1966 года, — и. о. первого заместителя главного редактора журнала.

С этой точки зрения наиболее характерными работами Лакшина второго периода являются три его наступательные по своему пафосу и по своей публицистической полемической направленности статьи — «Иван Денисович. Его друзья и недруги» 1964 г. и «Читатель, писатель, критик» 1965 и 1966 гг., непосредственно обращённые к произведениям, напечатанным в «Новом мире» и раскритикованным в оппозиционной журналу прессе. На эти работы мы главным образом и будем опираться в этой части исследования, стремясь взглянуть в специфику и своеобразие критики Лакшина.

Рассмотрим вначале статью о повести А.Солженицына.

1.«ИВАН ДЕНИСОВИЧ. ЕГО ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ» (1964, 1)

Предыстория статьи

После публикации в «Новом мире» (1962, 11) повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», ставшей литературным и общественным событием огромного значения и принесшей автору и журналу всемирную славу, последовал ряд положительных отзывов на повесть в советской прессе. «...Одобрение повести «Один день Ивана Денисовича» Президиумом ЦК КПСС повлияло, конечно, на литературную критику», — пишет Ж.Медведев в своей книге «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». Но «было очевидно, — замечает тут же Медведев, — что в основном литературные критики и авторы рецензий были искренними в своём восхищении и формой, и содержанием повести»(10). Публикация её была воспринята авторами мемуарных и художественных произведений о сталинских лагерях как «прорыв» темы, сигнал к действию — нести рукописи в издательства и журналы. В конце 1962 и в начале 1963 гг., по свидетельству Ж.Медведева, большое количество литературы о сталинских лагерях поступило и в «Новый мир»(11). Однако система издательской деятельности не была приспособлена для публикации такого рода произведений: «Один день...» был напечатан, как известно, лишь с разрешения Президиума ЦК КПСС. Кроме того, консервативные силы, как в партийно-правительственном аппарате власти, так и в литературном, прекрасно понимая всю меру грозившей им опасности в случае «прорыва» литературы о лагерях (многие из этих людей сами принимали участие в репрессиях и преступлениях сталинского правительства), стали готовить, по выражению Ж.Медведева, «контрнаступление движению за свободу печати»(12).

Встречи Хрущёва с представителями творческой интеллигенции 1962—1963 гг. следует понимать именно в этой связи. Внешне они носили форму борьбы с абстракционизмом и модернизмом, как о том пишет Лакшин в своей книге «Открытая дверь», но по существу были началом наступления на реализм. «Начали с абстракционизма, — приводит он слова Твардовского, — но, кажется, имеют-то в виду реализм»(13). Действительно, Хрущёв в своей речи от 8 марта 1963 года критиковал и И.Эренбурга, и В.Некрасова, и К.Паустовского — писателей, ничего общего не имевших с абстракционизмом или модернизмом в искусстве. А сами акции Хрущёва 1962—1963 гг., направленные на подавление свободы слова, были результатом давления на него консервативных сил в литературе и художественном мире.

Между тем в январском номере «Нового мира» за 1963 год было опубликовано два рассказа Солженицына — «Случай на станции Кречетовка» и «Матрёнин двор», а в седьмом — рассказ «Для пользы дела», и Хрущёв в своей речи 8 марта 1963 года ещё раз похвалил повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Ж.Медведев в своей книге «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича» приводит библиографию статей с положительной оценкой повести и рассказов Солженицына, появившихся в центральных и в провинциальных газетах, в литературных, общественных и научных филологических журналах в 1963 г.(14). В начале 1964 года, как пишет Ж.Медведев, появилось ещё два отзыва в поддержку «Одного дня...»: статьи В.Палюна «Здравствуйте, кавторанг» («Известия», 15 янв. 64г.) и С.Маршака «Правдивая повесть» («Правда», 30 янв. 64г.). Но «в

общем потоке положительной критики, — замечает далее Ж.Медведев, — были и отдельные недовольные голоса, однако они сразу получили энергичный отпор» из «Нового мира»(15).

Ж.Медведев имеет в виду статью Лакшина «Иван Денисович. Его друзья и недруги», которая, по словам Медведева, появилась не столько на волне критики, сколько поддержки повести Солженицына официальными органами советской прессы. Лакшин, говоря о причинах, побудивших его написать эту статью, в своей книге «Открытая дверь» указывает на два существенных момента.

Это, во-первых, как пишет Лакшин, понимание им того факта, что «каждый новый выпад против повести означал ещё одно: ослабление позиций Хрущёва в борьбе со сталинистами»:

«Затаившаяся, но ещё сильная аппаратная бюрократия со сталинистской крепостнической психологией жаждала реванша. «Новый мир», напечатанный повесть Солженицына, был точкой приложения сил, удобным полем борьбы, на котором получали проверку отнюдь не одни лишь литературные амбиции. — пишет Лакшин. — /.../Внимательно следя за тем, как разворачивается эта борьба, я решил не советуясь в редакции, на свой страх и риск, написать статью о повести Солженицына и её критиках», — объясняет Лакшин мотивы написания статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги»(16)(17).

Второй существенной причиной появления статьи (статья «Иван Денисович. Его друзья и недруги» «имела в те дни и ещё один прищел», как пишет Лакшин в той же книге) было то, что «повесть была выдвинута редколлегией на Ленинскую премию, и успех этого дела зависел, в частности, от того, как пойдёт общественное обсуждение»(18).

В самом деле, статья Лакшина посвящена была не столько анализу самой повести, сколько разбору критических выступлений против «Одного дня...», опубликованных в 1963 году. Лакшин разбирает повесть в этой статье лишь по пунктам предъявленных Солженицыну и герою его повести претензий со стороны консервативной критики. Два письма — Твардовского и Солженицына, адресованные критику в эти дни (текст которых он впервые опубликовал в книге «Открытая дверь» на с.206—208), также свидетельствуют о том, что статья Лакшина написана «в связи с «Ив. Денисовичем», как выразился А.Твардовский(19). Поэтому, говоря о причинах, побудивших Лакшина написать статью о повести А.Солженицына, следует отвести от критика брошенное в его адрес несправедливое обвинение Бориса Можая. Можая в своей статье «Ещё о каляевой печати и натальном кресте» (1990 г.) пишет в частности, что Лакшин, мол, «решился похвалить Солженицына» лишь после высокой оценки повести Твардовским, Чуковским, Маршаком и Хрущёвым: «ведь лучше было тогда находиться среди друзей Ивана Денисовича, чем среди его недругов», — пишет Можаяв(20). Здесь, к сожалению, Можаяв, в пылу полемики с Лакшиным, грешит против истины. Выступив со статьёй, Лакшин действительно проявил инициативу журнального деятеля, взявшего на себя обязанность отстоять новоявленного автора и позиции журнала. Тем не менее приходится признать и то, что задачи защиты позиций журнала вытеснили в этой статье задачу объективного художественно-содержательного исследования произведения.

Статья Лакшина, как уже говорилось выше, написана «в связи с «Иваном Денисовичем», то есть нацелена в первую очередь на отражение тех критических нападок на повесть, которые появились незадолго до и в разгар обсуждения её в советской печати, приуроченного к Ленинским

премиям 1964 года. Поэтому основной материал, к которому обращается критик, — это статьи о повести, среди которых наиболее провокационной по аргументации была «Трагедия одиночества и «сплошной быт» Н.Сергованцева («Октябрь», 1963, 4)(21). Эта статья, по словам Лакшина, заслуживала особого внимания, так как выражала «некоторую позицию, пусть не очень прочную, но упорную в своих пристрастиях, унаследованных от вчерашнего дня нашей жизни»(с.230). Н.Сергованцев и является главным оппонентом Лакшина, а статья «Друзья и недруги», собственно, и построена на ответах Лакшина Сергованцеву. Эта статья может быть интересна нам, таким образом, с точки зрения выяснения двух аспектов критики Лакшина: во-первых, тех идейных позиций, которые он отстаивает как выразитель линии «Нового мира» в споре с критиком из «Октября», и, во-вторых, методологии того конкретного анализа повести, который вырисовывается в ходе отражения Лакшиным аргументов оппонента.

Каковы же основные претензии Сергованцева к повести Солженицына и к Ивану Денисовичу?

Во-первых, Иван Денисович для Сергованцева «рядовой человек»: «его духовный мир весьма ограничен, его интеллектуальная жизнь не представляет особого интереса» (с.228—229)(22). Во-вторых, Шухов не соответствует, по словам Сергованцева, «выкованному всей нашей жизнью» и «всей историей советской литературы» «типичному народному характеру», то есть, как объясняет критик, характеру «борца, активного, пытливого, действительного», ибо Шухов «никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покоряется им душой и телом», «вся его жизненная программа, вся философия сведена к одному: выжить!». И если Иван Денисович жив, то какой ценой?! «Жив-то, — пишет Сергованцев, — в сущности, страшно одинокий человек, по-своему приспособившийся к каторжным условиям...» (с.229). Наконец, в-третьих, Сергованцев считает, что автор повести «пытается представить» Ивана Денисовича «примером духовной стойкости», в то время как «круг интересов героя не простирается дальше лишней миски «балабды», «левого» заработка и жажды тепла» (с.229). Словом, заключает Сергованцев, черты характера Шухова унаследованы «не от советских людей 30—40-х годов» (с.229).

«Не от советских людей...», — подхватывает Лакшин. — — критический приём, слишком хорошо известный, но в последние годы не практиковавшийся в литературе. Н.Сергованцев снова вводит его в оборот»(с.229). Лакшин берётся ответить Сергованцеву по всем пунктам предъявленных Ивану Денисовичу претензий. Характерно при этом, что вопросу о народности и «советскости» главного героя повести Солженицына Лакшин так же, как и его оппонент, придаёт исключительно важное значение.

В попытке защитить «Ивана Денисовича» звучит очень часто искренний голос критика, он преисполнен и уважения к герою, и горечи. В этом смысле особенно сильным местом статьи является рассказ критика о своём личностном восприятии событий, описанных в повести Солженицына:

«...Не знаю, как другие, — пишет Лакшин, — но я, читая повесть, всё время возвращался мыслью к тому, а что я делал, как жил в это время. Помню, ходил в университет по Моховой по утреннему скрипучему снежку мимо Кремля.

любил смотреть на его красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены, зубрил только что введенный курс «сталинского учения о языке». «Газеты писали о прокладке русла Волго-Дона и о скоростных плавках стали, об укрупнении колхозов и продвижении на север культуры грузинского чая», — словом, «страна жила своими большими и малыми заботами...!...!

Но как же я не знал об Иване Шухове?

Как мог не чувствовать, что вот в это тихое морозное утро его вместе с тысячами других выводят под конвоем с собаками за ворота лагеря в снежное поле — к о б ъ е к т у? Как мог жить я тогда так мирно и самодовольно? !...!

Вот от каких мыслей труднее всего отвязаться» (с.226)(23).

Эта попытка критика поставить себя в трагическую атмосферу одного дня из жизни лагерника, сопоставив его участь и заботы со спокойствием и беспечностью бытового проблем вольного человека, вызывает у читателя сопереживание автору статьи — ощущение неловкости, стыда за своё «незнание», личной ответственности, вины за происшедшее... Это место статьи Лакшина является одним из наиболее лирических, эмоционально действующих, написанных с силой художественного убеждения.

Упрёк Сергованцева в том, что Солженицын изобразил «рядового» героя, Лакшин справедливо отвергает как догматический, «нормативный»: «Рядовым человек кажется тому, — пишет Лакшин, — кто торопливо проходит перед фронтом, не заглядывая в лица. Тому же, кто сам стоит в ряду, его положение не кажется ни рядовым, ни обыкновенным» (с.230). А кроме того, «в том и заключается для нас оригинальность и высокое значение Солженицына как художника, — подчёркивает Лакшин, — что духовное содержание он открывает не вне своего «рядового» героя и его бедного, страшного быта, не поверх его, а в нём самом, в трезвой и точной, без прикрас, картине лагерной жизни» (с.233).

Основной спор Лакшина с Сергованцевым идёт по линии **борьбы идей**, которые не столько важны для понимания объективного содержания повести Солженицына, сколько отражают суть актуального **эпохального спора**, характер противоборства двух оппозиционных общественно-политических направлений мысли в пределах одной исходной мировоззренческой системы. Так, вся контркритика Лакшина построена на попытке опровергнуть главный тезис статьи Сергованцева о «несоветскости» образа Ивана Денисовича и доказать обратное.

Как же Лакшин доказывает обратное?

Во-первых, ссылками на высокую партийную оценку повести Н.С.Хрущёвым и Л.Ф.Ильичёвым (с.223, 245). Во-вторых, акцентированием подлинной народности героя повести, которая проявилась, в частности, в хозяйском отношении Ивана Денисовича к труду, к любой работе — не только до ареста, в деревне, но и в лагере. Любовь к труду была привита Ивану Денисовичу, по мнению Лакшина, в первые годы советской власти и является коммунистической моральной ценностью (подлинным коллективизмом), антиномичной сталинизму. Не случайно Лакшин приводит в своей статье слова Л.Ф.Ильичёва, назвавшего «Один день...» произведением, которое «воспитывает уважение к трудовому человеку», и высказывание Хрущёва (из речи на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1962 года) о том, что Сталин «состоял членом рабочей партии, но не

уважал рабочих. О людях, вышедших из рабочей среды, он пренебрежительно говорил: этот из-под станка! Куда, мол, он суётся!» (с.245). В-третьих, «советскость» героя Солженицына доказывается Лакшиным тем, что Шухов не верит в Бога. И, наконец, в-четвёртых, — указанием на то, что человеческое достоинство и порядочность героя являются подлинно **социалистическими ценностями**, равно как и характер взаимоотношений Шухова с другими заключёнными.

Аргумент «**трудолюбие**» берётся Лакшиным как один из главных для опровержения положения статьи Сергванцева о «трагедии одиночества» Ивана Денисовича. Иван Денисович, как пишет Лакшин, не одинок потому, «что труд для Ивана Денисовича был внутренней опорой» (с.234). Причём трудолюбие Шухова как черта подлинно коллективистическая, выражающая сознательность героя, противопоставляется критиком паразитизму придурков как порождению сталинизма. Придурки — своего рода «аристократия» лагеря» (с.240), пишет Лакшин и далее справедливо отмечает, что, попреки Ивана Денисовича в «приспособлении» к лагерю, никто из критиков не обратил внимания почему-то на различие манер «приспособления» у героя повести и у придурков:

«Таким «аристократом» среди эков, — пишет Лакшин, — был дисвалый по штабному бараку, за которого Ивану Денисовичу с утра пришлось мыть пол...!.../

Вот гвоздём торчит за спиной кладущего стену Шухова десятник Дэр, который на воле в министерстве работал и здесь «дозорщиком» устроился...!.../

В таких же «наблюдателях», как окрестил их Иван Денисович, ходит другой придурок — Шкуропатенко...!.../

В людях, презирающих общий труд, — подчёркивает далее критик, — и выбирающих любой ценой долю полегче, развивается самоуверенное и хамоватое лакейство. Получая высокую пайку, ухитряясь жить в сносных условиях даже в лагере, придурки чувствуют за собой право третировать работяг как людей второго сорта» (с.240).

С целью противопоставить трудолюбие Шухова паразитизму придурков как категории идеологические Лакшин обращается далее к повести Б.Дьякова «Пережитое» («Звезда», 1963, 3), которую оппозиционный «Новому миру» лагерь литераторов, в свою очередь, выдвигал в эти годы в качестве произведения о лагерях, написанного — в отличие от «Одного дня Ивана Денисовича» — с подлинно коммунистических позиций.

Так, Лакшин пишет, что в отличие от Шухова, который о своей болезни «говорит в санчасти «совестливо, как будто зарясь на что чужое», герой Дьякова всеми путями старается избежать тяжёлой работы: «сначала лечит в лагерной больнице свою застарелую грыжу, потом устраивается библиотекарем, затем инсценирует роман для художественной самодеятельности...». Лакшин приводит также слова одного из героев повести: «...Есть эки, считающие, что придурки — особо привилегированные, подхалимы и доносчики... Это неверно! Конечно, попадают и такие. А в основном придурок — знаете кто? Умный заключённый п р и дураке-начальнике» (с.244)(24). И далее Лакшин подытоживает свой анализ темы труда в обоих произведениях, которая входит в его систему доказательств народности образа Шухова.

Следуя логике Дьякова, пишет критик, можно назвать «умными заключёнными» в повести Солженицына Шкуропатенко, Дэра, разсвешегося завстоловой, не говоря уже о «безобидном и добродушном Цезаре Марковиче» (с.244), тогда как подлинно народные типы у Солженицына — это Иван Денисович, кавторанг, Турин и Клевшин, ибо «это народность не внешняя, не показная, а глубоко коренящаяся в них», выражающаяся в отношении героев Солженицына к людям и к труду.

Позже, в статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», Лакшин выразил открыто ту мысль, которая легла в основу его анализа образов «работяг» и «придурков»:

«Механизмы отношений, действующие на воле, уродливо, искажённо, ужасно, но повторены в лагере». В лагере «в среде, казалось, самых отверженных и уравненных своим несчастьем эков возникает своя иерархия, отношения господства и подчинения, свои малые привилегии»(25).

В статье же 1964 года критик лишь намекнул на сходство социальной организации жизни в лагере с жизнью на воле. Так, он писал:

«В различных областях духовной деятельности, в том числе и в литературе и искусстве, тоже есть свой тяжёлый и серьёзный труд сенокоса и свой прибыльный и легкий промысел красилей, работающих по модному трафарету» (с.244—245).

Лакшин абсолютно верно, на наш взгляд, развивает мысль о параллелизме ситуаций в лагере и на воле, понятно и его стремление противопоставить людей, честно зарабатывающих на свой хлеб, паразитам, наживающимся на работе других. Вместе с тем вся система доказательств Лакшиным «народности» и «советскости» образа Шухова в связи с его трудолюбием построена на идеологической максиме, не имеющей, в сущности, отношения к собственной мысли автора повести. Ибо, следуя Лакшину, получается, что Иван Денисович не одинок потому, что трудолюбив и, значит, в отличие от лагерных паразитов, не впитал в себя психологию сталинских времён, а остался верен подлинно социалистическим коллективистским нравственным ценностям, являя собою, таким образом, подлинно народный характер. Этот тезис подкрепляется и прямой характеристикой Лакшиным книги Солженицына, «при всей жестокости её темы», как «партийной книги, «воюющей за идеалы народа и революции»(!) (с.245).

Между тем объяснение действительных причин усердия Шухова в строительстве стены, которое даёт сам Солженицын в третьей части «Архипелага», совсем не связано с социалистическим самосознанием его героя:

«Такова природа человека, что иногда даже горькая проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом, — пишет Солженицын. — Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал), и в литейном деле, и в плотницкой, и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой»(26).

Более того, помимо этого авторского пояснения, и в самой повести есть ремарка, помогающая понять истинные причины «лихого азарта» героя, которую, кстати, приводит в своей статье и Лакшин:

«...Шухов так устроен по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули» (с.234).

Другим аргументом в системе доказательств «советскости» Шухова является у Лакшина характер нравственных поступков и отношения героя к товарищам по бригаде: «он «миски не лижет», к куму не ходит «стучать», лагерь не ожесточил Шухова, ибо он «сохранил» «доброту, отзывчивость, сердечное, благожелательное отношение к людям, за которое ему в бригаде платят тем же»; бригада для него «как одна большая с е м ь я»(27):

«Шухов принимает как закон жизни эту трудовую солидарность и — пусть это выглядит ещё одним парадоксом — стихийно рождающееся чувство коллективизма. В отношениях людей точно сами возникают черты и свойства, характерные для свободного социалистического общества...» (с.236).

Отожествление Лакшиным трудолюбия и человеческой солидарности с социалистическими ценностями отвечает, по-видимому, вполне искреннему восприятию их критиком как таковых — в духе той философии, той концепции нравственности, которую развивал Лакшин в своих статьях о прозе П.Нилина, Д.Гранина и Ф.Абрамова. Не случайно поэтому и авторскую позицию, тот взгляд на народ, который выражен в повести Солженицына, Лакшин определяет как «характерный именно для советского писателя», «для писателя, вошедшего в литературу в последние годы, ознаменовавшие важными переменами в нашей жизни»(с.244).

Между тем, не отрицая того, что Солженицын формально был в те годы действительно писателем «советским», мы хорошо знаем теперь, что по своим политическим позициям и мировоззрению он уже и к моменту написания «Ивана Денисовича» был писателем скорее **антисоветским**:

«В моём «Иване Денисовиче» 20 съезд и не ночевал, — пишет А.Солженицын в своём седьмом дополнении (май, 1982) к «Очеркам литературной жизни», — он бил не по «нарушениям советской законности», а по самому коммунистическому режиму»(28).

«Антропологический этюд, «выжимка» из жизни ээка» — так, в свою очередь, определил повесть Солженицына Жорж Нива в своей книге «Солженицын». Ведь ээк — это специфическая «особь», принадлежащая к «нации ээков». И выживает ээк, как пишет Ж.Нива, только тогда, когда он опирается на жизненную философию, которая **ничего общего не имеет с социализмом**. И эта философия, отмечает далее Ж.Нива, по крайней мере в двух пунктах совпадает с философией Алешки-баптиста, выражаясь в смиренности с лагерной судьбой и вместе с тем в стремлении сохранить в себе человеческое достоинство(29).

В смиренности Ивана Денисовича с лагерной судьбой Лакшин, однако, не только не видит сближения его философии с Алешкиной, но, напротив, активно противопоставляет как явное достоинство атеизм Шухова

религиозному миросозерцанию Алешки-баптиста. Так, Алешкины слова о смысле молитвы, обращённые к Изану Денисовичу: «Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед богом! Молиться надо о духовном...», — Лакшин считает всего лишь самовнушением (с.233), а своё отношение к смыслу Алешкиных слов выражает следующими оценочными определениями и суждениями:

«Слова Алешки как будто и бескорыстны и искренни, но как наивна и бессильна его вера по сравнению с мужицким здоровым смыслом Ивана Денисовича» (с.233).

Эти «как будто и бескорыстны и искренни», «наивна и бессильна» объясняют причину, по которой в лакшинском списке подлинно народных героев (Шухова, кавторанга, Турина и Клевшина) не оказалось Алешки. Характерен и разбор образа Шухова под этим углом зрения: Иван Денисович «по шерции» «ещё иной раз перекрестится — но в рай и в ад он не может верить и не верит» (с.233), — уверяет критик. И далее так говорит об истоках атеизма Ивана Денисовича:

«Эти черты безрелигиозности в широком смысле слова» «не из тех, что бывали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти»(с.233).

Подойдя вплотную к мысли Солженицына о том, что советская-то власть и есть причина всех народных бед, в том числе и бездуховности, Лакшин, однако, поворачивает её в русло привычных рассуждений:

«У Шухова — такая внутренняя устойчивая вера, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и бог не нужен ему.../Он верит в себя, в свой труд, верит в товарищей по бригаде» (с.233).

Однако Солженицын отнюдь не случайно уделяет большое место в повести разговорам Ивана Денисовича с Алешкой, и не «внушением» для него являются проповеди Алешки, а зерном истины. Кстати, в своей книге «Бодался телёнок с дубом» Солженицын и прямо отозвался о разработке Лакшиным религиозной темы повести как о «досадных тенях» его творчества тех лет(30).

Когда Сергованцев сводит «жизненную программу», философию Ивана Денисовича к задаче выжить и утверждает, что «круг интересов героя не простирается дальше лишней миски «баланды», «левого заработка и жажды тепла», Лакшин совершенно справедливо возражает на это: человеку важно «не просто выжить как-нибудь, любой ценой выжить, но вынести это испытание судьбы так, чтобы за себя не было совестно, чтобы сохранить уважение к себе» (с.231). Но и тут, отвечая на упрёк Сергованцева Шухову в пассивности, «несопротивлении», Лакшин связывает моральный выбор Шухова не с экзистенциальной проблематикой жизни, а с идеологическими факторами:

«...Чтобы бороться, надо знать, во имя чего и с чем бороться. Сенька Клевшин знал, с кем он боролся в Бухенвальде, когда готовил восстание против немцев, а что ему делать здесь, если администрация Особлага — и в этом трагический парадокс — представляет его же родную советскую

власть?/.../Для всех заключённых рано или поздно становилось очевидным, что закон «выворотной», что справедливости не докличешься, сколько ни кричи, и что, стало быть, тут система репрессий, а не отдельные ошибки. Так возникал вопрос: кто же виноват во всём этом?

/.../ Не в том ли и была для Ивана Денисовича и его товарищей главная беда, что на вопрос о причинах их несчастья ответа не было (31). Были догадки, но догадки не вооружают — вооружает знание» (с.238).

Лакшин, конечно, совершенно прав, говоря о том, что в большинстве своём лагерники не могли найти ответа на причины их несчастья, и несправедливо было бы ожидать от них борьбы или сопротивления, в силу чего и упреки героя в «пассивности» совершенно неправомерны. Вместе с тем политическая направленность повести заключалась опять-таки не в том, чтобы осудить собственно сталинизм, но в том, чтобы выступить против коммунизма в целом. А в интервью для Би-би-си(1982г.) Солженицын дал и ещё один ключ к разгадке глубинного смысла повести. Он приводит эпизод, который, по его словам, «как-то не заметили ни в редакции, ни даже когда Хрущёву уже прочли и Хрущёв утвердил эту вещь к печати»:

«...Бригадир Тюрин в конце своего рассказа говорит, что однажды он встретил в лагере своего бывшего командира взвода, и тот ему сказал, что командир полка, который с ним расправился, и комиссар полка, оба в 37-м году расстреляны. И Тюрин говорит: «Всё ж таки есть Ты, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь»(32).

Итак, рассмотрев в основных чертах критику Сергованцева и контркритику Лакшина, попробуем дать оценку этой полемике.

Учитывая провокационный характер главного тезиса Сергованцева (не от советских людей Иван Денисович, а мужик он патриархальный) в контексте времени и политической борьбы 1964 года, следует признать, что Лакшин довольно остроумно и успешно защищает Ивана Денисовича и Солженицына. Своей статьёй он и в самом деле вывел на некоторое время повесть «из-под удара», выявив спекулятивно-нормативный характер претензий Сергованцева (а в его лице и всех прочих ниспровергателей повести). И в этом его заслуга. В этом — боевое значение статьи, где Лакшин отстаивает произведение, которое не только опубликовано в «Новом мире», но и выдвинуто журналом на премию. Несомненно и то, что, защищая эту повесть от нападков нормативно-конъюнктурной критики, Лакшин отстаивает произведение, которое считает поистине незаурядным. Мы чувствуем, что критик находится под сильным впечатлением от прочитанного, и этого нельзя не ощущать и в самой лирической интонации, которая сопровождает его подробный пересказ особенно волнующих его фрагментов солженицынского повествования, и в заметном желании передать читателю своё настроение, сопережить вместе с ним какие-то моменты жизни героя повести: «Вот сейчас мы очнёмся вместе с Шуховым на клопяной вагонке в деревянном, с паутиной шнеч по стенам бараке. С ним вместе, закутаншим ноги в телогрейку, натянувшим на голову одеяло, еле угревшимися и нездоровым, будем тянуть эти минуты после подъёма... И потом выйдем из барака и пойдём за ним по двору, где бегают, запахнувшись

в бушлаты и дрожа от мороза, эски... А потом... опять на мороз...» (с.224).).

В статье Лакшина отсутствует обстоятельный разбор произведения с точки зрения его художественного своеобразия, однако критик специально указывает на то, что причина успеха повести не в лагерной теме, а в таланте, «то есть в чувстве правды автора и умении нам эту правду передать» (223). Критик даёт ключ и к пониманию гениальности простого и строгого сюжетного замысла: «рассказать час за часом об одном дне заключённого», да ещё «даже удачном для Шухова, «почти счастливом» дне (с.224).

В своём разборе повести Лакшин так или иначе затрагивает, конечно, как мы видели, наиболее существенные, реальные, **содержательные** пласты повести. Но характерно, повторяем, что в своей идеологической трактовке произведения Солженицына Лакшин ни на йоту не отходит всё же от официальной идейной позиции своего журнала. И потому вопрос об объективной ценности его содержательного анализа произведения, отнюдь не ординарного в истории русского советского искусства, оказывается не просто вполне правомерным, но даже, в сущности, **необходимым**.

В самом деле, если исключить из нашего поля зрения ряд внешних, журнально-цензурных обстоятельств, объясняющих направленность и причины появления статьи «Друзья и недруги», то как по существу оценить отношение критика к тому художественному тексту, который он разбирает и который использует, в частности, для выражения собственных идейных позиций? И как оценить в этой же связи трактовку повести, предложенную оппонентом Лакшина из журнала «Октябрь»?

Если вспомнить критерии оценки образа Шухова из статьи Сергованцева, то можно согласиться с Лакшиным в том, что они примитивны. Вместе с тем парадокс заключается в том, что в **главном-то Сергованцев как раз и прав: «не от советских людей» Иван Денисович**, а воплощает в себе скорее тип патриархального русского мужика, тип героя толстовской прозы. Прав Сергованцев (с точки зрения эстетики соцреализма) и абсолютно убедителен (с точки зрения логики господствующей мировоззренческой системы) и в своём окончательном выводе: «Нет, не может Иван Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи». Не противостественна и правомочна в этой связи и «глубокая неудовлетворённость» Сергованцева рассказами Солженицына «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка» ввиду верно усмотренной здесь критиком идеи «сострадания», и в самом деле чуждой марксистской этике и эстетике (с.229). И, конечно, Сергованцев ближе к истине, говоря о «несовестности» образа Шухова, нежели Лакшин, пытающийся представить Ивана Денисовича человеком, воспитанным в коллективистской морали и в социалистической нравственности.

Следует признать, что и сам Лакшин отчасти чувствует, если можно так выразиться, нестандартность героя Солженицына, его нетипичность для советской литературы. Это проявляется тогда, например, когда критик касается темы экзистенциального противостояния Ивана Денисовича лагерному социуму, отмечая, что Шухову важно было не просто выжить, а достойно выжить. Лакшин понимает, что именно это моральное

противостояние, нравственное выстаивание человека и есть основная проблематика повести. Лакшин чувствует и то, что и в самом труде, в творческом вдохновении Шухова тоже есть некий элемент совершенно особого «увлечения» работой — того самого «увлечения», о котором и говорил Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». Однако, как и в случае с проблемой нравственного противостояния Шухова, Лакшин пытается подвести под трудолюбие героя идеологическое обоснование: увидеть здесь проявление и признаки подлинно советской, коллективистской этики, имеющие самое прямое отношение к социалистической идеологии. Подобная трактовка Лакшиным философских идей повести Солженицына, имеет мало общего с объективным её содержанием, и, таким образом, перед нами опять-таки то же самое расхождение критической интерпретации текста с его авторской идеей, которое мы наблюдали уже и в некоторых ранних статьях Лакшина (в частности, в тех из них, где критик анализирует творчество больших художников много, чем он, мирозерцация). И точно так же, как и ранее, расхождение это и здесь объясняется опять-таки именно неадекватностью мировоззренческого подхода критика к художественной и философской ткани анализируемого произведения: «педальирование» на марксизм мешает Лакшину подойти к произведению как к некоторой художественной самоценности и попытаться понять его собственное содержание.

Вот почему и здесь опять возникает всё тот же поставленный нами в своё время вопрос — об адекватности самовыражения критика. Отвечает ли интерпретация повести, предложенная Лакшиным в статье «Иван Денисович. Его друзья и недруги», действительному содержанию его мысли или же она есть результат чисто тактического расчёта критика? Ведь если речь идёт всего лишь о сознательной литературной позиции и политике, сорисентированной на цензурные условия, тогда используемый Лакшиным подход хотя и может быть оправдан благородной целью критика защитить повесть, однако отнюдь не снимает вопроса о том, насколько полно выражает этот подход собственную точку зрения критика.

Вспомним в этой связи ещё раз слова С.Рассади́на о том, что в той журнально-цензурной ситуации, когда была написана статья, Лакшин не мог «решиться на то, чтоб полностью выявить солженицынские мысль и боль», ибо «прояснить мысль» автора «значило написать донос от чистого сердца и легкомыслящего ума...», и, следовательно, как пишет Рассадин, «неизбежная и не на шутку почтенная роль статьи была» в том, чтобы «защитить великую повесть, окружить оговорками, подостлать соломки, по возможности обезопасить от вмиг обьявившихся стукачей»(33).

Любопытно, что и Р.Медведев в начале 70-х годов признавал, что Солженицын «не является марксистом, его романы, повести, рассказы написаны не с позиций социалистического реализма», замечая далее:

«Никто не станет утверждать, что Солженицын критикует недостатки нашего общества с партийных или марксистских позиций. И в первую очередь этого не утверждает сам Солженицын. Очевидно, однако, что те недостатки, которые вскрывает Солженицын, действительно существуют в нашем обществе»(34).

Так вот: прав ли Рассадин в своём предположении и было ли подлинное восприятие Лакшинным повести в те годы таким, как его ретроспективно представляет Р.Медведев? Мы не можем с полной уверенностью и сколько-нибудь доказательно ответить на этот вопрос. Но характерно, что сам Лакшин в своих более поздних публикациях нигде и никогда не дезавуировал позицию, занятую им в статье «Иван Денисович. Его друзья и недруги». Напротив, в одном из интервью корреспонденту «Комсомольской правды» (под характерным названием «Без покаяния») Лакшин, вспоминая о причинах появления своей статьи, объяснил:

«Во многих журналах и газетах стали появляться робкие намёки, что это не совсем социалистическое искусство. Тогда я взял и написал большую статью «Иван Денисович. Его друзья и недруги»(35).

Это ретроспективное объяснение критика датировано 1990 годом, когда ничто, казалось бы, не могло мешать свободе его самовыражения, а потому если Лакшин и в начале 90-х гг. подтверждает основной тезис своей статьи 1964 года, причисляя повесть Солженицына к социалистическому искусству, то тогда интерпретацию Рассадина следует, очевидно, считать неубедительной, хотя сам характер приведённого лакшинского высказывания производит всё же впечатление некоторой двойственности, недоговорённости — деталь, к которой мы ещё вернёмся при рассмотрении полемики Лакшина с Солженицыным в 70—90-е гг.

Лакшин как-то заявил Солженицыну, что «всё умеет сказать и при цензуре»(36). Но анализ статьи Лакшина показывает, что в ней нет того слоя, того подтекста, который позволил бы думать, что критик намекает на нечто большее в своём понимании повести, о чём не может сказать прямо. Из содержания статьи — даже там, где критик прибегает к эзопову языку, — не видно, что он и в самом деле «полностью разделял солженицынские мысль и боль», что марксистская терминология и марксистское оснащение статьи есть всего лишь чистый камуфляж.

Таким образом, можно всё-таки, нам кажется, заключить, что *идейно-художественная позиция*, выраженная критиком в статье «Иван Денисович. Его друзья и недруги», была вполне адекватна мировоззрению критика. И ещё раз отметим в этой связи, что позиция эта была характерна отнюдь не для одного Лакшина, но разделялась *целым направлением* в демократическом движении тех лет. Так, в статье «Эпизод из современной борьбы идей», опубликованной в девятом номере «Нового мира» за 1964 год, Юрий Карякин дал повести Солженицына ту же трактовку, что и Лакшин, определив «основную идею повести» как осуждение антинародности культа личности. В том же ключе, что и Лакшин, интерпретировал он и тему труда и паразитизма в повести, отмечая, что «убеждение» «кто не работает, тот не ест» «в крови у трудящегося человека», является «кровным убеждением масс», на которое «опираются коммунисты в борьбе за построение истинно человеческого общества»; паразиты же являются порождением беззаконий времён культа личности (с.232–233). «Характер Шухова, — писал Карякин, — ни в коем случае нельзя свести к «долготерпению» и к «выживанию». Всё дело для него не просто в том, чтобы выжить, а в том, как и для чего выжить. Он выживает не за счёт других, а в труде и для труда» (с.234). Как

и Лакшин, Карякин в своей статье отрицает, что в образе Ивана Денисовича запечатлены черты патриархального крестьянина. Карякин пишет, что такого рода заявления исходят от антикоммунистов, равно как и от «некоторых людей, также называющих себя «коммунистами»:

«Антикоммунистическая пресса уверяет: повесть — беспросветна, природа русского народа — в долготерпении, у Ивана Денисовича Шухова **нет ничего советского, лагерь — вот воплощение коммунизма**».

В свою очередь, «некоторые люди, также называющие себя «коммунистами», заявляют: «Эта повесть написана, чтобы лишь угодить вкусу тех, кто ратует за ликвидацию последствий культа личности и клеветает на социалистическое общество и руководство партии». Это — «декадентское», «контрреволюционное произведение», в котором **«отрицается сама советская власть»** (с.231).

Как видим, объективно-исторически сталинисты и антикоммунисты были, таким образом, гораздо ближе в те годы к пониманию действительного содержания повести Солженицына, нежели «марксисты-идеалисты» Карякин и Лакшин. Таков один из парадоксов того времени, объясняемый тем, что ни Карякин, ни Лакшин, ни тысячи других, таких же, как они, тогдашних «марксистов-идеалистов» никак не могли принять формулу: «социализм немыслим без насилия над массами», — не могли, ибо искренне верили в идеалы «социализма с человеческим лицом» и к этим идеалам и примеривали повесть Солженицына. В 1964 году, пожалуй, и в самом деле было ещё мало людей, способных психологически «преодолеть» марксизм и «антизападническую» настроенность, понять, что вера в возможность построения на базе марксистско-ленинских теорий подлинно демократического социализма есть иллюзия. Добавим в завершение, что позиции Лакшина и Карякина, характер прочтения ими повести Солженицына в те годы были показательны и для западных учёных-коммунистов. Карякин в своей статье приводит имена С.Рассела и В.Страды(37). Жорж Нива в своей книге «Солженицын» называет в этом же ряду Эрнста Фишера, Лукача(38)(39).

Попробуем сопоставить теперь проанализированную нами статью Лакшина «Иван Денисович. Его друзья и недруги» с двумя другими, более поздними его работами, с которыми по типовым своим признакам (объект исследования, адресат статьи, авторская позиция и характер выступления) она действительно может быть поставлена в один ряд. Мы имеем в виду две статьи Лакшина под названием «Читатель, писатель, критик», опубликованные в 1965 и 1966 гг. и занимающие значительное место в новомирском творчестве критика.

2.«ЧИТАТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, КРИТИК» (1965, 4; 1966, 8.)

Статья «Читатель, писатель, критик» состоит из двух частей, первая из которых была опубликована в четвёртом номере «Нового мира» за 1965 год, вторая — в восьмом за 1966 год. Обе эти работы Лакшина, как и предыдущая его статья о повести А.Солженицына, имеют программный характер: они построены на материале художественных произведений,

опубликованных в «Новом мире» и раскритикованных оппозиционной «Новому миру» критикой; обе полемически заострены, имеют наступательный характер, написаны как бы «от лица» «Нового мира».

Есть в этих работах критика и новый элемент — привлечение к борьбе с нормативной критикой и к защите новомирских публикаций уже и самого читателя, подписчика «Нового мира», — в качестве выразителя общественного мнения.

Исследование новомирской корреспонденции, исторический обзор взаимоотношений читателя с критикой и с писателем можно выделить в отдельный сюжет, довольно необычный для тех лет: читательские письма, конечно, использовались в советской журналистике во все времена, однако чаще всего, начиная с 30-х гг., это были либо инспирированные, либо анонимные послания, сфабрикованные по указке властей для проведения очередной «проработочной» кампании или в иных идеологических целях. Письма же, на которые опирался Лакшин, были реальным, достоверным источником. Причём к середине 60-х годов, как отметил А.Твардовский в своей программной статье «По случаю юбилея» (1965,1), журнал стал получать невиданную ранее корреспонденцию: письма читателей отразили независимость мнений, рост общественного самосознания(40). «Новый мир» в эти годы был, пожалуй, единственным печатным органом, который уважительно относился к своим подписчикам, предоставил читателю для самовыражения специальную рубрику и считал необходимостью ежегодно, в последних номерах, делиться с читателем своими планами, формулировать свои позиции и пр., ибо редакция отдавала себе отчёт в том, что «журналы издаются не для внутрилитературного потребления», но «в первую очередь для удовлетворения духовных запросов широких читательских кругов»(41)(42).

В этом смысле установка статьи Лакшина на читателя, его разговор о взаимоотношениях читателей с критикой имели также программный и просветительский характер(43).

А. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

В первой статье «Читатель, писатель, критик» Лакшин обращается к рассказу И.Грековой «Дамский мастер», опубликованному в «Новом мире» в конце 1963 года, и рассматривает его в контексте откликов на рассказ в профессиональной критике и в читательских письмах.

Привлечение новомирской корреспонденции для характеристики читательских мнений и опоры на них требовало и по существу какого-то специального вводного раздела, а кроме того отвечало и собственному желанию Лакшина «внести посильную лепту» в работу по изучению взаимоотношений читателя, писателя и критика (с.226). Поэтому в самом начале статьи Лакшин излагает ряд общих наблюдений за текущим литературным процессом, производит классификацию разрядов читателей, вводит материал из истории взаимоотношений читателей с критикой и пр. При этом Лакшин чётко разграничивает критику и критику. Ещё в своей статье о повести Солженицына Лакшин охарактеризовал литературную критику, выступившую против «Ивана Денисовича», как нормативную. В

новой статье он конкретизирует образ «недрузгов», выявляя конъюнктурную сущность их противостояния журнально-издательской политике «Нового мира»:

«Критика, доказывающая читателю, что дурная книга хороша, попросту не уважает его, — пивет Лакшин. — Но ради него ли она хлопочет? Создавая дутые репутации, она поддерживает имена, а не кпяти, темы, а не идеи, и до искусства ей, в сущности, мало дела.

Оттого в литературной жизни создаются условия, когда можно, не обладая и каплей таланта, а лишь сообразительностью и усидчивостью, прослыть «художником слова» и издавать свои книги стотысячным тиражом хотя бы в издательстве «Советская Россия», прославившемся последнее время своей художественной невзыскательностью. Прискорбная сторона всего этого заключается ещё и в том, — объясняет Лакшин, — что поощрение серости и бездарности деятельно способствует порче общественных вкусов: притупляется и исчезает чувство «эстетического стыда», которое, по словам Толстого, должна вызывать во всяком неиспорченном человеке художественная ложь.

Но дело не только в терпимости к плохому в литературе, — подчёркивает Лакшин. — Читатель сделал наблюдение, которому нельзя отказать в меткости: именно та часть критики, что так снисходительна к художественной бедности и безвкусице, особенно агрессивна в нападении на произведения, правдиво рисующие реальную сложность жизни, человеческих судеб и характеров» (с.229-230).

Общую картину взаимоотношений читателей с нормативной критикой Лакшин рисует, прибегая к материалам читательских свидетельств, откуда явствует, что «рекомендации» этой критики имеют чаще всего «обратную силу» воздействия на общественное мнение:

«...Я пришёл к довольно странному для себя правилу, — приводит Лакшин слова одного из корреспондентов: — я должен читать только те статьи и книги..., которые подвергаются уничтожающей критике...» (с.230).

«Ну, раз ругают — значит, интересно, надо почитать или посмотреть... А если анонсируют: «Принимаются заявки на коллективный просмотр» — не ходи», — цитирует Лакшин отрывок из письма другого читателя (с.230).

Один из корреспондентов, как пивет Лакшин, прочёл в журнале повесть А.Кузнецова «У себя дома» и спешит написать в редакцию прошение, чтобы она не давала «по мере возможности в обиду т.Кузнецова критикам» (с.230).

Парадокс таких взаимоотношений читателей с критикой, по словам Лакшина, объясняется «ростом общественного самосознания и инициативы, характерной для всей нашей жизни последних лет» (с.240), с одной стороны, и консерватизмом профессиональной критики — с другой.

«Неужели в «литературном треугольнике» критик начинает играть незавидную роль «третьего лишнего»? — восклицает Лакшин с намеренно трагической интонацией (с.231).

Использованный Лакшиным приём удара по оппозиции от третьего лица — от лица читателей, выказавших недоверие и неприятие этой части критики, — придаёт вес его обличительству. Однако восклицание Лакшина можно принимать и буквально, ибо критик так дотошно расписывает сложившееся положение именно потому, что оно и в самом деле

ненормально, и ему необходимо с наибольшей очевидностью представить реальные общественно-культурные противоречия такими, какими они являются не только в области культуры, но и в других сферах жизни. Поэту модель взаимоотношений писатель—читатель—критик может рассматриваться шире — и как приём «реальной критики».

Часть статьи, посвящённая исследованию взаимоотношений читателя с нормативной критикой (ещё вне анализа конкретного художественного материала), носит открыто публицистический и просветительский характер. Показательны в этом отношении следующие высказывания Лакшина:

«Читатель больше не требует от литературы, чтобы она ему давала «образцы для подражания», как в прежние времена, когда, например, «бухгалтеры, — пишет Лакшин, — хотели читать об образцовых бухгалтерах, пожарные — о героях пожарныхках и т.п.» (с.239).

Литература должна самостоятельно мыслить, иметь «собственное понимание жизни», критика — поощрять и развивать это направление. Поступки человека должны быть основаны не на том, что «д р у г и е т а к д е л а ю т», а «на прочном убеждении, основанном на с а м о с о з н а н и и, то есть на том, что я буду делать так-то независимо от того, как поступает тот или иной книжный герой» (с.240)(44).

Истинность всех этих требований, отмечает Лакшин, подтверждает высокую степень зрелости общественного самосознания в целом:

«В зрелых годах «идеальные» примеры и назидательные образцы не заменяют человеку всю полноту правды о жизни. И сегодняшний повзрослевший читатель хочет, чтобы литература помогала ему вглядываться и вдумываться в жизнь, в её живую диалектику: человек, научившийся этому, никогда не растеряется перед трудностями и не будет сбит с толку» (с.240).

Открытый публицистический призыв Лакшина к самосознанию, к независимому мышлению отвечал не только просветительским задачам критика, но и реальной необходимости укрепить и поддержать свою читательскую аудиторию в связи с наметившимся поворотом идеологической линии партии в сторону от демократии и начавшимся в связи с этим процессом снижения общественной активности. Не дать усыпить реакции уже сформировавшиеся первые ростки демократического общественного самосознания — вот в чём ещё состояла публицистическая направленность этого обсуждения Лакшиным темы «читатель и критик».

Что же касается конкретного анализа рассказа И.Грековой «Дамский мастер» и полемики Лакшина с критиками этого произведения, то этот материал статьи построен по уже известной нам схеме. Сам выбор рассказа И.Грековой для анализа аргументируется Лакшиным как желание представить модель расхождений читательского мнения с мнением критики. Защита новомировского произведения, а вместе с ним и издательской политики журнала, идёт, таким образом, уже не только от лица «Нового мира», но, как говорилось выше, и от лица общественности.

Итак, о чём же этот рассказ, с точки зрения Лакшина, кто его главные герои и каковы основные претензии критики к автору произведения?

Действие рассказа по большей части происходит в парикмахерской. Автор включает в свой рассказ «праздничные» разговоры в очереди, «унылые

приятия о «последних» и «крайних», описывает работу молодого парикмахера Виталия Плавникова, который вместе с постоянной его клиенткой Марией Владимировной и являются главными героями рассказа, а история их взаимоотношений — центральной сюжетной линией. Словом, «предмет таков, что тут житейского опыта никому не занимать статью», пишет Лакшин.

Каковы же основные претензии рецензентов этого рассказа в передаче Лакшина?

«Малая форма», «несолидная тема», произведение «не на главном направлении, как любят говорить критики», резюмирует Лакшин.

В оценке Г.Бровмана («Литературная Россия», 4 сент. 1964 г.): «Молодые дамские парикмахеры — мещане, изучающие диалектический материализм, цивилизованные дамы-профессора, которые духовно капитулируют перед своими парикмахерами!». «Где уж тут говорить о высоких моральных нормах?!» (с.233).

В оценке П.Пустовойта («В поисках деятельной личности», «Литературная Россия», 15 мая 1964 г.): «Автор, по-видимому, хотел показать, как в герое постепенно формируются черты настоящей активной личности, но допустил просчёт...». «Не получилось активной личности из Плавникова», «герой уходит от борьбы» (с.234).

Итак, речь, как видим, идёт о знакомых разновидностях **нормативных оценочных критериев**: в первом случае, как пишет Лакшин, «герой не нравится критику, и он думает, что нехорош образ» (с.233), во втором случае — от автора требуют представить в образе героя «пример, достойный подражания» (с.234).

Как же защищает Лакшин рассказ Грековой?

Он отстаивает художественную правду рассказа: тема взаимоотношений героев, ставшая основой сюжета рассказа, вполне достойна, по словам критика, «стать предметом искусства» (с.231), ибо «читатель, — объясняет Лакшин, — испытывает радость узнавания жизни — такое вот сам видел, таких людей знаю...» (с.231). Достоинства рассказа сказались, по словам критика, и в выборе писательницей в качестве своих героев так называемых «маленьких» людей, в правдоподобности, реальности изображения этих характеров (с.234). И хотя, как отмечает далее Лакшин, не всё в этом произведении ровно в художественном отношении (потому и читательская оценка повести также не была единой), однако читатели «за редким исключением» всё же «не пытались ставить под сомнение художественную правду образов И.Грековой»; «во всяком случае, — подчёркивает критик, — не отгораживались от живой реальности нормативной предвзятостью...» (с.238). «Реализм, правда — вот первый критерий читательской критики, и ни полслова упрёка автору за то, что он не дал в Виталии образец, пример для подражания», — пишет Лакшин.

Главным критерием ценности произведения искусства для Лакшина и здесь остаётся, таким образом, критерий его правдивости. При этом собственно художественный анализ рассказа не занимает его внимания, чем ещё раз обнажается сугубо публицистический характер критики Лакшина.

Другая повторяющаяся особенность критики Лакшина при защите рассказа от нападок нормативной казённой критики состоит в её идейной опоре опять-таки на марксизм.

Теоретическая и идеологическая сориентированность на традиции марксистской критики намечается в статье уже в общих рассуждениях Лакшина о современном литературном процессе. Так, говоря о роли критика, Лакшин определяет её и как роль «руководителя читательского мнения» (с.228). Здесь, как и в предыдущей статье, Лакшин, отстаивая коммунистические идеалы, нюансирует употребление термина: «недруги» «Нового мира» также клянутся, по его словам, приверженностью к коммунизму, но читатель, объясняет Лакшину, поверяет «коммунистическую идейность» статьи «прямотой» суждений критика и его «верностью правде жизни», не поддаваясь на «хитромудрую казуистику» той критики, которая выдвигает отвлечённые нормативные идеалы и «подсчитывает, сколько граней жизни должен отразить автор в своём произведении» (с.231).

Защищая рассказ И.Грековой, отвергая упреки оппонентов в пассивности Виталия, Лакшин опять-таки отстаивает именно коммунистические идеалы:

«Реакционные социальные теории опирались на культ воли, активности «сильного человека» и принципиально презирали любую «слабость»...!...!

Но со всем этим не по пути коммунистическому гуманизму. Для нас важна не активность сама по себе, а качество этой активности, её человеческое и общественное, её революционное и гуманистическое содержание. !...!

Вот на какие мысли наводит непритязательный по своей теме рассказ И.Грековой, который в этом смысле стоит «на главном направлении», на самом, может быть, главном направлении — воспитания коммунистической нравственности, морали нового человека» (с.238).

Разбирая по отдельности характеры главных героев Грековой, Лакшин не забывает подчеркнуть их лояльность советскому строю:

«Мария Владимировна не представлена идеальным героем...» — пишет Лакшин, «и всё-таки прав читатель, написавший, что Мария Владимировна — «сегодняшний хороший советский человек» (с.237).

О Виталии: «...При понятном сочувствии к молодому герою с нелегкой судьбой («Ребёнком он попал в детский дом». — Н.Б.) я не убеждён, что надо приходить в восторг от его активности и ею, как высшей добродетелью, мерить воспитательное воздействие образа на читателя». «Старый инстинкт подсказывает ему, что для того, чтобы стать неуязвимым, надо... быть в жизни захватчиком — захватчиком авторитета, положения, комфорта...». «Но ведь он живёт, воспитывается в советском обществе, в советской школе. Значит, известные моральные нормы и для него обязательны» (с.237).

Наконец, в самом конце своей статьи Лакшин пишет об ответственности советского художника, который «самым непосредственным и успешным образом участвует в коммунистическом воспитании масс», что должна, как заключает Лакшин, «осознать и литературная критика, несущая высокую ответственность перед партией и народом» (с.240).

В.СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Вторая статья «Писатель, читатель, критик» (1966 г.), посвящённая анализу литературного процесса середины 60-х гг., повторяет и развивает основные положения статьи «Иван Денисович. Его друзья и недруги» и первой статьи «Читатель, писатель, критик» (1965 г.). Она написана с тех же позиций и имеет тот же программный характер: это защита новомировских произведений — напечатанных в журнале повести В.Сёмина «Семеро в одном доме» и рассказа «Матрёнин двор» А.Солженицына.

Защита этих новомировских публикаций строится, как и в предыдущих статьях, прежде всего под знаком отстаивания критиком правды и реализма в искусстве.

«Если в этой статье, — объясняет Лакшин, — я пытаюсь разобрать и защитить от неправильных, на мой взгляд, толкований произведения, авторы которых коснулись острых и не всегда отрадных тем — жизненных тягот, неустроенности, нужды, бездуховности, — то вовсе не потому, чтобы по свойствам своего темперамента или характера я предпочитал бы тёмную, а не солнечную сторону жизни...!»

Благодаря своей правдивости и художественности рассказ Солженицына и повесть Семёва, рождая разное отношение к себе, вызывая полемику и споры, тем не менее решительно выделяются среди иных, никому не интересных и не памятных книг» (с.242-243).

Защита этих произведений идёт снова с опорой на читательские свидетельства, а выбор материала мотивируется желанием ещё раз проиллюстрировать противоречия между читательской и профессиональной критикой, не говоря уже о прямой задаче критика — защитить права не только читателя (установка первой статьи), но и писателя (с.217-218).

Композиционная схема, характер защиты, метод анализа этих произведений повторяют уже знакомую нам структуру прежних статей, становясь, таким образом, уже отработанным способом ведения полемики, свидетельством мировоззренческой целостности лакшинской критики.

Так, приступая к анализу рассказа А.Солженицына «Матрёнин двор», Лакшин разбирает вначале материалы критических отзывов о нём. Основной причиной недовольства рецензентов, как отмечает Лакшин, была «неосторожность автора» «вспомнить к случаю старинную мудрость пословицы — «не стоить село без праведника». А-а-а, так вот кто его герои, он воспекает праведничество..!» — раздалось недовольные голоса критиков (с.219).

В критической литературе о «Матрённом дворе» Лакшин прослеживает три типа аргументации, используемой для обоснования неприятия рассказа. Первая, «устарелая», в определении Лакшина, выражена в статье В.Полторацкого «Матрёнин двор и его окрестности» («Известия», 29 марта 1963 г.). В.Полторацкий критикует и авторскую позицию, и сам выбор Солженицыным темы и героев для своего повествования, который, как пишет Полторацкий, «ограничил его (А.Солженицына. — Н.Б.) кругозор старым забором Матрёниного двора», тогда как «выгляни он (А.Солженицын. — Н.Б.) за этот забор — и в каких-нибудь двадцати

километрах от Тальнова увидел бы колхоз «Большевик» и мог бы показать нам праведников нового века...» (с.220).

С новым типом аргументации в обзорной статье «Огонька» (1963, №13) выступил А.Дымшиц, который, как отмечает Лакшин, инкриминирует автору субъективность точки зрения («очернительство») на советскую деревню («Да, тяжело жила в ту пору деревня, — писал Дымшиц, — голодно жила... Но в ней же я видел крестьян по-настоящему деятельных... уловил возможности улучшения жизни...»). А у А.Солженицына «жизненная правда обужена до житейского случая») и «поэтизацию» «анахроничного» образа Матрёны (с.221).

Наконец, к третьему типу аргументации Лакшин относит статьи «молодых коллег и единомышленников» А.Дымшица — критика В.Сурганова, который выступил в журнале «Москва» (1964, №1) от имени «наших критиков и читателей» с протестом против «откровенного авторского любования нищенским бескорыстием» Матрёны, и критика Ларисы Крячко («Октябрь», 1964, №5), «составившей свою оценку из прежде сказанного» (с.221—222).

Свою защиту рассказа Солженицына Лакшин начинает словами о надуманности претензий критиков, не имеющих никакого отношения к проблематике «Матрёнинного двора»: ведь Солженицын «не решает в своём рассказе вопроса об активности и пассивности, — объясняет критик, — как не решает, скажем, и вопроса о свободе и необходимости, о вере и безверии и т.п.». Критика, пишет Лакшин, «искусственно, извне навязала» эту проблему автору, точно так же как и намеренно обошла стороной разговор о Фаддее, то есть о том присутствующем в рассказе «активном, целеустремлённом характере», которым как раз, в согласии с вышеприведёнными требованиями критиков, и обладает Фаддей. Лакшин тут же подкрепляет свои контраргументы ссылкой на читательские отзывы, отмечая противоречие между их единодушным одобрением «Матрёнинного двора» и отрицательной оценкой рассказа в критике (с.222). Более того, Лакшин отмечает усиление «потока горячих, сердечных писем с выражением благодарности автору» после появления упомянутых выше статей профессиональных критиков(с.222).

Далее Лакшин строит свою защиту произведения, непосредственно опираясь на художественный текст.

Художественная ценность «Матрёнинного двора» для Лакшина является несомненной. Более того, как бы сопоставляя этот рассказ с другими рассказами Солженицына, он особо акцентирует в нём «строгую художественность, цельность поэтического воплощения и выдержанность вкуса во всех частностях, какую не всегда удавалось сохранить этому мастеру» в других его вещах (с.222). В нескольких фразах говорит он в этой связи и об особенностях композиционного построения, и об искусстве лепки характеров персонажей, и о мелодичности повествования и даже даёт пересказ особенно запомнившихся ему описаний и пр. Однако художественный анализ рассказа очень быстро уступает место идейному разбору. Как и в предыдущих статьях, в соответствии со своими публицистическими задачами Лакшин делает упор на аспекте «правдивости» произведения.

Лакшин приближается к философской мысли автора, когда пишет, что главная ценность характера Матрёны состоит в сохранении этой женщиной, несмотря на всю горечь пережитого, «человеческого бескорыстия, отзывчивости», «неозлобленности на людей и на судьбу». Точно так же критик улавливает авторскую позицию и по отношению к Фаддею. Он пишет о хищнической натуре Фаддея, энергия, деятельность которого направлены, по словам критика, на то, чтобы «ничего не упустить, не проморгать, не потерять для себя» (с.225). Лакшин присоединяется к авторской трактовке причин, приведших к смерти героини, повторяя вслед за рассказчиком его обвинение: это жадность Фаддея убила Матрёну, «беззащитную по своей доброте, по своему бескорыстию» (с.225). Наконец, критик подводит нас и к той мысли произведения, которая формулируется рассказчиком в конце повествования о Матрёне:

«Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что д о б р о м нашим, народным или моим, странно называет язык искусство наше(45). И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо».

«Нащупывание» критиком основных философских точек рассказа о Матрёне не ведёт, тем не менее, к адекватной интерпретации содержательной ткани рассказа. Умозрительны и чрезмерно натянуты его попытки с марксистских позиций доказать опять-таки антирелигиозный характер авторской мысли и представить Матрёну чуть ли не советской коллективисткой.

Высшее достоинство, самое большое добро человека — это его нравственное начало: «доверие, чистосердечие, ласка, внимание к людям, желание помочь, сделать что-то для них», справедливо замечает Лакшин. «Как сделать, чтобы б ы т ь лучше, а не только лучше ж и т ь», — формулирует критик словами Горького мораль, нравственный урок повествования (с.226)(46). И не случайно словами Горького: Лакшину надо льпить последние слова рассказа — «не стоит село без праведника» — той значимости, которую они и имеют у Солженицына как формула религиозной максимы, и представить их как нравственные ценности «коммунистического гуманизма». Так, открывая словарь Даля, критик подыскивает атеистические синонимы «праведничеству». «Праведники — это не только люди «праведной жизни» в церковном смысле, — пишет Лакшин, — но и «правдивые на деле», люди правды». Дав такое, материалистическое, толкование философии рассказа, критик не настаивает, однако, на нём категорически, оставляя возможность и какого-то иного варианта прочтения: «Это ли, однако, имел в виду сам Солженицын, так ли точно он думал, как это истолковано нами? Не знаю», — лукавит, по-видимому, критик (ибо естественно предположить, что к 1966 году Лакшин уже был знаком с рядом произведений этого автора и мог составить себе представление о его мирозерцании). И замечает далее, что хотя ему и не безразлично, какое объяснение мог бы дать написанному сам автор, но в реалистическом произведении «язык образов бывает убедительнее и точнее, чем язык логики и формул» (с.226). Так, используя принцип «реальной критики», Лакшин «покупает» себе право на произвольную интерпретацию

философской мысли рассказа: «Понятия добра, милосердия, сострадания к людям» Лакшин относит к идеалам «коммунистического гуманизма».

Однако и этого кажется критику мало для защиты произведения. Видимо, для того, чтобы подчеркнуть правоверность журнала, Лакшин вдруг вспоминает С.Н.Булгакова, называя его реакционным философом, приводит его точку зрения на марксизм и определяет эту точку зрения как «клевету»: «Марксизм по своей сущности импотентен внушать какие-либо нравственные идеи. — писал С.Булгаков. — Ему известны злоба, мстительность, гнев и чужда жалость, любовь, сострадание, горячая симпатия. Свой идеал — установление социалистического общества — он строит на развитии чувства зависти и ненависти...» (с.226—227). Прочитав эти слова, В.Лакшин противопоставляет этой «клевете на марксизм» строки из письма Ленина военному комиссару С.С.Данилову, называя обмен письмами Данилова с Лениным «любопытным эпизодом» первых лет советской власти:

8 сентября 1921 года С.С.Данилов писал Ленину, что «на его взгляд необходимо развивать чувство «любви, сострадания, взаимной помощи *внутри класса*, внутри лагеря трудящихся», и спрашивал мнения на этот счёт Владимира Ильича. Ответное письмо Ленина, — пишет Лакшин, — впервые было опубликовано недавно в 53-м томе Полного собрания его сочинений: «т.Данилов! — обращался к своему корреспонденту Ленин. — И «внутри класса» и к *трудящимся иных классов* развивать чувство «взаимной помощи» и т.д. безусловно *н е о б х о д и м о*. С ком.приветом. Ленин » (с.227)(47).

Обходя вниманием тот факт, что Ленин из письма Данилова берёт лишь требование «взаимной помощи» трудящихся классов, Лакшин пишет совершенно убеждённо: «Этот маленький штрих ещё раз говорит нам о ленинском отношении к нравственным понятиям, которые иной раз третируются как «абстрактные» и «внеклассовые» (с.227). Он утверждает, что ленинские слова и «весь опыт общественного развития в нашей стране»(?) являются показателями того, что, «признавая иные слабости и недостатки(?) в характере солженицынской Матрёны (какие — не уточняется. — Н.Б.), мы высоко ценим нравственную основу её характера, доброту и гуманность трудового человека» (с.227).

Итак, какие же предварительные выводы можем мы сделать, знакомясь с лакшинским анализом «Матрёнинного двора» и критических откликов на него?

Отметим сразу же, что, отстаивая рассказ Солженицына в 1966 году, Лакшин (и в его лице «Новый мир») выступает в защиту произведения, принадлежащего перу уже опального, в сущности, автора, имя которого к этому времени фактически запрещено упоминать на страницах советской прессы, и переоценить общественное значение такой защиты невозможно. Кроме того, факт поддержки Солженицына свидетельствовал и о том, что «Новый мир» по-прежнему дорожит прежде всего именно правдой искусства (потому и стремясь приспособить понимание «партийной правды» к своим эстетическим принципам(48)).

Вместе с тем в своём благородном стремлении защитить рассказ (как и в случае с повестью Солженицына) Лакшин опять проходит всё-таки лишь по

касательной к действительному смыслу произведения. Более того — в сущности, **искажает** художественную и философскую мысль автора — и, пожалуй, даже не произвольно и не вопреки своему мировоззрению, а в соответствии с ним. Полемика Лакшина с критиками рассказа лежит опять-таки именно в плоскости отрицания сталинизма и утверждения идеалов ленинского коммунизма. Однако как ни парадоксально, но и в этом случае «недруги» журнала в своём толковании главной идеи рассказа опять оказались куда ближе к истине, чем Лакшин, ибо Солженицын, вопреки утверждению критика, отнюдь не «к случаю» вспомнил «старинную мудрость пословицы»: нравом и поведением своей Матрёны писатель и в самом деле воспел праведничество и патриархальную нравственность русского крестьянства. Как и в случае с Иваном Денисовичем, Лакшин пытается отвести от Матрёны упреки в её социальной пассивности. Он апеллирует к образу Фаддея, соглашаясь с тем положением, согласно которому «активность, воля — во всех случаях жизни качества высшие и более существенные, чем доброта»(?), но оговаривая при этом, что не всякая активность благородна (с.227). Отвечая критику Л.Жуховицкому, увидевшему в рассказе «бесмысленность, обречённость и даже аморальность праведнической морали» («Литературная Россия», 1 января 1964 г.) (с.227), Лакшин, как и в статье «Иван Денисович. Его друзья и недруги», выдвигает в качестве контраргумента тезис о самоотверженном, бескорыстном, бесплатном труде Матрёны в колхозе как доказательство её «советскости».

Можно и нужно, таким образом, отдать дань уважения Лакшину — повторим ещё раз — за ту благородную роль защитника писателя, которую он взял на себя, вступив в бой с консервативной критикой. Однако, как и в случае с интерпретацией «Ивана Денисовича», уровень понимания Лакшиным новой вещи Солженицына, отразившийся в продемонстрированном выше анализе, явно свидетельствует о **неадекватности** проникновения его критики в художественную и философскую ткань произведения.

Статья не кончается обсуждением «Матрёниного двора». Следующее новомирское произведение, которое подробно разбирает и защищает Лакшин, — повесть «Семеро в одном доме» В.Сёмина. И на этом разборе тоже можно было бы остановиться специально. Но в рамках нашей работы достаточно будет, думается, отметить лишь то, что защита критиком и этого произведения ведётся им с тех же идейных и эстетических позиций, что уже знакомы нам по предыдущим разборам.

Это, во-первых, отстаивание художественной правды повести и развенчание в этой связи «теории о двух правдах» (изобретение, причастным к которому Р.Медведев в своей «Книге о социалистической демократии» называет скульптора Е.Вучетича и литераторов С.Михалкова и А.Дрёмова(49)) — той теории, которую использовали для дискредитации повести рецензенты.

Характерным для критики Лакшина здесь является, во-вторых, и то, что идейный анализ опять-таки преобладает над художественным разбором, хотя он не забывает сказать и о слабых сторонах произведения: «не всё идеально слажено в композиции, и в повести тесно порой от действующих

лиц второго и третьего плана; обстоятельная запись житейских разговоров и впечатлений дня изобилует подробностями, которые рискуют показаться лишними и отзываются стенограммой» и пр. Тем не менее критик отдаёт дань гражданской смелости Семёина, который изобразил послевоенную жизнь городской фабричной окраины, «продолжавшей оставаться материально менее обеспеченным и менее культурным участком по сравнению с городом», без прикрас (с.234). С этих же позиций Лакшин защищает и главную героиню Семёина — простую работницу кожгалантерейной фабрики: семёинская Муля тем и привлекательна, что «достижения по части изображения людей рабочего класса у нас, вообще говоря, — замечает он, — невелики» (с.243) и, «узнавая Мулю, мы узнаём, п о з н а ё м жизнь целого слоя людей» (с.244)(50).

Вместе с тем (и в-третьих) защита Лакшиным художественной правды повести Семёина и позиций журнала (как и в прежних разборах) опять-таки строится с отчётливо выраженных марксистских позиций — с опорой на «теорию отражения» Ленина, на труды Маркса и Энгельса, на статьи Горького.

Итак, сопоставляя проделанный анализ с анализом статьи Лакшина «Иван Денисович. Его друзья и недруги», мы все эти работы Лакшина действительно имеем право назвать программными для журнала. Все они прямо нацелены на политическую борьбу с реакционно-конъюнктурной критикой, которая стремилась всеми силами задушить журнал, и потому являются в первую очередь актом сопротивления, отстаивания на материале произведений новомирских авторов позиций журнала, боровшегося за демократию, просвещение и культуру. Выступления Лакшина являют в этом отношении пример активной гражданской позиции, вписываются в историю борьбы идей, в историю журналистики и литературной критики 60-х гг. как новомирский вклад в защиту культурных ценностей, а потому они и были восприняты современниками как важные общественно-литературные события.

Методологический каркас рассмотренных статей, как мы видели, одинаков, и он, несомненно, строился критиком прежде всего в соответствии с задачами журнальной политики. Как член редколлегии, заведующий отделом критики «Нового мира», Лакшин считал, по-видимому, что лучшим средством защиты идейной линии журнала, его литературной политики является доказательство лояльности журнала по отношению к советской власти, на что и делается основной упор в рассмотренных работах. Главным элементом отстаивания Лакшиным новомирских произведений становилось поэтому тщательное оснащение своей литературно-критической аргументации цитатами из Маркса и Ленина. Но при этом нельзя не подчеркнуть и то, что отстаивание коммунистических идеалов не было для критика делом только формальным, тактическим, но соответствовало его подлинным убеждениям. Отсюда — неадекватность его критических анализов, прикладной характер его литературной критики (там, где он имеет дело с произведениями художников иного мирозерцания), которая не является самостоятельным инструментом исследования литературного процесса, а подчинена публицистическим задачам, связанным с

конъюнктурой времени и характером осознания критиком своих обязанностей журнального деятеля.

Не является ли, однако, такой вывод несколько поспешным, принимая во внимание тот факт, что мы рассмотрели пока лишь три статьи Лакшина позднего новомирского творчества?

Мы взяли за основу самые характерные для критики Лакшина работы, однако и другие его выступления подтверждают, с нашей точки зрения, этот предварительный вывод.

3.ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ПОЗДНЕЙШИХ СТАТЕЙ В.ЛАКШИНА

А. НЕФОРМАЛЬНАЯ ОПОРА НА МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ

Тот факт, что опора Лакшина на марксистско-ленинское учение в его литературно-критических работах не является формальной, вызванной лишь тактическими соображениями журнальной политикой, подтверждают и две другие публикации критика, непосредственно обращённые к идеологическому материалу, к революционной тематике.

Первая из них — рецензия на сборник статей В.Ленина «Против догмы, сектанства, «левого» оппортунизма», выпущенный Политиздатом в 1964 г. («Против догмы и фразы», 1965, 5).

Можно предположить, что существовавшая на момент написания этой работы политическая ситуация в стране — неопределённость идеологического курса правительства, с одной стороны, и усиливающаяся критика в адрес «Нового мира» со стороны идеологов крайне правого крыла партийного руководства — с другой, и побудила критика взять на себя инициативу выступить в жанре политической публицистики. Актуализация в условиях тех лет ленинского учения о «догматизме как идейном течении» в социалистическом движении (с.266) была вызвана желанием критика ответить идейным противникам «Нового мира» на языке политики, обратив ленинское учение против них:

«Политический авантюризм», «тенденция культа личности вождя и героев», «обособление от масс», «групповая замкнутость и политическое сектанство», «безраздельное господство «революционной» фразы и ложного убеждения, что массы «не доросли» до того, чтобы знать полную правду». А «недоверие к массам, самодовольство и хвастовство при некотором упражнении этих свойств ведут к самообману, к созданию иллюзорной, воображаемой картины жизни» (с.266—267).

Используя приём исторической параллели, Лакшин адресует вышеприведённую ленинскую характеристику «узколобой догматики» идейным врагам журнала и тем ставит их, конечно, в непростое положение. Однако характер выбора именно этого материала для решения боевых публицистических задач подтверждает и мировоззренческую устойчивость позиций Лакшина. Ведь если литературный критик решается для защиты своих взглядов обратиться именно к ленинскому наследию, это значит, что именно это наследие ему более всего и близко. И тот факт, что в своём

анализе ленинских статей Лакшина полностью разделяет взгляды и позиции Ленина, полностью отождествляет их с позициями журнала, как раз и свидетельствует именно об отнюдь не формальном отношении Лакшина к этой идеологии.

Ещё более характерна в этом смысле большая статья Лакшина «Посев и жатва», опубликованная в девятом номере за 1968 год и построенная на материале драматургической трилогии о русском революционном движении, поставленной в 1967 году театром «Современник» (по пьесам Л.Зорина «Декабристы», А.Свободина «Народовольцы» и М.Шатрова «Большевики»).

Надо полагать, что выбор Лакшиным для критического выступления произведения революционной тематики среди множества других литературных явлений и тем опять-таки не случаен, а показателен.

Сама концепция политической истории, которую предлагает театр «Современник» (известная нам по школьным учебникам, по статье Ленина «Памяти Герцена»), не оспаривается Лакшиным, о чём, в частности, говорит и название статьи «Посев и жатва»: «посев» (революционное движение, начиная с декабристов и кончая Лениным) был хорош, хотя «жатва» (дальнейшие этапы — сталинский и брежневский) оказалась плоха. Сталинизм присутствовал в спектакле в виде своего исторического аналога времён французской революции — в частности, в спорах о якобинцах, о которых Плеханов говорит: «даже незаурядные исторические деятели легко становятся в иных условиях диктаторами и узурпаторами власти» (с.196). Настоящее и отношение к нему Лакшина невидимо обозначены в статье репликой В.Луначарского: «Да, я согласен, что в истории бывают моменты, когда насилие необходимо (говорит Луначарский в спектакле «Большевики»). Но всё-таки истинный социализм может быть насаждён в мире не виштовкой и штыком, а только наукой и просвещением трудящихся» (с.204—205).

В.Лакшина, однако, привлекают в этом спектакле не сами по себе события и факты истории, а проблема террора, исследование психологической и нравственной природы революционного насилия на каждом этапе революционного движения.

Итак, каковы же уроки, извлекаемые Лакшиным из истории революционного движения в России? И если «революционная нравственность» является главным предметом исследования в статье, то какова та концепция «революционной нравственности», которую отстаивает здесь критик?

В тезисной форме она сразу же обнаруживает себя так:

Политика не должна «освободить себя от нравственности», цель не оправдывает средства, практика должна соответствовать благородной теории.

«Долгий исторический опыт, включая сюда и опыт декабристского движения, внятно свидетельствует, что политика и нравственность не должны и не могут быть противопоставлены друг другу», — пишет Лакшин (с.186).

В соответствии с этим в спектакле о декабристах критик отмечает «психологическое противостояние» двух характеров: «гуманность природы Муравьёва» и «наполеоновские замашки» Пестеля. Но крайне любопытно и

характерно при этом, что как бы ни были велики симпатии Лакшина к гуманистической натуре Муравьёва, он всё же отдаёт предпочтение Пестелю, ибо «Пестель, — пишет Лакшин, — не изменяет себе и своему делу до конца. он умирает гордо и честно», а Никита Муравьёв «приходит в итоге к пассивному созерцанию событий и малодушно уклоняется от исполнения долга: декабрьские дни застают его в саратовской деревне у тещи» (с.186).

В спектакле о народовольцах проблема гуманизма ставится уже на ином уровне. Спор идёт между «двумя тенденциями в русском освободительном движении» — марксистами в лице Плеханова и народовольцами — террористами, — и не о самой по себе возможности или невозможности насилия для достижения цели, а о последствиях насилия, ибо Плеханову нужны основания для оправдания террора:

«Чувство мести не может само по себе стать двигателем революции» (с.193). «..Коренной вопрос для революционного деятеля — вопрос не о ближайших и кажущихся несомненными, а о более отдалённых целях, в свете которых и средства могут быть избраны иные, чем те, что как будто лежат под рукой», «надо ещё испытывать чувство ответственности перед будущим» (с.195).

В этих словах Плеханова Лакшин видит превосходство марксистской нравственности, её коренное отличие от нравственности народовольцев, у которых, как он пишет, «начинаешь ощущать сам психологический механизм незаметного перерождения средств в цель» (с.194). Плеханов, критикуя позицию народовольцев, отмечает слабость их политической позиции:

«...На кончике княжала парламента не утвердишь, а убийство царя поведёт разве лишь к тому, что вместо двух палочек рядом с его именем появится три» (с.195); «даже захватив власть, Желябов с товарищами могут оказаться в драматическом положении: в России нет пока организованного рабочего класса, нет таких общественных сил и социальных учреждений, которые помогли бы заговорщикам удержать власть», «горстке революционеров придётся по необходимости навязывать свою волю большинству, вводить социализм теми же привычными для них методами террора», говорит Плеханов (с.195).

Предостережения Плеханова, объясняет Лакшин, «имеют в виду то, что принято называть в марксистской литературе «иронией истории»: видя впереди некую цель и бескорыстно стремясь к ней, — поясняет критик, — исторический деятель с недоумением обнаруживает, что плоды его усилий не соответствуют порой тому, чего он сам ожидал. Верно говорится: «Что посеешь, то и пожнёшь», — пишет Лакшин, — но жатва может порой разительно мало напоминать посев, в чём, однако, не склонен сознаться себе ни один сеятель» (с.195—196).

Так звучит, казалось бы, окончательный, итоговый вывод В.Лакшина. Критик, однако, не ставит на этом месте точку. Напротив, он, в свою очередь, критикует и позицию Плеханова, так как перечисленные Плехановым опасные стороны теории и практики народовольцев в конечном итоге, с точки зрения ленинской их интерпретации, оказываются не столь

уж и важными: «рассматривать нравственные побуждения революционера изолированно от практических итогов, политических результатов его деятельности» нельзя, пишет Лакшин. Так, народovolьцы, по словам критика, оказались правы «по отношению к своему времени и к более дальней исторической перспективе», ибо Плеханов недостаточно оценил «сам переход народovolьцев к политической борьбе, когда мирная пропаганда социализма стала невозможной» (с.195)(51).

Уже на этой стадии чтения статьи становится вполне понятно, что «нравственные исследования» Лакшина являются, в сущности, не более чем современным переложением «неоспоримого» ленинского взгляда на историю. С восторгом критик отзывается о большевиках: «само слово «большевики» несёт на себе цвет времени»; «спустя полстолетия восхищаемся ими: их мужеством, благородством, идейностью, бескорыстием» (с.199); «здоровая, насмешливая и откровенная среда». «ничто человеческое им не чуждо» (с.200); «эти люди соединены не только общей работой и борьбой, они и во всём остальном друзья, товарищи друг другу» (с.201) и т.д. и т.п.

Пьеса о большевиках охватывает всего один вечер, «несколько часов в Кремле 30 августа 1918 года» (с.199), то есть момент, когда Совет Народных Комиссаров под председательством Свердлова принимает решение о красном терроре».

Как же Лакшин относится к красному террору?

«Для революционера, исходящего из того, что в идеале он против всякого насилия над людьми, террор не может стать привычным инструментом действия», — пишет критик (с.202). «В идеале» — вот критерий, который кажется особенно важным Лакшину и который для него отделяет нравственный террор от безнравственного, отличает террор как временное «средство вынужденной защиты» от террора как «обычного орудия действия, легкого способа воспитания и управления» (с.202). Принцип исторического иллюстрирования «нравственного» террора и террора «безнравственного» тут более чем очевиден: ленинцы «в идеале» отказываются от террора и «при первой же возможности... ограничат сферу его действия, а затем и вовсе откажутся от него» (с.202), а подразумеваемые критиком сталинцы установят террор в качестве «обычного орудия действия».

Но «в идеале» — не в жизни, а потому и ленинцам приходилось идти на террор. И прежде чем принять решение, большевики, как объясняет Лакшин, долго обсуждают все возможные последствия: они хотят учесть опыт Великой французской революции, они не хотят стать жертвами «иронии истории», «они не хотят допустить того, чтобы, как это уже не раз случалось в прошлом, жатва принесла иной результат, чем тот, на который рассчитывали при посеве»(с.203). Особенно красноречиво звучат опасения Луначарского, замечającego:

«...Трагическое противоречие нашей и не только нашей революции состоит в том, что в условиях царизма её готовит сравнительно тонкий слой передовых, политически воспитанных рабочих и революционная интеллигенция. Они же первыми и сложат головы в борьбе за новую власть. Именно потому опасность мелкобуржуазного поглощения в такой крестьянской стране, как Россия, очень велика. К революции охотно

примыкают люди, ей чуждые, «всякая нечисть» часто с красной петличкой или партийным билетом в кармане. А из их рядов как раз и приходят главные любители террора, «наши уездные Дантоны и Робеспьеры», которые делают «стенку» основным методом решения всех противоречий» (с.204).

Устами Луначарского, казалось бы, формулируется пророчество, прогноз на будущее. И всё-таки «история ничему не учит». Большевики один за другим поднимают руки за красный террор, и Луначарский в том числе. И вот они думают о будущем, и Лакшин вместе с ними. Вспоминаются слова Плеханова о том, что «вера в личные свойства даже самых хороших и честных революционеров не может считаться надёжной гарантией», «куда важнее те объективные гарантии демократического контроля, о которых также говорит Свердлов в спектакле:

«Гласность действия карательных органов. Публикация всех имён арестованных, всех имён заложников, всех смертных приговоров. Классовый подбор аппарата. Неуклонное соблюдение основного принципа красного террора: это террор класса против класса руками класса во имя класса... Нам не нужны профессиональные каратели» (с.204).

«Но и здесь, — пишет Лакшин, — ещё остаётся недоговоренным кое-что из того, что принадлежит к азбуке марксизма»: «надо, чтобы не только сами законы предоставляли возможность демократического контроля, но чтобы люди умели ими пользоваться, получили вкус к осуществлению своих гражданских прав. Широкий народный контроль, демократический правопорядок, социалистическая законность обретают свою реальность по мере просвещения и воспитания гражданского, социалистического правосознания народных масс» (с.204—205).

Выдвигаемые Лакшиным требования имеют очевидный актуальный и аллюзионный смысл, объясняют выбор Лакшиным именно этого материала для высказывания его политических взглядов, его критического отношения к современному правопорядку, который не укладывается в «азбуку марксизма». И вот, «оглянувшись на тот далёкий день с высоты опыта прошедших десятилетий», Лакшин «перебирает в памяти судьбы» большевиков, принявших решение о красном терроре:

«Вот они тревожатся о Ленине, боятся за его жизнь. А ведь не все даже переживут его. Умрёт спустя полгода Свердлов, погибнет от эсеровской бомбы Загорский. Позже станут жертвой беззакония Крестинский и Стеклов, и другие сойдут в тень по одному... Так мало людей этого поколения доживёт до старости» (с.205).

Каков же итоговый вывод Лакшина?

Оспаривая смысл поговорки «Что посеешь, то и пожнешь», критик утверждает, что «жатва порой может разительно мало напоминать посев»: «революция не была... внешним событием», «личная нравственность» большевиков «была слита для них с революционным долгом», а «сам долг выступал» «как создание их собственных чувств и разума»; «надежда на выздоровление Ленина», «рассказанная его товарищами почти шепотом», принимается публикой как «единый вздох радости, облегчения и упрямой веры» (с.195, 205).

«Упрямая вера» в то, что ленинизм восторжествует, определяет собой, в сущности, и общее настроение статьи, и смысл позиции критика в актуальной для него драматической ситуации 1968 года.

«Так неоспоримо принимается критиком. — как писал Солженицын о статье «Посев и жатва» в «Очерках литературной жизни», — вся мифологическая ложь о нашей новейшей истории. И в таких пропорциях понимается история двух веков»(52).

Две рассмотренные нами работы Лакшина второго периода новомирского творчества подтверждают, таким образом, наш тезис о **неформальном** отставании Лакшиным и в 1965, и в 1968 гг. марксистских позиций. Ещё один пример тому — подход, демонстрируемый критиком в статье о романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

В. НЕАДЕКВАТНОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Жанр статьи В.Лакшина о романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (1968, 6) определён критиком как «попытка к комментарию» (с.285), а поставленная цель — выявить «существенное содержание романа» (с.286).

Посмотрим вначале, как критик оценивает «чудом спасшийся роман».

Его отношение к роману, в сущности, определено в эпиграфе к первой главке статьи словами Пушкина: «Где нет любви к искусству, там нет и критики...» (с.284). Лакшин и в самом деле влюблён в роман, ставит его в ряд лучших созданий искусства и искренне в этом убежден. Постоянно встречающиеся в статье оценочные эпитеты и определения, суждения Лакшина по поводу тех или иных особенностей произведения, сторон таланта писателя — несомненное свидетельство очарованности критика созданием художника: «оригинальный талант»; «свобода фантазии автора, блеск его выдумки»; «сила художественного внушения»; «верность житейским подробностям», «точность в колорите времени и места»; «реализм воображения»; «демиург своей действительности»; «поэтическая сила воздействия книги Булгакова» и т.д.

Роман Булгакова для Лакшина — «встреча с истинным искусством», он восхищается формой романа — «яркой, увлекательной, непривычной», ему «не хочется спешить» с анализом, сразу идти к «цели» — выявлению «существенного содержания романа», и критик пытается «вжиться» в удивительный мир романа, воспроизвести наиболее волнующие его сцены, поделиться с читателем своими впечатлениями, настроением, переживаниями. В отличие от многих других своих статей, он в данном случае уделяет немалое место и собственно художественному разбору произведения. Он говорит и о необычной жанровой природе произведения, о найденной Булгаковым наиболее адекватной его оригинальному таланту форме, обращается к разбору юмористических, фантастических, бытовых, философских пластов романа, сравнивает булгаковскую Москву и булгаковский Ершалаим, пытается проанализировать булгаковскую символику (солнечный и лунный свет), метафорические слои романа («чёртова сила»), анализирует образы главных героев, особенно внимательно присматриваясь к Воланду, к его литературной генеалогии. Жанр своей статьи Лакшин определил как «попытку к комментарию»

(с.285), и эта попытка по отношению к многим локальным темам и мотивам романа была выполнена им, безусловно, мастерски.

Однако его главной целью было, как помним, выявить «существенное содержание романа» (с.286).

В чём же Лакшин видит это содержание?

Сила таланта Булгакова состоит в том, по определению критика, что писатель «приводит нас в мир моральных ценностей — совести, чести, справедливости, — и здесь нам важны его наблюдения и открытия». А именно: «заслуга его в том, что он решился прикоснуться к самым крупным нравственно-философским проблемам времени, не умея о них забыть и о них не умалчивая».

Каковы же, с точки зрения Лакшина, эти «самые крупные нравственно-философские проблемы времени», к которым прикоснулся М.Булгаков?

Крупной нравственно-философской проблемой времени Лакшин называет вопрос о личной нравственности, об ответственности человека за свои поступки (кстати, этот аспект сопряжён с часто выдвигаемым Лакшиным в его критике критерием ответственности писателя за слово), который ставится Булгаковым в связи с обращением к евангельской легенде о Пилате.

В каком ключе критик трактует эти высокие моральные ценности?

Сосредоточиваясь на рассмотрении феномена человеческой трусости, Лакшин заключает:

«...Не так опасны люди, поставившие своей целью зло — таких, в сущности, немного, — как те, что словно бы и готовы споспешествовать добру, но малодушны и трусливы» (с.298);

«На миру и смерть красна» — говорит пословица. А вот быть храбрым в одиночку, отстаивать свою правоту, поддерживаемую лишь собственным чувством справедливости, — пишет Лакшин, — на это способен только человек настоящей силы духа и высокого самосознания» (с.298—299).

И эти нравственные уроки романа Булгакова, как пишет Лакшин, имеют самое прямое отношение и к современности:

«...В перспективе времени возникает проблема духовного могущества в сравнении с авторитетом предрассудка, могуществом силы...» (с.300);

«Теперь, глядя из шестидесятых годов, мы лучше, чем когда-либо, сознаём, что коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы, поскольку речь идёт о победе новых начал в сознании каждого из людей, составляющих наше общество. Общественная нравственность неотделима от личной» (с.310).

«Вот почему написанная в тридцатые годы книга Булгакова оказалась удивительно ко двору в литературе шестидесятых годов, когда обычному для наших писателей вниманию к социальным проблемам стал сопутствовать особенно острый интерес к вопросу морального выбора, личной нравственности» (с.310).

Высокие моральные ценности, как мы видим, не только отождествляются критиком с коммунистическими, но и превращаются в банальность, сводятся к положению о том, что каждый, отдельный человек должен ориентироваться в своих поступках «лишь на собственное чувство справедливости»; социальные и философские слои романа трактуются

Лакшиным в общем ключе критики сталинизма. И это не случайно, ибо с самого начала Лакшин обещал судить роман «в согласии со старой марксистской традицией»:

«Но будем, в согласии со старой марксистской традицией, судить художка не по тому, чего он нам не дал в своём творчестве, а по тому, что он нам дал. «Общечеловеческое» искусство может оказаться средством ухода от социальных вопросов или, напротив, приближения к ним» (с.309)(53).

Но каков подход к произведению искусства, таков и результат его прочтения: приближение к важным философским и социальным проблемам романа, с одной стороны, и неадекватная трактовка их действительного содержания — с другой.

Отметим, что и попытка защитить любимого автора, «редкое произведение», тридцать лет пролежавшее «в ящиках письменного стола» писателя, огородить его от идеологической контркритики тех, как он пишет, кто проявил «обеспокоенность» воскресением имени М.Булгакова (с.284), ведётся Лакшиным опять-таки, увы, с опорой на марксистские позиции. И это сказывается уже в самом начале статьи, где Лакшин пытается как бы извинить Булгакова за то, что его мировоззрение не было марксистским, — извинить в том же духе, что и в заключительных строках рецензии критика на булгаковского «Мольера»: писатель, «конечно», «не избежал в своём творчестве отдельных заблуждений...».

«Нет ничего проще, — пишет Лакшин, — как, даже не обращаясь к разбору творчества Булгакова, указать на односторонность его таланта, субъективность его социальных критериев и эмоций, заметно сужавшую его художественный обзор, на его склонность к фантастике, мистицизму и т.п. В этом будет, должно быть, немало справедливого...» (с.285).

Итак, по мнению критика, есть у Булгакова всё же и слабости, и даже в главной мысли романа. А именно: «в благородной вере Булгакова в закон справедливости» есть очевидный недостаток: «её созерцательность, слабость, наивность». «Не реальные способы борьбы за утверждение справедливости в отношениях людей проповедует Булгаков: скорее он утешает себя, наслаждаясь её сказочным, волшебным торжеством» (с.310—311), — объясняет критик.

Откуда же у Булгакова эта «наивность»?

«Булгаков тяготел к гуманизму общечеловеческого склада, — объясняет Лакшин. — Он никогда не был писателем с осознанным политическим мировоззрением. Упрёки в том, что он далеко не всё понял и принял в новой революционной действительности, но большей части справедливы»(с.309).

Итак, с точки зрения марксизма, с точки зрения того самого критерия «народность», который был в своё время разработан в журнале «Литературный критик», Лакшин и объясняет читателю, что «общечеловеческое» искусство не всегда реакционно, а роман М.Булгакова имеет бесспорную ценность для нашей культуры.

Мировоззренческий кругозор Лакшина открывается нам и в следующих его, разбросанных по статье, суждениях: «В интересе к Булгакову есть,

конечно, «издержки сенсационности»; «коли уж приходится говорить о его слабостях...»; «изображение социальной конкретности — наиболее уязвимая сторона его таланта»; с художественной стороны в романе «не всё отделано ровно и до конца»; с философской — «христианская легенда», «как если бы» реальный эпизод истории; может, какой «суеверный читатель» и осенит себя «крестным знаменем»..; «коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы»...» и т.д.

Но, может быть, опять прав будет С.Рассадин, заметив, что все эти, приведённые из текста статьи В.Лакшина, суждения являются лишь оговорками, объясняемыми тактическими соображениями?

С этим, пожалуй, трудно согласиться, во-первых, потому, что роман был уже опубликован, Булгакова давно не было в живых и Лакшин не был связан моральными обязательствами по отношению к писателю. А во-вторых, сам Лакшин никогда впоследствии не оспаривал этих своих суждений (даже в главах книги своих недавних воспоминаний «Открытая дверь», где критик подробно рассказывает о своей дружбе с вдовой Булгакова). Поэтому марксистскую оснащённость статьи мы опять-таки не можем считать формальной, она определяет мировоззренческий подход критика и связана с желанием ещё раз продемонстрировать неизбежность идейной линии журнала.

«Для этого романа — ...тридцать лет трагически таинного, едва не растоптанного — *рост ли в рост* написана статья?» — справедливо заметил Солженицын в своих «Очерках литературной жизни»(54)(55).

В этой же книге А.Солженицын рассказывает и о том, что в ноябре 1968 года он высказал Лакшину своё мнение о его статье, на что критик ответил: «И за эту-то статью, с реверансами, чуть голову не отгрызли»(56)(57). Однако, как верно отмечает Солженицын, «сносно, если только *пишешь* так, при нагнутой шее — а что если и *думаешь* не выше, не шире?»(58)(59). Но Лакшин на это опять-таки заявил: «Я не хочу сослаться на то, что мне что-то не дали из-за цензуры говорить. Я умею всё сказать и при цензуре»(60). А если так, то прав вдвойне Солженицын, восклицая: «Так это и — в с ё ?..»(61)(62).

Итак, характер анализа романа Булгакова ещё раз подтверждает выводы, к которым мы пришли на основе изучения конкретного критического анализа Лакшиным произведений таких писателей, как Б.Пастернак и А.Солженицын. А именно: опора на марксизм мешает Лакшину быть адекватным интерпретатором произведений искусства, мир которых необъясним с точки зрения марксистского мирозерцания. Практическая политическая ангажированность Лакшина — журнального деятеля сказывается на качестве его литературной критики, ограничивая её задачей в первую очередь отстоять идейную линию «Нового мира», а потому не допустить разночтений в трактовке содержания и его собственных работ.

С. ХАРАКТЕР ЗАЩИТЫ ПОЗИЦИЙ «НОВОГО МИРА»

Показательно, что защита Лакшиным позиций «Нового мира» неотделима в его критике и от стремления тем или иным способом

подчеркнуть весомость, роль и место журнала в общественной жизни и литературном процессе, а попутно обозначить и собственную значимость, причастность к Делу журнала.

Это ощущение возникает уже при чтении статьи Лакшина «Читатель, писатель, критик» 1965 года. Рисуя мрачную картину взаимоотношений читателей с критикой, возникшую из приведённых в статье читательских свидетельств, Лакшин говорит обо всём этом отнюдь не безотносительно к своему журналу и к себе. Несколькими штрихами он рисует портрет иной, прогрессивной и уважительной к читательскому мнению критики, противостоящей консервативно-конъюнктурному лагерю. Нет, всё же сегодняшний читатель замечает и удачу, свидетельствует Лакшин. Обычно это выражается так: «очень правдиво», «нет воды», «интересно», «заставляет думать»; критик — «человек честный и не лицемер», «человек, смотрящий в корень, а не просто болтун и говорун» (с.230). И «эти скромные похвалы», пишет Лакшин, немалозначимы, — они «по-своему отражают представление читателя о тех качествах, без которых невозможен общественный и моральный авторитет критики» (с.230). Адрес этих похвал, конечно же, угадывается без труда. Угадывается он и в другом месте статьи, где, определяя роль критика как представителя, «депутата» читателя в литературе и одновременно как «руководителя читательского мнения», Лакшин замечает, что руководить читательским мнением можно лишь в том случае, когда критик «отражает умонастроения и интересы наиболее сознательной и широко думающей части читателей», когда критик «получил от читателя мандат». Владельцем такого мандата, судя по общему контексту статьи, считает себя и сам её автор. Наконец, есть в статье Лакшина и случаи осторожно введённой прямой самохарактеристики:

«...Талантливая, яркая, а главное — принципиальная, правдивая статья редко проходит незамеченной. — пишет Лакшин. И далее отмечает как бы вскользь: — Кстати, большинство цитируемых здесь писем получено в поддержку тех или иных критических и полемических выступлений» (с.229).

Желание обозначить общественно-литературную значимость «Нового мира» вполне понятно, но не вполне безупречен замысел прижизненного посвящения этой теме целой статьи.

Статья «Пути журнальные», опубликованная в «Новом мире» в августе 1967 года, была написана Лакшиным на материале двух исследований: В.Каверина — о первом «толстом» русском журнале «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод» О.Сенковского (Барона Брамбеуса) «Библиотека для чтения» и М.Теплинского — о «втором радикально-демократическом» журнале Некрасова «Отечественные записки» 1868—1884 гг. Из статьи ясно, что речь идёт не просто о желании критика отрецензировать обе книги, а прежде всего о той возможности, которую предоставляет этот материал для выражения мыслей критика о современной ситуации.

Аллюзионный характер этого выступления Лакшина абсолютно очевиден, и не случайно он был уже отмечен не только в ряде критических отзывов, но подтверждён также и самим автором в его интервью автору данной работы.

В статье Лакшина «Пути журнальные» «проводится каждому в те годы понятная аналогия между «Новым миром» и «Отечественными записками». Это — «своего рода объяснение редакции «Нового мира» с читательской аудиторией...», — справедливо писал недавно С.Чупринин в своей статье о литературной критике «Нового мира»(63).

Как же происходит это «объяснение»?

Книга М.Теплинского рассказывает о журнале Некрасова и Щеглова, который «своей судьбой был связан с широким общественным и литературным движением в России той поры» (с.245), чего не скажешь, по мысли критика, о журнале Сенковского: «Перед нами, — пишет Лакшин, сравнивая содержашие той и другой работы, — как будто сходные проблемы: характер и позиция журналов, побудительные мотивы деятельности их издателей, отношения с читающей публикой и цензурой. Но идеи и люди, уровень их интересов, исторический масштаб да и сама атмосфера, окружающая «Отечественные записки», совсем иные, чем те, что могли нас занимать в биографии Барона Брамбеуса» (с.235).

Концепция истории, отношение к журнальным традициям прошлого в этой статье Лакшина ни в чём не расходятся с официальной советской историографией. Деятельность редактора «Библиотеки для чтения» рассматривается Лакшиным если и не без учёта журнально-цензурного контекста эпохи, то, во всяком случае, без особого оправдания. Как известно, Цензурное ведомство, созданное в России при Екатерине Второй, существовало и во времена Николая, который был личным цензором Пушкина. И если Каверин оправдывает вслед за Герценом «глубокое презрение к людям и событиям, к убеждениям и теориям» со стороны своего героя «условиями «свинцовой эпохи», которая его породила», то для Лакшина этот аргумент не может служить извинением журнальной политики Сенковского, потому что, как пишет критик «и Лермонтов — продукт той же эпохи, и Белинский, и Чаадаев» (с.234)!

Итак, журнал Сенковского интересует Лакшина безотносительно ко времени и к обстоятельствам: «Библиотека для чтения» является удобной моделью, прототипом современных критику журналов, ориентированных на конъюнктуру, на цензуру. Редакторская политика Сенковского знаменательна в этом смысле, в определении Лакшина, «подгонкой публикаций... журнала под цензурные рамки», «лихими сокращениями и правке Бальзака и Гюго, Диккенса и Теккерея, не говоря уже об отечественных романистах». «Сто лет читая, не найдёте ни одного слова для красных чернил», приводит Лакшин изречение Сенковского(64).

Литературную политику Сенковского Лакшин определяет как «сознательную безыдейность», «принципиальную беспринципность» (с.232—233), а направление — как «отсутствие направления» (с.231—232). Критик считает такую политику аморальной, ибо, как он пишет, в условиях ожесточения цензурного гнёта и произвола власти позиция беспринципности, приспособления к режиму способствует продвижению реакции вперёд (с.234).

Как видим, в этом общем приговоре Лакшина журнальной политике Сенковского и в самом деле достаточно легко угадывается обращённость его

к современности — к редакторам современных журналов, занимающим приспособленчески-беспринципную позицию:

«Каждый, кто держит в руках перо, ответствен за многое, но прежде всего за себя. И хотя холодно рассуждая, мы можем объяснить «эпохой» всё на свете», «но найти оправдание для человека, продавшего свой ум, изменившего своему таланту, мы не в силах».

Не надо оправдывать таких людей. Не надо искать извиняющих их мотивов, входить в их обстоятельства и т.п. Не надо хотя бы из уважения к памяти лучших сынов русской литературы, живших в одно время с ними и испытавших всю меру подлости их презрительной насмешки или циничного равнодушия» (с.234).

На фоне этого публицистического обличения, явно направленного против журналов—«недрузгов» «Нового мира», тем более контрастно выступает, естественно, общественная значимость, весомость позиций самого «Нового мира», образ которого столь же легко угадывается за вторым «героем» статьи — журналом Некрасова «Отечественные записки».

Лакшин вовсе не «подгоняет» историю «Отечественных записок» к внешним событиям и обстоятельствам деятельности журнала «Новый мир» — они и без того слишком схожи по журнально-цензурным условиям полугласности и по ряду других признаков. В изложении истории «Отечественных записок» критик не отступает от композиционного построения книги М.Теплинского (от «внешней истории» — к литературной критике), его задача состоит лишь в отборе наиболее характерного, актуально значимого исторического материала, который обнажал бы сходство «Отечественных записок» и «Нового мира».

Эта, вторая часть статьи «Пути журнальные» проблемно связана с предыдущими работами Лакшина — «Иван Денисович. Его друзья и недруги» и «Писатель, читатель, критик». Она хронологически и тематически как бы завершает его исследования литературного процесса 60-х годов. И здесь героями становятся уже не столько оппозиционная «Новому миру» реакционная критика и читатели как общественная подпора журнала, сколько, в первую очередь, сам журнал как боевой орган демократических общественно-культурных сил страны и оппозиционная ему государственная власть в лице Цензуры. В контексте этих отношений вновь появляется тема читательской аудитории, но теперь уже не только как общественного союзника журнала, но и как своеобразного гаранта его существования в условиях и вопреки реакции.

В параллели, проводимой Лакшиным, можно выделить, во-первых, материал, отражающий черты «биографического» сходства журналов «Отечественные записки» и «Новый мир»: тут и первые годы относительного благополучия журналов-аналогов, обеспечиваемого, в частности, и правительственной благоволенностью; и то, что уже очень скоро прозвучали в адрес того и другого журналов упрёки во «вредном направлении» со стороны реакционной печати; и то, что в своей борьбе против журналов «цензура широко пользовалась... литературными доносами»; и то, что «реакционная критика не могла повредить журналу в глазах читателей и всё же наносила ему ущерб, так как запугивала правительство, разжигала аппетиты цензуры и создавала вокруг журнала

Некрасова (как и Твардовского. — Н.Б.) такую атмосферу, что гимназическое начальство даже запретило выписывать «Отечественные записки» для ученических библиотек» (с.236) (в случае с журналом Твардовского зачет на подписку на «Новый мир» среди офицеров был, как известно, наложен военным начальством); наконец, сходство судеб проявилось и в том, что именно общественное мнение явилось главной причиной относительно длительного существования как «Отечественных записок», так и «Нового мира», несмотря на все чинимые им препятствия со стороны оппозиционной критики и цензуры.

Конечно, «как ни важна идейная традиция, но время, живой поток литературы, конкретные обстоятельства духовной жизни в первую очередь определяют облик журнала, который неизбежно окажется новым, как бы ни желал он следовать прежнему образцу», замечает критик (с.136—137). И потому не следует, конечно, буквально принимать рассказ Лакшина об «Отечественных записках» как историю журнала «Новый мир». Тем не менее все вышеперечисленные детали сходства «внешней» истории журналов Некрасова и Твардовского не имели бы, конечно, для Лакшина никакого интереса, если бы не было между ними и более глубокой журнально-типовой и объективно-исторической общности.

Направление, лицо журнала, как пишет Лакшин, сама редакция «Отечественных записок» определяла как защиту интересов народа: «народ как главный предмет повествования, интересы народа как критерий оценок и основная тенденция, счастье народа как конечная цель общественной борьбы» (с.236). В более поздней своей работе и уже непосредственно о «Новом мире» Лакшин писал: «Для нас неоспоримы были демократические права личности. Мы искали опору своему чувству и убеждению в народе — и, боясь истасканности и фальшивой декламационности этого понятия, всегда дорожили чувством общего с трудовыми людьми»(65).

Важно, далее, и то, что «Отечественные записки», как пишет Лакшин, были рассчитаны «не на один лишь тесный круг своих политических единомышленников», а ставили «перед собой широкие общественно-просветительские и литературные задачи».

«...Даже те из читателей, — замечает Лакшин — кто не разделял убеждений «Отечественных записок», в частности их социальной программы, отдавали должное этому журналу, так как находили в нём настоящую пищу уму и сердцу, острую современность взгляда, правдивое, честное освещение самых разных сторон жизни России и Европы..»

Авторитет правдивого слова среди читателей был так высок, что с ним должны были считаться, а отчасти даже испытывать на себе его воздействие и царские чиновники и цензура» (с.241).

Конечно, и в этих словах тоже всё достаточно близко сходится с реалиями журнала Твардовского: и формула критика об установке журнала на общественное и культурное просветительство, и характеристика читательской аудитории как аудитории, представленной широким спектром демократических унастроений, и, безусловно, указание на то, что с авторитетом журнала не могла не считаться цензура.

Да и в словах о редакторском самоощущении Щедрина, который, как пишет Лакшин, «скромно оценивал воздействие журнала на публику, зная,

как опасно здесь впадать в преувеличение и самообман», но и хорошо «знал цену делу, которое делал, и не сомневался в общественно-литературном значении журнала», Лакшин также передаёт, надо полагать, не только исторические реалии прошлого века, но и своё собственное самоощущение и самоощущение своих читателей по журналу.

Эсе эти явные для читателя самохарактеристики порой переходят уже и почти в прямую самооценку:

С прекращением «Отечественных записок» мы потеряли «единственный журнал, имевший физиономию журнала»;

«С прекращением журнала погибала какая-то духовная юдрина...» (И.Ясинский), но, как это обычно бывает, влияние «Отечественных записок» не исчезло без следа в день запрещения журнала. Память о нём ещё долго сохранялась в передовой части русского общества, образуя ту духовную радиацию, которая не могла быть прервана...» (с.245).

(Сравните с более поздними характеристиками Лакшина роли и места журнала «Новый мир» А.Твардовского:

«Журнал давал уровень мысли и нравственного сознания, был в этом отношении поддержкой и опорой для своих читателей, как некая общественная объективность. Письма, получавшиеся в огромном количестве редакцией, подтверждали, что «Новый мир» стал для многих в 60-е годы частью их личного бытия...» (66)(67).

«Последние дни редакции Твардовского очень напоминают последние дни журнала «Отечественные записки», — говорил Лакшин позже, в 1985 году. — Но, вероятно, так оно и должно было быть»*).

Конечно, в нашем прочтении что-то, может быть, и неточно, что-то субъективно, но общий и целенаправленно акцентируемый аллюзионный смысл статьи «Пути журнальные», не раз отмеченный в советской критике (68), не вызывает, повторяем, сомнений. Отсюда возникает вопрос: какую цель преследовал Лакшин, желая рассказать читателю о нелегкой судьбе журнала, — причём именно в 1967 году, спустя всего несколько месяцев после того, как власти убрали из редколлегии А.Дементьева и Б.Закса, сразу вслед за грозным предупреждением журналу в «Правде» и т.д. и т.п.(69)? Кому нужно было разяснять почти в открытую, что «Новый мир» — журнал оппозиционный, что он современный аналог «Отечественных записок» и пр.? Если читателю, то он и сам это, несомненно, понимал, равно как по редакционным заявлениям знал и о том, что «Новый мир» ориентируется на традиции русских «толстых» журналов Пушкина и Некрасова:

«Редакция, — писал Твардовский в одном из таких документов, — в меру своих сил стремится следовать тем принципам построения «толстого» журнала, которые характерны для образцов классической русской журналистики, пушкинского и некрасовского «Современника», щедринских «Отечественных записок»...» (70).

Более того, в беседе с нами Лакшин рассказал о том, что многие читатели в письмах в редакцию сами часто проводили параллель между «Современником», «Отечественными записками» и «Новым миром». И если, по словам Лакшина, этот факт укреплял веру Твардовского и редколлегии в правильность занятой позиции, в полезность, нужность журнала, то реакция

официальной прессы на такие параллели была, по выражению критика, ужасной*.

Но если так, если читатели, по словам Лакшина, сами называли «Новый мир» «Отечественными записками», «Современником» наших дней*, то, повторяем, зачем понадобилось критику писать на эту тему специальную статью?

Такой вопрос ставил себе и заведующий отделом критики (с 1967 г.) И.Виноградов. Прочитав статью ещё до её публикации, И.Виноградов усомнился в необходимости столь обстоятельно растолковывать и читателям, и властям, что «Новый мир» стоит в оппозиции к режиму, поскольку считал общественно-просветительский эффект таких разъяснений не столь значительным, чтобы ради него можно было ставить в этот момент на карту само существование журнала, так демонстративно и вызывающе извещающего всех о своей оппозиционности*.

Смысл этого выступления Лакшина очень трудно поэтому интерпретировать так, чтобы обойти слишком заметный элемент самохарактеристики, явное желание критика подчеркнуть и оценить значимость, весомость журнала, обозначив при этом и собственную причастность к его историческому Делу.

Конечно, вопрос о выяснении подобного рода личных мотивов, проступающих в подтексте этой статьи или, по крайней мере, заставляющих догадываться о себе, лежит за пределами таких исследований, как наше. И если мы поднимаем всё же эту тему, то только потому, что она неизбежно встаёт в связи с другой очень важной темой в позднем новомирском творчестве Лакшина, связанной с вопросом о характере и критериях исторических компромиссов, — вопросом, который тоже имеет самое прямое отношение к событиям в истории журнала.

Д. ВОПРОС О МЕРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПРОМИССОВ, ПОДНИМАЕМЫЙ ЛАКШИНЫМ В СТАТЬЯХ 1967 — 1968 гг., И ТРИ ЭПИЗОДА ИЗ РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЖУРНАЛА

Вопрос о правомерности исторических компромиссов, вдохновляемых высокой целью, поднимается в двух частично рассмотренных уже нами статьях Лакшина — «Пути журнальные» (1967 г.) и «Посев и жатва» (1968, 9).

В статье «Пути журнальные» Лакшин затрагивает вопрос о способе «адаптации» редакции журнала «Отечественные записки» к условиям цензурного надзора, о пределах компромиссов, на которые приходится идти издателям во имя Дела в условиях полугласности. Но ведь условия полугласности и есть тот главный элемент, который определял цензурные условия существования и для журнала Некрасова, и для журнала Твардовского. Неограниченные полномочия цензуры («Отечественные записки» «фактически испытывали гнёт двойной цензуры — и предварительной, и карательной» (с.238)), характер её вмешательства («многие номера задерживались, из готовых книжек вырезались статьи» (с.239)), «логика цензоров, их понятия и склад мысли» («...Зачем эта унылость?» «Зачем забивать мысль читателя всё будничными да

будничными представлениями, а не освежать её беседою о предметах возвышенных, вызывающих паренне?» (с.239)) — по всем этим параметрам мы наблюдаем полное сходство цензурных условий для обоих журналов. И поскольку, освещая этот материал, Лакшин в первую очередь имеет в виду, безусловно, именно «Новый мир», делясь с читателем неизвестными ему реалиями из жизни журнала, постольку и следующий вопрос — вопрос о способах «адаптации» журнала к этим условиям — тоже никак не может носить лишь исключительно историко-литературный характер.

Как же «адаптируются» редакции журналов к описанным цензурным условиям?

Лакшин ставит вопрос об историческом компромиссе как о вещи совершенно естественной, обычной во всякой политической борьбе — в том числе и в политической борьбе журнала. И с самого начала он очень чётко определяет своё отношение к вопросу:

«...Не находя извинений беспринципности Сенковского, — пишет Лакшин, — мы в то же время... снисходительны к иным слабостям и противоречиям «Отечественных записок» и их издателей» (с.238).

Однако в подтверждение того, что в журнальном деле компромиссы неизбежны, Лакшин приводит следующие строки из стихотворения Некрасова, написанного по случаю проводов большого Щедрина за границу в 1875 году:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь...
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей...

И здесь, в этих строках, читаемых, естественно, тоже аллюзионно, сразу же настораживают слова «сделки с совестью». Возникают ли они в цитации Лакшина лишь контекстуально или имеют для него значимый смысл?

Из дальнейшего становится ясно, что Лакшин и далее постоянно использует именно этот термин — «сделка с совестью» — для обозначения понятия «политический компромисс», перенося, таким образом, на область политической морали категории личной нравственности.

Оправданием «сделкам с совестью», как пишет Лакшин, может быть лишь бескорыстная цель, труд на благо общества:

– журнальный путь...
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей...
Но где мы снисхождение купим
Трудом у мыслящих людей
Трудом — и бескорыстной целью...

Да! Будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать (с.238).

Что же означали, однако, эти мучительные для Некрасова «делки с совестью», к которым, как пишет Лакшин, редактору «приходилось прибегать едва ли не на каждом шагу издания журнала»?

«Некрасов кормит цензоров роскошными обедами у Дюссо, с одним из них охотится, играет в карты с другим. Щедрин удерживает своих сотрудников от неосторожных выходов и даже сам берет на себя отчасти обязанности цензора — редактирует журнал «не только с точки зрения идейно-художественной, но и цензурной». Случается, издатели «Отечественных записок» идут и на более прискорбные компромиссы. «Наблюдающий» за журналом Ф.Толстой регулярно рекомендует Некрасову романы и повести своих светских знакомых, и они — увы! — находят себе иной раз место на страницах лучшего русского журнала» (с.238).

Данный пересказ из книги М.Теплинского о компромиссах, на которые шёл Некрасов ради дела, ради сохранения своего журнала, конечно, никак нельзя применять фактологически буквально по отношению к практике «Нового мира». Твардовский никогда, естественно, не кормил цензоров в ресторанах и тем более не охотился с ними и никогда не печатал в журнале материалов по рекомендации цензоров. Однако в том, что касается исполнения редактором функций внутреннего цензора (Щедрин редактирует журнал «не только с точки зрения идейно-художественной, но и цензурной»), есть прямая параллель и с Твардовским, и с Лакшиным, и с другими редакторами «Нового мира». Предварительная ориентация редакторов журнала да и самих авторов на внешнюю цензуру была естественной попыткой избежать прямого столкновения с Главлитом. Можно напомнить хотя бы один пример такого рода — тот, о котором пишет Ю.Трифонов в статье «Вспоминая Твардовского». В 1967 году Твардовский и Трифонов обсуждают рассказ «Голубиная гибель», «застрявший в отделе»:

«А.Т.: — Эта фраза, я думаю, не пострадает, а вот во что вцепятся: полковник в отставке. Он у вас довольно зло...Вцепятся непременно.

Ю.Т.: — Убрать, вы думаете?

— Убирать пока погодим. Но вы увидите, они его не пропустят.

Речь шла, — объясняет Трифонов, — о члене домкома Брылкине. Я писал сей персонаж почти с натуры. Концовка рассказа тревожила Александра Трифоновича меньше, чем этот Брылкин, он лишь посоветовал снять в конце фразу о смерти Сталина, обозначающую перелом времени. Фразу я снял»(71).

Журнал Твардовского вынужден был идти на компромиссы, публикуя различные правительственные доклады или правительственную критику даже по собственному адресу, по адресу своих авторов, как то было, например, в случае с публикацией речи Хрущёва 3 марта 1963 года; в ряде случаев редакции приходилось грубо отмежевываться и от различных заграничных похвал по своему адресу(72). Компромиссы выражались и в форме «слов и способов высказывания принуждённых»(73), в форме приписок почти к каждой проблемной статье нескольких абзацев, иллюстрирующих точку зрения партии по отношению к тому-то и тому-то, в форме отдельных заклинаний и необходимых цитирований теоретиков марксизма-ленинизма для демонстрации своей лояльности по отношению к

властям; в форме хождений Твардовского по кабинетам чиновников, чтобы «пробить» публикацию какого-то произведения, и пр.

«Слов нет, — писал недавно Лакшин, полемизируя с А.Сахиным, — и у редакции, возглавляемой Твардовским, бывали свои компромиссы. Но честь и совесть журнал не терял ни при каких обстоятельствах: не молился богам неправды, чтобы подхихиковать дома, не лакействовал, не выдавал чёрное за белое, не ставил в ряд плохие и хорошие книги и, может быть, этим-то прежде всего и выделялся: не только уровнем публикаций, но и позицией литературной чести»(74).

Лакшин совершенно прав по существу и в главном, но есть в его многочисленных публикациях последнего времени, в воспоминаниях о «Новом мире» всё же некоторая **недоговорённость**. Мы имеем в виду те конкретные случаи «более прискорбных компромиссов», на которые критик намекал в статье об «Отечественных записках», имея в виду, безусловно, и «Новый мир». Тут мы, конечно, забегаем вперёд, но сама тема требует рассмотреть вопрос теперь же.

Одной из таких мучительных для Твардовского «сделок с совестью», надо полагать, была в 1958 году, в разгар травли Б.Пастернака, публикация письма симоновской редколлегии Б.Пастернаку, скреплённая собственной подписью Твардовского и его редакционной коллеги. Другим «прискорбным компромиссом» за двенадцать лет существования журнала было проведение собрания редакции (под давлением партийно-литературной номенклатуры), на котором была подписана резолюция в поддержку введения войск стран Варшавского Договора в Чехословакию, о чём, конечно, Лакшин, в момент написания статьи «Пути журнальные», ещё не подозревал. Но право на компромисс было «запрограммировано» уже в этой статье, как точно выразился позже Ф.Светов. Лакшин ни в одной из более поздних публикаций ни слова об этом не пишет, за исключением статьи «Не впасть в беспамятево», где он с гордостью рассказывает об отказе Твардовского подписывать «воронковские бумаги, коллективные заявления, которые ему привозили на дачу из Союза писателей»(75). Но если Твардовский отказался участвовать в позорной кампании (ибо, очевидно, и рассматривал этот шаг не как возможный и необходимый политический компромисс, а уже поистине как «сделку с совестью»), то из этого ещё не следует, что остальной коллектив «Нового мира» присоединился тогда к позиции Твардовского. Между тем у читателя статьи Лакшина складывается именно такое впечатление.

Вернёмся, однако, к тексту «Путей журнальных». Ещё в самом начале своего разговора о компромиссах издателей «Отечественных записок» критик писал, что их можно оправдать бескорыстной целью. Причём, как мы помним, Лакшин отождествлял политический, вызванный тактическими соображениями компромисс с нравственным — «сделка с совестью». Чуть далее — и в этом же ключе — Лакшин не то чтобы извиняет «прискорбные компромиссы» Щедрина и Некрасова, но пытается всячески оправдать их следующими соображениями:

«Нельзя не пожалеть обо всём этом, — пишет Лакшин. — Страшно было бы хвалить за это Салтыкова и Некрасова, — такие поступки не вызывают

сочувствия потомства, даже если они оправданы тактическими соображениями и совершаются в крайних обстоятельствах. Но, — оговаривается Лакшин, — брезгливо осудить их можно, лишь если взглянуть на них отчуждённо, со стороны, вставши на точку зрения **абстрактного морализма**, гордого своим неучастием в «грязной» действительности. Быть может, им надо было быть всё же чуть менее «гибкими», чуть более непреклонными. — рассуждает Лакшин. — Но кто посмеет сейчас решить это за них? Для этого надо было по меньшей мере жить в одно время с ними. **Главное**, что они трезво и сурово смотрели на себя, без самообольщения оценивали свою деятельность, но знали, чего они хотят, на что надеются, и верили в будущее. Оттого **за бегом времени**, уже из следующего столетия, всё растут и очищаются в своём значении яркие и сильные, лилипутные всякой двусмысленности фигуры этих людей, хлопотавших не о своём успехе, рыцарски любивших литературу, отдавших себя служению родному народу. Их не надо извинять условиями, говорить об «эпохе», искажившей характер их деятельности. Если такие оправдания не годятся для Сенковского, то для Некрасова и Щедрина они просто унизительны» (с.238).

Совершенно очевидно, что Лакшин здесь не столько говорит о журнале Некрасова и Щедрина, сколько пытается решить какие-то остро стоящие для него самого проблемы, связанные с «прискорбными», как он их называет, компромиссами. Эту остроту передаёт и взволнованная интонация повествования — интонация исповеди, и пафос оправдания, пронизывающий этот монолог.

Отчего же так остро ставит Лакшин вопрос о «делках с совестью»? Отчего так спешит ещё при жизни «Нового мира» возвысить его дело, подчеркнуть бескорыстие его руководителей, обаяние «ярких и сильных, лилипутных всякой двусмысленности фигур этих людей»?

В своей статье «Разделение...» Ф.Светов пишет, что воспринял вышеприведённый отрывок из статьи Лакшина как попытку самооправдания и «бесстрастную планировку» Лакшиным «права на компромисс», что вызвало у него ощущение неловкости и шока(76). И хотя Лакшин в своей ответной статье Ф.Светову(77) отрицает этот параллелизм, тем не менее как автор настоящей работы, так и критик С.Чупринин восприняли этот пассаж из статьи Лакшина почти так же, как и Светов:

«В этих словах, — пишет С.Чупринин в статье «Позиция», — многое сошлось. И указание на традицию, на пример, согревавшие «повомирцев». И понимание исторической значимости своей деятельности...»(78).

Наконец, последнее замечание, касающееся вышеприведённого монолога, упирается в сам характер постановки Лакшиным вопроса об исторических компромиссах.

Почему критик так упорно совмещает политический компромисс с плоскостью нравственных мучений? Почему он говорит о «делках с совестью»? Не потому ли, что ему действительно приходится идти порой именно на компромиссы — компромиссы, которые уже трудно оправдать журнальной политикой, стратегией, тактикой, высшей целью и т.п. — всем тем, что не снимает неприятность компромисса, но и не переводит его ещё в разряд «делок с совестью»?

Рассмотрим, в связи с этим, отрывок из другой, более поздней статьи — «**Посев и жатка**» (1968, 9), где с той же острой инновацией ставится вопрос о компромиссах.

Обозначение темы намечается ещё где-то в начале статьи:

«Да, революция жестокая вещь и революционеру приходится идти через кровь. — пишет Лакшин. — Но где **та черта**. — далее спрашивает критик, — через которую нельзя переступить, не замавав саму идею высокого дела?» (с.185).

Вопрос существенный для решения проблемы политического компромисса, но ответа на него мы в статье так и не получаем.

Чуть далее, обосновывая своё предпочтение исторической фигуры Пестеля фигуре Муравьёва, Лакшин вновь развивает, однако, тему компромисса следующим образом:

«Пока бездействуешь и мечтаешь, обдумываешь свой идеал — никто не может помешать тебе», «но как только от мечтаний и теорий, сладких слов души, благородный мыслитель спускается в практику, его сокрушают со всех сторон миллионы не учтённых им прежде условий и обстоятельств; каждый шаг даётся ему с трудом, он встречает противодействие, отвечающее действию, — и вынужден считаться с этим. Тогда он уже не пробует идти напролом, **выбирает тактику**, идёт на компромиссы, жертвует менее важным в своих убеждениях ради более важного. С недоумением и отвращением начинает он замечать, что к нему **лишится грязь жизни**, желанное не идёт в руки само, а история выставляет за достижение идеала **такую цену**, о которой надо ещё подумать».

Нравственный максимализм слишком часто бьёт в таких случаях отбой и, чтобы сохранить свою незанятность и цельность, спешит вернуться к себе в чистую обитель. В какой-то миг истории это противоречие идеала и практики может показаться фатально неразрешимым. Но кто сказал, что люди обречены выбирать между аполитичной нравственностью и безнравственной политикой? Если человек высоких гражданских убеждений пришёл к мысли о необходимости общественного действия, он неизбежно вступает в **борьбу со всеми её требованиями**. Личный нравственный ригоризм, любые попытки переменить жизнь доказали в ходе истории своё бессилие. Но и политика, освободившая себя от нравственности, поставившая своим девизом Маккиавеллиново правило: «цель оправдывает средства», — такая политика неизбежно губит самой себя, извращает свои цели и рано или поздно приходит к краху»(с.186).

Приведённый отрывок является не просто лирическим отступлением, а, несомненно, опять-таки своего рода самоогляданием, попыткой **какого-то** самооправдания. Та же исповедальная интонация, что и в предыдущей статье, то же желание мотивировать правомерность **какого-то** личного выбора, **какого-то** осуществления компромисса: предпочтение действия, «выбираешь тактику», «идешь на компромиссы», «борьба со всеми её требованиями» во имя благородной цели. Дела.

Как и в статье «Пути журнальные», вопрос о политическом компромиссе здесь неотделим от нравственных мучений: «борьба со всеми её требованиями» требует «жертвы менее важным в своих убеждениях ради более важного», и тут «с недоумением и отвращением начинает он

замечать, что к нему липнет грязь жизни...». Позиция «нравственного максимализма» не принимается, ибо «в таких случаях» «слишком часто бьёт отбой», «личный нравственный ригоризм» доказал «своё историческое бессилие».

Острога поднимаемого Лакшиным в двух его статьях вопроса о мере исторического компромисса вряд ли будет нами понята, если мы для прояснения этой проблемы не обратимся к некоторым эпизодам из реальной истории журнала «Новый мир».

а) ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД. 1968 г.

В «Очерках литературной жизни» А.Солженицын рассказывает, что в те дни, когда от журнала требовали проведения собрания в поддержку акции советского правительства в августе 1968 года в ЧССР и райком партии звонил в «Новый мир» каждые два часа, требуя резолюцию, Лакшин с Кондратовичем поехали к Твардовскому для переговоров, которые окончились, как пишет Солженицын, «горделивым устоянием главного редактора» и «визой» партгруппы «Нового мира» (за исключением И.Виноградова) «на публичную позорную резолюцию».

«...Если позиция Твардовского, — как оценивает ситуацию Солженицын, — была плюс, это мы знаем, а умножение даю минус, то позиция Лакшина открывается нам алгебраически. Ясно, что, приехав, он сказал Твардовскому: *«надо спасать журнал!»* (79)(80).

Солженицын считает этот день днём духовной смерти «Нового мира» (с.251)(81).

Этот реальный эпизод из жизни журнала помогает, как нам кажется, объяснить содержание прощитрованных строк из статьи Лакшина «Посев и жатва», опубликованной **постфактум**, — объяснить неслучайность того эмоционального волнения, которое сопровождает рассуждения критика о выборе позиции в условиях борьбы, его попытку оправдать правомерность компромиссов, вдохновлённых высокой целью. Цель эта — спасение журнала.

Однако можно ли считать всего лишь компромиссом такой шаг, который **перечёркивает**, в сущности, само Дело журнала? Вот ведь и Лакшин ставит такой вопрос в своей статье «Посев и жатва»: «Но где та черта, через которую нельзя переступить, не замавав саму идею высокого дела?». Из этого очевидно: для него эпизод 68-го года отнюдь не есть ещё «та черта». Тогда напрашивается вопрос: где же она?

Надо сказать, что сама концепция политического компромисса страдает у Лакшина отсутствием логики. Ибо, с одной стороны, критик пишет, что «цель не оправдывает средства», а с другой стороны — «коли вступил на борьбу по убеждению, то следует её принимать «со всеми её требованиями...». Но если «со всеми требованиями», то опять-таки — «где та черта, через которую нельзя переступить?»

Нестройность концепции объясняется, нам кажется, желанием критика оправдать свой поступок. С одной стороны — угрызения совести: когда «с недоумением и отвращением начинаешь... замечать», что к тебе «липнет грязь жизни, желанное не идёт в руки само, а история выставляет за

достижение идеала такую цену, о которой надо ещё подумать», с другой — попытка представить эти угрызения как некие закономерные, всем свойственные, якобы неизбежные при политическом компромиссе нравственные мятарства. Отсюда — и вся **неубедительность** попытки оправдания своего реального гражданского поступка, предпринятой критиком в статье «Посев и жатва».

Как совместить, кроме того, пренебрежение позицией нравственного ригоризма («Посев и жатва», 1968, 9) с теми нравственными уроками («личная нравственность, неотделимая от общественной», «преимущество духовного могущества человека в сравнении с могуществом силы»), которые Лакшин извлёк из романа Булгакова и пытался донести до читателя в своей статье, опубликованной тремя номерами раньше? Считал ли критик свою публицистическую проповедь обязательной и для себя? Или, как несколько резко заметил Ф.Светов, «всё, что писалось, на самом деле было лишь холодной игрой ума, к обстоятельствам жизни — внешним ли, внутренним — отношения не имевшей?»(82). В этой связи приходится признать правоту Ф.Светова, ибо, проведя собрание и подписав злощастную резолюцию, Лакшин перечеркнул весь смысл своих рассуждений о неотделимости общественной нравственности от личной, которые выявили тем самым свой сугубо абстрактный, отвлечённый характер. Оттого-то Ф.Светов, ретроспективно оценивая содержание статьи Лакшина «Пути журнальные», и имел, на наш взгляд, вполне объективные основания расценить ту прижизненную самооценку, которую Лакшин даёт в своей статье журналу и его руководителям, как нескромное самолюбование критика, «примеряющего перед зеркалом мундиры «Отечественных записок» и «Современника», как «бесстрастную п л а н и р о в к у права на компромисс»(83)(84).

в) ВТОРОЙ ЭПИЗОД. ВНУТРИЖУРНАЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ ПОСЛЕ РАЗГРОМА РЕДКОЛЛЕГИИ «НОВОГО МИРА» (1970 г.)

Если вернуться к знакомому отрывку о компромиссах из статьи «Посев и жатва», то здесь, как мы помним, В.Лакшин признал позицию «нравственного ригоризма» малоэффективной «в условиях, когда прямое противостояние общественному злу невозможно». И в самом деле, критик тогда писал, что более действенным общественным противостоянием являются поиски «обходных путей, маневрирование, смена тактики».

Но вот журнал разгромлен, и внутри редакции возникает дилемма: бойкотировать ли новую редколлегия добровольным уходом из редакции оставшихся сотрудников и изъятием авторами из портфеля журнала своих рукописей или же, наоборот, сотрудникам остаться на своих местах и попытаться опубликовать хоть что-то из имеющегося портфеля?

Лакшин занимает позицию бойкота редколлегии В.Косолапова, что, по его мнению, должно иметь важный общественный резонанс, стать актом протеста против закрытия журнала Твардовского. То есть, как видим, он занимает теперь именно позицию «нравственного ригоризма», аргументируя её следующим образом:

«...Твардовский был уверен, что наши лучшие авторы, а это была вся советская литература, не будут печататься в «Новом мире». Никто не понесёт рукопись новому редактору, и журнал задохнётся, и таким бойкотом будет показано, что это значит. Но были писатели, которые говорили — не всё ли равно, где печататься, и остались авторами «Нового мира», и Солженицын эту позицию принял»(85).

Справедливо ли такое требование, согласно которому «вся советская литература» должна перестать печататься в «Новом мире»? Справедливы ли претензии Лакшина к оставшимся сотрудникам редакции в том, что они остались? Имел ли Лакшин моральное право упрекать их в том, что они выбрали теперь позицию компромисса ради Дела?

Лакшин требует в данном случае сплочения коллектива редакции, единства действий. Но тогда, когда это сплочение действительно могло бы иметь огромный общественно-политический резонанс международного масштаба, поставило бы журнал на иной уровень самосознания, сам он предпочёл иной путь. Ведь Твардовский решительно отказался тогда «спасать» журнал, а членам редколлегии предложил самим сделать свой выбор. И предложи Лакшин в тот момент, как второе лицо в журнале, своему коллективу иной вариант спасения журнала — спасение его чести, то тогда, в 1970 году, его позиция «правдивого ригоризма» была бы полностью оправдана.

«...Если весь новомирский век, — пишет Солженицын, — состоял из постоянных компромиссов с цензурой и с партийной линией, — то почему можно запрещать авторам и аппарату эту лишь компромиссов потянуть и продолжить, сколько удастся».

«И вообще нельзя вымогать жертв из других, можно звать к ним, но прежде того и самим показав, как это делается»(86)(87).

Следует обратить внимание и на бытовую, так сказать, аспект вопроса. Требование к людям не печататься и не работать в редакции исходит от человека благоустроенного секретариатом СП: ведь после разгрома редколлегии Лакшина перевели на должность консультанта журнала «Иностранная литература» с сохранением прежнего оклада. Следовательно, самому Лакшину бойкотировать было некого и терять при этом тоже было нечего. «Таким бойкотом будет показано, что это значит...»! А что это могло значить? Что отказавшиеся печататься в журнале авторы, уволенные из редакции по собственному желанию сотрудники остались бы без работы, а между тем никакого позитивного серьёзного эффекта предлагавшаяся Лакшиным акция протеста в те годы всё равно не принесла бы? Через год-два подтвердилось, что и без того многих новомирских авторов не только в «Новом мире» Косолапова, но и в других изданиях не печатают, о чём, в частности, рассказывала нам писательница Е.Ржевская.

Солженицын в «Очерках литературной жизни» писал кроме того, что в тот момент, когда Лакшин требовал бойкота от сотрудников и авторов, сам он и Твардовский «не брезгливо посетили писательский съезд РСФСР», проходивший вскоре:

«Твардовский пошёл и сел в президиум и улыбался на общих снимках с проходивцами, как будто специально показывая всему миру, что он

нисколько не горим и не обижен. (Уж пошёл -- так **выступи!**)(88). А Лакшин таким образом внешне отметил в верноподданничестве, в кулуарах же ловил повомирских авторов и убеждал забирать свои рукописи назад»(89).

И «вот это направление усилий» В.Лакшина А.Солженицын справедливо назвал неблагородным.

Наконец, возможна ли была та мобилизация актива и то сплочение в противостоянии, к которому звал Лакшин? Ведь и сам Лакшин в своём ответе Солженицыну признался, что «Новый мир» обычно попрекали стихийностью и безалаберциной в организационном смысле»(90). Виноградов в беседе с автором настоящей работы также отметил, что даже в самой редколлегии не было единства и слаженности действий, не было продуманности, чёткой издательской политики, заранее спрограммированной на ту или иную «внешнюю» ситуацию. В отделе критики и публицистики, по рассказу Виноградова, он и Буртин пытались вместе проводить единую политику в этом смысле, но она, как признался Виноградов, наткнулась часто на противодействие даже в самой редколлегии*(91).

Что же касается тех, кто противостоял политике бойкота, то среди них надо назвать А.Берзер, которая в особенности была неприятна В.Лакшину, и в своём ответе 1977 г. Солженицыну критик не преминул об этом высказаться:

«Пусть пел Солженицын, -- пишет Лакшин, -- во многом несамостоятельно, поддавшись самооправдательной аргументации некоторых сотрудниц редакции, оставшихся работать с новым редактором...» (с.213)

«Что же касается Берзер, то Твардовский, как верно замечает Солженицын, даже отлаывая должное её редакторским навыкам, любил её мало -- и, как теперь выясняется, не зря. Амбиции её были велики, притязания обширны -- куда больше той скромной роли, которую она в редакции выполняла», «она не испытывала брезгливости к двойной игре, хотела поправиться авторам за счёт редколлегии, плодила среди них опасения, недоверие, переносила слухи и тем ещё пуще осложняла положение Твардовского и журнала»(92).

В.Некрасов защитил А.Берзер, вступив в эту полемику, и написал о ней много благодарных и тёплых слов. Анна Самойловна Берзер, писал Некрасов, «редактор-друг, товарищ, единомышленник», в «активе» которого, «не говоря уже о Солженицыне», и Шукшин и «сколько ещё других...» талантов(93).

А.Берзер, в свою очередь, так объяснила позицию тех, кто не принимал позицию бойкота:

«Я никого из авторов не уговаривала не забирать рукописи, но я говорила, что то, что у нас лежит в портфеле, надо печатать, что пока я буду там работать, я буду печатать, что смогу, а политику выжженной земли я не принимаю»*(94).

Итак, позиция «нравственного ригоризма», которую занял Лакшин по отношению к сотрудникам журнала в описанной ситуации, тоже представляется нам необходимой.

с) ТРЕТИЙ ЭПИЗОД. ПОЛЕМИКА ВЛАКИШИНА С А.СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

О чём рассказывает автобиографическая книга Солженицына «Бодался телёнок с дубом»? Книга эта — о литературном пути и о неравной, но исторически победной борьбе Солженицына с административно-командной советской системой.

Масштабы писательской судьбы Солженицына поистине несоизмеримы ни с одной из известных нам биографий русских писателей. С какой целью пишет эту книгу Солженицын (вопрос, который задаёт Лакшин в своей ответной статье)? Для того, чтобы не исчезла вместе с человеком историческая память (объясняет Солженицын на одной из первых страниц «Телёнка»). В этом ключе написаны и те главы книги, которые посвящены рассказу о взаимоотношениях Солженицына с «Новым миром», с А.Твардовским и с В.Лакшиным также. В изложении событий времени, суждениях о них Солженицын стремится к объективности, и хотя она ему не всегда удаётся, тем не менее историческая правота его общей оценки места и роли журнала А.Твардовского в общественно-политическом и культурном процессе 60-х гг. кажется неоспоримой. И с особой очевидностью — именно теперь, в 90-е гг.

Однако уже и во второй половине 60-х гг., когда начались репрессии против писателей, после Чехословакии, после исключения Солженицына из СП, закрытия журнала и т.д., многие из тех, кто боролся за социализм «с человеческим лицом», окончательно простились с иллюзиями и заняли радикальные позиции по отношению к советской системе. Среди них оказались и бывшие повоинские критики — Ф.Светов, Ю.Буртин, И.Виноградов и др. Другая же часть демократически настроенной интеллигенции (и среди них В.Лакшин) хотя и находилась в оппозиции режиму, но продолжала по-прежнему считать, что все беды в отуплении от «азбуки марксизма». Таким образом, в 70-е гг. в лоне общедемократического движения мы наблюдаем **разделение**, которое наметилось ещё раньше, но приняло более острый характер с момента публикации Лакшиным, в 1977 г., в Лондоне, его ответа на книгу Солженицына «Бодался телёнок с дубом».

Объективной причиной спора Лакшина с Солженицыным в 70-е гг. явилось, с нашей точки зрения, их **мировоззренческое расхождение**. Лакшин не мог приять в книге Солженицына ни общей концепции истории России, ни характера осмысления общественно-исторического процесса 60-х гг. и роли «Нового мира» в этом процессе.

Вместе с тем существовала, несомненно, и **субъективная причина** отклика Лакшина на книгу Солженицына. Так, из статьи «Солженицын, Твардовский и «Новый мир»(95) мы узнаём о том, что отношения критика с Солженицыным были уже давным-давно испорчены. «...В 70-м году, — пишет Лакшин, — всего через два месяца после разгрома журнала, произошла у нас ссора в письмах, приведшая к исному, необъявленному разрыву» (с.156). Причиной этой ссоры послужили, как пишет критик, «запутанные обвинения» Солженицына «уволненной редакции», изложенные в «Телёнке» на страницах 305—308. Лакшин рассказывает далее, что, несмотря на свой конфликт с Солженицыным, когда писателя выслали, он,

понятно, не дал ни одного интервью советским журналистам — не хотел «подсвистать Солженицыну вдогонку» (с.158). Но вот появился «Телёнок»... «Телёнок», — пишет Лакшин, — это не мемуары и не история», это «запоздалый памфлет против «Нового мира»; в этой книге Солженицын «оскорбил память человека мне близкого», «обидел многих моих товарищей и друзей». «главное же, облил высокомерием свою собственную колыбель, запятнал дело журнала...» (с.162,159).

Лакшин упрекает Солженицына в отсутствии «скромности или деликатности перед живущими», изображёнными в этой книге, с чем мы не можем не согласиться. Критик имеет в виду не только товарищей по редколлегии, но, безусловно, и собственное изображение в «Телёнке»:

«...Меня Солженицын пощадил и не припечатал в «Телёнке» каким-нибудь словом-кличкой. Он даже сделал мне честь разобрать мои взгляды, личность и «эволюцию» в специальном «эпюде», в рассмотрение которого я по понятным причинам входить не буду...» (с.178).

Вместе с тем любому, кто читал «этюд» Солженицына о Лакшине, более чем понятна ирония слов «сделал мне честь». Ведь карикатурно изображённые Деминьев, Сац, Закс и Кондратович на самом деле почти и не персонажи книги, тогда как Лакшин является одним из героев «Телёнка» — причём из героев, малосимпатичных автору. Не исключено поэтому, что субъективно-психологическим фактором ответа Лакшина на книгу Солженицына как раз и явился этот «этюд», глубоко ущемивший самолюбие критика (96). И дело, таким образом, не только в «заниженном», с точки зрения Лакшина, изображении Солженицыным роли журнала, который для Лакшина остался, по точному определению Светова, «звёздным часом, обетованной землёй», но и в самом образе Лакшина, вошедшем в солженицынскую историю «Нового мира» не тем героем, каким сам Лакшин представлял себя в статье «Пути журнальные». Это предположение подтвердил в своё время Л.Копелев в беседе с автором настоящей работы. Так, на вопрос о причинах ответа Лакшина Солженицыну Копелев совершенно однозначно ответил:

« — Лакшин был лично оскорблён тем, что написал о нём Солженицын. Я просто наблюдал это своими глазами, и я был за него оскорблён, когда прочитал это. Солженицын его оскорбительно и несправедливо представил в этой книжке...

— Лакшина?

— Да, конечно. Тут вполне естественная личная обида, вполне естественная. Второе, он оскорбился за Твардовского. Он был близким другом Твардовского и очень преданным ему...».*

И вот критик задаёт себе вопрос: смолчать, как молчал когда-то предтеча Твардовского Некрасов? «И зря. Сто лет тянется за ним хвост стародавних обвинений и сплетен», — пишет Лакшин в статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» (с.163). В беседе с Лакшиным в 1985г., на вопрос: «А Твардовский, будь он жив, ответил бы на «Телёнка»?» — Лакшин утвердительно заявил, что он «уверен в этом».*

Однако есть и другие мнения на этот счёт среди бывших новомирцев. К.Озерова, в частности, отметила, что Твардовский не любил такого рода

полемику». Любопытен в этой связи и маленький диалог между Солженицыным и Твардовским, приводимый в «Очерках литературной жизни». Твардовский как-то заметил Солженицыну:

« — Мне говорили, что вы вообще против меня высказываетесь...

А.С.: Против? И вы могли верить?

А.Т.: Я ответил: пусть! А я всё равно против него — не буду»(97).

В.Лакшин, в отличие от Твардовского, как можно судить по его новомирскому творчеству, был активным полемистом и всегда отвечал своим оппонентам. Поднимает он перчатку и на этот раз, мотивируя свой шаг желанием быть свидетелем на процессе.

Но, разбив статью по тематическим пунктам, подсчитав количество страниц, отведённых критиком для защиты «Нового мира» и чести товарищей, и объём текста, занятого под **ответный «этюд»** Лакшина о Солженицыне, мы не можем не отметить некоторое нарушение баланса в пользу «этюда», что подтверждает предположение о личном характере обиды критика.

Так, упрекая Солженицына за отдельные, субъективно изображённые в его книге реалии из жизни «Нового мира», за то, что автор написал неверный портрет Твардовского и т.д. и т.п., Лакшин определяет «Телёнка» как «фальшивую мемуаристику», которая «с годами забудется» и «тогда всем станет ясно, какое чистое дело» делал «Новый мир», и вспомнится Твардовский — «истинно высокого и бескорыстного строя души» человек (с.218). Такая точка зрения также субъективна, но, в конце концов, допустима. И если бы критик ограничился в своей статье фактологическими поправками к солженицынской истории «Нового мира» (к чему, кстати, автор призывал своих критиков в «Телёнке»: «...Если где в этой книге я проглаживаю их /новомирцев. — Н.Б./ слишком жёстко — исправьте меня: на муки их, на скованность их, на беззащитность» /с.276/), то у нас бы и не было никаких претензий к Лакшину. Однако критик поднял перчатку не только для того, чтобы, как он выразился, участвовать на процессе «Нового мира», но и на процессе Солженицына, где он выступает с обвинительной речью против писателя, высланного советскими властями — теми самыми властями, которые разгромили «Новый мир» и его «чистое дело», чем угробили и «истинно высокого и бескорыстного строя души» человека.

Можно ли было отвечать на книгу Солженицына?

Если говорить о поправках к истории журнала, о возражениях, несогласии с теми или иными деталями, трактовкой отдельных событий, изображением тех или иных персонажей в книге, то да.

Но посвящать около тридцати страниц текста статьи **обвинительной речи** против Солженицына — достаточный материал для того, чтобы назвать это выступление Лакшина граждански неэтичным: опубликовать статью, Лакшин, безусловно, «подсвистал Солженицыну вдогонку», и, возможно, помимо своей воли выступил на стороне гонителей «Нового мира».

Таким образом, позиция Лакшина теперь (после '68-го года и после инцидента в редакции в 70-м году) выявляется как позиция в нравственно-гражданском смысле весьма небезупречная.

Начнём с того, что Лакшин спокойно пошёл из «Нового мира» на «казённо-литературный пост (в «Иностранную литературу». — Н.Б.), — пишет Солженицын в «Телёнке», — который пусть не увлекает его, но кормит и даёт положение — достаточно крепкое, чтобы наконец вот бесстрашно выступить и в самиздате, и за границей, — правда, против клеймённого отщепенца и врага народа Солженицына; и даже, для Запада, будет выглядеть смелым инакомыслящим»(98). В свою очередь это бесстрашное выступление производит фантастическую метаморфозу в карьере опального критика, ибо, как сообщает Б.Можаяев в статье «Ещё о каннтовой печати и нательном кресте», Лакшин вдруг из разряда непечатаемых авторов становится активным участником текущей литературной и кино-телевизионной жизни:

«О-о! Как вы заговорили, особенно после вашей статьи «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» в Англии, — пишет Можаяев. — Тут и телевидение к вашим услугам, и документальное кино, и многие издательства.

Не чудо ли? Обычно в те годы (в 1977 г.) писателей, посмеявших напечатать произведения за рубежом, да ещё без разрешения инстанций, не больно жаловали на родине. А почему же вас-то так обласкали? Или у вас было на то особое благословение? От кого же, если не секрет? Ведь по наивности своей вы делаете сногшибательное открытие: «Мне неизвестны какие-либо статьи или иные публичные выступления Можаяева в защиту Солженицына в 70-е годы»(99).

Представьте себе, Владимир Яковлевич, и мне неизвестны вообще какие-либо статьи в защиту Солженицына, опубликованные в нашей стране в 70-е годы. Вот проклятий и площадной брани было опубликовано с избытком. Но вы по этой части всех переплонули. Неужто не знаете об этом? Простите за нескромный вопрос: вы где жили-то в 70-е годы? В СССР или, к примеру, в Англии?

Если в Англии, тогда понятно, почему вы там напечатали статью о Солженицыне, а здесь нам не удавалось защитить его публично и в печати»(100).

Причиной такого резкого тона, да, собственно, и самой полемики Можаяева с Лакшиным уже в советской прессе, явился тот факт, в собственном определении Можаяева, что «критик требует не печатать выдающегося произведения (книгу А.Солженицына «Бодался телёнок с дубом». — Н.Б.) или пытается скомпрометировать его до выхода в свет»(101). Конечно, появившись «Телёнок» сегодня в СССР(102), при теперешних умонастроениях и уровне исторического самосознания народа, позиция, занимаемая Солженицыным в суждениях о «Новом мире», с поправками, внесёнными в шестое и седьмое дополнения, будет разделена большинством читателей. Но вот портрет Лакшина так и останется в прежнем виде, ибо, как писал Солженицын в своём шестом дополнении к «Телёнку», «на мой «этюд» о нём (о В.Лакшине. — Н.Б.) в «Телёнке» ни словом теперь Лакшин (в ответной статье 1977 г. — Н.Б.) не отзывается. Трудно ответить? Но вряд ли я тогда ошибся»(103).

Показательно в этом смысле и то, что вместо ответа Лакшин публикует в 1989 г. в «Аргументах и фактах» в сокращённом виде часть из своей статьи 1977 г. «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» с «грозным» предуведомлением о том, что если «Телёнок» выйдет в СССР, то он

опубликует свою статью полностью(104). Но какой отрывок публикует Лакшин с сокращениями из своей статьи 1977 года?! Ответ на вопрос мы получим, обратившись к рассмотрению самого содержания полемики Лакшина с Солженицыным.

1) Кого и что защищает Лакшин в своей статье?

Не принимает критик ни упрека Солженицына в промедлении с публикацией «Ивана Денисовича», ни того, что Солженицын «бросил тень на... величавую фигуру» Твардовского, указав на «три роковых недостатка Твардовского»: трусость, пьянство, гордыню. «Всё это полуправда», пишет Лакшин, «Солженицын не сказал тех заслуженно добрых слов, какие можно было сказать о Твардовском, не увидел многих его замечательных черт» (с.165). «Солженицыну важно показать, «какими непостоянными, периодически слабющими руками вёлся «Новый мир» (с.172). Солженицын подчёркивает, что до прощания Твардовского с редакцией в феврале 1970 года Твардовский «до этой минуты на других «этажах» не бывал никогда...» (с.175). Солженицын мало знал журнал и Твардовского и судил о них «в свои приезды в журнал, в вечной спешке» (с.181). В дни разгрома Солженицын «особенно резко укорял уволенных членов редколлегии в том, что они не оказали «мужественного сопротивления» (с.157)

Все приведённые выше места из статьи Лакшина «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» (1977 г.) оставлены им в отрывке из неё, предложенном Лакшиным для публикации в «АиФ» (1989 г.) под названием «Ещё о Твардовском и Солженицыне» (105), тогда как именно эти критические замечания Солженицын в шестом и седьмом дополнениях к «Телёнку» (1982г.), призвал во многом справедливыми.

Из шестого дополнения

«Лакшин, очевидно, прав, коря меня, что о внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям... Допускаю, что я весьма неполно вник в соотношения «1-го» и «2-го» этажей. Я рад, что он меня поправил... И, конечно, он прав, что я не открыл всего доброго, что можно было ещё сказать о Твардовском... Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда несправедливым оценкам боя.

Так, в горячности и отчаянии я был совершенно не прав, упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра «Круга Первого»/.../ И не мог «Н.мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» — разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках. Считаю и своё предположение, что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции — ему было видней. И в эти дни разгона — какого высшего уровня смелости я требую от руководства «Нового мира»? Что они могли сделать — не независимые издатели, а государственные служащие? Только дать самиздатское заявление...»(106).

«...Я уверенно судил ещё 5 лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой. Но вот теперь «на воле», на Западе, /.../ ни один из» «свободных журналов на русском языке» «не может приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего «Нового мира» — а ведь тот был перепутан, скован и размождён цензурным

гнёт. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся «Новый мир» в своих жестких рамках, закованый. И сколько национально-народного прорывалось в «Новом мире» — этого в новых эмигрантских журналах не найдешь»(107).

Из седьмого дополнения

«Отдельно и особенно — Трифонович. Теперь хором упрекают меня, что я был к нему жесток, и что, де, оболгал его в «Телёнке». Да, повороты жестокости — были: в том, как я скрывался от него порою сам, и почти всегда скрывал свои предполагаемые удары. Жестоко, — но как было иначе? Лишь чуть расслабься в этом одном — и божь открыт, и бой проигран.

Но — вполне ли верный образ самого Твардовского дал я в книге?

Я давал его с чистым сердцем. Я не предполагал, что это может быть воспринято как бы дурно о нём. Да и сегодня не думаю. Но после годов глубокого одиночества — вне родины и вне эмиграции, — я увидел Твардовского ещё по-новому, то есть разглядел, чего не видел рядом с ним в пылу борьбы».

И далее Солженицын отмечает «высокий такт Твардовского в ведении «Нового мира», его вкус, чувство ответственности и чувство меры»; «как нужен был бы сегодня русской литературе» Твардовский; «Трифонич — верно чувствовал правильный дух, он был настороже ранее меня. Он и был великан, из тех немногих, кто перенёс русское национальное сознание через коммунистическую пустыню. Но его перепутало и сломало жестокое проклятое советское сорокалетие, все силы его ушли туда»(108).

Казалось бы, Солженицын не только согласился с правотой отдельных упреков Лакшина, но и несколько пересмотрел свои взгляды — уже с высоты временной и географической дистанции — на роль журнала, роль Твардовского в истории литературы и общественной жизни страны. Почему же Лакшин, пренебрегая этим фактом, предлагает советским читателям в 1989 году именно этот материал из своей статьи 1977 года? Может быть, критик не знал о существовании шестого и седьмого дополнений?

Нет, знал, ибо в своём ответе Б.Можаеву 1990 г. — «В запале полемики»(109) — Лакшин упоминает о шестом дополнении и даже цитирует из него строки:

«Лакшин, очевидно, прав, коря меня (А.Солженицына. — Н.Б.), что о внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям...».

После приведения этой фразы из шестого дополнения Солженицына Лакшин далее пишет: «вот-де Солженицын признал мою правоту, а Можаев-де ругает меня»(110). Вместе с тем критик вводит в заблуждение читателя, не знакомого с «Очерками литературной жизни», умалчивает о содержании большей части шестого дополнения, где Солженицын не только признаёт неправоту своих прежних отдельных «скороспешных» суждений о Твардовском и «Новом мире», но и упрекает Лакшина в «систематическом искажении цитат из «Телёнка» в его ответной статье — либо усечением, либо недобросовестным истолкованием», приводя десяток таких примеров(111). Можаев в своей статье довольно подробно разбирает все эти пункты, заключая: «Кого же вы, Владимир Яковлевич, хотите убедить,

что Солженицын признал вашу правоту? Меня?!.. Обманываете вы читателя, которому ещё не доступны пока некоторые вены Солженицына, в том числе и эта статья «Ещё о «Новом мире» (1982 г.)»(112).

Можно отметить, таким образом, что Лакшин с прежним пылом защищает «Новый мир» и в эпоху горбачевской «перестройки», но при этом «фигура умолчания» (выражение Можаяева) становится почему-то характерным приёмом критика в его полемической борьбе с оппонентами. «Фигура умолчания» характерна и для публицистики и мемуаристики Лакшина конца 80 — начала 90-х гг..

Вот Лакшин пишет в статье 1977 года о Твардовском: «Он пушкинские слова мог повторить: «Ошибаться и усовершенствоваться суждения свои сродно мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном требует душевной силы» (с.167). Действительно, Твардовский мог повторить эти слова, опираясь на них и Солженицын, признавая неправоту ряда своих суждений, как мы видели. а единственное, пожалуй, Mea culpa Лакшина в отношении всех его публикаций за период 70 — начала 90-х гг. сводится к следующим словам:

«О себе могу сказать, что не каждую, далеко не каждую страницу в статьях тех лет мне приятно сейчас перечитывать: есть слова и способы высказывания принуждённые, вызванные тактикой, журнальными «соображениями»: есть суждения наивные, смешные теперь по ограниченному пониманию. «Но почему-то не стыдно, ничего не стыдно...», как говорил в таких случаях Твардовский. Почему-то? Да просто потому, что подлости и мелкости в «Новом мире» не было», — пишет Лакшин в статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» (с.168).

Вот и всё. Ни в одной другой публикации Лакшина мы не найдём ни слова о каких-то допущенных им ошибках, о пересмотре взглядов на какие-то вещи, о заблуждениях и пр., разве что указание на то, что, «как у всякого литератора, не чуждого общественному задору, в эти три последние десятилетия» и у него тоже-де «были свои пристрастия, ошибки, иллюзии»(113). Какие? — Неизвестно. «Но почему-то не стыдно, ничего не стыдно...», а потому и одно из своих интервью, опубликованных в «Комсомольской правде» 2 марта 1990 г., Лакшин так и озаглавил «**Без покаяния**».

2) Лакшинские инвективы

Для того, чтобы сказанное выше приобрело более конкретный характер, имеет смысл, видимо, напомнить те характеристики, которые Лакшин даёт в своей статье А.Солженицыну. Вот они — сгруппированные по основным тематическим направлениям, структурирующие лакшинские инвективы.

Об «Очерках литературной жизни» Солженицына:

«Автобиографическая легенда» (с.186), «фальшивая мемуаристика» (с.218): «...среди читателей найдутся не только те, кто прочтут записки Солженицына с рязачарованием и недоверием, но и те, что возьмут их в руки с охотой, воспалённым интересом. Ненавистничество Солженицына в им по душе: ещё одна «либеральная репутация» пала. Ведь так сладко сказать себе: «Не колите мне глаза вашим «Новым миром», «не я один труслив и жалок,

вол Твардовский — а тоже трусоват и зависим». «Солженицын сыграл в масть этим настроением» (с.216).

Портрет Солженицына — человека, писателя, гражданина

«С того дня, как переступил порог «Нового мира», «стал мучиться»: «пытался «врасти» в советскую литературу и общественную жизнь», «желал поправиться (и поправился) высшим руководителям страны», «хоть и неохотно, но шёл на компромиссы», «готовился принять Ленинскую премию», «долго проявлял гибкость, терпимость и отношения с Союзом писателей» (с.186–187). «Ненасытная гордыня» Солженицына, «сознание себя центром вселенной», «собственная история Солженицына, как история других людей в его книге, выпрямлена в соответствии с конечным замыслом» (с.187). «Самообожание» (с.202); «нужно время, чтобы его речами пресытились, чтобы на них тоже выступила зелёными пятнами окись пошлости, и людям вернулось сознание несомненной начальной веры в добро» (с.203); «любуется собою в созданном им литературном зеркале» (с.191). «Лазь» Солженицына (с.191), «двойная игра» (с.192). Солженицын «хитрит, фальшивит без нужды», «дукавит» (с.193); «годами лгал, притворялся и лицемерил с доверяющими ему людьми, фальшивил, «двойничествовал», без видимой причины и нужды — «для пользы дела» лгал, по-видимому» (с.193); на Западе Солженицын то «говорит правду по убеждению», то «актёрствует», «бьёт на эффект и лицемерит» (с.194); «он воюет с многомиллионным народом...» (с.203); «отношение к людям, встретившимся на его пути, как к средству для достижения своих целей» (с.194). «Поведение Солженицына — поведение не телка, а лагерного волка»; его «средства не безразличны к цели»; «утверждает правду посредством лжи» (с.196); Солженицын «не отдаёт отчёта, насколько много в лагерном его воспитании... чисто сталинской атмосферы лагеря...», он «впитал его яды»; фразеология его «воешая», как у «беллетристов кочетовской школы» — «Новый мир» не однажды смеялся над этим в своих рецензиях», и «огорчительно было обнаружить ту же методу писания в «Телёнке», то же взвешивание страстей и военизация общественно-литературного быта» (с.197); «неблагородство души», «злота и неблагоприятности», «дурной человек» (с.206); «бесплодное самоупоение, ненависть и гордыня» (с.207); «лагерный микроб стал бушевать в нём и грозит ему, при всём раскате его нынешней мировой славы, страшным, волчьим одиночеством» (с.207).

«В свете сказанного» и «смерть Твардовского... была для Солженицына тоже прежде всего средством объявиться на публике и покрасоваться под светом «юнгеров» (с.214); «...Многие писатели... всё ещё хотят видеть в нём пророка... Интеллигенция наша переживает трудное время... В такие времена мародёры обирают убитых!» (с.215). У Солженицына — «комплекс Геракла» — «черта наивного и смешного самовеличания»; «...Я его жалею, «хоть многое в его мемуарах позывает улыбку, удерживаюсь, чтобы не смеяться над ним» (с.216–217). «Неведомо почему, но обидно ему показалось, что в глазах всего мира его репутация стояла рядом с другой высокой репутацией — Твардовского и его журнала, и он поспешил её принизить» (с.216).

Вера Солженицына:

«С Провидением у Солженицына — самые доверительные и короткие отношения» — «удобное и весьма современное психологическое приспособление!» (с.189–190); «Бог Солженицына мало напоминает

христианского Бога» (с.190); «не верю в его Бога, не ощущаю искренности его веры», «не хочу в его рай -- боюсь, что попаду в идеально благоустроенный лагерь» (с.202); «он стал взрывной машиной, уверовавшей в своё божественное назначение и начавший взрывать всё вокруг» (с.206).

Цели Солженицына:

Но вот самое главное — то, что Солженицын в шестом дополнении определил как «истинный уровень, и искренние убеждения» Лакшина, которые и подтверждают, «показывают рельефно, насколько невозможно было» между Солженицыным и Лакшиным «понимание — ни в последние годы, ни, вот, через 8 лет»(114). «Но всё же цель, цель!.. Какова цель, которой посвящены небезупречные средства? — пишет Лакшин по этому поводу («Страшный вопрос задает критик писателю: какова его цель? — вот и с напечатанием «Архипелага», — замечает Солженицын в шестом дополнении. — Восстановить память народа в её ужасных провалах — это оказывается не цель литературы...»)(115)(116). — Н.Б.). Может, его всё оправдывается, всё выкупается? И наши сстоваия — смешное брзотание на гения, дерзко заглянувшего в наше запра? — ставит вопрос Лакшин.

Эх, коли бы так!»

Солженицын выставляет себя в «Телёнке» человеком ясной программы. Он всегда, и во всяком случае с конца 50-х годов, знал, чего хотел, и всё посвящал одному делу, одной цели (117). Какой?

Личная его цель — публикация своих «подпольных сочинений»...» (с.198—199).

А общия цель?

Общую цель, «обращённую к настоящему и будущему его народа, страны», Лакшин определил как «полную неясность». «Чего он хочет от России, чего ждёт от неё?!.../ Судя по идиллическим его понятиям о нашем дореволюционном прошлом, ему кажется, что у России одно будущее — её прошедшее.../ Недовольство настоящим тянет его назад, заставляет идеализировать старую Русь. Но той России давно нет... Люди по-другому живут, по-другому думают и чувствуют, иным богам молятся (или не молятся вовсе) и не будут менять свою жагшь с оглядкой на 1913 год.

Чего он ждёт от будущего? Что может предложить? Яростный гений отрицания, он не слишком хорошо представляет себе, к чему звать людей...» (с.199—200).

Таким образом, и

Политическое мышление Солженицына:

«Случайное, отрывочное, импровизационное», «экспромты», «случайно подвернувшиеся под руку рецензенты спасения» (с.200). Солженицын никогда «не имел возможности систематически заниматься философией, историей, социологией», «основательно не читал ни Герцена, ни Чернышевского...» (с.198—200).

Политическое мышление Солженицына — «последствие доморощенной культуры»; «к несчастью, если не брать в расчёт огромной и притягательной силы разрушения, все позитивные идеи Солженицына отрывочны, случайны, сдуманы и названы часто вымысл, по настроению, без ответственности за слово» (с.203); «Вехи», за которые «хватается» Солженицын, — «ущербная книга» (с.200); Солженицын изменил традициям Толстого и Достоевского, а «Новый мир» «воспитывал чувство связи с традициями демократии и культуры...»; «социализм для него брашное слово... А позитивной социальной

альтернативы не имеется в виду», поэтому «упиряется лишь спектр критики, затеняется тьжаба с историей — с постоянной «игрой на повышение». Вчера был вповоен Сталин, сегодня — Ленин, завтра — вся пропитанная безбожием русская литература и общественность 19-го века...» — «сама мысль — зло. Благо — вера» (с.202); «его злоба, нетерпимость, самообожание переливаются через край и делают его незрячим. И если какую традицию он и надхвывает в своей последней биографической прозе, то это скорее традицию Василия Васильевича Розанова с его ненавистничеством, всеоплёвыванием, болезненной любовью к себе и холодным презрением к морали и людям. Только Розанов... не был так надут и смешон и, во всяком случае, подкупал, пусть и патологической, искренностью» (с.209). «Такая слепая приверженность своей идее, вплоть до самых бесчеловечных из неё выводов, исповедуется у нас разве что самыми закостенелыми догматиками, да и Жан-Поль Сартром — «нобелатом», «приучившим мир пропускать мимо ушей его слова» (с.204); Солженицын боится слова «марксизм» «как чёрта»; «максимализм Солженицына находит ложные точки приложения сил. и сам он легко оборачивается догматизмом, нетерпимостью» (с.205).

Таковы «вершинные» суждения Лакшина, его мировоззренческий кругозор и в 1977, и в 1990 гг. «Наивному», «нахватанному», «лагерному», «догматическому» и пр. политическому мышлению Солженицына критик противопоставляет **новомирское**:

«...Мы верили в социализм, как в благодатную идею справедливости, в социализм с человеческим лицом, а не лицом только, для нас неоспоримы были демократические права личности...

Спору нет, всякая крупная идея (о социализме — Н.Б.) может быть искажена в исторической практике, иногда и до неузнаваемости. Виной ли тому «дурная природа» людей, генетическая незрелость их как рода, неподготовленность нравственного сознания к новым формам жизни, или скверная, изгаженная почва предшествующих социальных влияний и традиций... Солженицын хотел бы переделать, пересоздать мир по-своему. Социализм не выдержал перед ним своего экзамена. Он склонен его отвергнуть радикально — как принцип, как идею и смешить... на что? Вот тут и заковыка.

А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически...» (с.201).

«Новый мир прививал своим читателям умение думать, сознать реальность своего положения и стремиться к лучшему. Журнал воспитывал чувство связи с традициями демократии и культуры...» (с.200—201); «журнал давал *уровень* (118) мысли и нравственного сознания», «внушал веру в неискоренимость правды», «отражал общественное мнение и формировал его»... (с.210—211).

«Когда невмочь жить и хочется представить себе человека истинно высокого и бескорыстного строя души, я всегда вспоминаю Твардовского. Читным в глазах добрых людей останется, я убеждён, и его дело последних лет жизни — «Новый мир», а «фальшивая мемуаристика «Телёнка» «забудется» (с.218—219).

Как видим, «защита» Лакшиным журнала и чести Твардовского и в самом деле совершенно теряется под тяжестью обвинений, адресованных Солженицыну и наиболее, может быть, выразительно характеризующих уровень политических и мировоззренческих суждений Лакшина.

Ну что ж, как говорится, «без покаяния». И вопрос о том, почему критик так противился появлению книги Солженицына в России, кажется вполне понятным. Остаётся лишь выяснить причину, по которой Лакшин продолжал и в начале 90-х гг. отстаивать позиции, занятые им в статье 1977 года.

Заключение

Что пишет Лакшин по прошествии двадцати лет после разгрома «Нового мира» Твардовского, как оценивает прошлое, какие мысли высказывает по поводу настоящего?

Уровень исторического самосознания и мировоззрения Лакшина отражен в главе «Дёрдь Лукач» из книги воспоминаний «Открытая дверь» (1989 г.). Лакшин увиделся с Д.Лукачем «в сумеречные январские дни в Будапеште» 70-го года. Что нам здесь открывается?

«Новый неожиданный виток судьбы Дёрдя Лукача связан с событиями 1956 года в Венгрии. Он был на стороне народа, возмущённого провалами в экономике и жестоким режимом Ракоши-Герё, и согласился войти в правительство Имре Надя. Но когда Надь, сыгравший на руку контрреволюции, готов был обратиться за военной помощью к странам Запада, только два министра его правительства проголосовали против выхода из Варшавского Договора: министр внутренних дел Янош Кадар и министр просвещения Дёрдь Лукач»(119).

Иными словами, Лакшин в 1989 году оправдывает подавление венгерской революции 1956 года. «После бурной осени 1956 года», как пишет Лакшин далее, «тешь опаль» легла на Лукача, несмотря на то, что Янош Кадар стал президентом. Но «в праздничный день 7 ноября(!) 1968 года(!)», продолжает Лакшин, «гражданская репутация Дёрдя Лукача была восстановлена» «на приёме в советском посольстве» «присутствовавшим там Яношем Кадаром»(120).

Дальше — больше. Сидя в доме у Лукача, Лакшин беседует с хозяином о Солженицыне:

В.Лакшин: «Недальновидная литературная политика, рассчитанная на «отторжение», непрерывные нападки в печати оскорбляли, озлобляли Солженицына и всё дальше уносили его лодку от берегов советской литературной жизни». Да, «большой талант писателя и сила правды», но в его «начальных, лучших работах»(121).

Д.Лукач («словно предчувствуя возможность будущей эволюции Солженицына»): «...Большого художника нельзя судить лишь по сумме политических взглядов..., его картина всегда шире узкой позиции»(122).

После этого обмена мнениями о Солженицыне Лукач переводит разговор на другую тему:

«Социологические исследования — дело прикладное, — сказал Лукач, — они не заменят общей философской позиции, возможной лишь при творческом развитии марксизма, которому препятствовал Сталин».

«Лукач напомнил, — пишет Лакшин, — что, хотя он сам многое критиковал у нас в стране, совсем недавно резко высказался против англосоветских кампаний на Западе.

—Я думаю, что без Советского Союза невозможно дальнейшее движение, обновление социализма, — сказал Лукач, — как невозможно и живое развитие марксизма.

Заговорил о том, что Запад порой оказывает дурную услугу советским писателям, когда выхватывает некоторые острые, правдивые книги, делая их предметом политической сенсации».

«Маркс не должен отвечать за наши глупости. Давайте вместе работать над теорией марксизма в современном мире — и тогда социализм на земном шаре победит непременно...» — говорил Лукач Лакшину(123).

Лакшин признаётся, что «ничего неожиданного, ничего такого, за чем идешь к великому мудрецу», критик «от него как бы не услышал. Но отчего же тогда встреча с ним производила **сильное и ободряющее действие на душу?**», спрашивает Лакшин(124), пересказывая все эти откровения. В книге 1989 года!

В этой связи нам кажется вполне справедливой мысль, высказанная Ф.Световым ещё в 1977 г., в статье «Разделение...»:

«...Жизнь, между тем, не стояла на месте, за годы, прожитые нами после «НМ», мир изменился, и мы уже не те... Многое менялось вокруг — он (В.Лакшин. — Н.Б.) не менялся». «Новый мир» для него — «это звёздный час, обетованная земля...»(125).

И в самом деле: мир менялся, а Лакшин всё отстаивал правоту своих взглядов 60—70-х гг. Он выпустил две книги воспоминаний о новомирцах («Вторая встреча», 1984 г. и «Открытая дверь», 1989 г.). Новые главы в книге 89-го года — перепечатка статей Лакшина из советской периодики о Солженицыне и об истории «Нового мира», публикация двух писем — Солженицына и Твардовского — из своего архива. Но никакого пересмотра истории, своих взглядов, ни слова самокритики... «Каяться должны все, кроме него», — упрёк Лакшину Солженицына в своей статье 1977 года, но получается, что писал о себе. В той же статье Лакшин восхищался эволюцией взглядов Твардовского: «В 1960-м он о многом думал не так, как в 1950-м, а в 1970-м — не так, как в 1960-м, и смерть оборвала это движение» (с.167) Действительно, в 69-м году Твардовский слушал Би-би-си и уже воспринимал марксизм-ленинизм как путы(126). А вот Лакшин защищает даже в 1989 году марксизм-ленинизм, да, пожалуй, и в 1991-м, только в более скрытой форме, о чём свидетельствуют его мемуаристика и ряд выступлений в газетной прессе(127).

Откуда эта непреклонность однажды занятой позиции? Почему даже в 90-м году критик всё ещё клянется в своей преданности марксизму-ленинизму? Неужели всё дело в том, что, как заявил Лакшин в ответ на упрёки Светова, «литературная вертлявость не кажется» ему «большой добродетелью»(128)? Но разве может быть мотивировано такое категорическое нежелание хоть сколько-нибудь критически отнестись к своему прошлому и к своим мировоззренческим позициям всего лишь нелюбовью к «литературной вертлявости»? Соизмеримы ли эти вещи? Да и как мотивировать в таком случае поступок Лакшина в 1968 году —

поступок, который он попытался оправдать в статье «Посев и жатва», отождествив его с политическим компромиссом, по которому, в сущности, явился именно «сделкой с совестью»? И как объяснить в связи с этим ту позицию нравственного ригоризма, которую Лакшин вдруг занял в 1970-м по отношению к сотрудникам редакции? Наконец, откуда идёт та агрессивность, с которой Лакшин «изобличает» Солженицына в своей статье 1977 г. о «Телёнке», и отчего в своей публицистике конца 80 — начала 90-х гг. критик так тщательно пытается скрыть от читателя некоторые элементы полемики 70 — начала 80-х гг.?

В задачи нашей работы не входит и не может входить уяснение и квалификация каких-либо сугубо интимных, лично-психологических мотиваций того или другого выступления любого из взятых нами новоязских критиков. И мы всерьёз хотели бы избежать любого крена в эту сторону. Но в данном случае нам приходится по влужденной необходимости констатировать, что мы просто не видим, просто не можем при всём нашем желании выявить хоть какие-то иные, более общественно значимые причины всех этих странных особенностей позиции Лакшина с 60-х по 90-е годы, чем чисто **личные амбиции**. Оттого-то, думается, не лишены оснований даже и такие, например, суждения Солженицына относительно неизвестных широкому читателю подробностей из истории публикации статьи Лакшина о «Мастере и Маргарите»:

«...Статья подписана к печати 19 августа, а в ночь на 21-е начинается чехословацкий ужас, а 23-го, когда ещё сигнального экземпляра нет, а весь тираж и ничего не стоит пустить под нож — звонят из райкома партии и требуют незначительной формальности, ни к чему не обязывающей резолюции в поддержку оккупации, которая всё рано и без этого произошла и победила — почему бы этой резолюции не дать? с каким склонением поедешь на дачу к Твардовскому?»

Может быть не всё так именно Лакшин думал — но так делать! (129).

Увы, в это тоже не так уж трудно поверить. Потому что и в самом деле разве лишь личными амбициями, желанием сохранить **«верность себе»**, войти в историю литературы некоей **«цельной»** фигурой только и можно, **нам кажется**, объяснить всё то, что демонстрирует нам Лакшин в своей критике и мемуаристике со времён его полемики с Солженицыным, начатой ещё во «времена застоя». А потом «грянула» вдруг «перестройка». Солженицына стали публиковать на родине, и вот-вот, глядишь, появится и его публицистика... Как тут быть? Чтобы не оказаться в совсем уже пеловкой и некрасивой ситуации, попытавшись «забыть» прошлое и вновь встать в ряды друзей возвращающегося Солженицына, остаётся только одно — попытаться сохранить цельность образа, упрямо хранить «верность себе»...

Эта «верность себе» и заставляет критика умалчивать в конце 80 — начале 90-х гг. о некоторых подробностях его полемики с Солженицыным и осторожно высказываться по поводу своих новоязских статей, как в случае с уже приведённой нами (в главе о статье «Иван Денисович. Его друзья и недруги») выдержкой из интервью Лакшина корреспонденту «Комсомольской правды» (март 1990 г.), где он объясняет причины появления его статьи о повести Солженицына желанием опровергнуть

прозвучавшие тогда в прессе «робкие намёки» критиков «Ивана Денисовича» на то, что «это не совсем социалистическое искусство» («Без покаяния»).

Итак, анализ последних новомирских статей Лакшина и его дальнейших посленовомирских выступлений сильно подрывает, на наш взгляд, доверие к позиции Лакшина как критика — критика безусловно талантливого. Личные мотивы играют слишком заметную роль в его гражданском поведении, чтобы можно было их обойти, вдумываясь в то, почему, например, в столь принципиальный момент истории журнала, каким был 68-й год, Лакшин сделал выбор, прямо противоположный тем принципам, которые он сам же провозглашал в статьях о Е.Дороше, о романе М.Булгакова и др., а потом вдруг стал предъявлять к другим те самые требования, которым не счёл необходимым следовать сам.

Эти элементы личностной заинтересованности, идейного небескорыстия лишают необходимой внутренней свободы и его литературную критику. И это важно понять, определяя те границы, в которых должна быть и может быть проведена итоговая оценка его новомирского творчества.

Так, несмотря на то, что главной установкой критики Лакшина была защита позиций журнала (на что ушли, можно сказать, вся его энергия и талант), и несмотря на то, что сам он является одарённым литератором, мы не можем признать его тем не менее вполне адекватным выразителем смысла и значимости того реального общественно-литературного Дела, которое совершил «Новый мир» Твардовского, равно как и той субъективно искренней позиции, которая определяла собою характер новомирской литературы, критики и публицистики в целом.

Кроме того, следует отметить, что и тем уровнем гражданской прогрессивности, которым обладает новомирская критика Лакшина, она в большей мере обязана, по-видимому, тому, что критик стремился развивать идейно-эстетические воззрения Твардовского, чем собственной идейно-мировоззренческой самостоятельности. Иными словами, он был, пожалуй, **интерпретатором** в большей мере, нежели самостоятельным мыслителем, что и подтвердило его последующее творчество — как в сфере критики и публицистики, так и в области мемуаристики.

Поэтому лучшее, чем останется в истории журнала «Новый мир» критика Лакшина, — это, несомненно, те её страницы, где Лакшин отстаивал демократизм, художественную правду, где брал на себя инициативу поддержки тех или иных новомирских авторов, смело обличал конъюнктурную сущность нормативной критики, преследовал сталинизм и догматизм в разном роде исторических и современных их проявлениях.

Б.Окуджава как-то образно заметил, что заслуга «Нового мира» состояла в том, что журнал положил «первый кирпич», и это где-то уже в крови, литература пошла другая...»* В этой эпохе останется и имя В.Лакшина — как одного из самых ярких представителей той новомирской критики, которая отстаивала принципы демократии, художественной правды и высокой художественности в пределах и на основе прежде всего легально-официальной общественно-литературной платформы журнала, почти никогда не переступая её границ.

Г Л А В А III. ТВОРЧЕСТВО Ю.Г. БУРТИНА

Краткая биографическая справка

Юрий Григорьевич Буртин — критик, литературовед, исследователь творчества А.Т.Твардовского. Автор статей по советской литературе, истории русской критики, фольклору.

Родился в 1932 году в Ленинграде, вырос в семье сельского врача. Закончил филологический факультет Ленинградского университета. Восемь лет был учителем русского языка и литературы в городе Буй Костромской области.

С 1959 года Ю.Буртин стал выступать в печати как литературный критик. С этого же года он стал постоянным автором журнала «Новый мир», однако его связь с журналом и с А.Твардовским началась ещё в годы першого редакторства А.Твардовского в «Новом мире» (1950—1954 гг.). В эти годы Ю.Буртин был не только активным читателем журнала, ставшего центром притяжения общественной и культурной мысли страны, но читателем, по его выражению, заинтересованным*. Так, например, летом 1954 года, когда «Новый мир» подвергся яростной критике в печати и, как рассказывал Ю.Буртин автору этой работы, можно было понять, что готовится разгром редколлегии и Твардовского снимут, он написал письмо Г.М.Маленкову, тогдашнему председателю Совета Министров СССР, размером с авторский лист. В письме Ю.Буртин записал раскритикованные в официальной прессе новомирские статьи В.Померанцева, Ф.Абрамова, М.Щеглова и М.Лифшица, пытаясь убедить тогдашнего главу правительства, что надо этот журнал не громить, не разгонять, а приветствовать его направление, наиболее созвучное народным чаяниям. Ответа на это письмо Ю.Буртин, естественно, не получил. А по партийной линии — через райком — выясняли, кто его автор.*

О другом акте гражданской смелости будущего новомирского критика пишет А.Твардовский в своём дневнике, страницы из которого недавно публиковались в журнале «Знамя». В 1958 году, как говорится в дневнике, Ю.Буртин попытался выдвинуть А.Твардовского «снизу»(!) в депутаты Верховного Совета СССР где-то в Костромской области. Но «так как затейник был один раз уже исключен из партии за эти штуки, — пишет А.Твардовский, — и возобновил это дело по восстановлению, то его исключили вторично и уже накрепко. А он говорит Дементьеву (Ю.Г.Буртин — бывший студент А.Г.Дементьева — Н.Б.), что не будет просить о восстановлении»(1)(2).

Через полтора месяца, когда эта борьба в критике и публицистике стала очевидной невозможностью, Ю.Буртин ушёл из журнала и в течение пятнадцати лет почти не печатался.

Зачное знакомство А.Твардовского с Ю.Буртиным, таким образом, началось при довольно уникальных в те времена обстоятельствах. Творческое же сотрудничество с журналом «Новый мир» начинается также по инициативе Ю.Буртина. Буквально через два месяца по возвращении А.Твардовского в «Новый мир», в июле 1958 года, Ю.Буртин пишет ему письмо, в котором предлагает отрецензировать первую часть романа Фёдора Абрамова и тем самым поддержать «так жестоко побитого», по словам Ю.Буртина, автора знаменитой статьи «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе»(3). В этой статье, по выражению Ю.Буртина, впервые говорилось о том, «что

хватит врать, хватит рисовать потёмкинские деревни и молочные реки в кисельных берегах, тогда как деревни бедствуют, страшным образом»*.

Ответ, по словам Ю.Буртина, пришёл мгновенно — на третий или четвёртый день — с предложением написать рецензию*:

«Буртину Ю.Г.
Москва, 5 окт. 1958 г.

Дорогой Юрий Григорьевич!

Я ещё не читал романа Абрамова, но мы имели в виду дать о нём статью или нечто в этом роде. Очень хорошо, что Вы берётесь за это дело. Итак, принимайте заказ на статью и пишите её, не теряя ни дня. Возможно, что она попадёт в первую книжку 59 года.

Если хотите, присылайте мне её по домашнему адресу, хотя, конечно, это всё равно, — мимо меня статья не пройдёт. Жду. Желаю успеха.

Всего Вам доброго.

А.Твардовский»(4)

Рецензия на роман Ф.Абрамова «Братья и сёстры» появилась в четвёртой книжке «Нового мира» за 1959 год и послужила началом постоянного сотрудничества Ю.Буртина в журнале, где за годы с 1959-го по 1970-й он опубликовал как в разделе литературной критики, так и в разделе публицистики четырнадцать своих работ. А в 1967 году, в связи с уходом И.Б.Брайнина из журнала, занимавшего пост редактора в отделе публицистики, Ю.Буртин, месяц или два замещавший перед тем Брайнина во время отпуска, назначается на его место, оставляя неприятный для него пост в «Литературной газете». Став старшим редактором, Ю.Буртин, по словам И.Виноградова*, по сути дела возглавил отдел публицистики «Нового мира». Силой своего таланта, редакторским усердием, сопряжённым с ясным общественным пониманием роли научной публицистики в контексте времени, Ю.Буртин поднимает содержательный уровень отдела на заметную для современников и читателей журнала высоту. Он добивается этого поиском и привлечением к сотрудничеству интересных, оригинальных мыслящих учёных-специалистов в области философии, экономики, социологии, естествознания и др.(5). А.М.Марьямов, заведовавший отделом публицистики, человек интеллигентный, чьи личные интересы были более академичны, охотно предоставил Буртину полную свободу действий и поддерживал его предложения.* В результате публицистика журнала (в особенности рецензии, печатавшиеся в разделе «Политика и наука»), которая где-то до середины 1965 года сильно отставала от уровня прозы и литературной критики журнала, была, по выражению Буртина, «малозаметной, каким-то обязательным приложением», уже с 1966 года «стала подтягиваться к общему уровню и направлению журнала». А «со статьи Е.Плимака «Радищев и Робеспьер», с очерков и статей Г.Лисицкого и Ю.Черныченко это уже была действительно новомирская публицистика, специфически новомирская».*

Об особом отношении Ю.Буртина к главному редактору «Нового мира», определяемом не только общественной значимостью и значительностью творчества А.Твардовского, но и внутренней их близостью, говорят и ранее приведённые здесь факты гражданской солидарности молодого учителя с журналом, и обращённость к творчеству А.Твардовского целого ряда

литературоведческих и публицистических работ Ю.Буртина-критика, и повсёдне Ю.Буртина в день ухода Твардовского из журнала.

«Первого марта, — рассказывает Ю.Буртин, — Александр Трифонович ушёл из журнала, а второго марта я понёс новому редактору заявление об уходе»*.

Однако Буртин остался сотрудничать в журнале ещё полтора месяца — по решению общередакционного совещания сотрудников, часть которых заняла позицию противостояния реакции борьбой до конца за прежние традиции внутри журнала.

Долгие годы Ю.Буртин работал в издательстве «Советская энциклопедия» научным редактором в редакции литературы. С начала «перестройки» активно участвует в литературном процессе. Его знаменитая работа о «Новом мире» и о поэме А.Твардовского «По праву памяти» — «Вам, из другого поколения...» стала важным общественным явлением и вызвала огромный поток писем читателей(6). Другая его статья — «Возможность возразить», в которой Ю.Буртин отстаивает честь и память главного редактора «Нового мира» перед лицом лживых печатных свидетельств писателя Михаила Алексеева и заговора молчания в «Литературной газете», вошла в сборник «Иного не дано»(7). Наконец, заслуживают упоминания ещё две статьи Ю.Буртина времен «перестройки» — «Реальная критика» вчера и сегодня»(8) и «Ахиллесова пята исторической теории Маркса»(9). Обе они внутренне связаны с «Новым миром» 60-х гг.: первая — с его критикой, вторая в известной мере продолжает общую тенденцию новомирской публицистики конца 60-х гг. Отметим также, что с мая 1991 года и по июнь 1992 года Ю.Буртин вместе с Игорем Клямкиным возглавлял еженедельную газету «Демократическая Россия».

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА. КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА Ю.БУРТИНА

В своей рецензии 1966 года на сборник статей Марка Щеглова Ю.Буртин напоминает о творческой судьбе безвременно ушедшего новомирского критика и о том значении, которое имели работы Марка Щеглова для возвращения советской критики начала 50-х гг. к профессиональным нормам и этическим критериям демократической русской литературной критики 19-го века. После долголетнего господства «социалистической» нормативной критики «статьи Марка Щеглова и некоторых других авторов, — пишет Буртин в своей новомирской статье «Марк Щеглов — критик» (1966, 6), — знаменовали собой... «начало перемен» — восстановление критикой своего идейного общественного значения» (с.244).

М.Щеглов, как известно, активно сотрудничал в первом журнале А.Твардовского, и его острые новомирские публикации — статья «Русский лес» Л.Леонова» (1954 г.) и рецензия на роман О.Чёрного «Опера Снегина» (1952 г.), как уже не раз упоминалось, наряду с выступлениями М.Лифшица, В.Померанцева и Ф.Абрамова явились одной из причин резкой критики литературной политики Твардовского в 1954 году(10).

«Критика М.Щеглова, — рассказывал нам Буртин в интервью, — воспринималась как очень серьёзное явление в нашей литературе. Некролог в альманахе «Литературная Москва», подписанный А.Твардовским и

огромным числом литераторов, тому одно из свидетельств»*. Для новомирской плеяды молодых критиков 50—60-х гг. творчество М.Щеглова явилось примером гражданской отваги, а также профессиональным ориентиром. Ряд новомирских материалов в поздние 50-е и в 60-е гг. постоянно напоминает читателю об этом. Влияние М.Щеглова на молодых критиков журнала А.Твардовского практически можно наблюдать по статьям В.Лакшина разного времени, по опубликованной в конце 50-х гг. в журнале «Дружба народов» статье И.Виноградова, по статье В.Кардина в «Вопросах литературы» (1988 г.)(11), по книге воспоминаний Ф.Светова «Опыт биографии»(12) и др.

Был ли сам Буртин в новомирские времена критиком того второго типа, каким он считает Марка Щеглова?

Несомненно. Кроме склонности к серьёзному научно-публицистическому исследованию своего материала Буртин обладает несомненным литературно-критическим талантом, художественным чутьём. Его статьи и рецензии отличают изящество стиля, предельная точность и краткость слога, ясность фразы, глубина и меткость определений, тонкость эстетического анализа художественных текстов. Особенно показательна в этом отношении его блестящая новомирская статья «О частушках», которая дала возможность проявиться всему потенциалу таланта критика — учёного, публициста и мастера художественного анализа. Чем бы ни был вызван выбор тем его новомирских выступлений — профессиональным заданием или собственным интересом к общественно значимой проблематике. — Буртину одинаково удаются и художественная и идейная стороны искусства критики.

Работа Буртина о М.Щеглове — не только дань таланту товарища по цеху. Буртин излагает здесь и собственную концепцию критики. Он называет М.Щеглова «первой ласточкой» возрождения у нас р е а л ь н о й критики в середине 50-х гг. — той критики, которую сейчас именуют публицистической» (с.246—247)(13). Публицистическую критику Буртин делит на два типа: публицистику и собственно критику. **Публицистикой** он называет ту часть критики, которая берёт художественную литературу как материал для анализа действительности, а свои суждения о жизни облекает в форму литературно-критических оценок. Существование такой критики оправдывается и определяется, по его словам, обстоятельствами объективного порядка. Собственно критикой Буртин называет такой подход, при котором литература интересует критика сама по себе, но при котором критик к оценке литературного произведения подходит также «с позиций жизни», а потому разговор о нём, естественно, выходит за рамки внутрилитературных проблем (с.247). К этому второму типу критики Буртин и относит творчество М.Щеглова. На критику этого рода ориентируется и сам Буртин в своих работах — естественно, в тех случаях, когда анализируемый им материал действительно обладает какими-то художественными достоинствами.

Концепция критики, изложенная в статье о М.Щеглове, развивается Ю.Буртиным и в его более поздних работах — «Добролюбов сегодня» («Октябрь», 1986, 2) и «Реальная критика» вчера и сегодня» («Новый мир», 1987, 6). Буртин углубляет понятие «реальная критика», подчёркивая, что

понятия «критика реальная» и «критика публицистическая» «хотя и взаимосвязанные, но далеко не идентичные». Критика «реальная», объясняет Буртин, — «это не всякая, несущая в себе какую-либо публицистическую мысль, а только публицистически-исследовательская» («Реальная критика» вчера и сегодня», с.224). Исследовательской была и критика Марка Щеглова: «Разбирая произведение литературы, он не только высказывал о нём суждения чисто эстетического порядка, но и вступал в обсуждение заинтересовавших автора жизненных обстоятельств, политических и нравственных проблем» («Марк Щеглов — критик», с.246). В статье «Добролюбов сегодня» Буртин пишет о специфике критики и публицистики Добролюбова:

«Между критикой и публицистикой Добролюбова нет твёрдой грани», «они взаимно продолжают друг друга: один и тот же круг важнейших для автора тем и проблем, один и тот же подход к рассмотрению общественных явлений, воплощены ли они в героях романа, или в реальных исторических лицах, один и тот же непрерывно развертывающийся ряд мыслей. В сущности, всё это и один род деятельности — только на разном материале и в несколько различающихся жанровых формах» (с.187).

Это определение критики Добролюбова очень точно характеризует и критику самого Буртина. Центр интереса Буртина как в его литературно-критических, так и в публицистических работах всегда лежит именно в сфере исследования тех или иных важных жизненных явлений. Вот, например, его новоярусские рецензии на экономическую книгу «Война и хлеб» (1969, 2), на роман Ф.Абрамова «Братья и сёстры» (1959, 4) и большая литературоведческая статья «О частушках» (1968, 3). Несмотря на разность материала и жанровые формы, эти работы изначально подчинены одной и той же публицистической задаче — изучению подлинных, реальных экономических, социальных и культурных механизмов государственного управления, влияющих на условия жизни народа.

Интерес Буртина к Добролюбову и его методу критики в эпоху после «застоя» объясняется частично, по-видимому, и попыткой исторического осмысления на этом материале пройденного «Новым миром» пути: ведь схожесть объективных культурно-исторических условий жизни тех и других шестидесятников, разделённых столетием, не могла не определить и схожесть основных задач их критики. Близость новоярусского направления к критике Добролюбова для Буртина в первую очередь определяется двумя моментами — «общей идеей» (идеей демократии) и аспектом «сочувствия угнетённому и страдающему народу», которое, как он пишет в статье «Добролюбов сегодня», являлось важнейшим «первом» творчества Добролюбова (с.188).

Есть, наконец, у критики Добролюбова качество, о котором Буртин пишет и в своей статье «Добролюбов сегодня», и в статье «Реальная критика» вчера и сегодня» и которое он особенно ценит в нём, считая, что оно предельно актуально и в сегодняшней ситуации. Речь идёт о философской «системности» мышления Добролюбова («Реальная критика» вчера и сегодня», с.226), о его умении видеть «систему» за разнообразными проявлениями социальных зол, а не случайное их скопление («Добролюбов сегодня», с.190). Отметим в этой связи, что в своих «деревенских» штудиях

второй половины 60-х гг. Буртин (наряду с некоторыми другими исследователями причин социально-экономических бедствий деревни) тоже стремился всегда, как мы увидим далее, именно к уяснению **системности** «царящего» в стране социального зла, и критическое отношение Буртина к советской системе становилось год от года всё более радикальным. Завершением этой эволюции стала статья, которую Буртин начал писать ещё в 1974 году и которая должна была доказать несостоятельность исторической теории Маркса(14), хотя мировоззрение и эстетика русских революционных демократов прошлого столетия по-прежнему остались, по-видимому, для Буртина главным духовным ориентиром и в 80-е гг. (обращение к Добролюбову в 1986 году — тому одно из свидетельств).

Если же говорить о темах новомирского творчества Буртина, то здесь следует прежде всего отметить, что большинство его работ посвящено всестороннему исследованию **деревенской проблематики**.

Почему?

Во-первых, если брать внешнюю сторону вопроса, то уже и справка из биографии критика объясняет частично эту его «специализацию».

Во-вторых, «деревенская литература» являла собой, как позже определил ее А.Солженицын, «главный стержень русской литературы»(15).

В-третьих, если брать аспект деревенской проблематики в его общественном значении, то, как объяснял Буртин в беседе с автором настоящей работы, «деревня была слишком наглядной моделью общего: в деревне ярче, сильнее, просто объективно выступало то, что было свойственно целому»* .

В-четвёртых, в определении Буртина, — «Россия — изначально страна деревенская», поэтому «деревня — это история, вся история, взятая в целом...».*

Среди работ критика, посвящённых деревенской теме, в первую очередь следует назвать две его статьи — «Быть хозяином» (1961, 7) и «О частушках» (1968, 1) и рецензии на роман Ф.Абрамова «Братья и сёстры» («О наших братьях и сёстрах», 1959, 4) и на книгу рассказов и очерков П.Ревкина «Это было осенью» («Постижение жизни», 1965, 1).

В новомирской критике Буртина можно выделить и работы, посвящённые литературно-эстетической проблематике. Это — уже упомянутая и частично рассмотренная нами рецензия Буртина на сборник статей Марка Щеглова, а также отклики критика на произведения казённо-конъюнктурной литературы: на повесть Н.Строковского «История одной ночи» («Обратный эффект», 1963, 12), на сборник литературно-критических и литературоведческих работ Арк.Эльяшевича «Герои истинные и мнимые» («Своё и общее», 1964, 4) и на роман М.Алексеева «Хлеб — имя существительное» («О пользе серьёзности», 1965, 1). Эти работы Буртина, посвящённые разоблачению и высмеиванию произведений псевдонаучных и псевдохудожественных, написаны в жанре памфлета и дают нам возможность познакомиться с полемической и сатирической стороной литературно-критического таланта Буртина.

Наконец, в новомирском творчестве Буртина мы выделяем и его рецензии на специально-социологические темы, опубликованные в разделе «Политика и наука» «Книжного обозрения». Это отзывы на экономическую

книгу А.В.Любимова «Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны» («Война и хлеб», 1969, 2) и на книгу «Вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований» («О социологических исследованиях», 1964, 7). Эти две работы дают представление о характере новомировской публицистики Буртина, а также являются наглядной иллюстрацией к той литературной политике, которую Буртин, как ответственный редактор, пытался проводить в отделе публицистики.

Завершая общую обрисовку творчества Буртина, следует сказать, что в его критике новомировского периода наблюдается чёткое **мировоззренческое деление** на два периода: первый — до 1964 г. — характерен защитой критиком социалистических коллективистских ценностей; второй — после 1964 г. — обнаруживает явное изменение взглядов критика на природу общественных зол в стране, что сказывается в более осторожном и трезвом подходе Буртина в эти годы к проблеме социализма.

2. НОВОМИРСКАЯ НАУЧНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА Ю. БУРТИНА

В 1967 году Буртин становится старшим редактором отдела публицистики «Нового мира» и, как уже говорилось, по существу задаёт направление работе отдела.

Какова же была издательская политика Ю.Буртина внутри его сектора, чем он руководствовался в выборе авторов и материалов для публикации?

Довольно подробно Буртин рассказал об этом автору настоящей работы в беседе, выдержки из которой приводятся ниже:

«Свою задачу я видел в том, чтобы в формах рецензий на разнообразные книги обсуждать по возможности и весь спектр проблем нашей действительности, включая сюда и историю. Кое-что, мне кажется, в этом смысле и удалось. И проявлением этого явился тот факт, что Главлит, до поры до времени совершенно не интересовавшийся разделом «Политика и наука», **стал нами интересоваться**, и даже были сделаны какие-то, как говорится, представления — Александру Трифоновичу и редколлегии.

Представления такого рода: зачем это нужно брать какую-то сугубо научную книжку, для специалистов, изданную тиражом в три тысячи экземпляров, вытаскивать её на страницы крупнотиражного журнала, и предназначенные для специалистов сведения делать достоянием такой широкой аудитории? Это ни к чему.

А мне кажется, что это как раз к ч е м у.

И я пытался отбирать материал из потока прежде всего по темам.

Ну, например, приходит газетка «Книжное обозрение» — просматриваю, ага, тут вот есть юридическая книжка о «презумпции невинности». А «презумпция невинности» — это, как известно, один из отброшенных А.Я.Вышинским принципов судопроизводства. Возьмём её и посмотрим, что там написано.

Или, допустим, изданная в ООН книжка о парламентах(16). Берём, раскрываем, показываем читателю различные избирательные системы и сопоставляем нашу избирательную систему с ними.

Или экономическая книжка о проблеме цен на сельскохозяйственную продукцию и статья на эту тему крупнейшего экономиста-аграрника В.Г.Венижера, где автор со статистическими выкладками в руках показывал, как разорялась деревня из-за этих цен. Статья, к сожалению, не прошла.

В общем, культивировался вот такой тип рецензии-реферата, рецензии, которая даёт сгусток материала книги.

В связи с этим подходом сложился и определённый авторский коллектив — большей частью молодые и не очень молодые учёные, такие, как Григорий Вололазов, Владимир Хорос.

Значительные статьи, рецензии писали Александр Иванович Володин, в числе которых следует отметить его статью «Раскольников и Каракозов»(17), Евгений Александрович Гесдин, в 30-е годы, при Литвинове, заведующий отделом печати Наркоминдела, а затем около семнадцати лет узник сталинских лагерей.

Интересны работы Борнштейн Варвары Александровны, долгие годы проработавшей страховым агентом. Например, её рецензия на ряд книг о нормативных бюджетах(18), где сопоставление нормативных бюджетов с реальными дало читателю картину действительного материального положения наших людей — большей частью горожан.

Довольно много напечатал в это время под разными псевдонимами очень способный и талантливый, ушедший потом в историю, писатель Владимир Савченко. В общем, было очень много интересных авторов, среди них и «разовых».

Если говорить о крупных учёных, то таким действительно крупным учёным, привлечённым к сотрудничеству в журнале, был Михаил Яковлевич Гефтер. Его чрезвычайно интересный семинар по общественным проблемам в Институте истории, где выступали на протяжении нескольких лет философы, экономисты, психологи, историки..., был одним из действительных центров нашей общественной мысли. И в этом смысле сотрудничество такого автора, как Гефтер, было очень ценным приобретением журнала. М.Гефтер напечатал у нас одну или две рецензии, была и статья о Ленине. Потом была одна статья, но мы уже не успели её напечатать. Кстати, это был один из тех материалов, которые заставили меня задержаться на эти полтора месяца (имеюся в виду полтора месяца работы Буртина после ухода Твардовского из журнала. — Н.Б.). Но статья так и не прошла.

Если говорить об известных учёных, то не известность, а принадлежность общественному направлению «Нового мира» играла важную роль в привлечении к сотрудничеству учёных.

В этом смысле, такие авторы, как Г.Лисичкин, О.Лацис, А.Стреляный, если брать экономистов, представляли в наибольшей степени новомирское направление мысли. Всё то, к чему медленно, с отступлениями назад, постепенно приходит наша экономическая мысль только сегодня, что может быть названо идеей экономической реформы, было в статьях Г.Лисичкина. Г.Лисичкин у нас выступал очень регулярно и был, конечно, лицо важное.

Точно так же важны были в области истории и философии работы А.Каждана, В.Кулеша и Е.Плимака. Вторая большая работа этого автора — на пять листов — не увидела света, её задержала цензура. Но вот именно такого типа люди были характерны для авторского состава отдела, они очень много дали журналу по линии публицистики».*

Как выбирался материал для публикаций в разделе научной публицистики и под каким углом зрения рецензент знакомил читателя-непрофессионала с

той или иной научной книжкой, можно проследить и на примере двух рецензий самого Ю.Буртина, опубликованных в разделе «Политика и наука» «Книжного обозрения».

Первая, напечатанная в седьмом номере журнала за 1964 год, называется «О социологических исследованиях» и посвящена книге «Вопросы организации конкретно-социологических исследований» (Росвузиздат, И., 1963).

Буртин начинает свою рецензию на сборник статей по конкретной социологии выраженным горячим одобрением работе коллектива учёных, авторов издания. Выбор этой книги для рецензирования отнюдь не случаен для Буртина. Известный социолог Т.И.Заславская в одном из своих интервью времен горбачевской «перестройки» напомнила о судьбе, которую претерпела социология в советский период. Если социология в царской России да и в первое послереволюционное десятилетие была уважаемой наукой, то в 30-е годы стала одной из первых жертв сталинского режима. За все 30-е годы, по свидетельству Заславской, была издана лишь одна социологическая книга. В этот период социология, «как и все общественные науки, была превращена в сферу схоластики, цитатничества и догматизма»(19). Лишь после 20-го съезда партии социология стала возрождаться, да и то, по выражению Заславской, «под прикрытием экономической и философской наук», а «само слово «социология» всё ещё изгонялось из научного словаря, его опасно было произносить или печатать», так как это слово со сталинских времён отождествлялось с буржуазной наукой. Даже в 1966 году, по свидетельству Заславской, когда в Ленинграде была созвана первая Всесоюзная конференция по проблемам социологии, формулировка «по проблемам социологии» была заменена в программе словами «по конкретным социальным исследованиям». Только в 1988 году единственный в стране институт социологического профиля стал называться Институтом социологии(20). И хотя, как рассказывает Заславская, уже в середине 60-х годов существовали социологи, у которых были научные школы, однако «за каждую высказанную мысль» их «были по голове», «лишали возможности преподавать, воспитывать дипломников, аспирантов»(21), так что и сегодня «в стране вообще мало квалифицированных социологов, слишком долго душили эту науку»(22).

Это напоминание даёт ключ к пониманию оснований для выбора Ю.Буртиным книги именно этого профиля для рецензирования и, кроме того, объясняет причины, по которым Буртин старается в своей работе избегать термина «социология», заменяя его на словосочетания: «конкретно-социологический», «конкретная социология», «социологическое исследование».

Пытается Буртин, хотя и не напрямую, но в очень понятной форме, задержать внимание читателей и на повизне явления. Например, усилия, приложенные авторами для составления сборника, критик связывает с актуальным для сегодняшнего времени «интересом всего общества в целом к самопознанию». «В период культа личности, — напоминает критик, — нередко вместо фактов нам предлагались одни цитаты» (с.262), поэтому результаты конкретно-социологических исследований сегодня нужны не только специалистам, но и рядовому человеку — нужны как материал,

необходимый для выработки собственного мнения, собственного взгляда на явления окружающей среды.

Наконец, критик отмечает, что ввиду новизны предприятия в сборнике есть совершенно неравнозначные исследования: по-настоящему научные труды и формальная, схоластическая социология.

Какой же интерес может представлять эта книга для широкого читателя? Вот тот вопрос, которым и определяются публицистические задачи работы Буртина. Просветительская её направленность — «культура чтения» текста. Иными словами, — показать на конкретных примерах, как можно в цензурированных научных работах найти те или иные правдивые сведения о жизни людей.

Буртин приводит для примера результаты исследований Р.Ламкова, вошедшие в сборник статей под названием «Опыт изучения вне рабочего времени».

Р.Ламков, — пишет Буртин, — приводит таблицу, «показывающую бюджет времени текстильщиков в будний день. Она составлена на основе одной тысячи двадцати суточных бюджетов времени рабочих и служащих двух прядильно-текстильных фабрик города Фурманова Ивановской области.

Из этой таблицы, в частности, следует, что при семичасовом рабочем дне общие трудовые затраты времени, включая время на дорогу и домашний труд, уход за собой и питание, составляют у семейной женщины почти шестнадцать часов. И хотя на сон, — объясняет Буртин, — она тратит лишь около семи часов, её собственно свободное время, которое она может использовать на учёбу, повышение квалификации, общественную работу, воспитание детей и просто отдых (кино, чтение художественной литературы и т.п.), составляет в среднем всего один час тридцать минут в сутки» (с.262—263).

Буртин не берётся широко комментировать эти результаты по понятным причинам, но читатель на основании этих данных может и сам подсчитать, что девять часов в день уходит у женщины на непроизводительный труд, и эта информация заставляет задуматься над тем, что привилегированное положение советской женщины, о чём неустанно твердила пропаганда, есть бумажная фикция. Своим замечанием вскользь о том, что в приведённых цифрах — «указание на источник современных проблем культуры, семьи, здравоохранения, воспитания юношества» (с.263), Буртин обозначает масштабы «женского вопроса».

Другой пример, разбираемый Буртиным, — работа Л.Когана и Р.Ивановой, которая вошла в сборник под названием «Конкретно-социологическое исследование участия уральских рабочих в общественно-политической жизни». Авторы исследования ограничились, по словам критика, сбором цифровых сведений, которые «больше говорят о форме, нежели о существе дела» (с.263):

«Так, они установили, например, — пишет Буртин, — что «в 2886 постоянных комиссиях Советов Свердловской области работает 20 тысяч депутатов и 40 тысяч активистов. Если по охране общественного порядка и социалистической законности при местных Советах в 1958 г. имелось 30 общественных комиссий, то в 1961 г. их стало уже 100» (с.263).

И «на основании таких данных, — замечает Буртин, — авторы делают вывод о большом размахе привлечения трудящихся к активной государственной и общественно-политической деятельности!»

В своей рецензии Буртин пытается также выявить ряд конкретных причин, тормозящих развитие подлинной социологии в стране. Это, во-первых, по замечанию критика, отсутствие прямых данных, за неимением которых очень важные социологические сюжеты исследования, — как, например, вопрос о материальном положении трудящихся, который поднимает в своей статье П.Маслов, — остаются в сборнике лишь поверхностно затронутыми. Для обеспечения профессионального подхода к материалу исследования нужна ещё и статистика, отделённая от компетенций министерств и ведомств, — вот вывод, который делает Буртин, показывая, что именно из-за отсутствия этого такие важнейшие для общества темы, как «жизнь современной деревни, а в городе — таких слоёв населения, как врачи, учителя, инженеры, научные и творческие работники, руководящий состав партийных, советских и хозяйственных органов, офицеры, студенты и другие», «почти совсем не затронуты нашими социологами» (с.263).

Во-вторых, как отмечает критик, сказывается и нехватка кадров, «способных вести социологические исследования», а среди профессионалов есть и такие, «усилия которых не всегда расходуется производительно» (с.263).

Итак, в маленькой рецензии на сугубо специальную как будто бы книжку Буртин, придав своему анализу информационный характер, добивается, как видим, весьма важной цели, отвечавшей установке «Нового мира» на просветительство: он даёт своему читателю реальное представление о плачевном состоянии социологической науки в стране и в то же время учит его находить нужную и очень важную информацию даже и в цензурированных источниках.

Вторая рецензия Ю.Буртина, опубликованная в разделе «Политика и наука», называется «Война и хлеб» (1969, 2). Она посвящена анализу книги А.В.Любимова «Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны» («Экономика», М., 1968) и имеет тот же характер, что и предыдущая. Вместе с тем, написанная в 1969 г. и обращённая, в сущности, к одной из наиболее важных страниц истории жизни народа, эта работа отличается уже и гораздо большей остротой критики советского режима.

Экономическая книга «Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны», написанная министром торговли СССР А.В.Любимовым, который был с 1939 по 1948 год народным комиссаром торговли, уже своим сюжетом и компетентностью автора обещала редкую для читателя информацию. И действительно, Буртин отмечает ценность «богатого фактического материала», содержащегося в книге, хотя, как он пишет, в ней, к сожалению, и нет ссылки на источники публикуемых сведений.

«Война как особая эпоха в истории народа, в судьбах разных его поколений и социальных слоёв» (с.257), в определении Буртина, является главной темой книги; исследуемый материал — статистические сведения (которыми, надо полагать, располагал автор как высокое должностное лицо)

о времени рабочего дня, об управлении производством, о быте различных общественных слоёв и групп и др.

Наиболее острый и интересный сюжет книги касается сведений, связанных с введением в годы гитлеровского нашествия карточной системы и нормированного распределения. Буртин рассматривает эту тему с разных точек зрения, но для иллюстрации его методики достаточно будет, пожалуй, остановиться хотя бы на том, как вычленяет и освещает он в своей рецензии проблемы, поднимаемые автором книги в связи с социальной политикой правительства и с принципом дифференциации карточного снабжения населения страны в годы войны.

Этот принцип, объясняет Буртин, был положен в основу распределения нормированных товаров, поскольку «в условиях войны карточка должна была», с точки зрения правительства (как свидетельствует об этом Любимов), «стимулировать добросовестный труд...».

Во-вторых, «деревенская литература» являла собой, как позже определил её А.Солженицын, «главный стержень русской литературы»(15).

Какими же мерами правительство этого добивалось?

В октябре 1942 г. правительство «установило, — пишет Любимов, — что рабочим, совершившим прогул и по приговору суда отбывающим наказание в порядке исправительно-трудовых работ на данном предприятии, на это время снижается норма отпуска хлеба: для получающих 800г. и более — на 200г., для остальных — на 100г./.../

В отдельных отраслях промышленности — рыбной, лесной, на заготовках и сушке торфа — снабжение рабочих дифференцировалось в зависимости от выработки. Перевыполнившие норму получали на 100 граммов хлеба больше, а невыполнившие — на 100 граммов меньше своего пайка» (с.259).

Буртин рассматривает эти цифры не абстрактно, а в контексте тех **реальных условий**, в которых приходилось жить и работать людям. Он напоминает о том, что труд в ту пору был в основном ручным; о том, что люди жили по преимуществу в бараках «на торфу» или на лесозаготовках; о том, что рабочую силу в этих отраслях составляли по преимуществу женщины и подростки. И далее, переходя к обобщениям, он напоминает, что подобного рода «стимулирование», применявшееся режимом, не случайно уживалось в его практике с одновременно очень чётко проводившимся принципом кастового распределения материальных благ. Ибо если детям, например, в качестве дополнительного снабжения и питания сверх карточек отпусалось 50 г. хлеба и 10 г. сахара в день, то «руководящие работники наркоматов, промышленных предприятий, общественных организаций, деятели науки, литературы и искусства», как следует из данных книги Любимова, получали целые обеды сверх карточек, а кроме того «в дальнейшем им была предоставлена возможность приобретать определённое количество товаров сверх карточек в специальных магазинах по лимитным книжкам». Так, «в годы войны была широко развёрнута «так называемая закрытая сеть» магазинов, которая «обслуживала только определённые контингенты населения. При этом, — как отмечает Любимов, — учитывался опыт закрытых распределителей (ЗР) и закрытых рабочих кооперативов (ЗРК) начала 30-х годов...» (с.259).

Так, умело сопоставляя разного рода данные, которые Любимов приводит в своей книге «через запятую», даже не подозревая о их кричащей нравственной несовместимости, Буртин вскрывает антидемократический, антинародный характер социальной политики правительства в годы войны, обнажает всю меру её несправедливости по отношению к той части населения, которая работала на фронт в самых тяжёлых условиях. Существование спецраспределителей, закрытых столовых и т.п., конечно, не было таким уже сенсационным откровением для советского читателя, но это была та правда, которая впервые высказывалась в открытой публицистической форме на страницах «Нового мира», в то время как в иной прессе и на экранах телевизоров советским людям беспрестанно твердили о великой о них заботе со стороны партии и правительства.

Характерным в этой работе Буртина является и обнажение критиком использованного им самим приёма анализа. Так, в конце рецензии Буртин даёт прямые указания читателю на то, как следует читать книгу А.Любимова: «Многие сообщаемые в книге сведения», — пишет критик, — не прокомментированы автором, «но то, чего не сделал автор, может в ряде случаев сделать сам читатель» (с.260). И Буртин показывает, как это нужно делать: как можно интерпретировать, например, «такой общеизвестный факт, как рост цен на колхозных рынках»:

«Автор констатирует (пишет Буртин): «В первый период войны, когда привозы резко сократились, спрос настолько превышал предложение продуктов на рынках, что цены на них быстро пошли вверх. По сравнению с апрелем 1941 г. цены на 47 продуктов повысились в апреле 1942 г. в среднем в 7 раз, а в апреле 1943 г. — в 15 раз (иногда вздорожали мука, картофель, лук, растительное масло, молоко)» (с.260).

«Из этого факта, — поясняет Буртин, — можно было сделать различные выводы, в том числе и вывод о неосознанности сельских жителей, которые, воспользовавшись трудностями продовольственного снабжения города, решили нажиться за его счёт. О том же самом может свидетельствовать как будто бы и такая, для многих памятная, форма торговли военных лет:

«Некоторые горожане, имевшие возможность поехать в деревню, покупали продукты там, а не на городском рынке и притом часто не за деньги, а путём обмена различных вещей — предметов домашнего и хозяйственного обихода, одежды, обуви и т.п.» (с.260).

Однако, объясняет Буртин, «картина существенно изменится, если мы вспомним, что во время войны карточки на промтовары получали лишь горожане — ограничение, которое автор никак не мотивирует, — без карточек же нельзя было купить в магазине почти ничего». «И хотя какое-то, очень небольшое, количество промтоваров всё же поступало в деревню, нехватка их ощущалась там гораздо острее, чем в городе. Да и никак не от избытка, — подчёркивает критик, — вёз колхозник свои продукты на рынок: по данным, которые приведены в «Истории Великой Отечественной войны», «личное потребление колхозниками хлебопродуктов снизилось в 1943 г. по сравнению с 1939 г. на 35 процентов, мяса и сала — на 66 процентов» (с.260).

Буртин напоминает, наконец, и ещё целый ряд фактов, приведённых в книге Любимова, предлагая читателю задуматься над ними:

«Одним из основных источников продовольственного снабжения, — пишет Буртин, — стали во время войны подсобные хозяйства промышленных предприятий и учреждений, торгующих организаций и орсов». «Подсобные хозяйства при больницах, детских домах и яслях, которые по решению правительства «могли полностью использовать продукцию своих подсобных хозяйств без какого бы то ни было зачёта её в центральные фонды».

Результаты такого хозяйствования: многие из учреждений «всцело обеспечивали свои потребности в картофеле, овощах, молоке и не получали их из государственных фондов» (с.261).

Или другой факт:

«Во время войны государственные органы нередко шли навстречу хозяйственной инициативе «снизу». В частности, были приняты специальные постановления, направленные на поощрение индивидуального и коллективного огородничества среди рабочих и служащих, а также индивидуального животноводства и птицеводства. Подсобным хозяйствам разрешалось продавать рабочим и служащим поросят для откорма, рекомендовалось отводить для личного скота пастбища и сенокосы...!..!

Внушительными были и результаты этого «некрестьянского» огородничества»: «В 1944 году оно дало около 9,7 миллиона тонн картофеля и овощей, то есть почти на два с половиной миллиона больше, чем поступило в том же году для снабжения населения городов и рабочих посёлков из двух основных источников вместе взятых, — по децентрализованным заготовкам и закупкам и от подсобных хозяйств» (с.261).

Эти и другие сообщаемые автором книги сведения, пишет далее Буртин, «дают богатую пищу для размышления» и «историку народного хозяйства, и экономисту, и социологу, и этнографу, и даже психологу и философу. И, конечно, литератору, чей интерес к действительности обнимает все стороны и проявления народной жизни» (с.261).

Итак, рассмотренная нами рецензия Буртина на экономическую книгу Любимова ещё раз подтверждает неслучайность того «жанра» **рецензий-рефератов**, который Буртин сам пытался «культивировать» в отделе публицистики, и ещё раз иллюстрирует его характер и цели: «отбирая материал из потока прежде всего по темам», по их остроте и общественной значимости, включая и историю, пытаться дать «сгусток материала книги» и на этой основе «по возможности обсудить» актуальные проблемы советской действительности. Сам Буртин, выступая с критикой антидемократической политики правительства в годы войны (то есть обращаясь к «истории»), именно это, как **видим**, и имел в виду, всячески актуализируя, в частности, и ту информацию, которую он приводил в конце рецензии. Она заставляла читателя задуматься о том, что введение частного сектора в годы войны, которое было со стороны правительства явно вынужденной мерой, полностью «реабилитировало», в сущности, систему производства, построенную на частной инициативе снизу, и подтвердило несостоятельность колхозной экономики. И тем значимее, следовательно, должен был выглядеть в глазах читателя тот факт, что по окончании войны власти (по тем же самым причинам, по которым они поощряли принцип

дифференцированного, кастового распределения продуктов производства) не только отменили частный сектор, но ещё более закрепили крестьянство.

3. ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Фактически на прямом развитии той же темы — «война и хлеб» (но уже на литературном материале) — построена и рецензия Буртина «**О наших братьях и сёстрах**» (1959, 4) на первую часть романа Фёдора Абрамова «**Братья и сёстры**», рассказывающего о жизни северной русской деревни в первые годы войны.

Отмечая ряд художественных недостатков книги («отдельные шероховатости её сюжета и стиля», «неровность» языка и пр.), Буртин в целом оценивает роман как «мужественную книгу», идущую к читателю «с трезвой правдой», несущую в себе «гуманистический смысл».

«Действие этого романа замкнуто, — пишет Буртин, — в пределах небольшой деревни Пеканино, расположенной за сотни километров от фронта. Но, как говорит одна из героинь романа, — «сейчас везде война»: далёкая северная деревня живёт такой же жизнью, что и десятки тысяч других тыловых советских деревень» (с.249). На расширении этой репрезентативности романа и построена рецензия Ю.Буртина.

Идёт 1942 год. Что же узнаём мы о жизни крестьян-колхозников, большую часть которых составляют женщины, дети и старики?

«Люди мрачней от скудных сводок Совинформбюро. Отдают в фонд Красной Армии всё, что было в избе и во дворе самого лучшего и дорогого. Выдвигают в руководители женщин и женщинами заменяют мужчин на самых что ни есть мужских работах. Работают за двоих и троих вместо ушедших на фронт мужей, отцов и братьев. /.../ Четверо голодных ребятнишек, трое братишек и сестрёнка, делят на четыре дольки единственную лешенку. «С затаённым дыханием, боясь моргнуть», следят они за правильностью этого ежедневного дележа, с великой бережностью подбирают оставшиеся крошки...» /.../ «Сев зерновых подходит к концу. В последние дни люди почти не ложились: днём работали на колхозном, а вечером и ночью возились на своих участках. Измученных за день лошадей приходилось тащить волоком, да и тех не хватало. Выкручивались кто как мог: кто приснособиливал свою коровёнку, кто посылнее — сбивался в артели; подберутся бабы три-четыре, впрягутся в плуг и тянут... люди словно оскатанели: на задворках, у загуменья, всю ночь звенели, выговаривали лопаты, хрипели, надрываясь в упряжке, бабы, билась в построюках худые, очумелые коровёнки... Ребятишки — зелёные помощнички — жгли костры, пекли проросшую картошку, а днём сидя засыпали за партой» (с.249).

Если вспомнить карточную систему, те особые постановления правительства 1942 года для отдельных отраслей промышленности — рыбной, лесной, на заготовках и сушке торфа, где «снабжение рабочих дифференцировалось в зависимости от выработки»; если вспомнить, что карточки на промтовары получали лишь горожане (без карточек же нельзя было купить в магазине почти ничего (с.259), — словом, если вспомнить всё то, о чём подробно говорил Буртин в своей рецензии на книгу А.Любимова

«Война и хлеб», то возникающая перед нами картина жизни советской деревни военных лет выглядит поистине ужасающей.

Буртин специально акцентирует в своей рецензии ту сцену из романа, в которой наглядно показан характер отношения «управляющих» и «управляемых» в годы войны. Это сцена колхозного собрания, «на котором члены артела «Новый путь» дают выход накопившемуся в них недовольству бестолковым председателем колхоза Лихачёвым».

«—Жрой, Дарка, не бойся!

—И не боюсь, бабы! — разошлась Дарья. — У меня два сына на войне, да чтобы я боялась... Старшой-то, Алексей, в каждом письме спрашивает: как да что в колхозе, дорогие родители? А у нас хоть издохни на поле — всё без толку. Как зачал ты, Харитон Иванович, подпруги подтягивать, дак чуру не знаешь. Бригадиров по померам кличешь, а мы лошадей по имени зовём... А нашего брата, бабу, и вовсе за человека не считаешь... А где это слыхано, чтобы в мокредь пахать? Или мы до тебя не жили? Весь век соху из рук не выпускаем и с голоду не помирали... Ты об этом подумал?

...Лихачёв вскинул голову, рывком встал:

—Вы что, против партии? Тыл подрывать?..

Невообразимый шум поднялся в клубе.

—Ты нас партией не страшай!

—Мы сами партия...

—Она, партия-то, как велит разговаривать с народом?

—Верно, как в другом Сэсэрэ жинём.

—Дура, пету другого Сэсэрэ...» (с.249).

Воспроизводя этот диалог, Буртин показывает через него всю суть тогдашней деревенской социальной ситуации: командный метод управления, эксплуатация людей, работающих на износ, профессиональная некомпетентность руководителей, их презрительное, оскорбительное отношение к крестьянам как к простым крепостным «винтикам» государственного механизма, отсутствие какого-либо уважения к женщинам, заменившим мужей и сыновей, ушедших на фронт.

«Народ-богатырь, — пищет Буртин. — Мы часто говорим эти слова, не вдумываясь в них. В лучшем случае воображение рисует нам величественные картины вроде взятия рейхстага... Роман «Братья и сёстры», все персонажи которого обыкновенные, средние люди, не делающие ничего, решительно ничего особенного и редкостного, наполняет для нас эти слова гораздо более широким и важным смыслом» (с.249-250), — вот гордый и одновременно трагический итог, к которому приходит Буртин, вглядываясь в ту жизнь, которую показывает на страницах своего романа Фёдор Абрамов.

Эта рецензия характерна и с точки зрения той актуализации деревенской темы военного периода, которая определяет здесь методологический подход Буртина к анализируемому материалу. Ведь главный вопрос, который, в сущности, его здесь интересует, — это вопрос о том, изменилось ли что-нибудь в жизни народа-победителя после войны.

Да, изменилось, как бы отвечает Ю.Буртин своей рецензией на этот вопрос. Но — в сторону ещё большей его эксплуатации и закрепощения.

«В послевоенной деревне, — говорил позднее Буртин в интервью автору настоящей работы, — крестьянин-колхозник отдавал всё, что он вырабатывает в колхозе, государству даром, по копеечным ценам, которые не покрывали десятой, может быть, даже сотой доли издержек производства. Эти цены были абсолютно условными, по которым даже тошка хлеба стоила копейки. Жил крестьянин-колхозник исключительно за счёт приусадебного участка и с этого участка платил государству налог, равнявшийся приблизительно половине выработанного на этом участке. Чтобы крестьянин не убежал из колхоза, его лишили паспорта. Если он шёл стричь какие-то колоски — его сажали на десять лет. Это страшно. Это была, по сути дела, барщина, соединённая с оброком. Раньше, в царской России, существовал либо оброк, либо барщина, а тут — и то и другое».*

Но к пониманию того, о чём рассказал в этом интервью и о чём писал в своей рецензии на книгу Любимова, критик пришёл не сразу. Интересно проследить эволюцию его взглядов, которая особенно отчётливо выявляется перед нами именно в его работах на деревенскую проблематику. И, в частности, в том, как на разных этапах своего творчества критик развивал тему «хозяина».

Эта тема звучит почти во всех рецензиях Буртина на «деревенскую» прозу, однако трактовка понятия «хозяин» в его работах позднего периода претерпевает существенное изменение по сравнению с ранними статьями.

Поначалу успех дела виделся ему — как и вообще многим специалистам и исследователям проблем сельского хозяйства — «в расширении и укреплении колхозной демократии, в сознательном стремлении к тому, чтобы каждый рядовой труженик был не только исполнителем, но и в определённой степени организатором трудового процесса» («Беллетристика и публицистика», 1963, 8, с.250). И тут важнейшую роль, по мнению Буртина, должен был играть личный пример руководителя-председателя, ибо «сознательность и инициатива масс, степень развития в людях социалистического хозяйского чувства находится, — как писал и думал Буртин в те годы, — в прямой зависимости от их реальной общественной роли, от того, в какой мере привлечены они к управлению делами общества» («Беллетристика и публицистика», с.250).

«Хозяин новой складки» — «х о з я и н в новом, социалистическом смысле этого слова, хозяин-коллективист, хозяин-коммунист, самая интересная и самая главная фигура современности, — утверждал в начале 60-х гг. Буртин, характеризуя героя очерков П.Реврина «Свет от людей», председателя колхоза Степана Фёдоровича Лаврова (статья «Быть хозяином!», опубликованная в седьмом номере за 1961 год (с.250)(23)). Он заявляет здесь даже, что «хозяйское чувство к общественному» уже «перестало быть качеством одиночек. Оно стало общественной нормой» (с.251), хотя «так было далеко не всегда» (с.250).

В рецензии на повесть В.Пальмана «Схватка» (1963, 8), Буртин устами колхозного сторожа развивает эту тему более подробно, объясняя, как же было «раньше» и как стало «теперь»:

«А хочешь знать, Владимир Лексич (третий секретарь райкома партии. — Н.Б.), в чём гвоздь того развития и чем сиён наш председатель?.. Тем, что весь хутор к руководству приладил... Антон Антонович Оноприенко, бывший

председатель, за своё долгое царствование на хуторе всё сам делал... Рядовых колхозников он начисто от дела отшиб. Они у него вроде бы в простых работах ходили. Председатель разные команды давал, а они робыли в поле и на фермах... Год, другой, третий, ну и отвернулся народ от земли... И получалось, что хутор — сам по себе, а руководство — само по себе...» (с.259).

Итак, в этих своих работах Буртин вслед за авторами анализируемых им произведений развивал, таким образом, как видим, весьма популярный в те годы тезис: «всё дело в председателях». В ракурсе именно этой темы — «хороший (плохой) председатель» рассматривается Буртиным и роман Е.Мальцева «Войди в каждый дом» («Разговор о главном», 1962, 1), где в центре внимания критика оказывается идейный спор между двумя руководителями-антиподами: представителем «хозяев новой складки» — секретарём обкома Пробатовым и представителем «хозяев старой складки» — секретарём райкома партии Коробиным (с.246). «Близость к людям и недоступность — в одной этой противоположности заложена неизбежность спора», — пишет Буртин. И далее, путём подбора цитат из романа Е.Мальцева, Буртин так рисует портреты этих руководителей — Коробина и Пробатова:

Мнения и «установки» Коробина:

«...Наведём порядок, дадим нахлобучку председателю, уберём безвольного парторга, ...призовём к дисциплине...».

«Пока не пригрозить, что можно расстаться с партийным билетом, — не приходишь!».

«А недовольные не скоро исчезнут, на всех не угодишь! И наша с вами задача заключается не в том, чтобы слушать жалобщиков и недовольных...».

«...Нас сюда поставили не наблюдателями, а руководителями. Значит, мы не имеем никакого права всё пускать на самотёк и произвол, иначе там (в колхозе. — Ю.Б.) такую демократию могут развести, что нас и дня не станут держать в райкоме».

А вот как смотрит на дело Пробатов:

«Если мы решения партии будем выполнять старыми методами — мы далеко не двинемся!».

«Он (речь идёт о крестьянине, за несколько лет перед тем ушедшем из деревни в город. — Ю.Б.) не глупее нас с вами, уверяю вас. Нам надо было почаще таких вот людей слушать...».

«Надо решительно увеличивать актив /.../ и смелее привлекать к работе всех. Стучаться в каждую дверь, хорошо знать каждого человека, иначе нам не справиться со всем тем, что требует сегодня от нас партия! И любой руководитель, как бы он ни был одарён и прозорлив, не поняв этого главного, может оказаться в положении человека, пытающегося вычерпать море ложкой» (с.247).

Таким образом, всю проблему Буртин сводит в эти годы, в сущности, лишь к критике прежних командно-административных методов руководства сельским хозяйством, и его положительная программа, связанная с некоторой демократизацией системы управления, в принципе ничем не отличается от уже знакомой нам позиции Лакилина в этом вопросе: Буртин также верит в то, что успех предприятия находится в прямой зависимости от перевоспитания человека в демократическом социалистическом духе; он

также связывает «пережитки» не только со сталинизмом, но и с дореволюционной частнособственнической психологией.

Пережитки сталинизма — это «отношения между руководителями и массой, где советские люди, подлинные хозяева страны, ущемлены в своём хозяйском праве, поставлены... в положение «простых работников» и не могут контролировать деятельность своего руководителя», пишет он в своей работе «Беллетристика и публицистика» (1963, 8, с.250). Пережитки же дореволюционной деревни — это «мелкособственнический эгоизм» («О наших братьях и сёстрах», 1959, 4, с.249).

Любопытно, что тема «пережитков собственнической морали», звучащая и в «деревенской» прозе, и в критике на неё конца 50-х — начала 60-х гг., и в работах Буртина, в частности, совершенно исчезает уже у него к 1965 году. К 1965 г. претерпевает существенную эволюцию и точка зрения на то, что «всё дело в председателях», ибо с течением времени стало ясно: руководители старого типа прекрасно адаптировались к новым, чуть либерализованным условиям, отнюдь не изменяя себе в главном.

Постепенно меняется в связи с этим у Ю.Буртина и трактовка понятия «хозяйин». Отрицательная категория «мелкособственнический эгоизм» постепенно исчезает и превращается в положительную — «материальная заинтересованность в своём труде». На неё и делается теперь ставка как на главный мотор, способный привести в движение сельскохозяйственную экономику, а также и улучшить благосостояние крестьянства. И слову «хозяйин» возвращается наконец его исходное лексическое значение.

Возьмём для сравнительного сопоставления страницы из статьи «Быть хозяином!» (1961), где критик бичует так называемую собственническую мораль.

Статья посвящена разбору очерков, опубликованных в 1960 г. альманахом «Наш современник», — очерков, в которых, по словам Буртина, «настойчиво звучит один мотив: человек — хозяин своей страны» (с.247)(24).

Во всех этих очерках, как пишет критик, мы встречаемся с авторским осуждением собственнической морали, ибо «в сознании некоторой части советских людей ещё живут пережитки собственнической морали», и «очеркисты «Нашего современника» делают очень хорошее дело, показывая правдиво и честно не только хозяина-коллективиста, человека новой формации, но и прямо противоположные явления современной жизни» (с.251). Буртин даёт конкретный пример — разбирает образ преподавательницы литературы Алевтины Григорьевны — «одного из главных лиц в очерках К.Мурзиди». Тщательно анализируя её поведение, Буртин приходит к заключению, что красивая и привлекательная на первый взгляд молодая женщина, по сути дела, — мещанка. Что же — конкретно — в поведении героини вызвало такой приговор критика?

То, что Алевтина экономна, что дети её приучены экономить, что Алевтина отказалась работать всё лето в поле, не соблазнившись обещанием председателя колхоза отремонтировать школу... И вот критик заключает: Алевтина «выросла в социалистическом обществе, но в ней нет ровным счётом и н и ч е г о социалистического»(25). Её «хозяйственность» критик именуется старорежимной и скопидомной. «И ведь такая Алевтина не

уникум», «люди такого сорта есть и в крестьянстве, и в рабочем классе, и в интеллигенции»(с.252). «Равнодушие к общественному всегда было одной из самых главных черт собственнической морали», — заключает Буртин(с.252).

В этих приговорах, оценках и обобщениях критика, которые сегодня могут показаться нам — с высоты нынешнего дня — по крайней мере наивными, если не просто недобросовестными («равнодушие к общественному» постепенно и стало ведь как раз одной из главных черт социалистического хозяйствования), отражены, однако, определённая эпоха и определённый тип сознания — то, с чем мы встречались и при рассмотрении критики Лаккина раннего периода:

«...Может быть, никогда» «равнодушие к общественному» (пишет Буртин), «не приносило столько вреда, как сейчас, в условиях коллективного социалистического хозяйствования. Всё социалистическое плановое хозяйство, всё наше общество есть единый сложный механизм, успех работы которого зависит от миллионов «колёсиков и винтиков», крепко скреплённых между собою. И если какой-нибудь из этих винтиков разъест ржавчина бесхозяйственности и равнодушия, это отражается на работе множества других частей и всего механизма в целом. Равнодушие к общественному — это самый страшный для нас и, будем говорить прямо, самый распространённый порок. Рабочий, кое-как выполняющий свою работу; шофёр, сливающий на землю бензин, чтобы скрыть приписку на путевом листе; учитель, из года в год повторяющий одни и те же фразы; член «авторитетной комиссии», принимающий новый дом в таком виде, что он завтра же потребует ремонта, — равнодушие встречается в самых разнообразных проявлениях» (с.252).

Справедливо видя источник всех бед социалистической экономики в равнодушии к общественному, корни феномена Буртин тем не менее видит здесь только в «пережитках собственнической морали».

Посмотрим теперь рецензию Буртина 1965 года **«Постижение жизни»** на книгу рассказов и очерков П.Ребрина «Это было осенью...», из которой (как рассказывал нам критик) цензура вырезала две трети, посвящённые очерку «Головырино-Головырино», ибо этот очерк П.Ребрина был подвергнут партийной критике и его хвалить было нельзя*.

На основе анализа образов двух сельских руководителей — руководителя «старого типа» Дрючина из очерка П.Ребрина «Свет от людей» и руководителя «нового типа» секретаря райкома Любого из очерка «Точка зрения Игната Паццины» — Буртин делает совсем иные, качественно новые в сравнении с предыдущими выводы:

«При всём различии их облика, личных качеств и взглядов, оба они, — отмечает Буртин, — не организаторы работы, но прежде всего «начальники», привыкшие «заставлять» и «накачивать», хотя «старый» был озабочен созданием «инстанции» между собой и народом, а «новый» садится с трактористами обедать. Нет ничего удивительного, что и по результатам своего руководства «новый» ушёл от «старого» весьма недалеко» (с.256).

Как видим, Буртин вскрывает здесь антинародную суть уже самого принципа управления сельским хозяйством. «Ведь эти самые запарники, — объясняет далее критик, — понадобились в районе лишь потому, что не

сумели вырастить хороший урожай. А не сумели главным образом потому, что люди, от которых зависел этот урожай, не чувствовали хозяйской заботы о нём» (с.256). И хотя чуть далее Буртин поддерживает такого руководителя, который «поощряет самостоятельность и инициативу своих подчинённых», однако сам он уже чётко знает, что «наличие хорошего руководителя для подлинного подъёма деревни» недостаточно (с.256). «Конечно, очень хорошо, — замечает критик, — что Тавров или Пащина стараются пробудить чувство хозяина в каждом рядовом труженике. Но как далеко в этом смысле простираются их возможности»? И это первый главный вопрос, который далее ставит Буртин. Второй вопрос, над которым, по словам критика, стоит серьёзно задуматься, поднят в разговоре Любого с журналистом, от чьего лица ведётся рассказ:

«—Почему Пащина-то мало... самородков-то таких?»

«В самом деле, почему, — подхватывает критик. — Почему многие руководители не следуют примеру Пащины и остаются по-прежнему «начальниками»? Или они бюрократились, забыли о демократических принципах нашего строя? Любый поставил, как видим, весьма важный вопрос. Что скажет его собеседник?»

«—Ну так... Само слово говорит за себя, Василий Максимович, самородок — сам родился» (с.256).

В этой маленькой выдержке сосредоточены итоги десятилетней эволюции Буртина в осмыслении социально-экономической проблематики деревни, итоги его наблюдений за деревенской жизнью. И первый вывод критика состоит здесь, как видим, в том, что сам принцип экономической организации сельского труда неэффективен; второй же состоит в твёрдой констатации того, что социально-правовые отношения находятся в прямой зависимости от экономической организации труда.

В своей знаменитой статье 1968 года «**О частушках**» Буртин уже совершенно однозначно произносит свой приговор коллективизации и колхозной экономике:

«...Любовь к земле и крестьянскому труду, ...чувство х о з я и н а принадлежат, без сомнения, к числу самых основных и определяющих черт в социальной психологии деревни, — утверждает Буртин. — И это чувства естественные, здоровые, без них невозможно хозяйствовать сколько-нибудь успешно, без них, попросту говоря, нет к р е с т ь я н и н а, а есть в лучшем случае добросовестный, исполнительный, «материально заинтересованный» и т.п. «работник сельского хозяйства»... (с.231)(26).

А в ещё более поздней статье — «**Реальная критика**» **вчера и сегодня**» (1987г.) Буртин, вновь обращаясь к теме «хозяина» в связи с разбором критической литературы на повесть В.Распутина «Пожар», формулирует свои окончательные выводы уже и так:

Горит склад, и сельчане вместо того, чтобы тушить пожар, расхищают добро. Почему так происходит? — задаётся вопросом Буртин. И рассматривает тот ответ на вопрос, который даёт критик А.Бочаров. Дело в том, пишет Бочаров, что колхозниками потеряно напрочь чувство хозяина. И это — «своеобразная реакция на окружающую бесхозяйственность» и «на то, что их не считали хозяевами(27).

Раскрытые склады обнажали, сколько там всяческих товаров (в том числе мотоцикл с коляской, который тщетно пытался купить один из рабочих)» (с.234).

Однако Буртин заявляет, что простой констатации этих фактов недостаточно, и, приступая к разбору повести по методу «реальной» критики Добролюбова, берётся, в частности, указать на истоки названных явлений.

Это, во-первых, **социально-экономическая структура**. «...«Бесхозяйственность» и «без хозяина», — пишет Буртин, — имеют между собой не просто этимологическую связь: это две нерасторжимые стороны одного и того же явления — экономическая и социальная. Если работник не «хозяин» (в полном гражданском значении этого слова), а только «работяга» — от него трудно ждать чего-либо кроме бесхозяйственности, то есть низкой эффективности, экономического застоя. И напротив, там, где царит бесхозяйственность, там, значит, человек не хозяин — ни как работник, ни как избиратель, ни как член тех или иных общественных организаций» (с.236). Следовательно, «бесхозяйственность» есть не «личный н е д о с т а т о к тех или иных «нерадивых» хозяйственников» — тезис, который, как мы помним, защищал Буртин в своих работах до 1965 года, — а «с в о й с т в о определённого хозяйственного механизма»(28). И «это тоже «пожар», равномасштабный тому нравственному бедствию, о котором кричит повесть Распутина, соотносимый с ним действительно как причина и следствие. И тогда надо уже идти ещё дальше, — пишет Буртин, — к выяснению вопроса, чем и как такой механизм заменить» (с.235).

Это, во-вторых, — **политическая структура**. «Если хозяйственный механизм, ныне справедливо признанный негодным, — замечает критик, — возник и длительное время существовал», «признавался», то, «значит, к тому толкала определённая объективная логика системы, в основе которой лежит государственная собственность на средства производства. Совместима ли эта логика и с каким-то принципиально иным хозяйственным механизмом, способным исключить бесхозяйственность, оздоровить экономическую жизнь, в корне изменить отношение многих людей к труду и к общественной собственности?...» — совсем уже риторически ставит свой главный вопрос Буртин (с.235).

Почему, действительно, местных жителей не считали хозяевами? «Не считали, подразумевается, те, кто оставлял хозяйское право лишь за собой, кто для себя и только для себя держал на складе ОРСа (отдела р а б о ч е г о снабжения)(29) и «красную рыбу, которой в Сосновке никогда не видели», и иное дефицитное добро...» (с.235-236). «Это «не считали» — безусловно, существенный факт, одно из... реальных «обстоятельств бытия»...». «Однако резонно спросить: не считали — вопреки реальности или в соответствии с нею?» — В соответствии, ибо «...ещё двадцать лет назад» был вполне чётко сформулирован вывод» «в одной книжке об итогах деревенского очерка 50-х годов: «Чувство не возникает на пустом месте, и чтобы ощущать себя хозяином своего колхоза, артельного добра, нужно им быть» (с.236)(30). Добавим: быть и экономически, и юридически.

Как видим, в этой поздней статье у Буртина не остаётся уже никаких сомнений на тот счёт, насколько неприемлема так называемая общественная («социалистическая») собственность на средства

производства, поскольку порочна социалистическая структура управления хозяйством, которая тем не менее существовала и существует в соответствии с логикой политической власти — логикой «управляющих».

В статье «Ахиллесова пята исторической теории Маркса», датированной 1974—1989 гг. и опубликованной в конце 1989 г., Буртин, выступая уже как историк и публицист, обращается к той же теме порочности социально-экономической и политической структур, лежащих в основе социалистического строя. Но здесь он показывает и то, что прежде чем продемонстрировать на практике свою несостоятельность, социализм обнаружил её уже в самой «теории, в проекте, в размышлениях основоположников марксизма о коммунистическом будущем». Общие формулы, которыми пользовался Буртин в статье «Реальная критика» вчера и сегодня», — такие, как «хозяйственный механизм», «бесхозяйственность», «определённая, объективная логика системы» и пр. — заменяются в новой работе конкретными научными, экономическими и политическими терминами. В основе хозяйственного механизма, как пишет Буртин, лежит экономический «принцип социализма», сформулированный Марксом как «право производителей (на получаемые ими предметы потребления. — Ю.Б.) пропорционально доставляемому ими труду...» («Октябрь», 1989, 11, с.13,15)(31). А этот принцип ещё в теории обнаружил свою несостоятельность потому, что, как это убедительно показывает Буртин, нет абсолютно никаких реальных возможностей «в масштабах всего общества» ни измерять трудовые затраты, ни проверять результаты труда (с.16—17). Этот принцип Буртин относит не к экономическим, а к идеологическим, так как распределение «по труду», являясь абсолютно абстрактной формулой, открывает на практике «благоприятные возможности для любого произвола, позволяет трактовать себя как распределение в основном по занимаемой должности...» (с.17)(32). Отсюда, заключает Буртин, — все беды социалистической экономики, «включая главную — тотальную незанятость как предприятия, так и отдельного работника решительно ни в чём, от чего зависит хозяйственный успех» (с.17)(33), — то есть та самая «бесхозяйственность».

«Чем такой механизм заменить?»

И на этот вопрос тоже Буртин даёт в новой работе уже совершенно однозначный ответ: переход на рыночные отношения, что означает отказ от экономических теорий Маркса и Энгельса, для которых, как пишет критик, рынок и коммунизм были понятиями взаимоисключающими (с.13).

Наконец, Буртин предлагает отказаться и от политических теорий основоположников марксизма. «Всякая монополия... порождает неизбежно стремление к застою и загниванию», цитирует Буртин слова Ленина, добавляя, что «всякая» — означает и монополию социалистического государства (с.20). И если «политэкономия» коммунизма Маркса и Ленина уже в теории страдала вышеперечисленными роковыми пороками, то и в политической концепции коммунизма с самого начала не случайно не было, как пишет Буртин, места таким понятиям, как демократия (ложь, лицемерие, по Энгельсу), политическая свобода («худший вид рабства»), политическое равенство и пр. («Октябрь», 1989, 12, с.3—4).

Рассмотрение темы «хозяина» в статьях и рецензиях критика, построенных на материале «деревенской» прозы, даёт нам наглядное представление о той серьёзной и кропотливой работе, которую проделал Буртин в своих исследованиях причин бедствий советской экономики, равно как и о той эволюции, которую претерпели его мировоззренческие взгляды со времён первых новомирских работ до сегодняшнего дня.

По своей проблематике, предмету исследования к «деревенской» тематике примыкает и самая знаменитая новомирская статья Буртина «О частушках» (1968, 1).

Эта статья принадлежит к числу наиболее значительных новомирских литературно-критических публикаций. По широте изучаемого материала (Буртин рассматривает почти весь арсенал советских частушечных сборников), по содержащемуся в ней глубокому и всестороннему научному анализу издательской и составительской деятельности, а также по основательности изучения самих текстов частушечных записей с художественной и содержательной стороны статья Буртина представляет собой, по сути дела, очень ценный самостоятельный научный труд, в котором объединены усилия литературоведа-фольклориста, литературного критика и публициста.

Частушка, пишет Буртин (следуя Глебу Успенскому), может служить «материалом для изучения народной жизни» (если она, конечно, не плод фальсификации). И именно этим аспектом, который более всего занимает Буртина, статья его и примыкает к его «деревенским» штудиям. Но одновременно статья обращена и ко всему тому, что не позволяет большинству советских сборников частушек быть таким материалом. Эта особенность подхода критика к своей теме определила и композицию статьи, её публицистический и полемический пафос.

Двадцать восемь журнальных страниц работы Буртина можно разбить на две большие части. Первая посвящена критике антинаучной издательской и составительской деятельности советской фольклористики за весь советский период, включая сборники частушек начала 60-х гг. Вторая часть представляет собою как бы своего рода большую рецензию на сборник «Частушки в записях советского времени», выпущенный Институтом русской литературы в 1966 году. — первое, по определению критика, подлинно научное издание частушек за советский период, позволяющее привлечь тексты частушек к народоведческому использованию.

«Частушка — один из немногих живых жанров русского фольклора, — начинает своё исследование критик. — Собственно, только она да ещё анекдот /.../ и представляют современное устное художественное творчество. Но анекдоту, — замечает Буртин, — пока не везёт. Его не собирают, не издают, не изучают» (с.212). Частушка, наоборот, официально очень популярна: «ей посвящаются книги и диссертации, её исполняют по радио, то и дело издают». «Беда, однако, — пишет Буртин, — в том, что до самого последнего времени научное и художественное качество таких публикаций сильно уступало их количеству» (с.212).

Первую часть статьи Буртин и посвящает критике составительской работы при издании сборников частушек в советский период: «заданность, заданность, заданность».

Так, например, составитель сборника частушек, изданного в Ярославле в 1959 году, К.Ф.Яковлев, сообщив в предисловии, что «в сборнике более трёх с половиной сотен частушек», поясняет: «Разумеется, не все собранное могло быть включено в эту книжку». Почему? — спрашивает Буртин. «Ответ весьма примечателен. Оказывается, составителя интересовали по преимуществу те частушки, которые «отмечены духом нашего времени» (с.214). «Подобные критерии отбора, — замечает Буртин, — не были, конечно, изобретением К.Ф.Яковлева. К моменту выхода его книжки они давно и, казалось, нерушимо царили в издательской практике. Легче всего попадали в сборник частушки с общественно-производственным содержанием, «жизнеутверждающие» по своему настроению и смыслу». А вот частушки любовные, например, уже «встречали на своём пути плотный фильтр». «Что же касается так называемых «самокритических» частушек, то на этот счёт в известной нам инструктивной брошюре содержалось, — цитирует Буртин, — следующее строгое указание:

«Самокритические частушки на местные темы (возможность самокритических частушек на общие темы вообще не предусматривалась. — Ю.Б.) имеют ценность только в пределах создавшего их производственного или общественного коллектива, за его пределами они теряют своё художественное значение(?) и могут даже приобретать искажённый смысл в силу обобщающего характера образа частушки как жанра» (с.214).

При таком отборе, замечает далее Буртин, «подлинно народного частушечного материала» оставалось слишком мало, поэтому «широко пошли в ход частушки, которые З.И.Власова и А.А.Горелов (составители сборника Пушкинского дома 1966 года. — Н.Б.) именуют «самодеятельными». К этой категории относятся частушки, сложенные в коллективах художественной самодеятельности и профессиональной эстрады, а порой и просто сочинённые местными литераторами» (с.214). «Самодеятельные» частушки — с их индивидуальным авторством, с их предназначенностью для печати или для сцены», естественно, не подходили, как пишет критик, под понятие «фольклор» ни по каким признакам, кроме жанра. Для того, чтобы признать подобные частушки фольклором и открыть для них дорогу в сборники народной частушки, объясняет критик, была создана и соответствующая теория народности. «Какие частушки следует считать подлинно народными?» — вот вопрос, который, как пишет Буртин, стал центральным для советской фольклористики. Так, замечает Буртин, «к вопросу о подлинности частушки как произведения фольклора («народного творчества») незаметно примешивался вопрос о её «народности», подразумевавший и соответствующий ответ (с.215)(34): «Подлинно народной частушкой будет та, которая отвечает запросам и вкусам населения» («Частушки колхозной деревни», составитель И.В.Карнаухова. Л. 1937, с.14).

То есть: «Частушка — независимо от того, кто её сочинил — колхозник или профессионал-литератор, — будет подлинно народной, если она

реалистически правдиво отражает жизнь народа, его мысли, чувства, его трудовую энергию, героизм в борьбе с внутренними и внешними врагами социалистического общества» (А.Морева, В.Боков, А.Големба, Н.Терновская, И.Чкаников. «Как работать с частушкой». М. 1939, с.22).

В соответствии с этим критерием сформировался и методологический принцип отбора и публикации частушек. Внешнее же своё — и довольно яркое — выражение он нашёл в том, что составители сборников стали, как правило, объединять частушки тематически, снабжая их соответствующим заголовком, который призван был отразить, так сказать, мысли и чувства всего советского народа. То есть предполагалось, иронизирует Буртин, «что эти самые «мысли и чувства» известны составителю заранее...» (с.216).

Каково же было содержание этих мыслей и чувств, если судить по названиям тематических разделов сборников частушек тех лет?

«Мы живём теперь в колхозе по уставу Сталина», «Каждый знает, каждый любит Сталинского сокола», «Стала женщина в почёте бесконечно высока», «Смычку города с деревней закрепляет наш заём», «Кулаку колхозным строем мы всадили в сердце нож» и т.д.» (с.216). Но для того, чтобы так «укомплектовать» сборник, составителям и приходилось «к одной подлинной частушке прибавлять пяток «самодеятельных» (с.216).

Буртин пишет далее о том, что тем же иллюстративным целям соответствовало и частое составление сборников по известному принципу противопоставления: первая часть, советские годы, — «радость и веселье», вторая, дореволюционные, — «беспросветное горе и мрак». «Такое однолинейное противопоставление, — пишет Буртин, — в сочетании с тематическим принципом публикации частушек, по-видимому, особенно стимулировало издательскую «самодеятельность» (с.217). Так, нижеследующую частушку Буртин находит, например, в сборнике «Русская частушка» («Советский писатель». М. 1941) — в дореволюционном отделе, под рубрикой «Рекрутка и солдатчина»:

Ты, машина, ты, машинушка,
Железные тяжи!
Увезешь меня, машинушка,
Далеко ли, скажи?

Но ведь ничего специфически рекрутского в частушке нет, замечает критик. Более того — нельзя утверждать даже, что это мужская частушка. Однако ничего удивительного в этом нет: «...просматривая в конце книги «Указатель использованных источников», вы, «к изумлению своему, узнаете, что и эту и ряд других частушек, помещённых в том же разделе, составитель сборника В.М.Сидельников записал... в деревне Носово Коммунистического района Московской области в 1931 году!» (с.217).

Буртин приводит ещё ряд таких же найденных им казусов при составлении сборников последнего тридцатилетия — казусов, которые и дают ему право заключить, что строгое соблюдение таблицы о рангах являлось главным принципом при составлении сборников частушек двадцать — тридцать лет назад.

От критики составительской работы Буртин переходит затем к соответствующим публицистическим выводам.

Можно ли пользоваться материалом таких сборников частушек, изданных в тридцатые и в последующие годы, для изучения жизни народа? Но ведь «каковы методы, таковы и результаты», — замечает Буртин. Он берёт для примера частушки послевоенного времени и показывает, что вопреки реальным тяжёлым условиям существования крестьян в те годы «на страницах частушечных сборников, выходявших в это же самое время, текли молочные реки в кисельных берегах» (с.219). Например:

Широки поля колхоза,
Высоки у нас дома.
Нет на свете нас счастливей:
Хлебом полны закрома...

(Из сборника «Частушки», составитель С.Викулов. Вологда. 1952, стр.167).

Буртин отмечает, что при этом беда заключалась не только в прямой «лакировке действительности», но ещё и в том, что эти «попытки приукрасить жизнь и мнения деревенского жителя» были, в сущности, не чем иным, как нравственно недопустимым «поклёпом на него же самого». Чем, в самом деле, если не поклёпом, была попытка «выдать за народное творчество, за непосредственное выражение народной души эти десятки страниц бездарного славословия, эти бестелесные, лишённые всякого живого чувства, оупляюще-однообразные поделки редакционных стихоплётов? А сама эта попытка представить всю жизнь русского крестьянина со времён двадцатых годов как сплошное благоденствие?» (с.219).

С горькой иронией критик заключает, что уж если о чём и можно составить сколько-нибудь достоверное представление по частушечным публикациям тридцатых—пятидесятых годов, так это о всякого рода «текущих кампаниях», проводившихся в деревне» (с.220). Кроме того, по ним можно изучать ещё и «приёмы и методы иллюстративной фольклористики, её «теорию» и издательскую практику» (с.221), то есть то, что и сделал в первой части своей статьи сам критик. Закачивая главку, Буртин не забывает упомянуть имена и тех людей, которые имели мужество в различные времена выступать против фальсификаций, допускаемых при издании частушек, — Артём Весёлый (в 1936 г.), поэт Виктор Боков (в 1939 г.), В.Базанов (в 1964 г.). Однако, как пишет Буртин, все эти авторы «указывали на следствии, не касаясь п р и ч и н явления» (с.222)(35). Между тем «зло было, — пишет Буртин, — не только в «сочинении» частушек взамен их собирания», но «прежде всего — в самом этом сугубо избирательном, чисто иллюстративном подходе, по природе своей враждебном всякой подлинной науке» (с.222). И хотя, как отмечает Буртин далее, «20-й съезд положил начало оживлению и подъёму всей нашей общественной науки», «тем не менее и в наши дни иллюстративный принцип всё ещё неохотно сдвигает свои позиции» (с.222) (В качестве примера Буртин называет в связи с этим целый ряд частушечных сборников, изданных в период с 1959 по 1966 гг.).

Зато сборник «Частушки в записях советского времени» (Институт русской литературы (Пушкинский дом). Ленинград. 1966. Составители

З.И.Власова и А.А.Горелов.) оценивается Буртинным как издание поистине удивительное, являющееся едва ли не единственным отрадным исключением из общего правила. Этот сборник и рассматривается им во второй части статьи — и с точки зрения его научно-составительской значимости, и с точки зрения содержательно-эстетической ценности включённого в него материала частушек, и с точки зрения важности этого материала для изучения жизни народа.

В связи с этим Буртин обращает внимание, во-первых, на то важное отличие этого сборника, которое проистекает уже из его назначения — «дать читателю сколь возможно более полную картину частушечного творчества за годы советской власти в русской деревне (а отчасти и в городе) северных и северо-западных областей Союза» (с.222). Это и в самом деле, замечает Буртин, «самый большой частушечный сборник из всех, когда-либо выходявших в России. В нём 8230 частушек, тогда как в лучшем дореволюционном сборнике Елеонской — 6020»(с.222—223). И этот объём имеет огромное значение, ибо «сила частушек — в их количестве»: «две, три тысячи настоящих народных частушек — это уже довольно солидный народоведческий материал, позволяющий с большой степенью обоснованности судить о тех или иных явлениях и тенденциях деревенской жизни» (с.228—229).

Второе, «ещё более важное обстоятельство состоит в том, — пишет критик, — что весь материал сборника взят из первых рук»: весь материал книги «свежий, впервые публикуемый и подлинный, он целиком взят из рукописных коллекций, хранящихся в архиве Пушкинского дома. Всё это настоящие народные частушки...» (с.223).

Третья особенность сборника — подлинно научные принципы отбора частушек, положенные в основу публикации. «Отбирались, — пишет составитель сборника Ал.Горелов, — тексты, обладающие наибольшими художественными достоинствами либо интересными, характерными для песенной миниатюры художественными чертами (образность, рифмовка, лексические «фокусы»)». «Что же касается содержания, — замечает Буртин, — то хотя, как сообщает составитель, «предпочтение отдавалось текстам, отражающим народную психологию в типичных её социальных и индивидуальных проявлениях», это вовсе не вело к какому-либо схематизму и односторонности» (с.223), ибо критерий «типичности» при отборе материала не включал в себя никаких идеологических ограничений.

Отсюда — четвёртая важная особенность сборника — отказ от тематического принципа публикации в расположении материала как принципа сугубо идеологического, а потому и субъективного, «огрубляющего лирическое содержание» частушки. Вместо этого был принят принцип хронологически-областной компоновки материала, обеспечивающий наиболее естественное его представление «по месту и времени» записи частушек (с.223—224).

Наконец, пятый момент, отличающий труд А.Горелова и З.И.Власовой как подлинно научный труд, состоит, в определении Буртина, в том, что «сборник снабжён чрезвычайно подробными и удобными указателями: тематическим, жанровым, географическим, именовым, предметно-терминологическим» (с.224).

«Таким образом, — заключает Буртин, — мы имеем дело с научным изданием высокого класса»: эта книга, с одной стороны, «полемизирует с иллюстративными частушечными публикациями, «отменяет» их» и, с другой стороны, «продолжает прерванные в своё время добрые традиции русской фольклористики, как дореволюционной, так и советской» (с.224). Вот почему, как подчёркивает критик, «частушки в записях советского времени» — «принципиально важное явление не только в фольклористике, но и во всей современной общественной науке» (с.224).

После анализа и оценки составительской работы в пятой главке статьи Буртин переходит, как уже сказано, к анализу самого материала частушек, причём начинает он с высокого художественного достоинства многих текстов, вошедших в сборник Пушкинского дома, — текстов, которые в противовес «самодеятельным», безликим частушкам производят как раз «впечатление яркой талантливости народа», ибо «можно лишь изумляться тому, как часто в таком массовом и совершенно стихийном творчестве блещут искры подлинно высокого искусства» (с.225). Буртин щедро цитирует восхищающие его «интересные художественные находки» фольклорного мастерства — от нетрадиционных для частушек размеров (Ягодиночка зачёсывает/ Набок волоса,/Закрывает свои рыжие,/ бесстыжие./ зелёные./ в полосочку —/ Не высказать, товарочки,/ Какие у милёночка/ Весёлые глаза!/. Или: Всё я лето не работал./ Сенокоса не косил — жарко!/ Попросил у папы денег./ Папка рожу искосил — жалко!/) — до примеров удивительной «свежести рифмы» во многих обычных четырёхстрочных частушках, «богатства и разнообразия внутренних созвучий», «выразительности языка» и т.д. (Меня дряля изменил./ Я сказала: «Ох ты!./ У тебя одна рубаха./ Да и та из кофты»; Посмотрю в большо окошко./ Что там дряля делает./ В лапотницах по назымницу/ С фонарищем бегаёт; Вон идут, вон идут./ У забора свижут./ Давай погасимте огни./ Пусть беседа ищут).

Следует признать, что это подробное поэтическое исследование текстов, затрагивающее и принципы традиционного частушечного параллелизма, и наблюдения над типичными для фольклорного творчества аналогиями и сравнениями, и тонкости в различении «мужской» и «женской» частушек, и примеры удивительной «смелости поэтического воображения», которым могла бы «позавидовать профессиональная поэзия» (с.226), обнаруживает в Буртине подлинного мастера художественно-эстетического анализа и снимает подозрение в какой-либо сугубо публицистической, утилитарно-идеологической односторонности его подхода к частушкам, когда в следующей, заключительной главке статьи он обращается наконец к анализу их содержания с той точки зрения, какое богатство они представляют для историка, публициста и социолога, изучающего жизнь народа. Однако при этом он не забывает и о тех ограничениях и изъянах, которых не лишена частушка как «источник народоведения».

Так, во-первых, надо учитывать, предостерегает критик, что частушка маленький жанр и, «как бы ни была она лаконична, плохо приспособлена к тому, чтобы нести слишком большое количество информации»; во-вторых, частушка — «это песенка по преимуществу деревенская, крестьянская, почти не затрагивающая жизни большинства других общественных слоёв и

групп»; в-третьих, «это песенка почти исключительно молодёжная» и к тому же «в основном девичья», а потому не может претендовать и на полноту нашей информации о всей жизни деревни (частушки парней, как пишет Буртин, «и до сих пор в какой-то своей части «хулиганские» или «похабные» и по понятным причинам не попадают в частушечные публикации); в-четвёртых, частушка — «это песенка в огромной массе случаев интимно-лирическая», и главная её тема — отношения между девушкой и парнем («частушки на общественные темы хоть и не столь редки, как в дооктябрьские времена, тем не менее и в наши дни не составляют большинства»); и наконец, в-пятых, «далеко не каждая частушка позволяет понимать её буквально — эмпирическая конкретность, фактографичность частушечного высказывания обычно сочетается в ней с теми или другими формами поэтической условности» (с.228).

Помимо перечисленных, по выражению Буртина, «внутренних», «жанровых ограничителей познавательного значения частушки» есть, по замечанию критика, и «внешнее, но не менее важное обстоятельство, как неполнота, случайность и относительная малочисленность всех имеющихся записей (а тем более публикаций) по сравнению с теми мириадами частушек, которые постоянно и повсеместно рождаются и исчезают в современной русской деревне» (с.228).

И всё же, отмечает критик, хотя переоценивать народоведческое значение сборников частушек не следует, однако по сравнению с другими жанрами русского фольклора народоведческая информационная весомость частушки очень велика. И как бы в качестве примера и подтверждения этому сугубо нейтральному народоведческому тезису Буртин на нескольких последних страницах статьи сам показывает, как можно было бы с этой точки зрения воспользоваться частушечным материалом.

Этот показательный анализ и сам выбор Буртиным частушек для такого анализа в высшей степени любопытны и хорошо иллюстрируют приёмы его публицистической «эзоповщины».

Вначале критик обращается к частушкам, рисующим крестьянский быт первого советского десятилетия, и мы сразу же ощущаем ту уважительную интонацию, ту явную симпатию, с которой Буртин говорит о социально-экономическом и нравственном укладе жизни старой, сохранившей в себе ещё черты дореволюционного быта деревни:

«В том натуральном или полунатуральном хозяйстве, каким по большей части было тогда хозяйство крестьянина-единоличника, — пишет Буртин, — труд на земле был прямой и очевидной основой его существования» (с.230) — тем более, что наёмный труд в деревне после революции резко сократился. Крестьянин работал непосредственно на себя. «От количества труда, вложенного им в землю, прямо зависело благосостояние его семьи. Земля и работа на ней сохраняли поэтому в глазах крестьянина свой изначальный жизненный смысл» (с.230).

Труд, работа на себя — единственно нормальный, естественный источник крестьянского благосостояния, прочная экономическая основа деревенской жизни. Вместе с тем свободный труд потому и есть залог экономического благосостояния деревни, что он рождает глубоко интимное чувство крестьянина к земле, обеспечивает здоровую социально-нравственную

атмосферу жизни в деревне. Свободный труд рождает чувство хозяина, без него невозможно хозяйствовать сколько-нибудь успешно, без него нет крестьянина, а есть работник сельского хозяйства — вот мысль, которую исподволь, но упрямо проводит Буртин через весь свой показательный «народоведческий» анализ текстов сборника.

Любопытно, что эта нравственная сторона экономической системы настолько значима, отмечает критик, что определяла собою до определённой степени даже и формы семейных отношений: большая семья, особое положение отца, связанное с экономической ролью семейного клана, подчинение детей родителям — всё это было результатом не чьей-то злой воли и не каким-то анахронизмом, а живой необходимостью. Недаром при некоторых достаточно очевидных в своей социально-нравственной отрицательности сторонах этого уклада (строгая воля родителей в выборе брачных пар своим детям, частое предпочтение богатого жениха бедному и т.п.) сами дети не так уж, однако, и противились, как отмечает Буртин, традиционным нравственным устоям. Ибо — за какие качества уважали человека в деревне тех лет?

В старой русской деревне явно предпочитали «верность обычаям, тишину, скромность» смелости, озорству, вольнодумству, бойкости (с.233). Нравственный кодекс деревни строился на трудовой основе, отсюда «особенно неодобрительное отношение» вызывало, как правило, соединение щегольства с бесхозяйственностью» (с.233). И хотя, как отмечает Буртин, революция внесла новые веяния в жизнь деревни, подымая престиж бойкости, активности человека (в связи с чем обострился конфликт «отцов и детей», а неуважение к отцам стало постепенно превращаться в предмет гордости и бравады), однако веяния эти были тогда ещё не очень сильны именно по причине сохранения до поры до времени самой экономической основы старокрестьянского быта — хозяйственной системы, базировавшейся на единоличном земледелии (с.236).

Развивая эту тему, Буртин приводит примеры частушек первого десятилетия советской власти, подтверждающие его анализ — в частности, показывающие, что и в эти годы отношение авторов частушек — как правило, молодых крестьян — к земле продолжало существовать именно «как живое, интимное чувство»: «Наше поле шире, доле, рожь поколосистее»; «В нашем полюшке онёс от ветру улыбается» и т.д. (с.231). И как всё изменилось всего через несколько лет! Ибо хотя 16-я партийная конференция (апрель 1929 г.) констатировала в своей резолюции, как далее пишет Буртин, что «мелкое хозяйство ещё далеко не исчерпало и не скоро исчерпает имеющиеся у него возможности» («КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», изд.7-е, часть 2, Госполитиздат. М., 1954, стр.579), тем не менее «не пройдёт и года, как деревня — со всем своим хозяйственно-бытовым укладом, со своими понятиями, обычаями, нравственными правилами — вступит в полосу грандиозной революционной ломки» (с.236). Оценка этой «ломки» выражена Буртиным здесь, как видим, осторожно, без комментариев, но — в свете всего ранее высказанного — совершенно однозначно. Это — его приговор коллективизации.

Об отрицательном отношении Буртина к коллективизации — как с точки зрения экономических, так и социально-правственных последствий её для деревенской жизни — можно составить представление (учитывая цензурную ситуацию того времени) и при помощи внимательного прочтения текстов той искусно сделанной подборки частушек 30—40—50-х гг., которую он даёт в качестве иллюстрации к процитированным словам, завершающей его публицистический анализ материала частушек доколхозной поры:

Мы с товарочкой ходили
Выселенцев провожать.
Наши милые ревели —
Не хотели уезжать (с.237).

Не забыть мне своего горюшка
Ни пивом, ни вином.
Не забыть своих сыночков
Мне ни поченькой, ни днём!

...Я, девчоночка, в колхозе
на быках работаю...

...Дочь на тракторе вспахала
Всё колхозно полешко!

Скоро, скоро я уеду,
Скоро я смогаюся,
Заберу свои лохмотки,
На Алтай отправлюся.

На беседушке невесело,
Егорушка один.
Давайте, девушки, Егорушку
Под лавку закатим — и т.п.

Так статья, посвящённая как будто бы сугубо специальному предмету — анализу фольклорных сборников, — тоже становится под пером Буртина ярким публицистическим выступлением **против** антинародного режима, обречённого громадные массы крестьянства на страдание, унижение, нищету и несправие. И неувимой стилевой интонацией, и всем общим содержанием своего исследования жизни доколхозной деревни Буртин настойчиво ведёт своего читателя к мысли о явном превосходстве прежнего деревенского уклада жизни и её нравственных устоев — о том, что именно частная собственность, частное хозяйство были и могут быть единственно прочным инструментом нормального экономического и социально-нравственного уклада деревенской жизни.

Немалым было и научно-просветительское значение этой работы. Ведь Буртин дал здесь исчерпывающий детальный обзор методологической практики советской псевдонаучной фольклористики за целых полвека её существования. И это было тем более важно, что о фальсификациях, которыми была перенасыщена эта «наука», вряд ли даже и подозревало огромное большинство читающих граждан страны. Кроме того, своей

аргументированной поддержкой сборника Пушкинского дома Буртин помог читателю лучше уяснить принципы, которым должны соответствовать подлинно научные труды, и убедительно показал, какие результаты дают и могут дать такого типа издания не только специалистам, но и самому широкому читателю, и национальной культуре в целом. В этом — несомненное и очень высокое публицистическое и просветительское значение статьи Буртина.

4. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА

Для более полного представления о новомирском литературно-критическом творчестве Буртина имеет смысл рассмотреть ещё один цикл его работ — три рецензии полемически-сатирического характера, в которых раскрываются новые грани его критического таланта.

Первая из этих работ — рецензия «Обратный эффект» (1963, 12) — на повесть Николая Строчковского «История одной ночи» («Октябрь», 1963.9).

Повесть Н.Строчковского — наглядный пример той литературной продукции, которую печатал и пропагандировал кочетовский «Октябрь». Рецензия Буртина, построенная на приёме мнимо серьёзного, но внутренне глубоко ироничного отношения к автору и героям повести, выдержана в спокойном академическом тоне. Эта манера часто использовалась новомирскими критиками именно в статьях и рецензиях, посвящённых разбору серой, ремесленной или откровенно реакционной литературы.

Буртин строит свою рецензию на выявлении в повести двух её планов. Первый — зримый, декларированный: программные суждения положительных героев Строчковского — Вани Твердохлеба, девятнадцатилетнего рабочего-строителя, и других персонажей, рабочих и инженеров, — суждения, в которых отражена собственная авторская идейно-эстетическая позиция.

Так, например, в повести, отмечает Буртин, «очень много говорят о литературе» (с.236). И больше всего — о разного рода «нигилистах или модернистах». Как же о них говорят?

Вот подборка соответствующих характерных высказываний, которую даёт Буртин:

«...Горячую воду ТЭЦ подаёт круглосуточно, купайся, когда хочешь, можешь даже, если позволяет время, не выходить из ванны и читать журнал «Юность» про разных черных мальчиков — никто не постучит в дверь...».

«...У кого-то на магнитофоне надрывно стоил под гитару уже всем надоевший эстрадный поэт:

Как много, представьте себе, доброты

В молчанье, в молчанье...».

«...Жена его несколько лет назад сбежала с одним кудлатым поэтом, чьи песенки о верности распевают на стройках и в разных городах».

«А «звёздные мальчики» — шалопаи, бездельники, бесящиеся с жиру, и разные «абшдешники» — мусор в полове» (с.236) — и т.п.

Все эти «весенние» мотивы вполне недвусмысленно, как видим, выражают отношение повести к хрущёвской «оттепели»: и без прямого

называния имён читатель того времени отлично понимал, что «мусор в половодье» — это герои прозы В.Аксёнова, а «всем надоевший поэт» — это, конечно же, Б.Окуджава.

А вот второй, противоположный по характеру, цикл рассуждений героев Строчковского, знающий нас с тем, как, с точки зрения автора, должны видеть жизнь и отображать её в своих произведениях «настоящие» писатели:

«В жизни, понятно, есть недостатки, но больше хорошего... Пиши про хорошее и радуй людей своим рассказом».

«И дело не в манере, в стиле, в образной ткани. Дело в более глубоком: в идейной позиции» (с.236—237) — и т.п.

Понятно, иронизирует Буртин, что герои, высказывающие подобного рода мысли о литературе, — всё это люди работающие, жизнерадостные, романтичные, окрыленные и, конечно, влюбленные. Все они «гордятся своей стройкой, любят её руководителей, и, кроме грязи на дороге в школу, любовных неурядиц и писателей, никто и ничто не омрачает их жизнь» (с.237). Беда лишь в том, замечает критик, что «они как-то не вызывают симпатии и знакомство с ними не доставляет «особой радости» (с.237). «В чём тут дело?» — с мнимой серьёзностью спрашивает Буртин (с.237). И столь же серьёзно предлагает «приглядеться» поближе к положительным героям Строчковского.

Вот, скажем, один из них — комсорг стройки Серёжа Ласточкин. Он представлен читателю следующим образом: «Серёжа — потрясающий парень! Мы его любим, уважаем и с ним считаемся как с товарищем, хотя он руководство» (с.237). Чем же, однако, он замечателен? Тем, оказывается, что в ответ на услуги по устройству новой квартиры, которые оказал Серёже Ваня Твердохлеб, благодарный хозяин предложил приятелю поселиться вместе с ним. Но Ваня не счёл возможным для себя, простого рабочего, поселиться у «руководящего товарища», хотя и приятеля:

«Нет, Серёжа, к чему? Как-никак, ты хоть и свойский парень, но руководящий товарищ. Буду жить на брацвахте («койка, низ тумбочки, два крючка вешалки». — Ю.Б.). Мне здорово повезло!» (с.237).

Но самое любопытное, что и Серёжу, как выясняется, вполне устраивает ответ приятеля: он не настаивает на своём предложении:

«Как знаешь. Я предложил. И предложил без всякого расчёта на то, что ты откажешься»...

«Последних слов, — пишет критик, — лучше было бы не говорить: они производят эффект, обратный желаемому. Так или иначе, он предложил, и совесть его спокойна. Больше того, одним этим предложением он сразу расплатился с Ваней за помощь и как бы даже сделал его немножко обязанным себе. Тот чувствует это и позднее, когда ему придёт время уходить, растроганно скажет Серёже: «Прощай, друг! Спасибо!» (с.237—238).

Характерны, как показывает критик, и философствования Серёжи о жизни, которые в развитии действия предшествуют сцене прощания:

«...Да, Вань... Жизнь — это тебе не редиска в сметане... Нам нужно освобождаться от гнили, которая досталась от прошлого. И от плесени, что

набегает из чуждого нам мира... В дальнюю дорогу человек берёт с собой самое необходимое, самое дорогое: «скромность, большую любовь к Отчизне, к народу, к человеку».

«—А тебе не скучно будет? — спросил Серёжу Ваня.

—Чего там скучно! Во-первых, учеба. А во-вторых... Раз квартира есть, а ты отказываешься переезжать, женюсь, Вань./.../ И чтоб, глядя на жену, не приходилось думать о загробной жизни. Само собой, пойдут детки...» (с.238).

«Эти последние удары кисти», по выражению Буртина, завершают — вопреки намерению автора создать образ положительного героя — «по-своему законченный» портрет пошляка.

И это не отдельный «огрех» повести, не случайность в ней, показывает критик. Другой положительный герой повести, Игорь Неделин, сосед Вани Твердохлеба по общежитию и руководитель его бригады, тоже изображён, как отмечает Буртин, «вполне определённо». «Своего соперника», например, он ставит «на самую трудоёмкую или малооплачиваемую работу», а автор при этом старается убедить читателя в том, что Игорь — «наш человек, вполне» (с.238). Наконец, не менее показателен и сам Ваня — «любимое детище Н.Строковского», которому, как насмешливо замечает Буртин, автор «доверил всё освещение людей и событий». Вот как он высказывает «своё отношение к людям»:

«Я верил людям... Мне хотелось, чтобы люди были лучше, правдивее, порядочнее, и я видел красоту людского поведения в реальной жизни, в натуре. Сам очистившись от грязи, я считал, что и другие стремятся к этому. Я шёл в новое с чистой душой» (с.238).

Однако вот как эти разглагольствования о доверии осуществляются в реальной жизни: Буртин напоминает эпизод из повести, где Ваня рассказывает, как его бригада впервые получала зарплату без кассира:

«Конечно, по первому новому случаю присутствуют Серёжа Ласточкин и другие руководящие товарищи. Интересно, как наша бригада покажет пример сознательности... Стали ребята подходить в затылок, чинно... Отъщёт парень свою фамилию в ведомости, распишется и отсчитает положенное. А мы, актив, ещё раньше стоворились, что ежели последнему не хватит, скинемся и — порядок!» (с.239).

«Ни Ваня, ни остальной «актив», — отмечает Буртин, — не понимают, как должно быть обидно для других членов бригады их решение, как фальшива и оскорбительна сама эта сцена получения зарплаты в присутствии «руководящих товарищей», какая бестактность и по сути дела недоверие к человеку сквозят в ней! Кстати, — продолжает критик, — уже не в первый раз замечаем мы здесь, что герой Н.Строковского очень хорошо чувствует расстояние, разделяющее «рядовых» и «руководящих»: на первых он смотрит чуть свысока («мы, актив»), а на вторых — почтительно, снизу. Помните, как мотивировал он свой отказ переехать к Серёже? Он бежит за папиросами и ливерной колбасой для Игоря и моет ему посуду. Такой с пачальством не заспорит. Он уже сейчас, едва достигнув совершеннолетия, впитал в себя достаточно «житейской мудрости» и, положим, о школьных своих успехах не без самодовольства рассказывает

так: «Я... отвечал на исторические вопросы согласен с учительницей, и в журнале получались удовлетворительные оценки. Учиться можно!» (с.239).

Итак, идеи ясны, — но из этого показа «идей» ясен ведь и художественный уровень повести Строчковского.

Так разоблачительный, ироничный анализ выдуманных героев повести оказывается достаточно эффективным и в чисто эстетическом отношении, беспощадно обнажая те художественные возможности, которыми способен обладать «нерушимый «оптимизм» равнодушной и преуспевающей сытости» (с.240).

Показательна с точки зрения приёмов критического сатирического обличительства и вторая рецензия Буртина — «Своё и «общее» (1964,4), посвящённая разбору сборника литературно-критических статей Арк. Эльяшевича «Герои истинные и мнимые» (Литературно-критические статьи. «Советский писатель». М.—Л. 1963).

Буртин рисует здесь собирательный портрет типичного для шестидесятых годов литературоведа-схоласта, критика-конформиста, вскрывая методы и практику казённого литературоведения и литературной критики.

Как, по каким линиям развенчивает Буртин методологию Эльяшевича?

Приведём два характерных примера. Первый имеет отношение к Эльяшевичу-критику — и прежде всего к его полемическим выступлениям, к «критике» им «отрицательных явлений современной литературы», когда Эльяшевич, как насмешливо замечает критик, «не столько наступает, сколько «окапывается» (с.251). «Может быть, поэтому, — с деланной серьёзностью замечает далее Буртин, — когда предметом его осуждения становится не какая-нибудь частная ошибка, а что-то более значительное, критик обычно не приводит ни имён, ни названий, а предпочитает пользоваться неопределёнными местоимениями и безличными глаголами» (с.251). Например: «Попадают книги, герои которых...», или: «Для отдельных поэтов...», или: «Сколь мелкими и приземистыми кажутся... произведения тех писателей, которые...» и т.д. и т.п. (с.251).

«Такой способ критики хорош вдвойне, — с издёвкой и всё в той же интонации мнимой научной серьёзности замечает Буртин: — он демонстрирует и гражданскую непримиримость автора, и его великодушие, нежелание переходить на личности. Создаётся впечатление, что у критика в запасе солидный материал, что он намекает на факты, всем известные, а с другой стороны — попробуй-ка возрази! Разве критик виноват, что тебе незнакомы книги, которые «падают» ему, что ты не читал «отдельных поэтов» и не знаешь ни одного такого советского писателя, который бы весь(!) свой неоспоримый талант поставил на службу «поверхностному бытописательству»? (с.251, 252).

Второй объект осмеяния в рецензии Буртина — теоретико-литературные труды Эльяшевича, вошедшие в тот же сборник под громким названием «Герои истинные и мнимые». Здесь Буртин не без сарказма отмечает любопытную противоречивость творческой личности критика и литературоведа, состоящую в том, что если «Арк. Эльяшевича-критика сугубая осмотрительность нередко стесняет», то «Арк. Эльяшевич-теоретик обнаруживает подчас даже излишнюю... дерзость» (с.252). Буртин

приводит в качестве примера статью Эльяшевича «Мастерство сюжетосложения», которая, как пишет критик, «опрокидывает» все прежние наши представления о сюжете.

В чём же состоит новаторство Эльяшевича? А в том, оказывается, что сюжет следует считать «целостной, всеобъемлющей художественной формой», ибо, как пишет Эльяшевич, «в него входят и портреты, и пейзажи, и авторские описания места и времени действия, диалоги и монологи и т.д.». «В дальнейшем, — насмешливо замечает Буртин, — читатель узнаёт, что понятие «сюжет» целиком поглощается не только художественная форма, но и содержание произведения литературы. Поистине, как и предупреждал нас автор, — заключает Буртин, — «за пределами сюжета... в произведении не остаётся ничего» (с.252).

Так, под видом вдумчивого научно-серьёзного обсуждения Буртин создаёт беспощадный сатирический портрет современного казённого критика-конъюнктурщика и литературоведа-схоласта. Выбор объекта разоблачения, как и в случае с повестью Строчковского, отношь не случаен: подобные «труды», как замечает Буртин в заключение, — «явление довольно распространённое» в современной литературной жизни (с.253). Отсюда и задача Буртина — осмеять автора, который претендует на место в литературе, не имея на то никаких профессионально-этических прав, именно как типовое, характерное для казённой «культуры» явление.

В интервью автору этой работы Буртин так пояснил свои позиции по отношению к литераторам типа Строчковского и Эльяшевича:

«В 50—60-х гг. существовала, безусловно, вполне искренняя сталинская тенденция, которую представлял В.Кочетов и которая представляла собой вполне реальную общественную силу. Для существования её было вполне достаточно оснований, и опиралась она, в общем, на социальный интерес созданной Сталиным верхушки... Позиция этих литераторов опиралась на социальную корысть и никоим образом не учитывала интересы народа.

Это была преступная политика.

Вокруг журнала «Октябрь» в те годы сгруппировались всякие люди. Некоторые из них были конъюнктурщиками, так сказать, с перспективой: зная, что власти шарахаются в ту и другую сторону и вернутся к «правильной» сталинской линии, в которой есть, действительно, своя законченность, своя логика.

Я помню заседание секретариата СП в связи с публикацией уже в 1963 году «Тёркина на том свете», где А.Чаковский — «мудрый человек» — своим коллегам говорил приблизительно следующее: «Не торопитесь, не спешите поднимать это произведение на щит... Конечно, не надо замалчивать и подвергать его какой-то зашательской критике, но и хвалить не торопитесь, подождите...». Вот он — чистейшей воды конъюнктурщик...».*

Последовательная литературно-публицистическая борьба Буртина за правду, за демократизацию страны, материализовавшаяся в тех жанрах разоблачительно-сатирических его выступлений, которые мы сейчас рассматриваем, принадлежала, как мы уже не раз говорили, одному из главных направлений работы новомирской критики в целом, которая стремилась подвергать безжалостному развенчанию всякую литературную поделку, любые образчики ремесленничества, серости, конъюнктуры в литературном деле, кто бы ни был их автор. «Новый мир» в те годы был,

пожалуй, единственным органом печати, литературная критика которого выполняла эту важную, своего рода очистительную работу в литературе.

Но тем самым журнал одновременно и усугублял опасность готовящейся над ним расправы: «армия оскорблённых с каждым годом росла и злобнела», как отметил позже в своей статье «Вспоминая Твардовского» Ю.Трифонов(36). И, конечно же, роковыми оказались выступления не столько против таких не слишком известных ремесленников, как, скажем, Строковский или Эльяшевич, сколько против литературных генералов, маститых классиков соцреализма, дутых литературных фигур, с усердием обслуживавших бюрократическую партийную иерархию, от которой они получали соответствующие директивы и от которой и зависело их собственное материальное благополучие, их социальные привилегии.

К числу таких генералов принадлежал и Михаил Алексеев — один из самых влиятельных советских литературных чиновников-конъюнктурщиков. С 1965 г. он входил в секретариат правления СП РСФСР, а в 1967-м — в правление СП СССР, с 1968 года до недавнего времени возглавлял журнал «Москва». Произведения М.Алексеева не раз поднимались на смех новомирскими критиками (см., в частности, рецензию Н.Ильиной «О наших друзьях-непоседах», «Н.м». 1966 г.), что, понятно, не могло оставить писателя в бездействии. И в 1969 г. М.Алексеев, в числе других «обиженных» на новомирскую критику, подписывает приговор журналу Твардовского от лица, так сказать, авторитетной советской общественности(37). Все 70-е и начало 80-х гг. М.Алексеев, освободившись от докучливых новомирских критиков, свободно публиковал свои сочинения миллионными тиражами и даже умудрился соорудить себе при жизни памятник — открыть в родных местах дом-музей М.Алексеева. Но в 1979 г., то есть через десять лет после разгрома редколлегии «Нового мира», он решил вдруг представиться читателям «Литературной газеты» соратником А.Твардовского: последний, мол, ценил его произведения, не ведал, что творят критики его журнала. Эта опубликованная А.Чаковским ложь так и не была опровергнута «Литературной газетой», несмотря на полугодовую борьбу Ю.Буртина с «ЛГ» и Союзом писателей(38).

Впервые же против М.Алексеева Буртин выступил ещё в журнале Твардовского, откликнувшись в первом номере книжки за 1965 год рецензией «О пользе серьёзности» (1965, 1) на повесть «Хлеб — имя существительное», рассказывавшую о жизни большого приволжского села Выселки.

Что же настораживает в этом повествовании критика?

Прежде всего, как замечает сам Буртин, различные курьёзы, которые он иронично называет «чудинками».

Вот, например, одна из них — та, которую, как пишет критик, читатель непременно отметит в первой же новелле о сельском почтальоне Зуле.

«Зуля наперёд знал, какую — добрую, худую ли — новость несёт он в своей старенькой брезентовой сумке, знал, поскольку все(!) письма предварительно прочитывал самолично...».

«Зуля полагал себя как бы связным между человеческими сердцами, и какой из тебя связной, ежели ты плохо осведомлён, что именно несешь в тот

или иной дом? Ведь худая весть может застать человека врасплох и, чего доброго, убить его. Зуля же, зная о ней заранее, мог смягчить её удары».

Так, Зуля вмешался в интимную переписку молодой вдовы Журавушки с Самонькой. «Добавлял по адресу последнего хулы и таким образом добился, чего хотел: поссорил их вприызг» (с.257).

Перлюстрация выступает у М.Алексеева, как видим, «как проявление лучших человеческих качеств» — это ли не «чудинка»? Отношения же «инициативного почтальона с законом, — пишет Буртин, — урегулированы ещё проще»:

«Правда, Зуле могли бы сказать, — читаем мы в повести М.Алексеева, — что его действия противозаконны, но он не понял бы сказавшего эти слова, потому как всегда считал противозаконным лишь то, что приносит людям вред. Его же образ действий приносит только пользу, и потому он самый что ни на есть законный».

Повествуя обо всём этом, Буртин сохраняет в общем весьма спокойный тон, делая вид, что всего лишь несколько удивлён подобного рода логикой размышлений героя — как, впрочем, и в том случае, когда пишет о вполне нормальном отношении к «чудинке» Зули и со стороны местных жителей — отношении, передаваемом «безапелляционной авторской интонацией», сопровождающей рассказ.

«В Выселках, — пишет автор, — все знали об этом грешке Зули — вскрывать чужую корреспонденцию, но не гневались на него: решили, что беды тут большой нету, а мастер на то и мастер, чтобы в каждое дело вносить всяческие усовершенствования».

«Те же особенности письма», как мимо-деловито замечает Буртин далее, находим мы и в другой повелле, посвящённой рассказу о старой учительнице-пенсиирке. Анна Петровна может, например, объявиться в клубе «в разгар танцев», приостановить гулянье и «чуть ли не до самого утра читать парням и девчатам новую книгу» или заставить их писать диктант. И опять — остаётся только подивиться «той благосклонности, с которой говорит обо всём этом» автор» (с.258)...

Вот из подобного рода сентиментальных восхвалений «чудинок» и строится, как показывает критик, мир деревенской жизни в книге М.Алексеева. Причём беда, пишет Буртин, состоит «не столько в самих «чудинках» (хотя, как видел читатель, иные из них весьма странного свойства) и не в том, что люди с «чудинкой» решительно преобладают в повести М.Алексеева над обыкновенными, так сказать, людьми: главная беда в том, что «чудишками»-то нередко и исчерпывается всё наше знание об этих людях и об их жизни» (с.259). Повесть М.Алексеева становится, таким образом, в рецензии Буртина объектом развенчания как образчик откровенно конъюнктурной, выдуманной, фальшивой литературы о деревне — литературы бесстыдного вранья. И тут Буртин переходит уже к открытому публицистическому обличению, показывая, в чём состоит особая опасность такого рода литературы, и в частности повести Алексеева. Дело в том, что Алексеев как будто бы и не обходит в своей повести постановки острых проблем жизни современной ему деревни. Так, например, в новелле «Председателевка» М.Алексеев затрагивает действительно весьма

серьезную социальную тему — «отлив людей из деревни в город» (с.260). «Факт этот, — пишет Буртин, — сам по себе общеизвестный», а «по отношению к первым послевоенным годам даже как будто и объяснённый вполне: конесный трудодень, отсутствие материальной заинтересованности» (с.260). О неблагоприятии же, царившем в этой области и сегодня, можно составить себе представление, как пишет Буртин, хотя бы по данным из статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР в 1962 году», которые критик приводит в списке:

«...Среднегодовая численность колхозников, занятых в общественном хозяйстве колхозов, с 1959 по 1962 год сократилась на 4,5 млн. человек, а численность работников сельского хозяйства в целом — на 2,3 млн.» (с.260).

Но как объясняет эту реальную и серьёзную проблему жизни советской деревни М.Алексеев? У него утка молодёжи из колхоза «при нехватке в нём рабочих рук» объясняется, во-первых, тем, что «городская культура» — «духовная еда», а «культура для молодёжи — дело первостепенное», и, во-вторых, — инерцией, привычками сталинских времен: «Люшня гонит вот своего сына в город, — рассуждает отец Леонид, — а сам живёт лучше любого горожанина: у него и хлеб, и молоко, и мясо. И одевается не хуже городских. А почему гонит? Инерция. Вот они и есть последствия (культура личности. — Ю.Б.)» (с.260).

Издываясь над живостью подобных аргументов, Буртин ловит вдобавок автора и на забавной «непоследовательности»: страшным кажется такой недостаток Люшни, пишет Буртин, если вспомнить, что колхоз был «отсталый по всем показателям». Да и «насколько типичен тот случай, когда старикам-родителям приходится «г и а т ь» своего сына в город(39)? И нет ли в самой сегодняшней жизни деревни чего-то такого, что препятствовало бы изживанию упомянутой Иншукентием Даниловичем «инерции» (с.261)?

На все эти вопросы читатель, увы, как отмечает Буртин, не найдёт у М.Алексеева никакого ответа, потому что у М.Алексеева нет никакого «стремления к серьёзному самостоятельному осмыслению жизненных проблем современного села». Отсюда — и «невсамделишность создаваемых им характеров, и преувеличенное внимание ко всякого рода странностям и «чуждкам», и обилие общих мест» (с.262).

Странным кажется, как замечает под конец Буртин, что «всего этого не заметили многие наши критики, давшие безоговорочно положительную оценку как повести «Хлеб — имя существительное» в целом, так, в частности, и тем её сторонам», на которые Буртин и обратил внимание в своей рецензии (с.262):

«...На два-три десятка положительных отзывов (А.Софронова, в том числе, в журнале «Москва»), — рассказывал Буртин в беседе с автором настоящей работы, — моя рецензия была единственной критической оценкой повести М.Алексеева. Она имела некоторый резонанс. Через неделю-две появилась ответная статья В.Бушпа в «Литературной России». Вопреки всем нормам нашей печати, видимо, с личного соизволения первого секретаря московского горкома Егорычева, эту статью тотчас перепечатала «Вечерняя Москва». А потом был съезд писателей РСФСР, где Егорычев критиковал мою рецензию. Рядов также в журнале «Журналист» писал о том, что

критика изничтожила повесть Михаила Алексеева. И было ощущение, что его замордовали, беднягу.....».*

Современная деревня, её люди и их жизнь — «предметы действительно существенные» и «писать о них надо всерьёз» (с.262) — такими словами заканчивалась эта статья Буртина, органично связанная с центральной в новомиrowsком творчестве Буртина деревенской проблематикой и вместе с тем явившая собой один из самых ярких образцов тех, тоже характерных для новомиrowsкой критики выступлений, что были направлены против продукции ведущих советских казённых литераторов, которые, по выражению И.Виноградова, представляли собой отряд «очень влиятельной ловчей братии, сращённой с властью»(40). Повторим, что **общественно-культурное** значение такого рода выступлений против литературных чиновников было огромным не только в просветительском смысле, но ещё и потому, что это сильно сдерживало аппетиты этой братии: никто из этих «ловцов» не был застрахован от того, чтобы увидеть на страницах «Нового мира» свой подлинный портрет. Журнал и в самом деле «раздел», по выражению Ю.Трифопова, очень много важных персон, «обнаружив голых королей»(41). Показательно в этом смысле и то, что после разгрома журнала в литературном мире, по свидетельству и по выражению И.Виноградова, началась «разнузданная вакханалия» этой самой «ловчей братии», которая стала публиковать свои произведения миллионными тиражами, присуждать друг другу бесчисленные награды и премии, совращать молодых литераторов(42).

Заключение

Итак, новомиrowsкое литературно-критическое творчество Ю.Буртина отличается, как мы видели, удивительной цельностью — верностью отстаиваемой им идее демократии и постоянством интереса критика к деревенской проблематике, которая является центральной темой его литературно-критических, публицистических и научных исследований. Эта своего рода специализация в критике простирается, конечно же, из искреннего сочувствия Буртина положению тех людей, с которыми его связывал и его собственный личный опыт жизни в деревне. Его творчество в этом смысле, пожалуй, в большей степени, чем творчество других новомиrowsких литературных критиков, развивает и продолжает **линию народнических традиций** русской революционно-демократической критики прошлого столетия.

Критическому темпераменту Буртина свойственны спокойствие, вдумчивое отношение к каждому сказанному слову, склонность к тщательному, глубокому и всестороннему исследованию любой проблемы, о которой критик пишет. И хотя Буртин показал себя блестящим полемистом, тем не менее и в этой области он остаётся прежде всего **исследователем**. Полемические выступления Буртина эпохи «перестройки» не только тематически связаны с историей журнала Твардовского, но и по своему стилю, по своей направленности продолжают традиции новомиrowsкой

критики. Мы имеем в виду, в частности, такие его работы, как «И нам уроки мужества даны...», «Новый мир» и его противники», «Процедурный вопрос» и «Возможность возразить»(43).

Другой важный аспект творческой биографии Буртина — эволюция его мировоззренческих взглядов, прослеживаемая в период его работы в «Новом мире» Твардовского и выразившаяся в таких, рассмотренных нами работах, как рецензия 1965 г. на книгу очерков и рассказов П.Резнича «Это было осенью...» и статья «О частушках» 1968г. В послеполовнический период творчества особенно характерной с точки зрения дальнейшей эволюции мировоззренческих позиций критика является прежде всего большая его статья «Ахиллесова пята исторической теории Маркса», над которой, как уже упоминалось, он начал работать ещё в 1974 г. и в которой доказывает несостоятельность экономического учения Маркса и Энгельса о социализме. В своей публицистике времен «перестройки» Буртин выступал с резкой критикой КПСС, предлагая реорганизовать её в Партию демократического социализма, которая бы «не связывала себя исключительной приверженностью какой-либо социально-исторической доктрине и философской системе» и которая в условиях многопартийности должна будет «отказаться от претензий на роль «авангарда» общества и от руководства деятельностью государственных и общественных предприятий и учреждений»(44).

Таким образом, мировоззренческая эволюция Буртина привела его не к отказу от материалистического способа объяснения мира, а к отказу от марксизма и революционно-социалистических теорий прошлого. Но на любом этапе этой эволюции для гражданской позиции критика были характерны принципиальность, непреклонность, смелость и упорство в отстаивании истины (вспомним хотя бы инцидент выдвижения, «снизу», Буртиным А.Твардовского в депутаты Верховного Совета СССР ещё в ранние 50-е гг. или занятую критиком позицию «стоического неучастия» в годы так называемого «застоя»), способность к отказу от представлений и убеждений, самостоятельно признанных ошибочными. Буртин являет собою пример поистине одного из самых честных, порядочных наших критиков, для которых сфера профессиональной деятельности является подлинным призванием, становится личной судьбой. Обязанности старшего редактора отдела публицистики для него не были формальной должностью, и мы помним, что в оживление работы этого отдела, который постепенно стал «подтягиваться» к уровню критики и прозы журнала, немалую лепту внёс и Буртин.

Наконец, следует сказать несколько слов и о той близости, которая связывала и связывает Буртина с Твардовским, о чём свидетельствует целый ряд его литературоведческих исследований и литературно-критических выступлений разных лет.

Помимо целого ряда работ 60-х — начала 80-х гг., посвящённых исследованию поэтического творчества Твардовского(45), Буртин, как только становится возможным говорить открыто в советской прессе о движении, которое возглавил «Новый мир» в 50-60-е годы, одним из первых публикует ряд статей о творческой судьбе Твардовского, о его редакторском подвиге — плод долголетних и глубоких размышлений критика(46). Среди

них следует особенно отметить рецензию на вышедшую с опозданием на восемнадцать лет поэму Твардовского «По праву памяти», в каждой строфе которой, как пишет критик, мы слышим «голос редактора «Нового мира»(47).

Твардовский для Буртина — фигура эпохальная, личность постоянно эволюционирующая, и каждая поэма его представляет собой для критика не только «этап духовного пути» поэта, этап «противоречия опыта с опытом», но и движение «по ступенькам истории», отражение «всей духовной истории реального социализма — от тридцатых годов до конца шестидесятых, через все её основные рубежи, через все сдвиги и перемены в мыслях, чувствах и настроениях людей»(48).

Путь Твардовского, по выражению Буртина, — это путь «через самоотрицание, через глубокие превращения и повороты». Но главное в этом пути для Буртина — «непосредственно исторический характер, прямая связь с этапами духовной жизни народа», — то, что, «сохраняя верность своим коренным убеждениям художника», Твардовский «вместе с тем в чём-то существенно уходил от себя прежнего, заново творчески открывая меняющуюся действительность» — и не постфактум, а тогда, когда «каждый крупный сдвиг в общественных устроениях «только-только начинал обозначаться»(49).

Так, Буртин считает, что поэма «Страна Муравия», «исполненная неподдельного оптимизма» и «даже слабостями своими исторически характерная», явилась «памятником духовной атмосферы 30-х годов»: поэма «Василий Тёркин», «не имевшая себе равных по тому отклику и значению, какие приобрела она «в тяжкий час земли родной», является, в свою очередь, «памятником особого единочувствия военных лет, открывшего возможность воплощения главных свойств народа-солдата в едином национальном типе»(50); «памятником послевоенных лет — «со всей бедой — войной вчерашней/ И тяжкой нынешней бедой», явилась «слезами палитая поэма» «Дом у дороги»(51); сатирическо-публицистическая поэма «Тёркин на том свете» отразила «социальный кризис конца 40-х — начала 50-х годов, когда постепенно вызревшие противоречия бюрократического режима достигли своей критической точки»(52); «За далью — даль» — период с середины 50-х, время разрешения означенного кризиса и вызванного этим нового общественного подъёма»(53); наконец, 60-е годы — поэма о Сталине «По праву памяти»(54), рождённая как «мужественная решимость противостоять — «по праву памяти» — вполне конкретным попыткам наложить запрет на правду, умышленному, сознательно организуемому «забвению» преступлений сталинского времени», как «акт сопротивления, как продолжение той борьбы, которую её автор и руководимый им журнал вели против наступающей реставраторской тенденции»(55).

В этой поэме — итог размышлений Твардовского над пройденным народом и им самим путем; она «богата реалиями момента»: «здесь поэтический концентрат тех споров, которые журнал вёл на своих страницах, а его редактор в стенах... кабинетов, отстаивая право и обязанность литературы говорить правду»; здесь и «общий диагноз» так называемым «молчалиникам» («мол. «о минувшем вслух поведав, мы лишь

порадуем врага» и т.п. — Ю.Б.), «поразительная точность которого, — пишет Буртин, — подтвердится всем нашим последующим развитием, вернее — застоем (Кто прячет прошлое ревниво/Тот вряд ли с будущим в ладу...»)(56).

Итак, Твардовский для Буртина и в самом деле фигура оригинальная и эпохальная. В соединении двух начал — крестьянина и интеллигента видит Буртин и свособразие поэзии Твардовского:

«...В ней, по существу, — пишет критик, — впервые столь широко слились две культуры, две традиции, ранее существовавшие в России в большой мере раздельно: та, что представлена русской классикой 19 столетия, и та, что веками складывалась в народе как строй жизни, сознания, языка многомиллионных, в первую очередь крестьянских, масс, как их трудовой, нравственный и художественный опыт»(57).

И последнее. По словам Буртина, творчество Твардовского, если брать его в целом, отразило коренное изменение мира, «огромный, поистине мирового значения поворот, намстившийся и на наших глазах»(58).

А имшию:

«Человек, вышедший из самой крестьянской толпы, от той классовой России, Россия, которая была материалом, источником и движущей силой революции, Твардовский, путём глубоких преращений, через все глобальные этапы нашей истории, пришёл к некоему новому состоянию души»*, «к новому миропониманию, где во главу угла поставлены простые и несомненные ценности бытия, одинаково ценные для всех живущих на земле», «к осознанию единства человеческого мира, общей судьбы всего населения «малешкой нашей планеты». И «историческим началом этого поворота» Твардовского к общечеловеческому в его творчестве стала его поэма «Василий Тёркин», написанная в эпоху войны, когда эти общечеловеческие ценности впервые с необыкновенной силой проявились»(59).

Мы по многим пунктам разделяем изложенные выше взгляды Буртина на общественно-литературную деятельность Твардовского, на значимость его редакторской и поэтической деятельности. Вместе с тем, как ни была эта фигура значительна, вряд ли верно преувеличивать роль поэтического вклада Твардовского в русскую культуру, как это часто делает Буртин — в силу, как нам кажется, своей особой личной привязанности и долголетней преданности Твардовскому. Мы должны всё-таки констатировать, что Твардовский не всегда отражал в своей лире «прямую связь с этапами духовной жизни народа» и не всегда «творчески открывал меняющуюся действительность» тогда, когда «каждый крупный сдвиг в общественных устроениях «только-только начинал обозначаться», как о том пишет Буртин. И наиболее характерным примером тому как раз и является его поэма «Страна Муравия», явившаяся хотя и своеобразным «памятником», но никак не отразившая главную трагедию эпохи 30-х гг. Принадлежность партии, высокое государственное положение Твардовского, наконец, его легальная редакторская деятельность как раз и сдерживали его поэтическую свободу самовыражения, сковывали его мысль и слово. Не хватка, так сказать, изначального природного поэтического таланта Твардовского тут причиной, а то, как справедливо замечает А.Солженицын в своём седьмом дополнении к книге «Бодался телёнок с дубом», что при

всём том, что «Трифоныч... был, великан, из тех немногих, кто перенёс русское национальное сознание через коммунистическую пустыню», его всё-таки «перепутало и смололо жестокое проклятое советское сорокалетие, все силы его ушли туда»(60). Отсюда и «невыход» поэзии Твардовского на мировой уровень, иная поэтическая судьба его в отличие от поэтических судеб таких его современников, как Пастернак, Ахматова, Цветаева и Мандельштам.

Однако вопрос о том, насколько адекватна оценка Буртина роли поэтического наследия Твардовского, — вопрос особый, предмет и тема отдельного исследования. Мы хотели в заключение нашей характеристики творчества критика лишь упомянуть об этом направлении его литературоведческой исследовательской работы, указав на то, что лирическая привязанность автора к своему герою связана, несомненно, и с богатством народной мелодики, фольклорных традиций в его поэзии, и с глубоким сочувствием критика жизненному и творческому пути, совершенному поэтом вместе с народом к освобождению от сталинизма.

Г Л А В А IV. ТВОРЧЕСТВО И.И. ВИНОГРАДОВА

Краткая биографическая справка

Игорь Иванович Виноградов родился в Ленинграде 10 ноября 1930 года. В 1953 г. окончил Филологический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, был принят в аспирантуру, а по окончании аспирантуры, в 1956 г., по специальности «Теория литературы» был оставлен на кафедре русской литературы преподавателем.

Содержание знаменитого доклада Хрущёва на 20-м съезде КПСС (1956 г.), положившего начало разоблачению сталинских преступлений перед человеком и обществом, не было для него откровением. Прозрение наступило на два года раньше, но занять соответствующую общественно-политическую позицию и воплотить её в жизнь стало возможным для Виноградова лишь после 20-го съезда, во втором журнале Твардовского. Знакомство с Твардовским осуществилось через посредничество В.Лакшина, приятеля по факультету. В девятом номере журнала за 1958 г. — в это время ему 28 лет — Виноградов публикует свою первую новоязычную литературно-критическую статью и затем становится постоянным автором отдела критики «Нового мира».

Участие в работе журнала приобретает для критика значение активной литературно-политической деятельности, сопряжённой с надеждами на то, что широкое общественное движение, идеологию которого позже стали называть «социализмом с человеческим лицом» и во главе которого оказался «Новый мир», может привести к качественному изменению ситуации в стране». Это и произошло, но сказалось со всей очевидностью лишь через двадцать лет.

К 1965 году, когда И.Виноградов становится членом редколлегии Твардовского, заведующим отделом прозы «Нового мира», им написано для журнала уже одиннадцать работ. Ему 35 лет, как почти всем сотрудникам-критикам «Нового мира». Однако к этому времени Виноградов начинает ясно понимать, что журнал долго не просуществует: после 64-го года — снятия Хрущёва — начнется очевидный поворот режима от политики 20-го съезда и всё более резкое подавление диссидентского движения. 1964—1965 гг. становятся рубежом двух эпох и в творчестве критика — моментом, обозначившим изменение его философских и политических взглядов.

В 1967 году в связи с реформированием редколлегии Виноградов переходит заведовать отделом критики, где занимается формированием общих тенденций критического отдела, ведёт статьи, печатается сам (с 1967 года по 1969 критик опубликовал ещё четыре работы в рубриках «Литературная критика» и «Книжное обозрение» «Нового мира»).

После разгона редколлегии Твардовского Виноградову в течение года не давали возможности работать по специальности (он был уже тогда кандидатом филологических наук, имел звание старшего научного сотрудника Академии наук СССР в области философии), публикации в прессе тут же прекратились, и лишь позднее он вернулся в Институт искусствознания, а затем перешёл на работу в Институт психологии.

С момента поворота СССР к политике «гласности» и «перестройки» Виноградов вновь становится активным участником литературно-общественной жизни и за эти годы опубликовал около тридцати статей, главным образом по вопросам истории русской общественной мысли и о современной советской литературе(1). Ряд этих работ был напечатан в «Московских новостях», где с 1988-го по 1989 год вёл одну из ежемесячных литературных рубрик («Литературная жизнь. Что произошло?»). В эпоху «перестройки» И.Виноградов также преподаёт в Литературном институте (кафедра критики), становится членом президентского совета творческой ассоциации «Мир культуры» при Фонде культуры СССР, вице-президентом русского советского ПЕН-центра, одним из секретарей Союза писателей Москвы. В 1992 г. он был избран членом Европейской Академии. В этом же году он возглавил литературный, публицистический и религиозный журнал «Континент», который был основан в 1974 г. в Париже В.Максимовым.

Новомирское творчество Игоря Виноградова можно разделить на два этапа. Первый — приблизительно до 1964—1965 гг. — отмечен близостью к идеологии революционно-демократического типа (на уровне платформы «социализма с человеческим лицом»), опорой на традиции критики Белинского, Чернышевского, Добролюбова, а также на марксизм. С этой точки зрения наиболее характерными работами этого периода являются статьи Виноградова «О современном героизме» (1961, 9) и «По поводу одной «печной» темы» (1962, 8), в которых на материале современной литературы критик пытается сформулировать свою концепцию нравственности, своё представление о личном нравственном идеале человека и о критериях нравственности в общественных отношениях. Две другие работы Виноградова, важные для понимания общественно-мировоззренческой позиции и характера его критики перного периода, — статья «Деревенские» очерки Валентина Овечкина» (1964, 6) и статья «По страницам «Деревенского дневника» Ефима Дороша» (1965, 7), в которых, используя метод «реальной критики», Виноградов исследует социально-экономические проблемы деревни. Результаты этих литературно-публицистических штудий приводят Виноградова к важным для него (и для тогдашних читателей) открытиям относительно устройства советского общества в целом, что сказывается и на радикализации взглядов критика.

Второй период новомирского творчества Виноградова начинается где-то на рубеже 1964—1965 гг. и обозначен постепенным отходом от прежнего мировоззрения, от прежней системы нравственных ценностей. Это путь духовных и философских скитаний в поисках иных возможностей объяснения мироустройства и человеческого предназначения, и его можно проследить по таким статьям и рецензиям Виноградова, как «Философский роман Лермонтова» (1964, 10), «Экзистенциализм перед судом истории» (1968, 8), «Завещание Мастера» (1968 г.)(2). На этом пути поисков иной, чем материализм и марксизм, философии жизни Виноградову приходится тем не менее отказываться не столько от всех своих прежних представлений о нравственно-этической и общественно-гражданской ценности человеческой личности, сколько от шкалы измерения этих ценностей, от их духовного обоснования.

Рассмотрим вначале первый период новомирского творчества И.Виноградова.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

1.ХАРАКТЕР КРИТИКИ И.ВИНОГРАДОВА: КРИТЕРИИ ПОДХОДА К ЛИТЕРАТУРЕ, ЖАНРЫ, ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, МЕТОД И ОБЩЕСТВЕННО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Для выявления литературно-критических взглядов Виноградова первого периода его новомирского творчества мы опираемся на статьи: «Точка опоры» (1959, 1), «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева» (1958, 9), «О современном герое» (1961, 9) и «К вопросу о «беллетристике» (1962, 7). **Нравственно-гражданская** проблематика находится по преимуществу в центре таких работ критика, как «Почему стало пусто в «Каса маре?»» (1960, 11), «По поводу одной «вечной» темы (1962, 8), «Об «уставных словах» и человечности» (1960, 12), «Право на доверие» (1963, 6) и «О современном герое» (1961, 9). Наконец, **морально-этическая и социально-экономическая** проблематика, связанная с содержанием новой военной и «деревенской» прозы, рассматривается критиком по преимуществу на материале романа К.Симонова «Живые и мёртвые» («Во имя живых», 1960, 6), «деревенских» очерков В.Овечкина («Деревенские очерки Валентина Овечкина», 1964, 6) и Е.Дороша («По страницам «Деревенского дневника» Е.Дороша», 1965, 7).

Литературные взгляды Виноградова, его критерии подхода к литературным текстам можно проследить по ряду высказываний, содержащихся в разных статьях и рецензиях первого периода. В своей первой же новомирской статье 1958 года — «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева», — посвящённой анализу повести В.Тендрякова «Чудотворная», Виноградов излагает ряд своих наблюдений за теми изменениями, которые произошли в советской литературе за последние годы, и, в частности, отмечает наблюдаемый отрядный процесс перехода от искусства «отображения» к искусству «познания», от литературы иллюстративной — к литературе проблемной, воспроизводящей действительную реальность жизни (с.248). Уже в этой статье Виноградов выказывает себя взыскательным литературным критиком, придерживающимся достаточно строгих критериев в оценке искусства. Так, он категорически отвергает возможность употребления термина «искусство» применительно к иллюстративной литературе, ибо, как пишет критик, «есть только одно искусство — то, которое имеет право называться искусством, и оно всегда проблемно...» (с.247). Иллюстративное же произведение не художественно, ибо, освободив его «от посторонней образной примеси», мы останемся на руках с голой моралью, тогда как исчерпать «хотя бы основной идейный смысл» произведения подлинно художественного, совершив над ним ту же операцию, невозможно (с.248).

Вывод: «художественная неполноценность произведения есть и его идейная неполноценность» (с.247). Так определяет Виноградов свой главный исходный ориентир, главный критерий своего подхода к искусству.

Однако высокое искусство — редкий плод, и, кроме того, литературно-политическая, журнальная ангажированность Виноградова, реальные, остро стоявшие (особенно в первые годы деятельности журнала) перед новомирской критикой просветительские задачи требовали несколько иного, не столь ригористически жёсткого подхода к оценке произведений современной литературы. И в следующей своей статье, «Точка опоры» (1959, 1), посвящённой разбору романа Мих.Жестева «Золотое кольцо», критик несколько смягчает свои требования к художнику — хотя и в общих пределах понимания им высших задач и назначения искусства. Он выдвигает толстовский принцип:

Что есть подлинное искусство, чему оно служит? «...Главное в том, р а д и ч е г о создаётся художественное произведение(3). «...Что можешь ты сказать мне ещё нового? с какой новой стороны теперь ты осветишь мне жизнь?» (с.213) — цитирует он известную формулу Л.Толстого.

Развивая это положение, Виноградов формулирует тот принцип, которым он реально и руководствуется в своих статьях при подходе к любому художественному произведению:

«Всякий роман, рассказ, очерк, — пишет он, — в котором мы ощущаем живое стремление автора сказать нам что-то новое, который пронизан страстью поиска, заслуживает, конечно, самого пристального внимания. И пусть это произведение... даже страдает недостатком художественности, — оно делает своё дело, если будит нашу мысль» (с.213).

Итак, познавательная ценность произведения искусства становится первым требованием к современной литературе. И это не случайно:

«Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа. — цитирует Виноградов в той же статье слова Чернышевского, — и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведование других направлений умственной деятельности...» (с.213).

Виноградов актуализирует смысл высказывания Чернышевского, объясняя читателю эзоповым языком причины, по которым и он сам ставит первым требованием к искусству его познавательную ценность и правдивость.

Итак, проводить границу следует, как видим, между литературой, которая, может быть, ещё и не есть подлинное искусство, но которая хотя бы стремится к нему, освещая «важные вопросы нашей общественной жизни» с какой-то новой стороны, и литературой, которая «усыпляет», по выражению критика, общественное сознание, — будь то иллюстративная литература или, как увидим, «беллетристика». И если приглядеться к тому эскизному портрету литературного процесса конца 50-х — начала 60-х годов, который вычерчивается из суммы высказываний Виноградова в статье «О современном герое» (1961, 8), то готовность критика с благожелательным вниманием отнестись к литературе, которая искренне

стремится к правде, но не достигает при этом больших высот художественности, получает объективное оправдание.

Так, в указанной работе в начале четвёртой главы Виноградов удовлетворённо говорит о том, что «литературные герои отвоевали наконец себе право на то, чтобы критики относились к ним по-человечески», «как к живым людям», да «и критикам легче теперь спорить друг с другом — предметом спора снова стали конкретные, живые люди» (с.242). Но при всём том в современной литературе очень редко ещё встречаются произведения действительно серьёзной художественно-познавательной направленности, обращённые к «важным вопросам нашей общественной жизни», а литературная критика, которая «любит говорить о познавательной сущности искусства», «по отношению к современной литературе» тем не менее «охотнее говорит почему-то не столько о «познании», сколько об «отображении», и, подводя итоги литературного года, привычно отмечает: «вот такая-то тема нашла широкое «отображение», а «вот такая-то тема всё ещё слабо разработана, не хотяя писатели над ней работать, плохо знают они действительность» (с.212).

Та же инерция в понимании назначения искусства отличает и определённую часть писателей (которые «в своих творческих отчётах», как пишет Виноградов, «тоже говорят о том, что «охвачено», а что «не охвачено», планируют в зависимости от этого свои творческие командировки, распределяют силы»), и определённую часть читателей, предъявляющих литературе счёт за то, что их жизнь (к примеру, «работников милиции», «работников торговли, железнодорожников, строителей, плановиков, боксёров и т.д.» (с.213. — Н.Б.) «слабо отражена» (с.213).

Понятно, что в этих условиях одной из важнейших установок литературно-критического отдела журнала «Новый мир» становится именно просветительство: борьба за уровень культуры читателя. Конкретно эта работа шла по двум руслу: полемическая война со всякой подделкой под искусство, с иллюстративной литературой, с «беллетристикой» и активная поддержка всякого подлинного, талантливого, нового, правдивого слова в литературе. Вот почему любая ранняя новомирская работа И.Виноградова, сориентированная на эту общую литературную политику журнала, всегда просветительно заострена, всегда имеет определённую, часто откровенную, дидактическую направленность, выраженную соответствующим вступлением, отступлением или послесловием.

Характерно, однако, что у Виноградова нет статей или рецензий, которые были бы специально посвящены борьбе с реакционной литературой (как, скажем, у В.Лакшина или у Ю.Буртина). Его не назовешь полемистом, по своему критическому темпераменту Виноградов более расположен не к ведению фронтальной борьбы, а к тщательному исследованию тех отрицательных явлений современной литературы, которые по высшим признакам часто отнюдь и не казались такими уж опасными (авторы их пытались даже выразить порою, как говорится, новые веяния времени), но которые, однако, будучи лишены подлинно исследовательской художественно-познавательной устремлённости, объективно утверждали своим внутренним содержанием как раз те или иные

устаревшие шаблонные нормативы «казённого» сознания. Речь идёт, в частности, о литературе, которую в «Новом мире» называли «беллетристикой».

Критику «беллетристических» произведений мы находим на страницах многих работ, помещённых в журнале А.Твардовского, и велась она его авторами на протяжении всего существования журнала под его редакторством. И.Роднянская, например, посвятила этой теме отдельную статью — «О беллетристике и «строгом» искусстве»(1962,4), где она, в частности, объясняла значение термина:

Слово «беллетристика», писала Роднянская, «давно уже употребляется не в своём этимологически буквальном (*belles lettres* — изящная словесность, другими словами — проза, принадлежащая искусству, в отличие от научной и публицистической прозы), а в переносном смысле, приобретая слегка уничижительную и негативную окраску» (с.226).

«Что такое беллетристика: легкое, непритязательное чтение, художественная и вместе с тем ч е м - т о н е художественная литература? Почему и кому она нужна»? Является ли беллетристика «неизбежным (если и впрямь неизбежным)» злом или добром, «не оценённым по достоинству»? Есть ли беллетристика вечный спутник «большого» искусства...?» — вот серия вопросов, которые берётся разрешить в своей статье Роднянская путём анализа некоторых произведений прозы последнего времени.

Интересны рассуждения и выводы Роднянской об истоках и питательной среде беллетристической литературы:

«Речь тут, по-видимому, — пишет Роднянская, — идёт о взглядах, прижившихся в ч и т а т е л ь с к о й с р е д е, к которой апеллирует беллетрист, об идеях (и предрассудках), давно ассимилированных ею и прочно в ней отстоявшихся. Именно на такого рода идеи беллетрист ориентируется в первую очередь, независимо от того, развивает ли он их с жаром и рвением или, вывернув наизнанку, изготавливает на этой основе забавные парадоксы»(4).

И далее:

«Беллетрист заимствует у читателя, у традиционного читательского мнения и у читательского желания, с тем чтобы, возвратив заимствованное в декорированном виде, порадовать читателя узнаванием привычного или удовлетворить его осуществлением несбыточного» (с.227).

Отличие подлинного или, по выражению Роднянской, «строгого» искусства от «беллетристики» состоит в том, что «художник, так же как и беллетрист, апеллирует к читателю, но он обращается к каким-то иным сторонам его души» (с.227), — а именно (прибегая к формуле Виноградова): художник «будит мысль» читателя. Иными словами, психологическое состояние читателя произведений «строгого искусства» и читателя «беллетристики», как говорит Роднянская, «неоднородно».

Так, обращаясь за примером к «Большой руде» Г.Владимова, критик поясняет, что в этой повести смысл «переживаний» заключается в том, что победа и поражение персонажа естественно сопрягаются в сознании читателя с победой и поражением определённых общественных и нравственных принципов; читательские радости и страдания, сопутствующие

развитию действия, несут в себе духовный, идейный заряд» (с.229), тогда как беллетристическое произведение возбуждает в читателе переживания совсем иного порядка. А именно: читатель, «опережая развитие действия, мысленно предъявляет» писателю «ряд просьб-требований. И среди них главное — чтобы «сопереживание» героев не доставляло нам никаких переживаний, кроме приятных (иногда читатель, напротив, готов возжаждать трагедии, вернее, мелодрамы, — это тоже род щекотливо-приятных переживаний), и чтобы с каждым из героев автор обошёлся так, как они, с нашей точки зрения, того заслуживают» (с.228).

И.Виноградов в своей работе «К вопросу о беллетристике» (1962, 7), построенной на материале романа Фёдора Колунцева «У Никитских ворот», отмечает «тонкость» наблюдения Роднянской в её исследовании психологического «характера восприятия» читателем произведения беллетристики и характера восприятия истинного искусства. Однако в своём отношении к «беллетристике» Виноградов более категоричен, более непримирим. Он видит на другую глубину, и его позиция, в отличие от позиции Роднянской, определённа и тенденциозна. В этом Виноградов строго следует традициям «реальной критики». Так, например, критик полемизирует с тем положением статьи Роднянской, где высказываются суждения о том, что «есть какая-то общая «психологическая первооснова» у «потребности» в искусстве и «потребности» в беллетристике. «Потребности, которые удовлетворяются настоящим искусством и беллетристикой, — пишет Виноградов, — это потребности кардинально противоположные», от «беллетристики» нет пользы, «не всё действительное разумно...» (с.263).

Какую же литературу Виноградов называет «беллетристической», не приносящей, по убеждению критика, никакой общественной пользы?

Отвечая на этот вопрос, Виноградов даёт своего рода классификацию «ненастоящего искусства». Для него «беллетристика» — это «не те романы или повести, которые пишутся в форме романов и повестей именно потому, что публицисту, мыслителю, социологу почему-либо удобнее именно так высказать важные для общества мысли. Такая необходимость в истории бывает. И нередко» (с.258). Не надо путать это «ненастоящее искусство» с «беллетристикой»! Не следует путать «беллетристику» и с «теми беспардонно-откровенными подделками под художественную литературу, — пишет критик, — которыми всякого рода мертвечина заявляет о своей жизнеспособности и тщится утвердить своё место под солнцем» (с.258—259). «Беллетристика», в определении Виноградова, — это та литературная продукция, которая хотя и «не будит в нас «ни новых чувств, ни новых сил», однако по крайней мере ставит перед собой, в своих субъективных устремлениях, добрые цели» (с.259). И далее, оспаривая ту точку зрения, которая утверждает, что раз беллетристика безобидна, она может быть даже полезной, ибо способна «распространять в обществе пусть не новые, но хорошие, добрые идеи и чувства», Виноградов берётся на конкретном анализе романа «У Никитских ворот» доказать обратное.

Сюжетная канва романа Ф.Колунцева — рассказ о том, как входят в самостоятельную жизнь оставшаяся без отца семнадцатилетняя Люся и её друзья-однокурсники. Все они, по воле автора, честные, искренние, открытые, самостоятельные юноши и девушки. Мальчишки — Кирилл и

Андрей — оставляют любимые занятия (один — университет, другой — работу) для того, чтобы участвовать в строительстве Братской ГЭС, быть, что называется, активными и сознательными гражданами своей страны. Героиня тоже представлена автором человеком сознательным — «правильная» девочка, как её называют друзья. «Голова её упрямо и постоянно работает над тем, — пишет Виноградов, — чтобы выработать окончательный и твёрдый свод жизненных принципов, решить, «что такое хорошо и что такое плохо» (с.259).

Если судить по сюжетной канве романа, по языку, которым он написан, то, как замечает Виноградов, создаётся впечатление, что, во-первых, «устремления автора были и в самом деле вполне добрыми и хорошими» — «показать, как молодёжь наших дней стремится прежде всего к самостоятельному утверждению себя в жизни», что во-вторых, «роман написан достаточно умелой, профессиональной рукой», «да и сами герои его отнюдь не кажутся придуманными». Словом, заключает критик, создаётся впечатление, что роман обладает «таким важным качеством, как «похожесть» на жизнь» (с.260). И тем не менее «в романе этом нет «той значительности, свежести, своеобразия писательского видения жизни, что позволяет проникнуть в неизведанные ещё глубины жизни, художественно освоить новые её пласты и дать нам радость творческого открытия и переживания этого как будто и знакомого нам, но по-новому представшего перед нами мира» (с.260). А то, что изображено — «правильные», чистые и несколько прямолинейные девочки и мальчики и добродушные, но упрямые парни, стремящиеся к самостоятельности и идущие поэтому после школы не в институт, а на производство...» (с.260), — «всё это знакомо, — пишет критик, — как знакомы описания первых влюблённостей и разочарований, как знакомо вообще всё, что составляет комплекс обязательных проблем «молодёжного» романа» (с.261). А когда в литературе нет «существенно нового взгляда» на жизнь, нет стремления к новому осмыслению привычного, тогда, как правило, и возникает литература, которую мы называем «беллетристической».

Почему произведения типа романа Колунцева Виноградов называет, однако, не только неинтересными, но и неизбежными?

Да потому, что утверждаются в них, как правило, устаревшие, догматические представления о нормах человеческой морали и нравственности, которые пропагандировались в прежние времена и прочно уже ассимилированы читателями именно как нормы. Речь идёт о том круговом процессе, о котором писала Родиянская в своей статье. И всякий раз, воспроизводя это ассимилированное, автор беллетристического произведения не только тормозит процесс освобождения читательского сознания от шаблонов прежнего мышления, но ещё и ещё раз утверждает их. И Виноградов именно это и имеет в виду, когда говорит: в силу того, что беллетристу в отличие от художника свойственна «недостаточная глубина проникновения в характер», «неглубокая авторская интерпретация принуждает понять явление не в его истинной глубине и сути, а как-то иначе...». И даже «неминуемо ведёт» читателя «уже и просто к неверному осмыслению жизни» (260—261).

Для иллюстрации этой мысли Виноградов анализирует образ главной героини Люси, к которой автор, как пишет критик, отнесется с симпатией:

У Люси «чёткие и твёрдые представления о добре и зле, она неуступчива и прямолинейна в своих суждениях, в своём отношении к другим, — пишет Виноградов. — Адамова беспокоит поведение сына? «Вы не беспокойтесь, Юрий Николаевич. У Виктора сейчас переходный возраст». Алексей не понимает, почему у нас встречаются люди, которые презирают труд? Ей ясно: «Это пережиток прошлого». Адамов ушёл из семьи, потому что решил больше не лгать, не притворяться? «А я всё равно знаю, что, если человек бросает семью, уходит из дому, значит, он эгоист и ему безразлично, что будет с его близкими и с его детьми. А на свете ещё существует такое понятие, как долг. И человек не имеет права бросать семью!» Надо повлиять на Виктора, попытаться спасти его от Медовара? Ну что ж. «Витя, — сказала она, — мы все здесь твои старые друзья. И, скажу откровенно, нас всех очень беспокоит твоя судьба и твоё... поведение... И если ты не изменишь своего поведения и... своего мировоззрения, мы не сможем больше дружить с тобой. Циники и бездельники нам не нужны. Так что решай» (261).

И в самом деле, подвергнув героиню такой проверке на «правильность», Виноградов обнаруживает не только эмоциональную пустоту, но и «доктринёрство» Люси, которое, в свою очередь, заставляет задуматься над тем, что же утверждается в этом произведении как образец для подражания. Отсюда и вывод критика: «Беллетристика поощряет благодушное отношение к жизни. Невнимательность к жизни. Сонность инерции готовых решений» (с.263).

Тема «беллетристики» в ранней критике И.Виноградова занимает достаточно важное место, тем не менее она отнюдь не является ведущей. Главное — это работы критико-публицистического плана, посвящённые анализу тех важных явлений действительности, которые отразила современная проза. Эти работы связаны уже с таким понятием, как «реальная критика» — термин, который не случайно очень часто возникает в работах Виноградова и который, как мы не раз говорили уже, и вообще очень важен для понимания того, что происходило в «Новом мире».

Напомним в связи с этим ещё раз, что термин этот был введён Добролюбовым и что смысл метода «реальной критики» состоял в том, чтобы судить по литературе о самой жизни — на основании тех картин действительности, которые критик принимает как достоверные свидетельства. Мы видели также, что к этому методу в своих новомирских работах охотно прибегали и Лакшин, и Буртин. Виноградов тоже обращается к методу «реальной критики» — в особенности в статьях и рецензиях именно раннего новомирского периода.

Здесь имеет смысл, однако, более подробно поговорить и о природе этого метода, и о причинах, побуждавших критика прибегать к нему, ибо для понимания содержания ранних статей Виноградова эта тема и в самом деле весьма существенна.

Традиционно считают, что «реальную критику» меньше всего интересует сама по себе, в своей самоценной значимости, художественная плоть произведения, что она готова рассматривать чуть ли не любую литературную продукцию, лишь бы, с её точки зрения, содержательная

сторона произведения затрагивала социально важные проблемы современности, реальной жизни. Тогда она берётся анализировать произведение — для того, чтобы дать свою оценку тому, к а художник воспроизвёл те общественно важные стороны жизни, мимо которых «реальная критика» не считает возможным пройти, не сказав о них своего слова, не углубив тему.

Такая характеристика «реальной критики», однако, не вполне точна. И Добролюбов, и современные последователи Добролюбова всегда ставили предварительным условием обращения к художественному произведению — как к материалу для публицистического анализа — его безусловную правдивость и его безусловную художественную значимость. Уровни и степени правдивости и талантливости того или иного произведения могут быть разными, но неизменным остаётся критерий искренней устремлённости сочинения к жизненной правде и действительной его реалистичности — то есть критерий, связанный с определением именно художественной ценности произведения.

Во вступительной части статьи, посвящённой анализу романа Михаила Жестева «Золотое кольцо» («Точка опоры», 1959, 1). Виноградов, как мы помним, словами Чернышевского высказывал мысль о той непомерной роли, которую взвалила на свои плечи русская литература. Далее Виноградов пояснял, что, конечно, такое место в общественной жизни России литература занимала не всегда: «Особенно неотразимо действуют здесь ссылки, — писал Виноградов, — на те периоды развития литературы, когда она в силу своеобразных исторических условий приобретала, как говорил Чернышевский, «энциклопедическое значение». Например, русская литература сороковых—шестидесятых гг. 19-го века...» (с.212).

В этих словах в завуалированной форме проводится, как нетрудно понять, мысль о параллелизме журнально-цензурных условий в 60-е гг. 19-го и 20-го веков, а именно — о ситуации полугласности, в которой как авторам журналов «Отечественные записки» и «Современник» 19-го столетия, так и новомирцам приходилось выступать в качестве критиков и публицистов, вынужденных прибегать к материалу художественной литературы для обсуждения насущно важных, злободневных социальных вопросов реальной жизни — то есть пользоваться методом «реальной критики».

И уже совершенно открытым текстом Виноградов объясняет истоки происхождения и условия действия «реальной критики» в своей статье конца 80-х гг. «Перед лицом неба и земли»(5), на содержании которой имеет смысл остановиться несколько подробнее. Без этого невозможно будет понять, почему именно «реальная критика» обеспечивала наибольшие возможности для той активной общественной публицистической борьбы в эпоху десталинизации, которую вёл «Новый мир» под знаменем гуманизма и демократизации общественной жизни; невозможно будет даже и просто прочесть (сколько-нибудь адекватно их реальному смыслу) статьи новомирцев, сплошь и рядом усеянные эзоповыми «формулами», кажущейся чрезмерной дидактикой.

«Реальная критика» предполагает ситуацию полугласности», — пишет Виноградов в названной статье. — «Реальная критика» Добролюбова была, в

сущности, не чем иным, как социально-политической публицистикой в форме литературной критики. И она использовала эту форму не просто потому, что этого требовал природный критический дар Добролюбова», «а потому прежде всего, что выбора-то у него как раз, в сущности, почти не было. Свои пропагандистски-публицистические цели он *наиболее полно* мог реализовать в те годы только в цензурно более жизнеспособной, лучше приспособленной к тогдашним рамкам эзопова языка форме»(6)(7).

«Реальная критика», как пишет Виноградов далее в той же статье, является, таким образом, специфическим методом, приспособленным к специфическим политическим обстоятельствам, и потому-то в одни эпохи в России она утрачивала своё значение и свою ведущую роль, в другие — вновь приобретала, как это случилось, по словам Виноградова, и в эпоху хрущёвской «оттепели»:

«...Уже после 20-го съезда, — пишет Виноградов, — очень скоро стало ощущаться всё более основательное торможение начавшегося благотворного процесса обновления и демократизации жизни страны, всё более отчётливая, а в начале шестидесятых годов уже, в сущности, возобладавшая тенденция возврата к прежней, как принято выражаться теперь, административной системе управления страной. А в ответ на эту тенденцию и это торможение в обществе, разбуженном совсем другими надеждами, возникло, естественно, весьма широкое и представительное оппозиционное движение. /.../ ...Средоточием и выразителем этого сопротивления реставрации именно и стал тогда в нашей журналистике прежде всего «Новый мир» А.Твардовского. /.../

И критика журнала «не случайно именно тогда и начала всё чаще переходить на позиции критики «реальной».../.../

Я и сам тогда, начиная как критик, — пишет Виноградов, — ориентировался именно на добролюбовскую традицию.../.../

...Время такое было, удивительное время, и оно быстро, к сожалению, кончилось, так и не дав, в частности, развернуться даже и «реальной»-то тогдашней критике, не говоря уж о какой-либо другой. Всё-таки и цензурные заморозки были тогда слишком крепки, да и до действительной самобытности, значительности и продуманности нового демократического мышления, только начинавшего ещё тогда формироваться в рамках «реальной критики», тоже было ещё далеко...А тут уже вскоре и совсем зима опять ударила. Короткая была оттепель...»(8).

Обратимся теперь к конкретному анализу статей Виноградова, написанных в традициях «реальной критики».

2. ПРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Просветительские задачи, которые ставила перед собой новомирская критика, были направлены прежде всего на то, чтобы привить читателю демократический тип мышления, навыки свободного самостоятельного суждения, научить его видеть окружающую реальность в её действительной сущности, а не в искажённом облике того о ней представления, которое насаждалось официальной пропагандой. В этом смысле самые различные темы и сюжеты общественных, экономических и

культурных отношений, так или иначе связанные с сюжетами тех или иных повестей и романов, могли становиться предметом литературно-критической статьи и даже рецензии.

Виноградов в своих работах такого характера уделяет особое внимание нравственно-этическому аспекту в сфере личных, общественных и гражданских отношений. Он пытается показать, насколько, с его точки зрения, закоснелые, устаревшие и ложные представления о жизни утверждает как нормы нравственного сознания современная «беллетристика» (и не только беллетристика) и в чём именно ложность этих представлений. В этих работах под главным прищелом — авторская позиция: «логика авторской мысли», и анализ собственно художественной ткани разбираемых произведений уступает место анализу их преимущественно с содержательной стороны (то, что мы наблюдаем и в статьях Лакшина и Буртина раннего периода творчества).

Интересны с этой точки зрения, в частности, две работы И.Виноградова — рецензия на драму молдавского писателя Иона Друцэ «Каса маре» (1960, 11) и статья «По поводу одной «вечной» темы» (1962, 8), в которых критик обращается к проблеме брачных отношений, пытаясь разобраться на материале ряда произведений последних лет, мир каких представлений о человеке раскрывается за утверждаемыми в этих романах, драмах, рассказах «признанными» и «освящёнными искусством» нравственными нормативами.

Так, обращаясь к пьесе Иона Друцэ «Каса маре», Виноградов отмечает, что это произведение утверждает невозможность счастья в браке людей, которых разделяет разница в возрасте. Василиуца, героиня пьесы, старше Павэлаке на восемь—десять лет, и эта разница оказывается причиной общего отчуждения: никто в деревне не рад этому браку, люди обходят стороной дом Василиуцы, взрослый сын героини тоже не хочет понять мать. Однако, как замечает Виноградов, «общая нерадостная атмосфера» жизни героев в течение прожитого совместно одного года «объясняется не только и не столько» этими «внешними трудностями», «сколько внутренней драмой героев» (с.258). А именно: сама Василиуца убеждена в том, что неподходящая она пара для молодого Павэлаке, ибо, как она говорит, «есть в мире свой порядок, и если я его нарушу, что для меня останется святым?» (с.258). Так героиня решает на разрыв, и в прощальных словах Василиуцы, как пишет Виноградов, «раскрывается перед нами главная причина неудавшейся любви героев»: «оказалось, что и в самом деле те восемь—десять лет, которые лежат между Василиуцей и Павэлаке, встали между ними стеной» (с.258).

Чтобы понять верно позицию критика, важно отметить, что не само по себе авторское одобрение решения Василиуцы становится здесь объектом критики. Виноградов обращает внимание на довольно важную деталь: если в пьесе нет объяснений тех «всегда индивидуальных причин, которые одни и могут объяснить» разрыв героев, — а их в пьесе нет, — то тогда получается, что «самый случай такого рода, самый факт подобного возрастного «разрыва» заключает в себе неизбежную гибель любви. И драма неудавшегося счастья постепенно превращается в трагедию его фатальной обречённости» (с.259).

Вот, следовательно, в чём суть претензий критика к автору пьесы. «Не само чувство определяет судьбу людей, — пишет Виноградов, — а именно незыблемый «святой» «порядок» жизни, которому приходится подчиниться...» (с.259). И вот на это-то обстоятельство Виноградов и обращает прежде всего внимание. Ведь «получается, — поясняет критик, — что внутренний смысл пьесы» именно и «состоит в художественном» «оправдании тех, кто осудил Василицу и Павэлаке в полном согласии с известным житейским представлением, что подобные браки несостоятельны и обречены», — в «утверждении этой «мудрости», доведённой до широты философского обобщения» (с.259). Ну, «а любовь, Василица, — твоё чувство? Что же это за порядок и может ли он быть святым, если самое большое и святое человеческое чувство не находит в нём своего места?» — такими словами заканчивает рецензию Виноградов.

Конечно, по-разному бывает в жизни — ещё и ещё раз уточняет критик свою позицию. И если по каким-либо внутренним причинам Василица не способна жить в счастье с человеком младше себя, то её поступок вполне естествен. Однако если её разрыв с Павэлаке связан прежде всего не с собственным чувством, а с некими общественными «нормами», тогда «нормы» эти безправственны — вот что главное. Человек, хочет сказать Виноградов, свободное существо, и любовь, как и выбор друзей, занятия и пр. есть то, что является прерогативой его свободного выбора, но отнюдь не подлежит компетенции публичных приговоров.

Умозаключения Виноградова построены, как видим, на основе критики одновременно и художественной, и содержательной неубедительности изображённой в пьесе жизненной ситуации. Он критикует не столько само решение героини, сколько отсуствие конкретной и убедительной мотивировки в пьесе этого принятого героиней решения.

Сходная концепция нравственности развивается Виноградовым и в других работах — в частности в статье, посвящённой нравственной проблематике «женского» романа. Однако, прежде чем обратиться к ней, имеет смысл познакомиться с более общими мировоззренческими взглядами критика в рассматриваемый период. Они изложены частично в его первой новомирской статье — «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева» (1958, 9):

«Лучшие умы прозревали историческую неизбежность одной из самых грандиозных задач человечества — освобождения людей от пут религиозного мировоззрения, несовместимого с единственно достойным человека научным взглядом на мир» (с.251).

«Суть социализма» состоит «также в том — и это вытекает из его экономических предпосылок, — что он впервые в человеческой истории создаёт полноценного, человеческого человека. При социализме человек впервые обретает подлинную свободу, человеческое достоинство, право на возможность распоряжаться своей судьбой».

«Сила» социалистического государства — «в сознательности масс», вот почему так «важна борьба за полноценного, свободного, распрямлённого человека» (с.252).

«Хорошо, конечно, когда люди верят больше в председателя колхоза, чем в бога. Но лучше ставить перед собой другую задачу: чтобы люди не заменяли бога председателем колхоза, а больше верили в себя, в свои силы...».

«...Психология нашего времени и психология рабской приниженности — вещи несовместимые» (с.255).

Выдержки эти очень характерны для Виноградова ранних новомирских времён. Перед нами, как видим, — совершенно отчётливо выраженный материалистически-атеистический способ объяснения мира и совершенно недвусмысленная декларация веры критика в идеалы социализма, в то, что именно с осуществлением социализма связывает он и свой идеал человека — человека свободного, суверенного, который в своих поступках ориентируется прежде всего на себя: верить надо не в Бога и даже не в председателя колхоза, а в себя, пишет Виноградов.

Итак, человек свободный, распрямлённый в своих поступках и жизненном выборе как идеал и борьба за такого свободного, распрямлённого человека как практическая положительная программа — вот пафос его позиции. И этот пафос — пафос свободы, свободного человеческого выбора — не только постоянный мотив ранних работ критика, но и действительная «точка опоры» всех его логических построений и умозаключений относительно того, каковыми должны быть нормы поведения человека в современном обществе. В своих суждениях о нравственном поведении человека в любви, в браке, в общественных отношениях Виноградов очень часто опирается в эти годы на Маркса и Энгельса (в частности — в большой проблемной статье «По поводу одной «вечной» темы» (1962, 8)). Характерно, однако, что приводит он из их работ прежде всего те положения, где говорится о естественном, земном характере человеческой природы и о том, что вне рамок «естественного поведения человека» (в любви, например, обязательно включающей в себя половое влечение) ни мужчины, ни женщины не могут реализовать себя как существа действительно свободные, уважающие в себе своё человеческое «я».

Вот почему, например, максима морали: «нельзя строить своё счастье за счёт несчастья других», — которая звучит однажды в устах героини Друцэ как один из аргументов, оправдывающий её разрыв с мужем, заставляет Виноградова внимательно присмотреться к тому, что стоит за нею в реальной практике человеческих отношений.

Подобного рода сентенции, как показывает критик, очень часто звучат в произведениях «любовно-семейной» темы именно как некий незыблемый норматив советской нравственности — факт, который более всего и побуждает Виноградова особо рассмотреть эту тему как тему, не случайно ставшую темой «массового» литературного творчества.

Если в пьесе Друцэ мы наблюдали развод, так сказать, из-за любви, то главная тема произведений, анализируемых критиком в новой статье, — сохранение семьи, невзирая на отсутствие любви. Точнее — невзирая на сильное чувство одного из супругов к другому человеку.

Новая статья Виноградова построена на материале литературы «семейно-любовной» проблематики, созданной по преимуществу писателями-женщинами: «Елена» К.Львовой, «Битва в пути» Г.Николаевой, романы А.Коптяевой, «Запоза» Л.Обуховой, «Маше двадцать семь лет» В.Салтыковой. «Морские ворота» Д.Зигмонте. «Хочу быть счастливой» В.Чубаковой. «Когда какая-то тема становится популярной в литературе, — объясняет Виноградов выбор именно этих

произведений для рассмотрения, — это порождает, как правило, и определённую «популярность», «массовость» тех или иных способов «освоения» этой темы — идей, представлений, критериев оценок, принципов решения проблем» (с.239), выражением чего и является переход такой темы в «ведение» женского писательского «эшелона», ориентированного, как правило, именно на самые расхожие, характерные для времени стереотипы нравственного мышления.

С какой точки зрения интересуется этот материал критика?

Как в пьесе Иона Друцэ, так и в этой «женской» прозе Виноградова интересуется прежде всего более глубокий, общезначимый нравственно-социальный аспект их проблематики.

«Давно уже сказано, что отношение мужчины к женщине есть «естественнейшее отношение человека к человеку». И что тем самым в сфере этих отношений с особенной наглядностью обнаруживается, насколько «естественное поведение человека стало человеческим или насколько человеческая сущность стала для него естественной сущностью...»(9). — цитирует Виноградов Маркса. И далее поясняет: — Литератор, рассказывающий о том, как влюбляются, любят, создают семью его герои, как они воспитывают детей, расходятся и сходятся, жертвуют новой любовью во имя сохранения семьи, всегда рассказывает поэтому — хочет он этого или не хочет — и о том главным, что лежит в основе этих поступков и проявляется в них как раз с особенной, может быть, рельефностью: о том, какова человеческая природа его героев, каков их духовный мир, какого рода представления о человеческом достоинстве, о ценностях человеческой жизни, о смысле её, в конечном счёте, лежат за теми или иными их поступками и, следовательно, определяют собственную их сущность» (с.239).

И критик, обнажая далее свой приём, прямо заявляет о том, что к литературе «семейно-любовного» цикла он и будет подходить именно с этой и «только лишь с этой точки зрения» (с.239). Иными словами, Виноградова интересуют не семейные и бракоразводные ситуации сами по себе, а та социально-нравственная природа человеческих отношений, которая неизбежно проступает за отдельными поступками людей в личной жизни, — те распространённые в советском обществе начала 60-х гг. представления о нормах нравственности, которые определяли собой общий уровень культурного сознания и самосознания советского человека. Что изменилось в представлениях человека в связи с переменой «климата» в стране, а что сохранилось в его самоощущении и мироощущении от представлений, бытовавших при прежнем режиме укладе жизни? За частным можно разглядеть общее: семья — ячейка общества, и те нравственные принципы, которые лежат в основе семейных отношений, характерны и для общественных. Так вот, как бы говорит Виноградов, и давайте же разберёмся, в каком обществе мы живём.

Мы возьмём для примера только один из разбираемых Виноградовым женских романов — «Битву в пуги» Г.Николаевой, произведение наименее, может быть, пошлое, по выражению критика, но тем более показательное.

Итак, «присмотримся к роману», «к самому существованию тех нравственных принципов, которые утверждаются в романе», и «будем судить» о его

героях, об их поступках как о живых людях — ещё и ещё раз обнажает свой излюбленный приём «реальной критики» Виноградов.

Сюжетная фабула

«...Случилось так, по рассказу автора, что Бахирев и Тина полюбили друг друга настоящей, большой любовью. Сорокалетний мужчина, отец троих детей, и молодая женщина, никогда не знавшая прежде — так же, как и тот, кого она полюбила, — настоящей любви».

Такая любовь, по словам Виноградова, «не способна мерить иначе, чем жизнь за жизнь, и требует от тех, к кому она пришла, мужества и честности».

Но для Бахирева (Тина хоть и замужем, но у неё нет детей) — для Бахирева это значит уйти из семьи, оставить детей, которых по-настоящему любит, особенно старшего — Рыжика. Как тут быть, что делать? Коллизия, которая изломала немало человеческих судеб и разрешение которой представляет собой действительно очень болезненную, мучительную проблему. Да и разрешается она в жизни по-разному», — пишет Виноградов.

В романе Николаевой эта коллизия «разрешается тем, что Тина и Бахирев расстаются, хотя и сознают всю немыслимость, чудовищность этой разлуки. Растают не потому, что об их любви узнала жена Бахирева и в семье Бахирева начались тяжёлые сцены», а потому, что «разрыв был уже предопределён» «собственным решением» Тины и Бахирева, признан героями «единственно возможным и правильным»(с.240—241).

При этом автор романа, по словам критика, полностью присоединяется к решению своих героев, и эта авторская позиция «выражена в романе более чем определённо», ибо, как пишет Виноградов, Николаева «рассматривает решение героев не просто как единственно правильный поступок, но как серьёзную нравственную их победу».

На что опирается автор романа в этом своём заключении? На какие критерии нравственности?

«Привычные» «слова о социалистической этике, об ответственности коммуниста перед партией» и «почти незаметные» реалии советской действительности — «родительские собрания в школе, статьи в газетах о многодетных семьях, ордена за материнство, милиционер, останавливающий сотни машин перед шеренгой карапузов...», — всё это, по словам Николаевой, «становится твоей плотью и сидит в тебе, и уже нельзя отойти от этого, как нельзя отойти от самого себя»(с.241). И вот именно такая авторская мотивировка — инертное и бездумное отношение Николаевой к установленным нормам, как к истинным, когда видимость принимается за действительность, — и является причиной, которая заставляет критика считать нравственные выводы героев и автора романа ложными или, по крайней мере, необедительными.

Неубедительны, с точки зрения критика, во-первых, герои, которые для автора романа являются олицетворением коммунистической нравственности. Это — старик Рославлев, представитель старой рабочей «династии». Его голос, в подаче автора романа, — это «голос совести». Что же говорит эта совесть устами Рославлева «оступившемуся» Бахиреву? — «Мы за тебя горой, мы к тебе с полной душой, как к лучшему из нас, а ты мордой в грязь!» (с.242).

Другой авторитет романа Николаевой — парторг завода Чубасов. «Восхищаясь силой и преданностью делу Бахирева», он думает: «Как трудно

ещё даже такую благотворную, но подчас захлёбывающуюся от собственного избытка силу направить по верному руслу, чтоб текла, не теряя мощи и не допуская опустошительных разливов» (с.242).

Итак, любовь Тины и Бахирева, с точки зрения авторского представления о подлинно коммунистических нравственных ценностях, рассматривается в романе как вещь недопустимая и подлежащая порицанию. При этом, как пишет Виноградов, «именно авторитетом «высшей справедливости будущего», «проникновенным судом коммунистического будущего» «утверждается столь решительный способ применения к создавшейся ситуации принципа «нельзя губить одну жизнь даже ради нескольких»: «ведь это именно в связи с проблемой «брошенной жены» прибегает Бахирев к такого рода решению» (с.247—248). Критик опять вступает за человеческое чувство, за право на любовь и ставит нравственность такого решения ситуации в романе под сомнение. Для мотивировки своей позиции Виноградов, согласно традициям «реальной критики», пытается обратиться прежде всего к реальным жизненным ситуациям подобного рода, рассмотреть эту проблему вглубь, как если бы мы имели дело с живыми людьми. Он предлагает, в частности, представить, как может сложиться под воздействием принятого решения судьба героев. Не слишком ли, например, «упрощённо, облегчённо» представляет себе Бахирев всю сложность ситуации, когда думает, что этой «жертвой» их с Тиной любви разрубается все главные узлы проблемы — по крайней мере в отношении детей» (с.244—245)? Виноградов развивает мысль о том, что благие намерения Бахирева жить с женой по-старому, «после того, что Катя поняла, что муж её не любит, поняли это и дети», вряд ли могут привести к тому, «чего он стремится избежать». Критик не считает моральным «открытое, нескрываемое-формальное сосуществование на одной «жилплощади» отца и матери, указывая на то, в частности, что осознание детьми ситуации, в которой «родители жертвуют для них собой», может привести их к свыканию с мыслью, что так оно и должно быть, — к «усвоению того известного взгляда на всех прочих, всех тех, кого «бросил» отец, как на «неполноценных», «недостойных», раз их «бросили». В результате, заключает критик, жизненный сценарий, столь благородно задуманный как будто бы главными героями романа, на деле может обернуться лишь тем, что «вместо подлинного уважения к родителям» дети будут испытывать к ним жалость, «вместо веры — разрушение её» (с.243—244).

Критик отнюдь не утверждает, впрочем, того, что нормальным исходом в данной ситуации явилось бы лишь обратное решение проблемы. Решения могут быть разные, но он подчёркивает, что «единственно нормальной средой для детей может быть лишь здоровая, счастливая семья» — «именно здоровая, не «склещенная», не видимость» (с.245). И здесь он опирается на следующую мысль Энгельса: «Если нравственным является только брак, заключённый по любви, то остаётся нравственным только такой, в котором любовь продолжает существовать...» (с.248).

Поэтому-то нравственным решением в описанной в романе Николаевой ситуации, с точки зрения Виноградова, может быть тем не менее как раз уход Бахирева из семьи — при условии сохранения им нормальных

отношений с детьми. Нормальными же для Виноградова являются такие отношения, при которых Бахирев сможет научить смотреть своих детей на вещи «не по законам ханжеской морали, а по-человечески достойно», сможет добиться того, чтобы дети не смотрели на «брошенных» мальчиков и девочек с презрением, чтобы поняли, что отец их не «бросил», не «забыл», не «предал» их (с.245).

Таким образом, в том, что касается частных взаимоотношений людей, Виноградов, как видим, снова отстаивает, как и в рецензии на пьесу И.Друцэ, чувство, право человека на свободный выбор и подлинную ответственность человека при решении проблем, возникающих в подобных ситуациях. Ведь что касается действительного существования этих проблем, то, как пишет Виноградов, оно состоит совсем не в том, чтобы «определить», какой исход «лучше», — это может быть решено лишь сугубо индивидуально — в каждом индивидуальном случае, а в том, «чтобы осознать, что и то и другое не «лучше», и понять, почему это так». И вот именно потому, что ничего похожего в романе Г.Николаевой нет, критик и считает возможным рассматривать его, как он сам это признаёт, лишь со стороны его идеологии, «приковывая внимание читателя лишь к логике авторской мысли» (с.250):

«...Если бы Г.Николаева, — объясняет Виноградов, — поставила перед собой в своём романе именно задачу художественного исследования жизни; если бы она стремилась художественно убедительно раскрыть правильность бахиревского решения именно применительно к данной конкретной индивидуальной ситуации(10), изображённой в романе; если бы авторская нравственная оценка строилась бы именно на этой основе, при полном понимании того, что нормативов здесь быть не может», — «тогда мы и подходили бы к нему именно с точки зрения ценности художественного исследования жизни в нём, а не приковывали бы внимание читателя лишь к логике авторской мысли...».

«В действительности же «автор озабочен как раз не столько внимательным исследованием жизни, сколько конструированием «всеобщих» нравственных сентенций. И останавливается как раз там, где и начинаются настоящие трудности, подлинная проверка нравственных достоинств бахиревского решения предстоящей практикой его семейной жизни» (с.250).

Стремление автора к такой «нормативности» вместо попытки реального проникновения в существо проблемы и является, таким образом, причиной, которая заставила критика подробно рассмотреть этот роман. Причём, не как частный случай в литературе, а как широко распространённое явление.

Каковы же «истoki того мира представлений о человеке, на основе которого» и могли появиться, по выражению Виноградова, «столь сомнительные нравственные нормативы, касающиеся «частной» жизни человека»? Какая связь лежит между этим миром представлений и обстоятельствами общественного бытия? Какого рода тенденции поддерживают эти «филистерские представления о жизни человеческой?..» (с.251) — вот те острые, общественно важные вопросы, к которым, следуя методологии «реальной критики», Виноградов подводит, в конце концов, свой разговор о «семейно-любвиной» проблематике «дамского» романа и отвечая

на которые критик от частного переходит к итоговому скрытому обобщению.

Собирая воедино все рассмотренные выше характеристики поведения и убеждений главного героя романа Г. Николаевой, Виноградов рисует такой его итоговый и, так сказать, истинный его портрет. Причём портрет не только Бахирева: ведь Бахирев — всего лишь типовая социальная модель:

«Полнейшее приравливание себя, своих возможностей, побуждений, оценок случившегося к уровню обывательских представлений...

Полнейшая убеждённость в том, что искуплением «вины» перед женой он спасёт её от «несчастья»...

Полнейшее отсутствие буквально всякого, хотя бы малейшего, хотя бы внутреннего, затаённого нравственного неприятия того, что ждёт его детей в «склеенной» семье...

Не улавливается ли здесь некая явственная, опутанная связь? Не встаёт ли за этим совершенно определённый, отчётливый, хотя, может быть, и неосознанный мир представлений — самых общих, исходных, самых, что называется, «коренных» представлений о том, что такое человек, чем определяется его человеческое достоинство, в чём состоят основные человеческие ценности?... Мир представлений, которым и можно только объяснить, почему даже крохотного возмущения тем, чем, кажется, не может не возмутиться здоровая человеческая душа, не найдём мы в столь подробно описанных терзаниях и переживаниях нашего героя.

/.../

Но если не приходится говорить о духовном, нравственном здоровье такого человека, то что же можно сказать о романистах, с легкой руки которых подобного рода представления о человеческом достоинстве начинают гулять по белу свету уже и в качестве как бы «признанных», «освящённых искусством» нравственных нормативов? Или, может быть, не ясно, что представления о человеке, питающие эти нормативы и питаемые ими, — это представления, которым как раз должно быть отказано в праве выносить какие-либо приговоры и служить источником каких-либо нравственных или любых других критериев? Слишком уж они — скажем так — «устарели». Слишком уж они — скажем так — искаженно отражают действительную человеческую природу, мир его действительных ценностей. Потому что человек по природе своей — свободное существо. Потому что для него не может быть нормальным принуждение. /.../ Потому что ложь в его жизни никогда ещё не приводила к расцвету человеческой сущности. Потому что существование в униженной зависимости от других — в чём бы это ни проявлялось — не прибавляет ему уважения ни к себе, ни к другим. /.../ Потому что привычка считать себя существом, от подачек которого зависит счастье других, — это привычка не человека, а «хозяйшиа»...» (250—251).

Так разговор о сугубо частных, как будто бы общественно совершенно «безобидных» проблемах приобретает характер отнюдь не безобидный, перемещаясь в плоскость острых общественных идей времени. Верность такого прочтения статьи Виноградова подтверждается, в частности, и свидетельством бывшего новомирского критика Натальи Ильиной. В статье «Мой продолжительные уроки» («Огонёк», 1988, №17) Н.Ильина рассказывает о том, как после опубликования её литературного фельетона «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести» в мартовском номере «Нового мира» за 1963 год, т.е. через семь месяцев

после появления работы Виноградова на ту же тему, критик Ю.Идашкин выступил в журнале «Октябрь» с разгромной статьёй.

Он писал, в частности, о том, что редакция журнала «Новый мир» отнюдь не случайно на протяжении полугода дважды возвращалась к «женскому» роману. Идашкин отмечал, что «вечная тема» интересовала Виноградова не сама по себе, а лишь как возможность более или менее завуалированно протаскать **концепцию «внутренней свободы»**. Но так как вскоре после появления статьи Виноградова произошла встреча Н.С.Хрущёва с деятелями литературы и искусства в Кремле, где он среди прочего заявил: «Общество не может допустить анархии и своеволия со стороны кого бы то ни было», — то «Новый мир» решил «прикрыть антиобщественную позицию Виноградова произведением Ильиной, притворившейся, будто она борется против пошлости» и адюльтера. Ю.Идашкин, таким образом, как пишет Ильина, «обнажил суть Виноградова, протаскивающего анархические идеи внутренней свободы и абстрактного гуманизма», «вскрыл роль «Нового мира», дающего трибуну анархистам и клеветникам»(11).

Итак, действительная общественная проблема, которую Виноградов ставит на рассмотрение, используя материал литературы на «семейно-любовную» тему, состоит в осуждении всяческих принудительных нормативов и предрассудков — будь то религиозные предрассудки или плод искажённых, по его мысли, представлений о коммунистической этике, на которые человек ориентируется по инерции. Человек — свободное суверенное существо, он имеет право на свободу выбора, «в том числе и в любви», и позиция «униженной зависимости от других», «в чём бы она ни проявлялась», — это позиция раба, не достойная человека. Не достойна человека и позиция «принуждения себя», основанная на ложном самопожертвовании, ибо в «готовности к самопожертвованию» «больше иной раз слабости, чем силы» (с.245).

Не может служить безусловным критерием в таких случаях для Виноградова и опора на принцип «нельзя строить счастье одного на несчастье другого» (который критик слишком поспешно, однако, причисляет к нормативам прежних, устаревших представлений о нравственной норме). Человеку свободному должно быть свойственно возмущение, бунт против существующих прав и порядков, если нравы и порядки эти «устарели».

Итак пафос свободы — вот главный внутренний стержень этого выступления Виноградова. Только реальная жизнь — и только многообразная и сложная реальная жизнь, «где нормативов быть не может», — является для него экспериментальным полем проверки нравственности того или иного поступка. В реальной же жизни «правильность» того или иного решения зависит от «д а н н о й, к о н к р е т н о й, и н д и в и д у а л ь н о й ситуации». И не закон, не нормативы, не мнения окружающих, а только человек является арбитром нравственности или безнравственности того или иного поступка. Но — человек свободный, суверенный, человек действительно высокого самосознания, человек, действительно приближающийся к тому идеальному человеку будущего коммунистического общества, которого Виноградов рисует в своём воображении, по Марксу и Энгельсу: «Да и, кроме того, как-

то думалось до сих пор. — пишет Виноградов, — что при коммунизме внутренняя свобода, суверенность человеческой личности, не говоря уже об общественном равенстве и общественных свободах, станут действительной человеческой потребностью и будут признаны неотъемлемым человеческим правом. Так что вряд ли всё же возможна будет такая ситуация, чтобы свободные, уважающие в себе своё человеческое «я» мужчины и женщины вымогали, просили или даже просто соглашались принимать любовь другого, предназначенную не им»(с.248).

Итак, ставка на сознательного свободного человека — это и есть суть виноградовского просветительства. главный ориентир положительной программы критика, который обозначается, правда, пока больше через отрицательные, а не позитивные содержательные определения.

Но знакомство с концепцией свободной, суверенной личности в критике Виноградова не может быть ограничено материалом рассмотренных статей. В ранней повоинской критике И.Виноградова есть ряд работ, в которых он обращается к этой теме и в ином — позитивном повороте.

3. «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ» ГЕРОЙ ВРЕМЕНИ, ОБЩЕСТВЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Это прежде всего рецензия на книгу повестей рассказов И.Меттера «Обида» («Об уставных словах», 1960, 12), рецензия на повесть Леонида Жуховицкого «Я сын твой, Москва» («Право на доверие», 1963, 6), и большая статья «О современном герое» (1961, 9). В этих работах Виноградов обращается к теме «положительного» героя времени. Актуальность её, как объясняет это в статье «О современном герое» сам критик, связана с тем, что современный читатель имеет перед собой огромное количество «героев нашего времени», изображённых в литературе в качестве примера для подражания, и, следовательно, имеет прямой смысл задуматься над тем, кто же из них и в самом деле «в своём нравственном облике, в своём мировоззрении, в своём отношении к жизни, общественных позициях, в направленности своих деятельных устремлений выражает передовые тенденции нашего современного общественного развития», а кто лишь «спекулирует» на этих понятиях, «кто прчет за высокими словами корысть и цинизм» («О современном герое», с.232, 239).

Передовые тенденции времени обозначены в статье «О современном герое» и в рецензии на повести и рассказы И.Меттера как борьба за «построение того самого справедливого, человеческого общества, которое мы с гордостью сможем назвать коммунизмом» («О современном герое», с.253) — коммунизмом «гуманистическим»; передовая общественно-гражданская позиция — как позиция «последовательного гуманизма», «воинствующего гуманизма» («Об «уставных словах» и человечности», с.255). И «корень вопроса» здесь для Виноградова «именно в верности, правильности практического применения идеала к живой жизни...» («О современном герое», с.238, 239)(12).

Схема рассуждений Виноградова в первых главках статьи «О современном герое» может быть представлена следующим образом.

Вначале критик, взяв для анализа образы молодых людей из прозы В.Аксёнова, В.Тендрякова и В.Розова, пытается текстуально продемонстрировать наличие у всех этих героев — а в жизни и у «значительной части» «современного нашего молодого поколения» — «одной характерной психологической черты», которая представляется критику «очень знаменательной и важной». А именно: в противовес «бездумному усвоению впечатлений жизни» для этого поколения характерно «смотреть на мир открытыми глазами и чувствовать себя в ответе прежде всего «перед своей совестью», а не перед абстрактными догмами, которые «только мешают видеть реальную жизнь» (с.235).

Вот это стремление к самостоятельной, личной выработке своего отношения к жизни Виноградов и считает первым «необходимым условием» для «формирования передовой человеческой личности» своего времени. То, что герой В.Овечкина агроном Шорин выразил словами: «Своей ответственностью за судьбу родины... я равен любому, самому высокопоставленному нынешнему авторитету — разница в возрасте и масштабах работы особого значения здесь не имеет» (с.237).

Однако «будет ли иметь какую-нибудь реальную, действительную цену ощущение комсомольцем агрономом Шориным своей личной ответственности «за судьбу родины, революции, социализма», — намечает вторую проблему Виноградов. — если его понимание жизни, умение разбираться в ней... будет находиться на том примерно уровне, что у честной, чистой, но, конечно, несколько прекраснородушной Светы» — героини «Деревенского дневника» Е.Дороша?

Молодёнская студентка, будущий агроном, Света, выслушав рассказ автора «дневника» о том, что «будто бы руководители области, объявив о баснословных успехах в производстве мяса, обманули партию и правительство», пытается дать своё объяснение, своё предположение причинам этого обмана: «Может... так надо?». И потом вдруг: «...всё это делается, конечно, с расчётом, чтобы в других областях, прослышав про замечательные успехи прославленной области, стали работать лучше, и таким образом весь этот как бы обман, глядишь, обернётся на общую пользу» (с.237).

Так вот, вторым условием — после способности к самостоятельному мышлению — для Виноградова является необходимость определить: «в каком направлении развивается самостоятельная мысль человека, к каким итогам она ведёт, какую общественную ценность будут представлять собой эти итоги. Это — главное» (с.239). Ведь «бывает нередко так, — пишет критик в статье «О современном герое», — что преданность идеалу и даже привычка к самостоятельным раздумьям как будто бы и налицо, а вот реальные, конкретные жизненные позиции человека, понимание им жизни, которая его окружает, её реального содержания и тех конкретных задач, которые она выдвигает именно с точки зрения необходимости осуществления идеала, — это всё, как говорится, оставляет желать лучшего и может даже объективно противоречить исходным устремлениям» (с.239).

Этого рода случай Виноградов и рассматривает в рецензии на повесть Л.Жуховицкого «Я сын твой, Москва».

Виктор Кожин — молодой журналист, герой достаточно типичный, по словам Виноградова, для так называемых «молодёжных» повестей. «Нет, как бы говорит Л.Жуховицкий, он вовсе не идеальная личность. И ничто человеческое ему не чуждо. Он ещё молод, не очень опытен в работе, допускает иной раз и ошибки» (с.258). Однако автор хочет сказать, что главное в Викторе не слабости, а то, что он «всей душой предан идее служения общественному долгу, честен, прям, бескорыстен, смел, трудолюбив, прост с товарищами, принципиален.

Так, не в пример иным-прочим он, коренной москвич, не стремится остаться после окончания университета в Москве, а едет в дальний Дубровск...»; он самозабвенно любит своё дело — газетную работу; «он настолько бескорыстен, настолько увлечён своим делом, что за десять месяцев работы так и не удосуживается найти себе какое-нибудь жильё», спит порой на вокзале; он активный комсомолец: попав на скучную вечеринку, он тут же бежит в горком комсомола, чтобы «сделать что-то для организации интересного, культурного досуга молодёжи»; поняв, что редактор газеты, в которой он работает, карьерист, он «не побоится прямо и резко высказать ему в глаза всё, что думает», и т.д. и т.п. (с.258—259).

Таким автор представляет своего героя.

«Действительно, Виктор таков, — соглашается Виноградов. — Правда, в законном самоощущении своего превосходства над какими-нибудь там мешанами... он выглядит порой так, словно ему орден за это дали. К тому же и в увлечённости его иной раз как будто бы слишком уж много риторического пафоса: «Бей в лицо, тугой ветер дороги! Крутись, Земля!» или: «...Москва. Я прав твоею правдой. Я силен твоею силой. Твоя рука у меня на плече...» (с.259). Но беда даже не в этой выпрепней поэтике, которую можно объяснить молодостью героя. Главная беда, по мнению Виноградова, в том, что сам автор находится на уровне своего героя, «и если не считает Виктора уже сейчас» лучшим, достойнейшим из людей нашего времени, то «совершенно убеждён, что герой его на верной дороге к этому» (с.259).

Вот это авторское отношение и заставляет критика присмотреться к существу той программы жизненного поведения, которую посредством героя «утверждает» автор «достойной признания». Способен ли вызвать доверие такой герой, «если попробовать оценить прежде всего именно человеческое его содержание...»? (с.259) — вот тот вопрос, который в первую очередь интересует Виноградова, тот угол зрения, под которым он будет рассматривать образ героя. Реальная, современная жизнь с её «действительными проблемами, запросами, тенденциями развития», с одной стороны, и ориентация человека — передового, честного, мужественного, принципиального, по авторскому замыслу, — в этих конкретных жизненных обстоятельствах, «полнота постижения» жизни героем — с другой.

Что же демонстрирует нам повесть?

Виктор обнаруживает, что «газета делается для «показухи», а «не в интересах дела». А именно — «статья о молодых животноводах — вовсе не для животноводов, а для отчёта»; «статья на моральную тему — опять для отчёта»; «приключение с продолжением — для тиража»; «кроссворд с приглашением присылать ответы — чтобы можно было избразить в

отчёте, что количество писем в газету возросло на столько-то процентов, ибо редакция укрепляет связи с читателем», и т.д. и т.п.

Обнаружив всё это, Виктор идёт на конфликт с редактором, «он резко и прямо выступает за то, чтобы газета служила интересам дела».

«Ну, а спросим, — пишет Виноградов, — что же означают, по его мнению, эти «интересы дела», «если конкретно», а не на словах? «О чём же именно будет он заботиться? Что понимает он в жизни? Как представляет себе её реальные проблемы, её действительное содержание? Вопросы эти тем правомернее, — продолжает критик, — что Виктор пробыл в газете уже девять месяцев, поездил, как свидетельствует автор, по области, побывал, что называется, в самой «гуще жизни»./.../

Ведь сколько, казалось бы, нового, неожиданного, даже непонятного почтительно, — замечает Виноградов, — должно было открыться глазам начинающему паренька, знакомого со всей той полнотой жизни, что течёт на огромных пространствах его страны, по большей части лишь из вторых рук или вообще понаслышке!./.../

Увы, ничего подобного. И намёка даже никакого нет» на это в повести (с.260).

Вместо этого, по словам критика, вам рассказывают о прощальной вечеринке, о последней прогулке Виктора и Лены по Москве, потом — Дубровск, знакомство с редакцией, ожидание писем от Лены, новые знакомства, приезд московского друга и споры о призвании журналиста, редакционные будни, прозрение, что газета делается не «в интересах дела», выступление на комсомольском активе против редактора, наконец, поездка в Москву за помощью и поддержкой. А если и есть какие-то конфликты в повести, то разрешаются они «как-то очень уж легко». Например, три дня Виктор «мотался по району — собирал материал» «для статьи о лекционной пропаганде»: «колхозные комсорги охотно отвечали на все вопросы», «а Виктор ничего не понимал». «Что же он может об этом написать?» «Оказалось, что достаточно было только поговорить с секретарём райкома комсомола. Он всё разъяснил, всё встало на свои места...» (с.261).

И создаётся впечатление, по словам Виноградова, что «как-то очень уж легко и просто удовлетворяется он самыми первыми, поверхностными впечатлениями. Более того, он, кажется, и не подозревает даже, что есть о чём в этой жизни задуматься серьёзно и ответственно, что есть в этой жизни невдуманные трудности, сложные процессы, глубокие изменения, непростые противоречия даже в самых обыкновенных, житейских её проявлениях, не говоря уже о более широких и общих проблемах нашего сегодняшнего общественного бытия. Всего этого для него словно бы и не существует, всё это проходит словно бы мимо него. Да и что удивительного, если он так торопится ещё убедить мир в том, что человек не должен «ломаться и гнуться», что он должен подставлять «лицо ветру», «дышать глубже», бороться за «небо в алмазах» и т.д.!» (с.261).

Впрочем, как пишет Виноградов, некоторые конкретные задачи он тоже перед собой видит: бороться против редактора, поставить вопрос об организации молодёжного кафе, составить объявление о приёме на работу для большой степной стройки, — «словом, не совсем уж в эмпириях парит наш герой», иронизирует критик. Вопрос лишь в том, «надо ли было ему,

чтобы дойти до понимания этих задач, ехать в Дубровск, знакомиться с жизнью, путешествовать по области»? Иными словами — «достаточно ли серьёзная и твёрдая жизненная основа под сокрушительной готовностью Виктора Кожина «не согнуться и не сломаться»? «И как же быть, если в результате получается, что своим бережно-любовным отношением к герою Л.Жуховицкий одобряет и даже утверждает как известную норму именно тот тип человеческого поведения, тот тип отношения человека к жизни, которому умиляться вовсе как будто бы и не пристало?». «Ведь хочешь не хочешь, а получается, что по человеческому облику своему Виктор Кожин оказывается близок именно к типу некоего безмятежного мальчика, ничего, в общем, не понимающего в жизни, не умеющего и не желающего думать о ней серьёзно, исполненного лишь пафосом трескучей барабанной риторики...» (с.261).

«Пафос трескучей барабанной риторики», демагогия — вот истинное содержание «активности» человека, которого, возможно, и не желая того, Жуховицкий возвёл в «положительные» герои, заключает критик. Вот то, что «сказалось» в его произведении.

Таким образом, задачей Виноградова в новой статье становится довольно характерная для новомирских полемических выступлений (в русле борьбы журнала с реакционной и казённой литературой) критика той модной пустопорожней литературной болтовни, которую попытался опозитизировать в героя своей повести Л.Жуховицкий.

В статье «**О современном герое**» Виноградов сталкивает нас с братом-близнецом Виктора Кожина. Это герой романа Л.Обуховой «Запоза». Он тоже молодой журналист, также обладает всем набором достоинств и мелких слабостей, с которыми мы только что познакомились на примере героя Жуховицкого. И Обухова также преподносит своего героя — Павла Теплова «в качестве чего-то в высшей степени ценного и достойного подражания» (с.240). Как и в повести Жуховицкого, — «боже мой, — восклицает Виноградов, — сколько страниц отведено под пространные раздумья, рассуждения Павла на всякого рода высокие темы!» (с.240) Как-то: «в наш век революций» «мы привыкли ко всему, что случается, прибавлять слово «борьба»; «мы боремся за мир, за счастье, за увеличение надоев молока...» и т.д. и т.п.(с.240). Слова-то эти, замечает Виноградов, «вроде бы и хорошие, как говорится — «правильные», но что скрывается за этой слишком общей «правильностью»? Ничего: «всё это присутствует в раздумьях Павла, — пишет критик, — лишь в самом общем, абстрактном виде, а люди, реальные, живые люди, которым он готов как будто отдать себя, — словно бы и не жил он среди них» (с.241).

Так Виноградов отказывает «положительным» героям Л.Жуховицкого и Л.Обуховой в «праве на доверие». Их высокопарное многословие, «философические» рассуждения о высоких идеалах, находящиеся в отрыве от «практического применения идеала к живой жизни», критик противопоставляет «простому», «вполне «земному» взгляду на серьёзные и очень важные проблемы нашей жизни» героев повестей и рассказов И.Меттера, очерков В.Овечкина и Е.Дороша.

В статье «О современном герое» и в рецензии на книгу Меттера Виноградов формулирует своё понимание образа действительно

«положительного» героя времени. С точки зрения терминологической, эта формула звучит здесь достаточно обобщённо. Она связана с понятием «гуманизма», «воинствующего» гуманизма, которое одушевляло литературу демократического направления конца 50-х — начала 60-х гг. и с которым мы уже встречались и при рассмотрении работ В.Лакшпина.

«...В наше время высшим и единственно правильным исходным принципом передового общественного мировоззрения... — пишет Виноградов в статье «О современном герое», — может быть только гуманистический принцип, рассматривающий благо человека как высшую цель и высшее мерило всех общественных ценностей» (с.245).

«Гуманизм и народность... смыкаются: подлинная народность всегда гуманистична и подлинный гуманизм всегда народен», — пишет Виноградов в статье об очерках Дороша (1965, 7, с.252).

Но этими же самыми идеалами клянутся и герои повести Жуховицкого, «этот принцип взят в наше время на такое широкое вооружение всякого вида социальной демагогией...», пишет Виноградов в статье «О современном герое», что необходимо провести грань, найти тот критерий, который позволяет отделить пустое употребление термина от его употребления соответственно его действительному назначению. И на этот критерий Виноградов и обращает своё преимущественное внимание в статьях о «положительном герое». Критерий этот он формулирует так: «р е а л ь н а я любовь к людям»(13), «заинтересованность в других людях, внимание к ним, забота о них, доброта и чуткость», но не на словах, а на деле, как у Ивана Федосевича из «Деревенского дневника» Е.Дороша («О современном герое», с.247, 244). Таким образом, не общая позиция, не общее рассуждение, а проверка убеждений и позиции человека его умением «и в самом деле смотреть» на другого человека и его реальное благо «как на высшую цель и единственное мерило оценки событий и фактов жизни» («О современном герое», с.245) — вот тот содержательный критерий «положительности», который проводит Виноградов в статье «О современном герое» и в рецензии на повести и рассказы И.Меттера, — тот самый критерий, которого явно не хватало в концепции свободного и суверенного человека, развивавшейся критиком в статьях о романах «любовно-семейной» темы.

Действительно положительным героем для Виноградова являются отнюдь не «люди каких-то «избранных» профессий, определённого общественного положения», не «какая-то каста «интеллектуалов», куда закрыт доступ «простым людям». Подлинный глубокий демократизм... героев наших дней в том и состоит, — пишет критик в статье «О современном герое», — что они плоть от плоти и кровь от крови народа...» (с.253). Таким героем может быть и «интеллигент», и колхозник, и учёный, и рабочий — словом, самые обыкновенные люди, которые в своей повседневной деятельности пытаются принести как можно больше добра и пользы окружающим, — такие, как Иван Федосевич из «Деревенского дневника» Дороша или герои повестей и рассказов И.Меттера. Именно их Виноградов и рассматривает как положительных героев времени. Иван Федосевич, по выражению Виноградова, — «герой-практик». А «нравственные качества» «вырабатываются лишь в повседневной практике, в делах и поступках.

Абстрактной любви к людям вообще не существует, чувство рождается только при встрече с реальностью...», — пишет Виноградов в статье «О современном герое».

Авторская позиция, способ смотреть на вещи как у Меттера, так и Дороша — это особенная внимательность «к так называемым «мелочам жизни», к повседневному быту, делам, заботам обыкновенных, простых людей», и потому, подчёркивает Виноградов, в их рассказах, повестях и очерках «за цепью картин и деталей» «встаёт серьёзный общий смысл» («Об «уставных» словах...», с.255). Направленность их взгляда «имеет исходной и конечной точкой реального человека, его благо» («О современном герое», с.246).

«Последовательный» «активный» гуманизм отличает поступки положительных героев Меттера. Какое конкретное содержание их деятельности и поступков критик отождествляет с «реальной любовью к людям», с позиций активного гуманизма?

Алексей Иванович Городулин из повести «Алексей Иванович» — старый подполковник уголовного розыска. Он не блистает особым красноречьем, но сколько уголовников он сделал людьми! Ибо в своём отношении к делу Городулин руководствуется принципом — «хотя бы одного из сотен вора поставить на ноги...» (с.256); Николай Васильевич Сазонов — начальник гражданского розыска из рассказа «Сухарь» — отпускает двух скрывающихся алиментщиков, ибо, как считает Сазонов, «находясь на работе, они получают зарплату» и, следовательно, «на детей будут поступать деньги». «Законы и статьи, — говорит Николай Васильевич, — призваны улучшать жизнь людей. Их надлежит применять только так, чтобы от этого честному человеку жилось легче» (с.256).

Для героев И.Меттера, по словам Виноградова, «народ» — это не какое-то далёкое и отвлечённое понятие. «Конкретным, живым людям, с которыми сталкивает их судьба, отдают они свою жизнь, перед ними они чувствуют свою ответственность и мерой своей нужности им выверяют свои поступки» (с.256). Ничего необычного в этом, конечно, нет, пишет далее Виноградов, но «высокие слова, которые так дороги им, стали всеобщим достоянием», и у многих за этими словами «прикрывается ложь», лицемерие. А И.Меттер как раз и «обращает внимание прежде всего на общественную опасность лицемерия» (с.257). Профессор Мелентьев из рассказа «Встреча», «которому изменило счастье, потому что он — глупец! — на этот раз не сумел «угадать» веяния времени»; ревизор Галин из рассказа «Лещ», «который в ночном поезде, по дороге на рыбалку, видит, как люди едут на работу, и с ужасом думает: «Господи, и так они каждое утро!»; завуч сельской школы Нина Николаевна из рассказа «Директор», которая «проповедует высокие нравственные нормы, но не видит ничего предосудительного в том, чтобы спекулировать молоком на базаре», — «всех их роднит, — пишет Виноградов, — одно: они умеют и любят говорить высокие слова и часто даже искренне не верят, что не имеют на них права. Но не в этом ли пустословии, не в этом ли беззащитном жонглировании высокими словами подлинная общественная опасность? Не потому ли иной юнец, подышавший подобным воздухом, превращается в

циника? Вот о чём не могут не думать и герои, и сам автор. И мы, читатели»(с.257), — пишет Виноградов.

Но наиболее высокий уровень сознательной «реальной любви» к людям, приводящей к прямому противостоянию казарменной системе социализма, наиболее высокий пример народного защитника для Виноградова являет собой герой «Деревенского дневника» Е.Дороша Иван Федосеевич, председатель крупного колхоза. Это герой особого рода — не тот руководитель, которого обычно воспевала казённая литература, исходящая из того, что руководитель и является олицетворением лучших сторон системы, лучшим представителем народа. Иван Федосеевич — **руководитель, противостоящий системе эксплуатации**, взявший на себя тяжёлый крест быть буфером между колхозниками и властями во имя защиты интересов крестьян, по оттого и неугодный властям:

«Этот старый человек, «который вот уже более четверти века удачно руководит самым богатым здешним колхозом и почти всегда виноват перед начальством, потому что всё делает по-своему», вызывает истинное уважение — не тем даже, что у него удивительная хозяйственная сметка, а тем, что всегда, в любых обстоятельствах он видит перед собой людей, для которых он работает, и находит в себе и силы и мужество поступать всегда так, как это будет лучше для них. Потому-то и «горой» за него колхозники, потому-то и руководит он больше четверти века своим колхозом, потому-то и оказывается он в конечном итоге всегда прав, потому-то и верят в него люди и пойдут за ним, как говорится, «в огонь и в воду» («О современном герое», с.253).

Вот почему для Виноградова, по его же словам, Иван Федосеевич является «одним из самых больших приближений» в современной литературе «к образу того нашего современника, которого мы можем назвать истинным героем наших дней» («О современном герое», с.253). Скрытой логикой нравственно-психологического анализа образов таких героев, как Иван Федосеевич, критик подводил читателя к тому пониманию «положительности» человека, которое, в сущности, было ориентировано прежде всего именно на **противостояние существующей антидемократической системе**.

Так, тот общий идеал «свободного», «суверенного» человека, который утверждал критик в рассмотренных нами ранее статьях, конкретизируется и смыкается, как видим, с принципом реального альтруизма, реальной любви к другому. Свобода, суверенность личности для критика не есть, таким образом, самоцель, а лишь условие нахождения «правильного» ориентира для жизни человека в данном конкретном обществе. Критерием же «правильности» общественной позиции человека, нравственных и духовных ценностей человеческой личности для Виноградова становится сопротивление бесчеловечному режиму, невозможное без «реальной любви к людям», без реального «вниманию к шм», — «не на словах, а на деле».

Этот последний критерий вносит, таким образом, как видим, существенно новый содержательный элемент в тогдашнюю виноградовскую концепцию нравственности и нравственного человека.

Однако общественная и нравственная позиция, вдохновляемая «реальной любовью» к людям, реализуется в конкретных условиях политического и социально-экономического человеческого бытия. И если, как уже сказано,

она неизбежно ведёт, по логике Виноградова, к тому или иному противостоянию режиму, то на чём основана у Виноградова такая логика? Иными словами, — как видит, понимает и как объясняет он читателю те условия, которыми определяются в советском обществе социально-производственные отношения людей, на каких морально-политических принципах строятся в нём взаимоотношения «управляющих» и «управляемых» и почему именно «реальная любовь к людям» требует решительного противостояния этим условиям и принципам?

Ответы на эти вопросы мы находим в статьях Виноградова, посвящённых «деревенским» очеркам В.Овечкина и Е.Дороша, а также в статье о романе К.Симонова «Живые и мёртвые». Знакомство с этими работами критика даёт нам возможность увидеть теперь тот окружающий его «реального человека» внешний мир, те социально-экономические и морально-политические объективные обстоятельства его существования, с которыми и сопряжена настойчиво звучащая в работах критика тема свободного суверенного человека, которые и объясняют его повышенный интерес к разработке нравственной и общественной программы поведения человека.

4. ТЕМА НАРОДА. МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «УПРАВЛЯЮЩИХ» И «УПРАВЛЯЕМЫХ»

А. ВОЕННАЯ ТЕМА

Статья Виноградова о романе К.Симонова «Живые и мёртвые» («**Во имя живых**», 1960, 6) обращена к одному из самых значительных периодов жизни советского общества — к годам второй мировой войны. Естественно, что попытка переосмысления тех или иных событий военных лет (как и самой истории войны в целом), которые совершенно превратно изображались официальной казённой пропагандой, была одной из важных задач просветительской политики «Нового мира». Виноградов вслед за художником пытается восстановить контуры подлинных событий первых месяцев войны.

Отечественная война явилась серьёзной проверкой советской политической системы и системы нравственных ценностей советского общества на прочность. Внимание критика приковано к тем коренным противоречиям между государством и личностью, между властью и народом, которые обнажила война и которые дали мощный толчок к реформам общественного и политического устройства, связанным с именем Хрущёва. Именно с этой точки зрения и рассматривает роман И.Виноградов.

Роман Симонова затрагивает один из трагических моментов военной эпохи — «внезапное» нападение и первые месяцы войны, и потому естественно стимулирует у читателя вопрос: почему же так вышло?

Этот вопрос, как пишет Виноградов, настойчиво звучит на протяжении всего романа (с.213), и его задают себе самые разные люди, но осознают

его «в зависимости от меры того, что они знают и понимают» (с.213). Наиболее четко и определённо, по словам критика, выражает своё горькое недоумение генерал Серпилин, «который знал Сталина давно и не мог поверить, что ему не докладывали», «не мог без насилия над собой представить, как такого человека можно было обмануть...» (с.213). Пользуясь правами старой дружбы с заместителем начальника Генерального штаба, Серпилин прямо спрашивает его об этом, пытаясь разрешить свои сомнения:

«Слушай...Ты на этом же самом месте накануне войны сидел. Скажи мне: как вышло, что мы не знали? А если знали, почему вы не доложили? А если он не слушал, почему не настаивали?!...!»

И в ответ.

«Молчи! Врать не хочу, а отвечать не могу!...» (с.214).

Ответа на вопрос «почему так вышло?» в романе нет. Виноградов объясняет этот факт художественной авторской установкой на психологическую аутентичность: «то, чего не понимали и не могли понять герои романа, стало проявляться лишь значительно позднее» (с.214).

Кто же виноват в гибели стольких людей? Виноградов отвечает на этот вопрос, прибегая к материалам воспоминаний маршала А.И.Ерёменко:

«Опоздание с распоряжением о приведении войск в боевую готовность связано с тем, что И.В.Сталин... верил в надёжность договора с Германией и не обратил должного внимания на поступающие сигналы о подготовке фашистов к нападению на нашу страну, считая их провокационными» (с.214).

Но если Сталин верил Гитлеру, то он в то же время совсем не доверял народу, от имени которого руководил страной, — народу, который верил в Сталина. Тема веры— доверия—недоверия становится одной из стержневых в романе Симонова.

Недоверие Сталина народу проявилось не только в истреблении лучших представителей этого народа в тридцатые годы, в уничтожении лучшего генеральского и офицерского состава накануне войны и в назначении на командные посты людей стратегически безграмотных (таких, как герой романа Козырев, возведённый Сталиным прямо из полковников в генерал-лейтенанты), но и в неверии Сталина в простых солдат, в народ в целом.

Тема недоверия к человеку звучит в связи с несчастьем Синцова, который утерял партбилет и в искренность которого никто не верит. Она, отмечает Виноградов, звучит и в других картинах романа, однако точнее всего она обозначена, как пишет критик, «в злых раздумьях комиссара Шмакова: «Эх, дорогой товарищ, мы с вами в последнее время слишком часто и слишком рано начинали думать, что человек не внушает доверия, а потом поздно спохватились, что он всё-таки внушает его!» (с.215).

Любимый принцип Сталина — подозревать всех, никому не доверять — и есть тот принцип, который был возведён им в этическую норму социальных и политических отношений, одна из тех главных причин, которые объясняют гибель миллионов людей в первые дни войны. Характерен в этом смысле эпизод из романа, в котором описывается гибель вышедшего из окружения и направленного на переформирование полка Серпилина, разоружённого перед этим уполномоченным Особого отдела майором Даниловым.

«Не дай бог никому в последние минуты перед смертью видеть то, что увидел Данилов, — пишет Симонов, — и думать о том, о чём он думал. Он видел метавшихся по дороге, расстреливаемых в упор немцами безоружных, им, Даниловым, разоружённых людей. Только некоторые, прежде чем упасть мёртвыми, делали по два, по три отчаянных выстрела, но большинство умирало безоружными, лишёнными последней горькой человеческой радости: умирая, тоже убить» (с.215).

Трагические сцены гибели людей в первые дни войны сменяются во второй части романа Симонова сценами, рисующими героизм и подвиг народа.

Кому же обязаны мы победой? Вот второй вопрос, который ставит в этой статье Виноградов.

«Ведь в том-то и дело, — пишет критик, — что, хотя миллионы людей не были готовы к тому, что произошло, всё-таки «страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души». И хотя в первые дни эта «тяжесть многим из них и показалась нестерпимой... они же сами потом и вытерпели её» (с.216)

«Открытый, лирический образ сердца — израненного, изорванного, но упорно бьющегося, всё вынесшего сердца народа, — пишет Виноградов; — и есть та суровая и чистая нота, которая звучит в авторском повествовании о мужестве простых советских людей и определяет весь его смысловой и эмоциональный тон» (с.218).

Сцены и образы, определяющие, по словам критика, подлинный пафос романа, связаны именно с простыми людьми — с «обаятельной маленькой докторшей», которая «всё, что с ней происходило и что приходилось ей делать, воспринимала как нечто само собой разумеющееся»; с пятью солдатами-артиллеристами, которые, «пробиваясь из окружения со своим орудием, шли от самого Бреста...» (с.218).

Таким образом, как пишет Виноградов, «объективный смысл романа может быть понят лишь как идейный и эмоциональный итог художественного «взаимодействия» начальных горьких картин романа, сцен, ведущих к художественному осмыслению тех жгучих вопросов, которые волнуют героев, и картин мужества и стойкости народа, рисующих его историческую роль и показывающих меру его жертв» (с.219).

Значение романа Симонова Виноградов видит в том, что он «художественно утверждает ту великую и простую истину, что именно он (народ. — Н.Б.) — решающая сила истории» (с.216), что победой мы обязаны именно народу, а не Сталину.

Эти выводы критика вступали в прямое противоречие с официальной концепцией, ибо в то время, когда писалась эта статья, ещё очень прочно бытовало мнение о том, что Сталин, несмотря на ряд допущенных им политических ошибок в ходе войны, был всё-таки творцом нашей победы. При всех разоблачениях, которые сделал на 20-ом съезде Хрущёв в своём докладе, критика Сталина в 60-е годы оставалась ещё очень осторожной. Так, официально допускалась лишь критика отдельных личных недостатков и некоторых ошибок Сталина, но в целом его роль в деле строительства социализма, а также в победе над Германией не отрицалась. Как видно из статьи, задача Виноградова и состояла в том, чтобы показать, что говорить

о Сталине, о его роли во время войны в такого рода интонациях неприемлемо: не Сталин, а те процессы, о которых рассказывает Симонов применительно к первым годам войны (особенно в сцене встречи Серпилина с пятью солдатами-артиллеристами), — они и только они оказались решающими в объединении народа, в возникновении того духа Отечественной войны, который и обеспечил конечную победу. Именно эта мысль, эта правда «определяют, в сущности, подлинный пафос романа» (с.218), пишет Виноградов.

«Не признаем ли этой решающей роли (народа в победе. — Н.Б.) было обращение Сталина к народу 3 июля 1941 года? И тот известный тогст в честь русского народа на кремлёвском приёме в 1945 году, когда Сталин сказал о его ясном уме, стойком характере...» (с.218).

Сейчас эта, осторожно, но настойчиво проводимая Виноградовым в статье историческая концепция кажется совершенно бесспорной и общепризнанной, но в годы, когда писалась статья, она была достаточно новым и смелым словом правды о войне и соответствовала новомирской просветительской политике.

Каковы же исторические уроки, которые мы можем почерпнуть из опыта войны? «Народ помнит о жертвах, принесённых им...» (с.220), — пишет Виноградов, и «властное право мёртвых требует от нас мужества, решительности и последовательности» в нашей сегодняшней жизни и поступках. Что это означает? — Тяжёлый опыт войны показал, что взаимоотношения человека с властью — на любом уровне управления — должны строиться не на вере, а только на доверии или недоверии; что человек в первую очередь должен верить только в самого себя.

В. ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Доверие—недоверие к «управляющим», вера человека в самого себя являются постоянными мотивами статей Виноградова, посвящённых исследованию и так называемой «деревенской» прозы.

Вспомним строки из статьи «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева»:

«Хорошо, конечно, когда люди верят больше в председателя колхоза, чем в бога. Но лучше ставить перед собой другую задачу: чтобы люди не заменяли бога председателем колхоза, а больше верили в себя, в свои силы» (1958, 9, с.255).

В другой статье Виноградова звучит тот же мотив:

«Если раньше вера в колхоз была основана на вере... в председателя, то теперь эта вера всё больше будет строиться на вере в свои силы, в свой коллективный ум, и не на вере, а на доверии... к председателю», — таковы выводы Виноградова по прочтении романа Михаила Жестева «Золотое кольцо» («Точка опоры», 1959, 1, с.217).

В предыдущей главе настоящей работы мы немало говорили о том, чего стоил крестьянам и обществу в целом колхозный эксперимент. Добавим, что бедственное положение в колхозах, сложившееся к началу пятидесятых годов, констатировала даже «Правда» от 7 марта 1964 года:

«Заготовительные цены были настолько низкие, что колхозы не могли за счёт продажи продукции возмещать даже производственные затраты. Труд большинства колхозников практически не оплачивался. Так, например, на один трудодень в 1952 году выдавалось: в Калужской и Тульской областях — 1 копейка, в Рязанской и Липецкой — 2 копейки, в Брянской и Псковской — 3 копейки, в Костромской и Курской — 4 копейки. Многие колхозы годами не выдавали на трудодень ни одной копейки...»(14).

Всё это не могло не сказаться на характере взаимоотношений людей, работающих на земле. Нравственная деградация деревни, несмотря на различные способы стимулирования «колхозного» сознания, — это тема, исследованием которой занимались многие писатели—«деревенщики» со второй половины 60-х гг., показывая зависимость нравственных отношений в деревне от экономических. Об этом писал и Ю.Буртин в своих работах позднего новомирского периода. Об этой зависимости говорит и И.Виноградов — в частности в своей рецензии на повесть В.Распутина «Деньги для Марии» («Чужая беда», 1968, 7):

«Уровень хозяйственной самостоятельности деревни, мера реальной ответственности каждого крестьянина за дела в колхозе и мера его реальных возможностей» определяют, «будут ли чувствовать себя люди в колхозе связанными не просто общностью работы «на производстве», но той единой человеческой семьёй, где каждый за всех и все за одного» (с.248).

Итак, характер общественного «самочувствия» людей, нравственный и психологический климат их совместной жизни определяются прежде всего политическими и экономическими условиями их жизни. Каковы же эти экономические условия? — вот вопрос, который совершенно естественно оказался в центре внимания разбуженной советской общественной мысли. Он обозначил собою одну из центральных и самых острых тем, на которую направила эта мысль пристальное исследовательское внимание.

Три новомирские работы И.Виноградова — о романе М.Жестева «Золотое кольцо», о «деревенских» очерках В.Овечкина и Е.Дороша — характерны прежде всего с этой точки зрения. Они являются своего рода литературно-критическим синтезом результатов того общего социально-экономического исследования деревенской жизни, которое совершалось поэтапно и было проделано советской литературой 50-х — начала 60-х гг. в целях выяснения реальных причин крайне бедственного положения жизни колхозника и катастрофического положения сельского хозяйства в целом.

Основным источником служат для критика сельские очерки тех лет — и прежде всего творчество Овечкина и Дороша. И это не случайно. В этой связи имеет смысл напомнить о том, что Виноградов и сам в своих работах неоднократно и специально останавливается на этом моменте, поясняя, почему именно очерковым жанром прежде всего откликнулась литература на общественную потребность исследования реальной жизни деревни и почему вообще именно деревенская проблематика оказалась в центре внимания общества.

«Лет восемь—десять назад, — пишет Виноградов в статье «Деревенские» очерки Валентина Овечкина» (1964, 6), — очерки о деревне печатались вступу, в небывалом доколе количестве... Впрочем, новую, явственную полосу

своего расцвета переживал тогда, как помним, и очерковый жанр в целом». Это произошло потому, что «бурное развитие общественного сознания, начавшееся после 1953 года, всем нам памятный 1956 год... — вся эта недавняя эпоха напряжённейшей работы общественной мысли поставила перед каждым из нас — если использовать известное выражение Плеханова из статьи о Глебе Успенском, — «целый ряд вопросов, которых нельзя было решить, не отдавши себе предварительно отчёта в том, как живёт, что думает и куда стремится наш народ»./.../ Нужного знания обществу нашему... явно не хватало, знало оно о себе не так уж много, хотя и не по своей вине, — и на повестку дня встало прежде всего изучение реальных фактов (с.207)/.../

Пробил действительно час очерка. И прежде всего очерка деревенского».

Почему именно деревенского?

«Во-первых, потому, — поясняет Виноградов, — что именно жизнь нашей деревни, наше сельское хозяйство были признаны тогда, как говорится, «самым отстающим участком нашего строительства»;

«во-вторых же, нельзя не признать, что исследование колхозной действительности давало очеркисту возможность затронуть проблемы такой широты и значения, к каким едва ли мог он выйти на другом материале.

Колхоз — эта небольшая ячейка нашей общественной системы — это своего рода маленькое советское «общество», как бы воспроизводящее в микромасштабе многие характерные особенности жизни «большого» общества, всей страны. — колхоз представляет собой с этой точки зрения действительно чрезвычайно интересный объект изучения» (с.208).

Как видим, ответ Виноградова совпадает в принципе с тем, который даёт на этот вопрос, как помним, и Ю.Буртин в своих деревенских «штудиях», — и для Виноградова, и для Буртина социально-экономические отношения в деревне есть прежде всего чрезвычайно реальная и потому особенно удобная для анализа модель всей экономической и политической структуры советского государства.

а) «ДЕРЕВЕНСКИЕ» ОЧЕРКИ ВАЛЕНТИНА ОВЕЧКИНА» (1964, 6)

Посмотрим же, какие стороны этой модели привлекают преимущественное внимание Виноградова и как использует он результаты тех исследований деревенской жизни, которые были проделаны «деревенским» очерком 50-х — 60-х гг. Обратимся в этой связи прежде всего к статье «Деревенские» очерки Валентина Овечкина» (1964, 6). Это первая крупная статья из цикла его работ о деревне.

Отметим, во-первых, что И.Виноградов начинает свою статью несколько как будто бы неожиданно — с характеристики художественных и стилистических особенностей очерков В.Овечкина. Однако это не случайно. Овечкин, замечает он, «пишет в жанре так называемого очерка-рассказа: с персонажами, действием, даже сюжетом — и притом в манере «объективного» повествования, когда автор только изображает, рассказывает, но никогда не выступает от своего имени. Тем не менее «пробладание социологии над литературой», страстная увлечённость этой социологией чувствуется здесь во всём. Очерк строится у него часто на одних почти разговорах, беседах, спорах и т.п., в кои главным образом и проявляют себя его персонажи...» (с.208), причём эти монологи и диалоги

порою по своей условности и объёму переходят уже все границы, приемлемые для жанра очерка-рассказа. И это, конечно, объясняется всё той же внутренней публицистической нацеленностью его очерков — его всегдашней установкой на «наибольшую ясность и полноту изложения той или иной проблемы», которую он затрагивает. Овечкину всегда свойственна именно такая «публицистическая обнажённость проблемы», он её «формулирует всегда предельно отчётливо и вместе с тем обобщённо, выявляя её место, её масштаб в ряду прочих забот сельской жизни...» (с.208), и в этом — суть его очерковой прозы. Конечно, это «не значит, — оговаривается Виноградов, — что В.Овечкина не интересует пластическое, художественное воспроизведение действительности — очерки его отнюдь не просто беллетризованные социально-экономические трактаты — в них есть и правда характеров, и живая непосредственность деталей». «Но всё-таки публицистический пафос, устремлённость к непосредственному «интеллектуальному» общению с читателем — всегда у В.Овечкина на первом месте» (с.209). Это обстоятельство и позволяет критику мотивировать свой подход к анализу его очерков — объяснить, почему он считает возможным сосредоточить своё внимание прежде всего именно на содержательно-публицистической их стороне. Так, жанрово-эстетическая характеристика исследуемого материала, не выводя статью Виноградова из рамок именно литературной критики, вместе с тем обеспечивает и даже как бы оправдывает особенностями самого этого материала её преимущественный наклон тоже в сторону публицистики.

Чем же привлекает Виноградова содержательная сторона очерков Овечкина? Какая публицистическая логика ведёт его в её изучении?

Виноградов строит свою статью на внимательном прослеживании той довольно сложной эволюции, которую проделал Овечкин в понимании проблем крестьянской жизни, начиная со своего первого очерка (который датируется 1952 годом) и кончая последним — «Трудной весной», датируемой 1956-м. И эту эволюцию он прослеживает прежде всего применительно к той, как он пишет, «склонности» Овечкина «к составлению всякого рода «программ» практической деятельности», которая является отличительной чертой его очерков. «Эмоциональные истоки этой программности», характерной, кстати, не для одного Овечкина, понятны, замечает Виноградов. Это «безобразие» в колхозах и страстное желание Овечкина и других очеркистов реально помочь «живым людям, работающим на колхозных полях», попытаться воздействием своего слова на тех, от кого зависит их жизнь, улучшить её коренным образом. Такой взгляд на своё назначение и такой подход к изучению деревенской жизни — «святая святых» нашего «деревенского» очерка, но в том-то и дело, подчёркивает Виноградов, что реальное, конкретное содержание этого «святого святых» в начале того пути, который прошёл «деревенский» очерк в целом и Овечкин в частности, и в конце этого пути — вещи совершенно разные.

В самом деле, с чего начинал тот же Овечкин?

Если прибегнуть, пишет Виноградов, к помощи Мартынова, главного героя его очерков, то «суть» «исходных представлений» «о характере изучаемой действительности, с которой начинал свой «путь познания»

В.Овечкин и любой другой наш деревенский очеркист», «можно было бы выразить так:

«Колхозы для нас не только — производители хлеба, мяса, молока, овощей и пр. Колхозы — это люди, тысяча, полторы, две тысячи людей, которые должны жить хорошо. Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян, для улучшения их жизни. Мы, партия и советская власть, взяли на себя ответственность за судьбы нашего крестьянства, обещали им в колхозах справедливую, материально обеспеченную, культурную жизнь, и мы должны добиться этого всюду... Для чего же мы и существуем, коммунисты, как не для того, чтобы сделать жизнь во всех колхозах богатой, радостной!...»(с.212).

Вот то убеждение и одновременно как бы та общая исходная программа действий, с которых начинал В.Овечкин и которые определили собою, в частности, содержание его первого очерка («Районные будни» (1952 г.)), главными действующими лицами которого были первый секретарь одного из сельских райкомов партии Виктор Семёнович Борзов, сменивший его на время его отпуска второй секретарь того же райкома — Пётр Илларионович Мартынов и председатель самого богатого в районе колхоза «Власть Советов» — Демьян Васильевич Опёнкин. Но как реально, конкретно представлял себе тогда Овечкин практические пути осуществления этой общей программы?

Виноградов показывает это, обращаясь к чрезвычайно значительному с этой точки зрения разговору главного овечкинского героя Мартынова с Опёнкиным, которым открываются «Районные будни». Разговор этот касается одной из самых больших для Опёнкина, председателя богатого колхоза, проблем — богатым колхозам, таким, как колхоз Опёнкина, приходится выполнять государственные хлебопоставки за отстающие колхозы. Выполнять под нажимом партийного руководства, в результате чего они не в состоянии значительно улучшить жизнь своих работников. А «отстающие» колхозы не в состоянии выполнить государственный план по той простой причине, что «на трудовень — крохи, потому что был плохой урожай, плохо работали колхозники, а плохо работали потому, что и в прошлом году получили мало хлеба по трудовням» (с.213). Так в сознании Мартынова возникает мысль о **законцованном круге**. Как его разрешить?

С этой проблемой, как показывает Виноградов, и связана первая «программа» Овечкина. Как и его герой Мартынов, он считает в этот период, что «всё дело в председателях», — «найти хороших председателей», таких как Опёнкин, «для отстающих колхозов — и дело пойдёт»: «с этого нужно начинать! Искать людей! Без этого — провалимся с треском!..» (с.213).

Итак, **«всё дело в председателях»**. «Убеждение это было, — пишет Виноградов. — первой «программой» не одного только В.Овечкина. С этого вывода... начинал свой путь изучения сельской жизни почти каждый наш деревенский очеркист пятидесятых годов. Но именно начинал. В дальнейшем же пути разделились — у каждого была своя преимущественная сфера внимания, свой круг наблюдений и интересов. М.Жестева, например, больше привлекает конкретное изучение работы председателя колхоза.» (с.213)(15). эволюция же Овечкина состояла в том, что он всё более

убеждался: «на пути осуществления этой всем очевидной как будто бы в своей необходимости, однако же всё ещё почему-то не осуществлённой меры» есть очень серьёзные препятствия (с.214). И препятствия эти обнаруживают себя уже в сфере взаимоотношений таких специалистов дела, как Опёнкин, и, так сказать, командующих ими «комиссаров». Иными словами — председателей колхозов и их партийных начальников из райкомов и обкомов. Недаром Опёнкин в ответ на обещание Мартынова не давать больше его колхозу дополнительного плана резонно замечает: «Это пока ты правишь тут за первого. А придет Виктор Семёнович? Скажет: «Ну-ка, потряси ещё Демьяна Богатого!..»».

И Опёнкин, продолжает свой анализ Виноградов, оказывается пророком: приезжает Виктор Семёнович Борзов и действительно начинает «шуровать». «Стране нужен хлеб!» — вот главный его аргумент. И несмотря на все доводы Мартынова о том, что завышением плана богатым колхозам не поправить состояния отстающих колхозов, Борзов стоит на своём. Ибо он живёт в иной реальности, по другим законам: «Обком, думаете, согласится ждать, пока мы здесь эту самую справедливость будем наводить? Что мы реально сможем поднять в этой пятидневке? Что покажем в очередной сводке?» (с.215). Иными словами, перед нами функционер, которого живые люди совсем не интересуют, равно как и реальное улучшение состояния сельскохозяйственного производства. Он существует в другой системе ценностей, он не принадлежит земле — он принадлежит бюрократической системе, а системе этой он нужен лишь как сборщик оброка, как надзиратель и погоняла. А это значит, что, пока он властвует, никакие Опёнкины, даже если их найти для всех отстающих колхозов, дела не спасут.

Так, на пути вроде бы найденного решения — «искать хороших председателей» для улучшения сельской экономики и жизни колхозников — Овечкин обнаруживает такое серьёзное препятствие, как «борзовщина». А отсюда — прослеживает Виноградов дальнейшую эволюцию взглядов Овечкина — и его новый лозунг: надо «ликвидировать бюрократическое администрирование в руководстве колхозами!» (с.216). Тем самым «первая» его «программа» дополняется второй — на очередь дня становится борьба с «борзовщиной», поиски путей её изживания» (с.216).

Как же развёртываются, однако, эти поиски, к чему они приводят?

Поначалу, замечает Виноградов, Овечкин «вместе со своим героем искренне убеждён, что дело может быть решительно подвинуто вперёд на той же объективной основе, без каких-либо существенных преобразований экономической, например, сферы сельскохозяйственного производства — одной лишь заменой Борзовых на Мартыновых и обеспечением колхозов кадрами таких председателей, как Опёнкин» (с.217). И за эту, кажущуюся теперь такой удивительной, слепоту Овечкина, искренне полагавшего, что вся проблема именно в замене «плохих» на «хороших», критик вовсе не осуждает его: «...Не забудем, — пишет Виноградов, — что «Районные будни» появились ещё при жизни Сталина, до известных решений сентябрьского Пленума КПСС («Новый мир», 9, 1952). Может быть, тогда станет яснее, что в подобном подходе к анализу «борзовщины» нет ничего удивительного. Ибо, если уж говорить по справедливости, — продолжает

критик. — удивляться приходится не тому, что В.Овечкин сразу же не поставил вопрос более основательно /.../, но тому приходится удивляться, что всё же именно сфера руководства сельским хозяйством была взята В.Овечкиным для «обсуждения» и исследования — и притом обсуждения и исследования критического. По тем временам это было актом большой гражданской и писательской смелости, особенно если учесть, что подвергнутая критике «борзовщина» — явление действительно типичное и, стало быть, отнюдь не бессильное и безответное» (с.217).

Зато всего через год — два первоначальные иллюзии Овечкина в отношении реальности своей «второй программы» начинают постепенно развенчиваться. В трёх очерках 1953—1954 гг. — «На переднем крае», «В том же районе», «Своими руками» — наше знание о «борзовщине», констатирует Виноградов, существенно пополняется, «формула обвинения «борзовщины» редактируется, дополняется, становится всё более строгой» (с.218). А в последнем очерке цикла — «Трудная весна» (1956г.) — этот феномен оказывается и вообще уже в самом центре внимания Овечкина — Мартынов уступает здесь своё место «всякого рода бюрократической нечисти — всё для того только, чтобы было ей где развернуться!..» (с.218), чтобы снова дать ей возможность проявить себя перед нами. Так, «у кормила власти в районе становится второй секретарь райкома Василий Михайлович Медведев» — «незаметный и тихонький при Мартынове, он показывает теперь себя во всей красе...»; недаром в районе его называют «младшим братом Борзова» (с.219). «Вам не удастся лишить нас, райком партии, права руководить!.. Не вы руководите районом, а мы!.. И колхозы мы вам на откуп не отдадим! Райком партии руководил и будет руководить колхозами! Мы свои обязанности знаем! А вы, товарищ директор МТС, знайте своё место!..» (с.219), — вразумляет он непокорного подчинённого. А ещё один «борзовец» — один из секретарей обкома, некий Масленников, «такой же «погоняло и толкач», по выражению Мартынова», — так отчитывает того же Долгушина: «Выговоры, видите ли, много ему записали! Областные организации администрируют! Обижают, унижают человека! Лучше надо работать — вот и меньше будет выговоров!.. Райкома вы, как видно, совершенно не боитесь...» (с.219).

Так, развёртывая перед нами в «Трудной весне» «парад «борзовщины» в полном её блеске» (с.219), В.Овечкин всё более внимательно вглядывается в её главную функцию и роль — роль погонялы, толкача и надзирателя. И здесь уже, констатирует Виноградов, продолжая вглядываться в постепенное изменение взглядов Овечкина, ему приходится сказать нам уже и «нечто действительно новое» относительно проблемы ликвидации «борзовщины» (с.220).

Виноградов обращается в этой связи к одной из последних сцен «Трудной весны», где, как считает он, наиболее полно выражены эти наблюдения Овечкина. Это сцена разговора Мартынова с первым секретарём обкома партии Крыловым, который ласково-снисходительно (ибо хорошо к нему относится) называет Мартынова «идеалистом» и «донкихотом», разъясняя ему, почему и такие толкачи и погонялы, как, например, Масленников, тоже нужны обкому. Он нужен именно потому, что «никто не может так,

как он, расшевелить бездельников, создать в районе мобилизационную обстановку вокруг какой-то кампании»:

«Вот сейчас. — говорит Крылов, — нам нужно за лето парить много трапшей на то количество силосной массы, что мы получим... И что ж ты думаешь, если пустить это дело на самотёк, не нажимать, не приказывать, не угрожать наказаниями, будем мы иметь траншеи? Заверения и обещания — вот что мы будем иметь, а не траншеи!.. Плохо ты знаешь наши кадры!.. Есть такие секретари райкомов и председатели райисполкомов, что только лишь тогда и начинают чуть шевелиться, когда получают предупреждение или выговор... Нет, брат, нужны нам ещё и толкачи, и погонялы!» (с.220).

И вот Виноградов приступает к анализу этого диалога. Это — центральное место его статьи, её смысловая кульминация, к которой постепенно вёл весь предыдущий анализ. Всмотримся внимательнее в ход его рассуждений.

Итак, говорит Виноградов, в результате получается, что если не нажимать, не приказывать, работа не будет выполнена в колхозах. И Крылову, видимо, можно поверить: «опыт у него есть, не просто так он бросает эти слова». «Но разве секретари райкомов, — иронически спрашивает критик, — роют траншеи и поднимают зябь, сеют и убирают хлеб? Это дело председателей колхозов, а ещё точнее — колхозников». И, значит, это по милости колхозников «получают нагоняи секретари райкомов», а весь партаппарат по «накачке» и существует именно для того, чтобы колхозники «вовремя и добросовестно делали всё, что положено делать земледельцу»: секретари обкомов накачивают для этого секретарей райкомов, те, в свою очередь, — председателей колхозов, а председатели — колхозников (с.221). Следовательно, вся эта «передаточная система», как выражается Виноградов, существует лишь «ради исправного функционирования» того реального механизма, который и лежит в основе советского сельского хозяйства. Ну, а раз это так, «раз «профессия» погонялы признаётся профессией нужной и полезной», по логике Крылова, то «что же удивляться, что не обходится дело без «излишеств»: «люди не ангелы», не все сумеют устоять против «наиболее простых и доступных форм «накачки» — крика, угроз, наказаний, администрирования и т.п. Лес рубят — щепки летят. Вот где, дорогой товарищ Мартынов, — мог бы сказать своему коллеге Крылов, — реальные истоки той самой «борзовщины», которую ты так ненавидишь»(с.222).

Крылов мог бы сказать Мартынову и другое. — продолжает свою мысль Виноградов, — «вот ты мечешь грома и молнии против Борзовых», а «разве сам ты избавлен от необходимости быть тоже своего рода «погонялой» и «толкачом»? Ведь ты же сам признаешь — да, «план районный надо выполнить». И выполняешь. Так что ж, не приходится тебе при этом иной раз- и нажимать, и требовать, и наказывать иных председателей, колхозы которых срывают тебе это выполнение?».

«Но ведь, осознав эту ситуацию, — завершает свой анализ этого разговора Виноградов, — мы снова возвращаемся к той же всё проблеме «закодированного круга», с которой и начинал как раз В.Овечкин свой «путь познания!»» (с.223). Или что же — нет из него никакого выхода? И Овечкин завершает свой «путь познания» безнадёжным тупиком?

Нет, это не так, показывает Виногорадов, напоминая, что путь к действительному разрешению проблемы «заколдованного круга» Овечкин начал пацупывать уже в очерке «На переднем крае», в сцене разговора Мартынова с семидесятилетним колхозником Тихоном Андреевичем Ступаковым, который уверен, что ни к чему было делать разделение на колхозы и совхозы. Совхозы, по его мнению, лучше, ибо там твёрдая зарплата, а в колхозе «не знаешь наперёд, что на трудодень получишь», да и меньше там страдают от плохого директора, чем колхозы от плохого председателя. «Конечно, замечает под конец Ступаков, я бы и в колхозе работал, «кабы знал, что мой труд — хозяйству в прибыль, и что моё заработанное не пропадёт!..».

Виногорадов констатирует, правда, что хотя Овечкин здесь явно на стороне колхозника, но идёт ещё только 1953 год и он «только начинает ещё», в сущности, задумываться над действительной значимостью слов деда Ступакова, так что прежняя «формула Мартынова остаётся для него пока что в силе». Однако «мы наблюдаем, — продолжает критик, — как с каждым годом, параллельно возрастающему вниманию к проблемам руководства сельским хозяйством, возрастает внимание В.Овечкина и к тому, что услышал он от деда Ступакова» (с.225). И в последнем очерке — в «Трудной весне» — по записям из дневника Мартынова можно видеть уже, «насколько изменились здесь позиции главного героя В.Овечкина»: Мартынов начинает, наконец, действительно понимать интересы деда Ступакова, интересы простого колхозника, суть которых требует признания той простой истины, что для «резкого и крутого подъёма колхозов» нужна прежде всего прямая «материальная заинтересованность» в этом самих колхозников (с.225). Иными словами, истина состоит в том, что «проблема «заколдованного круга» — это прежде всего **проблема объективных экономических условий**», заключает Виногорадов.

И здесь критик подходит к итоговой точке своего анализа. Материальная заинтересованность... Но что же в этом существенно нового? — сам задаёт себе возможный читательский вопрос Виногорадов. — Кто об этом не писал, кто этого не знает?..

Тут важен, однако, замечает он, именно сам подход В.Овечкина к проблеме материальной заинтересованности. Ведь «можно смотреть на материальную заинтересованность как на экономический рычаг «подталкивания» колхозника к работе на колхозных полях, действующий по принципу: если хочешь иметь нужные минимуму средств к существованию — работай, не будешь работать, не получишь и этого /.../. Это будет, — пишет критик, — несомненно, материальная заинтересованность — но заинтересованность довольно грустная, заинтересованность безвыходности» (с.225—226). А ведь В.Овечкину, как мы помним, нужно другое. Ему нужен «настоящий, резкий и крутой» подъём колхозов, «богатая, радостная» жизнь колхозников» (с.226), и, следовательно, такая материальная заинтересованность, которая именно и «способна гарантировать» эту «богатую, радостную» жизнь в колхозах» («а тем самым — и резкий рост продукции колхозного производства» (с.226)).

Правда, замечает критик, В.Овечкин, отвечая на вопрос о том, какая же это должна быть материальная заинтересованность, чтобы «гарантировать»

такую жизнь, не доходит до постановки «конкретных экономических вопросов, которые уточняют и переводят на язык строгих экономических расчётов и показателей задачу создания искомого условий» для такого рода материальной заинтересованности. Он, констатирует Виноградов, даёт ответ лишь как литератор-социолог, литератор — исследователь социальной психологии» (с.226). Но ответ этот тем не менее настолько определёнен и точен, что, в сущности, его экономический эквивалент тоже достаточно очевиден. «Никогда ничего плохого не случится с колхозом, — говорит В.Овечкин устами Долгушина, — если у колхозников будет высоко развито чувство коллективного беспокойства за своё добро, чувство хозяев своей жизни. Это самая верная страховка от всех бед!» (с.226).

«**Чувство хозяина!**.. — подхватывает Виноградов эту овечкинскую формулу... — Конечно, именно так! Человек только тогда по-настоящему делает своё дело, когда он хозяин своей судьбы, хозяин своего дела» (с.227).

«Много раз мы читали и в очерках, и особенно в фельетонах о том, — поясняет Виноградов, — как какой-нибудь старик... что давно уже законно числится согласно колхозной документации нетрудоспособным, творит на своём приусадебном огороде настоящие чудеса. И доходы у него приличные... И всё за счёт участка... Частник типичный, конечно, говорим мы... Но ведь посмотреть любо-дорого, что делается на маленьком клочке приусадебной земли у этого частника! /.../

А мы... Сколько лет мы поднимаем отстающие колхозы?..

Вот и нужно, стало быть, чтобы колхозник чувствовал себя в своём колхозе таким же хозяином, как и на приусадебном участке» (с.227), — приступает Виноградов к осторожному формулированию уже и собственного своего итогового тезиса в отношении центральной социально-экономической проблемы советской деревни.

Ведь «чувство, — напоминает он, — не возникает на пустом месте, — чтобы ощущать себя хозяином... нужно им быть» (с.227) — **быть реально, экономически и юридически**. Что это значит — должно было быть понятно любому более или менее грамотному человеку. Более ясно в тогдашних цензурных условиях сказать о необходимости перехода от так называемого «планового социалистического» ведения хозяйства **к свободной рыночной экономике** как единственном пути спасения для советской деревни было просто невозможно.

Такова первая крупная статья Виноградова о «деревенском» очерке. Как видим, перед нами типичный пример так называемой «реальной критики» — критики открыто публицистического характера, ибо Виноградова интересует, как мы видели, в очерках Овечкина в первую очередь именно реальная жизненная проблема — положение советской деревни, советского крестьянина, пути выхода из кризиса. Именно под этим углом зрения, проследившая эволюцию взглядов Овечкина, он, как мы видели, очень тщательно рассматривает позиции героев, анализирует их споры и «программы». Так исследование мировоззренческой эволюции Овечкина превращается постепенно в собственное виноградовское обсуждение этой проблемы, последовательно подводящее читателя к выводу, значимость которого в те годы трудно переоценить. Ибо уже в этой своей статье 1964 года Виноградов, как мы только что показали, находит именно тот выход из

«заколдованного круга», который лишь спустя четверть века, в ситуации безальтернативной безвыходности, начинает обсуждаться в открытую и будет признан наконец и руководством страны как единственно возможный путь спасения не только для сельского хозяйства, но и для всей экономики страны в целом. Нам, современным читателям, совершенно понятно, что дальше этого открытия, дальше этих предельно откровенных в своей подцензурной прикровенности формул не могли пойти тогда ни Овечкин, ни Виноградов. Потому что вывод, к которому подошёл уже, в сущности, и Овечкин и который окончательно «додумал» за него Виноградов, — это полная бесперспективность улучшения и сельской экономики, и жизни крестьян при существующей «социалистической» организации производства. Поэтому-то и «проблема, волновавшая В.Овечкина, этими итогами» и была, как пишет Виноградов, «в основном исчерпана»: недаром и «Трудная весна» (1956 г.) оказалась последним очерком Овечкина, ибо «путь познания» был пройден им, в сущности, до конца — дальше дело было уже за реальной жизненной практикой.

в) «ПО СТРАНИЦАМ «ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА» ЕФИМА ДОРОША» (1965, 5)

Вторая статья Виноградова на деревенскую тему — «По страницам «Деревенского дневника» Ефима Дороша» — написана несколько иначе, нежели предыдущая. Дело в том, что Овечкин (и на этом моменте в самом начале своей статьи Виноградов, как мы видели, специально останавливается) оставался для Виноградова прежде всего публицистом, очерки которого с художественной точки зрения не представляли для критика самостоятельного интереса. Деревенский же «дневник» Дороша, с точки зрения Виноградова, занимает особое место в очерковой литературе, ибо у Дороша «публицистическая страсть не подчиняет себе художественность». Дорош, по словам Виноградова, как никто из очеркистов умел запечатлеть «неприкрашенный, реальный мир в его доподлинном облике, с его поэзией и тяготами, думами и надеждами...» (с.237), и его «Деревенский дневник» — это такая художественно-лирическая публицистика, в которой поток личного лирического самовыражения автора составляет очень существенный содержательный момент, определяет собой структуру, интонацию, «воздух» очерков. Потому-то по отношению к этому произведению Виноградов уже и не считает возможным применить только собственно публицистический инструментальный «реальной» критики — важным аспектом анализа становится здесь для него уже и сам мир души Дороша, сам художественный строй его очерков.

«Деревенский дневник», — пишет Виноградов, — — книга действительно гармоничная, цельная. /.../ Объединяющим... началом, которое сообщает чтению всего этого разнохарактерного и не объединённого никаким сюжетом «материала» иллюзию именно того самого чтения, когда перед вами разворачивается увлекательный, захватывающий сюжет, — началом этим выступает сама личность автора. Художник и публицист, умелый рассказчик и зоркий наблюдатель, тонкий лирик, чуткий к поэтической

стороне жизни, и страстный приверженец трезвого языка фактов и цифр, истовый любитель русской старины и не менее убеждённый сторонник цивилизации и прогресса... он ведёт нас за собой по страницам книги, и то, как раскрывается он постепенно перед нами, как, страница за страницей, мы входим в его душевный мир, и охватываемся в нём, и вбираем его в себя. — это и есть тот «сюжет» книги, который, может быть, увлекательнее иных самых «завлекательных» литературных сюжетов» (с.235).

И всё же как ни привлекательны для критика художественные достоинства «Дневника» Дороща и как ни значительно то внимание, которое он уделяет в своей статье этой теме (что, кстати сказать, подтверждает, что новомирская «реальная критика» — в том числе и в лице Виноградова — отнюдь не чуралась собственно эстетического анализа), — всё же главный интерес для него и в этой статье представляет именно содержательная сторона публицистических исследований писателя. Важно отметить только, что на этот раз, однако, даже и самую остроту постановки Дорощем реальных социально-экономических проблем русской деревни, и глубину их понимания Виноградов опять-таки напрямую связывает именно с уровнем духовного мира автора и его художественной интуицией, подчёркивая, что публицистическая мысль писателя именно потому и приобретает огромную силу воздействия на читателя, что она художественно перерождена, неотделима от живого образного строя очерков.

В этом отношении особо значимой чертой очерков Дороща Виноградову представляется прежде всего тот, найденный писателем с самого начала, **угол зрения** художника на проблемы деревни, который как бы вбирает в себя точку зрения «простых труженников колхозных полей» (а не только хороших руководителей) и к которому, увы, другие «деревенские» очеркисты пришли не сразу. Дорощ тоже, как и другие «деревенские» исследователи, составляет порою те или иные социально-экономические «программы», отмечает критик. Но он составляет их всегда «снизу» — умом, опытом и глазами простого крестьянина. А потому и любимый герой Дороща — Иван Федосеевич, — «председатель самого крепкого в районе Любогостицкого колхоза», «фигура не обычная, не «рядовой человек», — важен тем не менее Дорощу вовсе не как руководитель, — «он и сам для Е.Дороща — именно олицетворение народа, его лучшие качества, плоть от плоти и кровь от крови тех простых людей, судьбы которых «занозой» вошли в сердце писателя» (с.237). Иван Федосеевич являет собой как бы представителя и защитника интересов народа, выдвинутого самими крестьянами в их отчаянной оборонительной борьбе против бюрократической «борзовской» системы эксплуатации. «Их судьбами и мерит Иван Федосеевич поэтому и цену любого усилия, любого установления, связанного с колхозным производством, с жизнью сельского населения» (с.238).

И это очень важный, с точки зрения Виноградова, момент. Ибо хотя и «другие наши очеркисты, — замечает он, — тоже соотносят всё с благом тех, кто работает на колхозных полях, но по большей части» у них это происходит лишь «в конечном, так сказать, итоге, в общей перспективе», тогда как у Дороща — это «глубинное естество», само «качество его

«зрения» (с.238). А это приводит к тому, что хотя с другими очеркистами пятидесятых годов Дороша сближает такая же как будто бы, как и у них, «страсть поиска, жажда «выяснить себе и другим те или иные стороны наших общественных отношений» (с.235), а в своём исследовании причин неблагополучия в сельском хозяйстве он тоже «идёт.., в общем, в русле тех же проблем, что и другие наши очеркисты пятидесятых—шестидесятых годов», однако «его критические наблюдения и выводы» имеют всё же «качественно иное, своеобразное звучание». Дорош, отмечает Виноградов, «яснее и отчётливее видит, острее чувствует многое из того, что у других наших очеркистов проступает зачастую не столь обнажённо» (с.241). И Виноградов поясняет это на примере того же феномена «борзовщины». В «Дневнике» Дороша, пишет он, мы находим «те же всё, знакомые черты». Но именно потому, что «увидены они именно глазами Ивана Федосеевича, Николая Леонидовича, Соньки из Ужбола, Натальи Кузьминичны — глазами тех, на ком и отзывается прежде всего любое коленце «борзовщины»...» (с.242), — именно поэтому и суд Дороша над «борзовщиной» — «суд особый». В его словах и тоне звучит всегда «глухая, но жгучая неприязнь земледельца ко всему, что отвращает его от земли, принуждает к надругательству над ней и не даёт ему делать, как должно, своё крестьянское дело», — «тот гнев, и боль, и презрение, что разят сильнее, чем любые самые красноречивые и грозные речи» (с.242), хотя «общая интонация «Деревенского дневника» — спокойная, негромкая, как любят у нас говорить — «раздумчивая».

И дело здесь не просто в самих по себе «чувствах», в «гневе и презрении». Вглядываясь в эти «чувства», критик ведёт своего читателя к уяснению того, что в характере этих чувств, этих «эмоциональных отношений» крестьянина ко всякого рода «борзовщине» «с особенной наглядностью и незамутнённой» проступает не что иное, как «характер отношений хозяйственных» (с.243). Мысль, таким образом, как будто бы та же, что и в статье об очерках Овечкина, но она получает здесь у Виноградова новый очень важный ракурс. Ведь Дороша, подчёркивает он, вовсе не интересуется проблема хороших—плохих председателей — его беспокоит то, что судьбы людей, их благополучие — «тысяч мужчин и женщин, детей» — именно и зависят от того, «хорош или плох председатель...». И что до тех пор, пока «крестьянин в колхозе не хозяин, а работник», ничего другого и быть не может (с.244). Именно эта суть дела и важна для Дороша, именно она и находит своё выражение в предельно откровенно выявленном в его очерках отношении «современного крестьянина к какому-нибудь толкачу и погоняле, не желающему и не имеющему надобности знать, что думает колхозник и чего он хочет». Ибо «о чём же ещё, если не о природе их взаимоотношений в производственном процессе, и свидетельствуют этот накал чувства, эта горечь, и гнев, и «злые мысли»? «Разве колхозник, — развивает свою мысль критик, — не понимает — может не понимать, что именно за его счёт, на его спине и строит такой вот «слуга народа» свою карьеру, то есть, говоря иначе, своё благополучие? Разве может он считать его другом и разве они друзья?» (с.245).

Вот та суть, выявление которой прежде всего и составляет публицистическую задачу Виноградова в этой статье. Понятно, что выразить своё понимание этой сути в прямых терминах он в эти годы не мог. Но мысль его совершенно понятна: ситуация отношений между партийным руководством, всякого рода «толкачами» и «погонялами» в деревне и крестьянином — это ситуация классовых отношений, **ситуация классовой вражды.**

И второй важный момент, привлекающий, как и в статье об Овечкине, особое внимание критика. То, что Дорош видит причину нерентабельности колхозов в самом принципе колхозной экономики. — это очевидно, замечает Виноградов, и эта мысль, по его словам, проходит через весь «Деревенский дневник». Однако ещё важнее то, что Дорош в своём исследовании деревни находит, в сущности, тот же единственно возможный ориентир, по которому только и можно выправить положение, что и Овечкин в конце своего долгого «пути познания». Ориентир этот — плод длительных и чрезвычайно внимательных наблюдений писателя за усадьбным хозяйством, где урожайность больше и уход за культурой во много раз лучше, чем на колхозном поле, благодаря чему и возникает тот парадокс, что, в сущности, не усадьбы существуют при колхозе, а колхозы при этих усадьбах, поскольку **усадьбы дают больше продукции, чем колхозы** (с.247). Но не значит ли это, что крестьянский труд только тогда будет рентабельным и на общей усадьбе, когда у крестьянина появится та же материальная заинтересованность, какую он испытывает на личном участке? Вот вопрос, ответ на который подразумевается как бы сам собою, и он предполагает, естественно, что такое согласие крестьянина работать на «общем поле» может быть только добровольным: колхозник должен сам убедиться, что кооперативное хозяйство выгоднее, а выгоднее оно может быть только тогда, когда возникнет на основе объединения свободных сельских тружеников в рамках той системы организации экономики, которую сегодня мы называем рыночной. То, что Виноградов именно так понимает позицию Дороша, которую он поддерживает, со всей ясностью следует из следующего пассажа его статьи: «Иначе говоря, — пишет он, — для Е.Дороша очевидно, что лишь преобразованием **э к о н о м и ч е с к о й** основы отношений колхозов с государством в направлении равного, взаимовыгодного торгового обмена, при котором только и обретает реальный экономический смысл понятие «колхоз—хозяин», может быть достигнута исковая «разумная организация сельского хозяйства» (с.251)(16).

Такова позиция Е.Дороша, и хотя, по словам Виноградова, выводы его отнюдь не оригинальны, однако, во-первых, это-то как раз и подтверждает правильность его логики, а во-вторых, «нигде всё-таки, пожалуй, эти положения не раскрыты с такой убеждающей конкретностью и полнотой, как в «Деревенском дневнике»...» (с.251).

Итак, рассмотренная нами вторая «деревенская» статья Виноградова снова, как видим, представляет собою своего рода публицистическое исследование на литературном материале, — то есть статью, написанную в традициях всё той же «реальной критики». Правда в этой статье, как уже отмечалось, гораздо больше уделено внимания эстетическому анализу «Дневника», и этот анализ органически вливается в публицистическую тему

статьи. Но всё же главное и здесь — попытка разобраться в самом существе тех социально-экономических проблем, которые были общими и насущно важными для всей страны и для рассмотрения которых как раз открывал особые возможности именно феномен колхоза — этой маленькой модели социально-экономического устройства советского общества. Что же касается собственно публицистического масштаба этого анализа, то его значимость для того времени была, как мы видели, достаточно высока. Особенно, если поставить эту статью в один ряд с уже рассмотренными нами статьями Виноградова первого периода его новомирского творчества, некоторые итоги анализу которого мы можем теперь подвести.

Итак, все три главные свои работы раннего периода — и более всего, может быть, статью об очерках В.Овечкина — Виноградов, как мы видели, нацелил на то, чтобы со всей возможной в цензурных условиях ясностью донести до читателя, что только выход из пределов существующего режима, только решительное преобразование всей социально-экономической его системы может вообще изменить что-то к лучшему и в обществе в целом, и в колхозах в частности. Более того — в статье о «Деревенском дневнике» Е.Дорошина ему удалось достаточно прозрачно сказать даже и о том, что противостояние народа, крестьянства всякого рода «начальству» — это подлинно классовое противостояние, — то есть что установившийся в стране режим носит, в сущности, антинародный характер. Наконец, в более ранней хронологически, но более ёмкой с точки зрения откровенности и полноты выражения политической мысли статье «О современном герое» Виноградов посредством всё того же эзопова языка «провёл» через цензуру и мысль о том, что в условиях советского лже-социализма (напомним, что в момент написания статьи Виноградов ещё питал иллюзии в отношении возможности «Дорошнего» демократического социализма) подлинным героем времени может быть только человек, осознавший, что лишь сопротивление существующему режиму — на любом уровне и на любом участке практической деятельности — может быть признано подлинной гражданской активностью. Полагаем, что о политическом значении такого рода литературно-критической публицистики на страницах легального советского журнала 50—60-х гг. можно и не говорить.

«Деревенские» исследования Виноградова, а также его статья о романе К.Симонова воссоздавали глазами критика и тот реальный, живой мир, те действительные моральные, политические и социально-экономические условия, в которых жил народ в 40—60-е гг. и неприятие которых и рождало у критика тот пафос свободы, те постоянные мотивы свободной суверенной человечности, то стремление к всесторонней разработке программы нравственного самостояния человека, которые мы наблюдаем в литературно-критическом творчестве Виноградова в этот период. В этом смысле статьи, посвящённые нравственно-этической и гражданской проблематике, вместе с социально-экономическими исследованиями Виноградова образуют, несомненно, некую единую, целостную систему его мировосприятия.

Это мировосприятие отличает, как мы видели, прежде всего опора на традиции русской революционной демократии 19-го века — её философии, её гражданственности и даже её эстетики. Круг тем, характерных для

статей и рецензий Виноградова, — нравственно-этическая проблематика, образ положительного героя времени, «беллетристика», тема народа, — всё является собою как бы прямое продолжение и развитие стержневых сюжетов критики журналов «Современник» и «Отечественные записки» времён Чернышевского, Добролюбова, Некрасова и Щедрина. Ещё более ориентация на эти традиции сказывается в самой методологии («реальная критика»), используемой Виноградовым в большинстве случаев для своих выступлений, а также в откровенно социальной «сознательной тенденциозности» всякого его обращения к литературе, общественно-воспитательная роль которой привлекает в эти годы его преимущественное внимание. По всем этим параметрам работы Виноградова, безусловно, развивают именно традиции критики русских революционных демократов прошлого столетия.

Отсюда же — и полемическая заострённость, очевидная перенасыщенность критических статей этого периода дидактикой, склонность измерять и оценивать различные явления при помощи безапелляционных категорий типа «правильный», «подлинный» и «ошибочный» — то, с чем мы встречаемся в работах Виноградова раннего периода и что на первый взгляд может показаться инерцией марксистского стиля, а на самом деле восходит именно к «сознательной тенденциозности» Добролюбова, Щедрина и других критиков — публицистов революционно-демократического крыла прошлого столетия. Они тоже ведь довольно энергично пользовались именно такого рода абсолютными суждениями («Когда общие понятия художника правильны.., — писал, например, Добролюбов в 1859 году, — тогда действительность отражается в произведении ярче и живее» (17)). Вот почему в той же статье «О современном герое», например, Виноградов, отмечая такую характерную положительную черту нынешнего поколения героев в прозе В.Аксёнова, В.Тендрякова и В.Розова, как самостоятельность мышления в противовес «бездумному, механическому «усвоению знаний», ставит затем особый акцент именно на том, что «сама по себе привычка самостоятельно думать о жизни — ещё далеко не всё»: тут имеет «первостепенное значение, чтобы человек, стремящийся смотреть на всё «открытыми глазами», имел перед собой верный «ориентир», позволяющий видеть жизнь в правильной перспективе...» (с.239).

Что же понимал критик в те годы под «верным ориентиром» и «правильной перспективой»? Мы помним его формулу: «В наше время высшим и единственно правильным исходным принципом передового общественного мировоззрения, передовых общественных позиций может быть только гуманистический принцип, рассматривающий благо человека как высшую цель и высшее мерило всех общественных ценностей» (с.245). Но что понималось под этим «благом»? Какая общественная «тенденциозность», какая тенденция стоит за критерием «единственно правильный»?

Нравственное и политическое содержание этой категории «блага» в критике Виноградова, как уже сказано, менялось. И если в рассмотренном нами период (не считая статей переходного периода — статей об очерке Овечкина и Дороша) общественным благом, способным обеспечи-

человеку условия для подлинно свободной самореализации им внешних своих потенций, казалось Виноградову построение подлинной демократии в пределах социализма и на основе безрелигиозного гуманизма, то, как мы увидим, в работах критика второго новомирского периода этот идеал перестаёт быть его безусловной верой и его общественной программ.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

«Среди отдельных людей можно услышать разговоры о какой-то абсолютной свободе личности. Я не знаю, что здесь имеют в виду, но считаю, что абсолютной свободы личности не будет никогда, даже при коммунизме. /.../ И при коммунизме воля одного человека должна подчиняться воле всего коллектива...

К вопросу о гуманизме надо «подходить с классовой точки зрения...» (Из речи Хрущёва на встрече представителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года).

Человек «по самой природе своей — суверенное и свободное существо».

«Гуманизм без свободы не существует и не может существовать».

Но и свобода человека становится высочайшей человеческой ценностью только на путях гуманизма» (И.Виноградов, «Философский роман Лермонтова», 1964, 10).

Второй этап новомирского творчества И.Виноградова по своим временным параметрам совпадает со вторым периодом истории журнала «Новый мир» — периодом его сопротивления силам «реставрации», что не могло не отразиться и на самом характере, направленности, содержании публикаций журнала.

Эпохи «безвременья» — и философия «существования», «критические» общественные ситуации — и позиция свободной, суверенной личности в экстраординарных условиях — так можно обозначить центральную проблематику статей критика, которые мы относим к позднему новомирскому периоду его творчества(18). Это статьи «Философский роман Лермонтова» (1964, 10), «Завещание Мастера» («Вопросы литературы», 1968, 6), «На краю земли» (1968, 3) и рецензия под названием «Экзистенциализм перед судом истории» (1968, 8).

Объединены они могут быть и в силу иной, чем в предыдущих работах, используемой в них критиком методологии. Это уже не «реальная критика», не революционно-демократическая эстетика, а начало философских штудий, поиск ответов, по выражению Виноградова, на «самые проклятые вопросы» современности — вопросы «бытийно-психологического» и «экзистенциально-философского» характера.

Эта эволюция, диктовавшаяся возникшей на определённом этапе внутреннего развития критика потребностью переосознания

действительности и поисков смысла бытия, не могла не потребовать от него обращения к русской классике, которая давала в этом отношении материал исключительной содержательности и богатства. И не случайно, видимо, первой такой работой Виноградова, в которой мы наблюдаем духовную жажду критика заново ответить на «самые проклятые вопросы» современности, — жажду, выразившую собою, в сущности, «стержневую духовную потребность эпохи», — явилась его статья «Философский роман Лермонтова».

1. ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕСВОБОДЫ: «ГУМАНИЗМ БЕЗ СВОБОДЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ»

В этой работе мы вновь встречаемся с постоянными мотивами ранних выступлений Виноградова — с понятиями «свободный суверенный человек» и «гуманизм», которые, однако, рассматриваются теперь критиком уже в ином контексте — в контексте «пограничных» ситуаций человеческой жизни. Этот **новый угол зрения** был обусловлен изменением общественно-политической атмосферы в стране.

Ещё в марте 1963 года Хрущёв под давлением консервативных сил официально раскритиковал лозунги «свобода личности» и «гуманизм». С этого момента мы наблюдаем стремительное нарастание реакции в стране, первым симптомом наступления которой был проигрыш борьбы «Нового мира» за присуждение Ленинской премии Солженицыну в апреле 1964 года. В октябре того же года Хрущёв был отстранён от руководства государством.

В этой ситуации и появляется в «Новом мире» статья Виноградова о романе Лермонтова «Герой нашего времени» («Философский роман Лермонтова», 1964, 10), где вопреки всяким вето критик вновь поднимает тему свободы и свободной суверенной личности. И это — первый важный аспект изучения статьи — аспект отстаивания Виноградовым, а в его лице журналом, прежних ориентиров гуманизма и демократии.

Но если в статье «О современном герое», которая писалась в эпоху общественного подъёма, Виноградов пытался противопоставить подлинную гражданскую активность «спекулятивной гражданственности», то в новой работе, в условиях общественно-политического кризиса, критик, оставляя своё первое требование к герою — быть, ощущать, утверждать себя суверенным, свободным существом, — пытается выяснить, каковы же возможности нравственного самостояния человека, каковы варианты избрания им пути в условиях реакции. Это — второй важный аспект изучения статьи, относящийся к её центральной проблематике.

Обращение к русской классике, к выяснению причин печоринского индивидуализма в условиях николаевской реакции имеет, таким образом, для Виноградова важный актуальный экзистенциальный смысл, что критик и сам постоянно подчёркивает в статье, обрывая своё повествование о Печорине вопросами типа: какой же урок можно почерпнуть сегодня из истории жизни Печорина, рассказанной нам Лермонтовым? Какова связь

внутренней логики образа Печорина с современными духовными исканиями человека? — и т.п.

Виноградов начинает статью с введения читателя в общественно-политическую атмосферу времени, в которой и происходит действие романа о Печорине. Это — время, последовавшее за восстанием декабристов, когда «казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки» (Герцен) и всё в повседневной реальности было «приспособлено к тому, чтобы служить надёжным кладбищем свободного сознания» (с.210):

«Положение тех, — пишет Виноградов, — кому выпало жить в эпохи, подобные николаевской, достаточно хорошо известно, и кажется, знаменитая формула Герцена определяет его вполне и точно: «Цивилизация и рабство — даже без всякого лоскутка между ними, который помешал бы раздробить нас физически или духовно меж этими двумя насильственно сближенными крайностями! Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира, а потом кричат: «Оставайтесь рабами, немыми и пассивными, иначе вы погибли!»...» (с.211).

«Живая связь времён» не только легко угадывается в приведённой выдержке из статьи — на неё Виноградов и прямо указывает, прибегая при этом для обозначения эпохи и при конкретизации образа героя к типологическим конструкциям:

«Каждая эпоха, — подчёркивает Виноградов, — рождает свой господствующий тип человеческой личности — в том числе и среди умственно развитой, мыслящей его части. И сходные эпохи — сходных героев. Господствующим типом эпох безвременья, особенно таких, что длились долго и отличались особенной мрачностью, всегда был тот тип человеческой личности, который известен у нас, в истории русской общественной мысли, под горьким названием «лишнего человека» (с.211).

Итак, герой Лермонтова — не просто отдельный индивидуум со своим индивидуальным характером, а «господствующий тип человеческой личности» эпохи 30-х годов 19-го века и сходных с ней эпох безвременья, — человек, типичный для «умственно развитой, мыслящей части» общества и оказавшийся «лишним» в силу внешних обстоятельств.

Критика, однако, интересуется не сам по себе историко-социологический аспект изучения образа, а объективное исследование духовно-психологических истоков индивидуализма Печорина. Ведь поступки Печорина, по словам Виноградова, обусловлены совершенно определённой «внутренней «программой» поведения, и именно эта «внутренняя программа» прежде всего и заслуживает, с точки зрения критика, пристального рассмотрения.

Наличие её у Печорина Виноградов видит в том, что каждый поступок героя сопряжён с постоянным «трезвым, нелицемерным отчётом перед своей совестью», отношь не бессознательн; что, следовательно «индивидуалистическая природа его поступков — отношь не секрет для него самого», но за его поступками именно лежит всегда «п р и н ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а ж и з н е н н о г о п о в е д е н и я» (с.216)(19).

«Идея зла, — замечает Печорин на одной из страниц своего «журнала», — не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить её

к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то; их рождение даёт уже им форму, и эта форма есть действие».

И Печорин не только не устаёт действовать, пишет Виноградов, но не страшится и откровенно формулировать своё кредо:

«Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы» (с.216).

Итак, «принципиальная программа жизненного поведения» опирается, следовательно, у Печорина на «вполне сознательную» индивидуалистическую максиму: «ничем не жертвую» для других, даже для тех, кого люблю».

Что это? Демонизм? Однако, отмечает критик, у Печорина мы не находим «и полной внутренней убеждённости, что именно индивидуалистический символ веры есть истина». Печорин «подозревает о существовании иного, «высокого назначения» человека, допуская, что он просто «не угадал» этого назначения» (с.216).

В таком случае откуда же у Печорина именно эта, а не другая «программа», то есть каковы «действительные истоки печоринского демонизма»?

Ответ на эти вопросы И.Виноградов находит в повести «Фаталист», которая, как он пишет, занимает «ключевое положение» в композиционной системе романа. Он напоминает, что в споре о том, есть ли предопределение человеческой судьбы свыше (в споре, который составляет основную коллизию повести), Печорин занимает позицию атеистическую (или, по крайней мере, скептическую): «...Если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок?», размышляет он. Печорин предпочитает «правило ничего не отвергать решительно и ничему не верить слепо», отбрасывая «метафизику в сторону».

«Ничего не отвергать» и «ничему не верить» — это та духовная ситуация, которую Виноградов назовёт позднее ситуацией «открытого сознания».

Так Виноградов приходит к выводу, что «Фаталист» раскрывает нам Печорина с существенно новой и важной стороны: «рефлексия» Печорина куда более серьёзна и глубока, чем это представляется поначалу, и она тоже отнюдь не индивидуальное свойство Печорина, в ней он тоже до конца верен своему времени — «времени, подвергнувшему пересмотру коренные вопросы человеческого существования, во всём пытавшемся идти «с самого начала»...» (с.218).

В предисловии к своей книге «По живому следу», куда вошла статья о «Герое нашего времени», Виноградов более подробно говорит об этом феномене. Печорин — типический герой эпохи «всемирно-исторического кризиса религиозного сознания», который, как пишет Виноградов, начался «ещё во времена Возрождения, но достиг высшей точки в развёртывании своего содержания именно во второй половине 19-го и в 20-м веке»(20). И объяснить мироощущение героя романа Лермонтова можно «именно той новой духовной ситуацией — ситуацией открытого сознания, которая была порождением кризиса, порождением эпохи».

Ситуация открытого сознания — это, по словам Виноградова, ситуация сознания, «покинувшего традиционные религиозные способы духовной ориентации в окружающем мире и оказавшегося поэтому перед необходимостью заново и самостоятельно, на путях «чистого разума» ответить на самые первые, самые «проклятые» нравственно-философские вопросы человеческого бытия, ранее «закрытые» истинами Откровения»(21).

В том, что Печорин «склонен идти скорее путями атеистического сознания», в том, что он «оставляет вопрос о боге открытым», «в самом интересе его именно к этой «начальной» дилемме» — во всём этом, подчёркивает Виноградов, Печорин тоже подлинный герой тридцатых годов, герой типичный. В его мытарствах разума Виноградов видит связь с теми духовными исканиями, через которые прошли и Белинский, и Герцен, и Огарёв, и Бакунин (с.218).

Итак, Печорин, оказавшийся в ситуации «открытого сознания», должен заново решить для себя «самый первый, самый проклятый вопрос человеческого бытия» — вопрос о смысле бытия и об исходных критериях нравственной ориентации в мире. Иными словами, ему приходится отбросить тот способ фундаментального обоснования системы нравственных ценностей, который характерен для ясного и твёрдого религиозного сознания, где нравственность основывается на инстанции Божественного абсолюта и рассматривается как совокупность абсолютных же принципов человеческого поведения, заложенных в самом устройстве мира, созданного высшей разумной доброй волей.

Но если человек отказывается от веры в такое устройство мира, то как он может обосновать для себя, например, необходимость добра? — вот тот главный вопрос, к которому подводит в конце концов читателя своим анализом Виноградов. Вопрос, который, как помним, раньше не вставал перед критиком, решавшим проблему при помощи декларативно постулируемых категоризмов типа — «единственно правильный принцип» и т.п., — но зато теперь осознаётся во всей своей исходной духовной значимости. Посмотрим же, как критик на него отвечает.

Итак, Печорин понимает, продолжает свой анализ Виноградов, что «способность к добру, к «великим жертвам для блага человечества», к служению этому благу есть только там, где есть убеждённость в истинности, конечной оправданности этого служения». В религиозном сознании эту истинность, эту конечную оправданность такого служения обеспечивает именно вера в Бога, но тем, у кого этой веры нет (и «именно эпоха сказала здесь решающее своё слово», подчёркивает Виноградов), — что делать им, «какую же иную философию жизни могут они предложить»? На каких путях могут они искать положительное решение этой проблемы и какие пути вообще открываются в этой области перед человеком свободным и суверенным, находящимся в ситуации «открытого сознания»?

Если говорить о Печорине, то, как пишет Виноградов, «ему н е ч е г о поставить на место спасительной веры в провидение», но он «не в состоянии вместе с тем и противопоставить» вере «какой-либо иной позитивный нравственный принцип, указать на какие-то иные, реальные и разумные, основания, в силу которых можно было бы признать, что гуманизм есть

действительная истина человеческой жизни...» (с.220)(22). Отсюда у Печорина не только «сознание в себе единственного творца своей судьбы», но и установка на себя как на последний источник всякого ценностного отношения к жизни. Весь индивидуализм Печорина, подчёркивает критик, именно и вытекает из этой невозможности для него найти в системе атеистического мировоззрения какую-нибудь достоверную основу для нравственности, из ощущения того, что человек остаётся один на один с собой и потому, будучи творцом всего, стоит выше Добра и Зла.

Таким образом; «важно видеть», подводит итоги критик, что этот выход к индивидуалистическому кодексу нравственности совершился у Печорина «в результате глубоких и мучительных мировоззренческих искажений — как прямое их следствие, через них и благодаря им» (с.220)(23). А потому и «относиться к печоринскому индивидуализму» следует, подчёркивает Виноградов, «не просто как к психологии, не просто как к исторически показательной черте поколения тридцатых годов», но именно как к «мировоззрению, как к принципиальной попытке ответить на вопрос о смысле жизни, о назначении человека, об основных ценностях человеческого бытия» (с.221)(24).

Эта «труднейшая проблема свободного сознания составляла мучительный предмет раздумий не одного поколения выдающихся мыслителей, — подчёркивает Виноградов, — и на ней споткнулся не один великий ум!.. Она может вставать перед людьми в разных обличьях, но суть — глубинная, настоящая суть её — именно в определении тех всеобщих и бесспорных оснований, в силу которых человеческий разум способен признать, что добро, «благородные стремления», «жертвы для блага человечества» — это и в самом деле не обходимое условие человеческой жизни, действительная её истина и мера полноты»(с.219—220)(25). И опыт Печорина — эта «стадия сомнения и отрицания», которая запечатлена в романе Лермонтова, — составил, по словам критика, «необходимейшее звено» в «становлении» «революционного гуманизма сороковых годов» (с.222). «Лермонтовский скептицизм», по характеристике Виноградова, оказал влияние на путь Герцена, на путь «гуманиста и революционера Белинского», явился «моментом познания истины, как необходимое позитивное звено в истории формирования подлинного гуманизма». И в этом, по определению Виноградова, состоит важнейшее духовное, философское значение романа Лермонтова — «первого философского романа в истории русской литературы», «родоначальника той великой традиции напряжённейшего интереса к коренным вопросам человеческого существования», «которая достигла своей вершины в романах Толстого и Достоевского» (с.221).

Но если позицию Печорина можно понять как «необходимое звено» на пути философских и духовных поисков людей его эпохи к истине, как «необходимое звено» в становлении «революционного гуманизма сороковых годов», то что во всём этом поучительного и важного для нашей сегодняшней духовной культуры? Где та «связь» «внутренней логики образа Печорина» с современными духовными исканиями, чувствуя которую

сегодняшнее наше сознание с таким интересом и вниманием всматривается в образ Печорина (с.221)?

Вот вопрос, который по логике вещей встаёт следующим в статье Виноградова. И критик не уходит от ответа на него — напротив. Ведь ради выявления этой «связи времён» и был, в сущности, затеян им весь этот анализ, хотя в то же время он имеет в статье Виноградова и самостоятельное литературоведческое и культурологическое значение.

Во-первых, напоминает критик, хотя Печорин — человек, казалось бы, антиобщественный, маргинальный, но «разве судьба эта и безразличие к общественным вопросам аполитичны»? Ведь если он и служит, «как это «прилично» молодому светскому человеку», то отнюдь не выслуживается. «И когда он говорит: «Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами», — понять, какое честолюбие он имеет в виду, — пишет Виноградов, — нетрудно: палачи, лизоблюды, доносчики, продажные шкуры преспокойно делали в те времена карьеру, добивались и власти и могущества, и никакие обстоятельства им не препятствовали в этом. Когда он говорит, что, стремясь добиться счастья и славы, он только зря потратил время на учение и науки, потому что «самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться её, надо только быть ловким», — он именно и признаётся в своей неспособности быть таким же ловким невеждой, как другие» (с.226).

«Показать как героя времени человека, который предпочитает умереть со скуки, но не служить «на благо отечества», — это значило показать человека, граждански вовсе не индифферентного, и недаром это вызвало такое «остервенение» официальной литературной критики, едва роман появился в печати. Ибо «не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — всё это (приводит Виноградов слова Герцена) при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции», и жизненный путь Печорина полностью подтверждает его принадлежность к такой оппозиции (с.226—227). И, следовательно, одно это уже показывает общественную цену скептицизма и индивидуализма Печорина, неспособного ужитья с ролью политического раба, конформиста.

Во-вторых, считает Виноградов, как ни ничтожны или даже безразличны поступки Печорина, в них всегда есть всё-таки «гордость у б е ж д е н и я, последовательность свободно избранного и бескомпромиссно ответственного перед совестью принципа» (с.227)(26). И «в этом гордом веянии суверенного человеческого духа, в этой беспредельной полноте ответственности за свои поступки, которую Печорин берёт на себя перед всем миром», Виноградов тоже видит подлинное достоинство человека — достоинство, цена которого, по его словам, яснее всего, может быть, именно людям 20-го века» (с.228):

«Мы слишком хорошо знаем, — переделывает концовку шестой главы Виноградов в книжном, более позднем варианте статьи, — что бывает даже с запрограммированным добром, когда оно пытается реализовать себя не через свободную волю человека, которому как будто адресовано. Оно сразу теряет всю свою цену и превращается в свою противоположность, ибо несвободное добро — уже не добро, а зло»(27).

Из всего этого вырастает и итоговая формулировка Виноградова: **«Гуманизм без свободы не существует», «но и свобода человека становится высочайшей человеческой ценностью только на путях гуманизма»** (с.228). Формула эта содержит, как видим, две глубины: свободная воля человека есть необходимое условие для добра, только свободное общество достойно называться гуманистическим, но в то же время необходим и **содержательный критерий** индивидуальной и общественной ценности свободы. Если нет этого второго условия, то свобода «может оказаться свободой самых античеловечных, противоречащих природе человека проявлений, свободой умирания в человеке человека», что, по убеждению критика, и подтверждает опыт жизни Печорина (с.228). Иными словами, он подтверждает то, что «...путь индивидуализма противоречит природе человека, её действительным запросам», «подлинные и высшие радости, подлинную полноту жизни живая человеческая душа начинает обретать лишь там, где связь между людьми строится **по законам добра, благородства, справедливости, гуманизма**», «только на этом пути свобода воли, самостоятельность решений, обретенная человеком, осознанным свою суверенность, раскрывает свою истинную цену» (с.230)...

Такова «живая связь времён», прослеживаемая Виноградовым в его статье о романе Лермонтова. Как видим, именно **философский** аспект романа, именно духовную сторону реально-исторического опыта «индивидуалистов» 30-х гг. 19-го века Виноградов считает теперь важнейшими, актуальнейшими для своего времени. И так происходит, конечно, только потому, что для него в этом времени всё большее значение тоже приобретает именно глубинная, скрытая в нём ситуация фундаментальных духовных и мировоззренческих поисков, ставших внутренней необходимостью для мыслящих людей советского общества.

Итак, в статье о романе Лермонтова Виноградов признаёт как бы уже равно правомерными оба способа осуществления гуманистической позиции, увиденные им у русских писателей: через веру — путь Достоевского и через «атеистический гуманизм» — путь Белинского. Сам он в этот период всё ещё склонен более к поискам на втором пути, но уже сама постановка проблемы, само осознание её свидетельствовали, несомненно, о том, что концепция свободной суверенной личности начала приобретать у него теперь формы и философски осмысленной, мировоззренчески цельной нравственной и общественной программы жизненного поведения.

2. «ЛИЧНОСТЬ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ»

Нетрудно догадаться, что на этом пути Виноградов неминуемо должен был как-то столкнуться и с философией экзистенциализма, по многим параметрам перекликавшейся с его теперешней концепцией. И действительно — такое соприкосновение произошло. Подтверждением тому — работа Виноградова «**Экзистенциализм перед судом истории**» (1968, 8), напечатанная в качестве большой рецензии на книгу Э.Ю.Соловьёва «Экзистенциализм. Историко-критический очерк» («Вопросы философии», 1966, 12 и 1967, 1) в разделе «Политика и наука» «Книжного обозрения»

(единственный случай выступления критика в те годы в жанре научной публицистики).

Тема, которую ставит Э.Соловьёв в этой работе, — **личность в критической ситуации**. По его собственному определению, она является «сквозной, узловой темой экзистенциализма во всех его вариантах» (с.278). Но именно эта тема, как мы видели, была в те годы для Виноградова наиболее близкой и актуальной: он рассматривал её в статье о «Герое нашего времени» и будет рассматривать в других работах этого второго периода творчества. И именно этим прежде всего и объясняется, конечно, интерес Виноградова к книге Э.Соловьёва.

Виноградов даёт в своей рецензии очень высокую оценку работе Э.Соловьёва. Он соглашается с основной схемой изложения и пониманием Э.Соловьёвым экзистенциалистской концепции личности как концепции «существа, способного и должного подчинить свою жизнь — и даже принести её в жертву — своему предназначению»(с.278). Он отмечает верность анализа Э.Соловьёвым этой философии и соглашается с ним, во-первых, в том, что экзистенциализм видит «путь к истине лишь в обращении человека к самому себе»; во-вторых, в том, что эта вера возникает лишь тогда, когда исчезает вера «в скрытый гуманистический «разум» истории» (она оказалась опрокинутой первой мировой войной); в-третьих, в том, что именно в такие эпохи «безнадёжности» «стойческий антиисторизм экзистенциализма» приобретает исторически прогрессивное значение (с.282); и, в-четвёртых, наконец, в том, что в эпохи, «когда историческая обстановка менялась и история обнаруживала, что если в ней нет фатальной разумности, но нет и фатального безумия», «экзистенциализм выступает как философия общественной пассивности»(с.282).

Одобрив анализ Э.Соловьёва в целом, Виноградов тем не менее отмечает, что важнейшая, на его взгляд, проблема экзистенциалистской философии всё же оставлена автором очерка несколько «в тени». А именно: рассмотрение «той реальной проблемы, которая встаёт за утверждаемой экзистенциализмом способностью человека найти **«безусловный принцип»** своей жизни в следовании первичным, «экзистенциальным» требованиям своей нравственной природы»:

«В чём могут и должны состоять эти первичные нравственные ценности? Имеют ли они и могут ли они иметь какое-то абсолютное и объективное содержание, или они всегда относительны и сугубо субъективны? Могут ли они поэтому — и в каком случае — стать исходной основой исторического сознания человека — «той основой, из которой только и могут вырасти истинные исторические цели, достойные человека?» (с.283).

Вот ряд вопросов, которые, по мнению критика, выводят нас к самой, может быть, важной современной мировоззренческой проблеме, которая оказалась почти не затронута Соловьёвым в его работах и которую сам Виноградов специально рассматривает в другой своей статье — **«Завещание Мастера»**, опубликованной в том же году в «Вопросах литературы» (1968, 6). И поскольку эта проблема, имеющая очень важное значение для уяснения общей мировоззренческой позиции Виноградова тех лет,

сформулирована критиком более отчётливо именно в этой статье (в третьей главке), именно к ней имеет смысл теперь и обратиться.

3. «СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА СТАНОВИТСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ТОЛЬКО НА ПУТЯХ ГУМАНИЗМА»

«...Перед прокуратором Иудей стоит нищий, оборванный бродяга, который произносит речи, каких никогда не слышал прокуратор, — вроде того, что все люди добры./.../

...Человек этот приговорён Малым Синедрионом Ершалаима к смертной казни./.../Он имел дерзость проповедовать /.../, что всякая власть является насилем над людьми и настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти --- человек перейдёт в царство истины и справедливости./.../ И ему ли, римскому исаднику Золотое Копьё, прокуратору Иудей, который не случайно отдаёт приказ, чтобы страже было запрещено под страхом тяжкого наказания о чём бы то ни было разговаривать с Иешуа Га-Ноцри, не понимать, какую опасность таят для Рима эти утопические проповеди безумного философа, его учение о власти?

Иешуа Га-Ноцри обречён. Он умрёт --- он должен умереть».

Эта ситуация из романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» рассматривается Виноградовым в третьей главке его статьи «Завещание Мастера», — и она и служит критикю отправной точкой для обсуждения обозначенной выше проблематики.

Приступая к этому обсуждению, Виноградов обращает внимание прежде всего на то, что, «выбирая среди многих возможных интерпретаций евангельского сюжета вариант с такой юридически безысходной ситуацией, М.Булгаков выбирает и среди многих возможных Понтиев Пилатов»(с.49). Булгаковский Пилат — не слепец и фанатик, он «умён», «он изведал жизнь», он до тонкости изучил законы её жестокой игры», это человек, «для которого гражданская моральность уже перестала быть нравственной», и потому «он не может не сознавать, что оскорбил или не оскорбил бродячий философ своим учением величество императора и чего бы ни был он достоин за это по закону, но он — прав, истина — на его стороне». И такой Пилат у Булгакова не случаен — Булгакову, поясняет Виноградов, «важно увидеть, как будет вести себя по отношению к Иешуа» именно такой человек (с.49-51): Что делать? «Отпустить этого человека?» Однако тогда Пилату придётся занять его место.

«Такова альтернатива, — констатирует Виноградов. — Она беспощадна и бескомпромиссна». И Пилат, как мы знаем, совершает свой выбор, отправляя Иешуа Га-Ноцри на казнь (с.51). Казнь свершилась.

Но не началась ли новая? — вот вопрос, ответ на который представляется критикю чрезвычайно важным именно для уяснения той важнейшей для него проблемы существования объективных критериев нравственности, о которой мы говорили выше.

Действительно: забудет ли когда-нибудь Пилат переданные ему через Афрания последние слова Иешуа: «в числе человеческих пороков одним из

самых главных он считает трусость...»? (с.51—52). Ведь Пилат «знает теперь и будет знать всегда», пишет Виноградов, что, «отдав Иешуа Га-Ноцири смерти, предал его. И предал самого себя». «...И ему суждено, теперь изживать жизнь в сознании, что он — ничтожество, ползущий червь, предавший высшее в человеке — дух; трус, побоявшийся остаться верным самому себе — тому, что и для него же самого — истина и справедливость. Он не человек, он — раб. Жалкий, трусливый раб обстоятельств, плохой должности, карьеры, существования, праха...» (с.52—53).

Виноградова, как видим, интересует отнодь не политическая коллизия — «противоречие между личностью и государством», которую критик считает не главным в обращении Булгакова к евангельской легенде о Пилате, умывшем руки. По мысли Виноградова, Булгакова интересовала «коллизия, значение и смысл которой независимы от того, неизменно или не неизменно противоречие личности и государства». И «коллизия эта — нравственная», **коллизия нравственного выбора**: «Что же такое человек? Ответствен ли он за свои поступки? Предопределён ли его нравственный выбор условиями этого выбора или даже самые жестокие обстоятельства не могут служить оправданием безнравственного поступка?» — вот круг вопросов, которые ставит Виноградов (с.53).

И — Пилатом, его судьбой, его душевной мукой — И.Виноградов вместе с М.Булгаковым отвечает: «Да — ответствен. Потому что человек — это нечто большее, чем совокупность обстоятельств. И нечто большее, чем просто существование. Как живое существо он может противиться исполнению своего нравственного долга всеми своими силами, найдя себе десятки союзников — в жажде жизни, в привычках», «но как существо духовное, обладающее нравственным сознанием, он перед своей совестью всегда ответствен и одинок» (с.54).

Всё это, как видим, повторяет, в общем, те формулы, которые мы от Виноградова уже не раз слышали — в частности в его работе об экзистенциализме. Поэтому отнодь не случайна та смысловая связь, которую он устанавливает и в этой статье о М.Булгакове между утверждением М.Булгаковым безусловной первичности нравственной позиции человека даже в самой жестокой ситуации и теми формулами, которые были развиты в наш век философией экзистенциализма (с.54). Поэтому же естествен и следующий вопрос, который ставит критик, развивая эту тему: откуда такая близость, случайна ли она?

Некоторые мотивы, звучащие в романе М.Булгакова, позволяют предположить, замечает Виноградов, что «хотя М.Булгакову и не был свойствен всеобщий, концептуальный исторический пессимизм (вспомним хотя бы Иешуа с его убеждённостью в том, что царство истины настанет), однако осознание конкретной исторической обстановки своего времени как кризисной отнодь не было, по-видимому, вполне чуждо ему» (с.55). На этом основании критик вполне правомерно заключает, что интерес М.Булгакова к проблеме нравственной стойкости человека и был, по-видимому, стимулирован именно этой предпосылкой (с.55).

Отмечая черты сходства между булгаковской постановкой проблемы нравственной ответственности человека и экзистенциалистской, Виноградов тем не менее усматривает один пункт, который, по его словам,

существенным образом отличает позицию М.Булгакова от «философии существования» (с.56). Дело в том, что «в принципиальном, теоретическом своём содержании, — объясняет критик, — экзистенциализм безразличен к проблеме объективно обоснованных нравственных ценностей. Его постулат «верности самому себе» формален, этически нейтрален: «экзистенция», внутренняя, истинная природа человека, голос которой он должен научиться слушать и которому обязан следовать, не определена в «философии существования» никакими безусловными и общезначимыми нравственными критериями» (с.56).

М.Булгаков же исходит из принципа «**объективной ценности гуманизма**» — «всегда и неизменно». «Его нравственный императив верности человека самому себе не нейтрален: это **верность человека самому себе в истине, добре, справедливости**. Это — основная предпосылка его постановки проблемы, *содержание* его нравственной позиции» (с.56)(28).

Наличие в нравственно-этической концепции Булгакова этого объективного, безусловного содержательного критерия даёт, естественно, Виноградову основание увидеть в М.Булгакове прямого наследника великой традиции русского философского романа 19-го века — романов Толстого и Достоевского. «Его Иешуа, этот удивительный образ обычного, земного, смертного человека, пронизательного и наивного, мудрого и простодушного, потому и противостоит как нравственная антитеза своему могущественному и куда более трезво видящему жизнь собеседнику, что никакие силы не могут заставить его изменить добру, и до самого конца, до последнего предсмертного усилия придать своему хриплому голосу убедительность и ласковость, когда он прохит палача за другого — «Дай попить ему», — он не предаёт избранное и навсегда принятое убеждение, свою истину»(с.56). Это и есть та позиция, не случайно всё чаще опираемая на духовный опыт русской классики, которая всё больше становится теперь позицией и самого Виноградова.

Итак, статья «Завещание Мастера» является важным этапом в разработке Виноградовым нравственно-этической проблематики. Он выдвигает здесь, как видим, проблему этического противостояния личности неблагоприятным условиям бытия — аспект, который при ближайшем рассмотрении показывает, однако, что близость позиции Виноградова к философии экзистенциализма в то же самое время не является абсолютной. Виноградова не удовлетворяет сам по себе формальный критерий «верности самому себе», который ставится экзистенциализмом во главу угла (и недаром он согласен с Э.Соловьёвым в том, что экзистенциализм оказался беспомощен перед проблемой оценки поведения нацистских преступников, которое также удовлетворяло основному правилу экзистенциализма — «верности самому себе»). Его интересует вопрос не только о верности убеждениям, но ещё и о том, насколько верны сами эти убеждения. Он ищет безусловные критерии верности и не раз цитирует в связи с этим слова Достоевского. Проблема постановки объективного содержательного обоснования ценностной системы и становится, таким образом, в центре его внимания в рассматриваемый период творчества. Она сопряжена, несомненно, с **изменениями мировосприятия** Виноградова: откасом его от категоризма сугубо атенетического, материалистического способа мотиваций

и переходом в ту сферу внутреннего духовного и интеллектуального опыта, которую сам он, в статье о Печорине, назвал «ситуацией «открытого сознания» и которая делает особенно трудным поиск именно объективных абсолютов, безусловных оснований для нравственности. Но, как показала статья «Завещание Мастера», критик вовсе не хочет отказываться от этого поиска, хотя об этом этапе его творчества ещё и нельзя никак сказать, чтобы он такие критерии действительно нашёл и обосновал. Он их декларирует, но опирает по-прежнему ещё в основном на некую абстрактно взятую «природу человека» (в статье о Лермонтове), восходящую по-прежнему к антропологизму русских просветителей-демократов 19-го века. Но проблема, повторяем, уже им сознаётся, уже мучит его, и в этом смысле статья «Завещание Мастера» действительно является этапной в его творчестве.

Важно обратить внимание и на стилистические особенности статьи «Завещание Мастера». Она написана уже совсем иначе, чем предыдущие. Это уже не «реальная» критика, для которой характерна установка на самостоятельную публицистику «по поводу», а критика художественно-эстетического, философского плана, для которой характерен метод «вживания» в мир художественного произведения, постоянное стремление понять логику мысли автора, логику его чувства — стремление, связанное с желанием пройти вместе с автором, с живыми душами героев путь исканий, проникнуть в самую структуру художественной идеи произведения, — но не в её отвлечённо-умозрительном толковании, а именно в её живом движении, — понять её, донести до читателя и вместе с ним сопережить.

4. «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ «НОРМАЛЬНОСТЬ»

Этот способ анализа и становится основным методом философско-художественной критики Виноградова в этот период. Лишнее подтверждение тому — последняя повомирская работа Виноградова — статья «На краю земли» о романе В.Некрасова «В окопах Сталинграда» («На краю земли», 1968, 3). В центре её, кстати, тоже совсем не случайно стоит та же проблема содержательного обоснования нравственных ориентиров. Но уже в иной жизненной ситуации — в ситуации войны.

Статья И.Виноградова о повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» вышла через двадцать с лишним лет после первой публикации произведения в журнале «Знамя». Это несвоевременное, казалось бы, появление статьи было связано, несомненно, с желанием поддержать автора в трудный для него момент. А именно: как рассказывал В.Некрасов в беседе с автором настоящей работы, шёл второй «заход» по исключению его из партии, и Виноградов смог «всунуть» статью в некую паузу, когда ещё на Некрасова не накладывалось вето. «Статья была очень нужна, чтобы меня поддержать...»*.

Выступление Виноградова, конечно, было связано с «травлей» писателя. Она явилась поводом для того, чтобы напомнить читателю об этой книге — книге, которая положила начало новой прозе о войне, открыла новый этап в советской литературе, но которую начали замалчивать. Вместе с тем

повесть Некрасова давала возможность критику вновь вернуться к проблеме гуманизма — в той её постановке, которая становилась особо актуальной в тогдашних условиях общественной и духовной жизни общества.

Действительно, почему, несмотря на двадцать лет, которые разделяют нас с моментом выхода книги В.Некрасова в свет, она, по словам критика, «осталась жить не только в истории литературы, но и в живой жизни времени» (с.227)?

«Те, кто прочёл повесть В.Некрасова, когда она впервые появилась, в 1946 году, помнят, — пишет Виноградов, — как поразила нас всех тогда её необычная по тем временам, редкостная правдивость в изображении самого лица войны. Здесь было всё подлинно, почти осязаемо достоверно — и то, о чём говорили, что делали, как вели себя люди у В.Некрасова в ожидании боя, и как ругались из-за пары недостающих сапёрных лопат; как поднимались и шли в атаку, под пули врага, и как пили трофейный коньяк или вспоминали о прошлом — трагические, страшные мгновения боя и окопные будни в часы затишья — оплошения, заботы, разговоры и мысли людей, для которых война стала бытом, каждодневным привычным трудом...

...Такое в нашей литературе действительно было тогда ещё редкостью» (с.235—236).

Повесть Некрасова — «свидетельство о реально бывшем», это «почти документальная достоверность» военных будней, которые «противостоят парадости, риторике, фальши в литературе и жизни» (с.237). И именно за эту её «почти документальную достоверность» критики в своё время и «изничтожали» повесть Некрасова и его героя, подчёркивает Виноградов. «Изничтожали» за «ограниченность кругозора», за «неспособность и неумение» понять «стратегический ход войны», за, так сказать, «идейную незрелость» (с.231)(29).

Однако «событием» повесть Некрасова, по словам Виноградова, стала «не только потому, что вплотную, лицом к лицу, сблизила нас с реальной войной», не потому только, что «некрасовская проза несёт в себе» «безусловное для читателя» художественное значение. «Главный секрет её неослабевающего живого звучания», по определению критика, состоит прежде всего в самом её «духовном строе», — в том «правдивом мире, который возник на её страницах перед читателем» (с.237).

Раскрыть «духовный строй» повести и охарактеризовать её «правдивый мир» как мир такого же гуманистического экзистенциального противостояния человека всему ужасу и злу окружающей его обстановки, что и в романе Булгакова, и является главной задачей статьи Виноградова. Именно этой своей установкой — равно как и своей литературно-критической методологией — статья о повести Некрасова и примыкает к рассмотренным уже ранее работам Виноградова.

Как мы могли заметить в ходе знакомства с новоирусскими работами критика, стержнем его творчества всегда являлся повышенный интерес к нравственно-этической проблематике, заостренное внимание к человеку, к модулям его общественного существования. Духовный мир общественного человека и по сей день остаётся в центре интереса критика. Причём духовный мир не какого-то супермена, а «естественного, простого,

нормальное «я» человека, «нормальность души», «нормальная жизнь». Критерий «нормальности» мы встречаем и во многих послевоенных работах критика — в частности в статье о романе Ю. Домбровского «Факультет пенужных вещей»(30), в рецензии на книгу повестей и рассказов Е. Ржевской «Ближние подступы»(31), в послесловии к публикации повести С. Каледина «Смирненное кладбище» в «Новом мире»(32) и т.п. Однако впервые этот критерий прозвучал и был сформулирован критиком именно в статье о повести В. Некрасова.

Война — состояние ненормальности, ситуация экстраординарного человеческого существования. Мир ценностей человеческой жизни, подлинное нравственное нутро человека проявляются поэтому в таких условиях с особой наглядностью.

Чем же важен для критика с этой точки зрения некрасовский нравственный мир и через него — мир его романа?

А вот именно — его, прежде всего, суверенностью, «внутренней свободой», «незамундиренностью» его художнического «я», его «нормальностью» (с.239).

«Казалось бы, — рассуждает Виноградов, — что произошло такого уж необыкновенного, непосредственно злободневного? Просто вошёл в литературу человек со своим, органичным взглядом на жизнь — да, свободным, широким, но ведь, в сущности, всего лишь естественным, **нечеловечески нормальным**, не больше...

Однако мы хорошо знаем, — объясняет критик, — в литературе не раз бывало, когда обыкновенная человеческая «нормальность», внутренняя свобода, «незамундиренность» художнического «я» оказывались вдруг тем **необходимым духовным импульсом**, который двигал вперёд литературу и общественное сознание решительнее, чем иные самые решительные проповеди...» (с.238—239).

Виноградов и относит повесть Некрасова именно к таким, «давшим импульс» нашему искусству, оказавшим «расковыливающее», «освобождающее» влияние на литературу и общество.

Органическая природа человеческого и писательского «я» В. Некрасова нашла отражение в форме, в стиле и в самом содержании повести. Виноградов определяет характерные для некрасовской прозы «дневниковую» свободу повествования и его «документальную» достоверность не как приём, а как саму форму произведения, которая, «в сущности», как пишет критик, и есть самоё содержание. «Философия» повести, «её духовность», «её нравственная атмосфера» материализовались и в самом её стиле — и за это-то, замечает критик, и «досталось» В. Некрасову в своё время (с.240). Подробно разбирая далее все аргументы критиков, выступивших двадцать лет назад против повести Некрасова, Виноградов напоминает, что времена повторяются и прежние критерии снова в ходу: «за верность самому себе» многим авторам и сегодня «достаётся» от «догматической ортодоксии, которая всё ещё держится на одном из важнейших своих плацдармов» (с.241).

Характерно, что в этой полемической части статьи — там, где критик выступает против современной литературно-критической конъюнктуры,

он открыто отстаивает право на существование нетенденциозного искусства — факт сам по себе исключительный по тогдашним временам:

«Ну, а если художнической природе писателя не свойствен проповеднический пафос? /.../

Если его отношение к собственным мыслям и концепциям, которых он, надо думать, не вовсе лишён, — шлюе, и он по-другому смотрит на то, как должны они соотноситься с художественным изображением действительности?» (с.241).

Эти слова Виноградова были обращены не только к реакционной критике, которая заявляла в эти годы всему миру о том, что времена «рассуждений о гуманном реализме, честном реализме» прошли и что «апология маленького человека, замыкание всех сложных связей мира на нём, пропаганда его как примера...» — «уже в прошлом!»(33). Эти слова были обращены и к властям.

Так, Брежнев в марте того же года, когда появилась статья Виноградова, извещал общество о том, что «ленинское указание о необходимости железной дисциплины имеет значение» не только для периода «непосредственных революционных действий», но и «в ходе дальнейших социально-экономических и демократических преобразований»(34).

Читая эти строки, приходится только удивляться, как сквозь тогдашнюю цензуру могли проходить рассуждения и мысли, подобные рассуждениям Виноградова о «нормальности», о гуманизме, о свободе, о праве искусства не быть тенденциозным и т.д. и т.п.

Но вернёмся к главной теме статьи. Итак, какова же, с точки зрения критика, объективная ценность того внутреннего нравственного мира, который открывается читателю на страницах повести через героя Юрия Керженцева — этого, по выражению Виноградова, «духовного (а отчасти, очевидно, и автобиографического) двойника автора»?

Значимость этого мира определяется для Виноградова, как уже было упомянуто, прежде всего наличием собственного «я» героя, а также «живым, постоянно доброжелательным интересом Керженцева к людям» («реальная любовь» к людям!), «всегдашней его потребностью вглядываться в других, искать и открывать в них что-то хорошее, доброе». В этом смысле особо показательны для критика отношения Керженцева с Валегой — «одна из центральных, хотя и не явных нравственных вех внутренней жизни Керженцева, проходящего испытание войной»:

«Ведь у меня и раньше были друзья. — размышляет Керженцев, глядя на спящего Валегу. /.../ — Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я у него научился. А вот вытанцил бы он меня, раненного, с поля боя? Меня раньше это не интересовало. А сейчас интересует. А Валега вытанцит. Это я знаю... С Валегой — хоть на край света.

На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный...» (с.243).

За тем, как дружит Керженцев с Валегой и с Чумаком, Виноградов видит и ту особую черту нравственного облика Керженцева, которую он называет его «внутренней демократичностью», ибо Керженцев понимает, что

«нравственное достоинство человека определяется не образовательно-культурным его цензом, а его человеческой порядочностью в общении с товарищами, в дружбе, в исполнении воинского долга» (с.244).

Ценность нравственного мира Керженцева измеряется критиком и тем, что в его поведении «нет ничего от частой на войне, в солдатском совместном быте, душевной огрубелости, от «опрошения», что оборачивается нередко снижением внутренней требовательности к себе, нравственной неразборчивостью в связях и отношениях, которые были бы невозможны в обычной, мирной жизни, но с которых теперь как бы снимается внутренний запрет — «война всё спешит» (с.244). Для него «органично резкое неприятие всякого ловкачества, трусливой увёртливости, переключивающей тяготы солдатского долга на плечи других, всякой казённости и солдафонства» (с.244).

Наконец, Виноградов поднимает вопрос и об отношении Керженцева к «самому главному и самому странному на войне солдатскому делу — убивать»: «для Керженцева это — неукоснительный, требующий полной отдачи гражданский, патриотический, а значит, и нравственный долг». Однако в том, как выполняет Керженцев этот свой долг, подчёркивает Виноградов, нет и «малейшего оттенка какой-либо взвигченности, азарта — проявлений тех биологических инстинктов, которые порой служат на войне своего рода психологическим наркотиком и вносят в это необходимое, главное солдатское дело нравственно недопустимый уже элемент охоты или даже спорта...» (с.245).

Таким видит Виноградов лирического героя повести Виктора Некрасова, второе «я» автора, таким видит и его «человеческий мир — в его обычных, каждодневных проявлениях и чертах». Анализ повести закончен, и критик ставит вопрос: существенны ли эти черты? И отвечает: существенны, ибо как бы ни выглядели они обыкновенными и нормальными, но именно «такая вот нормальность человеческих реакций», пишет критик, «увы, всё-таки не столь уж обычна». Керженцев обладает «внутренней интеллигентностью, которая не есть что-то кастовое, привитое внешним воспитанием, но органическое, ставшее природой человека владение всей той совокупностью нравственных отношений к миру, которая сделала человека человеком» (с.245). Недаром «все эти черты человеческого облика Керженцева выдерживают суд по самому строгому, самому безотносительному счёту. И, может быть, особенно благодарно откликаешься на них именно потому, что хорошо знаешь, как это просто — сохранить такую человеческую н о р м а л ь н о с т ь в таких ненормальных трагических для человека условиях, как война...» (с.246)(35).

Именно этот пункт Виноградов и считает важнейшим, ибо в нём пересекаются, по его словам, все впечатления от повести, — это как бы «духовный итог» её. Поэтому критик считает, что повесть Некрасова — это книга не только о войне, но «прежде всего она — о человеке». Повесть Некрасова, по определению Виноградова, — это «опыт пристальнейшего художественного исследования и наблюдения за человеческой душой в одной из жесточайших ситуаций, в какие только может попасть человек. В одной из тех ситуаций, которые на языке современной философии не случайно

именуются **п о г р а н и ч н ы м и** — такими, в которых до конца раскрывается и проверяется наша человеческая природа»(с.246)(36).

Через несколько месяцев после публикации в «Новом мире» статьи Виноградова «На краю земли» страны Варшавского Пакта ввели войска в Чехословакию, и Виноградов был одним из тех представителей творческой интеллигенции, кто, несмотря на возможные неблагоприятные для себя последствия, отказался поставить свою подпись под резолюцией, одобряющей эту акцию. В этом проявилось внутреннее единство творческих и гражданских позиций критика.

Рассмотренные нами работы второго периода новомировского творчества Виноградова показательны, таким образом, прежде всего с точки зрения существенного изменения мировоззрения, мироощущения критика, связанного с отходом от марксизма и отождествления нравственно-этических идеалов с коммунистическими ценностями. Концепция свободной суверенной личности развивается критиком и в этот период, однако уже в условиях той ситуации, в том измерении духа, которое сам критик называет «ситуацией «открытого сознания». В статье о «Герое нашего времени» Лермонтова, написанной в конце 1964 года, Виноградов даёт уже такую формулировку содержательного критерия общественной и индивидуальной ценности свободы: не только «реальная любовь к людям», но и верность человека себе «по законам добра, благородства, справедливости, гуманизма». Чуть позднее, в 1968 году, Виноградов начинает размышлять, «примеривая» к этой ситуации стоический этос экзистенциальной философии, который по всем параметрам, казалось бы, должен был полностью соответствовать его мироощущению, его общественной позиции в этот сложный период, но вместе с тем не удовлетворяет его ввиду отсуствия в этой философии обоснования безусловных и общезначимых нравственных критериев.

Исследование философской основы и нравственных коллизий романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» и выводит критика на путь новых мытарств разума в поисках таких истин — на путь, связанный уже с обращением к религии.

Дальнейшая эволюция творчества

О чём бы ни писал Виноградов — будь то история литературы или произведения современных писателей, в ранние годы творчества или позднее, — человек, его самопознание, познание окружающего мира являются главным направлением творческого поиска критика. Характерно в этом смысле заглавие вышедшего в 1987 г. сборника статей Виноградова — «Духовные искания русской классики»(37).

Непрерывные **духовные искания** характеризуют и творческий путь самого Виноградова. Виноградов — личность эволюционирующая, не стоящая на месте.

В одной из своих статей эпохи «перестройки» — «Перед лицом неба и земли», оспаривая точку зрения своего коллеги по «Новому миру» — критика Ю.Буртина, согласно которой сегодняшней литературе нужен Добролюбов, Виноградов утверждает, что нет, и е т о л ь к о Добролюбов нужен нашей литературе и критике, чтобы создать подлинно демократическое многоголосие в жизни и в литературе, а и «свои Дружинины и Антоновичи, Григорьевы и Писаревы, Страховы и Михайловские, Бердяевы и Розановы. И Добролюбов, разумеется, тоже»(38). Это высказывание Виноградова 1988 года, как видим, разительно выпадает из системы мировоззренческой ориентации в его ранних повомирских работах, и в частности в статье 1961 года «О современном герое», где критик измерял и оценивал различные явления при помощи категоризмов типа «единственно правильный», «верный», «ошибочный» и т.д., ориентированных на этику и эстетику революционно-демократического антропологизма. Но это и не удивительно — ведь статьи «О современном герое» и «Перед лицом неба и земли» разделяет целая эпоха в жизни страны, в судьбе критика и в его творчестве, измеряемая сроком более чем в четверть века. Первая была написана в 28 лет, в каун 22-го съезда КПСС, вторая — в 55 лет, в разгар «перестройки».

Эволюция мировоззрения и мироощущения Виноградова на пути поиска истины прошла через постепенный отход от марксистской эстетики и абстрактного, неприменимого в реальной жизни, идеального морально-правового кодекса «гуманистического» социализма и коммунизма, через кризис сознания, переосмысление идейно-мировоззренческой системы материалистического восприятия мира, через «ситуацию «открытого сознания» и философию экзистенциализма, через мытарства безрелигиозного разума, чтобы обратиться, в конце концов, к той вере, к той философии жизни и к той, вытекающей из этой философии, общественной активности, которые были истиной и жизненной судьбой русских религиозных философов конца прошлого — начала нынешнего века — Вл.Соловьёва, Н.Бердяева, С.Булгакова, С.Франка и др.

В творчестве Виноградова эту эволюцию мировоззрения можно проследить по следующим узловым его статьям.

Первой такой работой была и первая повомирская статья 1958 года Виноградова о повести В.Тендрякова «Чудотворная» («Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева», 1958, 9). В сюжетной основе этой повести, по словам Виноградова, лежал «большой и принципиальный спор» о религии между учительницей Парасковьей Петровной и отцом Дмитрием — спор, в котором Виноградов занимает сторону учительницы. «Трагический характер этого спора, — пишет критик, — лучше всего говорит о том, что психология нашего времени и психология рабской приниженности — вещи несовместимые» (с.255). «Лучшие умы прозревали историческую неизбежность одной из самых грандиозных задач человечества — освобождения людей от пут религиозного мировоззрения, несовместимого с единственно достойным человека научным взглядом на мир» (с.251). Суть социализма — в том, «что он впервые в человеческой истории создаёт полноценного, человеческого человека. При социализме человек впервые

обретает подлинную свободу, человеческое достоинство, право и возможность распоряжаться своей судьбой» (с.252).

Вторая узловая работа, обозначающая собой срединный этап эволюции мировоззрения — состояние «открытого сознания», — новоявленная статья «Философский роман Лермонтова» (1964), с которой начинается Виноградов позднего периода — периода углублённых, экзистенциальных и духовных поисков смысла бытия, истины. Эти поиски отражены в работах конца 60-х — начала 80-х гг., которые вошли в сборник статей критика под названием «По живому следу (Духовные искания русской классики)». «Кардинальные вопросы бытия» — так — весьма точно — охарактеризовал мировоззренческое содержание этой книги Виноградова её рецензент Евгений Шкловский(39).

Признав, что «не хлебом единым жив человек», и уяснив, что и сам он находится в ситуации «открытого сознания», Виноградов обращается к духовным и нравственным поискам Толстого, Достоевского, Белинского, для того чтобы вместе с ними ответить на самые первые, самые «проклятые» нравственно-философские вопросы человеческого бытия», чтобы пройти «п о ж и в о м у с л е д у их мысли и духа»(40). В своём исследовании, как точно отметил Е.Шкловский, он «вооружается не только логикой, но и живым сопереживанием, пытается вместе» с классиками 19-го века и их героями пройти «трудный путь познания»(41).

Так, от состояния «открытого сознания» намечается постепенный переход Виноградова к периоду «мытарств разума», заканчивающийся обретением религиозной веры и закреплённый в таких узловых статьях позднего Виноградова, как «**Мытарства «разумной веры» Толстого**», где Виноградов приходит к выводу о том, «что в пределах логического постулирования Бога никакой «разумно-достоверной» этики.../ просто не может быть»(42), и «Диалог Белинского и Достоевского: философская алгебра и социальная арифметика», где Виноградов тоже показывает, что возвращение к христианству у современного человека чаще всего проходит именно «через мытарства разума»(43), — так, как это произошло, например, и у героини повести Валерии Алфёровой «Джвари», отречённой Виноградовым в 1989 году(44).

Работы Виноградова последних лет — это уже сложившаяся и через «мытарства разума» не только принятая, но и обретённая христианская философия жизни. В этом смысле характерно упомянутое выше послесловие критика к публикации повести Сергея Каледина «Смирненное кладбище». В этой работе отражён диаметрально противоположный взгляд на значение христианства и христианской культуры в сравнении с позициями, с которых написана была статья «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева». «Куда важнее понять, — пишет Виноградов, — что через эти ископные, имеющие на Руси уже тысячелетнюю традицию формы мировидения происходит в Лешкиной душе соприкосновение с той «инстанцией», которая называется д у х о в н о й к у л ь т у р о й» и значение которой состоит «прежде всего в том, что она всегда есть некий ц е л о с т н ы й образ мира и человека, способный сообщить жизни человека тот или иной безусловный смысл и тем определить всю систему его жизненного ориентирования.../ Сегодня, как ни важны... экономические,

научно-технические... преобразования и реформы., ещё важнее восстановление, а во многом и созидание запово того целостного образа мира, того духовного идеала и ориентира, который действительно обладал бы безусловным содержанием и потому и способен был бы объединить общество, придать его жизни и его заботам о себе высший духовный смысл и оправдание»(45)(46).

Если же говорить об эволюции общественной позиции Виноградова, то вехи её могут быть обозначены так: от платформы «за социализм с человеческим лицом», за «гуманистический социализм» в 50—60-е гг., — через «стоическое мужество неучастия», «повсеместный, рассеянный саботаж» всего, что противоречит... нравственному убеждению»(47) конца 60-х — начала 80-х гг., — к христианской политике в условиях начавшейся «перестройки».

В рецензии на роман Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей» — «Мир без ненужных вещей» — Виноградов одним из первых в печати тех лет выступает с обстоятельной критикой морально-нравственного кодекса социализма. В обращении Домбровского к теме 37-го года критик видит «тот самый ракурс, всю значимость которого» общество смогло оценить, пожалуй, лишь в годы «перестройки». А именно: с одной стороны, миллионы человеческих жертв, с другой — многотысячный аппарат насилия, опиравшийся на своего рода энтузиазм насилия. Но ведь аппарат этот — в общем-то, вполне нормальные люди — «отнюдь не патологические изуверы и садисты», замечает Виноградов. Так кто же они в таком случае? «Из чего слеплены»? «В чём их тайна — тайна их мира»? — ставит вопрос критик.

Тайна их в том, объясняет Виноградов, «что в их мире — и мире, их создавшем, — начисто отсутствует понятие абсолюта. И прежде всего абсолюта морального как основы всех других абсолютов человеческой культуры — права в том числе. Отсутствует в полном соответствии с «передовой революционной теорией»./.../ Для них существует лишь один великий принцип, один «абсолют» правового и морального сознания — соответствие классовым интересам пролетариата, или, другими словами, принцип социалистической целесообразности» (совесть бывает только классовая, мораль — тоже)(48).

Характерна с точки зрения понимания гражданской и творческой ориентации Виноградова конца 80-х — начала 90-х гг. и его статья «Безумная русская идея», в которой, помимо всего, за схематичным изложением жизненного и творческого пути русских религиозных философов начала века мы ощущаем параллель с историей эволюции мировоззрения самого автора статьи. «Н.Бердяев, С.Булгаков, С.Франк, П.Струве, Г.Федотов, как и некоторые другие, — пишет критик, — прошли через прямое участие в социал-демократическом движении», «их бунт (против церкви) был непосредственным обнаружением глубинного кризиса традиционного христианского сознания», «но и очарование новой веры в разум и справедливость атеистического гуманизма» длилось недолго. «Все они обнаружили, что революционная теория, ищущая социального устройства как будто бы во имя добра, тем не менее, как писал С.Франк, «не только лишена какого бы то ни было этического обоснования, но даже принципиально от него отрекается»(49).

Параллелизм пути, пройденного религиозными философами начала века, и пути, который прошёл Виноградов, заметен и в том, что возвращение к религиозному мировосприятию у философов начала века не было связано с отказом от прежней социальной активности — напротив, новое христианское сознание после пережитого «кризиса гуманизма» привело их к выработке новой общественной позиции — к «христианской политике». Точно такую же позицию выбирает и Виноградов в условиях начавшейся «перестройки». И эта его позиция не только угадывается, но и открыто им декларируется.

Идея христианской политики Вл.Соловьёва — религия б о г о ч е л о в е ч е с т в а (50), напоминает Виноградов в этой статье. Но какая же это «призрачная, безумная, утопическая идея!..» — скажет здесь, пожалуй, какой-нибудь наш современник, замечает Виноградов. И далее пишет: но «безумие Божие мудрее людей», а «мудрость мира сего есть безумие перед Богом», — сказал апостол Павел. И будь живы сейчас Вл.Соловьёв или Н.Бердяев, С.Булгаков или С.Франк, они тоже спросили бы, наверное, в свою очередь нашего вопрошателя: ну а ваша трезвая, мудрая идея создать счастливый социальный рай на земле без Бога, без абсолютных принципов морали, укоренённых в христианских заповедях, без веры в безусловное значение добра и нравственных норм — чем обернулась она за те 70 лет, что были пережиты нашей несчастной страной и довели нас уже почти до катастрофы?»(51).

В статье, написанной для сборника «Иного не дано», Виноградов, говоря о жертвах сталинизма, в соответствии с принятой им «христианской политикой» постулирует первый шаг, который должно сделать общество на пути к демократии и свободе: это призыв к «всеобщему нашему, всенародному покаянию. И — к очищению через это покаяние в содеянном и допущенном нами»(52).

Наконец, если говорить об эволюции творческого метода Виноградова, то мы прослеживаем здесь постепенный переход от «реальной» к художественно-эссистской, философской критике, от новомировской статьи «Точка опоры» 1959 г. к статьям «Философский роман Лермонтова» 1964 г. и «Завещание Мастера» 1968 г., вошедшим в сборник «По живому следу». И если, продолжая разговор о критике Виноградова, мы не можем говорить о том, что он создал систему каких-то новых, оригинальных мировоззренческих идей, то философская системность его мышления всё же всегда налицо. Системность эта проявляется во всегдешнем выстраивании — как в ранний период творчества, так и в поздний — той или иной **общей картины мира** на основе той или иной принятой критиком философской концепции. Причём, как мы видели, мирозерцание и творческий акт всегда отличаются у него внутренним единством, никогда не оторваны от реальной жизни и реальных гражданских поступков критика. «Справедливо усматривая только в реальной жизни, реальном действии сферу действительного бытия духовности и нравственности, — пишет Евгений Шкловский, — И.Виноградов заставляет глубже задуматься о духовном самостоятельном, не кем-то там внушённом илинисходятельно дозволенном, а добытым собственным трудом разума и души»(53).

Профессиональный и методологический ориентир в творчестве Виноградова — это ориентир одиовременно и масштабный. «...Нужно ясное понимание своего долга перед великими предшественниками, равно как и перед современниками и потомками. И.Виноградов — один из тех...» — пишет М.Санин(54).

Критика и эссеистика Виноградова, постоянно обращённые к стержневым вопросам общественной жизни и человеческого бытия, являются той серьёзной и притягательной критикой, за которой следят и на которую ориентируются.

Г Л А В А V. ТВОРЧЕСТВО А.Д. СИНЯВСКОГО

1. А.СИНЯВСКИЙ И А.ТЕРЦ. ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ

Андрей Синявский и Абрам Терц — один и тот же человек, который произвёл в себе своего рода раздвоение своей творческой личности.

Андрей Донатович Синявский родился в Москве в 1925 году, окончил филологический факультет Московского университета (1949 г.) и аспирантуру (1952 г.), преподавал в МГУ, писал литературно-критические статьи и занимался научно-исследовательской работой в Институте мировой литературы АН СССР, в стенах которого и был замечен А.Г.Дементьевым — в ту пору первым заместителем главного редактора «Нового мира» — и привлечён к сотрудничеству в новом журнале А.Твардовского.

Приблизительно в те же годы — конец 50-х — начало 60-х гг. — начал творчески самоосуществляться и Абрам Терц, — с его тягой к модернизму и фантазмагорическому искусству. Он создал ряд фантастических повестей, написал знаменитую статью «Что такое социалистический реализм» и опубликовал их за границей.

Синявский печатал свои литературно-критические статьи в журнале «Новый мир», и в них он пытался придерживаться строго академического стиля, в пределах дозволенного критикуя главным образом произведения современной советской поэзии. Вскоре он был отмечен А.Твардовским в ряду лучших критиков молодого поколения(1).

Абрам Терц согласно своему природному писательскому темпераменту и вкусовым пристрастиям писал в манере гротеска, иронии, фантастики и резких сдвигов, то есть в стиле утрированной прозы и критики, считая этот стиль наиболее подходящим для художественного воспроизведения абсурдной действительности, окружавшей его, о чём и упомянул в конце своей статьи о соцреализме.

Сотрудничая в «Новом мире» с 1959-го по 1965 г., Синявский опубликовал здесь более десяти работ, три из которых — в соавторстве с другом и коллегой по Институту мировой литературы — А.Меньшутиним. Предназначавшаяся также для «Нового мира» статья Синявского «В защиту пирамиды» (о творчестве Евг.Евтушенко) — пожалуй, самая блистательная и важная работа критика в области исследования советской поэзии тех лет, от которой, по свидетельству старшего редактора прозы А.Берзер, А.Твардовский был в восторге», — находилась в вёрстке к моменту ареста Синявского, почему и не была опубликована в «Новом мире».

«Время переоценки ценностей» — «обвал революционных идеалов» и формирование новой системы мировоззренческих взглядов Синявского — приходится на период второй половины 40-х и начала 50-х годов и связывается самим критиком с «ужасающими чистками в области советской культуры»(2). Изменения в мировоззрении были связаны, таким образом, с гонениями на литературу и искусство, — область, которая становится для

студента филфака Снявского, в его собственном определении, «высшим смыслом» в жизни»(3). Своё гражданское самоощущение в условиях советской действительности, свои гражданские позиции Снявский связывает с либерально-демократическим крылом — как во времена его сотрудничества с «Новым миром», так и по сей день(4). Свои эстетические пристрастия он формулирует как равнодушные к «обычной реалистической манере», любовь к модернизму и всякой оригинальной мысли в искусстве(5).

Итак, по своему гражданскому самоощущению Снявский — либерал и демократ. Когда он определяет направление работы А.Терца как диссидентство «по стилистическому признаку», то следует, видимо, понимать это в первую очередь как декларацию единства гражданского самоощущения и общей мировоззренческой позиции у Снявского и у Терца (мы говорим пока именно о г р а ж д а н с к о м самоощущении, не затрагивая иные аспекты мирозерцания Снявского).

Что же касается эстетики, то, безусловно, согласия во вкусах между Твардовским, скептически относившимся к искусству авангарда и всяким новациям в литературе, и Снявским-Терцем, любившим модернизм, быть не могло. Снявский отмечал в беседе с автором настоящей работы, что в «Новом мире» ему не давали проводить «модернистскую линию»*. Тем не менее мы наблюдаем, что в новомирских статьях Снявскому удаётся быть достаточно последовательным в выражении своих эстетических пристрастий. Так, например, в обзорах современной поэзии, написанных в соавторстве с А.Меньшутиним, Снявский не скрывает своих симпатий по отношению к поэзии нового, модернистского направления, выделяя ряд поэтов, эстетически чуждых Твардовскому. Кроме того, можно отметить, что статья Снявского о поэзии Евтушенко иллюстрирует один из основных тезисов статьи А.Терца 1956 года «Что такое социалистический реализм». А именно: содержательная и стилистическая эклектичность, которую обнаруживает Снявский в поэзии Евтушенко, является характерной особенностью большинства произведений современной советской литературы — результатом сё массового приобщения к соцреализму. Ту же мысль Снявский проводит в разных своих и более ранних новомирских обзорах произведений современной советской поэзии: нельзя соединять Брюсова с Бедным! От такого сочетания рождаются уроды. Рецепт от недуга, который предлагает Снявский в одной из таких статей, — «единство поэтического мироощущения, последовательная жизненно-эстетическая концепция...», каким бы традициям ни следовал поэт(6). Это даёт основание отметить, следовательно, также и определённое единство эстетических и этических позиций критики Снявского и критики Терца.

Профессия критика, исследователя помогла Снявскому понять, что тайны величия художников «старой» школы — таких поэтов, как Пастернак, Цветаева, Ахматова и Мандельштам, — не только в огромном их природном таланте, но и в целостности их индивидуального мира, в понимании ответственности своей роли поэта, в последовательности гражданских поступков. И Снявский тоже был верен своим убеждениям, своему пониманию искусства, своей профессиональной этике, о чём свидетельствует, например, эпизод из истории публикации статьи

Синявского о Пастернаке, написанной для Большой серии «Библиотеки поэта»:

«...Сколько на меня ни давили, чтобы я написал о политических ошибках Пастернака и пр., — рассказывал Синявский автору настоящей работы, — сколько ни объясняли, что это из лучших побуждений, что иначе нельзя: статья не пройдёт, вы должны пожертвовать собой... — то есть вы должны написать эту грязь, ибо важнее, чтобы были опубликованы стихи Пастернака... Ну, на это я говорю: тогда шлите сами!»*

Таким образом, можно, как видим, и в самом деле утверждать, что Синявский и Терц по своему культурному кругозору, по характеру интересов и эстетических предпочтений, по индивидуальной психологии и гражданскому поведению — одно лицо. Граница же между Терцем и Синявским проходит, в сущности, только в плоскости собственно стилистического способа самовыражения и в пределах свободы высказывания.

Относительно своего сотрудничества с «Новым миром» сам Синявский в беседе с автором настоящей работы говорил, что те возможности, те формы, которые представлял в те годы даже «Новый мир», не удовлетворяли его, и главное направление своей работы он видел в творчестве А.Терца, в силу чего и определил своё положение в журнале как положение «стороннего человека»*.

Но если это так, то правомерен ли в таком случае наш выбор Синявского для рассмотрения его в качестве фигуры, достаточно репрезентативной именно для критики «Нового мира»?

В самом деле — ведь «эстетические разногласия», как сам Синявский определил в шутку свои отношения с советской властью, постоянно имели место и в его взаимоотношениях с Твардовским. И если учесть, что современная советская поэзия была основной областью приложения новомирской критики Синявского и что его эстетические вкусы и вкусы Твардовского были особенно далеки друг от друга именно в этой области, то невольно возникает даже и такой вопрос: как же объяснить в таком случае их семилетнее взаимное сотрудничество?..

Отдавая должное прозе и критике журнала, называя Твардовского замечательным человеком и редактором, Синявский тем не менее считал новомирскую поэзию неинтересной*, определяя поэтический вкус Твардовского как консервативный. Новации молодёжи, по словам критика, Твардовский не принимал, модернистскую поэзию не любил. Одно исключение — М.Цветаева*. Сам же А.Синявский, наоборот, как мы уже упоминали, сдержанно относился как раз именно к так называемому критическому реализму и любил искусство модернистского плана. В беседе с нами Синявский привёл пример своих столкновений с Твардовским на почве расхождений во вкусах. Твардовский предложил как-то Синявскому написать о Пастернаке, зная, что у Синявского уже давно лежит статья (позже, в 1965 году, она была опубликована в виде предисловия к Большой серии «Библиотеки поэта», которую курировал Твардовский):

«Вот у меня к вам просьба, — сказал Твардовский. — Мы виноваты перед Пастернаком...». Непонятно было, — замечает Синявский, — кто мы — то ли

журнал, то ли советская литература...? «Вот было бы хорошо, чтобы вы написали положительную статью. Только у меня к вам просьба: не превращайте его в классика». А для меня, — говорил или думал про себя Сиявский, — Пастернак и есть классик. Твардовский долго меня уговаривал, — продолжал свой рассказ Сиявский, — чтобы я писал не только критические, в смысле разрома, отрицания или насмешки, статьи. Он хотел, чтобы я, как критик «Нового мира», выступал с какими-то позитивными примерами. Ну, в частности, он уговорил меня написать об Ольге Берггольц. Он хотел, чтобы я написал о Маршаке. О Маршаке я писать не хотел, не считая его творчество большим явлением. И тут в споре Твардовский в запальчивости сказал: «Знаете, через 20 лет от вашего Пастернака не останется ни строчки, а от Маршака две детские считалочки войдут в хрестоматию».

Это высказывание не случайно, — говорил Сиявский в беседе. — За ним стоит теория Твардовского, которая понятна, но с которой я не согласен.*

Теория, о которой упоминает Сиявский, наиболее чётко изложена в работах Твардовского о литературе, в частности в статьях «Поэзия и народ» (1947 г.) и «О поэзии Маршака» (1951—1967 гг.):

«Трудно назвать среди наших современников писателя, чьи сочинения так мало нуждались бы в предисловиях и комментариях, — пишет Твардовский о Маршаке. /.../

Здесь невозможны случаи, как, скажем, при чтении Б.Пастернака или О.Мандельштама, по-своему замечательных поэтов, где подчас небольшое лирическое стихотворение требует «ключа» для расшифровки заложенных в нём «многоступенчатых» ассоциативных связей, намёков, иносказаний, умолчаний...» («О поэзии Маршака (1951—1967)»)(7).

«Я глубоко убеждён в том, что поэзия настоящая, большая создаётся не для узкого круга стихотворцев и «искушённых», а для народа. До широких масс поэзия доходит не через «лирические томики», о которых с благородным пренебрежением говорил Маяковский. Для этого есть много путей. Тут и школьный учебник, и песенник, и отрывной календарь, и рукописный список «на память». Вот о чём надо мечтать, о таком пути своей поэзии в гущу народа.../

Заставить широкие массы людей читать стихи, найти доступ поэтической речи к их сердцам, — это самое высокое счастье для поэта, и этого не легко достигнуть» («Поэзия и народ»)(8).

Как видим, эстетические расхождения Твардовского с Сиявским отнюдь не ограничивались областью чисто вкусовых пристрастий — различались именно исходные критерии значимости поэзии. Если для Твардовского, как мы видели, важным критерием являлась общедоступность поэзии, её способность волновать широкие массы (отсюда настороженность ко всякой сложной ассоциативности, к поэзии, рассчитанной на достаточно тонкое эстетическое восприятие(9)), то для Сиявского этот критерий был неприемлем как критерий измерения художественной и содержательной высоты поэзии. Именно поэтому, в частности, как уже упоминалось, критик и испытывал особый интерес и симпатии к искусству модернизма, что тоже не могло встречать понимания Твардовского, ориентированного в своей журнальной политике на реалистические традиции(10).

Итак, во взаимоотношениях Сияявского с Твардовским можно отметить, во-первых, существование немаловажных **расхождений по эстетическим вопросам**.

Нельзя не упомянуть, во-вторых, и о расхождениях в отношении Сияявского и Твардовского к журналу, в понимании вопроса об обязанностях автора по отношению к журналу. Характерен в этом смысле эпизод с судом над Сияявским, который вспоминает Джанкарло Вигорелли (бывший генеральный секретарь КОМЕСа) в своём интервью, опубликованном в «Литературной газете» (1990 г.), и, в частности, его свидетельство о реакции Твардовского, находившегося в этот момент в Италии на заседании КОМЕСа, на это событие:

«Твардовский сидел за столом президиума, недалеко от меня. Я видел, что он стал бледным как полотно...!»

Несколько дней спустя Твардовский сказал мне в личной беседе: «Джанкарло, дело в том, что Сияявский — один из самых лучших авторов нашего журнала, он из тех, на кого я возлагал надежды...! О том, что Твардовский ценил Сияявского, я узнал ещё и до конгресса, когда получил от него написанное Сияявским предисловие по поводу выставки Пикассо в Москве»(11).

Помимо этих слов, характеризующих отношение Твардовского к Сияявскому-критику, Вигорелли сообщил корреспонденту «ЛГ» ещё одну деталь своей личной беседы с Твардовским. А именно: Твардовский якобы знал о том, что Сияявский и Терц — одно лицо. Это свидетельство было опровергнуто вдовой Твардовского в её отклике на интервью с Вигорелли, опубликованном также в «ЛГ» от 17 января 1990 г., и достоверность этого опровержения может быть подтверждена следующими словами Сияявского, которые автор настоящей работы записал в беседе с критиком в 1985 году:

«Когда меня посадили. — рассказывает Сияявский, — мою жену, которая была, конечно, в курсе дела, новомирские дамы уговорили пойти к Твардовскому и устроили ей встречу. Ещё ничего не было известно, суд ещё не состоялся. Твардовский принял её и говорил: «Это наверняка ошибка, какая-то ошибка, вы не беспокойтесь... Это ведь не сталинское время» и пр. На что моя жена ответила — она не могла сказать ему прямо: «А если это не ошибка?!» После чего Твардовский воскликнул: «Этого не может быть!» Он просто даже отметал такую мысль», — вспоминает Сияявский*.

Приведём теперь строки из статьи вдовы Твардовского «Твардовский и Вигорелли»:

«Дж.Вигорелли, как бы со слов А.Твардовского, утверждает, что тот задолго до ареста Сияявского знал его как Абрама Терца. Однако не только я и мои дочери, но и сотрудники «Нового мира» могут засвидетельствовать, что это не так. Арест А.Д.Сияявского потому и был для редактора полной неожиданностью, что имя Абрама Терца никак не отождествлялось им с видным критиком «Нового мира», талант которого он не раз отмечал...!»

При известии об аресте А.Сияявского и Ю.Даниэля редактор «Нового мира» ощутил опасность, надвигающуюся не только на его журнал. Он воспринял его как зловещий признак ужесточения инттриполитического режима, некий знак общей беды. Менее всего то был страх за себя, как можно понять из статьи («Ты понимаешь, Джанкарло, что меня ждёт...»). Ведь не

побоялся же А.Твардовский оставить имя Синявского в указателе содержания «Нового мира» за 1966 год (Не точно: за 1965 год (№12), год ареста. — Н.Б.), хотя оно стало запретным для любой информации, появляясь только в статьях обличительного характера. Желая показать, что не отказывается от напечатанных в журнале статей бывшего сотрудника, Твардовский преодолел и сопротивление некоторых осторожных членов редколлегии.

Но, не меняя своей высокой оценки таланта критика, резко осуждая судебную расправу над ним и несправедливый приговор (о чём говорил открыто), Александр Трифонович в отношении Синявского к «Новому миру», к себе как редактору усматривал ту двойственность, которую принять не мог. По его понятиям, у каждого автора есть свои обязательства перед журналом, который его печатает и отстаивает, своя ответственность за него, о которой нельзя забывать, каким бы важным ни казалось тебе собственное творчество. Позиция критика, освободившего себя, по-видимому, от таких обязательств и ответственности, для Твардовского, привыкшего рисковать только собой, но не судьбами других, была чужда и непонятна. Бесспорным для него осталось одно: Синявский не должен был ставить под удар журнал, постоянно находившийся под прицельным огнём критики.

А удары, обрушившиеся на «Новый мир» в связи с «делом Синявского», сейчас уже трудно представить в полной мере. Ссылками на этого автора неизменно подкреплялись обвинения в «очернительстве» советской действительности, в подыгрывании Западу, в капитуляции перед ним. И в пресловутом письме 11 литераторов, ставшем наиболее употребительным примером травли «Нового мира», Синявский вновь выдвигался как фигура, характерная для журнала, осуществляющего «идеологическую диверсию».../

Что и говорить, дорого обошлось «Новому миру» сотрудничество А.Д.Синявского!»(12).

В приведённом здесь свидетельстве вдовы А.Твардовского звучат слова упрёка в адрес Синявского, неприятие его этической позиции по отношению к журналу, и в этих претензиях есть свой резон.

В «Новом мире» существовала этика определённых обязательств автора (в особенности это касалось, безусловно, критиков) по отношению к своему журналу. Члены редколлегии, например, как рассказывал И.Виноградов в частной беседе, не имели права печататься ни в самиздате, ни в «тамиздате»:

«Твардовский просто запретил всякое участие работников редколлегии в диссидентском движении. — рассказывал Виноградов, — мы не подписывали писем, не участвовали в самиздате и т.д. И мы выдерживали запрет очень строго. Это было правильно, потому что надо было джрозить единственной легальной трибуной, которую представлял собой журнал, иметь этот орган в своих руках. Понимали это все, и нам поэтому никто даже и не предлагал участия в нелегальной прессе».*

Эти моральные обязательства не могли, конечно, распространяться на авторов журнала. Синявский, правда, был не просто автором, но состоял в активе журнала и знал о том, как почитает его талант Твардовский. Вместе с тем ощущение себя «сторошим» «Новому миру» человеком, по-видимому, и объясняет отсутствие у него той моральной связанности с журналом, о которой говорил Виноградов. В своей статье «Диссидентство как личный опыт» Синявский писал о том, что, выбрав нелегальный путь Терца, он с

самого начала своего творческого пути поставил себя в ситуацию иной моральной ответственности:

«Просто я не видел иного выхода для своей литературной работы, чем этот скользкий путь, предосудительный в глазах государства и сопряжённый с опасной игрой, когда на карту приходится ставить свою жизненную судьбу, свои человеческие интересы и привязанности. Тут уж ничего не поделаешь. Надо выбирать — в самом себе — между человеком и писателем»(13).

Синявский выбирает Терца и связывает себя обязательствами личной ответственности за творчество Терца. Гражданское самоощущение его поэтому нельзя назвать характерным для большинства других постоянных авторов «Нового мира». Он вне грушья, хотя и в общем движении.

«Стороннее» «Новому миру» положение Синявского подтверждает и тот факт, что для полного самовыражения критику не хватало трибуны журнала и потому он осуществлялся и как Абрам Терц.

Наконец, хотя Синявский и аттестует себя «критиком либерального направления» во времена «Нового мира», причисляет себя к либерально-демократическому крылу, вместе с тем настойчиво декларирует в ряде работ свою аполитичность.

«Во внутреннем споре между политикой и искусством, — пишет Синявский в статье «Диссидентство как личный опыт», — я выбрал искусство и отверг политику». Там же: «политика и социальное устройство общества не моя специальность»(14).

Свои разногласия с советской властью критик определяет, хотя и шутливо, как «эстетические», называет себя диссидентом «главным образом по своему стилистическому признаку», аргументируя это положение тем, что сама манера его письма не устраивала блюстителей «устоявшегося стиля и сложившегося уже, апробированного направления в литературе»(15)(16).

Даже пересылку своих вещей за границу Синявский считает не политической акцией с его стороны или формой протеста, а «наилучшим способом «сохранить текст»(17). Своё диссидентство Синявский определяет не как «сопротивление советскому строю вообще», а как «сопротивление унификации мысли и её омертвлению в советском обществе»(18); принадлежность — и по сей день — к либерально-демократическому крылу он объясняет тем, что «в условиях советского деспотизма советскому интеллигенту подобает» быть «либералом и демократом»(19). И этот выбор Синявский связывает опять-таки с искусством, которое в его понимании всегда «инакомыслие» (в широком смысле слова) к господствующей точке зрения на вещи»(20).

Синявский не просто декларирует свою аполитичность — за ней стоит определённая концепция, восходящая к его любимому автору — В.Розанову, и ещё дальше — к К.Леонтьеву. В своей книге «Опавшие листья» В.Розанова» Синявский пишет:

«Эстетический принцип, связанный с религией и идущий от Константина Леонтьева, Розанову в высшей степени свойствен. И самый бунт Розанова против «корректных людей», против заштампованной пошлости, где бы она ни проявлялась — в социал-демократии или в православном христианстве, —

идёт от Константина Леонтьева. И сама розановская парадоксальность, и его склонность всегда идти против течения, против большинства восходит к Леонтьеву. Ибо это эстетический и стилистический принцип, поскольку стиль осознаёт себя в отталкивании от общепринятого. Ведь Леонтьев был крайним консерватором только потому, что в данный момент вокруг господствовали либерализм, прогрессизм и эгалитарность. И Леонтьев отталкивался от этой среды по преимуществу как художник, с позиций стилистики и эстетики. Согласно Леонтьеву, — продолжает Сиянский, — «эстетику» (т.е. художнику) подобает во времена демократии быть аристократом, в условиях рабства проявлять себя либералом, быть набожным в эпоху безбожия и вольнодумцем посреди религиозного ханжества, — словом, всегда идти наперекор общему мнению. Под этим девизом, — заключает Сиянский, — мог бы подписаться и Розанов»(21)...

Добавим: и Сиянский, определивший себя диссидентом по стилистическому признаку. Предпоследнюю фразу приведённой выдержки критик особенно часто цитирует в ряде своих работ недавнего времени, в том числе и в статье-выступлении «О критике», где Сиянский полемизирует с Ю.Мальцевым по вопросу о связи политики с искусством. Так, на заявление Мальцева о том, что «сознание любого человека в сегодняшнем мире политизировано», Сиянский отвечает: «Мало ли что «у всех» — политизированное сознание!». И приводит высказывание Цветаевой: «Писатель — это один из всех, а иногда один за всех и против всех». В этой же статье Сиянский определяет Ахматову и Пастернака как «аполитичных писателей», справедливо отмечая далее, что «самая хорошая политика — это не критерий художественности» и «полнота правды» в условиях подцензурной и бесцензурной русской словесности «не является единственным критерием художественного достоинства книги»(22).

Итак, Сиянский считает, что писатель должен быть вне политики, «вне Цели». Эта мысль проводится и А.Терцем. Ещё в статье 1956 года «Что такое социалистический реализм», он выразил её строками из стихотворений М.Цветаевой и М.Волошина:

Все рядком лежат, —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат!
Где свой, где чужой?
Белый был — красным стал,
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал,
Смерть побелела.

(М.Цветаева)

«Лишний» человек, писатель «объявил себя нейтральным» «в борьбе религиозных партий» и «выразил соболезнование и тем и другим:

И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто против нас — тот против нас.
Нет безразличных — правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других
(М.Волошин)

«Нет ни красных, ни белых, а есть просто люди, бедные, несчастные, лишние люди»(23), — пишет критик.

Та же мысль проводится Синявским и в маленьком эссе «Достоевский и каторга»: «Известно, как много потом (после каторги. — Н.Б.) в романах Достоевского заняла «тема преступления»... Криминалист? Но — с тем, чтобы сказать о всяком преступлении чуть ли не с восторгом (с восторгом художника, открывшего новую страну, которую он заселяет собою и своими персонажами)...»(24).

Итак, писательство для Синявского всегда инакомыслие, писатель стоит «вне Цели», вне политики, но позиция писателя, его отношение к миру не абстрактно-отвлечённое, и в концепции Синявского эта позиция имеет конкретное содержание, связанное с понятием «христианской «любви» и «милости». Вместе с тем это не активная позиция, а лишь внутренняя установка, ибо Синявский «против смещения ценностей духовных и земных, религиозных и политических»(25).

В книге «В тени Гоголя» Терц так формулирует эту мысль, эту философию жизни и творчества: назначение искусства состоит, по его глубокому убеждению (вслед за Гоголем), в том, чтобы являть миру красоту, ибо человечество может быть спасено не «посредством полезных рецептов» то есть не проповедью и моралью, а **«красотой, которая воскресит мир»**, красотой, «которая совершенна, всесильна и поэтому излучает, как солнце, — истину, добро, всё удостоверяя и улагодворяя собою»(26).

В своей книге «Опавшие листья» В.В.Розанова Синявский делит писателей на моралистов и художников, безусловно причисляя себя ко второму типу:

«Давно замечено, что художники и моралисты находятся в известном антагонизме друг к другу, что моралисты теснят художников, а художники — моралистов. Ибо художнику интересна природа сама по себе. Художник может восхищаться красотой тигра, красотой разбойника. Как говаривал Пушкин, какое дело поэту до порока и добродетели — ровно никакого. И тут же поправлялся — порок и добродетель интересуют поэта лишь с их эстетической стороны»(27).

Синявский ратует за чистое искусство, видит в Пушкине единственного писателя 19-го века, преданного идеалу «искусства для искусства»(28), «во славу любви и «чистого искусства» пишет свою книгу «Прогулки с Пушкиным», в которой стремится представить Пушкина «исключительно как «чистый дух» самого искусства»(29).

Итак, за декларацией Синявским собственной аполитичности стоит, как видим, целая концепция, философия творчества, писательства. И Синявский пытается следовать этой философии: направление Терца — это не только отрицание соцреализма, но и отказ от реализма. Кроме того, стремление Синявского отделить сферу своих жизненных и творческих интересов, свою профессиональную деятельность от политики, отвечает и психологическому устройству самой личности Синявского. Этот ключ к пониманию его

миросозерцания тоже можно без особого труда найти в его собственных текстах — например, сопоставив два ряда его высказываний: из статьи А.Синявского «Диссидентство как личный опыт» и из статьи А.Терца «Что такое социалистический реализм».

Так, в статье «Что такое социалистический реализм», отмечая схожесть положительных героев литературы 18-го столетия с героями соцреализма, Терц пишет: «Друг он общего добра», «Душой всех превзойти он тщится», т.е. неустанно повышает свой морально-политический уровень, он обладает всеми добродетелями, всех поучает и т.д.»(30). Противопоставляет же он этим «общественным» героям-«моралистам» в той же статье «лишнего» человека литературы 19-го века, скептически относящегося к окружающей действительности и стоящего поэтому в стороне от «общего добра».

Но и Синявскому также не присуще чувство исторического оптимизма. В статье «Диссидентство как личный опыт» он писал, что «совсем не верит» в победу свободы и демократии в России»(31). Скептику поэтому более подобает смех, ирония.

«Разрушительный смех», пишет А.Терц в статье о соцреализме, был «хронической болезнью культуры Пушкина — Блока и, окрасив в иронический тон весь 19-ый век, достиг предела в декадентстве». И далее:

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века, — цитирует Терц строки из «Иронии» А.Блока, — поражены болезнью... Это болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Её проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством».

«Ирония в таком понимании, — отмечает А.Терц, — это смех лишнего человека над самим собой и над всем, что есть в мире святого».

«Ирония — неизменный спутник безверия и сомнения, она исчезает, как только появляется вера, не допускающая кощунство». «И Пушкин первым отведал горькую сладость самоотрицания, хотя был весел и уравновешен. Лермонтов же чуть ли не с младенческих лет отравился этим ядом. В Блоке, Андрееве, Сологубе — в последних представителях великой иронической культуры — разлагающий смех стал всеохватывающей стихией...»(32).

Вот почему Терц, как нам кажется, выбирает гротеск, фантастику и иронию, и вот почему и Синявский в статье «Диссидентство как личный опыт» свидетельствует, что если бы ему предложили писать в «обычной реалистической манере», то он отказался бы от писательства(33). Дело не в том, следовательно, что он выбрал фантазмагорическое искусство ради необычности стиля, из жадности противостояния общепринятому и т.п., а в том, что именно этот стиль, именно этот тип искусства были наиболее адекватны его глубинному миросозерцанию, самой его человеческой природе.

Подведём некоторые итоги. Итак, Синявский-Терц всюду и всегда отстаивает, как мы видели, прежде всего свободу личную, и такой свободой для него всегда является писательство. «Писательство — это свобода», — пишет он в статье «Диссидентство как личный опыт»(34). И там же: «Свобода», как и некоторые другие «бесплезные» категории — например,

искусство, добро, человеческая мысль, — самоценна и не зависит от исторической и политической конъюнктуры(35).

Но если не зависит, то почему сегодня критик так часто выступает против национально-религиозного движения, считая его новым деспотизмом(36)? Причём в этом случае не за свою ведь только свободу борется Сияявский — личная свобода у него есть, — а именно за **общую** свободу там, в России. Как видим, если слишком верить его собственным декларациям, то его полемика с русскими «патриотами» так же непонятна, как непонятны и мотивы его прежних новомирских выступлений против А.Софронова, Е.Долматовского и И.Шевцова. Из этого следует, что существует, по-видимому, всё-таки некий изъян в концепции критика — противоречие, которое им самим же и сформулировано в статье «Диссидентство как личный опыт» (только в интонации недоумения): «...Я не менял позиции, а говорил одно и то же: искусство выше действительности», «между тем» «там, в Советском Союзе, я был «агентом империализма», здесь, в эмиграции, я — «агент Москвы»(37). И в другой работе: «Впервые, помнится, погромщиком назвал меня большой русский гуманист В.Кочетов... за старые мои отзывы в «Новом мире» о Софронове, Долматовском, Шевцове»(38).

Противоречие, как видим, лежит в плоскости субъективного самоощущения и самоопределения Сияявского и объективного восприятия творчества Сияявского—Терца со стороны. Вот это-то обстоятельство, равно как и пункты выпензеложенных расхождений во взглядах Сияявского и Твардовского (в отношении к журналу, по эстетическим вопросам и по вопросам общественно-гражданского самоощущения), и обязывает нас осознать именно как **проблему** уяснения того, в какой мере фигура Сияявского — на фоне и в ряду других критических фигур журнала — может быть рассмотрена как фигура, для критики журнала достаточно всё же репрезентативная.

Решение этой проблемы и будет центральной задачей нашего исследования новомирского творчества критика. В связи с этим мы постараемся дать ответ на такие вопросы: **В какой мере ретроспективные аттестации Сияявским своей новомирской литературно-критической деятельности объективны? Был ли и в самом деле Сияявский «сторонним» человеком для «Нового мира»? Почему в таком случае Твардовский назвал его одним из лучших критиков журнала?**

На все эти и другие возникающие в этой связи вопросы мы постараемся дать ответ постепенно, в ходе рассмотрения работ критика, которые и будут анализироваться с точки зрения вышеозначенной проблематики.

За время своего семилетнего сотрудничества в «Новом мире» Сияявский опубликовал здесь, как уже говорилось, более десяти работ. Эти статьи и рецензии можно расположить для удобства по следующим тематическим группам, которые являются, на наш взгляд, достаточно показательными для выявления и основных направлений работы критика, и его литературных позиций.

Так, к **первой такой группе** мы отнесли бы небольшие публикации Сияявского, посвящённые А.Ахматовой и Б.Пастернаку, творчество которых является для Сияявского вершинным ориентиром в поэзии. Речь

идёт о рецензии Сиявяского на поэтический сборник Б.Пастернака «Стихи и поэмы» (1962, 3) и о его послесловии под названием «Раскованный голос» к публикации подборки стихотворений А.Ахматовой в «Новом мире» (1964, 6), приуроченной к 75-летию поэта. При рассмотрении этих работ нам важно будет попытаться выявить критерии Сиявяского относительно искусства поэзии, а также принципы его подхода к освещению материала. С этой же точки зрения в ряду названных работ мы рассмотрим и статью Сиявяского «Поэзия и проза Ольги Берггольц» (1960, 5).

Ко второй группе мы относим статьи Сиявяского, посвящённые анализу творчества молодых поэтов и написанные им в соавторстве с А.Меньшутиним: «День русской поэзии» (1959, 2), «За поэтическую активность» (1961, 1) и «Давайте говорить профессионально» (1961, 8). Эти работы Сиявяского и Меньшутина будут интересовать нас с точки зрения критериев оценки поэзии молодых, выявления эстетических позиций Сиявяского, а также общего характера, общей направленности статей. Здесь же будет рассмотрена и статья Сиявяского «В защиту пирамиды» о творчестве Е.Евтушенко, тематически и проблемно примыкающая к этому циклу работ.

Наконец, к последней группе новомирских работ критика мы относим три рецензии: на новый сборник стихов Ал.Софронова» (1959, 8), на роман И.Шевцова «Тля» (1964, 12) и на сборник стихотворений Евг.Долматовского (1965, 3). Эти работы интересны с точки зрения выяснения характера полемических устремлений и полемической стилистики Сиявяского.

Рассмотрение новомирских работ критика по намеченным трём тематическим направлениям позволит нам, надеемся, решить и обозначенную выше общую проблему настоящей главы.

2. ОРИЕНТИРЫ И КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА ПОЭЗИИ

В рецензии на новую книгу стихов Евг.Долматовского («Есть такие стихи», 1965, 3) Сиявяский наиболее полно излагает своё кредо относительно искусства поэзии:

«Поэзия начинается там, где есть тенденция», — цитирует он слова Маяковского. — Тенденция «в широком значении — это живое формообразующее, творящее начало в стихе, движение, ломающее догмы и штампы, не терпящее компромиссов, желающее жить по-новому, по-своему. Она утверждает себя и стилем, и жанром, и самой жизнью художника, страшась середины, не допускающего и мысли, чтобы его с кем-нибудь спутали, одержимого своей идеей. Тенденция — исток и заряд, она — душа поэзии в её истинном смысле и максимальных, всегда максимальных требованиях к себе. Ибо настоящая поэзия в любых своих проявлениях, помимо всего прочего, неизменно стремится стать выше и больше себя самой»(с.247—248).

Под внутренней тенденцией Сиявяский понимает не просто направленность, а сложившийся цельный поэтический, оригинальный мир художника — то, что называется самобытностью творчества. Такой

самобытностью обладает для него поэтический мир Пастернака, Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама.

Творчество этих поэтов и является для Сиявского высшим ориентиром в поэзии. Слова о том, что «постоящая поэзия... неизменно стремится стать выше и больше себя самой», повторены Сиявским в его статье-предисловии к сборнику стихотворений и поэм Б.Пастернака, который вышел в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1965 г.:

«...Одно из глубоких убеждений Пастернака заключалось в том, что истинное искусство всегда больше себя самого, ибо свидетельствует о значительности бытия, о величии жизни, о неизмеримой ценности человеческого существования»(39).

И с этой, высокой точки зрения на искусство поэзии Сиявский во всех своих повомирских работах и экзаменуется рассматриваемый материал.

С именами Пастернака и Ахматовой связаны две небольшие работы Сиявского, опубликованные в «Новом мире» в 1962 и 1964 гг. и сходные по задачам, которые ставил перед собой критик, обращаясь к творчеству этих поэтов.

Как известно, официальное литературоведение долгие годы стремилось замалчивать поэзию Пастернака и Ахматовой или отзывалось о ней как об элитарной, декадентской, камерной и потому чуждой советскому человеку. Рецензия Сиявского на сборник стихотворений и поэм Б.Пастернака 1961 г. и его послесловие к публикации стихотворений А.Ахматовой в «Новом мире» подчинены задаче гражданской реабилитации этих поэтов, «возвращению» их творчества широкому читателю, объяснению значимости их лирики для русской культуры. Характер этих работ Сиявского можно, следовательно, определить как культурное просветительство, которое было одним из направлений деятельности «Нового мира».

Сиявский строит свои работы на приёме отталкивания от тех псевдокритериев, которые длительное время использовались советской нормативной критикой для характеристики поэзии Пастернака и Ахматовой с целью их развенчания. Причём основные критерии, которыми пользуется сам критик для определения значимости и масштабности этой поэзии, являются критериями содержательными.

Так, в рецензии на сборник стихотворений и поэм Пастернака, выпущенный Гослитиздатом в 1961 г. («Стихи и поэмы», 1962, 3), Сиявский объявляет неправомерным видеть в «сгущенной сложной метафоричности» ранней поэзии Пастернака «претензию формы, за которой смутно улавливается содержание» (с.261). «...Содержанием, пухлым и близким людям сегодняшнего и завтрашнего дня», всегда «насыщены» стихотворения Пастернака, пишет Сиявский. И значение этой поэзии, настаивает критик, велико и неотожждествляемо с избитыми оценками в официальном литературоведении и критике. Неправомерно называть лирику Пастернака камерной, антигражданской, ибо если поэт и «тяготел» когда-то к каким-то «камерным» настроениям дооктябрьской интеллигентской среды, то «в ряде поэм и стихотворений, созданных в разные периоды его жизни», были запечатлены и «революция и новая советская действительность, показанные (как это вообще свойственно Пастернаку) под углом зрения

правственных преобразований, которые связаны именно с нашим временем, народом» («Мы — первая любовь земли...» (1925 г.), «Сквозь прошлого перипетии/ И годы войн и нищеты/ Я молча узнавал России/Неповторимые черты»(1941 г.)(с.261).

В более же поздней работе — предисловии к сборнику стихотворений и поэм Б.Пастернака (Большая серия «Библиотеки поэта», 1965 г.) — Снявский и вообще объявляет ложным критерий, согласно которому «ценность поэзии измеряется наличием гражданской лирики»(40). Пытаясь расширить рамки обычного представления о поэзии и, в частности, о поэтическом мире Пастернака, Снявский говорит о том, что величие мирозерцания поэта — именно в оригинальности его поэзии. И жанры тут не имеют никакого значения. Так, вопреки распространённым суждениям о том, что пейзажная лирика есть нечто второстепенное в творчестве художника — «мелкотемье», как любили тогда выражаться критики нормативной школы, — Снявский обращает внимание читателя на то, что в стихотворениях и поэмах Пастернака, посвящённых природе, выражена целая философия жизни, и природа здесь понимается как «природа самой жизни», «как целостное индивидуальное лицо, как живое единство мира...»(с.261). Искусство для Пастернака «зарождается в недрах природы», и «первоисточником поэзии является сама жизнь, поэт же в лучшем случае — её соучастник, соавтор, которому остаётся только подсматривать и удивляться, собирая готовые рифмы в подставленную тетрадь»(41):

Весна, я с улицы, где тоюль удивлён,
Где даль путается, где дом упасть боится.
Где воздух силъ, как узелок с бельём
У выписавшегося из больницы.

Представляя читателю новый сборник стихотворений и поэм Пастернака, куда наряду с некоторыми прежними стихотворениями вошли произведения периода 1956—1960 гг., ранее не издававшиеся или печатавшиеся разрозненно, Снявский половину объёма своей рецензии уделяет критике составительской работы. И не случайно. Для того, чтобы сколько-нибудь адекватно судить о значении лирики поэта, необходимо прежде всего иметь представление о его творчестве в целом. Выход книги является поэтому «весьма своевременным» событием, как отмечает критик, но беда в том, что сборник весьма далёк от совершенства.

Снявский недоумевает, во-первых, по поводу отсутствия вступительной статьи, которая тем более кажется ему необходимой, что с именем поэта «в последние годы в широких кругах читателей связывались... представления отрицательного порядка» (с.261). Снявский обращает внимание читателей, во-вторых, и на недопустимое отсутствие примечаний, комментариев редакции к стихотворениям и поэмам, входящим в сборник. Он критикует, в-третьих, и сам принцип составления книги: вместо «определяющих для творчества Пастернака вещей» здесь собрано большое количество «третьестепенных, «проходных» для поэта публикаций, которыми можно было бы пожертвовать ради других, более важных» (с.263). Наконец, Снявский отмечает публикацию в сборнике «некоторых старых произведений Пастернака в новом виде, с существенными изменениями»,

которые были сделаны по воле автора, но которые, за отсутствием необходимых в таких случаях комментариев, «создают ощущение какой-то неясности, путаницы: иные памятные строфы стихотворений отсутствуют, другие заменены, у некоторых стихотворений опущен финал и т.д.» (с.262). Словом, Сиявский отстаивает тезис: выход книги — дело хорошее, но вопрос в том, сможет ли читатель сколько-нибудь равнозначно судить о поэзии Пастернака на основании такого издания?

Точно так же, с реабилитации имени поэта в глазах читателя, Сиявский начинает и свою небольшую заметку о творчестве А.Ахматовой («Раскованный голос», 1964, 6).

Сиявский не принимает устоявшееся в официальной критике и литературоведении мнение о её «равнодушии к судьбам народным», о чуждом, «стороннем» отношении Ахматовой к жизни родной страны. Поэзия Ахматовой для критика, напротив, подлинно гражданственная и общественно значимая.

«Многие годы поэзия Анны Ахматовой, — пишет Сиявский, — представлялась современникам как бы застывшей в замкнутых границах, проложенных её первыми книгами — «Вечер», «Чётки», «Белая стая»...!./

«Не переставая быть собою, Ахматова опровергает себя, точнее сказать — расшатывает и расширяет устоявшиеся представления о себе как о поэте дореволюционной лишь поры, замкнутом в тесных пределах, в одном неизменном русле. Об этом гласит прежде всего её **гражданская лирика** тридцатых годов и воепопного времени, исполненная трагической силы и мужества. Ахматова спорит с теми, кто хотел бы видеть в ней «стороннее» явление, чуждое жизни родной страны, равнодушное к судьбам народным» (с.174):

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Сиявский говорит о масштабности внутреннего содержания поэзии Ахматовой, о необходимости пересмотреть «некоторые ставшие традиционными мнения» о камерности ранней поэзии Ахматовой. Подлинная поэзия, подчёркивает критик, не измеряется объёмами, а состоит как раз в умении «вызвать на небольшом участке стихотворного текста ощущение большого пространства» (с.175). Малый формат у Ахматовой «оказывается необычайно вместительным», «камерный жанр становится пристанищем для характера крупного, мощного, почти монументального», «Ахматова обладала способностью в объём четверостишия уложить судьбу человека с его психологическими изгибами и тайнами внутренней жизни» (с.175):

Я счастлива. Но мне всего милей
Лесная и пологая дорога,
Убогий мост, скривившийся немного,
И то, что ждать остаётся мало дней.

В небольших по объёму работах о Пастернаке и Ахматовой Сиявский, как мы видим, говорит в первую очередь не столько о художественных особенностях этой поэзии, сколько о её **содержательной** глубине, о подлинной гражданственности, которая утверждается и «самой жизнью

художника». По своей направленности эти работы имеют, таким образом, безусловную ориентацию на гражданскую реабилитацию поэтов, по содержанию же отсылают установку на культурное просветительство, — то есть в полной мере являясь как раз характерными для позиций «Нового мира».

В центре большой статьи Сиявского «Поэзия и проза Ольги Берггольц», опубликованной в пятом номере «Нового мира» за 1960 год, стоит задача определения **содержательного масштаба** творчества поэтессы. Принцип подхода к материалу — показать не только то, «что сказано», но и «как сказано». Вместе с тем «что», как мы увидим, для Сиявского опять-таки имеет всё-таки первоочередное значение.

Характерно в этом смысле, что в качестве основного материала для анализа Сиявский берёт «блокадную» прозу и поэзию в творчестве поэтессы, ценность которого он измеряет мировоззренческой целостностью самовыражения. «Блокадная» тема в поэзии и в прозе Берггольц — одна из тех стихий, в которой для критика с наибольшей силой проявляется именно человеческая личность поэтессы, «величие страдающего»(42). Главный нерв этой поэзии — то, на чём держатся стихи Берггольц, — Сиявский видит в «обострённо трагической и очень лиричной, идущей от самого сердца и наполняющей «голый» стих страстью высокого накала» интонации её стиха.

Сиявский ценит «блокадную» прозу и поэзию Берггольц за наличие **авторского «я»** — «захват действительности в личное пользование», за искренность, за «величие страдающего», за то, что «высокое» в её поэзии отождествляется с простыми понятиями (с.229), за «глубину внутреннего, субъективного мира», которая является для него главным содержанием книги «Дневные звёзды» (с.230). Наконец, за то, что «всё творчество Берггольц в значительной мере порождено» чувством памяти (с.230), для которого, как отмечает критик, «более характерна не интонация пассивного подчинения нахлынувшим воспоминаниям — «не могу забыть», а властное и гордое — «не хочу, не дам, не позволю забыть!» («Так пусть рубец, почётный и суровый/ С моей души не сходит никогда...») (с.230).

Таким образом, и достоинства лирики Берггольц, как видим, измеряются Сиявским опять-таки общими для новомирской критики содержательными прежде всего критериями ценности литературного произведения. Хотя и не только. Критик много говорит о художественном единстве — единстве содержания и стиля — «блокадной» прозы и поэзии Берггольц.

«Стихи и поэмы Берггольц, — пишет Сиявский, — не поражают ни богатством и разнообразием поэтических форм, ни широтой словесного ряда, ни особыми находками в рифмах, метафорах и т.д. Больше того, с узкоформальной стороны её поэзия скорее однообразна, скупа. Ей свойственна аскетическая сдержанность в выборе и употреблении слов...(с.226)/.../

...Поэтическая речь Ольги Берггольц — немногословная, чёткая, нагая, более похожая на графику, чем на живопись, и порой живущая как бы на минимуме изобразительных средств, на скудном блокадном рационе, на суровом военном режиме.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады, —
мы не покинем наших баррикад».

Но такая «суровая» форма, поясняет критик, оправдана именно содержанием стихотворений Берггольц, повествующих о блокаде Ленинграда.

Вместе с тем, если в «блокадной» теме творчества Берггольц критик видит целостный и органичный художественный мир, то её послевоенные большие поэмы находят в статье критическую оценку. В трагедии «Верность» и в поэме «Первороссийск», констатирует Сиявский, Берггольц берётся за сюжеты и жанры, требующие объективного, конкретного отображения исторических событий большого масштаба. Однако поэтесса не справляется с такой задачей. Критик видит некую противостоительность в использовании Берггольц всё тех же «сильных, лирических интонаций» для передачи объективных событий истории, которые «лежат вне «я» поэта:

«В силу жанровой специфики» этих произведений интонация здесь «не определяет, не покрывает уже всего произведения, и это отсутствие живого лица временами весьма заметно, потому что фигуры аллегорического склада, декларативность и прочее начинают выпирать, перевешивать», пишет критик (с.232).

Под «жанровой спецификой» Сиявский имеет в виду и то противоречие, то трагическое раздвоение поэтессы, которое отразилось в этих больших поэтических формах: желание Берггольц совместить несовместимое — трагедию своей жизни и партийную правду(43). Берггольц недостаёт последовательности в выражении мирозерцания — важнейшее для критика условие выхода в большую поэзию.

Оценка художественных недостатков и достоинств творчества Берггольц обусловлена, таким образом, в подходе Сиявского опять-таки прежде всего содержательными требованиями. Причём критерий содержательной глубины поэзии, как мы видели, всегда соотносится, в сущности, у Сиявского и с характером общественно-политического осмысления поэтом окружающей действительности. Иными словами, для критики Сиявского мировоззренческие взгляды поэта относить не безразличны: не случайно ориентирами для него являются именно Пастернак и Ахматова, совершенно однозначно выражавшие своё отношение к советской действительности.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ В ПОДХОДЕ СИЯВСКОГО К АНАЛИЗУ ПОЭЗИИ МОЛОДЫХ

Рассмотрим теперь вторую группу статей А.Сиявского, написанных самостоятельно или с его соавтором по «Новому миру» — А.Меньшутиным и посвящённых разбору современной советской поэзии, — материал, который мы будем анализировать опять-таки с точки зрения демонстрируемой Сиявским в этих статьях методологии его критического подхода к поэзии.

Самой блестящей работой Сиявского, типичной для его критики и характерной также с точки зрения выявления общих для молодой поэзии авангарда 50—60-х гг. особенностей, является его статья «В защиту пирамиды», посвящённая анализу творчества Евг.Евтушенко(44).

Написанная для «Нового мира», эта работа Сиявского не была отвергнута редакцией, как о том говорилось в предисловии к публикации статьи в подпольном сборнике «Феникс», перепечатанном затем вместе со статьёй журналом «Грани»(45), однако, как уже упоминалось ранее, статья не могла быть напечатана в «Новом мире» в связи с арестом Сиявского.

Оговаривая цели и задачи своей статьи, критик сразу же подчёркивает, насколько важно для него в этой работе коснуться и «некоторых более общих проблем», поставленных творчеством Евтушенко «перед современной поэзией»(с.115).

Критическая направленность статьи, которая появилась в связи с выходом в свет (в четвёртом номере журнала «Юность» за 1965 год) поэмы Евтушенко «Братская ГЭС» — произведения, в определении критика, «гигантского, монументального замысла», произведения «итогового и одновременно программного» для творчества Евтушенко (с.115), — удивляется с самого начала её чтения. Статья построена, в сущности, на едином мотиве: критик приветствует талант Евтушенко, считает его поэзию литературным событием, но событием небольшого масштаба.

Почему? Каковы основные критерии подхода Сиявского к поэме Евтушенко? Какие достоинства и какие недостатки видит он в его поэзии?

Сиявский считает славу Евтушенко не лишённой «реальных оснований», «не сводящейся лишь к скоропреходящей моде»: Евтушенко, пишет он, «стал в определённой среде властителем дум своего времени» и тем самым в какой-то степени «восполнил пробел, образовавшийся в поэзии с уходом Маяковского» (с.115). Он «вернул нам ощущение лирической б и о г р а ф и и», он примкнул к той, по выражению Пастернака, «зрелищной концепции» биографии поэта, которую в начале столетия гениально демонстрировал Блок, а затем по-разному реализовали в стихах Маяковский, Есенин, Цветаева» (с.115—116)(46). Евтушенко «усвоил, перенял прямо или косвенно от своих великих предшественников», что «зрелищная концепция» предполагает «предельную откровенность в рассказе о себе», когда жизненный путь поэта становится литературным сюжетом, хотя «само понимание личности и её судьбы, биографии» у Евтушенко, в отличие от предшественников, как отмечает Сиявский, иное: у него «отсутствует печать личной исключительности, идея избранничества, великого и страшного жребия, сообщавшие судьбе поэта нечто провиденциальное, непреложное и в то же время позволявшие развернуть собственную биографию наподобие легенды, мифа, мистерии, возвысить частную жизнь до уникального «бытия...» (с.116). Герой Евтушенко — обликочевный человек, «славный малый», «хороший парень», но «никак не избранник». Он прост в своём общении с читателем, откровенен, «доверчив», «дружелюбен», «общителен» («...Чтоб читали ещё и ещё и сказали мне просто «Женя, а вы знаете — хорошо!»). Евтушенко достоверен в описании подробностей своей жизни и окружения («И про него т о ч н о известно, что он не кто-нибудь, а Ж е н я, едущий со своей Г а л е й к морю на «м о с к в и ч е»), он «реален, а не выдуман», «он некретен, а не лжёт» (с.117)(47). Евтушенко воплотил «в своём характере, мимике, интонации существенные черты поколения...». Словом, Евтушенко социально-типичен, и в этом «секрет» его обаяния. Он «познакомился с

нами собственной персоной, а не в качестве такого безглазого «положительного героя», — и в этом он представитель нового поколения поэтов эпохи «оттепели».

Вместе с тем Сиявский констатирует «изменение, если не измельчанье традиции». Когда Есенин пишет:

Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За безверие в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

— у него, объясняет критик, «всё это выстрадано и выглядит крупно, звучит царственно». А в «более робкой и легкой просьбе Евтушенко», звучащей в стихотворении «Русская природа» (1960 г.), Сиявский чувствует «натяжку, необоснованную претензию» (с.117):

Природа русская,
 перед тобою,
 вещей,
как жалок я
 с моею спешкой вещной!
Не бегомтёй,
 не суетой всечасной —
ты побеждаешь
 медленностью властной...
Когда придёт мой срок,
 не будьте грустными,
со мной расставайтесь прямо,
 не скорбя.
Я не умру!
 Ты, как природу русскую,
природа русская,
 прими в себя!

Почему Сиявский усматривает в этом стихотворении необоснованную претензию? Потому, объясняет он, что Евтушенко забывает о той роли «простого парня», которую он себе выбрал и которая вступает в противоречие с гипертрофией своей личности в этом и в ряде других стихотворений (с.118).

Итак, первый недостаток этой поэзии Сиявский видит в непоследовательности, в раздвоении образа лирического героя Евтушенко в восприятии читателя, что объясняется противоречием между самоопределением и самооощущением поэта.

Далее, Евтушенко, как отмечает Сиявский, «наследует, продолжает» традицию гражданской поэзии Маяковского, и это заметно и в поэме «Братская ГЭС», где специальная глава посвящена Маяковскому, «служащему автору образцом для подражания, примером стойкости, благородства, революционной чистоты» (с.119). Вместе с тем, Маяковский как подчёркивает критик, был последовательным в выражении своих гражданских позиций, «не держал в тайне, на каком он сосредоточился фланге»: «Кто там шагает правой?левой!левой!левой!», да «и в атаку шёл во весь рост, всем фронтом, «парадом развернув» свои войска...»

(с.120), тогда как поэт у Евтушенко «отступает, чтобы наступать», лавирует, заманивает, хитрит («...Пускай считают, что на правом фланге/сосредоточил он войска./Но он-то./он-то знает./что на левом...») (с.120); Евтушенко даже выработал свою особую «стратегию борьбы», которую Снявский называет «приспособлением к обстановке», и в этой «половинчатости гражданской музыки» Евтушенко Снявский видит вторую слабую черту его поэзии.

Третья характерная черта лирики Евтушенко, по определению Снявского, состоит в понимании поэтом половинчатости своей гражданской музыки и в его стремлении к целостности, что тоже становится в позиции Евтушенко своего рода литературным фактом (с.120): «Порою не то, что трушу, а всё же не очень-то смел»; «Я был, как среднее из воска и металла...»; в поэме «Братская ГЭС» Стенька Разин перед смертью высказывает евтушенковскую самооценку: «Я был против — половинно, надо было — до конца». «Ощущая себя поэтом переходного времени, ещё недоволенным, не вполне последовательным», Евтушенко, как отмечает Снявский, «приветствует будущего художника», который осмелится «не бросить перо» там, где порой бросал его Евтушенко. Снявский видит во всех этих признаниях способность поэта «к сомнению и анализу, позволяющим трезво взглянуть на действительность в её сложностях и противоречиях, задуматься над своим непрочным положением в мире и этим уже сделать шаг в сторону от себя вчерашнего...». И критик приводит в пример ряд стихотворений, написанных «на этой психологической основе», лучших, в его оценке (с.121):

Нужно, льдами собственными сдавлен,
треща по швам, со льдинами в борьбе,
я плону зло, я поверну, я съядя,
усталый, не пробившийся к себе?!

*

Тельняшка жаждет шквалов.
Пришли бы поскорей
моя двенадцать баллюв —
двенадцать козырей.
Но нет пока полудры,
и ветер не взврал...
Гуляю, полутонга
и полутенерал.

(Стихи из цикла под общим заголовком «Поездка на Север»).

Итак, с одной стороны, как отмечает Снявский, эта половинчатость Евтушенко, эти свойства его натуры, «дающие почувствовать живое, полное конфликтов становление человеческой личности, пришлось по сердцу и вкусу юности, молодёжи, которая ведь тоже стоит где-то на полпути к себе, тоже торопится жить и не знает, что из этого получится, находит и не находит себя» (с.122). Но, с другой стороны, переходный период от юности к зрелости у Евтушенко, как замечает критик, всё же несколько затянулся: это понимание своей половинчатости, это стремление «выйти на дорогу к «себе настоящему» мы наблюдаем вот уже десять лет:

«Больше десяти лет тому назад, — вспоминает Снявский, — он высказал опасение: «...неужто я не выйду, неужто я не получусь?» и до сей поры продолжает беспокоиться на эту тему, словно все его кивги лишь проба пера, подготовка, разбег, настройка» (с.122).

Чем же объяснить невозможность для поэта преодолеть этот барьер?

Снявский пытается выявить возможные причины неустойчивости поэтической платформы Евтушенко, указывая на то, что постоянная привычка поэта «всегда чего-то добиваться, в чём-то оправдываться», возможно, объясняется «некоторыми специфическими моментами» литературной биографии поэта (то оvation, то разносы; редкое «везение», удачливость и официальное полупризнание) (с.123); в результате чего Евтушенко, может быть, просто «ещё не сложился» «как характер» «и потому легко сбивается с принятого курса, увлекаясь свежими идеями и впечатлениями». А если к тому же и вообще историческое назначение Евтушенко именно в том и состоит, «чтобы снять покамест с действительности лишь «верхний пласт»? (с.123)

Как бы то ни было, Снявский считает, что момент для подведения каких-то первых итогов всё же настал, в частности, и потому, что сам поэт взялся, как пишет критик, за произведение огромной ответственности, «призванное обобщить опыт современной эпохи, соотнести его с опытом прошлого, с историей России...» (с.114). Более того, в поэме «Братская ГЭС» Евтушенко заявляет о своей потребности больше «не тратить жизнь по пустякам, не желает скользить по поверхности, отрекается от некоторых распространённых грехов своего и чужого прошлого» (с.124):

Соперники мои, отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех ода и та же есть
болезнь души.

Поверхностность ей имя.

Поверхностность. Ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты?
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола?!
И мы не потому ли так спешим,
спинная внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей — выкинуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несём, как сокровенья,
не из расчёта хладного, нет, нет!
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полёт, на битвы,
и перьями домашних наизл крыл
подушки подлещов уже набиты...

Вот это исходное положение «не быть поверхностным» представляется критику «настолько серьёзным, актуальным применительно к современным явлениям жизни», что он и принимает эти строки «как закон, установленный автором», по которому и следует судить его поэму (с.125).

Установка поэта «не быть поверхностным», как отмечает критик, остаётся, однако, на уровне деклараций. Так, уже само «аллегорическое обобщение, составляющее фундамент поэмы — спор Братской ГЭС и египетской пирамиды», как отмечает Снявский, «лишь внешне многозначительно» (с.128):

«На всём протяжении спора, — пишет Снявский, — пирамида тупо утверждает о своём неверии в жизнь, скепсисом проповедует мораль индивидуализма и скептицизма, а геджастация, как дура, ей с горячностью возражает, приводя в пользу веры подходящие иллюстрации из истории и современности, в результате чего и складывается композиция произведения» (с.128).

Евтушенковская символика кажется критику «натянутой»: «нет, уж кто-кто, — замечает Снявский, — а пирамиды скепсисом не страдали и кое-что смыслили в единстве стиля, в идейной и композиционной слаженности частей, составляющих великое целое» (с.128). «Центральная, стержневая идея произведения, суть которой сводится к тому, что «надо верить», невзирая ни на какие трудности», как отмечает критик, — «достойна сама по себе», но, «многократно прокручиваясь, повторяясь», она «порождает то, что называется «дурной бесконечностью», и даёт одинаковую, стереотипную парезку огромному материалу, здесь собранному, что особенно чувствительно в исторических главках, написанных как параграфы в школьном учебнике. Декабристы, петрашевцы, Чернышевский, Халтурин выглядят этакими мучениками за веру — все на одно лицо и все расположены «по порядку», в соответствии с учебной программой» (с.129). Это «обилие культурно-исторических упоминаний, имён, открытий и скрытых цитат» производит впечатление, пишет критик, обратное намерению автора, а именно — «обзор по верхам» (с.129). — словом, то, чего хотел избежать в своей поэме Евтушенко.

Простительное в ряде случаев, это скольжение по верхам, пишет критик, недопустимо, когда поэт берётся за **«самую больную» и «проклятую» тему** нашего недавнего прошлого — тему лагерей. «Уж лучше бы не брался!» — восклицает Снявский.

«Должно быть, стремясь возвеличить нестигаемую веру людей, невинно пострадавших при Сталине, — пишет Снявский, — поэт пошёл по испытанному и облегчённому пути прославления их трудового энтузиазма, словно не так существенно, где, почему, при каких условиях приходилось его проявлять. В итоге, помимо желания автора, лагеря превратились в оплот нашей воинской и строительной мощи, чуть ли не в залог победы, а люди, там погибавшие, в некую бригаду коммунистического труда, что во всех отношениях звучит кондуственно»:

«Врагом народа» так же оставаясь,
я строил ГЭС на Волге, не сдаваясь.
Скрывали нас от иностранных глаз.
А мы рекорды били. Мы плавали,
что не снимали нас, не рисовали

и не писали очерков про нас (с.138).

Ту же недопустимую легкость отмечает Сняевский и в решении поэтом проблемы «отцов» и «детей»: «честных «отцов», которые верили и героически трудились даже в лагерях, «дети» не смеют предать», но не смеют и «забыть» про «других отцов — стучавших, сажавших или подленько молчавших...» (с.138—139).

Итак, поверхностность как общее впечатление Сняевского от **содержательной** стороны поэмы. Но ведь именно содержательная сторона — культурный пласт, характер осмысления поэтом истории и современности России — и является как раз **центральной темой критики** Сняевского. Критерии определения достоинств и недостатков поэзии остаются, таким образом, для Сняевского и при оценке творчества Евтушенко теми же, что и в его подходе к оценке творчества О.Берггольц: личностное начало, искренность, откровенность поэта, реальность лирического героя, с одной стороны, и раздвоенность мирозерцания, половинчатость гражданской музыки — с другой.

Феномен, который являет собой с этой точки зрения поэзия Евтушенко, был в своё время обозначен А.Терцем в статье 1956 года «Что такое социалистический реализм» так:

«Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни консерватизма, ни штампа. Когда это требуется, искусство бывает узко-религиозным, тупо-государственным, безиндивидуальным, и тем не менее великим. Мы восхищаемся штампами древнего Египта, русской иконописи, фольклора. Искусство достаточно текуче, чтобы улечься в любое прокрустово ложе, которое ему предлагает история.

Оно не терпит одного — электички»(48).

В этом смысле анализ Сняевским поэмы Евтушенко хорошо иллюстрирует, как видим, главный тезис статьи А.Терца. Но и в других своих, более ранних повомиреких работах, написанных в соавторстве с А.Мельшутиным, Сняевский проводит ту же мысль: одним из важнейших условий для выхода в настоящую поэзию является преодоление поэтом внутренней психологической разорванности, раздвоенности его гражданского самоощущения.

Здесь следует отметить, впрочем, что внутренняя раздвоенность, половинчатость, неуверенность — всё это достаточно характерно и вообще для советского человека, и, таким образом, мы имеем здесь перед собой достаточно сложную — и достаточно типичную для советского общества — психологическую проблему. Так что, может быть, Сняевский и не ошибся, когда отказался, как мы помним, спешить с вынесением окончательного своего суждения(49).

Обратимся теперь к статьям Сняевского, посвящённым разбору творчества других поэтов поколения Евтушенко. Материалом исследования в двух статьях А.Мельшутина и А.Сняевского «**День русской поэзии**» (1959, 2) и «**За поэтическую активность**» (1961, 1) становятся стихотворения, собранные в сборниках «**День поэзии**» за 1958 и 1960 гг., — сборники, которые позволяют критикам дать общий обзор состояния

молодой поэзии в целом и проследить некоторые характерные тенденции её развития.

Какие же общие черты поэзии молодого поколения Сиявский приветствует в этих статьях, какие открывает и находит в ней новые и благодатные свойства, с одной стороны, и, с другой стороны, какие видит в ней пороки, за какие недостатки критикует?

В статье под названием «За поэтическую активность» критики выделяют следующие групповые, характерные для поэзии ряда молодых авторов признаки, отличающие их от предшественников.

Наиболее яркая черта поколения, которую отмечают авторы статьи, — это «нескрываемый пафос самоутверждения, желание обратить на себя взгляды публики, всячески отстоять и подчеркнуть свою «независимость» (с.225), темперамент, — «позиция наступления, патиска, вмешательства в жизнь и в литературу, позиция активного самоопределения и самоутверждения». В отличие от «тихих, скромных и почтительных» «молодых» предыдущего поколения, подчёркивают Меньшутин и Сиявский, «теперь пошли поэты громкие, задиристые, нетерпеливые»: «что ни автор — то звонкая декларация, широкообещательная программа» (с.228). В этом смысле Андрей Вознесенский представляется критикам одной из наиболее интересных и наиболее характерных для младшего поколения поэтов фигур: некоторые черты дарования Вознесенского, «при всей их самобытности, присущи целому ряду авторов, вступающих сегодня в поэзию» (с.228).

Энергия его темперамента определяет собою, констатируют критики, прежде всего природу лирического характера Вознесенского. И особый всплеск этого темперамента авторы статьи наблюдают в двух постоянных мотивах стихов Вознесенского: это — «не знающая удержу работа, иступлённая жажда деятельности и такое же безудержное, разгульное веселье, удалая пляска, в которых раскрываются кипение и энергия молодости» (с.226). Персонажи его стихов, в определении критиков, — «это фанатики, одержимые, однако, не идеями, а своим «бешеным» темпераментом» (с.226).

Мы как дьяволы работали, а сегодня —
пей, гуляй!

Но, говорится далее в статье, довольно ли одного темперамента для настоящей поэзии? В пристрастии Вознесенского «к «напористой» и «размашистой» интонации» авторы статьи усматривают «некоторую опасность»:

«Подпадая под власть собственного голоса, он нередко повторяет один и тот же эмоциональный «ход» и — соответственно — один и тот же ритмико-интонационный рисунок, так что создаётся представление о какой-то шерции, владеющей его стихом» (с.226). «Найденный Вознесенским «ключ» подходит к слишком многим дверям». Возникает чувство «недоверия к автору, чья поэзия с одинаковой быстротой и бойкостью берёт любой рубеж...» (с.227).

Характерно, впрочем, что Вознесенскому так же, как и Евтушенко (если вспомнить статью Сиявского «В защиту пирамиды»), свойственно

сознавать свои недостатки, и подаром в одном стихотворении он «с горькой иронией» признаётся:

Как мне пужна в поэзии
Святая простота!
Но мнит меня по лезвию
Куда-то не туда...

Синявский и Меньшутин считают, однако, что поэту вовсе не стоит «опрощаться», «как иной раз рекомендует ему критика». Потому что главный недостаток поэзии Вознесенского — это прежде всего как раз недостаток «серьёзного и глубокого чувства». Поэт нуждается в «святой правде», которая вдохновляла бы и направляла бы его полёты», ибо «боевой темперамент, на котором часто работают его напряжённые, энергичные ритмы, сам по себе далеко не увезёт» (с.228). «Более углублённая постановка нравственных и философских проблем» — это качество, отличающее, по наблюдению Меньшутина и Синявского, такие стихотворения Вознесенского, как «Гойя», «Последняя электричка», «Кассирша» (с.228), в целом всё-таки не характерно для его творчества.

Какова же **содержательная** сторона программ и деклараций поэзии молодых? Ведь само по себе утверждение авторского «я», по словам критиков, не самоцельно. Поиск новых средств экспрессии, обращение к забытым традициям стихосложения находят в статьях Синявского и Меньшутина полное одобрение. Однако, как замечают критики, обращение к забытым традициям выдвигает и проблему **характера освоения** этих традиций. Именно эта проблема и является главной для Синявского и Меньшутина, она и определяет основу их критического подхода к творчеству молодых.

Критики отмечают прежде всего преобладание в поэзии молодых современной тематики. При этом характерно, что современность выступает здесь «преимущественно» — в «биографическом» оформлении (с.229), что свидетельствует о попытках молодых следовать традициям искусства русского авангарда начала века. Многие молодые поэты «охотно «представляют» за своих сверстников», и эта роль, по мнению критиков, «творчески целесообразна», ибо «потенциально здесь открываются большие возможности: ведь сфера-то близкая, знакомая» (с.229). Вопрос, однако, в том, к а к идёт освоение молодыми поэтами современного жизненного материала и материала собственной биографии.

«О трудности движения в этом направлении, — пишут критики, — можно судить на примере сборника В.Кузнецова «Проекса» (М., 1958).

«Автор жил в тайге, работал вместе с лесорубами, разделял их радости и невзгоды. Отсюда — темы многих стихов: молодой поэт стремится рассказать о «дремучей» красоте таёжного края, о труде его суровых людей. Но в рассказе этом ощущается какая-то странная скованность: одиобразен выбор сюжетов, чрезвычайно узок самый подход к теме.

Тайга наряжалась в обнову,
Чтобы встретить достойно весну.
А Васька дал честное слово —
Без отдыха спелит сосну.

И всё стихотворение, — замечают далее критики, — строится на подробном описании пилки сосны («...всё пилит и лилит, то вправо, то влево берёт»), чтобы благополучно завершиться фисалом, о котором с самого начала нетрудно было догадаться: «Сосна-великаниша покорно лежала у Васькиных ног». В другом случае повторяется довольно близкая ситуация...» (с.229—230).

Роковой изъян позиции Кузнецова состоит, таким образом, для Сиявского и Меньшуткина в том, что **поэтическое понимание «биографии»** Кузнецов превращает в буквальное описание процесса работы: «рубят лес, валят лес», «лесоруб рубит», «В тайгу уеду, буду лес пилить...». В результате получается, что авторское «я» намечено лишь чисто внешне», «как внешне взята и «таёжная» тема». Вся беда стихов Кузнецова в «буквальности», в «условности», в отсутствии «сколько-нибудь определённо очерченного характера, воплощённого в авторском «я» (с.230).

Те же недостатки критики отмечают и у других поэтов, представленных в сборнике, — Б.Шаховского, И.Григорьева и т.д.

Итак, принимая и считая продуктивным способ «биографического» оформления современной тематики, авторы статьи снова, как видим, критикуют молодых поэтов именно за **содержательную разработку материала**, за отсутствие в их стихах масштабности и значительности выражаемого ими духовного мира.

Особое внимание критиков привлекает к себе в статье «День русской поэзии» патриотическая тема, которая также, по их словам, «решается» многими поэтами прежде всего «на материале, непосредственно взятом из современности», — «освоение целины и завоевание космоса, строительство новых городов и плотин, укрепление колхозов, борьба за дело мира» (с.211—212).

Но как разрабатывается эта тема?

Вот два примера из тех, которые приводят в статье критики:

...Изменил жизнь в краях иркутских,
Вздыбив недра матушки-земли.
(М.Скуратов)

...Нету лучшего сроду,
чем под небом большим
дым советских заводов —
нашей Родины дым.
(Я.Смеляков)

Таковы, по словам критиков, характерные, преобладающие интонации, преобладающее настроение стихотворений сборника. Однако такого рода настроения и интонации, осторожно подчёркивают критики, ещё не обеспечивают «автоматически» «действенности» стихотворений (с.212). Поэта «ждёт удача» лишь «тогда, когда авторский идеал раскрывается через целостный, ярко очерченный человеческий характер» (с.212).

В статье «За поэтическую активность» Меньшуткин и Сиявский выделяют среди различных направлений молодой поэзии и так называемую «почвенническую» тенденцию. И здесь под прицелом критиков снова оказываются в первую очередь именно **содержательная** разработка и

поэтическое оформление «почвеннических» идей. Обращаясь к поэзии двух авторов этого направления — А.Поперечного и В.Цыбина (в связи с попыткой П.Выходцева — в его статье «Поэтическое поколение эпохи спутников» — представить этих двух авторов как наиболее интересных поэтов «периферии»), Меньшутин и Сияевский с довольно едкой иронией анализируют то «своеобразие», которое приобретают в их стихах постоянно употребляемые ими слова «народ», «Родина» и т.п. И тот и другой, констатируют критики, «склонны акцентировать порою лишь корень «род», то есть сравнительно узкие — родовые, кровные — связи», благодаря чему всё «следование традициям» «сводится в их стихах зачастую к тому, что «та же удаль, та же хватка и тот же хмель степных кровей из рода в род переходили...»(А.Поперечный).

Итак, бедность, ограниченность в передаче почвеннических идей, узкое, **поверхностное усвоение традиций** — вот опять тот угол зрения, который господствует в анализе Меньшутиним и Сияевским поэзии Цыбина и Поперечного.

Характерна с этой же точки зрения и тема «пейзажной лирики» в поэзии молодых, которую тоже затрагивают в своей статье Сияевский и Меньшутин.

В обращении «нашего юного поколения» к пейзажу они видят признак «душевного здоровья, свежести, непосредственности взгляда», отсутствия у них «узкого, аскетически-доктринарского взгляда на жизнь, который нередко давал о себе знать в прошлом и сказывался в пренебрежительном отношении к природным «красотам» как к чему-то мелкому, второстепенному, не заслуживающему нашего внимания и уважения» (с.235).

Между тем обращение к «пейзажным» темам, замечают Меньшутин и Сияевский, отнюдь не означает «мелкотемья», «какого-то отлива поэтических сил от актуальных вопросов современности». Наоборот, пейзажная лирика — это поиск «более личного угла зрения на действительность», это «одно из средств выражения личного «я» поэта, один из путей индивидуального постижения жизни», и «интимность, камерность самого жанра отнюдь не является препятствием для вовлечения в его круг мыслей и чувств большого и нравственного и философского плана» (с.235). И вот пример тому, который они находят у Д.Самойлова:

И так бывает — в день дождливый,
Когда всё серо и темно,
Просветом синевы счастливой
Средь туч откроется окно.
И мгла расходитя кругами
От восходящих сквозняков,
Над низовыми облаками —
Паренье верхних облаков.
Но вот уже через миллионы
Сомкнулся дождевой навес,
И скрылось легкое строенье
Тысячегрусных небес.

В приведённом стихотворении пейзаж, по словам критиков, потому и становится подлинно поэтическим явлением, что «пропущен сквозь призму индивидуального сознания», и своим поэтическим сюжетом поэт «как бы говорит о громадности мира, вмещаемой в один мгновенный взгляд человека...» (с.235).

Но именно потому, что «пейзаж» способен вмещать в себя столь значительное содержание, он же, утрачивая такое содержание, сразу же и превращается в нечто противоположное, оказываясь «тем легким жанром, в котором многие авторы, желая быть «поэтичными», занимаются описанием различных природных явлений, находящихся перед глазами у каждого и не требующих особых затрат на свой рифмованный пересказ» (с.235).

Точно так же и любая другая шптимная лирика, подчёркивается в статье «День русской поэзии», является жанром, в пределах которого «**нужна своя — нравственная и психологическая — значительность, глубина**» — атмосфера, без которой стихи превращаются просто «в протокольное сообщение о случившемся» («полюбил», «разлюбил») и «теряют право на поэтическое существование» (с.238). Критикам импонирует, например, с этой точки зрения поэзия Б.Ахмадулиной:

А ты проходишь по перрону,
закрыв лицо воротником,
и тлеюцдо папиросу
в снегу кончашь, каблукoм.

«Драматизм ситуации, горечь и боль утраты скорее угадываются, чем называются прямо в этой маленькой сценке, — отмечают критики. — Но именно в силу того, что все эти точные, безжалостные детали содержат нечто большее, чем в них непосредственно сказано, эта сцена приобретает объём, «трёхмерное измерение» — не только в пространственном, зрительном, но и в психологическом отношении» (с.238).

Особое место в статье «За поэтическую активность» критики уделяют разбору новой книги стихов Б.Окуджавы «Острова». Критики ценят его поэзию за «очень заметную, сгущённую атмосферу человеческой солидарности, теплоты, взаимопонимания», за «доброту и нежность к людям», которая, однако, выражается не ходульно и выпендрено, а «в мелочах, прозаизмах и полупрозаизмах»; им нравится умение поэта «тихо и застенчиво», без громогласных деклараций передать своё гражданское «самочувствие». Критики видят достоинство поэзии Окуджавы и в том, наконец, что поэт предельно внимателен к каждому отдельному слову: «не случайно ряд его стихотворений посвящён словам, точнее сказать — тому, как эти слова произносятся и **какое содержание в них вкладывается**» (с.239).

Итак, отмечая удачу таких поэтов, как Б.Окуджава, Д.Самойлов, Б.Ахмадулина, в чём видят критики основные причины «наиболее уязвимых сторон работы» остальных — большинства — молодых поэтов?

Они не принимают в качестве главного упрёка им часто встречающееся, по их словам, указание на слабую технику, недостаточную поэтическую квалификацию. «Главные беды» работы молодых, по определению Меньшуткина и Синявского, «лежат в плоскости как раз таких широких

понятий, как глубина мысли и содержания, определённости лирического характера, органичность темы, единство и широта поэтического мира» (с.241).

«Единство поэтического мироощущения», «последовательная жизненно-эстетическая концепция, которая необходима в любом художественном произведении» (с.215), — вот те критерии, которые неустанно провозглашают авторы в обеих статьях о молодой поэзии, отличающихся очевидной установкой на терпеливый профессиональный разговор, на литературное просветительство. Именно поэтому не лишённая порой едко-ироничных интонаций, критика Меньшугина и Сияяевского всегда основана, в общем, на уважении к личности поэта, ибо молодые поэты в массе своей пишут плохо прежде всего именно из-за отсутствия культуры, ложных представлений о задачах поэзии и искажённой эстетики, — всего того, что долгие время культивировалось официальной идеологией.

Следует отметить в этих статьях и более благоприятное отношение критиков к так называемой авангардистской поэзии — поэзии, которая ищет новые технические средства, способы самовыражения, пытается возродить, так сказать, «неклассические» традиции русского искусства. В этой своей нескрываемой симпатии к авангарду Сияяевский остаётся верен, как видим, своим давним и наиболее прочным эстетическим пристрастиям. Но характерно, что вместе с тем Сияяевский и Меньшугин критикуют и в этой поэзии такое же, как и у «классиков», поверхностное усвоение традиций, чрезмерное увлечение формальными поисками в ущерб содержанию.

Итак, опять-таки именно **критерии содержания**, как видим, являются такой же **основой** литературно-критического подхода Сияяевского к поэзии молодых, как и в случае с поэзией Пастернака и Ахматовой. Эта ориентация и вообще, таким образом, постоянна в критике Сияяевского.

Но ведь она же, как мы не раз уже говорили, в высшей степени **характерна** и для общей платформы литературной критики «Нового мира». Напомним ещё раз, что одной из программных установок отдела критики журнала именно и была всегда борьба за высокий уровень художественной культуры, «за искусство, глубокое по содержанию и совершенное по форме»(50). Так что пока что, рассмотрев ряд новомиранских работ Сияяевского, мы, как можно видеть по этому обзору, не находим каких-то принципиальных расхождений критика с этой общеновомиранской платформой. И дело здесь в том, как нам кажется, что при разности эстетических вкусов, разности мировоззрений и т.д. было нечто более важное, что в те годы объединяло Сияяевского и Твардовского. Так, ценное Сияяевским в творчестве Пастернака и Ахматовой **единство этики и эстетики** отличало, несомненно, и поэзию Твардовского. Другое дело, что как эстетические величины поэты эти были неравнозначны. Однако понимание и принятие Твардовским, редактором и поэтом, и критиком Сияяевским этого незыблемого закона искусства делало их соратниками, объединяло в оценке современной поэзии.

Характерно в этом смысле единство мнений критика и редактора и в определении главных недостатков современной поэзии. Так, Твардовский в своём обращении к читателям в 1961 г. (точно так же, как и Сияяевский в рассмотренных выше двух работах) отметил: «...Беда нынешней поэзии

состоит в её идейной бедности, в скудности подлинно поэтического содержания, то есть попросту в скудости мысли»(51).

Близкое понимание фундаментальных законов искусства, серьёзное профессиональное отношение к литературе — всё это было, как видим, достаточно прочным по тем временам основанием для сотрудничества. И это лишний раз подтверждается активным участием Синявского в журнальной полемике начала 60-х гг. по поводу так называемой теории «самовыражения».

Дело в том, что статья «За поэтическую активность» как раз и была заказана Меньшутину и Синявскому в связи с обсуждением в советской литературной периодике в 1960—1961 гг. так называемой проблемы «самовыражения» в поэзии. Дискуссия имела целью выяснить ряд теоретических принципов, которые встали в повестку дня ввиду появления некоторых новых тенденций в лирике молодого поколения поэтов. Однако ещё в большей мере полемика эта была вызвана теми противоречиями, которые возникли в литературе в связи с общим процессом демократизации и реабилитацией категории «личность». В прозе, если вспомнить статьи Виноградова, новомирская критика отстаивала свободную, суверенную личность, в связи с чем в разговоре о каких-то конкретных произведениях искусства часто ставился вопрос об авторской позиции. В лирике новомирцы ведут борьбу в том же направлении, отстаивая принцип «самовыражения». Показательна была в этом смысле статья Б.Рунина — «Спор необходимо продолжать» (1960, 11), подводившая как бы некий теоретический фундамент под новомирскую концепцию искусства поэзии. А в восьмом номере «Нового мира» за 1961 год была опубликована и вторая статья Б.Рунина — «Логика спора и логика искусства», явившаяся своего рода «необходимой репликой» на резкую критику первой статьи Б.Рунина в консервативной прессе (выступление В.Назаренко в «Звезде», С.Пермякова в «Вопросах философии», Б.Соловьёва в «Октябре», А.Дымшица и А.Метченко в газете «Литература и жизнь»; наконец, одному из оппонентов Б.Рунина — Платонову «Новый мир» предоставил для ответа и свои страницы).

Изложим коротко суть этой полемики.

Были времена, пишет Рунин, «когда личность художника действительно иногда не принималась в расчёт критикой, ибо от него она требовала не самостоятельного мышления, а лишь «художественной интерпретации чужих мыслей». Однако сегодня «недооценка субъективного начала в наших суждениях о литературе и искусстве — следствие разобщённости, удалённости современной критики от теории, от науки» (с.240).

Эта простая мысль о смене эпох, о возможности и необходимости для человека свободно самовыражаться, в том числе и в литературе, и была принята в штыки защитниками «соборного» социалистического «мы» в искусстве. Они попытались отождествить принцип «самовыражения» с «субъективизмом» и использовать это отождествление как контраргумент в полемике с «Новым миром».

Спор, таким образом, с самого начала, в сущности, приобрёл **политический масштаб**: «Новый мир» отстаивал свободу личности, его оппоненты — тоталитарные формы культуры.

Так, развивая основные положения теории «самовыражения», Рунин специально подчёркивал, естественно, особое, уникальное значение в творческом процессе индивидуальности, самобытности поэтического «я» — именно как условия и формы обнаружения и донесения до читателя его общезначимой содержательности.

Борис Соловьёв же, напротив (в частности, в своей книге «Поэзия и жизнь»), уверял (как пишет Рунин), что «теория «самовыражения» и вообще — «всегда и неизменно» — утверждала «примат личного субъективного над общим и объективным...», так что уже и сама «проблемка «самовыражения», в сущности, «чужда» «нашей литературе и практически никчемна» (с.197).

Самовыражение — «не самоцель, — отвечает на это Рунин, — но необходимое и неизбежное условие познания», необходимая предпосылка в с а м о г о т в о р ч е с т в а. Визе такого самообнаружения — в той или иной форме — творческий акт просто не может состояться» (с.199)(52).

Платонов же — в статье «По поводу «самовыражения» — парирует: Рунин «отдаёт дань субъективизму», «выражением себя» творческий процесс лишь завершается, «выражение себя» является только следствием познания действительности» («Логика спора и логика искусства», с.237). При этом Б.Платонов специально акцентирует: «Художник выражает себя в искусстве — это закон социалистического реализма. Но выше всего для него право народа на выражение себя в искусстве» (с.238).

Рунин вспоминает в связи с этим ответ «нашей классики» на аналогичные обвинения: «А мы что же, не народ разве?». «Можно подумать, что наши поэты, как правило, противопоставляют себя народу и живут в особой нравственной атмосфере» (с.238).

Так за сугубо специальными как будто бы проблемами, связанными с обсуждением категорий поэтики, отчётливо проступал в этом споре, как видим, его внутренний, более глубокий — мировоззренческий, общественный — смысл. Рунин утверждал духовную и художественную свободу, суверенность личности, его оппоненты — служение человека официальной идеологии.

Точно такую же ситуацию мы обнаруживаем, обращаясь и к другим моментам спора, — например, в связи с позицией небезызвестного поэта Николая Грибачёва, утверждавшего: «Для литературы предпочтительнее» тот путь, когда поэты «понимают поэзию как средство живописать словом весь окружающий их большой мир, многообразно показать и объяснить мир» («Спор необходимо продолжать», с.198). В этих словах Рунин справедливо видит «слегка завуалированное противопоставление эпоса лирике...». И, естественно, он ставит вопрос: для чего делается противопоставление? Да именно для того, чтобы лирику, этот сугубо интимный жанр, подчинить официальной идеологии (отсюда и презрительный термин «мелкотемье»).

Б.Платонов настаивает: «Не увлекайтесь пейзажами или натюрмортами — жанрами чересчур лирическими, для того, чтобы выполнить главную функцию искусства» (которая, в его определении, сводится к «выполнению задач идеологического воспитания») — «По поводу «самовыражения», с.231). Пейзажи для Платонова «имеют весьма отдалённое отношение к таким

важнейшим требованиям эстетического воспитания, как понимание борьбы двух идеологий в искусстве и эстетическое утверждение социального идеала» (с.232).

Выражая эту мысль, Платонов «решительно противопоставляет эпос лирике как роду искусства, заведомо более ограниченному по своим возможностям», отмечает опять-таки Рунин («Логика спора и логика искусства», с.238). Но как же в таком случае оценивать Шестую симфонию Чайковского, в которой «викто не и з о б р а ж ё н»? — иронизирует он, вновь апеллируя к классическому наследию(53). Ведь следуя логике мысли Платонова, придётся признать, что оперный жанр, «позволяющий вывести на сцену людей», обладает явным преимуществом над жанром симфонии, например («Логика спора и логика искусства», с.239).

Вот краткое изложение хотя бы некоторых, важнейших, из того круга вопросов, которые были затронуты в общетеоретических спорах по поводу «самовыражения». И уже из этого краткого обзора можно видеть, таким образом, что принцип «самовыражения», принцип личностного начала в искусстве, который защищает в своих статьях Рунин, был действительно глубоко органичным для позиций журнала. В сущности, он был одним из кардинальных принципов его эстетики — и ещё со времён первого редакторства Твардовского. Вспомним известную статью В.Померанцева 1953 года «Об искренности в литературе», в которой критик как раз и отстаивал искренность как личностное начало, как необходимый принцип субъективного самовыражения в искусстве, противопоставляя его абстракциям и догматическим критериям нормативной критики.

Но, напомним обо всём этом, мы можем и должны тем самым признать, что статья Меньшутина и Сиявского «За поэтическую активность» полностью вписывалась, таким образом, в контекст общепомировской полемики, развивая, в частности, и основные теоретические положения статьи Б.Рунина (важность субъективного начала, отрицание термина «мелкотемье» для обозначения жанров «пейзажной» и интимной лирики, чёткость позиций в гражданской лирике и т.п.). Кстати сказать, Меньшутин и Сиявский и сами указывали в начале своей статьи на то, что они «разделяют основные мысли» Б.Рунина. Не случайно поэтому, что «Заметки о поэзии молодых» Сиявского и Меньшутина тоже, как и статья Рунина, были сразу же встречены в штыки В.Бушиным, Д.Стариковым, С.Смирновым, К.Лисовским, В.Фёдоровым и Б.Соловьёвым. И не случайно, что в своей ответной статье «Давайте говорить профессионально» (1961, 8) Меньшутин и Сиявский построили свою полемику против своих оппонентов вокруг тех же главных пунктов, которые были и вообще характерны для этого спора между критиками «Нового мира» и критиками, защищавшими позиции тогдашней официальной литературной мафии.

Так, например, особое недовольство в статье Меньшутина и Сиявского вызвало у этих охранителей «неуважительное» отношение Меньшутина и Сиявского к «трудовой биографии поэта В.Кузнецова». Так, поэт С.Смирнов, например, удручённо заметил, что особенно «не повезло» в статье Меньшутина и Сиявского «интересному поэту В.Кузнецову, который сам был лесорубом и создал немало взволнованных и правдивых стихов» (с.249). А другой известный «поэт-патриот» — В.Фёдоров так

прямо и заявил, что Меньшутин и Сияявский крикикуют поэта В.Кузнецова именно «за то, что у него есть трудовая биография» (с.249).

«Помилуйте! — восклицают критики. — Да кто же упрекает его за это? Ему (как и многим другим молодым авторам) говорят, что этого ещё мало, этого ещё не достаточно, чтобы быть настоящим поэтом, что поэт обязан художественно освоить свою биографию, претворить её в стихи, имеющие эстетическую, а не только биографическую (для самого автора) ценность. Казалось бы, простая, банальная мысль», — пишут Меньшутин и Сияявский, «но как трудно, оказывается, провести эту мысль, которая котируется у иных критиков по «внутрилитературному» разряду» (с.249). (И действительно: один из оппонентов Сияявского и Меньшутина — Б.Соловьёв — так прямо и назвал эту проблему сугубо «внутрилитературной!»). Высмеивая ту безграмотность, тот примитивизм суждений в сочетании с заведомо ложной интерпретацией чужой мысли, которые отличали метод ведения полемики их оппонентами, Меньшутин и Сияявский справедливо замечают в связи с этим, что подобного рода методы слишком явно напоминают те, что «применялись иной раз в начале двадцатых годов:

Когда кто-то осмелился упрекнуть И.Филипченко за то, что тот пишет слабые стихи, критик Г.Якубовский, являвшийся почитателем этого автора, сослался на революционные заслуги Филипченко, на его биографию: разве может поэт с т а к о й биографией писать плохие стихи?!» (с.250)(54).

Или возьмём нападки казённой критики на статью Сияявского и Меньшутина в связи с их общим благожелательным отношением к поэту А.Вознесенскому — этому, как обозначил в «Сибирских огнях» поэт К.Лисовский, «человеконсавистнику», поэзию которого нельзя назвать иначе, чем «злой карикатурой» на нашу действительность, «порнографией», «чистейшим надругательством над целомудрием, возвышенной силой нашей русской классической поэзии». И опять-таки позиция Меньшутина и Сияявского перед лицом подобного рода инвектив была чёткой и однозначной. Хотя, как они напоминали, они и не были никогда горячими поклонниками таланта Вознесенского, однако попытка представить его книги и стихи «смакующими и любовию воспеваящими самые низменные, самые тёмные стороны человеческой души...» (с.250) вызвала у них естественный гнев и отвращение, и они сочли обязательным для себя заявить протест против подобного рода оскорбительного стиля критики и выступить в защиту гражданского и человеческого достоинства поэта (с.250), показав полную несостоятельность подобного рода обвинений — в сущности, политически-доносительских — по его адресу.

Итак, рассмотренные статьи, как видим, показывают безусловную принципиальную общность теоретической основы и критериев подхода к поэзии в статьях Рунина, с одной стороны, и в статье Меньшутина и Сияявского — с другой, равно как и неслучайность участия Сияявского в новоявской полемике против конъюнктурной критики. Характерно в этом смысле, что и Твардовский, подводя итоги дискуссии в краткой редакционной заметке («От редакции», 1961, 8), не только отметил статью Меньшутина и Сияявского «За поэтическую активность» как «интересную и ценную» попытку авторов («чуть ли не единственную») «осмыслить некоторые

тенденции в творчестве молодых поэтов» (с.254), но и **прямо поддержал** главные положения как статей Б.Рунина, так и выступлений А.Меньшутина и А.Синявского, защитив авторов журнала от нападков той части критики, которая даже не смогла сколько-нибудь профессионально аргументировать своё несогласие со статьями новомирцев. В культурном контексте времени, как видим, для Твардовского и в самом деле на первом месте стояли именно такие достоинства критики Синявского, как несомненная **общая демократическая направленность его мысли**, высокий профессионализм его суждений о поэзии, широта культурного диапазона, тонкое восприятие и понимание законов искусства. Всё остальное было, видимо, для него менее существенно.

4. КОНКРЕТНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СТАТЬЯХ СИНЯВСКОГО

Знакомясь с новомирским творчеством Синявского, было бы неправильным, нам кажется, не отметить тот момент, что в его критике всегда очень значительное место занимает конкретный литературно-эстетический анализ художественной фактуры стиха. Синявский, как мы уже говорили, весьма восприимчив к эстетическому элементу в искусстве, который всегда привлекает к себе поэтому пристальное внимание критика и в его общих суждениях, и в конкретных оценках творчества того или иного автора.

Так, в статье о поэзии Е.Евтушенко Синявский, выступая «в защиту» египетской пирамиды (ибо, не в пример Братской ГЭС, считает её совершенным произведением искусства, «величайшим чудом архитектуры и строительной техники»), особо, как мы видели, останавливается именно на эстетической необоснованности поэтической символики Евтушенко. При этом, как мы опять-таки уже говорили, в центре его внимания оказывается прежде всего **художественная эклектика его поэтического стиля**.

Всмотримся теперь внимательнее в то, как конкретно строится и осуществляется у Синявского этот анализ.

Итак, напоминаем, художественное «разнотилье» поэмы Евтушенко, отсутствие в ней **художественного единства** Синявский выводит из отсутствия в ней **идейного единства**, целостного миропонимания — то есть из её **содержательной эклектики**. Этот способ объяснения для него первичен, и вот почему весьма характерное звучание приобретает для него такая, например, строка из поэмы: «Блещут мне сквозь брызги автогена голубые девочки Дега». Это формула, по которой, как отмечает Синявский, как раз и строятся зачастую образы Евтушенко, «сопрягаются» у него «слова и мотивы». Но «внешне красивая, модная, с претензией на утончённость и в меру, так сказать, производственная, пролетарская, эта формула», пишет Синявский, как раз ведь и «вопиет о поэтическом эклектизме, которому Евтушенко отдал дань и в своей новой поэме» (с.130). Критик напоминает в связи с этим, что во вступлении к «Братской ГЭС» Евтушенко, произнося (по правилам мастеров средневековья) «Молитву перед поэмой», не случайно обращается за помощью сразу к семи

российским поэтам — к Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Блоку, Пастернаку, Есенину и Маяковскому. Причём он хочет «от каждого классика взять поемному — немного «туманности», немного «глыбастости», немного «певучести» и т.д., в результате чего и «получается нейтральная, не чреватая взрывами стилевая смесь, лишённая тех ярких признаков, которыми обладали дарители, в меру эклектическая, отчасти своеобразная». Однако «стоит ли ради неё так истово молиться?» — язвительно спрашивает критик, видящий основную ошибку, которую допускает здесь Евушенко, в том, что поэт «путает художественное наследие в широком смысле этого понятия с задачами индивидуального творчества», в том, что Евушенко хочет быть «всеядным», тогда как художник должен твёрдо знать, что «избранная стилевая система, традиция, эстетика истинна и уникальна» (с.131—133). Потому-то в поэме «Братская ГЭС», по замечанию критика, «текст как бы колеблется, настраиваясь то на мотив известной песни, то на знакомую цитату, и тяжёлые рассудочно-дидактические куски вываливаются из живой ткани стиха, сопряжённого с картинами реального мира» (с.133). Любопытно, однако, что эклектичность стиля, характерная для Евушенко, отнюдь не является, как констатирует критик, свойством только его поэзии, но становится как бы уже общей приметой всего искусства современного советского авангарда:

«С попытками соединить несоединимое и, грубо говоря, повенчать Андрея Рублёва с радиолокатором, — пишет Сиявский в своей статье «В защиту пирамиды. — мы сталкиваемся порою в творчестве А.Вознесенского, более резко, чем Евушенко, берущего курс на формальную повизну. В изобразительном искусстве те же веяния нашли аналоию в работах Ильи Глазунова, произведших недавно сенсацию среди молодых любителей живописи, не почувствовавших безвкусицы в его эффектных подделках под древнерусскую икону, скрещенную с приёмами Кэтэ Кольвиц, Йогансона и Кукрыниксов» (с.130 — 131).

Но поспешная практика такого рода — в живописи ли, в поэзии ли — способна породить разве лишь «немыслимые гибриды, что-то вроде помеси таксы с овчаркой» (с.131):

«Если поэт прежде довольствовался, к примеру сказать, традицией Демьяна Бедного, — пишет Сиявский, — то нынче ему этого мало и он, не теряя старой ориентации, «обогащает» Бедного Брюсовым. Каждый из этих авторов достоин, чтобы его продолжали, ему наследовали, а в результате смешения стилей получается нечто чудовищное» (с.131).

Но точно так же, как эклектичность стиля является для Сиявского эстетическим отражением прежде всего некоего более глубокого феномена духовной, содержательной эклектики, так и большая часть других стилевых несуразиц и провалов тоже, как правило, находит у него своё объяснение в изъянах духовной содержательности. Вот почему в статьях Сиявского мы так часто находим советы критика молодым поэтам не особенно увлекаться чисто формальными поисками. И вот почему анализ эстетической безвкусицы всегда выглядит у Сиявского и как обличение духовной бедности поэзии.

Так, приветствуя в своей статье «День русской поэзии» стремление А. Вознесенского к образной динамике, к стилизовому своеобразию, Меньшутин и Сияевский не проходят мимо и слишком частой склонности поэта поддаваться соблазну внешней игры словом:

В одном вагоне --- четыре гармони.
Четыре чёрга в одном вагоне!
Четыре чуба, четыре пряжки,
Четыре,
Четыре,
Четыре пляски!
Эх, чечёточка, сударыня-барыня!
Одна девчоночка —
Четыре парня...

«Тема, конечно, улавливается, — замечают критики. — Но она потеснена ритмическим и словесным «перебором», который становится до некоторой степени самодовлеющим. И дело не столько в данном случае, сколько в потенциальной возможности дальнейшего уклонения в сторону внешнего эффекта» (с.219).

В другом стихотворении поэта — и опять-таки именно ради такого вот, «чисто формального эффекта» — приравниваются друг к другу даже и такие, например, совершенно «разные величины», как самолёт Ту-104 и тульский самовар:

Мы противники тусклого,
Мы прославлены в мире —
Самоваром ли тульским
Или ТУ—104

Здесь, как отмечают критики, поэту снова изменяет вкус, «он вульгаризирует национальные традиции, искусственно и неумело подлаживаясь «под простой народ», под выдуманный нерусскими стиль «рюсс», который выставляет русского человека в смешном и нелепом виде» (так же, как у С. Васильева: Наши деды на веку/ знали лапти да соху,/ но сумели — подковали/ заграничную блоху/и т.д.) (с.213).

Беспомощность и надуманность так называемых «почвеннических» идей у Цыбина и Поперечного тоже обнаруживаются критиками прежде всего через анализ того эстетического эффекта, который они производят. Этим авторам не откажешь в «целенаправленности вкуса и стиля» (с.233), в стремлении к «созданию своей эстетической платформы», иронизируют критики. Но эстетическая база поэтов поражает своей уязвостью: «стремление к постоянству стиля нередко приводит к стилизовому однообразию, когда «соль», «пот», «земля» и другие «чернозёмные» образы становятся штампом, хотя авторы ещё только начали свой поэтический путь...»; «гипертрофия одних и тех же устойчивых признаков», по замечанию критиков, порой производит даже и просто-таки антиэстетическое впечатление:

У комбайнёра руки грубы,
У комбайнёра кипень-зубы,
У комбайнёра норов крут.
И Марьяны медвяны губы

Бензиновых не избегут.
(А.Поперечный)

Пусть отопрёт твои ворота
и, не стучась, к тебе зайдёт,
и запах табака и пота,
мужского, крепкого чего-то
с собою вместе принесёт.
(В.Цыбин)

Критики справедливо высмеивают «шаблонные представления поэтов о том, что «трудовой люд» должен при всех обстоятельствах непременно потеть и пахнуть чем-нибудь «ядрѣным» — на деле это «попахивает» как раз «литературщиной», замечают Меньшутин и Сияявский, ибо приводит к «невольному сужению, упрощению проблемы народности, которую стремятся решать в своих стихах многие молодые поэты» (с.234).

В своих статьях о поэзии молодых критики особое внимание уделяют и тому равною поэтов на «некий **средний художественный уровень, вкус**», который всеми силами стремится «оправдать и узаконить» казѣнная критика — в частности тот же П.Выходцев в своей статье «Поэтическое поколение эпохи спутников»(55), посвящённой разговору о молодой поэзии (с.232). Вступая в полемику с Выходцевым, критики обращают внимание на то, что политически сорисигированные советы и рекомендаии Выходцева молодым поэтам являются совершенно «сознательной станкой на «средняка» (с.233). Но поощрение «среднего» вкуса как раз и приводит к той **нензыскательности**, примеры которой неустанно выставляют на всеобщее обозрение Меньшутин и Сияявский, находя их даже у таких «опытных мастеров», которых, как отмечают критики, целепо было бы упрскать в «технической отсталости». Так, например, маститый поэт Николай Тихонов, как говорится в статье «День русской поэзии», в своём стихотворении «В ботаническом саду в Пераденин» описывает анчар как символ дружбы между СССР и Цейлоном и, намекая при этом на связь с известным стихотворением Пушкина, не замечает, что в пушкинском стихотворении «анчар несёт гибель всему живому, предстаёт как символ смерти» (с.218).

Наконец, в русле своей полемики с оппонентами статьи «За поэтическую активность» Сияявский и Меньшутин высмеивают **безграмотность** суждений о поэзии, которая встречается и у самих поэтов. Так, поэт К.Лисовский, по выражению Меньшутина и Сияявского, «поэзию проверяет циркулем и всякий раз возмущается, если «размеры» не совпадают». «Посмотрите, — обращаются к читателю критики, — как К.Лисовский комментирует образы Вознесенского, которые нам отнюдь не представляются шедевром поэтического искусства, но всё же, как любое поэтическое инноказание, предполагают не буквальное, протокольно-точное, «любовое» понимание стихотворного текста, а присутствие некоторых широких ассоциаций и допущений, условности и воображения». Вот строки из стихотворения Вознесенского о Сибири, которое анализирует Лисовский в своей статье:

Здесь гостям наливают
Так, что выплбуют дух

Здесь уж если рожает,
Обязательно двух!
Если сучья — так бивни,
А уж если река,
Блещут, будто турбины,
Белых рыбин бока.

А вот комментарий К.Лисовского к этому стихотворению:

«Что ни строчка (пишет... К.Лисовский), то развесистая кляква. Почему именно в Сибири паливают так, что «вышибут дух»? Почему здесь рожают «обязательно двух»? Можно подумать, что сибиряки — это какая-то особая порода людей, особая национальность, отличная от русских, что сибиряки этакие Илья Муромцы, а женщины — под стать им. Даже рыбы в реке — не рыбы, а «турбины». Кстати сказать, где мог увидеть автор «белых рыбин», величинной с турбины? Самая крупная рыба в сибирских реках — осётр, но он никогда не был белым».

Поэт К.Лисовский несомненно показал себя знатоком сибирской природы, иронизируют критики, но «вот о метафоре и гиперболе он, видимо, имеет весьма смутные представления» (с.251).

Итак, и в отношении эстетических требований к поэтическому мастерству, к поэтической культуре мы наблюдаем в новомирской критике Снявского ту же повышенную взыскательность, что и в отношении к содержательной стороне творчества. Совершенное искусство должно обладать художественной целостностью — **единством стиля и содержания**. Сниженных критериев Снявский не признаёт. В то же время его разговор о вкусовых, эстетических, культурных и профессиональных пластах поэзии молодых всегда идёт, как мы видели, с очевидной установкой на литературную учёбу, то есть является как бы своего рода **эстетическим ликбезом, поэтическим просветительством**.

Однако эстетическое просветительство, как мы не раз говорили, тоже было чрезвычайно характерно для литературной критики «Нового мира», входило в русло её борьбы за качество, за высокий художественный уровень литературы. Так что и в этом смысле противопоставлять принципиально художественный анализ Снявского художественному анализу других новомирских критиков явно не приходится, хотя Снявский был в этой области, безусловно, последовательнее, глубже, интереснее и шире многих других авторов, за что, надо думать, и ценил его Твардовский.

5. МАСТЕРСТВО ИРОНИИ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КРИТИКИ СНЯВСКОГО В РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫХ ОСТРОСАТИРИЧЕСКИХ РЕЦЕНЗИЯХ

Три новомирские работы Снявского, которые осталось нам рассмотреть, являются рецензиями на новые книги поэтов А.Софронова, Е.Долматовского и прозаика И.Шенцова. Они написаны в том же жанре сатирического фельетона, к которому прибегали и другие новомирские критики (вспомним работы Ю.Бургина) для высмеивания и осуждения

любой бездарности и подделки в литературе. Любопытно в этой связи посмотреть, насколько отвечают этой новомиурской традиции и сатирически-разоблачительные опыты Синявского, по каким линиям строит он своё обличение.

Софронов и Долматовский выдвинулись как поэты в последние годы сталинского правления. Оба посвятили свою музу воспеванию партии, а в годы хрущёвской «оттепели», стремительно продвигаясь по литературно-административной лестнице (члены правления СП СССР и СП РСФСР), были известны как яростные охранители консервативно-догматических позиций в искусстве. А.Софронов, кроме того, с 1953 г. редактировал журнал «Огонёк», который вместе с «Октябрём» В.Кочетова являлся бастионом казённой и реакционной литературы.

Отношение Синявского к творчеству этих писателей и к их общественно-литературной деятельности было совершенно однозначным, равно как и к антисемитским романам И.Шевцова. Не случайно, по-видимому, в своих фантастических повестях 50-х — начала 60-х гг. «Суд идёт» и «Любимов» А.Терц вывел Софронова и Кочетова в образах писателей-полицейских. Что касается статей Синявского «**О новом сборнике Ан.Софронова**» (1959, 8) (А.Софронов, «От всех широт». Стихи. «Молодая гвардия», 1958 г.) и «**Есть такие стихи...**» (1965, 3) (Е.Долматовский, «Стихи о нас», «Советский писатель», М., 1964 г.), то хотя поэзия Софронова и Долматовского отнесена здесь к разным, так сказать, уровням профессионализма (низкий у Софронова, средний у Долматовского), однако Синявский занят больше не отличиями, а общими стилистическими приметами их поэзии.

Что же это за приметы?

Книга «От всех широт» А.Софронова, к которой обращается критик, включала стихи последних лет, написанные под впечатлением многочисленных поездок Софронова за границу: в Индию, Китай, Англию, Австралию, Исландию, Египет, Индонезию, Японию. Иными словами, перед нами типичная и далеко не новая для нашей литературы зарубежная тема, которая, замечает критик, тем именно и ответственна, что обращение к ней может быть оправдано лишь тогда, когда поэт способен сказать нам здесь нечто новое, интересное и необычное, увиденное его собственными глазами. Между тем стихи Софронова — «это произведения, действительно летящие «от всех широт», иронизирует Синявский (с.248). Обилие в книге географических названий: разных стран, рек, морей, городов, улиц — доказательство тому, насмешливо продолжает критик, что автор и в самом деле много ездил, многое видел (с.248), но почему-то в его стихах «лицо именно э т о й страны, именно э т о г о народа зачастую лишь едва намечено»(56); «приметы чужой земли, так называемый местный колорит, характерные черточки национального быта, психологии» тонут в потоке общих фраз (с.249).

С той же иронической серьёзностью Синявский говорит и об идейном содержании книги: «мотивы дружбы и братства между народами, сочувствия угнетённым классам и нациям, любви к родному краю» не заставят читателя сомневаться в том, что Софронов является гражданином своей страны, но «великие идеи предстают здесь по преимуществу в виде общих понятий»

(с.248). Такова и в целом поэтика книги Софронова: «Общее и отвлечённое преобладают здесь над конкретным и индивидуальным, декларация — над картиной, идея — над образом» (с.248—249).

Есть у меня друзья на белом свете,
Считай их день, неделю — не сочтешь;
И друг за друга мы всегда в ответе,
И каждый чем-нибудь особенным хорош!
...На всех долготах и земных широтах, —
Куда б судьба тебя ни занесла, —
Тебя встречает, обнимает кто-то,
Ты улаешь друзей — и нету им чккла!

«Вот эти друзья «вообще», безыменные «кто-то» (кто-то встречает, кто-то обнимает), иногда, впрочем, названные по имени, но редко раскрытые как живые человеческие лица, — заключает критик, — и являясь героями стихов А.Софронова» (с.249).

Синявский пишет далее и о том, что дело не только в неумении Софронова передать свои впечатления о незнакомом, отдалённом мире(57) — и знакомый-то мир предстаёт в его стихах в виде тех же «холодных абстракций» (с.250), а образ современного советского человека напоминает «опять-таки не... живое лицо, а сухую, отвлечённую, выведенную логическим путём формулу, воспроизводящую некие атрибуты некой субстанции:

Мой верный товарищ, мой друг,
современник,
Работник, кующий истории звенья.
Всему, что когда-то в салютах звучало,
Ты знаешь, кто дал и конец и начало.
Давай же посмотрим мы мирной порою,
Кто зданье великой победы построил
И кто тебя вывел, товарищ, в герои» (с.250) и т.д. и т.л.

Но те же особенности стиля — абстракции, готовые формулы и штампы — отличают, как показывает Синявский, и поэзию Долматовского. Так, первое, что бросается в глаза в новом сборнике стихотворений и поэм Е.Долматовского под названием «Стихи о нас», — это то, насмешливо замечает Синявский, что «в «Стихах о нас» нам как раз «себя» и недостаёт. Вместо конкретного человека — схема, анкета, «сумма признаков», долженствующих воссоздать авторский идеал»:

Атака.
Братство.
Вдохновенье.
Геройство.
Долг.
Единство.
Жажда.
Звезда.
Исканья.
Есть значение
В той азбуке для буквы каждой...

«Уже этот список расположенных по алфавиту добродетелей, — пишет Снявский, — отпугивает: герой не виден за суммой «признаков»...» (с.244).

«**Всякий стиль имеет свой штамп**», «по классицизму, по-видимому более других склонен к штампу, к педагогичному соблюдению определённых норм и канонов, к консервативности формы», — писал А.Терц в своей статье «Что такое социалистический реализм».

Разбор стилистических особенностей поэзии Софронова и Долматовского является, в сущности, иллюстрацией этого положения статьи А.Терца. Снявский высмеивает пристрастие обоих поэтов к штампам, нацеленным на идеологическую нормативность и обнаруживающим низкий культурный — художественный и профессиональный — уровень этой поэзии. Так, он отмечает в качестве характерных особенностей творчества Софронова и «алеяповатость» образов, и «отсутствие чувства меры, вкуса», и множество безграмотных и неуклюжих высказываний (типа: «в душе народа прочитали народные желанья»), и «примитивное решение серьёзных тем (так пребывание американских солдат в Англии в сатирическом стихотворении «Откуда ангелы?» «свелось к тому, что американцам «очень нравится ходить с красавицей», «хватать за талию, ну, и так далее...» (с.252)). Между тем, упоминает Снявский, в периодической печати появилось уже множество отзывов и статей, в которых стихи А.Софронова «были в смысле их литературного качества поставлены в образец, в передний ряд нашей современной поэзии»(с.253—254)...

Да, уровень стихов Долматовского — чуть выше, признаёт Снявский, определяя его как **средний**:

«Есть такие стихи — «средние», — пишет Снявский, — которым не откажешь в паличии мысли и чувства, их автору — в опытности или находчивости в средствах изображения, композиции, броских афоризмах и т.л. Чего недостает им — так это поэзии в большом и высоком значении слова, которое не всегда поддается точному учёту, но вяжет слуху, душе, перед которой вдруг открывается «и божество, и вдохновенье...»(58). В стихах, именуемых «средними», /...слишком ощутимы рамки, законы, границы, в которые уложил себя автор, «потолок», над которым он словно не решается подняться...» (с.244).

Вот под описанную категорию как раз и попадают стихи сборника Евг.Долматовского «Стихи о нас», ибо книга, как оценивает её Снявский, имитируя мнимую академическую серьёзность, «не содержит каких-либо серьёзных изъянов или погрешностей стиля», «а вместе с тем что-то не пускает её выйти за пределы «общего ряда», за пределы стандарта (с.244).

Итак, выискивая те же шаблоны и штампы, ту же заданность и бессодержательность поэзии Долматовского, что и у Софронова, Снявский выступает в этих двух своих рецензиях не только против, как выражались в «Новом мире», серятины и узаконения некоего среднего вкуса, но, как видим, и прямо обличает псевдогражданственные и псевдонравственные позиции лирических героев Долматовского и Софронова. В этой связи особо выразительна попытка Снявского выявить конкретное авторское лицо в поэзии Софронова — дело, как он пишет, довольно сложное, ибо, как он отмечает, лицо это «слабо выражено» либо его вообще нет. Ведь когда Софронов подражает Есенину, Маяковскому, Исаковскому и другим поэтам,

речь идёт вовсе, не о заимствованиях, а о том, что у А.Софронова, в сущности, вообще «нет своего устойчивого, ясно выраженного индивидуального стиля». Потому-то он и пишет слишком «общо», «его муза легко настраивается на чужие интонации» (с.250). И, приводя ещё целый ряд примеров «настраивания», Сияевский в заключение насмешливо спрашивает: «пу а где же сам Софронов как таковой, в чистом виде, вне обидных мест и литературных реминисценций?» (с.251).

Впрочем, критик находит всё же одно стихотворение — «Когда человеку за сорок...», в котором, как пишет Сияевский, Софронов «говорит о себе самом и, касаясь тех мнений, которые ему приходилось слышать о себе как о человеке, высказывает своё жизненное кредо» (с.251):

Когда человеку за сорок,
Когда он уже поседел, —
За ним обязательный ворох
Прошедших событий и дел.
И как бы он сам ни старался
Укрыться от них и уйти, —
Он с ними навек повязался,
И нету другого пути.
Кого-то когда-то обидел,
Кому-то чего-то не дал;
Кого-то увидев — не видел,
Кого-то узнав — не узнал!
Тяжёлые все претензии!
Но как бы мне руки сложить,
Чтоб эти случайные мнения
Мне дали б по-своему жить.

«В этом признании, — комментирует Сияевский первую часть стихотворения, — друзья поэта почему-то усматривают покаяние и сокрушаются, что их товарищ «сдаётся на милость врагу», «ищет спокойную пристань», тогда как раньше он «был неплохим коммунистом». Поэт им возражает:

Да, было мне горько, не сладко.
Но сладости я не хочу.
Не надо тягучих сиропов
И песен, что пел соловей, —
Не надо мне толкой Европы
С её психологией всей.
С её двусторонним видением,
Где вместе и «против» и «за»...

Стихотворение заканчивается утверждением правильности того прямого пути, — пишет критик, — которым и впредь поэт желает следовать.

И если пойдё я не прямо —
Пусть взгляд от меня отведут!»

Затем следует кульминация разбора: критик начинает выявлять объективное содержание декларируемой Софроновым идейной позиции. С одной стороны, отмечает Сияевский, поэт высказывается о прямоте, «и если под ней понимать идейную принципиальность, твёрдость духа и т.д.», то она,

конечно, достойна всяческого уважения, но, с другой стороны, к этому понятию в стихотворении «примешиваются» «случайные мнения», которые «никак не идут человеку, действительно принципиальному», и «в ходе стихотворения не снимаются, а под видом прямоты как бы утверждаются и оправдываются» (с.251). Но «разве прямота коммуниста, непримиримость к врагам, — замечает критик, — состоят в том, чтобы кого-то когда-то обидеть, кому-то чего-то не дать...»? Хороша себе идейность и принципиальность! Ведь «это скорее напоминает мелкие бытовые дразни, — заключает Снявский, — а не борьбу за свои принципы и идеалы...» (с.251—252).

Точно так же и лирический герой Долматовского — там, как язвительно отмечает критик, где ему «действительно предоставлено право быть «самим собой», тоже «ведёт себя как-то скованно, принуждённо, неопределённо», «непоследовательно». С одной стороны, громкие декларации:

О, только бы не стать мне себялюбцем,
Ревниво нянчащим свою судьбу.
Я жизнь вибрирую с сахаром из блока
Не стану пить, боюсь обжечь губу.
Пусть будет горьким, кислым и солёным
Напиток мой.
Но пью внахлёб, до дна.
Ртом перекошенным и опалённым
Я расскажу про наши времена.

С другой стороны, почему-то Долматовский «обо всём рассказывает не «ртом перекошенным и опалённым», — иронизирует Снявский, — а довольно спокойно, пресно и рассудительно» (с.245). И далее, уже в ином стилистическом ключе, Снявский даёт общий рисунок лирического героя Долматовского: герой его, пишет критик, — «человек ординарный и, пожалуй, слишком трезвый, осторожный, с постоянной оглядкой на мнение окружающих и склонный к поучениям, декламации, резонёрству» (с.245). Вот, скажем, стихотворение, где Долматовский, напоминая «о переднем крае и пережитых атаках», «вдруг задаётся коварным вопросом:

Как поступить?
Сказать или промолчать.
Подставить лоб или наносить удары.
Пока молчит центральная печать
И глухо шебуршатся кулуары?

«Сама постановка подобного вопроса рядом с воинским подвигом общаёт нас холодным душем, — комментирует Снявский, — и заставляет подумать, что герой, выведенный Долматовским в качестве храбреца, в настоящее время не очень-то смел и дерзок» (с.245). Это герой, обладающий «непоследовательностью характера, склонный к психологическим компромиссам (он и легкомыслен, он и разумен)», «к огоркам (вещное «ню!» — приправа к этим стихам)» (с.245).

Естественно, что в таком контексте весьма сомнительными представляются критику и декларации о высокой нравственности героев Софронова и Долматовского. Так, критик обращает внимание читателя на

лживое и жеманное, как бы свысока, отношение Софронова (любителя заграничных поездок) к Европе: «Не надо мне тонкой Европы/С её психологией всей!» И ту же псевдоностальгию, псевдопатриотизм находит Снявский и в декларациях лирического героя Евг. Долматовского. В стихотворениях «Лишь две недели нет вестей из дому», «Венция» и др., как отмечает критик, Долматовский представляет себя неутомимым путешественником, объехавшим полсвета, но зачем же тогда жаловаться на отсутствие интереса ко всему заграничному? «Мотив туристической ностальгии в последнее время сделался штампом в нашей поэтической практике»: «уехав на две недели, поэты не устают писать о том, как они тоскуют по дому, как им грустно и тяжело в этом путешествии. Позволительно спросить: не лучше ли отказаться от этих удручающих вояжей и не портить себе нервы?» (с.246).

Вот почему лживые декларации о чистоте нравственных идеалов, о прямоте идейных позиций, показывает Снявский, чаще всего и облакаются именно в формы абстракций, общих фраз, выражаются стилистическими штампами.

Итак, сатирические выступления Снявского против поэтов-конъюнктурщиков отнюдь, как видим, **не были публицистически нейтральны**. В сущности, они были написаны с тех же идейных позиций, что и уже знакомые нам работы Ю. Буртина о произведениях Алексева, Строковского и Эляшевича. И в этом смысле Снявский тоже внёс свою лепту в борьбу против реакционной и низкопробной литературы — борьбу, которая была, как уже не раз упоминалось, одним из главных направлений новомировской критики и которая послужила одной из главных причин разгрома журнала. В этой связи следует поэтому более осторожно оценивать декларации Снявского о своей аполитичности и не любви к морализаторству.

Характерно, наконец, с этой точки зрения и то, что враги «Нового мира» воспринимали выступления Снявского именно как политическое противоборство. В знаменитом письме одиннадцати литераторов «Против чего выступает «Новый мир»?» в ряду других критиков, «планомерно и целеустремлённо культивировавших» в своих статьях «тенденцию скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества», приводилось и имя Снявского(59). И. Стаднок на пленуме Союза писателей РСФСР, выступая против новомировской критики, которая, по его словам, «за последнее время» «подвергла жестокому критическому разному немало произведений», назвал, в частности, и статью «Стихи о нас» (о поэзии Е. Долматовского(60)). Наконец, В. Кочетов в статье 1966 г. под названием «Скверное ремесло» прямо назвал Снявского идейным противником, который, как выразился главный редактор журнала «Октябрь», в ряду других «совершает литературные убийства»: «последний, с кем в советской печати расправился Снявский», писал Кочетов, был автор «отличных стихов, советский поэт Евгений Долматовский». Кочетов не забыл намекнуть и на то, что именно «Новый мир» предоставлял Снявскому трибуну для подобных выступлений: «там, где он чаще всего печатался, — писал Кочетов, — его поместили в списке молодых критиков «многообещающих тенденций»(61).

Не менее показательна с этой точки зрения и рецензия Сияявского на роман И.Шевцова «Тля» («Советская Россия», М., 1964 г.), — «Памфлет или пасквиль?» (1964, 12).

Рецензия эта (единственная новоми́рская работа Сияявского, обращённая к прозе) тоже написана в сатирическом жанре и нацелена прежде всего на выявление именно реакционной идеологической сущности романа.

Роман Ивана Шевцова «Тля» рассказывает о жизни и деятельности художников-модернистов и художников-реалистов. Если вспомнить строки из статьи Сияявского «Диссидентство как личный опыт»: «На мою беду, в искусстве я любил модернизм и всё, что тогда подвергалось истреблению», — то видение Шевцовым литературной и художественной жизни начала 60-х гг. диаметрально противоположно опыту Сияявского.

Так, из романа «Тля», вышедшего спустя год-два после известных кампаний правительств Хрущёва против художников-модернистов, мы узнаём, что в художественном мире различные «модерняги», по выражению автора романа, заняли, оказывается, все ключевые позиции и громят честных художников-реалистов. Причём, как отмечает Сияявский, используя терминологию Шевцова, «немногочисленные, но поразительно активные» «модерняги», «космополиты», «поджигатели», «эстеты и формалисты всех мастей» составляют в нашей художественной жизни «тёмную, но спаянную, спешную кучку». Они «безнаказанно издеваются» над честными художниками-реалистами, «несут чертовщину», стараются «протащить» всюду «своих людей», насадить «крамолу» (с.228). Разумеется, эти сторонники «чистого искусства» «пользуются успехом, задают тон в художественной среде», «добились славы» (как говорится в романе, «с помощью весьма подозрительных махинаций»), «экономически преуспевают, строят роскошные дачи, пьют коньяк», тогда как художники-реалисты, эти, в шевцовском изображении, кристально честные люди, в описанных условиях «чувствуют себя «прокажёнными», пребывают в полнейшей изоляции, в тягостном одиночестве, «бессильны противостоять натиску формалистической банды», бедствуют, влачат по преимуществу нищенское существование и занимают на жизнь деньги у благоденствующих эстетов» (с.229) и т.п.

Итак, роман, как видим, откровенно политический. При этом автор вступительной статьи — действительный член Академии художеств А.Лактионов, — характеризуя его как «судкий, боевой и гневный» роман-памфлет на современный художественный мир (с.228), пытается заверить читателя, что в романе изображена та среда, которую Шевцов «отлично знает» (с.228).

Однако Сияявский отождествляет борьбу, которую ведёт автор на страницах своего романа, с «такими внелитературными формами, как уличный скандал, трамвайная перебранка, квартирная склока...», и по этой причине отказывается полемизировать с автором на предложенных условиях (с.228). Ему представляется более важной задача выявления действительного содержания книги и тех психологических причин, которые породили такую яркую ненависть автора к художникам-модернистам. С этой целью критик вначале знакомит читателя с внешними приметами

изображённого в романе мира, приводит речевые декларации героев, отдельные характерные эпизоды и затем переходит к анализу смыслового содержания деклараций и поступков героев Шевцова. Иными словами, — пытаются выявить то, что «сказалось» в произведении. И в этом смысле можно отметить, что метод Сиявского в этой рецензии ничем, в сущности, не отличается от критических методов Ю.Буртина или И.Виноградова, применявшихся ими к произведениям подобного рода и в тех же целях.

Так, поднимая вопрос о действительных жизненных причинах столь «тяжёлой» ситуации, в которой оказались положительные герои романа (ибо, как показывает автор, они «живут на грани отчаяния, физического и нравственного истощения, теряют веру в справедливость нашего общества, приходят к мыслям о самоубийстве» и пр.), Сиявский язвительно замечает, что такой действительной причиной явилась погода, о которой не случайно так заговорщически изъясняются отрицательные персонажи (с характерными именами!) — знаменитый художник Лев Барселонский и маститый искусствовед Осип Давыдович Иванов-Петренко:

«Они обменялись понимающими улыбками.

— Хорошая погода, — сказал Иванов-Петренко, энергично подавая Барселонскому тёплую руку. Вид у него был бодрый и решительный. — Оттепель!

— Хорошая оттепель, — подтвердил Лев Михайлович...» (с.228).

Наблюдая за страданиями положительных героев Шевцова, критик подмечает при этом и некую искусственность горя, переживаемого этими людьми: ведь «тот же тоскующий Камышев, по словам автора, «никогда и никому не давал спуска», «пользовался авторитетом среди лучших советских художников, но ещё больше он был авторитетен среди простых советских людей и их руководителей». «Зачем же при таком авторитете затаивать в глазах скептицизм? — язвительно замечает критик. — Или признание народа, руководителей, лучших художников — не главное для Камышёва?...» (с.230)

Сиявский отмечает в романе много подобных казусов. Вот, например, ещё один:

«О судьбе своих героев, — пишет Сиявский, — Шевцов в эпилоге рассказывает: «А как живут Машков, Ерёмко, Окунев, Вартаван? Да всё так же. Много разъезжают по стране, по сёлам, заводам и стройкам. Пишут в старой манере, которая не приносит им ни шумной славы, ни денег. Но они, упрямы, остаются верными самим себе и своим зрителям — миллионам простых смертных тружеников, которые ещё не научились понимать «новое» искусство» (с.230).

В этом повествовании озадачивает тот факт, замечает Сиявский, что «приверженцы «старой манеры» не имеют «ни славы, ни денег», хотя работают не покладая рук и пользуются успехом у массового зрителя». И, заканчивая разбор ещё целого ряда подобных случаев, критик делает естественный вывод: причина такого «несведения концов с концами» состоит в том, что сам автор «плохо верит созданной им картине».

Кроме того, Сиявский отмечает и такую любопытную деталь: при ближайшем рассмотрении положительные герои Шевцова «мало чем

отличаются от отрицательных персонажей». Анализ поведения и психологии этих героев убеждает критика в демагогическом характере их добрых деклараций и их «высоких убеждений»:

«На словах они — борцы, на деле — пьетки. На словах — тверды, самоотверженны, принципиальны, на деле — уцербны, паталогически пугливы, мстительны, завистливы. Они только и думают о том, что их недооценили (хотя тут же сказано, что народ их любит и ценит). Их беседы между собою оснащены сенсационными слухами по адресу ближнего. Они напряжённо собирают сведения, компрометирующий материал, призванный уничтожить противника» (с.230).

Так критик приходит к выводу, что психологические причины, приведшие к созданию автором такой жуткой, угнетающей картины современного мира художников, следует искать в «невероятных страхах Шевцова»: «Преувеличения, к которым прибегает Шевцов, имеют мало общего с гиперболизмом сатиры. — объясняет Снявский. — К ним больше подходит житейская поговорка: у страха глаза велики» (с.230). «Психология страха ведь на том и основывается, — подчёркивает далее Снявский, — что человек теряет чувство реального и начинает «бороться» в выдуманном мире, пугая себя всё новыми и новыми домыслами» (с.231). Иными словами, Шевцов и его положительные герои ненавидят евреев за их образованность, ненавидят модернистов потому, что ненавидят Запад и демократию, они подвержены страху потому, что прекрасно отдают себе отчёт в своей бездарности и бескультуре. В романе Шевцова эти страхи выражены предельно ясно:

«Слыхал, они тоже за социалистический реализм, за его неограниченное многообразие, за свободу творчества! — восклицает Камышев. — Знаю я, какой они свободы хотят! /.../ Им нужна свобода на запрещение социалистического реализма в искусстве. Понимаешь? Свобода на запрещение! Мы не дадим им этой свободы. Партия не позволит» (с.231).

Снявский разбирает в своей рецензии и, так сказать, художественные особенности романа, затрагивая и вопрос о культуре автора — в частности об уровне его понимания художественного «реализма». Ведь роман этот, как отмечает критик, «даже и не защита реалистических традиций от эстетских посягательств, а злая пародия и на эту защиту, и на сами традиции». Шевцов понимает под реализмом «тщательное выписывание подробностей, вплоть до того, например, — пишет Снявский, — что в жанровой композиции «В загсе», которая здесь демонстрируется в качестве реалистического шедевра, настроение жениха «можно читать по дрожащим длинным ресницам», а на столе виден «незаполненный бланк», над которым «застыло перо», готовое зарегистрировать брак» (с.232). И вот это-то «опопленное представление о задачах искусства, — заключает критик, — выдаётся за реализм, да ещё наделяется в романе «Тля» высокими полномочиями, а всякая иная живопись подвергается хуле, зачисляется по разряду эстетства, формализма» (с.232).

Уровень эстетических представлений И.Шевцова характерен и такая деталь: «У негодяя и пошляка Бориса Юлина комнату отдыха украшают «цветные фоторепродукции обнажённых женщин: «Даная» Рембрандта,

«Венера» Джорджоне, рубенсовская «Сусанна», брюлловская «Вирсавия» и, конечно, репуаровская молодая дама, сидящая спиной к зрителю с мягким поворотом головы». Перечислив эти создания мирового гения, Шевцов разясняет читателю, что они помогали Борису Юлину соблазнять девиц» (с.232).

Всё западное, особенно французское искусство, «начиная с импрессионистов, отмечает Сиявяский, у Шевцова представлено как одю «кривлянье». Даже Щукин, который «оставил нам огромное художественное богатство» и «которым мы, русские, вправе гордиться перед всем миром», в романе называется «снобствующим купчихкой» (с.231).

Принимая во внимание тот факт, что положительные герои, как отметил Сиявяский, ничем не отличаются от отрицательных, и тот факт, что Шевцов, как выразился Лактионов, изобразил среду, которую хорошо знает, приходится признать, что своим романом он создал точный культурно-психологический портрет художников и литераторов близкого ему окружения. Настолько точный, что это пришлось не по вкусу даже некоторым идейным наставникам и покровителям Шевцова. Даже «Огонёк», как отмечает Сиявяский, «публично оттолкнул Шевцова». Но «дело, — замечает критик, — состоит не в том, чтобы публично оттолкнуть Шевцова или обругать его покрепче. Важнее задуматься, — подчёркивает критик, — только ли Шевцов проповедует невежество под видом реализма и смешивает с грязью художественную интеллигенцию? Ведь тот же человек, который «Огоньком» теперь причислен к «приживалкам», «салопницам», «бутербродникам», ещё недавно пользовался признанием в определённой среде, получал напутствия, «а предыдущий роман Шевцова «Свет не без добрых людей» сопровождался сочувственным послесловием А.Герасимова...». Теперь же даже Лактионов, подписавший предисловие к роману Шевцова, поспешил отмежеваться от автора, заявив в письме, опубликованном в «Литературной газете» от 19 декабря, что не читал романа, а просто подписал заранее заготовленный автором текст, хотя тем самым и выставил себя в глупом виде.

Так Сиявяский подводит читателя к ответу на поставленный им в самом начале вопрос. А именно: беда Шевцова состоит в том, что своим романом, сам того не подозревая, он выставил напоказ истинное лицо, невежество и, главное, страхи своего круга — страхи перед разоблачением, **страхи перед «гамбургским счётом»**, чем и вызвал недовольство своих генералов.

Итак, Сиявяский в этой рецензии выступил, как видим, критиком и публицистом политически ангажированным, настоящим обличителем псевдокультуры в её самых реакционных проявлениях — и в частности идеологии уже тогда нарождавшегося национал-большевизма. И, конечно же, обращение Сиявяского к творчеству таких писателей, как Софронов, Долматовский и Шевцов, и было не чем иным, как прямым проявлением **гражданской активности критика**. Здесь мы снова видим, кстати, полное единство А.Сиявяского и А.Терца, ибо в этом же ключе были написаны и такие статьи А.Терца, как «Что такое социалистический реализм» и «Литературный процесс в России», ещё более резкие и острее по своему сатирическому публицистическому обличительству. В этих работах, как известно, была взята под защиту русская культура, и Пастернак, Ахматова,

Цветаева и Мандельштам представляли как жертвы политики репрессии. Но — как жертвы сопротивлявшиеся, — то есть как поэты, проявлявшие определённую гражданскую активность. Именно такими поэтами и были и «тот самый Пастернак, который, — как пишет А.Терц в статье «Литературный процесс в России», — на склоне дней, когда, под бой сковородок, его собирались выгонять из России, носил в кармане пузырёк с ядом, чтобы в случае чего пополнить длинный список советских писателей-самоубийц. И та самая Ахматова... написавшая о гражданской казни, какой её подвергли в достопамятном 46-м году:

Вы меня, как раненого зверя,
На кровавый подьмете крЮк, —
Чтоб, ликуя, дивясь и не веря,
Иноземцы ходили вокруг...»(62)...

В этих же статьях А.Терц выступает и против Горького как основателя соцреализма, высмеивает Л.Брежневa, пишет о 37-м годе, рассказывает о взаимоотношениях М.Булгакова со Сталиным, берёт под защиту советских евреев и осуждает русский национализм... — и это ли не выражение его **политических позиций?**

Наконец, отнюдь **не случайно**, конечно, не оставляет критику Сняевского без внимания и партия «патриотов». Так, на шестом пленуме правления Союза писателей РСФСР, в ноябре 1989 года, против Сняевского и книги А.Терца «Прогулки с Пушкиным», отрывки из которой публиковались в журнале «Октябрь», эти «патриоты» выступили кампанией. Сняевского публично называли русофобом, а само произведение — издевательством над русской культурой и русским поэтом Пушкиным. Станислав Куняев, под бурные аплодисменты собрания, прямо заявил, что книга Сняевского (заметьте, Сняевского, а не Терца!) — «хулиганство», «причём крупное»(63). Произведение Терца было таким образом прямо приписано Сняевскому. Но о чём это говорит? Только ли о бескультурье, безграмотности «патриотов»?

Нет, дело, конечно, не только в том, что никто из набросившихся на «Прогулки» не был способен войти в специфический художественный мир Терца и в специфические бытовые условия рождения этой вещи(64), но и в том, что Сняевский и **сам** неоднократно выступал с публицистическими статьями против «патриотов» в журнале «Синтаксис» — и, в частности, в статьях «Русский национализм» (1989, №26), «Диссидентство как личный опыт» (1986, №15). Такой же характер носили и полемические отклики Сняевского на статьи А.Солженицына «Наши плоралисты» и «...Колеблет твой треножник» (см. в журнале «Синтаксис» статьи А.Сняевского: «Солженицын как устроитель нового единомыслия», 1985, №4 и «Чтение в сердцах», 1987, №17). Именно этот прямой и совершенно ясный политический характер выступлений Сняевского и явился, конечно, главной причиной кампании против Сняевского, развернувшейся на пленуме писателей РСФСР, где тот же С.Куняев заявил: «Дантесу прощительно, он не знал, «на что он руку подымал». Сняевский и «Октябрь» знают. Дантес приехал сюда «на ловлю счастья и чинов», Сняевский, видимо, на ловлю

популярности и гонимых. Вот разница-то. Одно сходство, что оба — из Франции»(65)...

Мирозерцание Куняева, надо думать, не слишком отличается от вымышленных в новмирской рецензии Снявского представлений о культурных и моральных ценностях, характерных для Ивана Шевцова и его героев. Потому-то «Русская партия» и видит в Снявском своего давнего врага, и потому-то достаточно странным всё-таки представляется и удивление самого критика таким восприятием его творчества:

«Куда ни кинься — ты враг народа. Нет, ещё хуже, ещё страшнее: ты — Даггес, который убил Пушкина. И Гоголя ты тоже — убил. Ты — ненавидишь культуру. Ты ненавидишь «всё русское»...»(66).

Заключение

Статьи и рецензии Снявского новмирского этапа его творчества имеют характер серьёзного и вдумчивого литературно-критического анализа тех явлений и тех тенденций в поэзии, которые были особенно типичны для литературного процесса первого десятилетия послесталинской истории советской литературы. Широта культурного диапазона, глубокие познания в области искусства поэзии, её законов, тонкость эстетического восприятия отличают суждения Снявского. Критику Снявского отличают также дружелюбие и спокойная академичность тона, заинтересованность в предмете, отсутствие всякого желания блеснуть своими знаниями. Никогда не забывая отметить положительные результаты и успехи в работе молодых поэтов, Снявский всегда предельно внимателен и к малейшим недостаткам, считая необходимым предупредить, вовремя указать поэту на те или иные ошибки в направлении его поисков. Хотя и написанные, так сказать, по следам литературных событий, новмирские работы критика по сумме высказанных в них мыслей об искусстве поэзии отнюдь не устарели и имеют **литературоведческий интерес** и для сегодняшнего читателя. Снявский последователен в идеях, во взглядах и в творческом их воплощении, не изменяет своей эстетической и этической концепции искусства и, думаю, не отказался бы сегодня ни от одной из этих работ, что подтверждает и немаловажный факт **сохранения** им в своём эмигрантском творчестве литературного имени Андрея Снявского.

Но, как мы видели, вместе с тем нет в этих работах Снявского и принципиального отличия от других новмирских критических работ. Для Снявского тоже, как и для новмирской критики в целом, всегда важна в искусстве прежде всего «тенденция», мировоззренческая и художественная целостность поэтического мира. И так ли уж безразлично для него идеологическое содержание искусства, политическая мысль автора, отражающаяся в нём? **Объективное восприятие** его критики и прозы с этой точки зрения, объективная их политическая направленность — хотел или не хотел того критик — были и остаются однозначными и потому совершенно определённо воспринимаются всегда его врагами.

Новомирская критика Сияявского, конечно, не была критикой «реальной», но интерес к содержательной стороне искусства, метод анализа в работах, написанных в жанре сатирического фельетона (выявить то, что «сказалось» в произведении), опять-таки позволяют, как мы видели, говорить о безусловной характерности его критики для «Нового мира».

Ориентиры Сияявского в поэзии — творчество Пастернака и Ахматовой.

Но ведь и в задачи «Нового мира» входила тогда реабилитация творчества этих и других замолченных или репрессированных поэтов и писателей. Журнал печатал их стихи, публиковал статьи об их творчестве, авторами которых были и многие другие критики журнала, не только Сияявский.

Пристрастия Сияявского в искусстве — модернистское направление.

Но, с другой стороны, критик в своих статьях о поэзии молодых во многом ведь и сходится во взглядах с Твардовским, отмечая в качестве главного недостатка работы молодых поэтов, в том числе и модернистов, отсутствие глубины мысли, последовательности в выражении своего мирозерцания, оригинальности и самобытности. Эти статьи носят совершенно чёткий характер именно того культурного просветительства, которое также было одним из направлений борьбы новомирской критики за высокое искусство.

Наконец, и едко-сатирические рецензии Сияявского опять-таки лежат в плоскости одного из главных направлений новомирской критики — её борьбы против серости, ремесленничества, бескультурия и конъюнктуры, даже если авторами литературных поделок являлись такие маститые чиновники СП, как Софронов или Долматовский.

Мы не станем вместе с тем утверждать, что критика Сияявского носила тот преимущественно публицистический характер, который был наиболее типичен для критики «Нового мира». Он и в самом деле не ставил перед собой задачи решать какие-либо общественно-политические проблемы на материале литературы, и в самом деле сторонился всякого морализаторства. В отличие от новомирской критики В.Лакшина, Ю.Буртина и И.Виноградова (за исключением нравственно-философской его эссеистики) — критики декларированно ангажированной, публицистически заостренной, обращённой к вопросам социальным, нравственным, общественным, критика Сияявского и в самом деле в большей степени обращена к решению собственно литературных задач. Да и по стилю, по интонационному рисунку в большинстве случаев она тоже куда менее страстная, более академически уравновешенная. И тем не менее общее впечатление от статей Сияявского — то же.

Почему?

«Как ни хотел бы критик... стать на отрешённо-художественную точку, — заметил в своё время по этому поводу Ап. Григорьев, — живая, или, правильнее сказать, жизненная сторона создания увлечёт его в положение невольного судьи над образами, являющимися в создании, или над одним образом, выразившимся в нём своєю внутреннею нравственною жизнью, если дело идёт о круге лирических произведений»(67).

Вот почему даже при наличии установки Сияевского на собственно профессиональный разговор об искусстве публицистическая мысль всё равно «пробивается» в его критику или принимает форму общей направленности его статей. Следует, таким образом, признать **некоторое расхождение** между установкой Сияевского на аполитичность и объективным результатом его практической критики. И это противоречие критики Сияевского можно охарактеризовать ещё одним замечательным высказыванием — словами Достоевского, сказанными им в связи с парадоксами критического самосознания А.Григорьева:

«Я критик, а не публицист», — говорил он (А.Григорьев. — Н.Б.) мне сам несколько раз... Но всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика — не только иметь твёрдые убеждения, но **уметь** и проводить свои убеждения. А эта-то **умелость** проводить свои убеждения и есть главнейшая суть всякого публициста. Но Григорьев, судя о слове публицист с предубеждением, — по некоторым частным примерам бывших у нас публицистов... может быть, думал, что от него добиваются отступничества»(68).

Не желая быть моралистом, публицистом, сопротивляясь так называемой утилитарной критике, Сияевский так же, как и А.Григорьев, стремится удерживать в своих анализах в единстве оба начала в художественном произведении: «что сказано» и «как сказано». Между тем ему отнюдь не было безразлично прежде всего именно то, «**что**» сказано в произведении, ему отнюдь не был безразличен, вопреки его утверждениям, аспект нравственного и гражданского содержания поэзии. В том-то и дело, что Сияевский **умест проводить свои убеждения**, и в том числе свои представления о нравственном и гражданском.

Наонец, очевидным представляется и то, что если бы Сияевский и в самом деле был «сторонним» «Новому миру» человеком, тогда бы он и осуществлялся только как А.Терц. Вместе с тем критик сохраняет имя Сияевского для критических и публицистических выступлений в журнале «Синтаксис», который редактирует вместе с М.Розановой и который отнюдь не является, кроме того, изданием беспристрастным в политическом отношении. Этот журнал, как известно, одним из первых на Западе занял «перестроечную» платформу и, отстаивая позиции **демократического многоголосья**, с некоего пор ведёт постоянную полемику с различными партиями движения «новых славянофилов» — полемику, в которой, как уже говорилось, Сияевский принимает активное участие. Следовательно, и с этой точки зрения можно отметить определённую последовательность, **устойчивость мировоззренческих позиций Сияевского-Терца** ещё со времён его сотрудничества с «Новым миром», отнюдь не считая его тем самым политически пассивным критиком.

Журнал А.Твардовского, по свидетельству бывшего члена редколлегии И.Виноградова, был представлен очень широким спектром различных демократических умонастроений. Это была действительно, как определил А.Солженицын, единственная цель, единственное окно для писателей, критиков, публицистов, читателей, настроенных демократически. Новомирскую критику А.Сияевского (равно как новомирскую прозу

А.Солженицына, например) в этом смысле можно рассматривать как один из цветов этого спектра.

Что же касается эстетических расхождений между Твардовским и Сиявским, то они действительно были и реальными, и существенными, но принципиального значения ни для критика, ни для редактора в те годы не имели. Дело в том, что при всех своих симпатиях к «другому» искусству Сиявский прекрасно отдавал себе отчёт, что и «другому»-то недостаёт нужной глубины. Оттого как бы ни симпатизировал критик поэтам-авангардистам любых направлений, в его повомирских статьях творчество лишь немногих из них получает общую положительную оценку.

Подводя итоги журнальной полемики начала 60-х гг. вокруг теории «самовыражения», Твардовский, как мы помним, высоко оценил статью «За поэтическую активность» Меньшуткина и Сиявского, но и открыто заявил о своём «куда более сдержанном» отношении к творчеству А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной и Б.Окуджавы. Твардовский подчеркнул, что речь идёт о вкусовых его разногласиях с критиками, которые «закономерны» в литературном мире, как закономерно и то, что «поэзия разнолика, многообразна (а она и должна быть такой)». Поэтому, закапчивая свою мысль Твардовский, «мы не помнили А.Меньшуткина и А.Сиявскому высказать в ходе обсуждения статьи Б.Рунина их отношение к поэзии А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной и Б.Окуджавы» (1961. 8, с.254).

Это высказывание представляется нам довольно характерным подтверждением того, что главный редактор «Нового мира» считал многообразие способов поэтического выражения нормальным и правомерным и был довольно лоялен по отношению к иным взглядам на искусство, иным концепциям — при условии, однако, что «другое» мнение выражено профессионально, тщательно аргументировано(69).

Было бы упрощением считать поэтому, что вся повомирская критика была единоличной. При существовании определённого и достаточно чёткого господствующего идейно-эстетического направления в статьях и рецензиях ведущих повомирских критиков было, как мы видели, немало и идейных, и вкусовых, и эстетических оттенков выражения этой общей линии. Как идея демократии толковалась здесь — не в теории, а на практике — по-разному, так и эстетические ориентации, понимание искусства на практике, как справедливо выразился С.Чупринин, «было гораздо богаче, объёмнее, внутренне пластичнее» общей установки на реализм(70). Твардовский, кстати сказать, отмечал в своей статье «По случаю юбилея» «широту идейно-эстетического диапазона», различие «литературных индивидуальностей» молодых критиков «Нового мира», ставя в пример Ю.Буртина, И.Виноградова, А.Лебедева, И.Соловьёву, А.Сиявского, и не мешал проявляться этим индивидуальностям(71).

Эстетическая терпимость была характерной для Твардовского и для позиции журнала, и об этом свидетельствуют и бывшие авторы, и сотрудники журнала.

В.Войнович, например, в беседе с автором настоящей работы вспоминал, что при всей последовательности, с которой «Новый мир» проводил свою идейно-эстетическую позицию, всё-таки не каждая прозаическая венца, не каждая критическая статья полностью совпадали с линией журнала, хотя

как-то всё-таки и вписывались в общее русло. Интересно в этом смысле и свидетельство старшего редактора отдела критики К.Озеровой:

«Твардовский модерни не любил. Но иногда он переступал через себя. Например, шла у меня статья Майи Туровской о Джеймсе Бонде, статья была написана несколько сложно, с кинематографической лексикой. Твардовскому она была совершенно чужда, он хотел её снимать. Я протестовала, и тогда он устроил совещание. «Ну хорошо, чем она вам нравится?» — спросил Твардовский. И тогда мы все стали рассказывать, что молодёжь сейчас думает, что читает, как ей это интересно и т.д. Он послушал и говорит: «Ну, хорошо, в этом есть логика, и хоть мне это чуждо, но пусть идёт».

Он подобрел к Евтушенко после того, как съездил на Дальний Восток, на перекрытие Ангары и послушал, как там молодёжь — не на официальных встречах, а так, прхто у костров — читала взахлёб стихи Евтушенко. Для него это означало, что поэзия Евтушенко что-то говорит довольно широкому кругу людей».*

Эстетическая терпимость была, таким образом, характерной для позиций «Нового мира», и, повторим, принципиальных расхождений во взглядах на поэзию и на культуру между Синявским и Твардовским не было. В этом и секрет их взаимного сотрудничества в 50—60-х гг. Представительство Синявского среди других критических сотрудников журнала позволяет нам, таким образом, сделать вывод, что идейные и эстетические позиции «Нового мира» не следует отождествлять с личными вкусами и политическими взглядами Твардовского, — аспект, к которому мы ещё вернёмся в следующей главе.

Г Л А В А VI. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТВОРЧЕСТВО В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА, А.СИНЯВСКОГО И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» В ЦЕЛОМ

В предыдущих главах мы рассмотрели творчество каждого из четырех выбранных нами критиков — В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского — со следующих точек зрения: основная проблематика и темы выступлений, тип критики, способ анализа литературно-художественного текста, литературно-эстетические и общественные позиции, индивидуальный путь творческой и мировоззренческой эволюции, отношение к традициям.

Какие выводы можно сделать на основании этого анализа? Какие черты сходства и различия мы наблюдаем в критике четырёх авторов? Если направление журнала определяется его критикой, то чем же характерно творчество В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского с точки зрения выражения позиций журнала, в какой мере направление работы и поисков каждого из четырёх авторов репрезентативно для остальной новомирской критики?

1. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО АНАЛИЗА ТВОРЧЕСТВА В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА И А.СИНЯВСКОГО

Несомненно **общей характерной чертой** творчества и социально-гражданских позиций В.Лакшина, Ю.Буртина и И.Виноградова в эпоху их работы в «Новом мире» является их политическая ангажированность, сознание причастности к общему делу, творческая активность, а также умение системно и концептуально выражать и отстаивать свою точку зрения. **Общей чертой** их критики является и отстаивание принципов демократического преобразования общества на основе, в общем, материалистических мировоззренческих традиций (у Виноградова — приблизительно до 1968 г.). Да и общественно-гражданские позиции Синявского в тот период в общем смыкались с позициями Лакшина, Виноградова и Буртина: он тоже разделял общую идею новомирского движения — идею демократии, которая была тогда центральной идеей времени, стимулятором общественного и культурного подъёма в стране, одушевляя очень значительную часть социально активных членов общества. Критика Синявского близка критике Лакшина, Виноградова и Буртина и по своей установке на просветительство, понимаемое прежде всего как необходимость повышения общего культурного и профессионального уровня литературы и искусства. Наконец, для

творчества всех четырёх критиков было характерно и то, что социальные, нравственные и культурные задачи, которые они решали в своих работах, рождались из насущных потребностей времени и потому находили широкий отклик у современников.

Различаются же эти фигуры не только по сферам их индивидуальных творческих интересов и эстетических пристрастий, что нашло отражение в центральной тематике и проблематике работ каждого из критиков, но и по глубинным тенденциям их мировоззренческого самоопределения и развития, что проявилось и в своеобразии их последующей духовной эволюции. Важно учитывать и ту объективную роль, которую играл и которую принимал на себя каждый из критиков в журнале и которая накладывала, несомненно, отпечаток на способ их самовыражения.

Так, самые известные работы В.Лакшина были написаны с позиций руководителя журнала, выступающего от лица «Нового мира». Не случайно поэтому в центре его внимания оказываются чаще всего произведения, опубликованные в «Новом мире» и раскритикованные затем противниками журнала; не случайно и то, что основным пафосом статей Лакшина был пафос борьбы с врагами «Нового мира» и отстаивания линии журнала.

Критика И.Виноградова, В.Буртина и А.Синявского не была столь официальной (в этом смысле можно сослаться хотя бы на статью Виноградова о романе В.Некрасова «В окопах Сталинграда», где он тоже защищает новомирского автора). Для творчества этих трёх авторов более характерно обращение к «конкретной» критике, индивидуальный поиск.

Так, в центре основных работ Виноградова всегда стоит проблема духовного и гражданского самоопределения человека, нравственные и духовные искания личности, её взаимоотношения с окружающим миром. Центральной темой творчества Буртина является всегда народ, социум, структура и организация общества, и не случайно поэтому его внимание привлекла к себе прежде всего так называемая «деревенская» литература. Основной сферой новомирского литературно-критического творчества Синявского было исследование и оценка современной художественной культуры (прежде всего поэзии) по преимуществу с нравственно-этической и художественной точки зрения. Отсюда и основная направленность работ Синявского — культурное и эстетическое просветительство.

Индивидуальны и пути духовных и творческих исканий, пройденные четырьмя критиками за время их деятельности в журнале Твардовского, а также в посленовомировскую эпоху. Так, творчество Лакшина 70-х — начала 90-х гг. не отразило существенных, принципиальных изменений в мировоззрении критика. Как в новомирских своих работах, так и в дальнейшем творчестве Лакшина остаётся верен марксизму. Общественно-политические позиции Синявского, если судить по его новомирским работам и последующим публикациям, тоже отличаются определённой мировоззренческой устойчивостью. Общественные позиции критика можно определить как демократические в широком смысле слова (неприятие государственного строя, основанного на монополии власти, уравниловке и бесправии), но в их основе лежит религиозно-идеалистическое мировоззрение автора, что выявилось, естественно, лишь постепенно и что

определило собою и своеобразие эстетических ориентаций Синявского, обращённых прежде всего к искусству символически-метафорического плана.

В новоязном творчестве Ю.Буртина и Виноградова мы наблюдаем заметную мировоззренческую эволюцию уже во времена их работы в «Новом мире», во второй половине 60-х гг., характеризующуюся радикализацией взглядов обоих критиков на социализм и отходом от марксизма. Но, оставаясь единомышленниками в своей социально-политической ориентации, Буртин и Виноградов прошли разные пути духовно-мировоззренческой эволюции. Отход от марксизма для Буртина не сопровождался отказом от материалистического способа объяснения мира, тогда как для Виноградова он обозначил постепенный переход на позиции религиозно-философского идеализма, обращение к традиции русского философского Ренессанса начала 20-го века (В.Соловьёв, Н.Бердяев, С.Булгаков и др.).

В какой же мере репрезентативно для позиций «Нового мира» в целом творчество В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского — с точки зрения тематики и проблематики их работ, выраженных в них мировоззренческих и эстетических позиций, с точки зрения духовной эволюции каждого из критиков?

Можно с уверенностью утверждать, что во всех этих отношениях творчество четырёх авторов в высшей степени характерно и репрезентативно как для позиций журнала, так и для литературной критики «Нового мира».

Так, например, «деревенские» социально-экономические и социально-нравственные студии Ю.Буртина и И.Виноградова представляют собой художественно-публицистические исследования (с выводами и открытиями, теоретически обоснованными и закреплёнными) одного из ведущих направлений в литературе 50—60-х гг. — так называемой «деревенской» прозы и очеркности, которая была, как известно, и своего рода «открытием» «Нового мира», и постоянно находилась как в центре издательской политики журнала, так и в центре внимания его критики и публицистики. Речь идёт о таких произведениях (называем только наиболее значительные произведения этого направления, опубликованные в «Новом мире» за изучаемый период), как роман «Две зимы и три лета» и повесть «Пелагея» Ф.Абрамова; рассказ «Мазурик», «Плотнички рассказы», «Бухтины вологодские» В.Белова; «Деревенский дневник» Е.Дорошина; «Навстречу ветру», «Время пожинать плоды», «Невьдуманные очерки» В.Овечкина; «На Иртыше» и «Солёная падь» С.Залыгина; повесть «Из жизни Фёдора Кузькина» и очерк «Лесная дорога» Б.Можаева; повесть «Созвездие Козлотура» Ф.Искандера; проза В.Тендрякова, Г.Тропольского, рассказы В.Шукшина, поэзия и проза А.Яшина, повести и рассказы В.Лихоносова, публицистика Ю.Черниченко и др.

Статьи И.Виноградова о «новой» военной прозе также лежали на одном из главных направлений издательской политики журнала и его литературно-критической и публицистической работы, нацеленной на осмысление и переосмысление недавнего прошлого и, в частности, событий Отечественной войны. Из наиболее значительных публикаций журнала за

эти годы в области военной прозы и очеркистики можно назвать повесть «Пядь земли» Г.Бакланова; «Резерв генерала Панфилова» А.Бека; «Тишину» Ю.Бондарева; «Мёртвым не больно», «Атаку с ходу», «Круглянский мост» и «Сотникова» В.Быкова; рассказы В.Гроссмана, прозу Е.Ржевской, мемуары А.Горбатова «Годы войны»; «Поход на Невскую заставу» О.Берггольц; «Рабочий посёлок» В.Пановой и «Тёркина на том свете» А.Твардовского.

Статья В.Лакшина о повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» поднимала тему сталинских лагерей, тему 37-го года, которая в прозе журнала была представлена тоже целым рядом замечательных публикаций — произведениями А.Солженицына, романом Ю.Домбровского «Хранитель древностей», мемуарами А.Побожего «Мёртвая дорога», «Дневником Нины Костериной», «Записками из плена» Ю.Бондарева, повестью Н.Ивантер «Синова август»; в поэзии — публикациями произведений репрессированного писателя Маро Макаряна, В.Шаламова, А.Твардовского («Друг детства», «Так это было») и рядом произведений других авторов.

Новомирские работы А.Синявского, обращённые к творчеству молодых поэтов и, в частности, к поэзии авангарда, тоже были не случайными для «Нового мира», который предоставлял свои страницы и поэтам, опиравшимся в своём творчестве на иные традиции искусства, не совсем близкие «генеральной» (реалистической) эстетической линии «Нового мира». Среди них можно назвать Б.Ахмадулину, Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Г.Айги и др.

Выступления А.Синявского, посвящённые творчеству А.Ахматовой и Б.Пастернака, тоже перекликаются с целым рядом других новомирских публикаций, направленных на восстановление имён репрессированных или несправедливо замолченных деятелей литературы и искусства. В «Новом мире» печатали произведения А.Ахматовой, Б.Пастернака, М.Цветаевой, Н.Заболоцкого, М.Булгакова, В.Шаламова, Б.Корнилова и многих других авторов, преданных забвению в те или иные годы сталинского правления.

Характерно творчество четырёх авторов и с точки зрения установки их критики на исследование литературы современной проблематики. Отклик и поддержку в их статьях и рецензиях неизменно встречают лишь произведения демократической направленности и обладающие художественной ценностью (у И.Виноградова это работы о прозе И.Меттгера, Е.Герасимова, К.Симонова, В.Распутина; у Ю.Буртина — о прозе Ф.Абрамова, В.Солоухина, П.Ребрина и о поэзии А.Яшина; у В.Лакшина — статьи о прозе П.Нилина, Д.Гранина, Ф.Абрамова; у А.Синявского — статьи о поэзии молодых). Борьба с серыми, пошлыми, безграмотными, казёнными и конъюнктурными литературными поделками, с которыми всегда вёл жестокую борьбу «Новый мир», также находит место в творчестве четырёх критиков (у И.Виноградова — в работах о «беллетристике»; у Ю.Буртина — в рецензиях на прозу П.Строковского и М.Алексеева и на литературоведческие и критические статьи А.Эльшенича; у А.Синявского — в рецензиях на поэтические сборники А.Софронова и Е.Долматовского, на роман И.Шевцова; у Лакшина — в статьях «Иван Денисович. Его друзья и недруги», «Читатель. писатель,

критик» и др.). Работы, перечисленные в скобках, характерны и с точки зрения той лепты, которую каждый из четырёх авторов внёс в борьбу «Нового мира» с враждебными ему направлениями в литературе (журналы «Октябрь», «Огонёк» и «Молодая гвардия»). Кроме того, В.Лакшин, И.Виноградов и Ю.Буртин внесли свой вклад в борьбу с идейно-эстетическими противниками журнала и своей практической работой в редакции журнала (В.Лакшин как заведующий отделом литературной критики, а затем первый заместитель главного редактора; И.Виноградов как заведующий отделом прозы, а затем — отделом критики; Ю.Буртин как ведущий редактор публицистического отдела). Что касается А.Синявского, то отнюдь не вопреки, а в соответствии с теми демократическими позициями, которые отстаивал Синявский — автор «Нового мира», развивалось и творчество А.Терца. Не случайно по его пути нелегальных публикаций за границей и по тем же самым причинам (невозможность публиковать свои вещи на родине) пойдут во второй половине 60-х — в начале 70-х гг. и другие новомирцы — и А.Солженицын, и Г.Владимов, и В.Войнович и ряд других бывших авторов и сотрудников журнала.

В двух своих статьях «Читатель, писатель, критик» В.Лакшин поднимал тему «читатель». Журнал получал огромный поток писем, предоставлял читателям специальные рубрики, и взаимоотношения «Нового мира» с подписчиками были не формальными, они носили также программный характер(1).

Наконец, что касается взаимоотношений журнала с дружественными ему органами печати и с журналом «Юность» в частности, то новомирская критика всегда была взыскательной, но и всегда благожелательно расположенной к публикациям этого издания. Поэтому позиции, занимаемые Синявским в его новомирских статьях по отношению к авангардистской поэзии, тоже были достаточно характерными и для других новомирских критиков, обращавшихся к литературе этого направления. Это можно проследить по работам С.Рассадина (о К.Чуковском и о поэзии Ф.Искандера), Е.Стариковой (о книге рассказов и повестей М.Гашиной), И.Соловьёвой (о повести А.Гладилина), А.Берзер (о рассказах А.Кузнецова), Ф.Светова («О молодом герое»), А.Чудакова и М.Чудаковой (о современном рассказе и о современной повести и юморе). Впрочем, здесь мы переходим уже к следующей теме заключительного раздела настоящей работы.

2. ТВОРЧЕСТВО В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА И А.СИНЯВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ОСТАЛЬНОЙ КРИТИКИ «НОВОГО МИРА»

«Понятие «журнальный контекст» применимо не только к беллетристике, но и к критике. Поэтому для нас важно не только высказывание определённого критика, но и представление о журнальном фоне, по которому мы можем судить: являлось ли данное выступление характерным для журнала в целом, или же представляло

индивидуальную точку зрения того или иного сотрудника» (М.Теплинский, «Отечественные записки» (1868 — 1884), Южно-Сахалинск, 1966, с.143).

Являются ли те четыре направления работы и поисков, те четыре мировоззренческих пласта сознания и соответствующие им типы критики, которые мы выделяем как характерные для творчества В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского, репрезентативными для остальной повомирской критики?

Изучение литературной критики «Нового мира» показывает опять-таки очень высокую характерность творчества четырёх авторов для критики журнала в целом и в этом отношении.

А. В.ЛАКШИН И ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КРИТИКА «НОВОГО МИРА» РЕАЛИСТИЧЕСКИ-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА. СТАТЬИ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ЖУРНАЛА. ИДЕЙНАЯ БОРЬБА С ТЕНДЕНЦИЕЙ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ»

По своему характеру и пафосу ближе всего к повомирской критике В.Лакшина стоит критика **А.Дементьева**, который, как известно, до Лакшина занимал в редакции «Нового мира» пост первого заместителя главного редактора. При всём том, что А.Дементьев был, безусловно, более ортодоксальным проводником идеологии и эстетики марксизма в журнале(2) и не был столь одарён литературно, как Лакшин, перед нами, несомненно, критика одного типа — как по её сориентированности на выражение и отстаивание «официальной» линии журнала, по центральной проблематике (борьба идей в современном общественно-литературном процессе), по «наступательному» и «оборонительному» своему пафосу, так и по опоре на марксизм и по акцептированию лояльности журнала к режиму.

Так, уже в одиннадцатом номере «Нового мира» за 1958 год, то есть через четыре месяца после формирования новой редакции «Нового мира» под руководством Твардовского, А.Дементьев первым от лица журнала выступает со статьёй «Заметки критика», в которой даёт бой казённой идеологии одновременно по трём линиям. А именно: выносит резкую оценку роману В.Кочетова «Братья Ершовы», который был задуман как идейный отпор роману В.Дудинцева «Не хлебом единым»; вступает в теоретический спор с консерваторами по вопросам эстетики, критически отзываясь о сборнике «Вопросы эстетики», выпущенном в 1958 году Институтом истории искусств АН СССР; полемизирует с основными положениями книги статей «Очерки о художественном мастерстве писателей» М.Шкерина и тем самым наносит удар по методологии нормативной критики.

В статьях «По поводу «реплики критику» Шкерина» (1958, 12) и «По поводу статьи Степана Злобина» (1959, 7) Дементьев продолжает своё активное наступление на литературу и критику консервативного лагеря. В последней статье Дементьев вступает за роман А.Калинина «Суровое поле» (в котором автор поднимал тему несправедливого осуждения Сталиным советских военнопленных), раскритикованный С.Злобиным, и защищает лозунги 20-го съезда партии, провозглашающие «социалистический гуманизм» и «доверие» к людям.

«...Я спорю со С.Злобиным, — объясняет А.Дементьев, — не только потому, что добиваюсь верной оценки хорошего романа А.Калинина, но и потому, что вопрос об эстетическом своеобразии литературы соцреализма не может быть решён без правильного понимания социалистического гуманизма и гуманистического характера нашей литературы» (с.230).

«Исторические решения 20-го и 22-го съездов партии знаменуют дальнейшее укрепление и развитие гуманистических основ нашего строя» (с.231).

В этой же статье А.Дементьев подчёркивает, что хвалебные рецензии Ю.Андреева и В.Архипова на роман В.Кочетова «Братья Ершовы», появившиеся в печати, направлены именно против идей 20-го съезда.

Наконец, как Лакшин в своих центральных статьях «Иван Денисович. Его друзья и недруги» и «Читатель, писатель, критик», так и Дементьев во всех своих публикациях выступает главным образом с позиций защиты и отстаивания произведений новомирских авторов. Так, например, в конце вышеназванной работы Дементьев берёт под защиту первый сборник стихов молодой поэтессы Риммы Казаковой, повесть Е.Ржевской «Спустя много лет», «Сентиментальный роман» В.Пановой, вступая в полемику с критиками этих произведений — С.Смеляковым, М.Шошиным и Б.Сучковым.

По проблематике, боевостности и «наступательности» критику Лакшина можно сопоставить и с работами А.Марьямова. Статья «Снаряжение в походе» (1962, 1), в которой Марьямов откликается на новый роман В.Кочетова «Секретарь обкома», написанный по следам 22-го съезда партии, особенно характерна в этом смысле.

Вывдвигая новомирский критерий — «художественная несостоятельность произведения искусства есть и его идейная неполноценность», — Марьямов выступает здесь, в частности, против попытки Кочетова узаконить в литературе примат «идейной ясности» произведения над его художественной ценностью.

Говоря об идейной борьбе «Нового мира» против консервативно-конъюнктурной литературы 50—60-х гг., сосредоточившейся тогда в журнале «Октябрь», отметим, что именно статьи Дементьева, Лакшина и Марьямова более всего и воспринимались как выступления «от лица» журнала «Новый мир», что, безусловно, связано с тем официальным положением, которое эти авторы занимали в редакции.

В целом и в сумме антикультовые новомирские выступления составляют довольно солидный материал, который в принципе и образует понятие «полемика журнала «Новый мир» с журналом «Октябрь». При этом следует иметь в виду, что речь идёт о борьбе не с одним только «Октябрём», а с целым направлением, которое возглавил в 60-е гг. этот журнал. Не случайно в активе этого издания состояли и авторы или сотрудники других реакционных изданий — таких, как журналы «Огонёк», «Молодая гвардия», «Звезда», газеты «Литература и жизнь», «Литературная газета» и др. Так что даже и тогда, когда новомирские отрицательные рецензии и не являлись непосредственными откликами на публикации журнала Кочетова, в большинстве случаев по профилю критики, по выбору авторов они так или

иначе становились событием и в истории полемики «Нового мира» с журналом «Октябрь».

Следует отметить также, что новомирский критерий «художественная неполноценность произведения литературы всегда выражает и скрывает за собой и его идейную несостоятельность» вообще расширял сферу полемики журнала с казённой, потому что эта формула, как правило, и определяла уровень публикаций как «Октября», так и «Огонька» и «Молодой гвардии». Поэтому статьи и рецензии новомирцев, обличавшие идейно-конъюнктурные, безыдейные или идейно-реакционные произведения литературы, были одновременно и выступлениями против серости, безграмотности, низкого художественного качества этой продукции.

Возвращаясь к вопросу о типовом сходстве критики Лакшина и критики других новомирских авторов, отметим, что и подчёркивание Лакшиным в его статьях лояльности журнала по отношению к господствующему режиму и к официальной идеологии было также характерно для статей А.Дементьева, А.Кондратовича или А.Марьямова, что проявлялось более всего в обильном цитировании и в постоянных ссылках на теоретиков марксизма-ленинизма. У Дементьева этот «приём» вообще порой определяет содержание его работ — таких, например, как «Две позиции» (1961, 12) и «На провинциальном уровне» (1962, 11), где критик стремится отмежеваться от различных похвал по адресу «Нового мира», исходящих от западных славистов.

Так, в первом выступлении Дементьев говорит, в частности, о статье «Диссонирующие голоса в советской литературе», появившейся в «Партизан ревью», где, по словам критика, написана ложь о советской литературе, ибо такие авторы, как Макс Хэуорд, Г.Струве, Э.Симмонс «и им подобные», «пытаются, — пишет Дементьев, — представить лучшие произведения нашей литературы (начиная с «Двенадцати» А.Блока) как нечто чуждое советскому строю и советской культуре». Во второй статье Дементьев выступает против характеристики современного литературного процесса в СССР, предложенной читателям Морисом Надо и «его помощниками» во вступительных статьях, предваряющих публикацию подборки произведений современных советских писателей в журнале «Леттр нувель». Дементьев определяет картину развития современной советской литературы, нарисованную Морисом Надо как «далёкую от истины». Между тем автор вступительной статьи справедливо отметил, что для литературного процесса в СССР характерна «всё более обостряющаяся борьба различных направлений: «правого» и «левого», «либерального» и «сталинистского», «социалистического реализма» и «критического направления». Это отмежевание от Запада в статьях Дементьева носило, безусловно, внутривполитический характер, было связано с желанием одного из редакторов журнала показать лояльность «Нового мира» по отношению к властям, верность авторов журнала принципам социалистического реализма, даже если это в реальности и не соответствовало подлинному направлению прозы, поэзии и критики «Нового мира».

Сходство позиций Лакшина и Дементьева сказалось также и в том, что даже к концу 60-х гг., когда не только многие из авторов журнала, но и сам Твардовский стал постепенно отходить от марксизма-ленинизма, оба критика

продолжали в своих выступлениях бороться за «чистоту» этой философии: Лакшина — в своей статье «Посев и жатва» 1968 г., например; Дементьев — в своей статье «О традициях и народности» 1969 г.

Критика Дементьева сближается с критикой Лакшина и с точки зрения чёткости акцентов, которые оба автора расставляют для выражения эстетических ориентаций журнала: одинаковая, с позиций марксистско-ленинской эстетики, трактовка принципа народности литературы (включавшая в себя как неперемнное требование критерий общедоступности), классовый подход к литературе (чёткость социальных критериев), подчёркнутое неприятие всяких иных традиций и отношение к ним свысока (у Лакшина — в особенности в рецензиях на книги В.Александрова и С.Маршака, в статье об очерках Дороша; у Дементьева — в статьях «На Первом съезде писателей» (1966, 10), «А.В.Луначарский и советская литература» (1966, 12)). Эти же эстетические позиции характерны для повомировской критики А.Лебедева («Искусство «для широкого потребления», 1964, 11, «Реалистическая фантастика и фантастическая реальность», 1968, 11, «К выходу собрания сочинений Луначарского», 1965, 2); они характерны и для критики А.Кондратовича («Слова и годы», 1960, 11), и для критики некоторых других авторов журнала.

Понимание Лакшиным традиций революционно-демократической критики и журналистики (непосредственно в статье «Пути журнальные») было характерно и для таких авторов журнала, как Б.Рюриков («Н.Г.Чернышевский как личность и характер», 1960, 6), А.Лебсдев («Чернышевский или Антонович?» 1962, 3; «Судьба великого наследия», 1967, 12), Ю.Манн («Поэзия критической мысли», 1965, 5; «Базаров и другие», 1968, 10), А.Володин («Раскольников и Каракозов», 1969, 11), В.Жданов («Из заметок о Добролюбове», 1961, 12).

Наконец, работы Лакшина о современной литературной критике, его статьи-исследования литературного процесса 50—60-х гг. также были характерны по своей тематике и проблематике для выступлений «Нового мира» и находят свои параллели во многих работах других авторов. В частности: у А.Туркова в «Заметках о критике» (1961, 4); у Ю.Буртина в статье «Марк Щеглов — критик» (1966, 6); у И.Крамова в статье «В поисках сущности (О литературно-критическом наследии А.Платонова)» (1969, 8); у И.Травкиной в статье «Реклама и книга, или «Всем сёстрам по серьгам» (1967, 2); у Н.Ильиной в статье «Литература и «массовый тираж» (О некоторых выпусках «Роман-газеты»)» (1969, 1).

Две последние работы в некоторой степени и прямо продолжают и дополняют одну из линий статьи Лакшина «Читатель, писатель, критик». Так, И.Травкина поднимает вопрос об издательском деле: как устанавливаются тиражи, как составляются тематические планы и аннотации в планах книжных издательств страны? Иронично называя конъюнктурную сущность составления аннотаций в книжных издательствах «причудами и странностями» «стихийно возникшего жанра», Травкина переходит затем к прямому публицистическому обличительству этих «странностей». «Хвалебные аннотации, — пишет критик, — выгодны лишь авторам плохих, ремесленных книг. Они служат им как бы щитом: в

равномерном жужжании похвал им легче затеряться, «смешаться с толпой» (с.244). Наталья Ильина в статье «Литература и «массовый тираж» также выступает против конъюнктуры и произвола в издательском деле и, в частности, против огромных тиражей, которыми издаёт произведения серой литературы «Роман-газета» (например, роман А.Филёва «Солицеворот», который Ильина определяет как «превращение газетной статьи в беллетристическое произведение», был издан тиражом в два миллиона сто тысяч экземпляров; того же типа произведения — роман А.Черкасова «Хмель» с предисловием М.Шкерина — тиражом в 2 967 000 экземпляров, повесть В.Макарина «Любаша» — в 2 282 400 экземпляров).

Весь этот солидный массив литературно-критических публикаций, который можно поставить рядом со статьями В.Лакшина, свидетельствует, несомненно, о достаточно высокой репрезентативности его творчества и его идейно-эстетических позиций для новомирской критики в целом.

В. Ю.БУРТИН И РАДИКАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, «НАРОДНИЧЕСКАЯ» КРИТИКА «НОВОГО МИРА»

Новомирское творчество Ю.Буртина связано прежде всего с материалом «деревенской» прозы, поэзии, очеркистики и публицистики, с фольклором. В своих работах Буртин опирается на традиции (идеи и методологию) критики революционных демократов прошлого столетия. Это, во-первых, — идея демократии и реальное «сочувствие угнетённому и страдающему народу» — как направление и содержание критики; это, во-вторых, — публицистически-исследовательский метод «реальной критики» Добролюбова — как методологический инструмент. Пафос статей и рецензий Буртина — глубокая озабоченность социально-экономическими бедствиями и нравственной деградацией деревни. Деревенская проблематика интересует Буртина как в историческом, так и в современном ракурсе — будь то материал художественного произведения или научного исследования.

Если сравнивать «деревенские» штудии Буртина(3) с другими публикациями журнала этой темы, то по типу критики, серьёзности и глубине анализа, по важности публицистических открытий мы могли бы сопоставить его работы, пожалуй, лишь с работами **И.Виноградова**, обращёнными к той же проблематике(4), и со статьёй **И.Дедкова** «Страницы деревенской жизни» (1969, 3)(5).

Статья И.Дедкова была написана в период, когда в «деревенской» литературе всё большее место стала занимать социально-нравственная тема. Ещё в своей статье 1965 года «Деревенский дневник» Ефима Дороша» Виноградов, различая в литературе о деревне три тенденции, указал и на существование той «ограниченной, чуждающейся всего иноязычного, чуждой самому духу народа» тенденции, которая, однако, выдаёт себя «за единственно народную» (1965, 7, с.240).

И.Дедков строит свою статью на сопоставлении произведений, «подлинно воспроизводящих деревенский быт изнутри» (выбирая в качестве примеров «деревенскую» прозу В.Белова, рассказы В.Лихоносова и «Матрёнин двор» А.Солженицына), и произведений авторов, для которых характерна стилизация деревенской жизни и речи, пафосные декларации о любви к

родине — рассказ Г.Семёнова «Кукушка куковала» и повесть И.Петрова «Санечка».

«Одно дело — писать о деревне с позиции реализма, другое — с позиции идеала», — подчёркивает Дедков. Так, если в рассказе Лихопосова «Брянские», отмечает критик, и «есть пассажи, когда герой ностальгически говорит о своей тяге к деревне — месту, где он родился», то «эти лирические, патриотические монологи не превращаются» у него в своего рода религию, как это получается в упомянутом рассказе Г.Семёнова:

«...Нужно только помнить. — подчёркивал критик, — не так уж трудно заморозить себя этим чувством настолько, что оно станет своего рода религией, единственным, всё исключаящим способом восприятия и отношения к деревенской жизни» (с.233).

Стилизаторская литература, показывая далее Дедков, имеет своих теоретиков и критиков, свой журнал — «Молодая гвардия», свою философию — «философию патриотизма», что позволяет говорить о целом идейно-эстетическом направлении.

Говоря о критике «Молодой гвардии», Дедков указывал уже в те годы на её попытки зачислять в одно направление произведения Н.Петрова и В.Лихопосова, Г.Семёнова и А.Солженицына; кроме того, критик предупреждал о том, что не стоит принимать громкую фразеологию adeptов «философии патриотизма» за содержательную программу движения: «призывы «любить народ», «переживать его жизнь, болеть душой, бороться за счастье его» «кажутся нам порой слишком общими, даже бессодержательными: кто же нынче не любит народ, сознаётся ли кто в том?» (с.242).

Со статьёй И.Дедкова, написанной с тех же идейных и эстетических позиций и на том же серьёзном уровне исследования деревенской проблематики, что и работы Ю.Буртина, уместно сопоставить в данном случае статью А.Дементьева «О традициях и народности» (1969, 4), которая появилась вслед за выступлением И.Дедкова, в следующем номере «Нового мира», и в которой критик выступил против националистической тенденции публикаций «Молодой гвардии», но уже с иных — с ортодоксально-марксистских позиций.

Выступление А.Дементьева было не просто неудачным, в 1969 году оно было уже нехарактерным для критики журнала в целом. Ибо вместо того, чтобы показать, что «русская идея» для «Молодой гвардии» не более чем камуфляж, прикрывающий социально-политический конформизм журнала, Дементьев построил свою статью на теоретическом обосновании чуждости националистического направления журнала марксизму и интернационализму. Выступление это соответствовало традиции «официальных» выступлений «Нового мира». Тем не менее даже такое выступление оказалось удобным поводом для начала массовой кампании по разгрому журнала.

В письме «одинадцати» лиггераторов, опубликованном в «Огоньке» под названием «Против чего выступает «Новый мир», журнал был обвинён в идеологической крамоле, в клевете на патриотическое направление в советской литературе («Огонёк», 1969, 30, с.27).

Как сообщалось в ответе редакции «Нового мира» на это выступление, большинство авторов, поставивших подпись под этим письмом, не случайно «выбрали статью А.Дементьева поводом для аляповато состряпанных обвинений против «Нового мира» в целом и не случайно указали на то, что журнал неприемлем для них «особенно в отделе критики». Это не должно удивлять читателя. — говорилось в ответе редакции. — Дело в том, что большая часть авторов, подписавших письмо, в различное время подвергалась весьма серьёзной критике на страницах «Нового мира» за идейно-художественную певзыскательность, слабое знание жизни, дурной вкус, несамостоятельность письма» («От редакции, 1969, 7, с.286).

Отметим, что статьи и рецензии новомирских критиков на произведения авторов, подписавших письмо одиннадцати в «Огоньке», были и в самом деле весьма многочисленны и беспощадны. Так, **Г.Владимов** в статье «Деревня Огнищанка и большой мир» резко выступил против беллетризации истории, против иллюстративности и описательства, характерных для романа В.Закруткина «Сотворение мира» (1958, 11); **Ф.Светов** через десять лет после выступления Г.Владимова в рецензии под названием «Специфика иллюстративности» высмеял вторую книгу романа В.Закруткина «Сотворение мира», опубликованную в журнале «Октябрь» в 1967 году (1968, 2); как **Ю.Буртин** («О пользе серьёзности», 1965, 1), так и **Н.Ильина** («Сказки Брянского леса», 1966, 1) в своих рецензиях писали о том, что в повестях М.Алексеева «Хлеб — имя существительное» («Роман-газета», 1964 г.) и «Повесть о моих друзьях-непоседах» (журнал «Молодая гвардия», 1965 г.) безнравственность героев возводится в ранг моральной нормы; **В.Сурвилло** в статье «На путях романтики» охарактеризовал роман Н.Шушдика «Родник у берёзы» («Нева», 1959, 1—2) как «безжизненную плоскость натуралистической иллюстративности», «абстрактную псевдоромантику» (1959, 9); **Л.Шнецова** в статье «Против недоверия к романтике» (1960, 4) отозвалась об упомянутом романе Шушдика как о произведении «псевдоэпическом» и «пацуманном»; **А.Берзер** в рецензии «Когда чёрное — бело» (1965, 7) на повесть В.Чивилихина «Елки-моталки» («Молодая гвардия», 1965, 1) с возмущением писала об оправдании автором убийства человека, совершенного главным героем из любви к природе и к животным; наконец, **Г.Берёзкин** в рецензии на поэму Сергея Смирнова «Свидетельствую сам» («Москва», 1967, 10) определил её содержание как «элементарную бессмыслицу» (1968, 12).

Нетрудно понять, таким образом, что побудило Закруткина, Шушдика, Смирнова и прочих литераторов из числа «одиннадцати», когда представился удобный случай, выступить заодно против «Нового мира». Характерно, что в кампании по разгрому журнала объединились только на первый взгляд разные идейные направления — журналы ортодоксального марксизма «Октябрь» и «Огонёк», с одной стороны, и славянофильский, так сказать, журнал «Молодая гвардия» — с другой. На самом деле, если посмотреть список авторов, печатавшихся постоянно как в «Октябре» и «Огоньке», так и в «Молодой гвардии», станет очевидным, что принципиальных различий в позициях этих журналов не было (например, среди литераторов-«патриотов», известных и по сей день своим ярким антисемитизмом, в 60-е годы у В.Кочетова печатались и С.Куярев, и В.Бушин). И справедливость

нашего заключения подтверждает и тот факт, что уже к концу 60-х гг. обнаружилось единство позиций этих внешне враждующих направлений по отношению к журналу «Новый мир». Именно в эти годы «Новый мир» не только продолжал высмеивать серость публикаций обоих журналов, но и выявил конъюнктурную сущность «идейности» «Октября» и «Молодой гвардии». А в 70-е годы стало уже совершенно очевидно перерастание бывшего кочетовского движения в движение под знаменем «патриотизма» — «философии», лучше адаптированной к современным условиям своей опорой на национальное чувство (вместо обветшавшего марксизма), но по сути работающей на те же политические интересы власти — сохранение закрытого сильного имперского государства. Об этой конъюнктурной политике было открыто сказано в годы горбачевской перестройки, в частности, в одной из публикаций «ЛГ» (февраль 1990 г.):

«В ходе прошлогодних депутатских выборов выявилось до очевидности, что именно те представители партийно-государственного аппарата, которые особенно настойчиво оперировали лозунгами казарменного социализма, с неизбежностью терпели поражение. И они с поразительной быстротой и легкостью уже тогда начали отрекаться от «невыгодной» идеологической доктрины. Поскольку демократический социализм для них смерти подобен, они стали брать на вооружение лозунги националистические. /.../

В свою очередь шовинисты, потерпевшие не менее сокрушительное поражение на выборах, охотно начали клясться в верности лозунгам «реального социализма», которые совсем ещё недавно были ими же оплёваны»(6).

Говоря о критике литературы, шедшей под знаменем «патриотизма» в 60-е годы, следует упомянуть и ещё целый ряд новомирских рецензий на книги и публикации этого толка. Это рецензии **А.Синявского** и **А.Берзера** на антисемитские роман **И.Шевцова** «Тля» и повесть «На краю земли», выпущенную издательством «Молодая гвардия» тиражом в 115 тысяч экземпляров (1961, 3); это рецензия **М.Рощина** на роман **Вл.Фёдорова** «Вечный огонь», в котором литературная жизнь Москвы представлена в том же ракурсе, что и в романе Шевцова «Тля» (1966, 7); рецензия **Ю.Буртина** «Обратный эффект» на повесть **Ник. Строковского** «История одной ночи» («Октябрь», 1963, 9), в которой вульгарно трактуется назначение искусства, с особой ненавистью выражается неприязнь к молодой прозе и поэзии журнала «Юность», к культуре Запада; наконец, это рецензии **А.Берзера** на повесть **Олеся Бенюха** «Челюсти саранчи» (1969, 1) и **С.Рассадина** — на книгу стихотворений **Ашота Гарнакерьяна** «Лирическое наступление» (1964, 2). Все эти новомирские работы вместе с некоторыми другими и уже рассмотренными выше были **первыми выступлениями**, указавшими на националистическую тенденцию в советской литературе, которая оформлялась в 60-е годы вокруг журнала «Молодая гвардия» и конституирует сегодня одну из самых мощных общественно-литературных и политических партий. Эти новомирские выступления прерываются, несомненно, по своей идейной направленности и содержательной оснащенности прежде всего к той идейно-эстетической линии журнала, которая полнее всего выражалась именно критикой **Ю.Буртина** и **И.Виноградова**.

С. В. ЛАКШИН, Ю. БУРТИН, И. ВИНОГРАДОВ, А. СИНЯВСКИЙ И КРИТИКА «НОВОГО МИРА» В БОРЬБЕ С НИЗКОПРОБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И С ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ ИСТОРИИ

Изучая работы В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского, мы видели, что обращение к сатирической разоблачительной критике характерно для творчества каждого из авторов. Борьба с фальсификациями в науке, с низкопробной и конъюнктурной литературой в общей системе литературно-критических выступлений «Нового мира» занимала, как уже говорилось, по существу одно из значительных мест, и в этом смысле творчество В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского также является репрезентативным для критики журнала.

Критика фальсификаций при составлении сборников частушек советского времени, как мы помним, занимает всю первую часть статьи Ю.Буртина «О частушках». С точки зрения тематики — критики антинаучных приёмов и методов, используемых в науке, — эта работа Буртина может быть поставлена в ряд однопроблемных новомирских статей, построенных на материале истории, мемуаристики, художественно-документальной литературы.

Это, во-первых, цикл статей 1964 года о жанре мемуаров и воспоминаний: В.Катанян — «О сочинении мемуаров (Заметки на полях)» (1964, 5); В.Шкловский — «Память и время» (1964, 12). Л.Малюгин — «Сочинения с ошибками (Заметки на полях мемуаров А.Штейна)» (1964, 12), Примечания редакции (1964, 12). Все названные выступления направлены на восстановление исторической истины и реабилитацию жанра **мемуаров**. Так, Л.Малюгин в своей статье «Сочинения с ошибками (Заметки на полях мемуаров А.Штейна)» писал, в частности:

Воспоминания «стали сейчас едва ли не самым распространённым литературным жанром. Раньше мемуаристы довольствовались книгами, им редко удавалось проникнуть на страницы журналов. А если и удавалось — печатали их во второй половине номера, мелким шрифтом.

Сейчас воспоминания можно встретить в каждом толстом журнале. Они заметно потеснили беллетристику. Читатель на это вряд ли посетует. И потому, что мемуары всегда любимы читателем, и потому, что долгие годы они были почти запретным жанром. Настало время, когда можно вспомнить тех людей, которые, казалось, обречены на забвение, посмотреть на события мигнувших дней «свежими, пынешшими глазами» (1964, 12, с.206).

Что касается содержания вышеперечисленных статей, то все они были посвящены критике сочинительства в мемуарах, компиляторства, беллетризации воспоминаний и в этом смысле образуют вместе со статьёй Буртина «О частушках» единый цикл.

Так, В.Катанян, например, в своей статье рассматривал случаи беллетризации мемуаров о Маяковском. Основным материалом его статьи, как и последовавших за ней работ других авторов, стали публикации воспоминаний К.Зелинского — «Маяковский» и «На рубеже двух эпох» (воспоминания о Маяковском, Есенине и Блоке).

Борьбе с искажениями исторической правды, поддержке произведений, основанных на подлинно документальных свидетельствах, посвящены и

статьи 1964—1969 гг. о художественно-документальной литературе: А. Нинов — «Искусство невыдуманного рассказа» (1964, 3); В. Соколов — «Свой жанр (О документальной прозе С. С. Смирнова) (История создания романа «Брестская крепость»)» (1965, 6); В. Кардин — «Легенды и факты» (1966, 2); Л. Лазарев — «Это стало историей (Заметки о томе «Литературного наследства» «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»)» (1967, 6); Ю. Манн — «К спорам о художественном документе» (1968, 8); А. Гулыга — «Пути мифотворчества и пути искусства (Заметки социолога)» (1969, 5).

Одной из самых знаменитых новоирусских статей, вызвавших огромное количество недовольных критических отзывов, была статья «Легенды и факты» В. Кардина, которая, кроме того, среди вышеназванных является и наиболее близкой к критике Буртина по позициям, по характеру и по остроте.

В. Кардин рассматривал ряд случаев фальсификации истории в книгах и мемуарах о революции 17-го года и об Отечественной войне 1941—1945 гг., противопоставляя легендам, «устоявшимся в нашем сознании и созданным некогда по разному рода причинам», подлинные факты.

Говоря о том, как легенда порою теснит факты, Кардин приводил, в частности, в пример книги, статьи и кинофильмы, в которых и «по сей день мелькает привычное словосочетание «залп «Авроры». «А между тем залпа не было, — писал Кардин. — Был один-единственный холостой выстрел», и матросы «Авроры» писали об этом в своём обращении в «Правду» (27 окт. 1917 г. №170) (с.240).

Воспоминания А. Кривицкого «Не забуду forever» (Военное издательство, 1964), и в частности его свидетельства о двадцати восьми героях-панфиловцах, Кардин приводил в пример искажения событий истории Отечественной войны 1941—1945 гг.:

Кривицкий «был первым, кто написал о бое у разъезда Дубосеково. — рассказывает Кардин. — Это ему передал редактор четыре строчки из полудонесения, где не было ни имён, ни указания точного рубежа, лишь сообщение о бое: группа солдат во главе с политруком Диевым отразила атаку пятидесяти танков.

Этих четырёх строк хватило А. Кривицкому, чтобы написать передовую статью со многими деталями беспримерного боя.

Откуда они взялись, эти детали?... Да кто и мог сообщить о деталях, если в донесении указывалось: все герои погибли. Особенно примечательна одна подробность в статье. Панфиловцев, оказывается, поначалу было двадцать девять. Но нашёлся трус — предатель, поднявший руки. Его немедленно расстреляли.

Как появился этот трус, как он попал в статью? Для правдоподобия? Или по бытовавшей литературной традиции: коль беда, несчастье — ищите предателя?» (с.246).

Странен и конец этой истории, который приводит в статье Кардин.

«С тех пор миллионами годы, — пишет критик, — и выяснилось: несколько человек из двадцати восьми панфиловцев живы! Об этом упоминает и А. Кривицкий в книге «Не забуду forever». Он называет имена Шемякина, Васильева, Шадрина, сообщает, что они прислали ему свои фотографии. Но

никаких изменений в описание боя не вносит, никаких новых подробностей не приводит» (с.246—247).

Противопоставлял Кардин этим ложным и конъюнктурным свидетельствам книги, построенные на правдивом свидетельстве о войне, и в частности «Берлинские страницы» Е.Ржевской.

На эту статью, вплоть до разгрома редколлегии Твардовского, оппоненты «Нового мира» ссылались постоянно как на пример «кощунственных материалов, ставящих под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской Армии», публикуемых в отделе критики «Нового мира»(7).

Сатирическая, разоблачительная критика Ю.Буртина и А.Синявского тоже открывает за собой целое направление в критике «Нового мира». Обращённая к реакционным и, соответственно, как правило, серым, малокультурным, безграмотным, низкопробным с точки зрения художественности произведениям, эта критика, как мы уже не раз говорили, использовала приём иронии, мнимо-серьёзного отношения к автору и героям анализируемого произведения, ибо в «Новом мире», как в своё время в журнале Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки», считалось, что серьёзно разбирать идеи какого-нибудь автора с «куриным мирозерцанием» не стоит. Напомним, что строились эти рецензии, как правило, следующим образом: вначале автор рецензии передавал декларативный пласт произведения, а затем переходил к конкретному анализу поведения и речи героев; результат анализа обнаруживал разительное расхождение между декларациями идейной чистоты, высокой нравственности положительных героев и истинным содержанием их позиций.

Лучшими мастерами этого жанра рецензий, наряду с Ю.Буртиным и А.Синявским, были критики **Н.Ильина, М.Злобина, А.Берзер, Г.Владимов, Ф.Светов, С.Рассадин, М.Роцин, А.Лебедев** и др.

Среди наиболее интересных и талантливых новомирских работ, написанных в жанре литературного фельетона, можно назвать, во-первых, публикации, в которых (как и в рецензии Ю.Буртина на повесть М.Алексеева «Хлеб — имя существительное») разоблачаются и высмеиваются художественные произведения **псевдонароднической направленности**. Это рецензии: Н.Ильиной — «Сказки Брянского леса» на повесть М.Алексеева «Мои друзья-непоседы» (1966, 1), А.Кочуровича — на роман И.Мельниченко «Пока ты молод» (1961, 9), М.Злобиной — на роман Семёна Бабаевского «Белый свет» (1969, 9), А.Берзер — на роман В.Очеретина «Сирена» (1963, 1) и на повесть В.Чивилихина «Ёлки-моталки» (1965, 1) и статья И.Дедкова «Страницы деревенской жизни» (1969, 3).

Приведём хотя бы один пример такого типа выступлений — работу Н.Ильиной, построенную на материале «Повести о моих друзьях-непоседах» М.Алексеева, где она едко высмеяла «пьянство, весёлое времяпровождение» известных литераторов-патриотов — героев повести (Н.Грибачёва, поэта С.Смирнова, брянского поэта Ильи Швеца и самого автора повести — М.Алексеева), попавших «в нелегкие условия оторванности от цивилизации» (с.251), а попросту говоря — в глухую деревню для того, чтобы живописать нелегкий труд крестьянина(8).

В своём выступлении на обсуждении журнала «Новый мир» в СП СССР, в марте 1967 года, даже А.Сурков отметил справедливость критики Ильиной:

«Вот ты, Николай Матвеевич, — обратился Сурков к Грибачёву, — говорил о групповщине. Есть же эта групповщина. Написал Алексеев увлекательную в русской прозе вещь, о том, как вы в приятной компании ловили рыбу в Десне. Наталья Ильина справедливо проехала по этому поводу в фельетоне. И что же? Развернулись хляби небесные и Ильиной стали уже шить, что она была белогвардейкой»(9).

К сатирическим повомирским выступлениям, близким по тематике к отзыву Ю.Буртина на сборник литературно-критических статей Арк.Эльясевича «Герои истинные и мнимые», можно отнести, во-первых, едкую, остроумную статью Мих.Лифшица «В мире эстетики», в которой автор выступает против псевдонаучных трудов по эстетике В.Разумного (1964, 2) и которая являет собой один из блистательных образцов разоблачительной повомирской критики. По тематике и проблематике примыкают к этой группе работ, во-вторых, рецензия Н.Ильиной «Сомнительная свежесть» на книгу Дмитрия Жукова «Переводчик, историк, поэт? Слово тебе, машина!» (1966, 4); рецензии С.Рассадиной: «Что сказал бы Маяковский?...» — на книгу Александра Коваленкова «Хорошие, разные. Литературные портреты» (1966, 11), «Независимо от степени таланта» — на книгу П.Выходцева «Поэты и время» (1969, 5) и «Подводя итоги» — на книгу Николая Далады «Весенний ветер. Литературные портреты и критические статьи» (1969, 6) и др.

Можно выделить ещё одну группу публикаций, которые по тематике и по характеру выбора материала можно объединить с работами А.Синявского о поэзии А.Софронова и Е.Долматовского. Это рецензии: М.Злобиной «В мире условностей» — на повесть Н.Вирты «Наша Берта» (1959, 9), Ф.Светова — «За кулисами цирка», на повесть В.Драгунского «Сегодня и ежедневно» (1964, 10), С.Рассадина — на книгу стихов А.Гарнакерьяна «Лирическое наступление» (1964, 2) и на книгу лирики Ю.Панкратова «Светлояр» (1968, 4), З.Паперного — на роман «Потрясение» М.Кочнева (1965, 4), Г.Владимова — на роман Л.Овалова «Партийное поручение» (1960, 7) и др. Во всех этих рецензиях показано, что декларации о чистоте нравственных идеалов, прямоте идейных позиций положительных героев рассматриваемых произведений чаще всего облекаются в форму абстракций, общих фраз, выражаются стилистическими штампами(10).

Политика осмеяния и разоблачения «прикладной» (Ю.Рюриков), «ремесленной» (Ф.Светов) литературы, «охранительно-рептильной» (Ю.Буртин) журналистики «высокопарной низкопарности» (А.Берзер) лежала в русле борьбы повомирской критики за высокий культурно-художественный и профессиональный уровень литературы. В тех же целях литературно-критический отдел журнала «Новый мир» в 1966 году открыл рубрику «**Без комментариев**», которая, однако, просуществовала недолго — всего два выпуска, в четвёртом и девятом номерах за 1966 год — из-за вмешательства цензуры. В этой рубрике перепечатывались без всяких комментариев, «без возражений или пояснений» отдельные казусные случаи

безграмотности, дурного вкуса, всякого рода несурезицы, опубликованной в других изданиях (стихи, отрывки из прозы или выступлений, фрагменты из отчётов). О популярности первого выпуска рубрики свидетельствует отклик на неё читателей, которые прислали свои вырезки и подборки, вошедшие в составление второго выпуска «Без комментариев». Вот несколько примеров из подборки публикаций, перепечатанных «Новым миром» в четвёртом и девятом номерах за 1966 год:

Из книги А.Кривяцкого «Не забуду конек» (Восницдат. М. 1964, с.70—71).

«Автор был тогда молод, но уже не питал никаких иллюзий насчёт своего литературного таланта. Он понимает: судьба столкнула его с Великим, у неё не было в тот момент под рукой никого другого, и она сказала ему: «Видел, понял? Теперь пиши, да поскорее!»

Из рецензии А.Марченко «На солнечную сторону» («Литературная Россия», 10 июня 1966 года, с.19).

«Глазами дочери, жены, автора Коньков нам виден только сбоку, его взгляда мы поймать не можем, он прячется от нас. И тогда Г.Семёнов решает на видение ещё одной точки наблюдения, вводит в игру ещё одну фигуру, делает буквально ход конём. И мы видим Конькова через восприятие животного — лошади...»

Из рецензии Генриха Митина «Страсть к бегу» («Литературная Россия», 27 мая 1966 года, с.5).

«Но вот председатель Алдаюв затребовал коня себе под седло — и как раз тогда, когда сам Танабай уже отказался ездить на коне, ибо пора было коню стать самцом, — но Танабай, послушавшись то ли жены, то ли своей неуверенности, отдал коня. А ведь табуи без т а к о г о самца — уже не тот табуи! Вид развивается в направлении от самца к самцу — так утверждают современные учёные»(11).

Выпуск раздела «Без комментариев» литературно-критическим отделом «Нового мира» являлся своеобразным средством, одним из приёмов ведения полемики, восходящим по традициям к практике старых русских журналов 19-го столетия, о чём, кстати сказать, и упоминалось в предваряющем первый выпуск рубрики комментарии.

Материал новомирских литературно-критических статей и рецензий, обращённых к трудам псевдонаучного толка, а также к литературным подделкам, был рассмотрен нами с точки зрения близости этих выступлений к критике четырёх авторов, и главным образом к работам Ю.Буртина и А.Синявского. Мы не выделяли здесь каких-то направлений, тенденций, ибо в этой критике все новомирцы были достаточно едины в своих позициях. Едины и солидарны — потому, что перед ними был общий враг в лице литераторов, настроенных оппозиционно по отношению к демократическим преобразованиям общественно-политической и культурной жизни страны. В основной своей массе они представляли собой людей малокультурных и малообразованных, но тем не менее пользовавшихся большим влиянием и властью в мире советской культуры.

Д. И.ВИНОГРАДОВ И НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА В «НОВОМ МИРЕ»

Проблема духовного и гражданского самоопределения человека, нравственные и духовные искания личности, её взаимоотношения с окружающим миром — такова, как мы помним, центральная проблематика новомирской критики Виноградова. В первый период — период надежд на реализацию демократических преобразований государственной системы — Виноградов рассматривает проблему нравственности и гражданственности «положительного» героя, опираясь на наследие критиков-мыслителей революционно-демократического лагеря прошлого столетия. В эпоху, когда обнаружилась тщетность этих надежд и когда «Новый мир» занял позиции сопротивления ретроградной партийно-государственной политике, Виноградов обращается к той же проблематике, но она рассматривается уже не на уровне разработки содержательной программы активного гражданского участия в общественной жизни, а в плане поиска философии, обеспечивающей возможность нравственного самостояния человека в условиях безвременья и реакции.

Если говорить о характерности ранних работ Виноградова на фоне других новомирских выступлений, то, пожалуй, его статьи о современном герое и о «женском» романе можно сопоставить со статьёй Н.Ильиной «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести» (1963, 3) и статьёй Ф.Светова «О молодом герое» (1967, 5).

Вместе с тем как статья Н.Ильиной, так и статья Светова скорее сближаются с названными работами Виноградова лишь в плане тематического сходства. Так, например, работа Светова была обращена к нравственной проблематике поисков героев В.Аксёнова, В.Маканина, Ф.Искандера, А.Кузнецова и других писателей, но если для И.Виноградова нравственный поиск становится по-настоящему исследовательской проблемой в его статьях, то в статье Светова это лишь тема, черта сходства рассматриваемых им героев.

Угол зрения Виноградова при оценке художественных и содержательных достоинств прозы Е.Герасимова, «Деревенского дневника» Е.Дороша, повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» можно определить так: интерес писателя и его внимание к мелочам жизни, к будничности, к естественности и «нормальности» человеческого поведения в условиях мирной жизни и в условиях экстраординарных.

Тот же подход, те же акценты характерны и для Е.Стариковой в её рецензии под названием «Будничный подвиг», посвящённой анализу очерка В.Михайлова «День и вечер» (1959, 4); для И.Соловьёвой — в статье «Люди для людей» (1959, 3) и в рецензии «Федосеев и Иван Федосеевич» (1963, 6); для С.Рассадиной — в статье «Искусство быть самим собой» (1967, 7). Так, в своей статье «Люди для людей» **Инна Соловьёва** говорит о четырёх книгах из научно-популярной серии Географиздата — «Путешествие на «Коп-Тики» Тура Хейердала, «Десять лет под землёй» Норберта Кастере, «Тигр снегов» Норгея Тенцинга, «За бортом по своей воле» Алена Бомбара. Общей темой этих книг является подвиг, но подвиг для Соловьёвой, как и для Виноградова, — категория этическая. В

произведениях неореализма суть подвига — «утверждение ценности человеческой личности». «Неореализм стал, — подчёркивает Соловьёва, — свидетельством о простых людях, сохранивших в своей гуще высокую народную культуру морали» (с.189). Неореализм — есть «пересмотр парадигмы», «необходимости восстановить в действии нравственные нормы» как «элементарные нормы народной нравственности», как нормы простых понятий: «Дети есть дети, дом есть дом, любовь есть любовь, чистота — чистота...» (с.190); «героическое — в возможностях людей», «вольный подвиг» совершается «не по внешней, а по внутренней необходимости при полной свободе выбора»; «критерий общественной осмысленности» — как «первейший критерий героического» (с.191—197).

С.Рассадин в статье о К.Чуковском «Искусство быть самим собой» также постоянно акцентирует такие понятия, как «простая порядочность», замечая, что «в трудные эпохи» она может «показаться героизмом, граничащим с безумием». Героизм, в определении Рассадина, — «это и есть возможность оставаться во всех случаях самим собой; это как и стиль, умение вести себя иначе» (с.220).

Рассадин выступает за продолжение нравственной традиции передовой русской интеллигенции, которая «издавна органически противостояла злу и насилию, противостояла даже тогда, когда не могла восстать прямо, противостояла уже самим фактом своего существования, тем, что понятие интеллигентности сделала категорией морали» (с.220). Рассадин подчёркивает, что одной из насущных задач искусства является — «упрямо напоминать прописные истины, утверждать несменяемость духовных ценностей, норму чувства, преемственность морали» (с.221).

Е.Старикова в рецензии на очерк В.Михайлова «День и вечер» говорит об итальянском кинематографе неореализма как об искусстве «действенного и активного противостояния всяким видам риторики, абстрактности, формализма, помпезности, с которыми всё ещё приходится бороться и советскому искусству» (с.251). Очерк В.Михайлова «День и вечер» критик назвала одним из отечественных произведений неореализма, ибо он интересен «той небольшой, но верной и выразительной картиной жизни», которая складывается из рассказов об отдельных людях и обстоятельствах знакомства с ними автора (с.253), «художественной картиной изображаемой среды» (с.256).

Интерес к мелочам, «светлое, чуткое отношение к человеку», «неподдельная любовь к простым людям» (с.251), профессионализм в искусстве — вот достоинства, с точки зрения Стариковой, авторского подхода к теме. По замыслу и направленности статья Е.Стариковой «Герои Веры Пановой» напоминает статьи Виноградова о романе В.Некрасова «В окопах Сталинграда» и о романе Симонова «Живые и мёртвые». Личность, нормальные человеческие чувства, право народа «видеть себя в искусстве без унизительной лжи и ложного пафоса» — таковы основные аспекты, на которых останавливается критик, рассматривая ранние послевоенные произведения Пановой (с.238). Как и Виноградов в статье о романе В.Некрасова, Е.Старикова включает в свою статью материал критических откликов на произведения Пановой с целью дать отпор неоправданным

разносам и тем самым поддержать автора в современных обстоятельствах 1965 года.

Если говорить о военной тематике как материале двух статей Виноградова, то в этом же ряду можно назвать все новомирские рецензии Л.Лазарева, ещё одну публикацию Е.Стариковой под названием «Старости у них не будет» (1968, 5), статьи В.Кардина «Легенды и факты» (1966, 2) и В.Кондратовича — «Человек на войне» (1962, 6) и др. Вместе с тем названные работы можно сопоставлять со статьями Виноградова опять-таки лишь по тематическому, а не по типологическому сходству. И мы упоминаем о них именно потому, что военная тема занимала одно из центральных мест в публикациях «Нового мира».

Работы Виноградова второго периода (и прежде всего те, в центре которых стоит проблема обоснования экзистенциальных ценностей человеческой жизни, нравственно-философские искания) написаны уже, как правило, не «реальным» методом, а представляют собой тип художественно-эссеистской, философской критики (статья «Философский роман Лермонтова», рецензия на книгу и статьи Э.Соловьёва об экзистенциализме, статья «Завещание Мастера», статья о романе В.Некрасова «В окопах Сталинграда»). Эти статьи мы можем сопоставить по ряду параметров со статьями трёх других критиков «Нового мира» — М.Туровской, И.Золотусского и Э.Соловьёва.

В центре статей М.Туровской «Прозаическое и поэтическое кино» (1962, 9), «Гамлет и мы» (1964, 9), «И.о. героя — Джеймс Бонд» (1966, 9), «Преступления века и массовая цивилизация» (1968, 7), построенных на материале советского и зарубежного кино и драматургии, как и у Виноградова, всегда оказывается личность, её нравственные, духовные поиски и проблема самоопределения в обществе.

Статья Туровской — «И.о. героя — Джеймс Бонд» близка критике Виноградова с точки зрения отношения к искусству широкого потребления, — той повышенной требовательностью к художественному творчеству, которую мы наблюдали и в работах Виноградова раннего периода (о «беллетристике», о «женском» романе, в частности):

«...Низкое искусство, — пишет Туровская, — не просто «опиум для народа». Оно выражает распространённые воззрения и предрассудки в наиболее упрощённом, но зато и в наиболее обобщённом виде» (с.218).

В своей статье «Гамлет и мы» Туровская обращается к Гамлету (в исполнении И.Смоктунковского в кинопостановке Г.Козинцева), который является для неё тем же характером, тем же «лишним» человеком, тем же героем времени, что и для Виноградова лермонтовский Печорин. Туровская ставит здесь также проблему свободы человеческой личности в условиях несвободы (кинопостановка Г.Козинцева показывает, что и «в самом деле: «Дания — тюрьма»), проблему нравственного самостояния личности — личности зрелой («Гамлет в фильме — зрелый человек», «за его плечами опыт жизни»), с самосознанием и ясным пониманием окружающего мира:

«Это Гамлет, который у ж е з н а е т... (12). Он знает, где добро и где зло, и знает, что зло — хитро и изворотливо»; «он знает цену предательству, лжи, насилию, обману...» (с.228).

«Монолог «быть или не быть» перестал быть ключом к Гамлету, в котором на первый план выдвинулись совсем другие мотивы и черты»: Гамлет Козинцева «знает, что убийство Клавдия ничего не решит и мало что изменит» (с.229).

Гамлет Смоктуновского (как и Печорин) — натура неординарная, «вы всё время ощущаете скрытую вибрацию духовной жизни, высоту интеллекта», пишет Туровская. Однако «среди пошлости и подлости «Дании — тюрьмы» духовность — вещь ненужная и опасная:

«Опасное превосходство — духовности над практицизмом, иронии над хитростью, сложности над односложностью, индивидуальности над банальностью — то и дело ставит его на грань катастрофы, обеспечивая победу разве что в перспективе будущего...»(с.230).

Наконец, как и Виноградов, Туровская прямо указывает на «связь времён»:

«...Духовный, интеллектуальный процесс, приведённый в движение этой исходной фабульной неопределённостью/.../ вобрал в себя шекспировскую мысль о трагическом кризисе гуманистического идеала на переломе двух эпох», — пишет Туровская. И далее обобщает: «...Но и всякая другая переломная эпоха может вложить и вкладывает свой смысл и содержание в этот духовный процесс» (с.230).

По своей экзистенциально-философской проблематике приближается к рецензии Виноградова на книгу Э.Соловьёва об экзистенциализме и к его статье «Философский роман Лермонтова» отзыв другого новомирского критика — Л.Левицкого на книгу А.Лебедева «Чаадаев» («Он в Риме был бы Брут...», 1966, 6). Левицкий так же, как Виноградов и Туровская, подробно рассматривает проблему выбора нравственной позиции в условиях эпохи безвременья:

А.Лебедев, как пишет Левицкий, «очень верно говорит о существовании чаадаевской проповеди, состоящей в том, что в эпоху безвременья, когда у мыслящего человека отнята возможность влиять на исторический процесс, у него не остаётся ничего другого, как обратить свой взор на самого себя».

«В такую пору, — пишет автор, — каждый ищет свою дорогу — так именно человечество в подобные моменты нащупывает новый путь, выходящий в конце концов его из очередного тупика. Отсюда и неукротимое стремление Чаадаева идти с о с е й, единственной дорогой, отстаивать с в о й образ жизни как самое драгоценное в этой жизни, утверждать своё «я», ибо у людей в этом случае нет больше никаких резонов это «я» приносить в жертву» (с.255)(13).

Статья М.Туровской «Преступления века» и «массовая цивилизация» (1968) является серьёзным, многоаспектным, глубоким исследованием сложных взаимоотношений между искусством и реальной жизнью человека. Туровская использует огромный материал всевозможных источников: художественную литературу, кино, статистические сведения, социологические исследования, труды по криминалистике и пр. Характерно с точки зрения мировоззренческого ориентира критика (и в этом смысле близости мирозерцания Туровской и Виноградова в эту эпоху) и постоянное обращение к творчеству Достоевского, цитирование его

высказываний, которые часто ставятся эпиграфами к главам, и в частности такое:

«...Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет...Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду» (Достоевский)(с.240—241).

И.Золотусский в статье «Добавление к эпосу (Толстой в романе и Толстой в фильме)» (1968, 8) также ставит в центр своей работы задачу исследования нравственно-философской проблематики романа, противопоставляя те сложные поиски духа, поиски смысла жизни, «мггарства разума», которые прошли герои Толстого вместе с автором, ложному эпосу и поверхностной интерпретации сюжета в фильме С.Бондарчука:

«В фильме Бог присутствует как антураж: иконы в комнате княжны Марьи, соборование старого Безухова, образок на шее князя Андрея» (с.278); «С.Бондарчук убирает Бога и это второе «там» Пьера», но «без этого Бога, без перехода к следующей истине — «Бог — это жизнь» — нельзя понять души Пьера и князя Андрея, движения души романа» (с.279), пишет Золотусский.

Роман Толстого для Золотусского — это «искание высшего» смысла, «морального оправдания физического бытия» (с.270); Толстой для критика — «дорога, движение, течение жизни, преодоление ею себя. Он та «тайная, нелогичная», происходящая в его героях «внутренняя работа», которая движет «Войну и мир». В фильме же эта работа отсутствует.

В статье Золотусского мы находим знакомые нам по работам Виноградова второго периода (в частности, по статье о романе В.Некрасова) ситуации, мотивы и темы. Так, Золотусский рассматривает ситуацию Отечественной войны 1812 года как ситуацию пограничную в человеческой жизни, выявляющую подлинные ценности человеческой жизни, и связывает с этим фундаментальные изменения в мирозерцании главных героев Толстого:

«Война, — пишет Золотусский, — это вовсе не величественно. «Это отталкивающе страшно, глупо, нелепо...».

Война «изображается Толстым к а к ж и з н ь, и в этой жизни Толстой видит л ю д е й, которым он сострадает» (с.274).

«Не великие исторические события, не идеи, претендующие на руководство ими, не сами руководители-наполеоны, а ч е л о в е к, соответствующий «всем сторонам жизни», находится в основании всего. Им меряются и идеи, и события, и история» (с.281—282)(14).

Наконец, близким к виноградовскому типу критики, к его мировоззренческим исканиям в эпоху второй половины 60-х гг. является творчество Эриха Соловьёва, и в частности его большая статья «Цвет трагедии» (1968, 9), построенная на материале романов Э.Хемингуэя. Не случаен в этом смысле и рассмотренный нами отклик Виноградова на книгу и статью Соловьёва об экзистенциализме.

Э.Соловьёв анализирует произведения Хемингуэя, написанные в период между двумя мировыми войнами, под углом зрения: «тма человека,

отстаивающего своё достоинство в условиях, которые, казалось бы, полностью исключают его» (с.207). «Самый важный смысловой слой хемингуэвского творчества», в определении Э.Соловьёва, — «глубоко продуманная постановка проблемы личной ответственности и нравственной стойкости человека» (с.206).

«...Война не просто кровавое происшествие, но закономерное кризисное обнаружение существующего общества», это и «катарсис», пишет Э.Соловьёв (с.215). И далее:

«В этих условиях огромное значение приобрела работа исторического напоминания: выявление и разъяснение жестоких уроков войны»(15).

Одно из первых мест в ряду западных художников и публицистов, посвятивших себя этой работе, как раз и принадлежало Э.Хемингуэю, попытавшемуся раскрыть двоякую правду войны: разоблачительную правду о существующем обществе и обнадеживающую правду о самом человеке»(с.208).

Эти первые строки статьи Э.Соловьёва о творчестве Хемингуэя, безусловно, имеют более обобщённый смысл. Не случайно поэтому критик обращается к аналогичным ситуациям, описанным и в русской классике, — к роману Толстого «Война и мир»: «Одна мысль за всё это время была в голове Пьера... Кто же это наконец казнил, убивал, лишал жизни... И Пьер чувствовал, что это был никто. Это был порядок, склад обстоятельств»:

«Представление об обществе, неожиданно и внезапно возникшее в голове Пьера, когда он увидел, как мнимые законопослушатели, сами немало того не желая, расстреливают мнимых поджигателей, находилось в непримиримом противоречии с тем, что понимал под обществом господствовавший в буржуазной философии девятнадцатого и начала двадцатого столетия моральный идеализм. Его представители попытались изобразить общество как своего рода моральное существо («духовное единство», «культурное единство»), которому человек может спокойно довериться.

Непосредственные переживания хемингуэвского героя противоречили этой благодушной идеологии в ещё большей степени, чем мимолётное впечатление Пьера. Они скрывали под собой невысказанное, но цельное, философски значимое суждение: общество, каким оно вообще известно из прошедшей истории, не даёт оснований относиться к нему с доверием; общество же, которое допустило мировую войну и выдаёт участие в массовом убийстве за «гражданский долг каждого», делает позицию доверия безумной и преступной». Эти настроения «в корне подрывали моральное сознание» (с.209).

Статья Соловьёва, безусловно, говорила современникам многое и о них самих — и о прошедшей войне 1941—1945 гг., и об атмосфере, в которой они жили в конце 60-х гг. Когда критик приводит слова героя романа Хемингуэя «Прондай, оружие!» Генри Фредерика: «Меня всегда приводят в смущение слова «священный, славный, жертва» и выражение «совершилось», — мы понимаем их актуальность для советского человека конца 60-х гг., и особенно для тех, кто прошёл испытание войной. «Абстрактные слова, такие, как «слава, подвиг, доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами домов, названиями рек, номерами полков и датами», — цитирует Соловьёв

строки из романа, передавая тем самым и своё мироощущение, своё отношение к «барabanной риторике» советской газетной пропаганды.

«Высокие понятия, не имеющие за собой реальности, достойной доверия и уважения, — пишет критик, — опасны не просто потому, что они есть семантическая бессмыслица, а потому, что всегда находятся фанатические почитатели, которые служат им делом, или фарисеи, готовые выдать себя за таких почитателей, когда это выгодно» (с.209).

В ситуации, когда мораль проповедают «официально поощряемые и прекрасно устроившиеся в жизни преступники, **б ы т ь м о р а л ь н ы м о з н а ч а л о б ы т ь б е з и р а в с т в е н н ы м**» (с.210)(16); «**избежать соблазна этой удобной и выгодной морали есть долг человека и первейшее условие сохранения своего достоинства**» (с.211).

Какие же пути открываются человеку в этой ситуации?

Как и Виноградов, Соловьёв отстаивает путь «стоического мужества неучастия». «Именно это сознание, — пишет критик, — и стало для Хемингуэя универсальной мерой жизненной правды. Описывая любое явление, он как бы снова и снова спрашивает себя, что бы оно значило и как выглядело на взгляд человека из окопов» (с.213).

«Обычно считается, что подходящая для трагедии обстановка — это ночь, темнота, пугающая таинственность и призрачность. На самом деле темнота есть прибежище убийства, предательства, трусости и путаницы, а таинственность — дешёвый интерьер мелодрамы. Трагедия совершается открыто, при ясном свете дня. **Ц в е т т р а г е д и и — б е л ы й**» (с.225)(17).

«Цвет трагедии — белый» — такова основная мысль Соловьёва, которая обнимает не только затрагиваемую им проблематику романов Хемингуэя, но и выводы из раздумий критика о прожитой советским народом эпохе после войны 1941—1945 гг.

«**Т р а г и ч е с к и й о п т и м и з м**» — такую самооценку критика и его положительная нравственно-гражданская программа поведения на ближайшие годы(18).

Е. А.СИНЯВСКИЙ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В КРИТИКЕ «НОВОГО МИРА»

Новомирскую критику Синявского с точки зрения подхода к анализу произведения искусства и критериев ценности поэзии можно определить как критику демократическую по общественному содержанию, как эстетическое и культурное просветительство.

В отношении позиций, художественных ориентиров, подхода к художественному тексту и способов его анализа наиболее близким А.Синявскому автором среди новомирских критиков является, пожалуй, Л.Левицкий, в работах которого мы встречаем темы и мотивы, характерные для новомирской критики Синявского. Так, например, в отклике на книгу стихотворений Рыленкова — «О постоянстве и широте кругозора» (1959, 7), Левицкий реабилитирует лирический пейзаж как род поэзии, «долгое время бывший у нас не в почёте» (с.255), настаивает на

аспекте эстетического наслаждения, которое должно доставлять чтение стихов (с.256).

В рецензии на книгу стихотворений В.Шаламова («Судьба не ремесло...», 1964, 8) Левицкий поднимает вопрос о связи художественного и содержательного в поэзии. «Метафора в искусстве, — пишет критик, — не внешнее украшение, а художественно воплощённая мысль. Когда же поэт, скажем, сравнивает свою работу с плажкой руды и отливкой стали, то это — не мысль, а имитация мысли. Подобные сравнения стали общим местом...» (с.263).

Анализируя стихотворения К.Вапшенкина в рецензии «Стихи хорошие и стихи случайные» (1965, 9), Л.Левицкий выдвигает критерий целостности поэтического мира, которому, однако, по замечанию критика, не отвечают последние стихотворения поэта. Те же недостатки критик наблюдает и в послевоенной лирике Рыленкова.

Левицкому, как и Синявскому, важен характер осмысления поэтом действительности. Так, в рецензии на книгу Рыленкова Левицкий, отмечая достоверность его стихотворений военного времени, подлинность переживаний поэта, ставит вопрос: как же «откликнулся поэт на жизнь своих современников»?

«Вглядываясь в лирического героя, в строй его послевоенных мыслей и чувств, — пишет Левицкий, — невольно испытываешь неудовлетворённость. Он по-прежнему тонко воспринимает природу, чисты и постоянны его чувства. Но он словно не замечает того, чем живут его земляки. Сложные, порой мучительные вопросы, которые волновали деревню в первые послевоенные годы, не получают отклика в мыслях и чувствах лирического героя...» (с.258).

В рецензии на книгу портретов, воспоминаний и очерков К.Паустовского «Наедине с осенью» (1969, 4) Левицкий затрагивает вопрос о гражданском облике писателя. Важным для него является последовательность жизненных позиций Паустовского, которая нашла отражение в его статьях, написанных в конце 50-х и начале 60-х годов на злобу дня, но почему-то, по словам критика, не вошедших в сборник. Так, например, Левицкий приводит строки из статьи «Несколько отрывочных мыслей» Паустовского, которые имели важное гражданское звучание. Комментируя одно из высказываний Паустовского, Левицкий проводит знакомый нам по статьям Синявского критерий подлинности духовной позиции литератора: «Как бы хороши сами по себе ни были мысли, высказанные автором, они становятся ещё убедительнее, когда подкрепляются личным его поведением» («настоящая поэзия утверждает себя и жизнью») (с.249).

Как и Синявский, Левицкий выдвигает в своих работах требование глубины мысли. «Однообразие мысли, — пишет критик в отклике на книгу Рыленкова, — приводит к тому, что общие места порой вытесняют живые поэтические наблюдения».

В работе «От сердца к сердцу» (1966, 1), посвящённой анализу творчества О.Берггольц, мы находим близость подхода Левицкого, его суждений и общих оценок к критике поэзии и прозы Берггольц у Синявского: те же достоинства, те же слабости («патетика и высокий строй речи» «иногда оборачиваются риторической декламацией»; «поиски крупного

плана, ёмких и обобщённых образов-символов порой приводят к абстрактности стиля, и тогда конкретные переживания становятся алгебраическими знаками» и т.д.) (с.243).

Близость идейно-эстетических платформ ощутима, наконец, и в отклике Левицкого на книгу лирики Новеллы Матвеевой («Душа действительности», 1967, 6). Здесь воедино собраны все те критерии подлинности поэзии, которые выдвигает Сиянский в статьях, посвящённых разбору творчества молодых поэтов: «содержательность», важность собственного открытия поэтом материала, важность иметь «свой» материал, выражать «свои» впечатления (с.255), критерий «правдивости шепетильности и духовности» и пр. (с.257).

Если говорить о работах Сиянского, посвящённых творчеству Пастернака и Ахматовой, то по направленности, по тематике в одном ряду с ними можно назвать рецензию **М.Чудаковой** на книгу избранных произведений в двух томах Михаила Зощенко (книга выпущена «после долгого перерыва, когда издания писателя были редкими и слишком неполными») (1969, 3); статью **А.Гладкова** «В прекрасном и яростном мире (О рассказах А.Платонова)» («Не пришло ли время выпустить одиозник А.Платонова...?») (1963, 11); статью **А.Твардовского** «О Бунине» (в современном литературоведении существует ещё непозволительное «мстительное чувство» к подлинным произведениям искусства, «к их авторам, некогда отвернувшимся» от революции) (1965, 7); статью **П.Антокольского** «Книга Марины Цветаевой» («Наконец-то она у себя дома. И для Марины Цветаевой, и для Анны Ахматовой наступила история») (1966, 4); уже упомянутую рецензию **Л.Левицкого** «Судьба не ремесло...» на книгу стихотворений «Шелест листьев» Варлама Шаламова (писателя, «арестованного по клеветническому доносу в 1937 году и проведенного долгое время в лагере и ссылке») (1964, 8); ещё одну работу Левицкого — «Треть вска работы» (1966, 10), где, отмечая «удачные вступительные статьи к публикациям последних лет», Левицкий упоминает и вышедший в серии «Библиотеки поэта» сборник стихотворений Б.Пастернака, автором вступительной статьи к которому был Сиянский, в это время находившийся в лагере; Левицкий настойчиво выражает здесь и пожелания опубликовать в ближайшее время поэзию Хлебникова и Мандельштама («Когда... будет напечатан том стихов О.Мандельштама, — пишет критик, — станет очевидным, насколько неправы те, кто, следуя предрассудкам, а не фактам, зачисляет этого значительного поэта по ведомству декаданса») (1966, 10); наконец, в числе работ, написанных во имя реабилитации подлинного искусства, следует назвать и рецензию **А.Берзер** «Возвращение мастера» на книгу избранной прозы М.Булгакова (1967, 9).

Если рассматривать новмирекие работы Сиянского с точки зрения мастерства художественного анализа, того особого внимания, которое он уделяет культурному, эстетическому, художественному аспектам, то его критику можно сопоставить (не считая уже названного Л.Левицкого) также с работами З.Паперного(19), И.Соловьёвой, М.Чудаковой и А.Чудакова, Г.Владимова, С.Рассадина.

В критике **И.Соловьёвой**, например, особое место уделяется вопросам художественного единства, архитектонике рассматриваемого произведения. Главная мысль её статьи «Начало пути» (1959, 9), посвящённой анализу сборника рассказов молодого писателя Юрия Казакова «На полустанке», — структура чтения текста. Для Соловьёвой также важен характер усвоения традиций молодыми писателями. И если Синявский в статьях о поэзии молодых говорил чаще всего о поверхностном усвоении поэтической культуры, то Соловьёва отмечает в творчестве Казакова «чрезмерную стилистическую близость» к учителям, которая, как отмечает критик, тоже недостаток, ибо ведёт «подчас» к «растворению» без остатка Казакова в Чехове или Буине, и в результате «рушится личная интонация» (с.256). Тот же принцип анализа мы наблюдаем и в статье И.Соловьёвой «Проблемы и проза (Заметки о творчестве Владимира Тендрякова)» (1962, 7); особым вниманием к художественному воплощению, к стилю писателя характеризуется и подход Соловьёвой к анализу повести А.Гладилина «Вечная командировка» в статье «Материал и приём» (1963, 4).

Наконец, с новомирскими работами Синявского, обращёнными к поэзии молодого авангарда, по выбору материала, по позициям, по критериям подхода можно сравнить работы И.Соловьёвой, А.Берзер, М.Чудаковой и А.Чудакова, Е.Стариковой и уже названную статью С.Рассадина «Искусство быть самим собой» (1967, 7), в которой критик вместе со своим героем выступает, в частности, и в защиту «злосчастного» «Звёздного билета» В.Аксёнова:

« — Уж лучше м у р а и п о т р я с н о , ч е м т и п и ч н ы й п р е д с т а в и т е л ь , п о к а з и н а л и ч и е », приводит критик слова Чуковского в защиту жаргонизмов, часто используемых в модернистской прозе Аксёнова (с.210)(20).

«Обыватель вообще стремится к «обезличке». Так ему спокойнее и безопаснее. Поэтому незаурядная, яркая личность невольно вызывает в нём раздражение уже тем, что не укладывается в рамки привычных представлений...» (с.211).

Е.Старикова в своей рецензии на книгу рассказов и повестей Майи Ганиной «Я ищу тебя, человек...» («Портреты и размышления», 1964, 3) также приветствует поиск молодой писательницы «найти другой язык»: «Человек учится говорить на другом языке. Кто осмелится сказать, что не надо этого делать...?» (с.236, 239). Вместе с тем Старикова, как и Синявский, отмечает, что результаты поиска новых средств, нового языка молодыми авторами часто не оправдывают себя с точки зрения содержания: «Мода нашей молодой прозы на «разлохмаченную», сумбуриую лирику, которая захватила и Ганину, есть литературное выражение отсутствия самостоятельных идей и мыслей и одновременно остро ощутимой потребности в этой мысли» (с.241).

Анализу прозы молодых писателей-авангардистов посвящены и статья И.Соловьёвой «Материал и приём» (о повести А.Гладилина «Вечная командировка») (1963, 4), и рецензия **А.Берзер** на вторую книгу А.Кузнецова — одного из авторов «той своеобразной современной юношеской повести, которая была открыта журналом «Юность» и на его страницах развивалась в повестях В.Московкина, А.Гладилина, В.Аксёнова

и др.» (1960, 11). «Стремление по-новому писать», замечала Берзер, есть общее свойство молодой повести журнала «Юность», «и это вполне понятно, легко объясняется и возрастом авторов, и содержанием их произведений». Доброжелательно относясь к формальному поиску молодых прозаиков, Берзер, однако, опять-таки, как и Синявский, выдвигала требование содержательной глубины (с.256).

Ф.Светов свою статью «О молодом герое» (1967, 5) строит также на материале «молодой прозы» писателей, пришедших в литературу в конце 50-х — начала 60-х гг., и главным образом писателей так называемого модернистского направления — Гладилина, Аксёнова, А.Кузнецова, Ф.Искандера и др.

Наконец, в своих статьях «Искусство целого (Заметки о современном рассказе)» (1963, 2) и «Современная повесть и юмор» (1967, 7) **М.Чудакова** и **А.Чудаков** также обращаются к «молодой прозе» журнала «Юность». В первой работе авторы рассматривают, в частности, это литературное явление («молодой прозы») со стороны его художественного языка, ибо, по их словам, оно отличалось в первую очередь некоторыми новыми, резко обозначившимися чертами своей поэтики» (с.222)(21).

Знакомство с работами новомирскиз критиков, построенными на материале прозы молодых писателей так называемого модернистского направления в литературе 50—60 гг., тоже позволяет, таким образом, констатировать несомненную характерность выступлений Синявского, посвящённых разбору поэзии той же тенденции, для новомирской критики: общая доброжелательность, поощрение поиска новых художественных средств, обращения к иным традициям русского искусства, с одной стороны, и критика недостаточной глубины содержания произведений молодых авторов — с другой.

* * *

Мы сопоставили в этой главе творчество В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского с работами других авторов журнала, пытаясь при этом различать две линии сопоставления: линию тематической, проблемной или жанровой близости и линию схождения позиций, мировоззрения, типа критики. И обе эти линии сопоставления полностью оправдывают, как нам кажется, наш выбор: творчество В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского действительно, как мы могли убедиться, показательно для критики «Нового мира» — как с точки зрения тематики и проблематики их работ, с точки зрения жанров и типов критики, так и с точки зрения тех мировоззренческих позиций, которые выражал каждый из них в своих статьях и рецензиях и которые у некоторых из этих авторов претерпели определённую эволюцию.

Творчество В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского охватило, в сущности, весь круг основных тем, которые были характерны для критики «Нового мира»: «деревенская» и «городская» проза, «новая» проза о войне; вопросы традиций, мастерства в художественном творчестве и в литературно-критическом искусстве; исследование молодой прозы и поэзии; тема реабилитации репрессированных или несправедливо замолченных деятелей искусства в годы сталинизма; борьба с литературной

поделкой, с конъюнктурой в литературе и в искусстве, с различными формами фальсификаций в исторической науке, в филологии, в жанре мемуаров; полемика с журналами реакционных направлений.

С мировоззренческой точки зрения творчество четырёх авторов тоже в высшей степени характерно для критики журнала, хотя, как мы видели, их репрезентативность в этом отношении и не равноценна, не одинакова. Так, в отношении творчества В.Лакшина мы отмечали близость идейно-эстетической платформы его выступлений позициям критики А.Дементьева, А.Кондратовича и А.Марьямова, которые так же, как и Лакшин, выражали «официальную» линию «Нового мира». Вместе с тем те общедемократические, общереалистические принципы, которые отстаивал В.Лакшин в своих работах (критерий правды в искусстве и борьба с догматизмом; идея демократии, отождествляемая с социализмом «с человеческим лицом»); усвоение и трактовка литературно-критических традиций прошлого, истории России в рамках материалистической марксистско-ленинской концепции; нравственно-этическая и эстетическая система ценностей, связанная с понятием социалистического гуманизма), были настолько характерны для «Нового мира», что, пожалуй, его творчество в этом смысле является наиболее репрезентативным для критики журнала в целом.

Что касается более углублённого обществоведческого анализа, более радикальной критики социалистического строя, что, как мы видели, было характерным отличием работ Ю.Буртина и И.Виноградова второго периода, то тут репрезентативность сужается. В сущности, можно назвать лишь несколько фамилий критиков, которые «замахивались» в своих статьях на саму основу этого строя, анализировали общественные явления с позиций критики Буртина, Виноградова и Дедкова.

Что касается линии сатирической, разоблачительной критики в творчестве четырёх авторов, то можно отметить, что их работы в этом в этом отношении опять имеют достаточно широкую репрезентативность, объясняемую единством позиций писателей, критиков и публицистов журнала «Новый мир» по отношению к общему врагу — литературе антидемократической настроенности, литературе конъюнктурной и, как правило, низкопробной в художественном отношении.

Нравственно-философская проблематика как основное направление творчества И.Виноградова не столь показательна для новоявской критики в целом, тем не менее она также характерна для ряда литературно-критических выступлений — например, И.Золотусского, Э.Соловьёва, М.Туровской.

За критикой А.Синявского открывается достаточно широкий круг авторов (целая группа «эстетических континентов»), которых объединяет симпатия к литературе молодого авангарда 50—60-х гг. (например, С.Рассадин, А.Берзер, М.Чудакова и А.Чудаков), вкус к художественному анализу и внимание к эстетической стороне искусства (Л.Левицкий, И.Соловьёва, З.Паперный и др.). Работы такого типа, как мы видели, были тоже характерны для критики «Нового мира», что свидетельствует о широте эстетической платформы журнала А.Твардовского.

Исследуя новомирское творчество В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского, мы пытались представить эти фигуры и с точки зрения последующего мировоззренческого развития и самоопределения, духовной эволюции, которую прошёл каждый из них в посленовомирский период. Напомним об этом ещё раз.

Изучение материала литературно-критических работ В.Лакшина, его книг мемуарного и литературоведческого характера, написанных и опубликованных в 70—80-е гг., показывает, что атеистическое марксистское мировоззрение критика не претерпело со времён его деятельности в «Новом мире» никаких принципиальных изменений.

Путь Ю.Буртина и И.Виноградова в этом смысле обозначен постепенным отходом — уже во второй период их новомирской деятельности от марксизма. В дальнейшем, как мы помним, Ю.Буртин, оставаясь на позиции материалистического объяснения мира, отказывается от идеи социализма, которая показала для него свою несостоятельность применительно к социально-политическому и экономическому общественному устройству. И.Виноградов, в свою очередь, отстраняется в 70-е гг. и от атеистического восприятия мира и находит свою истину в христианской вере, в той философии жизни и той, вытекающей из этой философии общественной активности, которая была истиной и позицией русских религиозных философов начала нашего столетия.

Новомирское творчество А.Синявского оборвалось в связи с его арестом осенью 1965 года. Дальнейший жизненный и творческий путь критика связан с лагерем и эмиграцией, где он основал журнал демократической платформы «Синтаксис», с писательством А.Терца, с профессорской и литературно-критической деятельностью А.Синявского.

Таким образом, жизненные духовные и творческие пути В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова и А.Синявского были, как видим, достаточно индивидуальны. Но и они тоже характеризуют собой, по существу, те русла, по которым развивалась русская общественная мысль со времён хрущёвской «оттепели» и существования журнала А.Твардовского, через брежневский «застойный» период, вплоть до новой кризисной эпохи в жизни советского государства — горбачевской «перестройки». Иными словами, и эти четыре пути «посленовомирской» духовной эволюции героев нашего исследования, эти четыре тенденции мировоззренческого и творческого самоопределения достаточно показательно и репрезентативны для судеб русской интеллигенции в период 70—90-х гг., что позволяет нам закончить наше наблюдение за литературной критикой «Нового мира» следующим — и весьма важным, с нашей точки зрения, — выводом.

«Новый мир» А.Твардовского 50—60-х гг. явился тем легальным органом советской печати, который впервые за историю реального социализма взял на себя задачу быть выразителем настроений широких масс населения страны, их чаяний и надежд на демократическое переустройство жизни, и выполнял эту роль до последних дней своего существования. В борьбе с брежневской администрацией и литературной номенклатурой судьбу журнала разделяли его авторы и читатели, и то начало, которое положил журнал в освободительном движении в 50—60-е гг., не осталось без последствий, несмотря на «заморозки» последующих пятнадцати лет.

Русская демократическая общественная мысль продолжала своё развитие в подполье, в советских лагерях, в эмиграции и давала о себе знать соотечественникам через посредство самиздата и «тамиздата». И эта работа, в конечном итоге, дала свои результаты уже в годы горбачёвской «перестройки», которая явилась во многом плодом именно этой, пробудившейся в 50-е гг. и прошедшей и через физические мытарства, и через мытарства разума и духа в 60—80-е гг., общественной мысли.

Новомирская литературная критика, в сущности, формировала общественный и литературный процесс 60-х гг. в России, и спустя двадцать лет, в эпоху нового оживления общественно-политической и культурной жизни, в эпоху новых надежд на демократизацию жизни, мы не случайно постоянно встречались в советской периодике с именами В.Лакшина, Ю.Буртина, И.Виноградова, И.Дедкова, И.Золотусского, Н.Ильиной, Г.Лисичкина, С.Рассадына, Ю.Карякина, В.Кардина и многих других бывших критиков журнала А.Твардовского. Все эти факторы позволяют нам рассматривать литературную критику «Нового мира» как один из важнейших, главных духовных источников тех идей, умонастроений, поисков и устремлений, которые определяют собою наиболее существенные и перспективные тенденции сегодняшней духовной и культурной жизни России.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОБЩИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНЫЙ ПОРТРЕТ КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» А.Т.ТВАРДОВСКОГО 50—60-х гг

Малый Путинковский переулок по размерам и форме походит скорее на небольшой дворик, который образуют два невысоких здания. То, которое плотно примыкает своей задней стеной к громадине кинотеатра «Россия», и есть здание редакции журнала «Новый мир» с 1964 года. Когда-то на месте кинотеатра находился Страстной монастырь, а в доме, где расположилась редакция журнала, были кельи.

Малый Путинковский, дом №1/2 — точный адрес редакции.

На первом этаже, при входе направо была большая комната, где размещался отдел прозы с бессменным старшим редактором А.С.Берзер. Здесь обычно толпились авторы и друзья журнала по делу и без дела: узнать, что нового, что будет печататься в ближайшие месяцы, кто-то закусывал, выпивал...

По коридору налево — отдел критики и кабинет члена редколлегии, заведующего отделом.

1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА КРИТИКИ

За двенадцать лет работы редакции журнала под руководством Твардовского отдел критики, в плане административном, пережил три эпохи.

Вначале, с июля 1958 года по 1961 год, отдел вел Александр Дементьев. Член редколлегии и первый заместитель главного редактора, А.Дементьев наряду с Игорем Сацем и Борисом Заксом представлял в редакции старшее поколение сотрудников, которые составили ядро ещё первого журнала Твардовского (1950—1954 гг.). Свою деятельность в журнале А.Дементьев все годы совмещал с сотрудничеством в Институте мировой литературы.

С 1962 года во главе отдела становится молодой критик В.Лакшин, пришедший сюда по приглашению Твардовского из «Литературной газеты». Лакшин выступал со статьями и рецензиями на страницах «Нового мира» Твардовского с первых номеров.

В конце 1966 года, когда в результате грубого административного вмешательства литературных чиновников в дела журнала были сняты со своих постов первый заместитель главного редактора А.Дементьев и ответственный секретарь редакции Б.Закс и Твардовский был вынужден реорганизовать редколлегию журнала, Лакшин становится фактически первым заместителем главного редактора (формально он на эту должность не был утверждён секретариатом СП). Вакантное место заведующего отделом критики занимает молодой критик, на два курса старше В.Лакшина по университету, Игорь Виноградов, прежде возглавлявший отдел прозы.

И.Виноградов также активно печатался в «Новом мире» с 1958 года и оставался заведующим отделом критики до последних дней существования журнала Твардовского.

Кроме заведующего в отделе критики все эти годы неизменно работали два сотрудника — редакторы К.Озерова и Г.Койранская.

Состав редколлегии и старших редакторов отделов журнала А.Т.Твардовского

С 1959-го по 1961 год:

Члены редколлегии — А.Г.Дементьев, с 1961 года — А.И.Кондратович, Е.Н.Герасимов, С.Н.Голубов, Б.Г.Закс, А.М.Марьямов (внештатные — В.В.Овечкин и К.А.Федин).

Старшие редактора — А.С.Берзер, И.П.Борисова (проза); К.Н.Озерова, Г.П.Койранская (критика); Л.И.Лерер, И.Б.Брайнин (публицистика); С.Г.Караганова (поэзия); И.П.Архангельская (иностранный отдел).

К 1962-у и по 1966 год:

Заместители главного редактора — А.Г.Дементьев, А.И.Кондратович.

Ответственный секретарь редакции — Б.Г.Закс.

Действительные члены редколлегии — Е.Н.Герасимов, а с 1966 года — И.Виноградов (проза), В.Я.Лакшин (критика), А.М.Марьямов (публицистика), с 1966 г. — И.А.Сац.

«Нерабочие», почётные члены редколлегии — В.В.Овечкин, К.А.Федин и с 1966 г. А.А.Кулешов, Р.Г.Гамзатов.

Старшие редакторы — А.С.Берзер, И.П.Борисова (проза), К.Н.Озерова, Г.П.Койранская (критика), Л.И.Лерер, И.Б.Брайнин (публицистика), С.Г.Караганова (поэзия), И.П.Архангельская (иностранный отдел).

С 1967-го по январь 1970 год:

Заместители главного редактора — А.И.Кондратович, В.Я.Лакшин (неофициально).

Ответственный секретарь редакции — М.Н.Хитров.

Действительные члены редколлегии — И.И.Виноградов (критика), Е.Я.Дорош (проза), А.М.Марьямов (публицистика), И.А.Сац.

«Нерабочие», почётные члены редколлегии — К.А.Федин, А.А.Кулешов, Р.Г.Гамзатов, В.В.Овечкин (только 1967г.), Ч.Айтматов.

Старшие редакторы — А.С.Берзер, И.П.Борисова (проза), К.Н.Озерова, Г.П.Койранская (критика), Л.И.Лерер, Ю.Г.Буртин (публицистика), С.Г.Караганова (поэзия).

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОТДЕЛУ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

«Нужно /.../ отметить, что практически организация журнального материала первой, художественной, половины менее зависит от усилий редакции, чем второй, публицистической, где куда свободнее применяются и план, и заказ, и совет, и подсказка, и прямая редакционная помощь автору» (А.Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с.5).

Как распределялась каждодневная работа среди сотрудников отдела? Каковы были объём и характер работы? Кто заказывал материалы авторам? Кто редактировал статьи?

Эту и подобную ей информацию, касающуюся внутриредакционной жизни «Нового мира», автор настоящей работы получил в ходе бесед с бывшими сотрудниками и авторами журнала Твардовского.

По свидетельству И.Виноградова, отдел критики чаще всего сам заказывал своим авторам статьи и в особенности рецензии. За литературный раздел рубрики «Книжное обозрение» отвечала старший редактор отдела критики Калерия Озерова. В её компетенцию входило определить круг книг для рецензирования, заказать статьи или рецензии для публикации в журнале, оценка, редактирование каждой готовой работы, а также составление актива пишущих критиков. Иными словами, подготовка материалов для рубрики «Книжное обозрение», а также более миниатюрной — «Коротко о книгах», которой ведала редактор Галина Койранская, сводилась к регулярному контролю за современным литературным процессом, за литературными новинками, выходившими в других журналах или в издательствах.

Член редколлегии, ответственный за отдел критики занимался главным образом определением и формированием общей тенденции критико-библиографического отдела, то есть выбирал те статьи, темы и сюжеты выступлений, которые более всего отвечали общему направлению журнала, и, кроме того, как и старший редактор, непосредственно вёл статьи. В функции заведующего входила обязательная задача просмотреть весь материал, идущий через отдел и предназначенный для публикации.

Постоянный автор «Нового мира» прозаик Елена Ржевская в беседе с автором настоящей работы обратила внимание на огромный объём работы, который лежал на плечах редакторов отдела критики — Г.Койранской и К.Озеровой. По её словам, в несобъятном потоке появляющихся новинок не было книги, заслуживавшей порицания или поддержки, которая не была бы отмечена отделом. Работа редакторов была очень трудоёмкой и сложной особенно в последние годы существования журнала Твардовского, когда, по выражению И.Виноградова, редакция журнала работала буквально на измор, готовя материал в двойном размере ввиду того, что цензура постоянно, из каждого номера, готового для печати, снимала какие-то материалы, и надо было иметь им замену.

Весь материал, предназначенный для публикации, проходил через несколько инстанций.

Заведующий отделом подписывал текущий материал, затем с этой подписью материал шёл в главную редакцию — к одному из заместителей главного редактора, который, в свою очередь, визировал его, после чего, в зависимости от обстоятельств, те или иные тексты передавались Твардовскому. Но даже если Твардовский не просматривал их до вёрстки, то всё равно в вёрстке, по словам И.Виноградова, он их читал. А перед сдачей в набор обязательно первый или второй заместитель главного редактора и ответственный секретарь редакции читали весь материал, предназначенный для номера.

Вёрстка готова — она рассылается всем членам редколлегии для второй корректуры, после чего идёт в наджурнальную цензурную инстанцию — Главлит. Лакшин в интервью автору настоящей работы уточнил: Главлит получал и первую корректуру, но только для предварительной читки — никаких замечаний по первой корректуре Главлит не делал. Иногда, в каких-то исключительных случаях, материал проходил через обсуждение и в таких инстанциях, как СП СССР и ЦК партии (например, в случае публикации «Одного дня Ивана Денисовича» А.Солженицына). Но Главлит являлся основной и всегдашней непосредственной цензурной инстанцией как для «Нового мира», так и для других литературных журналов, к каждому из которых был прикреплен свой цензор- куратор журнала (см. более подробно о взаимоотношениях журнала с Главлитом материалы Приложения П).

3. СВЯЗЬ С ОТДЕЛОМ ПУБЛИЦИСТИКИ И С ИНОСТРАННЫМ ОТДЕЛОМ

Редакция «опирается» «на помощь привлекаемых к сотрудничеству в журнале людей науки, обладающих литературными данными, с одной стороны, и литераторов с серьёзной научной осведомлённостью — с другой.

Разнообразная и сложная современная международная и внутренняя проблематика — широкое поле для наших публицистов в различных формах: от статьи-обозрения до критико-библиографической заметки». (Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с.5).

Отдел критики тесно сотрудничал с отделом публицистики. Они делили между собой рубрику «Книжное обозрение», и нередко литературные критики выступали с рецензиями в разделе «Политика и наука», иногда — наоборот. Укажем в качестве примера на работы В.Лакшина — «Против догмы и фразы» (1965 г.), И.Виноградова — «Экзистенциализм перед судом истории» (1968 г.) и рецензии Ю.Буртина на книги по экономике и социологии — «Война и хлеб» (1969 г.) и «О социологических исследованиях» (1964г.), которые были опубликованы в разные годы в разделе «Политика и наука» «Книжного обозрения». Из литературных критиков журнала в этом разделе печатались иногда Ф.Светов, И.Травкина,

Д.Лазарев, Н.Ильина, А.Турков, М.Лифшиц, З.Паперный, А.Лебедев, А.Марьямов и др.

Ю.Буртин, литературный критик по преимуществу, с 1967 года становится старшим редактором отдела публицистики (членом редколлегии, заведующим отделом был А.Марьямов (с 1958 г.), старшими редакторами — Л.Лерер (с 1958 г.), И.Брайнин (до Буртина). Рубрики отдела публицистики: «Публицистика»; раздел «Политика и наука» рубрики «Книжное обозрение»; «Коротко о книгах» (совместно с отделом критики).

По свидетельству И.Виноградова, Ю.Буртин фактически возглавил тогда отдел публицистики, определял его направление, готовил все основные публикации. Именно в этот период, когда Буртин вёл публицистику, а Виноградов — критику, работа этих двух отделов была особенно тесно переплетена. Будучи «абсолютными единомышленниками», рассказывает И.Виноградов, «мы с Буртиным работали бок о бок: вместе согласовывали важнейшие вопросы и составляли, таким образом, маленькую группу внутри журнала». Когда какой-нибудь материал отдела публицистики наталкивался на препятствия цензурного порядка, Виноградов как член редколлегии пытался всегда его «проташить».

Заметим, впрочем, что тесная взаимосвязь в работе отдела публицистики и отдела литературной критики была отнюдь не случайной в те годы. Это сказывалось и в самом жанре новоявленной литературно-критической статьи, которую отличала не узкопрофессиональная замкнутость на материал «своей» области, а всегда публицистический пафос обращённости к читателю. Статья публицистическая, восходящая по своей методологии к традициям «реальной критики» Добролюбова, как уже не раз отмечалось, была одним из доминирующих жанров критических выступлений в «Новом мире».

Преобладание публицистического начала в критической литературе наблюдалось в 60-е годы 19-го века, после ряда экономических и политических реформ: земской, судебной, военной, университетской, а также реформы печати и об отмене крепостного права. То же — в эпоху после 20-го съезда партии и реформаторской деятельности Н.Хрущёва. Точно такую же ситуацию активного вторжения публицистики в критику мы наблюдаем и в литературном процессе времён гогбачёвской «перестройки»: «ситуация эта закономерна, — высказался по этому поводу Л.Аннинский в одной из дискуссий в «ЛГ» о критике, — ибо когда рядом заговорили впрямую о том, о чём двадцать, тридцать лет не то что сказать — думать не отваживались, что тут делать критике с её переживаниями «художественных миров» и прочих реальностей второй и третьей степени? Присоединиться? Ну, она это и делает»(1).

Говоря в беседе с автором настоящей работы о публицистичности критики 60-х гг., Ю.Буртин выделил два типа — «официальную» и «неофициальную»:

«...После Белинского наша критика разделилась на два рукава — эстетическую и публицистическую. Добролюбов внёс резкую публицистическую струю./.../

В советской критике с 30-х годов, я думаю, никакой эстетической критики как таковой не существовало и не существует до сих пор. Это, — подчёркивает

Ю.Буртин, — с одной стороны, её не существует, и в этом смысле можно сказать, что вся критика является публицистической — только публицистичность разная: официальная и неофициальная.

С другой стороны, публицистический элемент в критике, например, 70-х годов настолько вообще ослаб, что чуть ли не единственным реальным содержанием остались как раз эстетические её элементы.

В эпоху же «Нового мира» водораздел был именно такой: между критикой официальной или ещё более чем официальной — октябристской, и неофициальной. Различие их было в том, что в них выражались различные идейные тенденции. И ещё была разница в том, что поскольку новомирская критика требовала правды от искусства, а не следования легенде о действительности, которая предлагалась, то это одновременно и естественно превращалось в требование художественности. И, таким образом, эта публицистическая критика несла на себе и большую эстетическую нагрузку и была более, так сказать, эстетически высокой.*

Следует сказать несколько слов о литературно-критических статьях и рецензиях на произведения зарубежной литературы, печатавшихся в рубриках «Книжное обозрение», «Литературная критика», а также в специальной рубрике «Отклики и комментарии».

В своей статье «По случаю юбилея» А.Твардовский представил в главных линиях политику журнала в отношении к иностранной литературе:

«...Освещение зарубежной жизни на страницах журнала не ограничивается печатанием переводов художественных произведений, к тому же недостаточным и носящим иногда случайный характер. Наша критика и библиография более регулярно уделяют внимание новинкам иностранной литературы, печатают и статьи либо обзоры по общим проблемам, далеко выходящим за круг явлений художественной литературы.

Мы стремимся дать по возможности широкое представление читателю об идейно-политических и научных исканиях и спорах в западном мире»(2).

«Зарубежным отделом» в «Новом мире» заведовала Л.Лерер. По свидетельству постоянного автора-американиста, ныне покойной Раисы Орловой, в «Журнальном обозрении» можно было напечатать обзор или статью, составленные по не переведённым и не изданным в СССР материалам. Р.Орлова в беседе с автором настоящей работы приводила в пример свои обзоры американских литературных ежемесячников, а также статью «После смерти Хемингуэя» 1961 года, которая, по её словам, вся была построена на журнальных статьях, не опубликованных в СССР.*

Лев Копелев — также автор иностранного отдела — в беседе с автором настоящей работы рассказывал о том, что в выборе литературы для рецензии ограничений не было, хотя не все его работы «проходили» (например, статья о Маргарет Митчелл).*

Надо сказать, что освещению иностранной литературной жизни отводилось на страницах «Нового мира» довольно солидное место, однако по уровню свободы мысли, пониманию и оценке литературного процесса Запада литературная критика этой тематики, если говорить в целом, на наш взгляд, была гораздо ниже той, которая занималась внутренними проблемами, и в особенности в первый период истории журнала. В этом сказались длительная изоляция советской культуры, наложившая отпечаток на весь строй понимания культуры иного мировоззренческого типа, эстетики и

ценностей. Добавим сюда период «холодной войны» начала 60-х гг., и нам станет понятной причина публикации в «Новом мире» некоторых статей, проникнутых пафосом отмежевания, — как например, две полемические статьи Александра Дементьева — «Две позиции» (1961,12) и «На провинциальном уровне» (1962,11), — или ряда правоверных статей в период развёртывания диссидентского движения, — как, например, статья Т.Мотылёвой «Глазами друзей и врагов» (1966,11). Чаще всего одни названия подобных статей уже выдавали внутривполитический мотив их публикации в журнале.

В последние годы деятельности журнала, и главным образом с 1967 года, в условиях ожесточения цензурного гнёта, иностранный материал наряду с материалом историческим часто составляет тот «нейтральный» фон новомирских статей и рецензий, на котором, по существу, ведётся разговор о современности, о внутренних проблемах (см., например, статью Симона Маркиша «Античность и современность» (1968, 4)).

Юрий Манн в статье «К спорам о художественном документе», построенной главным образом на материале зарубежной литературы и обращённой к проблеме выяснения социально-психологических причин гитлеризма и ужасов фашизма, ставит вопросы, которые не могли не быть созвучными проблемам выяснения истоков сталинизма: «Как всё это могли делать люди? Каким образом соучастниками преступлений стали миллионы?». «Выгода», «страх», «вера»...?» (1968, 6).

Та же параллель — Гитлер—Сталин: «Каким образом такое ничтожество, как Гитлер, смогло очутиться во главе сильнейшего в Западной Европе государства?», — намечается и в статье доктора философских наук А.Гульги «Пути мифотворчества и пути искусства», где автор исследует феномен «тоталитарного мифа» (1969, 5).

Характерны с точки зрения выбора иностранного материала для разговора, в сущности, о внутренних проблемах и работы И.Виноградова — об экзистенциализме, Э.Соловьёва — о романах Э.Хемингуэя, новомирские статьи М.Туровской, построенные преимущественно на зарубежном материале.

4. ЖАНРЫ, ТИПЫ И СТИЛЕВЫЕ ФОРМЫ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ. РУБРИКИ КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

Ведущим жанром новомирских литературно-критических выступлений была «большая», «проблемная» статья, объёмом от 0,5 до 2—3 авторских листов. Статьи печатались в рубрике «Литературная критика». Рецензии объёмом 0,3—0,5 авторского листа печатались в разделе «Литература и искусство» «Книжного обозрения». И совсем небольшой по объёму — максимум в три четверти машинописной страницы, вследствие чего её прозвали в стенах редакции «коротышкой», — была «маленькая рецензия», печатавшаяся в рубрике «Коротко о книгах».

Индивидуальность автора в большей мере выявляется в жанре большой статьи, где у критика имеется широкое поле не только для постановки

конкретной проблемы, но и для самовыражения. Для Виноградова вообще активное участие в критическом отделе связано с критерием «крупная статья». Рецензии «Книжного обозрения» в силу ограничения их объёма, задаваемого журналом, требовали от критика строгого следования материалу анализа, но как раз именно в жанре «рецензии» ощущается наибольшая близость критиков к исходной, официальной новомирской позиции, с которой осуществлялся подход к анализу и оценке произведений литературы.

Однако при более детальном рассмотрении обеих рубрик в следующей главке мы увидим, что не все статьи «Литературной критики» были проблемными и не все рецензии «Книжного обозрения» — строгосюжетными.

Ведущим жанром критической статьи, как уже говорилось, была статья публицистическая, исследовательская. Публицистичность сказывалась даже не столько в смысле адекватности используемого новомирского метода анализа художественного произведения методологии Белинского или Добролюбова — даже в статьях литературоведческого характера она обнаруживала себя и стилистически (использование приёмов аллюзии, параллели, эзопова языка), и общей направленностью, пафосом выступлений. Так, например, в собственно литературоведческой работе А.Аникста «О «системе» Шекспира» (1964, 4), разговор о Шекспире строится на совершенно очевидном диалоге с современностью. Какие качества необходимы художнику-реалисту? — ставит вопрос А.Аникст в одном месте своей статьи и отвечает словами Пушкина: «Философия..., государственные мысли историка, догадливость, живость воображения. Никакого предрассудка, любимой мысли. С в о б о д а» (с.236).

В новомирской критике можно выделить и два основных стиливых типа: статья обличительная, полемическая с элементом сатиры, пародии — литературный фельетон и статья аналитическая, исследовательская. Аналитическая исследовательская статья была обращена к тем произведениям литературы, которые отличались своим познавательным и актуальным содержанием, на материале которых критик пытался высказать какие-то близкие ему мысли о действительности, открыть или сказать о ней те вещи, о которых в открыто публицистической форме, из-за цензурных условий, говорить было невозможно. Сатирический жанр эстетической критической статьи или рецензии был обращён, по выражению И.Виноградова, ко всякого рода макулатуре, халтуре в литературе.

Если говорить о типах новомирских литературно-критических выступлений в целом, то здесь можно выделить: проблемную статью, статью-рецензию, отзыв, монографию, литературоведческое исследование, обзор, полемический ответ, реплику, теоретическую статью, построенную на материале литературоведения, философии, эстетики, искусствоведения и пр., эссе, программную статью, литературный фельетон.

А. РУБРИКА «ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА»

Всего авторских статей, напечатанных под рубрикой «Литературная критика» за время, как говорили в журнале, «сидения» Твардовского — с июля 1958 г. по январь 1970 г., — 225.

В шести номерах за 1958 г. — 11; в 1959-м — 29; в 1960-м — 28; в 1961-м — 24; в 1962-м — 16; в 1963-м — 19; в 1964-м — 21; в 1965-м — 14; в 1966-м — 16; в 1967-м — 20; в 1968-м — 11; в 1969-м — 15; в первом номере за 1970-й — 1. В среднем в год в разделе «Литературная критика» печаталось около 19 работ.

а) Материал исследования в статьях 1958—1969 гг.

Раскадровка по тематическим единицам даётся в процентах и по понижению.

Материал исследования	%
1. Современная отечественная проза	28,8
2. Зарубежная литература	10,7
3. Литература периода 1900—1930 гг.	7,9
4. Литература 19-го века	7,4
5. Современная отечественная поэзия	7,1
6. Литературная критика	6
7. Мемуарная и документальная литература	4,7
8. Теоретические работы (литературоведение, философия, теория литературы)	3,3
9. Современные журналы и история журналистики	3,3
10. Эстетика	2,8
11. Искусствоведение	2,8
12. Драматургия	2,3
13. Очерк	2,3
14. Литература 16—17-х веков	1,9
15. Художественный перевод	1,4
16. Язык, стиль художественных произведений	0,9
17. Издательская работа	0,9
18. Литературное мастерство	0,9
19. Архивные материалы	0,9
20. Современный литературный процесс	0,9
21. Литература 18-го века	0,9
22. Литература периода 1940—нач. 50-х гг.	0,5
23. Античная литература	0,5
24. Социология	0,5
25. Фольклор	0,5

Новомирская критика, как видим, занималась в первую очередь анализом и проблемами современной прозы. Статьи, построенные на современном материале, составляют приблизительно 28,8% от общего числа публикаций. Большое место занимал обзор и анализ зарубежной литературы — 10,7%. Вместе с тем, как уже объяснялось выше, следует учитывать, что в

особенности во второй период истории журнала, в силу ужесточения цензуры. очень многие критики выбирают материалом своих статей зарубежную литературу как удобный фон для разговора о внутренних проблемах. На третьем месте стоит материал начала 20-го века. Речь идёт об обращении к наследию основоположников советской литературы — М.Горького, А.Луначарского, об исследованиях творчества советских классиков — М.Шолохова, В.Маяковского, М.Исаковского, К.Чуковского, С.Маршака и др., а также о творчестве ранее замолченных, реабилитированных после 20-го съезда писателей — А.Платонова, М.Цветаевой, А.Ахматовой, М.Булгакова, И.Бунина и др. Кроме того, целый ряд очерков творчества советских писателей старшего поколения был опубликован к пятидесятилетию советской власти.

Литература 19-го века — это, главным образом, обращение к традициям реалистической школы критики 19-го века, её основоположникам — Белинскому, Чернышевскому, Добролюбову, а также к творчеству художников-реалистов — Л.Толстого, Ф.Достоевского, А.Чехова, А.Островского.

Современная поэзия занимала лишь пятое место, к тому же лишь благодаря цепи статей 1961 года, которые были посвящены обсуждению вопросов развития лирической поэзии и, в частности, так называемой теории «самовыражения».

Наконец, приоритетным материалом исследования являлись труды или публикации по литературной критике, мемуарно-документальный жанр, теоретические работы (марксистская эстетика и философия), искусствоведение (сюда следует добавить статьи, напечатанные в рубрике «В мире искусства»), драматургия и очерк.

Если проследить эволюцию материала исследования из года в год, то мемуарный и документальный материал начинает занимать значительное место в статьях новомирских критиков где-то с 1964 года; анализ современной отечественной поэзии преобладает в статьях 1959—1961 гг.; исследование современного литературного процесса и издательской практики лежит в основе проблематики статей 1965—1969 гг.; литературная критика как предмет исследования — 1958—1962 гг.; архивные материалы — 1963—1964 гг.

в) Деление статей на тематические группы

1) Литературная критика и журналистика

Статьи о современной литературной критике, о критике эпохи 40—50-х годов.

Исследование современного литературного процесса:

— В.Лакшин, Литературное и человеческое, 1958, 10

— А.Турков, Заметки о критике, 1961, 4

— В.Лакшин, Иван Денисович, его друзья и недруги, 1964, 1

— А.Твардовский, По случаю юбилея (К 40-летию журнала «Новый мир»), 1965,

1

— В.Лакшин, Писатель, читатель, критик. Статья первая — 1965, 4. Статья вторая — 1966, 8

- И.Виноградов, На краю земли, 1968, 3
- И.Крамов, В поисках сущности (О литературно-критическом наследии А.Платонова), 1969, 8

Обзоры современных журналов и издательской деятельности:

- И.Андреева, «Молодой журнал» («Юность» за 1958 год), 1959, 5
- О.Михайлов, Трибуна братских литератур («Дружба народов», январь-сентябрь 1959 г.), 1959, 11
- А.Дементьев, О традициях и народности (Литературные заметки) (О журнале «Молодая гвардия»), 1969, 4
- И.Травкина, Реклама и книга, или «Всем сёстрам по серьгам» (Об аннотациях в книжных издательствах), 1967, 2
- Наталья Ильина, Литература и «массовый тираж» (О некоторых выпусках «Роман-газеты»), 1969, 1

2) Традиции

Статьи о критиках-реалистах 19-го века и история журналистики:

- Б.Рюриков, Н.Г.Чернышевский как личность и характер, 1960, 6
- А.Лебедев, Чернышевский или Антонович? (К проблеме революционно-демократических традиций в критике), 1962, 3
- Ю.Манн, Поэзия критической мысли (О новаторстве метода Белинского и современной критике), 1961, 5
- А.Лебедев, Судьба великого наследия, 1967, 12
- Ю.Манн, Базаров и другие, 1968, 10
- А.Володин, Раскольников и Каракозов (К творческой истории статьи Д.Писарева «Борьба за жизнь»), 1969, 11
- В.Жданов, Из заметок о Добролюбове (К 100-летию со дня смерти), 1961, 12
- А.Дементьев, Н.Дикушина, Пройденный путь (К 40-летию журнала «Новый мир»), 1965, 1
- В.Лакшин, Пути журнальные (Заметки о книгах по истории журналистики), 1967, 8

Статьи в «Новом мире» о литературе 19-го века:

- С.Машинский, «Дело о вольнодумстве» и творчество Гоголя (К 150-летию со дня рождения Н.В.Гоголя), 1959, 3
- Г.Ленюбль, У истоков «Полтавы» (О поэме Пушкина), 1959, 10
- В.Лакшин, Чехов и Лев Толстой (К 100-летию со дня рождения А.П.Чехова), 1960, 1
- Н.Модзелевская, Рыцари вечного разлада (К 100-летию со дня рождения А.П.Чехова) (Письмо из Варшавы), 1960, 1
- А.Анастасьев, Реплика критику (К 100-летию со дня рождения А.П.Чехова), 1960, 1
- Б.Мейлах, Уход и смерть Льва Толстого, 1960, 10, 11
- Р.Люксембург, О литературе и искусстве (Глеб Успенский. Из переписки). Публикация, примечания и переводы М.Кораллова, 1961, 4
- Н.Гудий, Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира»?., 1963, 4
- Е.Тарле, Пушкин как историк, 1963, 9
- З.Паперный, Смех Чехова, 1964, 7
- И.Виноградов, Философский роман Лермонтова, 1964, 10
- Ю.Манн, Базаров и другие, 1967, 10
- М.Злобина, Заметки о драматургии Сухово-Кобылина, 1967, 9

Статьи в «Новом мире» о литературе и журналистике начала и первой половины 20-го века:

- Н.Трифонов, А.В.Луначарский в борьбе за развитие советской литературы (К двадцатипятилетию со дня смерти), 1958, 12
- С.Штут, «Двенадцать» А.Блока, 1959, 1
- А.Берзер, Революцией мобилизованный (О творчестве А.Гайдара), 1959, 8
- В.Смирнова, Как была написана «Военная тайна», 1961, 2
- А.Дементьев, В.И.Ленин и литературная журналистика, 1963, 5
- И.Сац, О взглядах А.В.Луначарского на изобразительное искусство, 1963, 6
- Александр Гладков, В прекрасном и яростном мире (О рассказах А.Платонова), 1963, 11
- Ю.Юзовский, Горький и его собеседники (По страницам переписки Горького с советскими писателями), 1963, 12
- А.Дементьев, Горький и книга (По неопубликованным материалам), 1964, 5
- В.Каверин, Юрий Тынянов (К 70-летию со дня рождения), 1964, 10
- А.Дементьев, Горький и советская журналистика (По неопубликованным материалам), 1964, 11
- А.Дементьев, Н.Дикушина, Пройденный путь (К 40-летию журнала «Новый мир»), 1965, 1
- А.Твардовский, По случаю юбилея (К 40-летию журнала «Новый мир»), 1965, 1
- А.Твардовский, О Булгаке, 1965, 7
- Александр Гладков, Виктор Кин и его время, 1965, 11
- Павел Антокольский, Книга Марины Цветаевой, 1966, 4
- А.Дементьев, На первом съезде писателей, 1966, 10
- А.Дементьев, И.Сац, А.В.Луначарский и советская литература, 1966, 12
- Николай Чуковский, Что я помню о Блоке, 1967, 2
- Ник.Смирнов, В.С.Новиков-Прибой среди друзей, 1967, 3
- Е.Полякова, За землю, за волно... (Книги Александра Неверова), 1967, 4
- И.Крамов, Александр Мальшкин (От «Падения Дaira» к «Людям из залустья»), 1967, 11
- Наша анкета (Полвека советской литературы), 1967, 11
- В.Лакшин, Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита», 1968, 6
- В.Кардиц, Служитель совестного суда (О творчестве Л.Сейфуллиной), 1968, 11
- В.Кардиц, Простые вещи (Заметки о прозе Бориса Лавренёва), 1969, 7
- Е.Краснощёкова, Под чистыми звёздами правды и человечности... (О творчестве Ивана Катаева), 1969, 11

3) Очерки творчества современных советских писателей и поэтов старшего поколения

- Вера Смирнова, О детях и для детей (О книге «Республика Шкид» Алексея Пантелсева и Григория Бельх), 1958, 8
- Б.Сарнов, «Весёлое званье поэта...» (К 70-летию со дня рождения Н.Н.Асеева), 1959, 6
- А.Македонов, Красота простоты (Ещё раз об Исаковском), 1960, 1
- Наш Шолохов (К выходу второй книги «Полной целищи»). 1960, 5:
- И.Дзержинский, В музыке
- А.Иванов, На экране
- Ж.Катала, Роман-трагедия и роман-поэма

- А.Сиявский, Поэзия и проза Ольги Берггольц, 1960, 5
- Виктор Некрасов, Некубильное признание (К 70-летию со дня рождения И.С.Соколова-Микитова), 1962, 5

- М.Кузнецов, Судьбы героизма (О семи романах К.Федина), 1962, 10
- В.Лакиши, Доверие (О повестях Павла Нилина), 1962, 11
- Ф.Бирюков, «Железный поток» и его комментаторы (К 100-летию со дня рождения А.С.Серафимовича), 1963, 1
- В.Сурвилло, Ответственность таланта (О романе Д.Гранина «Иду на грозу»), 1963, 3
- З.Паперный, Романтика человечности (К 60-летию со дня рождения М.А.Светлова), 1963, 6
- Е.Старикова, Герои Веры Паловой, 1965, 3
- Ф.Бирюков, Снова о Мелехове (К 60-летию М.Шолохова), 1965, 5
- Л.Левин, Четыре жизни (К 70-летию со дня рождения П.Г.Антокольского), 1966, 6
- Л.Лебедев, Неразделимые контрасты (О маленьких повестях Ч.Айтматова), 1966, 9
- Ст.Рассадин, Искусство быть самим собой (О творчестве К.Чуковского), 1967, 7
- А.Твардовский, Поэзия Михаила Исаковского, 1967, 8
- Е.Володин, Целеустремленность поисков (О творчестве В.Каверина), 1967, 9
- А.Твардовский, О поэзии Маршака, 1968, 2
- В.Жирмунский, академик, О творчестве Анны Ахматовой (К 80-летию со дня рождения), 1969, 6
- В.Сурвилло, Звенит труба Менцера (О творчестве С.П.Зальгина), 1969, 6

4) Статьи, посвященные разбору произведений молодых писателей (в поддержку)

- Дм.Нагишкин, Свет побеждает тьму (О романе Ал.Иванова «Повитель»), 1959, 5
- Ф.Светов, Трудные поиски (О сборнике рассказов Николая Воронова «Ожидание», 1959, 9
- Ирина Соловьёва, Начало пути (О сборнике рассказов Юрия Казакова «На полустанке»), 1959, 9
- Е.Полякова, После первой книги (О творчестве молодых писателей), 1963, 4
- Н.Атаров, Корни таланта (О прозе Фазыля Искандера), 1969, 1

5) Исследование «деревенской прозы»

- И.Виноградов, Оптимистическая трагедия Родки Гуляева» (О повести В.Тендрякова «Чудотворная»), 1958, 9
- А.Турков, Действительная летопись (О книге А.Н.Энгельгардта «Из деревни. 12 писем (1872—1887)», «Деревенском дневнике» Е.Дороша и «Владимирских проселках» В.Солоухина), 1958, 10
- Ю.Буртин, Быть хозяином! (Очерки журнала «Наш современник»), 1961, 7
- И.Соловьёва, Проблемы и проза (Заметки о творчестве Владимира Тендрякова), 1962, 7
- И.Виноградов, Деревенские очерки Валентина Овечкина (К 60-летию со дня рождения), 1964, 6
- И.Виноградов, По страницам «Деревенского дневника» Ефима Дороша, 1965, 7
- О.Чайковская, Природа и время (Заметки о пейзаже в современной литературе), 1965, 10
- В.Лакиши, Три меры времени (Выдвижение на Ленинскую премию «Деревенского дневника» Е.Дороша), 1966, 3
- Ю.Буртин, О частушках, 1968, 1

- И.Дедков, Страницы деревенской жизни (Полемиические заметки), 1969, 3
- В.Сурвиллю, Звонит труба Менцерыкова (О творчестве С.П.Залыгина), 1969, 6

6) Военная тема в прозе

- И.Виноградов, Во имя живых (О романе К.Симонова «Живые и мёртвые»), 1960, 6
- А.Кондратович, Человек на войне (Заметки критика), 1962, 6
- Л.Лазарев, Военные романы К.Симонова, 1964, 8
- В.Соколов, Свой жанр (О документальной прозе С.С.Смирнова)(Книга о Брестской крепости), 1965, 6
- Л.Лазарев, Это стало историей (Заметки о томе «Литературного наследия» «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»), 1967, 6
- И.Виноградов, На краю земли («В окопах Сталинграда» В.Некрасова), 1968, 3

7) Отдельные аспекты изучения современной литературы

Современный герой:

- В.Лакшин, Возмужение героя (Д.Гранин, «После свадьбы»), 1958, 12
- И.Виноградов, О современном герое, 1961, 9
- Е.Старикова, Герои Веры Пацовой, 1965, 3
- Ф.Светов, О молодом герое (О прозе писателей, пришедших в литературу в конце 50—нач.60-х гг.), 1967, 5

Язык и стиль:

- Б.Подольский, Щедрость гения (Заметки о языке И.П.Павлова), 1959, 2
- Ю.Манин, Художественная условность и время (Заметки о современном стиле), 1963, 1
- А.Цейтлин, Заметки о стиле Ленина-публициста, 1967, 1
- Г.Трефилова, О стиле Паустовского, 1967, 4
- Ф.Бирюков, Над страницами «Тихого Дона» (Заметки о стиле), 1967, 7

Юмор, смех:

- З.Паперный, Смех Чехова, 1964, 7
- М.Чудакова, А.Чудаков, Современная повесть и юмор, 1967, 7

Пейзаж:

- О.Чайковская, Природа и время (Заметки о пейзаже в современной литературе), 1965, 10

8) Национальные литературы

- З.Османова, Путь Абая (О романе казахского писателя М.Ауэзова), 1959, 6
- К.Алексеев, В семье единой (К семидесятилетию П.Г.Тычины), 1961, 2
- В.Гоффеншефер, Народ предстал перед своей судьбой (О романе кабардинского писателя Алима Кешокова «Чудесное мгновение»), 1961, 11
- П.Арутюнов, Саят-Нова. К 250-летию со дня рождения, 1963, 10
- Г.Берёзкин, Беседа впадает в океан (К 50-летию белорусского писателя Аркадия Кулешова), 1964, 2
- Анар, Большое время — понимать (Об анекдотах и журнале Моллы Насретдина, автором которых был азербайджанский писатель Джалил Мамедкулизаде), 1967, 5
- В.Огнев, Мерами — вблизи и вдали (О творчестве грузинского поэта Николая Бараташвили; к 150-летию поэта), 1968, 9
- В.Огнев, Поэзия Ираклия Абашидзе (К 60-летию поэта), 1969, 10

—И.Борисова, Вступление (О творчестве Виктора Астафьева), 1970, 1

9) Статьи о мастерстве в литературном деле, включая художественный перевод

—В.Лакшин, Глазами писателей, 1959, 8

—Ю.Манин, Поэзия критической мысли (К 150-летию со дня рождения В.Г.Белинского), 1961, 5

—Н.Любимов, Перевод — искусство, 1962, 5

—Корней Чуковский, Маршак (Об искусстве перевода), 1962, 11

—С.Маршак, Молодым поэтам, 1965, 9

10) Искусствоведение: театр, кино, телевидение

—И.Рачук, Александр Довженко — писатель (Заметки), 1960, 10

—М.Туровская, «Баллада о солдате», 1961, 2

—М.Туровская, Прозаическое и поэтическое кино сегодня, 1962, 9

—М.Туровская, Мифология технической эры (Телевидение, кино на Западе), 1962, 12

—М.Туровская, И.о. героя — Джеймс Бонд, 1966, 9

—М.Туровская, «Преступления века» и «массовая цивилизация», 1968, 7

11) Драматургия

—В.Боборыкин, Три пьесы о Ленине (О пьесах Н.Погодина), 1959, 4

—И.Соловьёва, Герои и темы Виктора Розова, 1960, 8

—К.Рудницкий, Движение сквозь годы (О пьесах Н.Погодина), 1960, 12

—А.Штейн, Перечитывая старую пьесу (К 75-летию со дня смерти А.Н.Островского) («Лес»), 1961, 6

—М.Злобина, Заметки о драматургии Сухова-Кобылина (К 150-летию со дня рождения), 1967, 9

—В.Лакшин, Посев и жатва (Трилогия о революции в театре «Современник»), 1968, 9

—В.Лакшин, «Мудрец» Островского — в истории и на сцене, 1969, 12

12) Лирика

Обсуждение вопросов развития лирической поэзии:

—А.Меньшутин, А.Синявский, День русской поэзии, 1959, 2

—А.Меньшутин, А.Синявский, За поэтическую активность (Заметки о поэзии молодых), 1961, 1

—Н.Коржавин, В защиту бабальных истин, 1961, 1

—Б.Платонов, По поводу «самовыражения» — печатается в дискуссионном порядке, 1961, 6

—А.Меньшутин, А.Синявский, Давайте говорить профессионально, 1961, 8

—Б.Рутин, Логика спора и логика искусства, 1961, 8

—От редакции, 1961, 8

13) Вопросы жанров в современной прозе

Роман:

—В.Сурицелю, На путях романтики (Роман В.Очеретина «Саламандра»), 1959, 4

—В.Сурвилло, На путях романтики (Роман Н.Шуницка «Родник у берёзы»), 1959,

—М.Кузнецов, О путях развития современного романа, 1960, 2.

—А.Берзер, Общественный вкус к изящному, 1960, 3

—С.Бабёньшева, Солдаты идут на поверку, 1960, 4

—Л.Швецова, Против недоверия к романтике, 1960, 4

—В.Сурвилло, На путях романтики, 1960, 7

—Г.Белая, В поисках «скромного новаторства», 1960, 8

—В.Назаренко, Не забывать о главном, 1960, 8

—М.Кузнецов, Спор решит жизнь, 1960, 9

—М.Кузнецов, Новос в жизни и в литературе, 1961, 10

—Т.Мотылёва, В спорах о романе, 1963, 11

Исторический роман:

—Г.Владимов, Деревня Огнищанка и большой мир (О романе В.Закруткина «Сотворение мира»), 1958, 11

—Е.Полякова, Минувший век во всей его истине (Заметки об историческом романе), 1965, 2

«Производственный» роман:

—Ф.Светов, Человек и его дело (Рецензия на «производственный» роман Б.Полёвого «На диком берегу»), 1964,3

Эпос:

—Л.Поляк, Человек и история (Страницы советского эпоса), 1967, 10

Очерк:

—Ю.Буртин, Быть хозяином! (Очерки в журнале «Наш современник»), 1961, 7

—И.Виноградов, Деревенские очерки Валентина Овечкина (К 60-летию со дня рождения)(Очерки 50-х годов: исследование деревенской жизни), 1965, 6

—И.Виноградов, По страницам «Деревенского дневника» Ефима Дороша, 1965, 7

—В.Лакшин, Три меры времени (К выдвижению очерков Е.Дороша на соискание Ленинской премии), 1966, 3

—Е.Полякова, Современный путевой очерк, 1966, 5

Рассказ, повесть:

—М.Чудакова, А.Чудаков, Искусство целого (Заметки о современном рассказе), 1963, 2

—М.Чудакова, А.Чудаков, Современная повесть и юмор, 1967, 7

«Дамская повесть» и «женский роман»

—Н.Ильина, К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести», 1963, 3

—И.Виноградов, По поводу одной вечной темы, 1962, 8

Фантастика:

—Юрий Рюрик, Через сто и тысячу лет (Заметки о литературе, посвящённой будущему), 1959, 12

Аннотации (в книжных издательствах):

—И.Травкина, Реклама и книга, или «Всем сёстрам по серьгам», 1967, 2

Фольклор:

—Ю.Буртин, О частушках, 1968, 1

Художественно-документальная литература:

—Сергей Львов, О мужестве и сострадании (О повести хирурга Н.М.Амосова «Мысли и сердце»), 1965, 12

—В.Кардин, Легенды и факты, 1966, 2

—А.Нинов, Искусство невъдуманного рассказа, 1964, 3

- В.Соколов, Свой жанр (О документальной прозе С.С.Смирнова)(История создания романа «Брестская крепость»), 1965, 6
- Л.Лазарев, Это стало историей (Заметки о томе «Литературного наследства» «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»), 1967, 6
- Ю.Манин, К спорам о художественном документе, 1968, 8

Мемуары:

- В.Каташин, О сочинении мемуаров (Заметки на полях), 1964, 5

Ещё о мемуарах: 1964,12:

- Р.Савицкая, Листая страницы воспоминаний о В.И.Ленине
- В.Шкловский, Память и время
- Л.Малодиги, Сочинения с ошибками (Заметки на полях мемуаров А.Штейна)
- Примечания редакции

Научно-художественная литература:

- Д.Данин, Жажда ясности (Что же такое научно-художественная литература?), 1960, 3
- Ю.Вебер, Жажда ясности — жажда пережитых, 1960, 4,
- А.Смирнов-Черкезов, О научном и художественном, 1960, 4
- А.Ивич, Заметки на полях статьи, 1960, 4
- Я.Сморodinский, Разные пути, 1960, 6
- А.Шаров, Жизнь, насильно разъятая, 1960, 6
- От редакции, 1960, 6, с.229

14) Художественный метод

Реализм-соцреализм:

- Виктор Шкловский, Несколько слов о реализме у нас и на Западе, 1959, 8
- М.Кузнецов, Новое в жизни и в литературе, 1961, 10.

Всего два цикла статей о соцреализме — после встречи Хрущёва с интеллигенцией — большой поток; после 23-го съезда партии — несколько статей.

Статьи, утверждающие соцреализм и бичующие модернизм, послеловавшие за публикацией речи Хрущёва на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года (1963, 3):

- За идейность и соцреализм, 1963, 4
- А.Дементьев, В.И.Ленин и литературная журналистика, 1963, 5
- С.Тураев, Всесильно, потому что верно, 1963, 6
- И.Сац, О взглядах А.В.Луначарского на изобразительное искусство, 1963, 6
- М.Кузнецов, Модернизм и соцреализм, 1963, 8
- Т.Мотылёва, В спорах о романе, 1963, 11

Статьи, утверждающие соцреализм, опубликованные в «Новом мире» после или в дни 23-го съезда КПСС:

- А.Дементьев, На первом съезде писателей, 1966, 10
- Т.Мотылёва, Глазами друзей и врагов, 1966, 11
- А.Дементьев, И.Сац, А.В.Луначарский и советская литература, 1966, 12

Модернизм. авангард:

- И.Андреева, Молодой журнал («Юность» за 1958 г.), 1959, 5
- И.Виноградов, О современном герое, 1961, 9
- А.Меньшутин, А.Синявский, За поэтическую активность, 1961, 1
- И.Соловьёва, Материал и приём (О прозе А.Гладилина), 1963, 4
- Ф.Светов, О молодом герое, 1967, 5

—М.Чудакова, А.Чудаков, Искусство целого (Заметки о современном рассказе), 1963, 2

—М.Чудакова, А.Чудаков, Современная повесть и юмор (О «молодой прозе»), 1967, 7

15) Редакционные, пропагандистские обращения:

1958 г.:

—Первый учредительный (В связи с предстоящим в январе 1959 года высочередным 21-м съездом КПСС и съездом писателей Российской Федерации, который должен будет «решить наиболее существенные вопросы нашей литературной жизни» (с.198); решение о создании СП РСФСР) 1958, 11

1961 г.:

—Великий документ нашей эпохи (О повой программе партии, утверждённой на 22-м съезде КПСС (17--31 окт. 1961 г.)), 1961, 9

—Съезд строителей коммунизма (22-й съезд КПСС), 1961, 11

1963 г.:

—Публикация речи Хрущёва на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года, 1963, 3

—За идейность и соцреализм, 1963, 4

1966 г.:

—«На пути к коммунизму» (23-й съезд КПСС), 1966, 3

16) Poleмика с консервативным крылом в литературе, журналами «Октябрь», «Нева» и др.:

—А.Дементьев, Заметки критика, 1958, 11

—А.Дементьев, По поводу «реплики критику» Шкерина, 1958, 12

—Степан Злобин, О романе А.Калинина «Суровое поле», 1959, 7.

—А.Дементьев, По поводу статьи Степана Злобина, 1958, 7

—В.Сурвилло, На путях романтики, статья первая (О романе В.Очеретина «Саламандра»), 1959, 4

—В.Сурвилло, На путях романтики, статья вторая (О романе Н.Шуцника «Родник у берёзы»), 1959, 9

—Г.Владимов, Деревня Огнищанка и большой мир (О первой книге романа В.Закруткина «Сотворение мира»), 1958, 11

—В.Сурвилло, На путях романтики, статья третья (О второй книге романа В.Закруткина «Сотворение мира» и не только), 1960, 7

—М.Кузнецов, О путях развития современного романа, 1960, 2.

—А.Берзер, Общественный вкус к изящному, 1960, 3

—С.Бабёньшева, Создаты идут на проверку, 1960, 4

—Л.Швецова, Против недоверия к романтике, 1960, 4

—Г.Белая, В поисках «скромного новаторства», 1960, 8

—М.Кузнецов, Спор решит жизнь, 1960, 9

—М.Кузнецов, Новое в жизни и в литературе, 1961, 10

—А.Марьямов, Снаряжение в походе (О романе В.Кочетова «Секретарь обкома»), 1962, 1

—А.Лебедев, Чернышевский или Антонович? (К проблеме революционно-демократических традиций в критике), 1962, 3

- Н.Ильина, К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести», 1963, 3
- В.Лакшин, Иван Денисович, его друзья и недруги, 1964, 1
- В.Лакшин, Писатель, читатель, критик. Статья первая, 1965, 4; Статья вторая — 1966, 8
- Ю.Карякин, Эпизод из современной борьбы идей, 1964, 9
- В.Сурвилло, К вопросу о наследственности (О повести А.Калинина «Эхо юный» и оценке её В.Кочетовым), 1964, 7
- В.Кардин, Легенды и факты, 1966, 2
- Е.Полякова, Современный путевой очерк, 1966, 5

17) Борьба с ремесленной, конъюнктурной и псевдонаучной литературой:

- Г.Владимов, Деревня Огнищанка и большой мир (О первой книге романа В.Закруткина «Сотворение мира»), 1958, 11
- И.Роднянская, О беллетристике и «строгом» искусстве, 1962, 4
- Н.Ильина, К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести» (Опыт литературоведческого анализа), 1963, 3
- Мих.Лифшиц, В мире эстетики, 1964, 2
- Е.Полякова, Современный путевой очерк, 1966, 5
- Ф.Светов, О ремесленной литературе, 1966, 7
- И.Транкина, Реклама и книга, или «Всем сёстрам по серьгам», 1967, 2
- А.Лебедев, Судьба великого наследия, 1967, 12
- Ю.Буртин, О частушках, 1968, 1
- Наталья Ильина, Литература и «массовый тираж» (О некоторых выпусках «Роман-газеты»), 1969, 1
- И.Дедков, Страницы деревенской жизни (Пolemические заметки), 1969, 3

18) Poleмика с журналом «Молодая гвардия»:

Статьи и рецензии повомирских критиков на произведения авторов, подписавших «письмо одиннадцати» в «Огоньке»:

- Г.Владимов, Деревня Огнищанка и большой мир (О романе В.Закруткина «Сотворение мира», ч.1.), 1958, 11
- Ф.Светов, Специфика иллюстративности (В.Закруткин, «Сотворение мира», книга вторая), 1968, 2
- В.Сурвилло, На путях романтики (О романе Н.Шуцника «Родвик у берёзы»), 1959, 9
- Л.Швецова, Против недоверия к романтике, 1960, 4
- Ю.Буртин, О пользе серьёзности (М.Алексеев «Хлеб — имя существительное» «Роман-газета», 1964, 17), 1965, 1
- Н.Ильина, Сказки Брянского леса (М.Алексеев «Повесть о моих друзьях-непоседах», «Молодая гвардия», 1965, 9), 1966, 1
- А.Берзер, Когда чёрное — бело (В.Чивилихин, «Елки-молалки», «Молодая гвардия», 1965, 1), 1965, 7
- Г.Берёзкин, По поводу одной поэмы (Сергей Смирнов, «Свидетельствую сам», «Москва», 1967, 10), 1968, 12

Пolemические статьи против тeнденции журнала «Молодая гвардия»:

—И.Дедков, Страницы деревенской жизни (Проза, поэзия и литературная критика в журнале «Молодая гвардия»), 1969, 3

—А.Дементьев, О традициях и народности («Рассмотрение некоторых идей и настроений, выраженных в публикациях журнала «Молодая гвардия» в 1968 году»), 1969, 4

—От редакции (Ответ на «письмо одиннадцати» в «Огоньке»), 1969,7

19) Освещение зарубежной литературы

Пolemика с Западом:

—Мих.Лифшиц, «Философия жизни» И.Видмара (Пolemика с югославским философом, теоретические разногласия), 1958, 12

—А.Дементьев, Две поэзии, 1961, 12

—А.Дементьев, На провинциальном уровне, 1962, 11

—Т.Мотылёва, Глазами друзей и врагов, 1966, 11

Публикация на страницах «Нового мира» статей западных авторов:

—Томодзи Абэ, Традиции и современность (Письмо из Японии). Перевела с японского И.Львова, 1959, 11

—Н.Модзелевская, Рыцари вечного разлада (К 100-летию со дня рождения А.П.Чехова) (Письмо из Варшавы), 1960, 1

—А.Анастасьев, Реплика критику (На статью Натальи Модзелевской, Рыцари вечного разлада) (К 100-летию со дня рождения А.П.Чехова), 1960, 1

—Ж.Катала, Роман-трагедия и роман-поэма (О «Поднятой целине М.Шолохова»), 1960, 5

—Р.Люксембург, О литературе и искусстве (Глеб Успенский. Из переписки). Публикация, примечания и переводы М.Кораллова, 1961, 4

—Генрих Манн и будущее Германии. Н.Серебров, О неопубликованных статьях Г.Манна (Генрих Манн, Культурный народ (1942 год). Немецкий писатель (1944 год). Публикация и перевод Н.Сереброва, 1961, 10

Тeнденции в западной литературе:

—Р.Орлова, Л.Копелев, Потерянное поколение холодной войны. Заметки о зарубежной литературной молодёжи, 1959, 1

—И.Радволина, Прямой разговор (О некоторых книгах югославских писателей), 1959, 2

—И.Шкунаева, Новейшая «алитература» (Критика так называемого «новейшего течения» в литературе во Франции. Один из представителей направления — Сэмюэл Беккет), 1959, 3.

—М.Туровская, Герои безгеройного времени, 1960, 7

—И.Радволина, О чём рассказывает лирический герой (Заметки о современной югославской литературе), 1960, 12

—Л.Копелев, Непреодоленное прошлое, 1961, 6

—А.Елистратова, Трагедия молодого поколения (Молодёжь в американском романе), 1961, 10

—М.Туровская, Мифология технической эры (Телевидение, кино... на Западе), 1962, 12

—Л.Чёрная, Литература «дня ноль» (Заметки о литературе ФРГ), 1964, 7

—А.Аникст, «Носороги» в Нью-Йорке (О пьесе Ионеско «Носороги»), 1965, 8

—М.Туровская, И.о. героя — Джеймс Бонд, 1966, 9

—Г.Брейтбурд, Итальянский «новый авангард», 1967, 3

—М.Туровская, «Преступления века» и «массовая цивилизация», 1968, 7

—А.Гулыга, Пути мифотворчества и пути искусства, 1969, 5

О произведениях зарубежных авторов, изданных в СССР:

—Ирина Соловьёва, Люди для людей (О книгах научно-фантастического жанра), 1959, 3

—О.Михайлов, Трибуна братских литератур («Дружба народов», январь—сентябрь 1959), 1959, 11

—Т.Мотыльёва, Над страницами Томаса Манна, 1962, 2

—П.Палиевский, Фигюмы (Буржуазный мир в романах Грэма Грина), 1962, 6

—Ю.Манн, Художественная условность и время (К вопросу о современном стиле) (в основном на примерах произведений западной драматургии), 1963, 1

—В.Сурвилло, В единое слово (О творчестве Назыма Хикмета), 1963, 10

—А.Караганов, Между правдой и ложью (О современном западном киноискусстве. Третий международный кинофестиваль в Москве), 1963, 12

К 400-летию Шекспира.1964:

—А.Аникст, О «системе» Шекспира, 4

—С.Маршак, О Шекспире, 9

—Н.Конрад, академик, Шекспир и его эпоха, 9

—М.Туровская, Гамлет и мы, 9

—А.Лебедев, Искусство «для широкого потребления» (По страницам «Тюремных тетрадей» А.Граммши), 1964, 11

—Л.Зонина, Заметки о Септ-Экзюпери, 1965, 6

—Т.Мотыльёва, Завещание Ромснa Роллана (К столетию со дня рождения), 1966,

1
—Д.Горбов, Художник и эпоха (Чешский роман об итальянском Возрождении), 1966, 3

—Симон Маркиш, Античность и современность (Заметки переводчика), 1968, 4

—Э.Соловьёв, Цвет трагедии (О творчестве Э.Хемингуэя), 1968, 9

—В.Шестаков, Социальная антиутопия Олдоса Хаксли — миф и реальность, 1969, 7

—С.Великовский, После «смерти бога» (О «Постороннем» Альбера Камю), 1969, 9

**В. РУБРИКА «КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»,
РАЗДЕЛ «ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО»**

Всего рецензий в «Книжном обозрении», в разделе «Литература и искусство», с июля 1958 года по январь 1970 года (за одиннадцать с половиной лет) было напечатано 722.

В шести номерах за 1958 год — 29; в 1959-м — 69; в 1960-м — 65; в 1961-м — 64; в 1962-м — 64; в 1963-м — 66; в 1964-м — 67; в 1965-м — 59; в 1966-м — 55; в 1967-м — 58; в 1968-м — 59; в 1969-м — 62; в первом номере за 1970-й — 5. В среднем в год «Новый мир» публиковал 62 рецензии.

а) Профиль рецензируемых книг и журнальных публикаций за период 1959-1969 гг., напечатанных в разделе «Литература и искусство» рубрики «Книжное обозрение»:

филология	18,3%
современная проза	31,4%

переводная литература (художественная и нехудожественная) — зарубежная	15%
национальные литературы	8,2%
современная поэзия	7,3%
отклик на издательскую работу (составление книги, перевод, комментарии, вступительные статьи)	4,6%
искусствоведение, художественная критика, история искусства	3,8%
мемуарная литература, воспоминания, документы, архивы и пр.	2,9%
очерк, документально-художественная и научно- популярная литература, научная фантастика	2,1%
библиографический жанр	1,8%
отклик на первое издание книги	1,4%
отклик на первое издание автора или издание искры в СССР	1,2%
отклик на книгу начала и первой четверти 20-го века	0,7%
журналистика	0,6%
путевые заметки, путешествия	0,5%
отклик на переиздание книги	0,1%
отклик на книгу 19-го века	0,1%
эстетика	0,1%

Результаты статистики рецензируемого материала дают нам представление о конкретном содержании журнальных публикаций и книг, которые привлекали внимание литературно-критического отдела «Нового мира». Приведённая статистика является, безусловно, приблизительной, ибо очень часто бывает трудно разделить рецензии по материалу исследования. Автор может выбрать главным предметом своего внимания не обязательно само содержание рецензируемой книги или журнальной публикации, а качество её перевода или оформительской работы. Например, в рецензии на американское издание «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Радищева предметом внимания А.Старцева являются комментарии к изданию Родерика Пейдж Талера. Иногда отзывы многоаспектны: в одной рецензии речь может идти и о содержании рассматриваемого материала, и о цифрах тиража издания, и о переводе, и т.д. Например, М.Ландор в рецензии на трёхтомник В.Л.Парингтона «Основные течения американской мысли» даёт положительную оценку содержанию и переводу на русский язык книги и критикует предисловие к русскому изданию Р.Самарина (1964.6). Рецензия может быть обзором нескольких произведений одного автора, как, например, работа Эд.Вальдмана о научно-фантастических повестях Геннадия Гора «Докулиный собеседник» и «Страшник и время», где первая получает более или менее положительную оценку, а вторая — скорее отрицательную (1963.7). Рецензент может в своей работе рассматривать конкретный вопрос, тему, проблематику на материале произведений нескольких авторов. Например, в рецензии В.Лакшина на две книги биографического жанра — Стефана Цвейга «Бальзак» и Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера» (1963, 3) — прослеживается одна и та же тема: взаимоотношения художника с властью.

Можно отметить также, что около 70% материала рецензий составляют книги, вышедшие в книжных издательствах.

Как и в рубрике «Литературная критика», основное внимание повомирской критики направлено на современную прозу — почти третья часть всего материала. Большое место, как и в «Литературной критике», занимает также зарубежная литература и филология (куда отнесены среди прочих литературоведческие и литературно-критические материалы, а также полемические ответы, реплики). Значительное место занимают переводная национальная литература и русскоязычная поэзия. Высокий процент от общего количества рецензий приходится также на отклики критиков на книги по искусствоведению, на издательскую работу, на книги мемуарно-документального жанра.

в) Рецензии «положительные» и «отрицательные».
Приблизительная статистика оценочных данных

Материал исследования	среднее арифметич. в % за период 1959- 1969гг.		
	+	-	+/-
1. Современная проза и драматургия	55,8	39,7	4,5
2. Современная поэзия	79,5	16	4,5
6. Переводная литература			
1) Зарубежная	95	2,5	2,5
2) Национальные	90,7	7	2,3
7. Отклик на издательскую работу (составление, перевод, комментарии и вступит. статьи)	67,5	19,3	13,2
10. Литературоведение, лит. критика, история литературы, лит. монографии, лит. портреты, языкознание, текстология, библиография	61,6	33,7	4,7
11. Искусствоведение, худ. критика, история искусства (изобразит. искусство, театр, теленедение, оформит. работа)	73,1	23,1	3,8
12. Биографический жанр	52,6	47,4	/
13. Журналистика (история журналистики и обзоры совр. журналов)	100	/	/

С.РУБРИКА «КОРОТКО О КНИГАХ» («КОРОТЫШКИ»)

Помимо рубрики «Книжное обозрение» отдел критики и библиографии «Нового мира» выпускал совместно с отделом публицистики рубрики «Коротко о книгах» и «Книжные новинки». Последняя ограничивалась лишь перечислением наименований книжных новинок с указанием названия издательства и прочих библиографических данных, тогда как рубрика

«Коротко о книгах» являлась своего рода миниатюрным «Книжным обзорением» или его «филиалом».

«Коротышки», как их называли в «Новом мире», располагались в конце журнальной книжки, занимали от четырёх до восьми журнальных страниц и включали отзывы в среднем на тринадцать наименований книг, вышедших в центральных, республиканских и областных издательствах.

«Коротышка» — это «малый» жанр литературной критики, жанр «аннотации», который является своего рода «одежкой», как писала И.Травкина в своей статье 1967 года «Реклама и книга, или «Всем сёстрам по серьгам», «по которой встречают книгу читатели», а потому находятся «в особом положении, поскольку здесь суждение о книге предшествует знакомству с ней самого читателя» (1967, 2, с.238).

Однако, не в пример тому шаблону «некой типовой модели», которой пользуются составители аннотаций в книжных издательствах (о чём говорит в своей статье И.Травкина), новомирские аннотации, вышедшие из-под пера профессиональных критиков (авторов рубрик «Книжное обозрение» и «Литературная критика»), отличались различием стилей, композиционным построением и сходились в одном — в разговоре о книге по существу, и личностным отношением к материалу. Аннотации в «Новом мире» были всегда авторскими — с указанием фамилии рецензента, иногда инициалов — и никогда анонимными. «Коротышки» в большинстве своём рекламировали читателю достойные, с точки зрения «Нового мира», внимания книги, но были среди них и рекламы, так сказать, наизнанку. Словом, политика литературно-критического отдела в отношении способа отбора материалов для рецензирования и критериев их оценки распространялась как на «Книжное обозрение», так и на «Коротко о книгах». Спектр рассматриваемого материала в «коротышках» — тот же, что и в «Книжном обозрении».

5. АВТОРСКИЙ СОСТАВ: КТО ОНИ, КРИТИКИ «НОВОГО МИРА». ПРОФИЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВЕДУЩИХ АВТОРОВ ОТДЕЛА, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«...Именно этот раздел литературы в последние годы очень заметно выдвигается на передний план в лице его и старших, и особенно молодых представителей. Берусь даже утверждать, что сегодня по широте идейно-эстетического диапазона, да и по выявлению своих литературных индивидуальностей молодая критика успешно соперничает с молодой поэзией и прозой...».

«Ю.Буртин, И.Виноградов, А.Лебедев, И.Соловьёва, А.Синяевский» — «юношеский период у этих людей проходил в несравненно более благоприятных условиях, чем у их старших товарищей, — они куда менее отягощены старыми навыками догматического мышления, и их работа сегодня — очевиднейшее выражение новых и многообещающих тенденций литературного процесса в целом» (А.Т.Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с.17--18).

Из сотрудников редакции с критическими статьями и рецензиями выступали А.Твардовский, члены редколлегии — В.Лакшин, И.Виноградов, А.Дементьев, А.Кондратович, а также сотрудники — И.Сац, Ю.Буртин, А.Берзнер и др.

По свидетельству Игоря Виноградова, большинство постоянных авторов отдела критики и библиографии были представителями молодого поколения:

«Когда я пришёл в журнал в 1958 году, — рассказывает И.Виноградов, — мне было 28 лет, а когда стал членом редколлегии — 35 лет, и практически все сотрудники-критики «Нового мира» были того же возраста. Были люди, прошедшие войну — И.Крамов, В.Кардин и др., но всё равно это также поколение, которое пришло в критику в 1956 году. Критиков более старшего возраста было очень мало, и ведущую роль играли не они. Хотя в публицистике были люди более старшего поколения — М.Геффер, например, — которые очень сильно переменялись после 20-го съезда».*

Кто же конкретно выступал со статьями и рецензиями на страницах журнала «Новый мир» в период с июля 1958-го по январь 1970 г.

А. АВТОРЫ ОТДЕЛА КРИТИКИ «НОВОГО МИРА» И ЧАСТОТА ИХ ПУБЛИКАЦИЙ В РУБРИКЕ «ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО» «КНИЖНОГО ОБОЗРЕНИЯ»

Авторы статей (частота публикаций)	Авторы рецензий
	— А.Абрамов 1
	— Борис Агапов 1
	— В.Адмони 1
	— Ю.Айхенвальд 5
	— В.Аксёнов 1
	— О.Аладин 1
	— Е.Алексакин 1
— К.Алексеев 1	
— Алар 1	
— А.Анастасьев 1	4
	— Н.Анастасьев 1
	— Кирилл Андреев 1
— И.Андреева 1	1
	— В.Аникин 1
— А.Алвист 2	
	— Л.Аннинский 1
— Павел Антокольский 1	1
	— Л.Антопольский 2
— П.Арутюнов 2	2
	— А.Асаркин 1
— Н.Атаров 1	2
— С.Бабышова 1	4
	— Мих.Байтальский 1
	— Г.Бакланов 1
	— Ю.Барабаш 1
	— Н.Баранова, В.Баранов 1
	— В.Баранов 1
	— Е.Барышников 1
	— Вл.Баскаков 1
	— Т.Бачелис 1
— Г.Белая 1	2
	— А.Белкин 2
	— В.Березина 1
— Г.Берёжков 1	5
— А.Бернер 2	11
	— Н.Берковский 1
	— Гр.Бернхарт 2
	— И.Берштейн 2
— Ф.Бирюков 3	
	— М.Блинкова 8
	— В.Блок 2
— В.Боборыкин 1	
	— Ал.Богуславский 2

— И.Борисова 1

— Г.Брейтбург 1

— Ю.Буртин 2

— Ю.Вебер 1

— С.Великовский 1

— И.Виноградов 9

— Г.Владимов 1

— Е.Волкова 1

— А.Володин 1

— Александр Гладков 2

— Д.Горбов 1

— В.Гоффеншефер 1

— Н.Гудзий 1

— А.Гуляга 1

— Д.Дашин 1

— И.Дежов 1

— А.Дементьев 8

— А.Дементьев, Н.Дикущина 1/0

М.Бойко 2

— Ю.Бондарев 1

7

— В.Борнштейн 1

— Евг.Босияцкий 1

— А.Бочаров 1

— Б.Брайнина 1

10

— Г.Бялый 3

— Эд.Вальдман 1

— К.Вапшенкин 1

— И.Варламова 3

— Скина Вафа 1

1

— И.Верцман 2

Н.Вильмонт 1

7

4

В.Войнович 1

— Ю.Волчек 1

— Л.Вольшский 1

— В.Воробьев 1

— В.Гаевский 1

— Б.Галанов 2

— М.Галлай 2

— Н.Гей, В.Пискунов 1

— В.Герасимова 3

— Б.Герман 1

— Е.Гинзбург 3

— И.Гитович 1

2

— Вл.Глоцер 1

— Б.Гольдберг 1

— Геннадий Гор 1

— А.Горбунов 3

— Я.Гордин 3

— Овидий Горчаков 1

5

— А.Громова 3

— Н.Гусев 1

1

— Александр Дейч 1

5

Н.Дикущина 2

— А.Дементьев, И.Сац 1
— И.Дементьева 1

— А.Елистратова 1

— В.Жданов 1
— В.Жирмунский 1

— М.Злобина 1
— Л.Зонина 1

— А.Ивич 1

— Наталья Ильина 2

— В.Каверин 1

— А.Караганов 1
— В.Кардин 3

— Ю.Карякин 1

— В.Катавин 1

— Н.Денисов 1
— Иван Дюба 1
— Е.Добин 3
— Л.Долгополов 1
— Ефим Дорош 3
— В.Дружинин 1
— Валентина Дымник 1
— И.Дошан 1
— Э.Елигулашвили 1

— Ф.Ефимов 1
4

— Л.Жуховицкий 1
— Б.Закс 1
— С.Зальгин 1
— Р.Зернова 3
— Б.Зингерман 1
— А.Злобин 2

15

5

— В.Иванов 1

1

— К.Икрамов 1
— Анна Илупина 1

2

— М.Иофьев 2
— Э.Исааков 1

Лариса Исарова 2

— Ф.Искадер 1

— А.Каждан 1
— С.Кайдаш 4
— Н.Калитин 1
— Е.Калмановский 1
— А.Каменский 3
— В.Кантор 1
— Вл.Канторович 1
— Юлия Канэ 1
— Н.Каписва 1
— Ю.Капусто 4

6

— С.Кармалита 1

— Лев Кассиль 1

— З.Кедрина 1
— В.Келдыш 1
— Ц.Кин 1
— Е.Кленикова 1

- А.Кондратович 1
- Н.Конрад 1
- Ю.Константинов 1
- Л.Копелев 2
- Н.Коржачин 1

- И.Крамов 2

- Е.Краснощёкова 1

- М.Кузнецов 5

- Л.Лазарев 2
- В.Лакшин 12

- А.Лебедев 3
- Л.Лебедева 1

- Л.Левин 1

- Г.Ленюбль 1

- Мих.Лифшиц 2
- Сергей Львов 1
- Н.Льбимов 1
- А.Македонов 1
- Ю.Манин 4
- С.Маркин 1

- Кирилл Ковальджи 1
- В.Ковский 2
- А.Коган 1
- Г.Койранская 1
- 10
- 5
- 3
- О.Костылёв 1
- А.Котлов 1
- 3
- В.Красильников 1
- П.Краснов, В.Шевелёв 1
- 1
- З.Крахмальникова 2
- Н.Крутикова 1
- Н.Крёмова 2
- В.Кубилос 1
- И.Кудрова 1

- Анатолий Кузнецов 1
- Н.Кузьмин 1
- Э.Кузьмина 9
- Кайсын Кулиев 1
- В.Кутейщикова 2
- 15
- 10
- Е.Ландтау 2
- М.Ландор 3
- С.Ларин 4
- А.Лацис 1
- 9
- 7
- И.Левидова 5
- 1
- Ф.Левин 6
- Л.Левидский 12

- Н.Леонтьев 2
- А.Липелис 3
- Г.Литвинский 1
- Вл.Лифшиц 1
- Л.Лифшиц 2

- Мих.Луконин 1
- 5
- Е.Любарева 1

- 2
- Г.Макаров 2
- 3

- С.Маршак 2
- А.Марьямов 1

- С.Машицкий 1
- Б.Мейлах 2

- А.Меньшутин, А.Синявский 3
- О.Михайлов 1

- Т.Мотылева 4

- Дм.Нагишкин 1
- В.Назаренко 1

- А.Нинев 1

- В.Огнев 2
- Р.Орлова 1
- З.Османова 1

- П.Палиевский 1
- З.Паперный 2

- Б.Платонов 1
- Б.Подольский 1

- 1
- В.Масловский 1
- А.Мацкин 1
- Н.Мацуев 1

- Бор.Медведев 1
- Н.Мельников 1
- А.Меньшутин 2
- Д.Милотина 1
- Ал.Михайлов 4
- 9
- Л.Михайлова 1
- Р.Мишин 1
- А.Мошгайт 1
- 5
- И.Мотылюв 1
- Г.Мулблитг 2
- 1
- А.Назаров 1
- А.Наркевич 5
- Н.Наровчатов 1
- Н.Наумов 1
- Н.Наумова 1
- Т.Немчук 1
- В.Непомнящий 2
- Д.Николаев 2
- Л.Николаева 1

- С.Образцов 1
- А.Образцова 1
- 7
- Лев Озеров 1
- 7
- Р.Орлова, Л.Копелев 1
- Л.Осват 3
- В.Павлова 1
- Г.Павлова 1
- А.Павловский 2

- 7
- Мирон Петровский 2
- И.Питгляр 10
- Ю.Пименов 1
- А.Письменный 1
- Н.Пивяшев 1
- Л.Плоткин 1

- Л.Поляк 1
- Е.Полякова 4

- И.Радюлина 2
- Ст.Рассадин 1
- И.Рачук 1

- И.Родиванская 1

- К.Рудицкий 1
- Б.Рупил 2
- Юрий Рюриков 2
- Максим Рыльский 1
- Б.Сарюв 1
- И.Сац 1

- Ф.Светов 4

- А.Сивявский 1
- Ник.Смирнов 1
- А.Смирнов-Черкезов 1
- Вера Смирнова 2
- Я.Сморodinский 1

- В.Соколов 2

- И. Соловьёва 4
- Э.Соловьёв 1

- Е.Старикова 1

- Юрий Полетика 4
- 3
- 4
- В.Портюв 4
- И.Поступальский 5
- Н.Прянишников 2

- Р.Райт-Ковалёва 1
- 12
- Всеволод Ревич 1
- Н.Реформатская 2
- Е.Ржевская 1
- Б.Рифтин 2
- 3
- С.Розанова 1
- С.Розанова, В.Фрицлянд 1
- Н.Роскина 1
- Лев Рощаль 1
- М.Рощин 7
- М.Рубинчик 3
- 4
- 3
- 1
- 4
- Михаил Светлов 1
- 10
- В.Сергеев 1
- И.Серман 1
- А.Сидоров 1
- Видас Сиплюс 1
- 6
- Л.Скороиню 1
- 1
- Н.Сметкова 1
- 4
- В.Соколов-Микитов 4
- Наталья Соколова 1
- М.Сокольский 1
- В.Соловьёв 1
- 6
- И.Соловьёва, В.Шитова 1
- М.Соложенкина 1
- Вл.Солоухин 1
- Ю.Сотник 1
- Н.Стальский 1
- 10

— В.Сурвилло 8

— Е.В.Тарле 1

— А.Твардовский 3

— И.Травкина 1

— Г.Трефилова 1

— Н.Трифонов 1

— С.Турьев 1

— А.Турков 3

— М.Туровская 7

— А.Цейтлин 1

— О.Чайковская 1

— Л.Чёрная,

— М.Чудакова, А.Чудаков 2

— Корней Чуковский 1

— Николай Чуковский 1

— А.Шаров 1

— Л.Швецова 1

— Виктор Шкловский 1

— И.Шкунаева 1

— А.Штейн 1

— С.Штут 1

— В.Щербина 1

— В.Шестаков 1

— Ю.Юзвский 1

— А.Старцев 1

4

— Ал.Сурков 1

— Л.Тимофеев 1

— Арсений Тарковский 2

— В.Твардовская 1

3

5

— Т.Трифопова 2

17

1

— В.Тушнова 1

— Д.Уринов 1

— З.Файнбург 2

— Л.Фейгина 1

— Я.Фрид 1

— В.Фролов 1

— В.Харитонов 1

— Яков Хелемский 2

— М.Хитров 1

— Т.Хмельницкая 1

— А.Храбровицкий 1

— Г.Цурикова 2

3

2

— М.Чудакова 3

1

1

— Т.Шах-Азизова 1

В.Швейцер 5

1

— В.Шестаков 1

— Д.Шестаков 1

— В.Шигова 2

— А.Шифман 1

2

— Б.Шнайдер 1

— Н.Штейн 2

1

— Л.Эйдлин 1

— Е.Эткинд 1

- Л.Яновская 1
- Б.Яранцев 2
- И.Ярославцев 1
- В.Ясный 1

В.АВТОРЫ. ЧАЩЕ ДРУГИХ ПЕЧАТАВШИЕСЯ В ОБЕИХ РУБРИКАХ

авторы	колич. статей	колич. рецензий	всего работ
— А.Берзер	2	11	13
— М.Блишкова	0	8	8
— И.Борисова	1	7	8
— Ю.Буртин	2	10	12
— И.Виноградов	9	7	16
— А.Дементьев	11	5	16
и в соавторстве	2		
— М.Злобина	1	15	16
— В.Кардин	3	6	9
— А.Кондратович	1	10	11
— Л.Копелев	2	5	7
и в соавторстве	1		
— Л.Лазарев	2	15	17
— В.Лакшин	13	10	23
— А.Лебедев	3	9	12
— Л.Лебедева	1	7	8
— Ю.Маш	4	3	7
— О.Михайлов	1	9	10
— Т.Могылёва	4	5	9
— В.Отнев	2	7	9
— Р.Орлова	1	7	8
и в соавторстве	1		
— З.Паперный	2	7	9
— Е.Полякова	4	4	8
— Ст.Рассадин	1	12	13
— Ф.Светов	4	10	14
— А.Синявский	1	6	7
и в соавторстве	3		
— И.Соловьёва	3	6	9
— Е.Старикова	1	10	11
— В.Сурвиллю	8	4	12
— А.Турков	3	17	20
— М.Туровская	6	1	7

Этот перечень имён позволяет определить круг постоянных авторов отдела критики «Нового мира».

С. ВЕДУЩИЕ АВТОРЫ РУБРИКИ «ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА»:

В.Лакшин, А.Дементьев, И.Виноградов, В.Сурвиллю, М.Туровская, М.Кузнецов, Ю.Маш, Ф.Светов, А.Синявский, Т.Могылёва, Е.Полякова, А.Твардовский, И.Соловьёва, А.Лебедев, А.Турков, В.Кардин.

Д.ВЕДУЩИЕ АВТОРЫ РУБРИКИ «КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»:

А.Турков, Л.Лазарев, М.Злобина, Л.Левицкий, Ст.Рассадин, А.Берзер, Ф.Светов, Ю.Буртин, А.Кондратович, И.Питляр, Е.Старикова, О.Михайлов, А.Лебедев, Э.Кузьмина, Р.Орлова, М.Блинкова, В.Огнев, И.Борисова, З.Паперный, Л.Лебедева, М.Рощин, В.Кардин, Л.Копелев, Ю.Айхенвальд, В.Гоффеншефер, И.Левидова, С.Львов, А.Наркевич, И.Поступальский и др.

Е.ПРОФИЛЬ ВЕДУЩИХ АВТОРОВ ОТДЕЛА. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (помимо тех авторов, творчество которых охарактеризовано в основном тексте исследования)

А.Дементьев был в «Новом мире», так сказать, проводником марксистско-ленинских традиций критики, автором главным образом статей по истории советской журналистики и литературы, статей о соцреализме, а также ряда полемических статей, направленных против реакционной идейной позиции журнала «Октябрь», против националистической тенденции журнала «Молодая гвардия».

Пафос его статей — борьба за «чистоту» марксизма и отстаивание позиций журнала.

А.Берзер выступала главным образом со статьями и рецензиями, построенными на материале современной прозы. Центральный пафос её работ — борьба за высокий уровень литературы. Принимала участие в новоярских дискуссиях и полемике.

М.Туровская — автор статей по искусствоведению. Профиль — театр, советский и зарубежный кинематограф. Нравственно-философское направление критики. Выступала с обзорами и проблемными статьями.

Ю.Манин специализировался на материале литературной критики и теории критики 19-го века. Пафос его статей — литературная учёба, мастерство, борьба с ремесленничеством.

М.Кузнецов — автор двух проблемных статей, вошедших в серию дискуссионных (начала 60-х годов) по проблемам современного романа, и трёх идеологических — о соцреализме. С рецензиями не выступал.

В.Сурвилло выступал с проблемными и полемическими статьями. Предметом рассмотрения в его статьях была современная проза, проблемы современного романа. Борьба с «беллетристической», антикультурная, антиреакционная направленность — главный пафос статей.

Ф.Светов — автор проблемных статей и рецензий, построенных на материале современной прозы. Пафос его работ — борьба с «ремесленничеством» в литературе. Характерно, что подавляющее большинство его рецензий написано именно против произведений «ремесленной» литературы.

Т.Мотылёва — автор главным образом идеологически-теоретических статей о соцреализме и модернизме. Основным материалом её статей и рецензий являлась зарубежная литература или отзывы на книги о зарубежной литературе. Принимала участие в дискуссионных статьях. Пафос — идеологическая направленность, полемика с Западом.

А.Турков выступал главным образом со статьями и рецензиями на современную прозу и поэзию;

И.Соловьёва — со статьями и рецензиями, построенными на материале современной советской и зарубежной литературы;

Л.Копелев — специалист по зарубежной, немецкой литературе, пафос его работ — всегда идейная направленность;

В.Кардин писал в основном о прозе мемуарно-документального жанра;

Л.Лазарев — специалист по «военной» прозе;

Е.Полякова выступала с обзорами, литературоведческими и проблемными статьями, обращёнными главным образом, к произведениям современной прозы, участвовала в новомирских дискуссиях.

П Р И Л О Ж Е Н И Е II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» С ЧИТАТЕЛЕМ

«Упадок или расцвет критических жанров находится в зависимости от общественно-литературной атмосферы, меры активности читательской аудитории, представителем которой выступает критик.

Литературная критика должна рассматриваться в её взаимоотношениях как с писателем, так и с читателем»(1).

1. «ЧИТАТЕЛЬ» — НОВИЗНА ТЕМЫ

В 1965 году Лакшин публикует статью под названием «Читатель, писатель, критик», где рассматривает и анализирует реальные — такими, какими они сложились к 60-м годам, — взаимоотношения внутри так называемого литературного треугольника.

«Мы получали огромный поток писем, — рассказывал Лакшин в беседе с автором настоящей работы в 1985 году. — «Читатель» — сейчас очень популярная тема, а тогда была чем-то новым»*.

Новизна темы статьи Лакшина бросалась в те годы в глаза, ибо более тридцати лет читательским мнением никто не интересовался, никого не волновало отношение публики ко всему тому, что печаталось в журнально-газетной прессе или выходило в книжных издательствах страны. Да и незачем было интересоваться.

«Идеология культа личности, — писал Лакшин в своей статье «Читатель, писатель, критик», — исключала возможность различных мнений даже в чисто эстетических вопросах./.../Всё более императивное значение приобретали отзывы о литературе одного-единственного читателя./.../ Письма читателей, — продолжает Лакшин, — в эту пору печатались редко, лишь по крайней нужде, и имели, так сказать, хорошо организованный характер./.../Если под письмом стояла подпись тракториста, сталевара или, на худой конец, фельдшерицы районной поликлиники — приговор той или иной книге был подписан: нельзя же было спорить с «мнением народным», а двух мнений среди читателей, считалось, не может и быть./.../Понятно, что это мало способствовало заинтересованности читателя в делах литературы, непосредственности его отзывов» (1965, 4, с.225).

Учёт общественного мнения по любым вопросам, касающимся жизни общества, — это тот важнейший элемент, на котором зиждется демократия.

В своей статье «Читатель, писатель, критик» Лакшин напоминал о том, что в России читатели постепенно становятся общественной силой в сороковые—шестидесятые годы прошлого века, то есть в период, когда «окончательно сформировался особый тип «толстого» литературного ежемесячника, надолго ставшего в русской жизни средоточием общественных, а не только литературных интересов»:

«Итак, у нас есть публика!...» — торжествовал Белинский./.../«Где есть публика, — развивал свою мысль Белинский, — там есть и общественное мнение...» (1965, 4, с.225).

О росте нового читателя, писал далее Лакшин в своей статье, можно было судить по многим косвенным знакам (увеличение подписки и пр.), но прежде всего по читательским письмам, которые приходили в редакции журналов:

«Так, некрасовский «Современник», — пишет Лакшин, — в редакционном обращении 1849 года счёл необходимым специально благодарить читателей за «несколько писем»./.../.

Любопытно, что и Фаддей Булгарин быстро уловил значение читательского письма как документа, обладающего гипнозом непосредственной достоверности. В начале сороковых годов он пробовал сфабриковать от имени читателей верноподданнические письма, пахнувшие доносом./.../

Читатель понимал не только к у д а писать, но и к о г д а писать. Он оказался очень чутким барометром общественной погоды» (с.224—225)(2).

После революции, в первые годы советской власти, как рассказывал далее Лакшин в своей статье, читатель являлся ещё социально активным членом общества. В эти годы велась работа по изучению мнений и интересов читателей. Так, например, «в журнале «Красный библиотекарь», — пишет Лакшин, — в первые годы его издания и в других печатных органах широко публиковалась статистика читательских писем и их анализ». Однако к середине тридцатых годов «вся эта работа» «окончательно замерла» (с.225). И только после 20-го съезда партии началось общественно-литературное оживление.

Как отмечал Лакшин далее в своей статье 1965 года, «события последнего десятилетия отозвались... на взаимоотношения литературы с читателем»: «лёд тронулся. Мнение читателя вновь становится реальной силой в литературном процессе» (с.226). И вместе с тем в стране пока «никто не занимается всерьёз изучением читательских мнений по наиболее важным и острым литературным вопросам, — отмечал Лакшин, — /.../ нет даже приблизительной статистики суждений читателей о книгах»:

«Страницы «Института читательских интересов», печатавшиеся год назад в «ЛГ», вряд ли могут идти в счёт: читательские письма, напечатанные там, производили впечатление изрядно процеженных и дистиллированных — читатель будто нарочно избегал разговора о наиболее заметных спорных произведениях, а если и касался их, то с той выглаженной, вплоть до газетного стиля, правильностью, от которой хоть караул кричи» (с.225)(3).

Каков он, современный читатель? Участвует ли он в современной борьбе идей? Каковы его эстетические суждения о литературе последних лет? Как относится он к литературной критике? Вот круг вопросов, которые ставит Лакшин в своей статье.

Статья 65-го года вызвала поток писем в редакцию «Нового мира»: многие читатели просили критика продолжить начатый разговор. И через год появилась вторая статья под названием «Писатель, читатель, критик» (1966, 8). К рассмотрению сюжета обеих статей о читателе Лакшин

подходил, опираясь на вполне конкретный источник — новомирскую почту, которая, как говорилось в статье 65-го года, ежегодно насчитывает несколько тысяч писем.

Кроме того, с возвращением Твардовского в стены «Нового мира» журнал возобновил выпуск существовавшей в журнале начала 50-х гг. рубрики «Трибуна читателя», где регулярно стали публиковаться читательские письма. А с 1959 года на страницах «Нового мира» появляется новая рубрика, адресованная непосредственно подписчикам журнала, — ежегодное обращение «От редакции». Здесь, как уже не раз отмечалось, на четырёх-пяти страницах кто-то из членов редколлегии представлял читателям своего рода отчёт работы за год, формулировал главные пункты литературной политики журнала, информировал подписчиков о состоянии редакционного портфеля, работе отделов и делал анонс на следующий год.

Таким образом, «Новый мир» в 60-е годы не только первым в советской печати поднимал вопрос о роли общественного мнения, публикуя статьи В.Лакшина, но и единственным из «толстых» ежемесячников неформально принял за ориентир в своей литературной политике читательское письмо, что свидетельствовало о демократическом самосознании сотрудников редакции и отвечало генеральной линии «Нового мира» на демократическое просветительство.

2. ПОПУЛЯРНОСТЬ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ И ТИРАЖ

В сборнике под названием «Политический дневник» за декабрь 1969 года были помещены итоги анкеты, проведённой «Литературной газетой» в 68-м году среди своих читателей. Материал сопровождался примечанием:

«Обработка и анализ анкеты «Литературной газеты» был проведён группой социологии печати Новосибирского государственного университета и Сибирского отделения АН СССР, научный руководитель группы — доктор экономических наук В.Э.Шляпентох. /.../

Основные выводы по данной анкете не были опубликованы и вряд ли в ближайшее время будут где-либо опубликованы»(4).

Автор комментария к публикации сообщал, что анкету, в которой имелось больше 30 вопросов, получил каждый четвёртый подписчик «ЛГ» и что задачей исследователей было выявить следующие три круга вопросов:

- 1) занятие, профессия, образование читателей;
- 2) отношения читателей к материалам и разделам, опубликованным в «ЛГ»;
- 3) литературные интересы и пристрастия читателей газеты и их отношение к тем или иным писателям, поэтам, критикам.

Мы приведём из этого материала лишь ответы, полученные исследователями, на те вопросы, которые касаются популярности журналов и их читательского контингента.

На вопрос: «Какие литературно-художественные журналы Вы читаете регулярно и нерегулярно?» — ответили 90% от общего числа обследуемых (подписчиков «ЛГ»).

журналы по разряду популярности	регулярно	нерегулярно
1 место — «Юность»	29,6%	21,7%
2 место — «Новый мир»	28,7%	24,9%
3 место — массовые журналы: «Огонёк», «Смена» и др.	24,8%	20,2%
4 место — «Иностранная литература», «Москва», «Звезда» и «Нева».		
5 место — «Октябрь»	5,4%	14,4%
6 место — «Дружба народов», «Наш современник», «Молодая гвардия»(5).		

Как видно по результатам анкеты, журнал «Юность» вышел на первое место по популярности среди читателей «ЛГ» (29,6% и 21,7%). «Новый мир» же оказался на втором месте (28,7% и 24,9%).

На вопрос: «Следует ли относиться к результатам анкеты «ЛГ» как к достоверным?» — Георгий Владимов в беседе с автором настоящей работы ответил, что да, но с некоторыми поправками. «Дело в том, — поясняет Владимов, — что журнал «Юность» имел гигантский тираж — около двух миллионов экземпляров. Такого тиража никогда бы не дали «Новому миру». Бумага у «Юности» была хуже по качеству, журнал тоньше. Основной читатель «Юности» — молодёжь от 17 до 28—30 лет»*.

Достаточно подробную информацию о тираже «Нового мира» можно найти в книге Ж.Медведева «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича».

«С 1965 года, — пишет автор книги, — все ограничения в подписке на журналы и газеты были ликвидированы, и в этих условиях тираж журналов отражал отношение к ним читателей. (Это не распространяется на многие политические журналы, которые часто распределяются принудительно.) Тираж журналов складывается из индивидуальной подписки, подписки библиотеками и учреждениями и розничной продажи. Часть тиража определяется Комитетом по печати совместно с отделом печати ЦК КПСС. Действительным реальным показателем спроса является только индивидуальная подписка. Среди толстых литературно-общественных журналов, издающихся в Москве («Октябрь», «Москва», «Знамя», «Новый мир»), «Новый мир» по индивидуальной подписке в 1966г. вышел на первое место, и его тираж вырос с 128000 в 1965 году до 141000 в 1966 году. И это несмотря на большую стоимость каждого номера «Нового мира» по сравнению с другими журналами. Редактор «Октября» В.Кочетов упорно добивался разрешения на увеличение лимита розничной продажи, чтобы не обнаружить уменьшение индивидуальной подписки»(6).

Следует уточнить положение Медведева о том, что действительным реальным показателем спроса является только индивидуальная подписка.

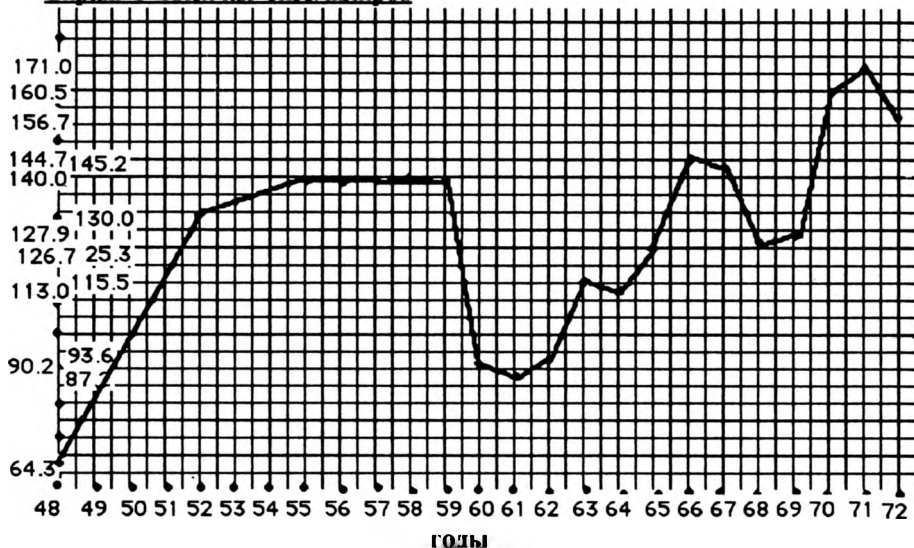
По словам Владимира Войновича, «у «Нового мира» было намного больше читателей, чем подписчиков: проводилось одно исследование в «ЛГ», — рассказывает Войнович, — о котором говорил Шляпентох. Результаты этого исследования показали, что «по подписке ни о чём вообще судить нельзя. «Новый мир» передавали, брали в библиотеках, и поэтому этот круг был гораздо шире».*

Чтобы установить реальный спрос на «Новый мир», надо, по словам Игоря Виноградова, помножить тираж журнала на три или четыре.* Следуя этому указанию, возьмём, к примеру, цифру, которую приводит в своей книге Ж.Медведев за 1966 год, — 141 тысячу экземпляров — и умножим её на четыре. Получим «минимальный» спрос — 564 тысячи экземпляров. Сопоставив эту цифру с тиражами других литературно-общественных ежемесячников за те же годы, мы увидим, что «Новый мир» оказывается далеко впереди по количеству своих читателей. Но даже не принимая во внимание эти подсчёты, та цифра, которая обозначала тираж на последней странице «Нового мира», по словам Ю.Бургина, была, «во всяком случае, реальной, даже заниженной, тогда как «круглые цифры» тиражей многих других ежемесячников на самом деле не отражали их реального спроса», а были даже преувеличены (сравните: «Новый мир» — орган СП СССР — в 1966-м году имел средний тираж 145.200, а «Октябрь» — орган СП РСФСР — в том же году выходил средним тиражом в 133.171). И это несмотря на то, что тираж «Нового мира» всё время искусственно урезался, как следует из рассказов Виноградова, Войновича и Ж.Медведева. Повторим, что «Новый мир» в последние годы своего существования под редакторством А.Т.Твардовского не шёл в армию и также, по сведениям И.Виноградова, в районные библиотеки, был запрещён в некоторых областях (так, по свидетельству В.Лакшина, подписку на новый, 1969 год на «Новый мир» не разрешили на родине Л.И.Брежневца, в Диспропетровской области(7)). Наконец, по словам Бориса Закса, параллельно запрещению со стороны политуправления армии выписывать «Новый мир» ходило циркулярное письмо, рекомендовавшее подписываться на «Октябрь», что увеличивало число читателей «Октября» сразу на 50—60 тысяч*.

О популярности «Нового мира» говорят и такие факты, как трудности с подпиской и нехватка номеров для розничной продажи. Юрий Буртин, например, отметил, что журнал очень трудно было купить: «Стоило ему появиться в киоске — его хватали, не глядя, что там есть».* Калерия Озерова, со своей стороны, склонна считать, что трудности с подпиской на «Новый мир» объяснимы в какой-то мере ведомственной политикой. По ее словам, «Союзпечать что-то там манипулировала с подпиской на журнал».*

Вернёмся, однако, к тиражам. Если составить график эволюции тиража новомирских номеров за несколько лет, то полученный результат вызовет ряд вопросов в связи с показателями.

Тираж в тысячах экземпляров



Почему, скажем, все номера с 1956-го по 1959 год выходили круглой цифрой в 140 тысяч экземпляров, а в 1960-м — только в 90.200, а в 1961 году тираж не только упал до 86—87 тысяч, но и с этого года стал «плясать» от номера к номеру?

Так, в 1961 году шестой номер вышел тиражом в 86.600, седьмой — в 87.300, десятый и двенадцатый — в 87.600.

Как объяснить и то, что в течение 1962 и 1963 гг. количество экземпляров журнала колеблется от 92.700 до 120.600, а в 1964-м, весь год, тираж вновь обозначен круглой цифрой в 113 тысяч?

Можно лишь предположительно ответить на некоторые поставленные вопросы.

Падение тиража от 140 тысяч в 1958—1959 годах до 90.200 в 1960-м объясняется переходным периодом, а именно — сменой на посту главного редактора «Нового мира» — К.Симонова на А.Твардовского — в середине 1958 года. Постепенное и прогрессивное увеличение тиража от 1960-го по 1967 год: от 90 тысяч в 1960-м до максимальной цифры в 150 тысяч в 1967 году — свидетельствует о росте популярности журнала Твардовского в этот период.

Далее, уже с середины 1967 года цифра стабильно падает: от 148.800 в седьмом номере за 67-й год до 125.000 в среднем за весь 1969 год, хотя, как явствует из свидетельства, именно в эти годы журнал достиг наибольшей популярности у своих читателей.

Объяснить это можно двумя факторами: искусственным урезыванием тиража журнала, то есть административными мерами, о которых говорилось выше, и, возможно, также регулярными опозданиями журнала в последние годы.

Но как объяснить то, что с начала 1970 года, при новом редакторе «Нового мира» — В.Косолапове, тираж вдруг от самой минимальной цифры за 1969 год — 123.700 доходит до цифры 163.300 в 1970-м, а затем в 1971-м — до 178 тысяч экземпляров?

«Пришёл новый редактор. — объясняет Владимов. — и ему дали дополнительно двадцать—сорок тысяч, для того, чтобы поддержать, сказать: видите, пришёл новый редактор, и у него читателей больше, чем у Твардовского! Всё искусственно. Тогда у нас было 120 тысяч библиотек, — продолжает Владимов, — и любой тираж мог быть распродан просто в порядке, так сказать, приказания, в порядке нагрузки».*

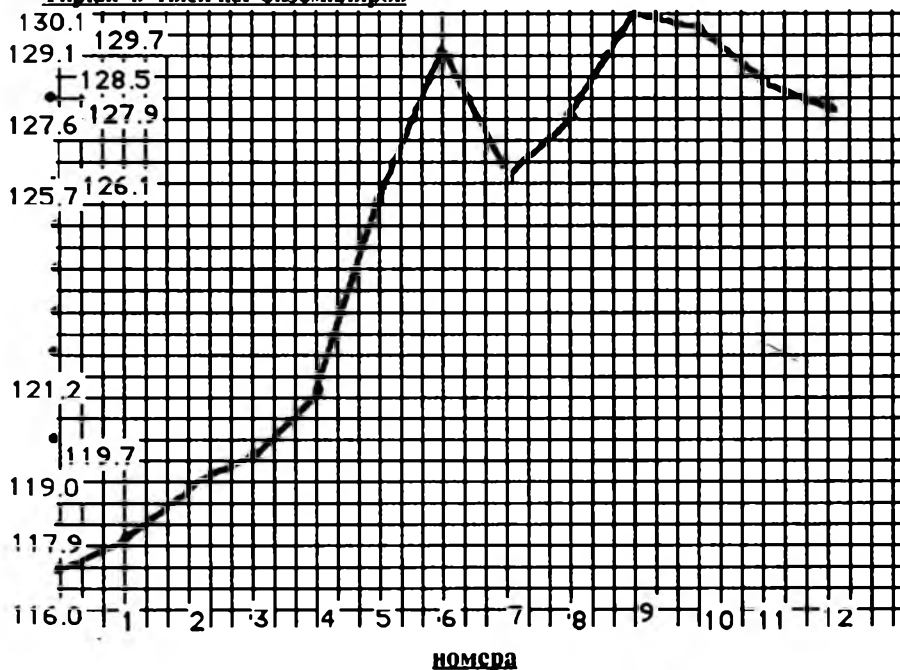
В 1972 году тираж «Нового мира» падает вновь до 155—157 тысяч экземпляров: «Это уже время, — объясняет Ю.Буртин, — когда стала лимитироваться подписка из-за недостатка бумаги».*

Остаётся последний вопрос: колебания тиража от номера к номеру в течение одного года.

Возьмём для примера тиражи «Нового мира» за один какой-либо год — скажем, за 1965-й.

1965 год: вариации тиража за 12 месяцев

Тираж в тысячах экземпляров



Почти все опрошенные нами нововмировцы объяснили колебания тиража от номера к номеру, которые мы наблюдаем на графике, «розницей»: «книготорг мог брать в розницу разное количество, и тогда получалось это колебание цифр», свидетельствует Буртин.* Решение же книготорга, по

словам Б.Закса, зависело от степени популярности того или иного произведения, идущего в номере: «когда напечатано какое-нибудь привлекающее внимание произведение, то розница подскакивает», — поясняет Закс.*

Объяснение это, однако, не вполне удовлетворительно. И вот почему. Раскроем 9-й номер за 1965 год, то есть книжку журнала с наивысшим тиражом за год: здесь напечатано несколько новых стихотворений Твардовского, рассказ Ю.Аракчеева «Подкидьш», публицистика Г.Лисичкина, но главное — повесть и рассказ очень популярного в те годы в СССР Дж.Д.Сэлинджера. Допустим, что высокий тираж этого номера объясняется публикацией произведений в первую очередь этого автора. Возьмём ещё один номер с высоким тиражом — номер десятый. Что могло здесь больше всего привлечь внимание читателя? Возможно, мемуарные записи В.С.Чернявского о С.Есенине? Допустим. А теперь посмотрим содержание первого, самого малотиражного номера за этот год: тут напечатаны и важнейшая программная статья А.Твардовского «По случаю юбилея» (которую мы не перестаём цитировать в нашей работе), и рассказ В.Некрасова «В мире таинственного», и подборки стихотворений А.Ахматовой, Е.Евтушенко, О.Берггольц, Д.Самойлова, тут и публикация стихов и прозы Б.Пастернака, повесть Г.Бёлля, шестая книга мемуаров И.Эренбурга и др. Судя по перечисленным именам авторов и названиям произведений, номер первый должен был бы иметь наивысший тираж за год. Однако этого не случилось.

Да и второй номер — с произведениями И.Эренбурга, В.Войновича, М.Галлая, Ф.И.Тютчева, и третий — со стихами М.Цветаевой, мемуарами И.Эренбурга — также, на наш взгляд, представляли интерес для читателя, однако вышли наименьшим тиражом за год.

Всему этому возможно лишь такое объяснение: тиражи тех лет следует рассматривать как некую переменную величину, зависящую то от административных указаний, то от факторов, действительно имеющих отношение к спросу на журнал. Однако проконтролировать каждый такой случай представляется задачей сложной.

Стабильную же цифру тиража «Нового мира» в 140 тысяч экземпляров за период от 1954-го по 1959 год вообще можно объяснить лишь административным каким-то предписанием.

3. КОНТИНГЕНТ ЧИТАТЕЛЕЙ «НОВОГО МИРА»

Популярность журналов по категориям читателей (По итогам анкеты «ЛГ»)

«Юность»	студенты, учащиеся (51,5%); учителя-гуманитарии, учёные средней квалификации-гуманитарии и врачи (более 40%)
«Новый мир»	писатели и журналисты (более 50%); работники культуры и учёные (40%); рабочие (читают меньше всего) (9,2%)
«Иностранная литература»	работники культуры (28,9%); учёные, писатели, журналисты (27%); наименее популярен у парт. работников (4,9%)

«Октябрь» парт. работники (наиболее популярен) (14,7%); работники культуры, учителя, журналисты (более 10%); представители свободных профессий (менее всего) (1,1%)(8).

Следует обратить внимание на следующую информацию относительно журнала «Октябрь»:

«Остальной тираж журнала распределяется среди рабочих, служащих, учёных средней квалификации (главным образом естественников, студентов, учащихся и пенсионеров). Распределение среди подписчиков «ЛГ» других журналов лишено столь же ясной избирательности»(9).

Подавляющее большинство читателей «Нового мира», судя по результатам анкеты, — работники умственного труда, интеллигенция. В связи с этим может возникнуть вопрос: не был ли «Новый мир» в некотором роде элитарным изданием? И, кроме того, какие социальные прослойки следует относить к интеллигенции?

Александр Твардовский в своей новомирской статье «По случаю юбилея» пишет, например, что в лице читателей журнала мы имеем представителей «буквально всех слоёв и прослоек: рабочие, инженеры, учителя и врачи — городские и сельские, агрономы, колхозники, учащиеся, военнослужащие и партийные работники, пенсионеры, домохозяйки, наконец, журналисты и писатели, выступающие в роли читателей» (1965, 1, с.15).

Владимир Лакшин в интервью автору настоящей работы называет основным читателем журнала интеллигенцию, большую часть которой, по его словам, составляла научно-техническая прослойка. Лакшин указывает также на «большой эффект» журнала в среде провинциальной интеллигенции и на сравнительно небольшое число читателей «Нового мира» среди рабочих*.

Игорь Виноградов определил «основного читателя» «Нового мира», используя старый термин «земской интеллигенции». Понятие «интеллигенция», в свою очередь, по Виноградову, следует интерпретировать широко в условиях Советского Союза. Оно включает, по его словам, всю мыслящую публику, среди которой могут быть и представители рабочей интеллигенции, и крестьяне, и агрономы». Как и Лакшин, Виноградов указывает на довольно обширный деревенский контингент, объясняя этот факт тем, что деревенская проблематика была постоянной темой публикаций «Нового мира». По его словам, это был демократический журнал, рассчитанный на самые широкие слои, и в силу этого нельзя говорить о его элитарности. Тогда как в смысле его уровня и критериев в каком-то смысле, согласно Виноградову, можно назвать журнал элитарным: «Новый мир» не был изданием так называемой массовой культуры, ширпотребной.*

Раиса Орлова также выделяет провинциальную интеллигенцию в числе основного контингента читателей журнала.

«Я очень часто читала лекции, ездила по стране, — свидетельствует Орлова, — и везде находила книжки «Нового мира». В каком-то смысле это

был элитарный журнал, это был некий флаг: входя в дом, если я видела «Новый мир», мне было более или менее в те годы понятно, с кем я имею дело».*

«Это был журнал не об интеллигенции, но для интеллигенции», — заметил в беседе с автором настоящей работы Георгий Владимов. Поэтому, по его словам, основными читателями «Нового мира» были не крестьяне и не рабочие, а обычно научные сотрудники, учёные, работники культуры. «Вокруг «Нового мира», — свидетельствует Владимов, — постоянно закручивались какие-то скандалы, конфликты. Потом, при Твардовском, «Новый мир» действительно стал «наступательным», а с какого-то момента его можно сравнить с броненосцем «Потёмкинским», который оцетинясь идёт на эскадру».*

4. КАКОВ БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ПОТОК ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ, ПРИХОДЯЩИХ В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО МИРА»?

А.Твардовский в статье «По случаю юбилея» пишет, что журнал «обязан своими успехами не только узкому кругу редакционных работников» и «усилиям» авторского актива, но и тому, «гораздо более обширному кругу наших друзей-читателей, наших корреспондентов, подающих свой голос со всех концов». И далее, говоря о редакционной почте, Твардовский указывает на интересную для нас деталь. Оказывается, что «поступающий в журнал, так называемый, литературный «самогёк» уступает количеству писем, содержащих в себе читательские отклики на опубликованные в журнале (и не только в нашем журнале) материалы» (1965, 1, с.15).

Кроме того, Твардовский замечает, что нельзя забывать о «широчайшей, так сказать, представительности этих документов: под каждым письмом, — пишет он, — нужно как бы видеть десятки, а то и сотни подписей других людей, собиравшихся, но по разным причинам не собравшихся написать и отправить то же самое или подобное тому, что содержится в каждом индивидуальном письме. А не редкость, — заканчивает Твардовский, — и письма/.../ коллективные, с несколькими или целым списком подписей» (1965, 1, с.16).

Владимир Лакшин в статье «Читатель, писатель, критик» 1965 года даёт нам цифру этих поступлений — несколько тысяч писем в год, а «последние полтора-два года, — говорится в статье, — почта была обширной, как никогда» (1965, 4, с.226), ибо, как объяснил Лакшин в интервью автору настоящей работы, «чем активнее «Новый мир» подвергался нападкам со стороны официальной советской критики, тем более возрастала защита читателя».*

Об «огромном» потоке писем свидетельствуют и другие сотрудники редакции. Анне Берзер, например, как редактору отдела прозы, запомнились, в частности, два случая: «огромный поток писем на «Ивана Денисовича» и на «Неделю как неделя» Н.Баранской».*

Игорь Виноградов отметил, что особенно много писем редакция получала по поводу острых публикаций.*

Георгий Владимов, работавший редактором на «самотёке» в отделе прозы в годы, когда «Новый мир» возглавлял К.Симонов (октябрь 1954 — июнь 1958 гг.), сравнивая два периода, отметил, что в эпоху редакторства Симонова письма были по большей части «штампованные», вроде тех, которые печатали в газетах: не написанные самими «знатными сталеварами», допустим, а написанные за них журналистами. «Живые письма», по свидетельству Владимова, стали поступать в период, когда журнал приобрёл какую-то популярность, во-первых. А во-вторых — в тот момент, когда читатели почувствовали, что ему угрожает какая-то опасность. Тогда-то и стали приходить в редакцию сочувственные, тёплые письма, — в общем, — заключает Владимов, — появилась искренняя заинтересованность читателя в своём журнале».*

5. В.ЛАКШИН О «НОВОМИРСКОЙ ПОЧТЕ»: ПОЧЕМУ ЧИТАТЕЛИ ПРИСЫЛАЮТ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ? «ИДЕАЛЬНЫЙ» ЧИТАТЕЛЬ (Из статьи «Читатель, писатель, критик», 1965 г.)

«Что же побуждает читателя в конце рабочего дня, отрывая время у отдыха и общения с близкими, садиться и писать письмо в редакцию? Какие вопросы занимают и трогают людей, приславших вот эти, вырванные из делового блокнота или ученической тетради, густо исписанные листки?», — пишет Лакшин в своей первой статье о читателе и, отвечая на поставленные вопросы, выделяет четыре типа писем, приходящих в редакцию:

- 1) письма, «что пишутся от нечего делать»;
- 2) письма от читателя, одержимого «зудом общения с писателем».

Вероятно, об этой второй категории читателей Твардовский писал в своей поэме «За далью — даль»:

Провинциальный ли, столичный —
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт,
Заполнить устную анкету
И на досуге, без помех
Призвать, как приятно, к ответу
Не одного тебя, а всех
Того-то вы не отразили,
Того-то не дали опять.
А сколько вас в одной России?
Наверно, будет тысяч пять?
Мол, дело, собственно, не в счёте.
Но мимо нас проходит жизнь...(10).

Между тем эти первые две категории читательских писем, которые выделяет Лакшин, представляют собой, как он пишет, меньшинство в общем потоке.

«Более обширную и более симпатичную категорию» составляют, по выражению критика, читатели третьей категории:

3) письма которых вызваны непосредственным, доверчивым отношением к прочитанному. Таких читателей «обычно очень занимает сам ход интриги («Вот ведь как оно в жизни бывает!») и сильно заботит развязка».

И, наконец, четвёртый тип составляют письма

4) «идеального читателя», тонко чувствующего и понимающего искусство. Такой читатель пишет не часто, — подчёркивает Лакшин, — раз уж уж сел, то значит что-то сильно его тронуло, озадачило. «Идеальный» читатель, читатель-друг. — объясняет Лакшин, — чаще всего берётся за перо тогда, когда вокруг книги, чем-то ему близкой (или, напротив, чуждой), возникает полемика и критика, по его мнению, как бы узурпирует права читателя в оценке произведения».

«Идеальный» читатель, читатель высшего порядка, имеет, однако, в виду не одно своё непосредственное впечатление, но и общественную оценку книги, как она складывается в критике» (с.227—228).

6. О СОДЕРЖАНИИ И ХАРАКТЕРЕ ПИСЕМ

«Суд читателя — высшая инстанция для литературы./.../ Но так же как не всех пишущих романы, стихи и пьесы мы решились бы назвать писателями, так и не всех ч и т а ю щ и х можно назвать ч и т а т е л я м и в высоком и ответственном смысле слова», пишет Лакшин в своей статье «Писатель, читатель, критик» 1966 года (1966, 6, с.248)(11).

Твардовский в статье «По случаю юбилея» говорит об эпистолярной форме, общем содержании и характере писем, получаемых редакцией «Нового мира»:

«Здесь и письма, часто в объёме развёрнутых критических отзывов, принадлежащие перу людей, литературно подготовленных, и отклики, написанные рукой, вовсе не привычной к изложению на бумаге понятий, выходящих за пределы житейского и делового обихода./.../ При подавляющем большинстве положительных оценок читателями произведений, публикуемых «Новым миром», имеются, конечно, и отзывы критические, порой резко отрицательные, ставящие под вопрос правомерность самого опубликования той или иной вещи. Наличие таких противоположных взглядов на литературно-художественные произведения и иные материалы, появляющиеся в журнале, само по себе характерно и показательны для нынешнего повышенного уровня общественного сознания».

Конечно, читательская критика нередко повторяет в более или менее упрощённой форме заблуждения или навыки профессиональной, которая в известной части несёт на себе отпечаток строя мышления и понятий, приёмов и методов миновавшего времени. Но теперь всё больше читателей, которые способны и возразить профессиональной критике, и поправить её. А бывает и так, что мнения читателей кристаллизуются неожиданным для критики образом — под её воздействием, по вопреки ей. Это происходит как в том случае, когда она настоятельно рекомендует произведения, не затронувшие читателей, так и тогда, когда своим необъективным, бездоказательным осуждением иных явлений литературы вызывает у читателей реакцию, которая не входила в расчёты этой критики./.../ Сегодняшнего читателя — с

его повышенной взыскательностью и к произведениям литературы и к суждениям о них -- не так легко сбить с толку» (1965, 1, с.16).

7. О ДОГМАТИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В своей статье «Писатель, читатель, критик» 1966 года Лакшин в шестой главке разбирает тот тип читательской критики, которая, как указал Твардовский в своей юбилейной работе, «повторяет в более или менее упрощённой форме заблуждения или навыки профессиональной» (с.16). По сути дела, речь идёт о той наследственной болезни сознания, источником которой являлась более чем тридцатилетняя антидемократическая воспитательная пропаганда и которая сказывалась ещё до совсем недавнего времени на отсутствии у целой категории читателей собственного суждения, на шаблонном мышлении, испорченном эстетическом вкусе и оценке того или иного произведения искусства по готовой формулировке, — вот что имели в виду Твардовский и Лакшин в приведённых выше выдержках.

«В догматизме вовсе не всегда следует искать некую злонамеренность, — писал Лакшин в своей новомирской работе 1965 года «Против догматизма и фразы». — Часто это лишь след ограниченности, тяги к привычному, устоявшемуся, канонизированному» (1965, 5, с.265).

В статье «Писатель, читатель, критик» 66-го года Лакшин подробно разбирает, опираясь на новомирскую почту, конкретные примеры догматического способа рассуждений у ряда читателей в их оценках художественных произведений. Приведём этот **пассаж из статьи Лакшина:**

«Согласитесь, трудно поверить, что повесть эту писал человек опосредованно. Бесспорно, материал, если можно так выразиться, собран автором в процессе личного эмоционально-осмысленного восприятия...»

Что это? Чья это речь? Кто говорит так о привлёкшей его внимание книге -- сухой педант или утомлённый своей учёностью критик? — ставит вопросы Лакшин. — Нет, это обычный, рядовой читатель из Нижнего Тагила, который начитался критических статей и боится отстать от них./.../

Это касается формы высказывания, — замечает Лакшин, — по ведь и суждения и оценки часто берутся читателем в «готовом» виде. Печатный текст имеет ещё для многих завораживающую силу», — подчёркивает критик.

«Года три тому назад, — продолжает Лакшин, — Расул Гамзатов опубликовал новый цикл своих стихотворений и среди них «Строфы о собраниях» и «Песню, которую поёт мать своему больному сыну». Эта публикация, — рассказывает критик, — была встречена добрыми отзывами, но откликнулись на неё и протестующие голоса. То не были, — подчёркивает Лакшин, — голоса критиков — перед нами счастливый случай, когда критика на редкость благосклонна к поэту. То были голоса читателей».

Далее автор статьи приводит начальные строки стихотворения Р.Гамзатова «Строфы о собраниях»:

Собрания! Их гул и тишина.

Слова, слова, известные заранее.

Мне кажется порой, что вся страна

Расходится на разные собрания.
 Взлетает самолёт, пыхтит состав.
 Служильный люд спешит на заседания.
 А так в речах — каких не косят трав,
 Какие только не возводят здания!
 Сидит хирург неделю напролёт,
 А где-то пусты операционные,
 Неделю носом камешкирко клюёт,
 А где-то стены недоовождённые...

«В журнале «Новый мир» напечатаны стихи Расула Гамзатова «Строфы о собраниях» и «Песня, которую поёт мать своему больному сыну», — пишет в редакцию инженер Нефедьева. — Я удивлена и возмущена тем, что их поместили в журнале. Первое из них обливает грязью всю нашу жизнь, клеветает на нашу действительность, что ни строка, то ложь, клеветец на врачей, хирургов, камешкирков».

«Мне не кажется большой бедою», — комментирует письмо Нефедьевой Лакшин, — что инженер Нефедьева рассуждает о стихах Гамзатова с таким апломбом./.../ Не слишком тревожит меня и то, — продолжает своё рассуждение критик, — что товарищ Нефедьева восприняла сатирический текст буквально./.../. Что сказала бы она о стихотворении Маяковского «Прозаседавшиеся», герои которого разрываются на заседаниях — «до пояса здесь, а остальное там»? — подчёркивает Лакшин./.../ —! Больше заботит меня, однако, в письме Нефедьевой другое — та лёгкость, с какой она оперирует готовыми словосочетаниями: «обливает грязью всю нашу жизнь», «клеветает на нашу действительность», «что ни строка, то ложь...». Автор письма не выбирает выражений, потому что думает, что так принято поступать, если поэт совершил ошибку, или нам только покажется, что он её совершил, — с ним нечего церемониться. Тов. Нефедьева пользуется проверенным критическим способом — «так в жизни не бывает». «Собранный в последнее время стало намного меньше», — сообщает она. Но пишется это в 1963 году...

«А там в речах — каких не косят трав, какие только не возводят здания...» — чтобы написать эти открыто публицистические, лукавые стихи, кроме поэтического таланта, нужно было ещё и гражданское мужество, — пишет Лакшин./.../ — Всерьёз спорить с тов. Нефедьевой — значило бы, вероятно, оказаться в смешном положении. Можно просто сказать, что она не поняла смысла прочитанных строк, и поставить на этом точку. Однако выяснить, в чём основа этого недоразумения, почему читательница истолковала стихи так, а не иначе, каким готовым стереотипом суждений она руководствовалась, было бы, пожалуй, полезно. Инженер Нефедьева слыхала, что художественная литература должна быть назидательной, воспитывать на образцах и избегать даже упоминания о том, что могло бы послужить дурным примером, — и она глубоко усвоила это. Она привыкла думать, что те или иные отрицательные явления и типы (скажем, пьяницы, стилиги, тунеядцы) не потому изображаются искусством, что они, к сожалению, ещё бытуют в жизни, а, напротив, по злокозности или недомыслию некоторых авторов, придумываются литературой и вследствие этого переходят в жизнь. Таким образом, отражение становится как бы первичным, а действительность — вторичной по отношению к нему. Необходимым дополнением к этому взгляду служит то, что изображение нездоровых явлений или хотя бы упоминание о них считается уже их признанием, апологетикой, за которую автор должен нести ответ. Как будто бы нам легче было бы знать, что эти

неприятливые явления и типы продолжают встречаться в жизни не тронутые, не отражённые искусством и, таким образом, как бы вовсе не существующие при всей несомненной реальности своего бытия!.../

Как видим, в суждениях инженера Нефедьевой!.../ не так уж много индивидуального. Она лишь доводит до логического конца то, что по отношению к другим именам и книгам нередко провозглашалось критикой», — заканчивает разбор письма Нефедьевой Лакшин (1966, 8, с.250—253).

Рецидивы описанного Лакшинным феномена, однако, известны и в атмосфере горбачевской «перестройки». Они, обнаруживается, и представляли собой главный тормоз демократизации и модернизации системы.

Ю.Буртин в одной из публикаций конца 80-х гг., разбирая отзывы читателей на его статью о поэме Твардовского «По праву памяти» и о «Новом мире» 60-х годов, пишет в частности, что «Вопрос о Сталине» остается «коренной проблемой социально-исторической перспективы» страны(12). Различая в сталинизме 80-х гг. два типа — сталинизм, так сказать, начальственнно-бюрократический и сталинизм массовый, «низовой», критик подчёркивает, что этот второй тип и представляет собой действительно «серьезную проблему». Ибо если первый «корыстен», «хитёр, демагогичен, уклончив», «обслуживается определённой частью профессиональной публицистики и литературы» и «говорить с ним, в сущности, не о чем», пишет Буртин, то второй, по сути, является таковым в силу своей неинформированности, неосведомлённости и отсутствия самосознания:

Он «не знает толку в!.../ дипломатических уловках, он беззащитно откровенен и прост», «плохо информирован и потому то и дело весьма неловко затрагивает вещи, о которых недостаточно осведомлён», он «до недавнего времени не имел возможности открыто высказать себя, довольствуясь в основном портретами Вождя на ветровом стекле автомашин, да и нынче участвует в печати едва ли не только в жанре читательского письма»(13).

Почему этот второй тип сталинизма является, по мнению Буртина, «серьезной проблемой», можно объяснить на примере процедуры судебного процесса над поэтом И.Бродским в 1964 году в Ленинграде, который описывает в своей автобиографической книге «Записки незаговорщика» доктор филологических наук, профессор Ефим Эткинд.

Эткинд — один из немногих, кто присутствовал на процессе И.Бродского, — описывает механизм того, как складывается так называемое общественное мнение и к каким пагубным исходам оно иногда приводит. Тут речь уже не идёт о простом письме в редакцию журнала с осуждением стихов Гамзатова — Гамзатов от оценки своих произведений инженером Нефедьевой не очень пострадал. Речь идёт о более серьёзном феномене, который Эткинд называет «революционным правосознанием»; «теория» которого «проявляется во всех наших так называемых политических процессах»: газетные проработки Бориса Пастернака в 1958 году, А.И.Солженицына — в 1974 году, когда «свои суждения произносили сталевары, писатели, физики, актёры, трубоукладчики, и всё только на основании прочитанного в газете»(14).

Что же это такое — «теория революционного правосознания» в практике?

Е.Эткинд рассказывает:

«В ходе суда над Бродским выступали свидетели обвинения, которые — все как один — говорили: «Я Бродского не знаю, со стихами его не знаком (или — почти не знаком), но то, что он делает, возмутительно». Вот трубоукладчик УНР-20 Денисов показывает: «Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности./.../». Трубоукладчик Денисов, — анализирует феномен Е.Эткинд, — знает о поэте только то, что он «тунсядец». О Бродском напечатали газеты, и он верит газетам, потому что так ему подсказывает классовая интуиция. Он верит газетам, на основании газетных статей произносит обвинительную речь, а потом газеты верят ему и на основании его речи печатают статьи, ещё более обвинительные. Возникает порочный круг: газеты — Денисов — опять газеты, а потом приговор»(15).

Далее Эткинд рассказывает о другом таком же случае на процессе, когда прокурор заявил, что статья о Бродском, напечатанная в «Вечерней Москве», породила особенно большой поток возмущённых писем от молодёжи: «Молодёжь считает, что ему не место в Ленинграде. Что он должен быть сурово наказан». Таким образом, — пишет Эткинд, — получится опять порочный круг: «статья в газете — письма молодёжи о Бродском; на основании статьи в газете — публикация этих писем в газете — осуждение на основании требований, содержащихся в этих письмах».

«А если статья в газете — солгала?», ставит вопрос автор книги. И далее говорит, что так оно и было: газета напечатала стихи, не имевшие отношения к Бродскому.

«Но «молодёжь» верит газете, а газета верит молодёжи. Все на веру — а это и есть «революционное» и «классовое» правосознание. Вера — вместо доказательств» (16)(17).

8. АНОНИМНЫЕ И ИНСПИРИРОВАННЫЕ ПИСЬМА

«Я затруднился бы сказать, какие читательские отзывы — отрицательные или похвальные /.../, вернее всего сказать, что все, за исключением анонимных», — «все в целом эти отзывы представляют несомненное свидетельство существования и необходимости литературного дела в его практической журнальной форме» (А.Твардовский, «По случаю юбилея»).

В четвёртом номере издания Московского университета «Журналист» за 1968 год была опубликована статья Феликса Кузнецова под названием «Критика начинается с критика».

Ф.Кузнецов писал там, между прочим, о «трудной судьбе» некоторых недавно появившихся художественных произведений, перечисляя главным образом новмирские публикации и имея в виду под «трудной судьбой»

резкую критику этих вещей в прессе. Но вот «что особенно тревожило» Кузнецова:

«...Это весьма своеобразное использование некоторыми редакциями доброго имени читателя; когда нужно учинить разнос, читательское письмо используется как щит, прикрывающий намерения редакции. Иногда, — подчёркивает Кузнецов, — как в случае с «Вологодской свадьбой» (А.Яшина), читательские письма прямо инспирируются. Многие письма подлинны, но односторонни. Читатель вправе судить обо всём, но мы-то не вправе судить его как критика-профессионала, должны понять его вольную односторонность. И тогда рядом с письмом место объективному комментарию, как это делалось в своё время в «Литературной газете»(18).

Практика подделывания читательских писем, описанная Кузнецовым, не является новинкой в истории журнальной жизни в России. Мы уже приводили строки из статьи В.Лакшина «Читатель, писатель, критик», где он рассказывал о фабрикации в прошлом столетии читательских писем Фацдем Булгариным.

В 60-е годы за подписью «Литератор» часто публиковались статьи и заметки во многих органах советской печати, и в частности в «Литературной газете», в журнале «Октябрь», и именно в тех случаях, когда требовалось выступить с каким-либо идеологическим «разносом», выразить мнение некоторой группы лиц, не имевших смелости или не желавших по чисто конъюнктурным соображениям назвать свои имена публично. Так, например, в момент последней массивной атаки на «Новый мир», вслед за «письмом одиннадцати» в «Огонёк», «Литературная газета» А.Чаковского 27 августа 1969 года опубликовала статью за подписью «Литератор», в которой резко критиковались новомирские публикации, и в частности статья А.Дементьева «О традициях и народности». По заверению «Литератора» эта публикация Дементьева «вызвала справедливый протест писателей, напечатавших в журнале «Огонёк» коллективное письмо «Против чего выступает «Новый мир?»»(19).

Стоит ли говорить, что Твардовскому и авторам его журнала подобная практика выступлений была чужда, да и не было нужды фабриковать письма, так сказать, от лица народа, ни скрывать своего лица, пользуясь псевдонимом «Литератор».

В июле 1969 года Твардовскому непосредственно самому пришлось иметь дело с инспирировавшимся письмом.

31 июля 1969 г. газета «Социалистическая индустрия» напечатала «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» тов.Твардовскому А.Т.» от некоего токаря Подольского машиностроительного завода М.Захарова. И хотя фамилия автора письма была названа, Твардовскому было совершенно ясно, что это письмо — грубый фарс, автором которого является не какой-то один человек, а определённая группа ненавистников его журнала.

О том, что письмо это было сфабриковано, также свидетельствовала и манера, в которой оно было написано, — гротескная стилизация под речь простого человека: «Спросил меня мой товарищ, рабочий наш...»; «и наш брат, рабочий, свои замечания высказывал» и т.д. и т.п.

Лакшин в своей статье «Не впасть в беспамятство» поймал на слове «автора» — Захарова. Выступая от имени всего рабочего класса, Захаров призывает Твардовского как руководителя литературного издания к ответу, «а то, — жалуется Захаров, — стоит рабочему высказаться по поводу литературы, как некоторые критики пишут: вы занимайтесь своим делом — сталь варите да хлеб сейте, а уж литературу оставьте нам». На это Лакшин метко среагировал: «это рабочий-то сеет хлеб?!»(20).

Письмо содержало, кроме того, совсем неискреннюю, мягко говоря, критику новомирских публикаций: мол, нет там ничего про рабочих, не видно там, де, нового мира:

«Стал я вспоминать, — пишет «Захаров», — что же я читал на страницах «Нового мира» про рабочий класс за последние два года, а вспомнить и нечего. «Юность в Железнодорожске», два, три рассказа. Ещё раньше — «Семеро в одном доме». Но какой же примитивный в этих произведениях рабочий класс! Погрязший в бытовщине, без идеалов. Обязательно за рюмкой водки, бескрылый какой-то. Создаётся впечатление, что Вы, Александр Трифонович, не видите, какие люди вокруг Вас выросли»(21). И далее в том же духе.

Конечно же, этим письмом было выражено отношение литературных генералов к журналу Твардовского. Не странно поэтому и тот факт, что рабочий Захаров оказался на редкость активным читателем (а мы видели, что «Новый мир» меньше всего читали рабочие), который знаком не только с прозой журнала, но и с литературной критикой, и со статьёй А.Дементьева «О традициях и народности», в частности:

«Дементьев в своей статье, — пишет Захаров, — ругает тех, кто о деревне много пишет, а ведь в «Новом мире» почти вся проза про деревню, да и очерки тоже. Только деревня в Вашем журнале выглядит чаще всего мрачной и неуютной»(22).

В конце «своего письма» автор просил Твардовского откликнуться, «дать свой ответ по существу».

Твардовский опубликовал на это следующее заявление:

«Дорогие товарищи!

Я буду рад ответить на все вопросы «Открытого письма» Героя Социалистического Труда тов. Захарова, но мне необходима некоторая помощь вашей редакции.

Не могла бы редакция:

1.Прислать мне хотя бы фотокопию «Письма» тов.Захарова.

2.Сообщить мне хотя бы самые общие анкетные сведения об авторе «Письма»: имя, отчество, возраст, семейное положение, впервые ли выступает в печати, а также домашний адрес тов.Захарова: я хотел бы запросить его относительно некоторых неясностей в его «Открытом письме»(23).

Далее в своём заявлении Твардовский заранее благодарил редакцию за выполнение своей просьбы и обещал представить в положительном случае свой ответ.

На газетной странице вслед за этим заявлением редактора «Нового мира» следовало обращение Захарова к Твардовскому с упреком в оскорбительном недоверии к себе и к редакции: послать, мол, фотокопию

письма! «Это как раз и есть то недоверие к мнению рабочего, — возмущался Захаров, — о котором я говорил в письме», — и далее излагал свою «героическую» биографию. Адрес же Захаров так и не сообщил, указав главному редактору «Нового мира» на то, что он — известная личность на заводе и Твардовскому, мол, стоило бы поинтересоваться...

После «письма Захарова» редакция «Соц. индустрии» также посчитала необходимым высказаться. Но так как Захаров и редакция — одно и то же лицо, то, естественно, она также оскорбилась недоверием главного редактора «Нового мира», а в ответ на запрос Твардовского выслать анкетные данные рабочего Захарова с возмущением заявила следующее:

«Если бы А.Т.Твардовский и редколлегия «Нового мира» стремились показать на страницах своего журнала подлинных героев советского рабочего класса /.../, им не потребовалось бы наводить справки о том, кто такой Захаров. Он неминуемо оказался бы в поле их зрения»(24).

9. ОРИЕНТАЦИЯ РЕДАКЦИИ НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«Журналы издаются не для внутривидеотекстового потребления/.../, но в первую очередь для удовлетворения духовных запросов широких читательских кругов. И степень заинтересованности этих кругов, не причастных ко внутривидеотекстовым столкновениям и счётам, в утверждении или отвержении тех или иных фактов литературы и искусства чаще всего определяет меру жизненности и долголетия этих книг, фильмов, спектаклей» (А.Твардовский, «По случаю юбилея»).

А. КТО ЗАНИМАЛСЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТОЙ В СТЕНАХ «НОВОГО МИРА»?

Б.Закс: «Читательские отклики делал тот отдел, на который читатель откликался. Если речь шла о романе, то готовил отдел прозы, если о критической статье, то — отдел критики, если об очерке, то — отдел публицистики. Но больше всего это тяготело к отделу критики».*

В. КОЛИЧЕСТВО НАПЕЧАТАННЫХ ПИСЕМ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОСТУПЛЕНИЕМ

Эту информацию мы находим лишь в пределах одной фразы из юбилейной статьи Твардовского: главный редактор сожалеет, что «совсем незначительная часть» той огромной корреспонденции, которую получает журнал, «находит место на столбцах» рубрики «Трибуна читателя» или тематических обзоров (1965, 1, с.15).

С. УЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И РАБОТА С ПИСЬМАМИ

«...Редакция внимательно и бережно относится ко всему этому потоку читательских мнений, суждений, критических замечаний и предложений, —

писал А.Твардовский в статье «По случаю юбилея». — Все письма тщательно читаются, сохраняются и изучаются и, если это не противоречит намерениям наших корреспондентов, пересылаются в копиях авторам произведений, о которых идёт речь в письмах» (1965, 1, с.15—16).

«Твардовский считал, — рассказывал Георгий Владимов в беседе с автором настоящей работы, — что наш советский читатель страшно испорчен. У него вообще нет представления о том, что такое читательское письмо. Большинство писем — это поучения: писателя учат, как ему следует писать свои романы, причем со знанием своего превосходства. Это была одна из форм давления на писателя. Твардовский говорил: «Вот какого страшного читателя мы воспитали!». И у него постепенно созрела мысль дать дорогу настоящему, неспровоцированному читательскому письму. Тогда и появился такой регулярный отдел, как «Трибуна читателя»(25). Это шло из номера в номер, они печатали по два, иногда по три письма, и за каждый год выходило два десятка писем, они были очень интересными и читались как критические произведения»*. Владимов замечает далее, что письма читателей печатали и раньше, но это было спорадически, тогда как у Твардовского, по мнению Владимова, у первого появился целый отдел. И это было политикой. В качестве примера он привел письма читательницы из Киева — Галины Зинченко, которая, по его словам, делала «очень квалифицированный разбор» повести В.Некрасова «В родном городе».*

Владимир Лакшин назвал читательские письма «одним из главных элементов литературной политики журнала».*

Юрий Буртин по поводу этого высказывания Лакшина заметил:

«Твардовский был человек естественный, и естественные взаимоотношения литературы и читателя он ставил во главу угла: литература делается для читателя, а не для чиновника, который сидит в кабинете. Скажем, всякие полемички — давайте их вести в печати, если дело касается общества, а не каких-то пустяков. Так что и отношение к читательским письмам, — заключает Буртин, — было нормальное, уважительное, но без какой-то такой молитвенности и без преклонения».*

10. НОВОМИРСКИЕ РУБРИКИ «Трибуна читателя» И «ОТ РЕДАКЦИИ»

Ещё в первый период редакторства Твардовского в «Новом мире» (1950—1954) в журнале существовала рубрика «Трибуна читателя». Мы находим её:

в 1951 году — во 2-м, 4-м, 8-м и 11-м номерах,

в 1952 году — в 4-м номере,

в 1954 году — в 4-м и 12-м.

Была «Трибуна читателя» и в журнале Симонова (1954—1958), но только в двух номерах за 1955 г. — во 2-м и в 4-м. Однако с 1956 г. «Трибуна читателя» исчезает, вместо неё появляется рубрика «Реплики». Здесь с замечаниями и конкретными предложениями на самые различные темы выступают писатели, художники, артисты, общественные деятели. И как бы в дополнение к «Репликам» печатается два обзора писем под

названием **«Читатели о репликах»**. Однако само название этой рубрики говорит о том, что здесь публикуются лишь те письма читателей, которые содержат отклики на темы и сюжеты, затронутые писателями, учёными и артистами в «Репликах». И хотя в примечании к этому разделу говорится, что целью его является «привлечение к тем или иным проблемам внимания общественного мнения»(26), однако читательское письмо ограничено всё-таки рамками рубрики.

В «Новом мире» Симонова появляется также сатирическая рубрика **«Между прочим...»**, где печатаются отдельные курьёзы, встречающиеся в прессе. Авторы этой рубрики нередко подписываются инициалами.

В недавней своей статье бывший новомирский критик Наталья Ильина писала по поводу этого раздела:

«...В годы редакторства К.М.Симонова в журнале существовал уголок юмора под названием «Между прочим...», куда я изредка писала сатирические заметки. Но в 1958 году журнал вновь возглавил Твардовский и уголок юмора отменил. Позже я услышала от Александра Трифоновича, что он испытывает неприязнь к такому рода «уголкам», ибо это не что иное, как стремление загнать сатиру в угол. Читателя словно бы предупреждают: тут у нас юмор. Мы шутим. Не вздумайте обижаться, это шутка! Твардовский не желал превращать сатиру в шутиху, скромно засевшую в отведённом ей месте...Он серьёзно отнесся к этому жанру»(27).

С возвращением Твардовского в журнал, как уже упоминалось, с 1959 года, восстанавливается раздел **«Трибуна читателя»**, а кроме того открывается новая рубрика **«От редакции»**.

В первом таком обращении «От редакции», в 1959 году, сообщается, что одним из наиболее «запущенных» является раздел «Трибуна читателя»: «он должен появляться в журнале чаще и регулярнее, тем более, что нет недостатка, — говорится в тексте обращения, — в письмах читателей, нередко весьма содержательных и ценных» (1959, 10, с.287).

В 1959 году появляется два номера с «Трибуной читателя».

В номере первом опубликовано письмо закройщицы из Киева Галины Зинченко, в котором читательница сожалела, что между повестью В.Некрасова «В родном городе», печатавшейся в «Новом мире», и её экранизацией так много расхождений. Здесь же опубликовано письмо другого читателя — библиотекаря Г.Шукста из Москвы, в котором он критикует повесть М.Еленина «Последний экзамен», вышедшую в 1958 году в Ташкенте, за иллюстративность в изображении действительности.

В номере третьем за этот же год помещён материал сотрудников ГБЛ, которые поднимают ряд вопросов, связанных с проблемами жанра научно-популярной литературы.

В 1960-м году «Трибуну читателя» мы находим в четырёх номерах. Тут и отзывы на новомирские публикации, например подборка писем с различными оценками романа и критики на роман Н.Давыдовой «Любовь инженера Изотова», опубликованный в «Новом мире» в начале года. Есть в этой «Трибуне» и письма читателей, высказавшихся по поводу публикаций других литературно-общественных изданий. Например, письмо-рецензия всё той же Г.Зинченко на роман В.Салтыковой «Маше двадцать семь лет», напечатанный в 4-м и 5-м номерах журнала «Октябрь».

В 1961 году «Трибуна читателя» появляется только в двух номерах — в 1-м и во 2-м. В обращении «От редакции» же говорится, что «публикация кратких отчётов об итогах истёкшего журнального года и планов на будущее становится традицией «Нового мира». В ответ на это читатели шлют нам письма с замечаниями и предложениями», за что «редакция журнала «Новый мир» благодарна читателям» и ждёт от них в новом году «советов и деловой критики» (1961, 10, с.320).

Приблизительно такого же содержания и обращения «От редакции» 1962 и 1963 гг.

В 1963 году «Трибуна читателей» публикует письма по поводу дискуссии вокруг школьного обучения» (1963, 9, с.259—279), отзывы читателей на рассказы А.Солженицына, главным образом в поддержку автора «Для пользы дела» от резкой критики рассказа Ю.Барабашем на страницах «Литературной газеты»(28). Есть в этой «Трибуне» и письма-отзывы на другие публикации.

В 1964 году письмам читателей отводится всё ещё три номера в год, однако в обращении «От редакции» сообщается: «Большое количество писем в редакцию позволило нам систематически и разнообразнее строить «Трибуну читателя». Выступая по разным вопросам, и в частности с оценкой книг, с анализом некоторых сторон литературной жизни, читатели делают немало глубоких и дельных замечаний. Сошлёмся хотя бы на статью библиотекаря И.Травкиной «Гармония внешняя и внутренняя» в седьмом номере журнала. В будущем году редакция намерена публиковать «Трибуну читателя» ещё чаще. При этом трибуна будет отдана не одним литературным темам, а самым разным проблемам нашей общественной жизни» (1964, 10, с.286).

И действительно, с 1965 года рубрика переименовывается из «Трибуны читателя» на **«Из редакционной почты»**, заметно увеличивается её объём и частота появления в журнальных номерах из года в год.

Так, в 1965 году эта рубрика печатается в четырёх номерах, и в каждом опубликованы подборки писем сразу на несколько тем. В этом же году в первом номере А.Твардовский печатает программную статью «По случаю юбилея», в четвёртом номере В.Лакшин публикует первую свою статью «Читатель, писатель, критик».

В своём обращении «От редакции», в девятом номере за 65-й год, редколлегия «Нового мира» извиняется перед подписчиками за то, что «редакция не всегда выполняет свои обещания, относящиеся к произведениям, объявленным заранее в проспекте», объясняя причину запозданий вещей «особенностями литературной работы»: «...Писатели, — говорится в обращении, — обещавшие нам свои работы, иной раз не укладываются в ранее обусловленный срок...» (1965, 9, с.288).

Мы думаем, что было бы наивным объяснять причины невыполнения редакцией своих обещаний, беря за основу вышеприведённый аргумент.

Как пишет Лакшин в своей статье «Не впасть в беспмятство», «весь 1965 и 1966 год критика «Нового мира» нарастала», а статья Твардовского «По случаю юбилея» была напечатана лишь благодаря угрозе главного редактора уйти в отставку(29). В обращении «От редакции» за 1964 год было сказано: «Над большим романом работает А.Солженицын» (1964, 10,

с.287). В обращении за 1965 год также названо имя Солженицына в числе писателей, которые должны выступить в журнале со своими произведениями. Однако обещанный роман так и не появился. И не потому вовсе, что писатель «не уложился в срок». Как сообщает Ж.Медведев в книге «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», первая часть романа «Раковый корпус», о котором идёт речь, была готова к печати летом 1966 года, однако все приложенные Твардовским усилия для публикации романа в журнале в конечном результате оказались тщетными. Уже была готова вёрстка с первыми восьмью главами для январской книжки 1968 года, но председатель ССП К.Федин, за которым оставалось последнее слово, «телефонным звонком» «подтвердил указание о ликвидации вёрстки «Ракового корпуса»(30).

Не был напечатан, хотя и объявлен, не только роман Солженицына. Такая же участь постигла и объявленный в журнальном анонсе роман А.Бска «Новое назначение», который, по свидетельству А.Берзер, пролежал много лет и был снят «Новым миром» в результате ходатайств вдовы прототипа героя романа, а позже, при В.Косолапове, — снят цензурой. Не успели — 1969 год — напечатать повесть Анатолия Азольского «Степан Сергеевич», которая была объявлена в анонсе за 1968 год. «У этого автора, — рассказывала Берзер, — особенно трагическая судьба: 17 лет его не печатали», «Новый мир» было взялся, да так и не успел».*

Также, по свидетельству Берзер, не увидела свет и последняя книга мемуаров Эренбурга. Она шла, по ее словам, не через отдел прозы, а прямо через редколлегию: вначале натолкнулась на препятствие в лице А.Кондратовича, которому нужны были такие изменения, на которые трудно было согласиться автору, затем вёрстка была всё-таки сделана, но Главлит не пропустил.*

Кроме того, не прошли цензуру объявленные произведения: на 1967 г. — роман А.Рыбакова «Дети Арбата», на 1969 г. — повесть Е.Ржевской «Февраль — кривые дороги», роман Ю.Домбровского «Факультет ненужных вещей», «Дневники» 1931 года К.Симонова и вещи многих и многих других авторов. Не прошла цензуру и поэма самого Твардовского «По праву памяти».

Как видим, главной причиной опозданий с публикациями или невыполнения редакцией своих обещаний являлся цензурный гнёт(31).

Вернёмся к обращению «От редакции» за 1965 год.

«И ещё об одном, — говорится здесь, — об опозданиях журнала, вызывающих справедливое недовольство читателей. Редакция принимает в этом отношении все зависящие от неё меры и надеется в недалёком будущем добиться того, чтобы журнал поступал к подписчикам вовремя» (1965, 9, с.288).

Автор «обращения» не мог прямо объяснить подписчикам действительных причин опозданий журнала, ибо главным виновником этих опозданий опять-таки и являлась сама цензура в лице Главлита.

Что касается самой рубрики «От редакции», то явно из-за цензурного ожесточения с 1966 года она прекращает своё существование. Отныне

«Новый мир» будет печатать лишь ежегодные одностраничные анонсы под заголовком «Новый мир» в NN-м году». И это не странно: ведь обращения «От редакции» к читателю представляли собой своего рода декларацию общественно-литературных позиций журнала, которые, как известно, в последние годы существования «Нового мира» под руководством Твардовского шли вразрез официальной идеологической партийно-правительственной линии. Кроме того, из-за постоянных цензурных вмешательств становилось трудным и для журнала дальнейшее планирование номеров, равно как и выполнение обещаний, данных читателю опубликовать те или иные произведения.

Напомним, что первый острый кризис журнал испытал в конце 66-го года, когда административным путём были сняты со своих постов первый заместитель главного редактора А. Деминьев и первый секретарь редакции Б. Закс. Некоторые номера были задержаны цензурой на несколько месяцев. Очень характерный пример тому: если в начале 60-х годов срок от сдачи в набор номера журнала и подпиской его к печати равнялся где-то в среднем, месяцу, то во второй половине 60-х этот разрыв увеличивается до двух-трёх, а в 1968 году до четырёх месяцев.

В. Лакшин в статье «Не впасть в беспамятство», рассказывает, что «осенью 1968 года редакция стала получать недоуменные и возмущённые письма подписчиков, далёких от литературных дел. Спрашивали: что случилось с журналом, почему он так опаздывает? Читатели интересовались, будет ли подписка или журнал уже закрыт»(32).

Тем не менее если рубрика «От редакции» фактически исчезает, сокращаясь до анонса, то трибуна читателей («Из редакционной почты») остаётся, более того, увеличиваются её объём и частота появлений на страницах «Нового мира».

Так, в 1966 году подборки читательских писем печатаются в семи номерах: 3-м, 4-м, 6-м, 7-м, 8-м, 11-м и 12-м. В восьмом номере Лакшин публикует вторую свою статью «Писатель, читатель, критик».

В 1967, 1968 и 1969 гг. раздел «Из редакционной почты» по-прежнему будет выходить четыре—семь раз в год.

Письма этих лет очень интересны по содержанию и многоаспектны. Среди них мы находим и выступления учёных, например кандидата экономических наук Г. Лисичкина (1967, 8, 12) и кандидата биологических наук Ж. Медведева (1967, 4), а также письма читателей, далёких от литературы и науки, присланные в поддержку тех или иных новомирских публикаций от разностной официальной их критики в прессе(33). Напечатаны здесь и отклики читателей на новомирские статьи, на публикации других журналов(34) или просто письма, где читатели высказывают своё мнение о каких-то событиях, фактах, рассказывают о себе (35).

Не становилась ли постепенно, под конец, публикация читательских писем единственной, зримой и непосягаемой опорой для журнала? Ведь письма читателей в противовес официальной критике выражали собой оправдание и подтверждение выбранной «Новым миром» позиции. А в силу этого политика постоянной публикации на своих страницах читательских писем приобретала, возможно, новый стратегический смысл для журнала —

единственно возможную открытую форму сопротивления и полемики с оппозицией.

11. «ПОДПОР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ»

«...Активность читателей создаёт тот мощный, подлинно демократический подпор общественного мнения, без которого не может быть настоящей литературной жизни» (А.Твардовский, «По случаю юбилея»).

В.Лакшин в беседе с автором настоящей работы говорил о противовесе официальной советской критике, который создавал новомировский читатель. Причем, по его словам, чем активнее «Новый мир» подвергался нападкам со стороны официальной советской критики, тем более возрастала защита читателя.*

«...Бывало так, — рассказывал Ю.Буртин, — что критика что-нибудь «поносит», напечатанное в журнале, а читатели пишут письма в защиту. И мы их печатаем. И ещё не всё печатаем, потому что Главлит стоит на страже и не даёт нам особенно как раз письма-то печатать. Потому что получается противопоставление мнения читателя мнению каких-то официальных лиц в печати. Так что, какой-то подпор, какая-то помощь духовная со стороны читателя, конечно, ощущалась. Как со стороны читателя, так и со стороны писательской среды. Это, конечно, так. Но я, правда, не думаю, что это надо считать каким-то определяющим моментом».*

Рассказывая о последних днях «Нового мира» под редакцией Твардовского, Лакшин в статье «Не впасть в беспамятство» свидетельствует:

«В те дни утешением и поддержкой для Твардовского и всех нас были письма, которые известные писатели написали в защиту, хоть и тщетно пытались их опубликовать. «Литературная газета» не захотела напечатать письма Г.Бакланова и Ю.Трифоновой, «Литературная Россия» отказала в публикации письма Расулу Гамзатову, бывшему членом редколлегии этого издания. Прислал большое письмо Твардовскому К.Симонов»(36).

Г.Владимов в интервью автору настоящей работы говорил о письме в поддержку «Нового мира», составленном в те дни им вместе с писателями Б.Можасвым и Ю.Трифоновым. По его словам, письмо это было адресовано на имя Брежнева, Подгорного и Косыгина и подписано писателями В.Тендряковым, А.Арбузовым, Б.Слуцким, Н.Вороновым, А.Кроном и Е.Евтушенко. Г.Владимов отнёс его в экспедицию Президиума Верховного Совета. Затем авторы письма пытались через дочь Брежнева узнать, дошло ли оно:

«Оказалось, что письмо дошло, и Брежнев якобы сказал: всё пишут и пишут — лучше бы пришли два-три писателя и поговорили бы... Эти слова, — по рассказу Владимова, — были расценены как приглашение. Тогда двое писателей — К.Симонов и А.Исаковский были выбраны для встречи с Брежневым. Договорились о приёме через Галину Брежневу, по телефону.

Но телефоны прослушивались, и, конечно, Галину от этого дела отставили. Так ничего и не состоялось.

Твардовский, — продолжает Владимов, — в свою очередь, тоже написал Брежневу и ждал ответа на своё письмо две недели. Пытался между тем и Евтушенко дозвониться до Подгорного, — разговор был заказан из редакции «Нового мира», — он ждал час, но его так и не соединили. Две недели сидел Твардовский в своём кабинете и ждал звонка, надеясь на ответ. А в это время в «Новом мире», — продолжает Владимов, — собиралась ежедневно толпа: все приходили, было полно народу. Пили, ели, обсуждали планы... Это был как штаб восстания. Через две недели, не дождавшись ответа, Твардовский взял свой портфель и ушёл. Пришли новые члены редколлегия, — заканчивает свой рассказ Владимов, — и спросили, почему в кабинете главного редактора нет портрета Ленина, а висит портрет Пушкина?».*

Поддержку «Новый мир» получал не только в форме писем от своих авторов, присылали письма и читатели, далёкие от литературного дела. Об этом вспоминает Лакшин в статье «Не впасть в беспамятство»:

«Запомнилось, — пишет он, — что в те дни [...] из разных уголков нашей страны мы получили письма поддержки, иногда трогательные знаки читательского внимания в виде посылок с архангельскими пряниками, дальневосточными лесными орехами или краснодарскими яблоками»(37).

Роль общественного мнения, общественной «подпоры» хорошо понимали и внутри редакции. Предчувствуя финальный исход ещё года за полтора и желая спасти журнал, И.Виноградов и Ю.Буртин пытались провести в некотором смысле внутреннюю реорганизацию журнала. Вот что об их общей с Ю.Буртиным идее тех лет рассказал И.Виноградов:

«После 68-го года, когда стало ясно, что эра кончается, у нас была идея, с которой мы обратились к редколлегии, пытались убедить и Твардовского: создать так называемый общественный совет журнала, общественную редколлегию, ввести сюда всех крупных, именитых и авторитетных деятелей науки, искусства с тем, чтобы превратить журнал в центр людей (Товстоногов, академик Капица, академик Румянцев, академик Александров, некоторые деятели театра...), которые были бы организационно привязаны к журналу и связаны с ним. В случае критической ситуации этот совет мог явиться реальной общественной силой, законной поддержкой. Для того чтобы привязать их к «Новому миру», мы хотели также проводить раз в два-три месяца общественные собрания.

Не прошло. Твардовский не захотел, Лакшин не захотел, Хитров не захотел. Все не захотели, как мы ни убеждали.../.../Поэтому, когда произошла катастрофа, мы бросились что-то такое делать: по нашей инициативе люди, близкие к журналу, собирали подписи, писали письма — Капица написал... Письма эти были разрозненные, но тем не менее они шли к Брежневу, а будь их побольше, кто знает, может быть, можно было ещё отстоять журнал...

Хотя, думая об этом сегодня, — принципиально, конечно, это ничего бы не изменило. Может быть, просто журнал закончил бы своё существование немного позднее, если бы в тот момент ему удалось отстоять. Но тогда ведь мы не знали, как пойдут семидесятые годы. Знали, что придёт что-то новое, а может, переменится... Вообще, конечно, надо было драться до конца».*

Заключение

Новомирские рубрики «От редакции» и «Трибуна читателей», а затем «Из редакционной почты» — свидетельства демократической формы общения журнала со своим читателем, практиковавшейся в 60-е годы, пожалуй, только в стенах редакции «Нового мира».

Такая же форма общения была свойственна и редакторам журнала со своими авторами: в тех случаях, когда по цензурным или другого рода причинам требовалось что-то убрать из материала, предназначенного для публикации, редактор-куратор всегда согласовывал купюры с автором. Это была практика, которую игнорировали в других печатных органах тех лет.

ПРИМЕЧАНИЯ

В В Е Д Е Н И Е «НОВЫЙ МИР» И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 50—60-х гг.

(1) Печатный лист по советским стандартам — 40.000 знаков (или примерно 24 машинописные страницы).

(2) Цитируется по книге В.И.Кулешова «История русской критики 18-го — начала 20-го веков», М., «Просвещение», 1984, с.529

(3) Несколько лет «Новым миром» руководил К.Симонов, который пытался поддерживать высокую требовательность к художественному качеству публикаций, и, в соответствии с общеполитическими событиями в стране, подготовившими 20-й съезд партии, печатал произведения, идейно отвечавшие курсу на демократизацию советского общества. Вместе с тем и Симонов стал жертвой политической нестабильности: он был подвержен резкой критике на третьем пленуме правления СП за публикацию в 1956 году в журнале романа В.Дудинцева «Не хлебом единым» и его собственных «Литературных заметок», после чего, летом 1958 года, покинул «Новый мир».

(4) Речь идёт о публикации в одиннадцатом номере «Нового мира» за 1958 год письма-отзыва прежней (симоновской) редколлегии журнала «Новый мир» Борису Пастернаку на его роман «Доктор Живаго». В тексте преамбулы, подписанной А.Т.Твардовским, Е.Н.Герасимовым, С.Н.Голубовым, А.Г.Дементьевым, Б.Г.Заксом, Б.А.Лавренёвым, В.В.Овечкиным, К.А.Фединым, говорилось:

«Присуждение премии связано с антисоветской шумихой вокруг романа «Доктор Живаго» и является чисто политической акцией, враждебной по отношению к нашей стране и направленной на разжигание «холодной» войны. Вот почему мы считаем сейчас необходимым предать гласности письмо Б.Пастернаку» («Новый мир», 1958, 11., с.1—II).

Этот материал был использован в кампании травли поэта.

Как объяснить участие Твардовского в этой истории?

Существует несколько версий и предположений на этот счёт. Из устных и печатных свидетельств, которые мы прилагаем ниже, можно лишь заключить, что Твардовский оказался жертвой политической игры. Однако ввиду отсутствия у нас более точных сведений мы оставляем этот вопрос открытым.

Г.Владимов в одной из своих статей («Посев», 1985, №19) перекладывает всю вину в скандале с «Доктором Живаго» на Симонова, объясняя, что роман, предложенный Пастернаком в 56-м году журналу «Новый мир», «лежал в «Новом мире» полтора—два года, его вполне можно было — не весь, конечно, но какими-то главами — напечатать и тем обезопасить» (с.18). Однако Владимиров ничего не говорит в указанной работе о публикации письма Симонова редколлегией Твардовского.

Опрошенные автором настоящей работы бывшие новомирские авторы высказывали лишь предположения на этот счёт, чаще всего связывая эту акцию со сложным политическим контекстом того времени.

Более сведущим в этом вопросе оказался, пожалуй, бывший ответственный секретарь редакции Борис Закс:

«...На совести всех членов редколлегии — и на моей, и на совести Твардовского в том числе. — рассказывает Закс, — — лежит очень тяжкое, несмыслаемое пятно: мы в 58-м году подписали письмо Б.Пастернаку симоновской редколлегии и преамбулу к нему.

— С чем это связано?

— Это тяжёлый вопрос. Твардовский не любил говорить на эту тему и не говорил ничего ясного, но две фразы, обрывочные, данные вне контекста, я могу воспроизвести: «Один раз обманули, второй раз не выйдет!» — первая. Вторая: «Если бы я тогда всё знал, я бы ни за что это не написал». А что «знал»? И третья фраза: «Это же письмо не тогда было написано!» (симоновское письмо). А когда?

Я начал этим вопросом заниматься, — продолжает Закс, — и выяснил, что в книжке О.Ивинской это письмо упоминается, но без датировки, а в записках Лидии Чуковской об Ахматовой даётся точное число, когда это письмо было вручено Пастернаку. — 17 ноября (по-мосму)(?), — во всяком случае, тем числом, каким оно помечено в «Новом мире», когда оно печаталось (сентябрь 1956 г. — Н.Б.). Тогда спрашивается, в чём же дело, что имел в виду Твардовский, говоря о том, что оно не тогда было написано? Я думаю вот что: это были разные редакции письма./.../

Я узнал о письме лишь тогда, когда от нашей редколлегии была написана преамбула. Твардовский положил письмо передо мной, очень мрачный, и сказал: «Это надо подписать». Я прочитал и подписал./.../ Что говорить, поступил как механический советский человек.

Но, спрашивается, откуда взялась идея? Оказывается, письмо симоновской редколлегии лежало в ЦК, только, думаю, не передиктовал ли его Симонов в более резком тоне?

Владимов вот говорит «напечатать главы» — ведь существовал договор между советской стороной и Фельтринелли о том, что издание романа будет осуществлено одновременно в Милане и в Москве, и Фельтринелли долго ждал выхода романа в Москве. А Пастернак хотел его напечатать в журнале ещё до того, как он выйдет в Гослитиздате. Или ещё как-то. В общем, тут была связь серьёзная, всё это было с ведома Союза писателей, был замешан А.Сурков./.../

Для меня загадка заключается в тексте письма, полученного Пастернаком. Его же нет в архивах Пастернака или есть, но его никто не упоминает. Я спрашивал об этом сына Пастернака — Евгения Борисовича, он тоже об этом ничего не знает. Видимо, Твардовский узнал впоследствии о нечистом происхождении симоновского письма, чего он не знал, когда его поддержал.

И последнее. Существует мнение, что вся эта акция с опубликованием двух писем редколлегий исходила от Хрущёва. Это неверно. Инициатором этого дела был Дмитрий Алексеевич Поликарпов, тогдашний заведующий отделом культуры ЦК. Он проводил эту кампанию на свой страх и риск, а Хрущёв только утвердил, когда ему кто-то представил уже письма — и наше, и симоновское*.

В.Каверин в одной из своих публикаций («Знамя», 1987, 8) о письме Б.Пастернаку сообщает лишь одну деталь:

«В 1956 году он (Пастернак — Н.Б.) закончил «Доктора Живаго» и предложил его в «Новый мир». Редакция возвратила рукопись, приложив письмо, которое было напечатано в «Литературной газете» через два года, когда Пастернаку была присуждена Нобелевская премия и мировой скандал уже разразился» (с.115).

Из переписки Пастернака с Ольгой Фрейденберг мы узнаём, что Пастернак подписал контракт с «Новым миром» на «Живаго» и получил аванс, однако некоторое время спустя сам попросил редакцию расторгнуть соглашение и вернул свой аванс. Как следует из комментария к публикации писем Пастернака к Фрейденберг (Le Nouvel Observateur, 7. 5. 1987, с.90), описанная выше ситуация имела место в 1948 году, и речь шла о первой части романа. Забрал её Пастернак ввиду того, что почувствовал, что вторая часть не пройдёт. Однако автор комментария пишет далее, что в 1954 году, когда роман был окончен, Пастернак послал копии рукописи одновременно в два журнала — «Знамя» и «Новый мир» и третью в Гослитиздат (Как видим, даты эти расходятся с теми, которые приводит В.Каверин). Оба журнала отказываются печатать роман, но в Гослитиздате три человека настаивают на его публикации. В мае 1956 года московское радиовещание

на Италию объявляет в своём выпуске на итальянском языке о выходе романа в ближайшее время в СССР. И через полмесяца на даче у Пастернака появляются итальянцы, которым Пастернак передаёт рукопись романа (*Le Nouvel Observateur*, 7. 5. 1987, с.90).

В «Литературной газете» (25 октября 1958 года) перед публикацией письма редколлегии «Нового мира» сообщалось: «Этот роман был отклонён в 1956 году редакциями советских журналов и издательств как контрреволюционное, клеветническое произведение». Опять-таки даты не совпадают с датами из публикации в «*Le Nouvel Observateur*». Но, кроме того, в «ЛГ» даётся ложная информация. Гослитиздат не отклонял рукописи, как явствует из других источников, и в частности из книги О.Ивинской «В плену времени».

О.Ивинская пишет, что в 1957 году Гослитиздат направил Фельтринелли письмо с уведомлением о том, что роман выйдет в сентябре этого года в СССР, и просьбой не издавать «Доктора Живаго» в Италии до этого срока. О.Ивинская рассказывает, что письмо это, конечно, было уловкой Гослитиздата для оттягивания времени, что на самом деле Гослитиздат и не собирался публиковать «Живаго», ведь известно было, что пять «маститых» писателей — членов редколлегии «Нового мира» Симонова уже дали свой отрицательный отзыв на роман в сентябре 1956 года и что Гослитиздат не мог не знать этого и не считаться с мнением этих китов. О.Ивинская далее пишет: «...Письмо, несмотря на недвусмысленный отрицательный вывод, выдержанное в деловом и дружеском тоне, через день после награждения Пастернака Нобелевской премией появилось в печати («ЛГ» от 25. 10. 58), вызвав подозрение, что оно передатировано для того, чтобы западный мир мог подумать, что «Доктор Живаго» ещё до изменения политической погоды был рассмотрен в литературных кругах и подвергся объективному осуждению. Это подозрение было, впрочем, вполне обоснованным, — пишет О.Ивинская, — ибо Пастернак никогда не упоминал мне о письме писателей, хотя мы до конца 1957 года часто виделись...». Далее Ивинская сообщает, что у неё, как и у посредника Фельтринелли — итальянца Данжело, сложилось впечатление, что письмо «Нового мира» с оценкой романа Пастернак получил уже задним числом, не в 1956 году, а после опубликования «Живаго» в Италии. И далее Ивинская рассказывает историю, как она впервые ознакомилась с письмом. Точных дат она не помнит, однако, судя по излагаемым обстоятельствам, это происходило в период, когда Симонов руководил журналом «Новый мир». Так, однажды приятельница Ивинской, названная в книге Н. и работавшая у Симонова, получила задание от Симонова развезти один документ по писательским дачам в Переделькино для подписей. Поручение, по словам Ивинской, было дано не случайно именно Н. Н. дружила с Ивинской, и предполагалось, что она непременно ознакомит с письмом и Ивинскую, и Пастернака, живущих в Переделькино. Ивинская, прочтя письмо, пересказала его содержание Пастернаку, на что тот «только махнул рукой».

Странным, однако, кажется тот факт, что Ивинская не попыталась узнать от Н. или от кого-то из писателей, когда же точно это происходило и когда Пастернак получил сам это письмо, если он его получал. Ивинская ничего не рассказывает и о содержании письма.

И последняя деталь, которая позволяет согласиться с предположением (Б.Закса), согласно которому Твардовский в этой истории оказался жертвой политической манипуляции.

Ивинская описывает заседание секретариата Союза писателей, на котором присутствовал и Твардовский, в момент, когда уже скандал разразился. Сурков зачитывает письмо редакции «Нового мира», Ивинская пытается что-то возразить, на что Сурков нервно выпалил: «Прошу меня не прерывать!». И тут, как пишет Ивинская, «с места вмешался Твардовский: «Дайте ей сказать, я хочу понять — что произошло; что вы ей рот затыкаете?» (О.Ивинская, «В плену времени», Fayard 1978, с.227–229, 237).

Это «я хочу понять — что произошло» и три фразы, которые запомнились Б.Заксу, наводят нас на мысль о том, что Твардовский и в самом деле подписал это письмо, будучи введён в заблуждение.

В книге Д.Спешлер о «Новом мире» (*Permitted Dissent in The URSS /Novy mir and the Soviet Regime/, Praeger, 1982, New York, p.88—91*) опять-таки ничего не говорится об истории с письмом и о датах. Автор пишет лишь, что на Твардовского, как и на других писателей, подписавших письмо, было оказано очень сильное давление, и подчёркивает, что позиция «Нового мира» была в этом скандале особенно уязвимой, ибо «Новый мир» был одним из первых, напечатавших поэзию Пастернака и боровшихся за публикацию многих его произведений. Кроме того, Спешлер пишет, что если вчитаться в текст письма, то по сравнению с передовицей в «ЛГ» и другими публицистическими выступлениями в прессе стиль письма Пастернаку от редколлегии Симонова отличается своей уважительной формой обращения: поэта не оскорбляют, а единственно разбирают его роман. Сам факт, подчёркивает Спешлер, что разбор произведения состоял из около десяти тысяч слов, говорит о том, что обе редколлегии (симоновская — потому что уделила столько места рецензии, Твардовского — потому что напечатала весь её текст) относились с огромным уважением к поэту. И, кроме того, подчёркивает Спешлер, текст письма доказывал «политическую устойчивость» Пастернака.

Спешлер приводит в своей книге мнение известного американского журналиста, бывшего корреспондента «Нью-Йорк таймс» в Москве — Х.Сэлисбери относительно причины кампании травли Пастернака. Х.Сэлисбери утверждает, что консервативные силы готовили более широкую политическую кампанию за восстановление сталинских методов руководства государством, и травля Пастернака была первым «выстрелом».

Крыло консерваторов в литературных сферах было представлено председателем СП СССР Сурковым и большинством официальных деятелей СП СССР и РСФСР, в число которых входили несколько главных редакторов журналов, главный редактор «ЛГ» В.Кочетов, драматург А.Софронов, министр культуры Н.А.Михайлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.Семичастный, шеф по идеологии, секретарь партии М.Сулов. Литературные консервативные силы получили поддержку или, возможно, напротив, были подстрекаемы идеологами в высших партийных кругах, цели политики которых выходили далеко за пределы сферы литературы. Однако эта операция не имела успеха: Хрущёв не поддержал консерваторов. Если гипотеза Х.Сэлисбери верна, пишет Спешлер, если такой проект существовал, тогда история с Пастернаком и с письмом может быть понята именно как часть общеполитической стратегии, и тогда, в этом политическом контексте, Твардовский, который только-только к этому моменту стал главным редактором журнала, опубликовал письмо симоновской редколлегии для того, чтобы показать, что «Новый мир» и сам видит пределы дозволенного и нет нужды применять сталинские средства против издателей и писателей. Характер письма 56-го года и обстоятельства, в которых оно было опубликовано в 1958 году, дают почву для предположения, по мнению Спешлера, что участие «Нового мира» в кампании базировалось на надежде Твардовского уменьшить её суровость и последствия.

(5) А.Твардовский, собрание сочинений в 6 томах, «Художественная литература», М., 1971, т. 5, с.288

(6) В центре внимания 22-го съезда партии (17—31 окт. 1961 г.) оказалась не Программа партии, а вопрос о преступлениях Сталина и выносе его тела из Мавзолея, о переименовании улиц, городов, предприятий, носящих имя Сталина.

Выступление А.Твардовского на 22-м съезде имело совершенно прямой, недвусмысленный характер. Он выступил за демократизацию литературных структур, в частности за освобождение литературы от цензурного надзора. Он говорил о том, что необходимо преодолеть «инертность психологии», «остаточные формы

прежнего, принадлежащего временам культа личности, мышления», указал на то, что «изъян» нашей литературы состоит «в недосказанности, в неполноте изображения многообразных процессов жизни», и виной тому «авторская оглядка: что можно, чего нельзя». Твардовский призывал советских писателей к смелости, настаивал на том, что действительность следует изображать такой, какая она есть, «без лакировки, без лукавого сглаживания противоречий», что следует не «приподнимать» действительность, а «приподнять до неё». Твардовский говорил, наконец, и о том, что советской литературе необходимо равняться на уровень «нашей великой классической литературы», учиться у неё «высокому мастерству» и поэтому необходимо «отвергнуть нет-нет да и возникающие, к сожалению, в нашей среде суждения о «среднем уровне» как нормальном состоянии литературы, о том, что мастерство — «дело паживное»...» (А.Твардовский, Собр. соч. в 6 томах, «Художественная литература», М. 1971, т.5, с.314—330).

Сказанное в речи запечатлено в частном письме Твардовского Г.С.Данилюку от 3 января 1963 года:

«Дорогой тов.Данилюк!

Вы намерены написать свои воспоминания о пережитом в годы репрессирования. «Присмелема ли, — спрашиваете Вы, — такая форма (от первого лица) изложения?» Не только приемлема, но, пожалуй, это единственно возможная форма мемуаров, воспоминаний. Второй вопрос: «Что можно и чего нельзя описывать?» Этот вопрос может быть решён только самим автором той или иной работы, а в воспоминаниях менее всего возможны были бы такие ограничения извне «от эгтелева до септелева» (А.Твардовский, «Письма о литературе», «Советский писатель», М. 1985, с.258).

(7)В своей речи Хрущёв, как известно, нападал на модернистов и абстракционистов, однако критика его была направлена и в адрес некоторых повомирских авторов. Так, мемуарам Эренбурга инкриминировался, в частности, «мрачный тон» изображения времён культа личности (кстати, и сама критика Хрущёвым Сталина прозвучала в речи 8 марта 1963 г. гораздо менее резкой, чем в былые времена); о записках В.Некрасова «По обе стороны океана» было сказано, что в них «провозглашён совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип» и что там проявились такие «настроения», когда «идейную ястность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью»; тема «гуманизма», которая звучала буквально с первых дней на страницах «Нового мира» Твардовского, в речи Хрущёва получила трактовку прежних лет: к вопросу о гуманизме — говорилось в речи — надо подходить с классово́й точки зрения, а тот, «кто проповедует идею мирного сосуществования в идеологии, тот объективно сползает на позиции антикоммунизма». Что касается литературы о лагерях, которая нахлынула в журналы и издательства после публикации повести А.Солженицына, то Хрущёв заявил: «это очень опасная тема и трудный материал. Чем меньше у человека ответственности за наш сегодняшний день и будущее нашей страны и партии, тем с большей лёгкостью бросаются на этот материал любители сенсаций, любители «жареного». В конце речи Хрущёв высказался по поводу «неприятного впечатления», которое на него произвели поездки писателей В.Некрасова, К.Паустовского, А.Вознесенского во Францию, В.Катаева по Америке («Новый мир», 1963, 3, с.3--33).

(8)«Товарищ Твардовский, — писал Соколов, — большой поэт, но и у Твардовского как у редактора есть ошибки. Давайте же ему скажем об этом и пожелаем, чтобы он дальше их не делал» (В.Лакшин, «Не власть в беспамятство», «Знамя», 1988, 8, с.211).

(9)В статье «Не власть в беспамятство» В.Лакшина рассказывает о том, что Твардовский в эти дни даже стал думать об отставке.

Приведём хронику событий этих дней, изложенных в статье В.Лакшина, с некоторыми сокращениями:

«Её (отставку. — Н.Б.) готовы были принять и уже подыскивали ему преемников: вели закулисные переговоры с Симоновым, приглашали готовиться к новому назначению В.В.Ермилова... Журнал спасла тогда растущая международная известность, с ней отчасти считались. Твардовский по просьбе Министерства иностранных дел дал интервью журналисту Шапиро, обычно интервьюировавшему Хрущёва, и, по настоянию Твардовского, это интервью было напечатано одновременно не только в «Нью-Йорк таймс», но и в «Правде». «Последние месяцы мы имели временную прописку, — объяснял Твардовский тем, кто тревожился о судьбе журнала, — а теперь, кажется, снова получили постоянную... Надолго ли?»

Летом 1963 года в Ленинграде состоялась сессия Европейского сообщества писателей, вице-президентом которого был избран Твардовский. Это тоже имело значение для судеб журнала». После конференции её руководство (нобелевский лауреат Уингаретти, Жан-Поль Сартр и др.) было приглашено в Пиддицу на встречу с Н.С.Хрущёвым, где Твардовский читал свою поэму «Тёркин на том свете»: «Сразу после чтения, когда Хрущёв поздравил Твардовского и поднял бокал в его честь, А.И.Аджубей попросил поэму для «Известий». Почти одновременно с газетой вышел и «Новый мир», в который мы срочно заверстали реабилитированную поэму» (В.Лакшин, «Не власть в беспамятство», с.212).

Летом 1963 года кампания обстрела «Нового мира» консерваторами на время утихла.

Появление в «Новом мире» вслед за публикацией речи Хрущёва (1963, 3), с марта по июнь 1963 года, пяти статей, написанных под флагом соцреализма и бичующих модернизм и авангард в искусстве, можно объяснить именно этими шутриполитическими обстоятельствами. Мы имеем в виду редакционную статью «За идейность и соцреализм» (1963, 4), в которой журнал принимал критику Хрущёва в свой адрес, и статьи: А.Демченко — «В.И.Ленин и литературная журналистика» (1963, 5), С.Тураева — «Всесильно, потому что верно» (1963, 6), И.Саца — «О взглядах А.В.Луначарского на изобразительное искусство» (1963, 6) и М.Кузнецова — «Модернизм и соцреализм» (1963, 8).

Публикуя эти выступления, Твардовский, безусловно, шёл на уступки верховному партийному руководству, вместе с тем он и не думал сдавать своих позиций.

(10) А.Твардовский, «Письма о литературе». «Советский писатель», М., 1985, с.268—269.

(11) В.Лакшин, «Открытая дверь», «Московский рабочий», М., 1989, с.209

(12) Кроме того, в апреле 65-го — в ряде выступлений, посвящённых предстоящему празднованию 20-летней годовщины победы над фашистской Германией, и в частности нового заведующего ЦК по вопросам идеологии П.Н.Демичева, заведующего отделом науки, школ и вузов С.П.Трапезникова, а также на заседаниях в МГП, на партийном заседании в журнале «Коммунист», в статье маршала И.Баграмяна «Трудное лето», опубликованной в «Литературной газете» от 17 апреля, на обсуждении в ЦК КПСС тезисов к 20-летию победы, — снова поднимался вопрос о Сталине.

С.П.Трапезников на совещании редакторов 7 апреля заявил, что не надо всё сваливать на мёртвого Сталина, что модная, по его выражению, теперь лагерная тема отрицательно сказывается на воспитании советского человека. «Один день Ивана Денисовича» Трапезников назвал патологией («Политический дневник (1965—1970)», Фонд им. Герцена. Амстердам, 1975, т.2, с.15,11).

(13) Тем не менее на статью Твардовского в «Известиях» от 14 апреля 1965 появился критический отклик Е.Вучетича под заголовком «Внесём ясность». Вучетич посетил на авторитет Твардовского — всенародного поэта и кандидата в члены ЦК, что, безусловно, было симптоматично. «Журнал начинало лихорадить, из месяца в месяц он стал опаздывать к подписчикам» (В.Лакшин, «Не власть в беспамятство», с.212).

На одной идеологической конференции в августе 65-го года было заявлено, что ждановские постановления являются главными источниками в культурной политике и что административные и полицейские меры отныне будут разрешены. А.Румянцева сняли с поста главного редактора «Правды» и на его место поставили реакционера Зимянина.

(14)С октября 1965 года писателям было категорически объявлено, что тема сталинских лагерей и критика эпохи 30-х годов запрещены, то же было сказано редакторам журналов. С.П.Трапезников объявил в «Правде» (8 окт.1965), что 30-е годы были самым великолепным периодом в истории страны — периодом борьбы за идеологическую чистоту в партии. Как пишет А.Солженицын в «Телёнке», Трапезников при разговоре с ним изложил, «чего не надо и чего не хочет партия в произведениях (это очень чётко, уже готовое было у него в голове): 1)пессимизма; 2)очернительства; 3)тайных стрел» (А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», YMCA-PRESS, Париж, 1975, с.109).

(15)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом» (Очерки литературной жизни), YMCA-PRESS, Париж, 1975, с.104

(16)Так, в сентябрьском номере появляется материал, в котором редакция «Нового мира» открыто заявляет о том, что будет и впредь придерживаться линии, намеченной на 20-м и 22-м партийных съездах:

«...Мы критикуем те явления, которые достойны критики, и нередко выступаем с произведениями, направленными против последствий культа личности, догматизма, бюрократизма и других недостатков нашей жизни. /.../

Советская литература, советская журналистика едины в выполнении идеологических задач, поставленных Программой партии, решениями 20-го и 22-го съездов. В свете этих задач следует рассматривать работу любого органа советской печати, в том числе и «Нового мира» («От редакции», «Новый мир», 1965, 10, с.287).

(17)Группу консерваторов здесь представляли: начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота А.А.Епишев, секретарь ЦК КП Белоруссии С.А.Пилотович, заведующий отделом науки, школ и вузов ЦК КПСС С.П.Трапезников, председатель Государственного комитета по печати Н.А.Михайлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ С.П.Павлов, секретарь ЦК КП Грузии Д.Г.Стуруа, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС В.И.Стенаков, секретарь ЦК КП Азербайджана Ш.К.Курбанов. Выступления этих лиц, по словам автора материала, опубликованного в «Политическом дневнике», «свидетельствуют, по-видимому, о том, что среди руководящих кругов партии начинает оформляться фракция сталинистов. «Можно не сомневаться, — писал автор материала, — что многие выступления на данном совещании, и в первую очередь выступления Стуруа, Курбанова, Пилотовича, были результатом какого-то предварительного сговора. Об этом свидетельствует также и то, что в ряде выступлений на совещании содержалась косвенная критика Политбюро за его якобы «нетвёрдую» линию в отношении «Нового мира» и Твардовского. «Нужно, — заявил один из ораторов (Пилотович?), — попросить Политбюро, чтобы вызвали Твардовского в ЦК и спросили: лживо какой партии он пойдёт — нашей или какой-нибудь другой». В своей заключительной речи от ЦК КПСС секретарь ЦК КПСС П.Трапезников выступил против наиболее крайних высказываний Стуруа, Курбанова, Пилотовича и других. Однако этот отпор Трапезникова был довольно мягким...» («Политический дневник 1964—1970», Фонд им. Герцена, Амстердам, 1972, т.1. Октябрь, 1966, с.122—123).

(18)По свидетельству Б.Закса, акцию по выводу из состава редколлегии его и А.Деминцева проводил Сулов. Им было сказано в ЦК: «Есть такое решение, что вам нужно подать заявление об уходе по собственному желанию...». Я, — рассказывает Закс, — выслушал и сказал: меня приглашал Твардовский и без

согласования с ним я заявления такого писать не могу». Вернувшись в редакцию, Закс с Дементьевым написали заявления, в которых содержалась всего одна строчка: «Прошу освободить меня от занимаемой должности». Твардовский не принял этих заявлений. «И в это время, — рассказывает Закс, — раздался звонок из ЦК, и было сказано: «Ввиду того, что Дементьев и Закс являются номенклатурой СП и утверждены в должностях постановлением секретариата союза, им надлежит подать заявление об отставке не Твардовскому, а в Союз писателей». Дементьев и Закс так и поступили, на что Твардовский заявил: «А я уйду!» «И вот тут начались наши уговоры, — рассказывает Закс, — в конечном итоге Твардовский согласился остаться в журнале»*.

Как пишет в статье «Не власть в беспамьятство» В.Лакшин, «первым порывом Александра Трифоновича было немедленно уйти. Он попытался встретиться с Суловым, но тот не принял его, а по телефону призывал покориться в порядке партийной дисциплины, страдал и улецивал одновременно. Поостынь, — продолжает Лакшин, — Твардовский стал искать пути выхода из кризиса и нашёл их в том, чтобы ввести в редколлекцию Чингиза Айтматова, Ефима Доронина, а молодого журналиста «Известий», моего друга Михаила Хигрова, сделать ответственным секретарём. Мне Твардовский предложил исполнять обязанности Дементьева, даже если я не буду утверждён на всей форме секретариатом Союза писателей. (Замечу в скобках, что так оно и случилось, и до самого конца нашей редакции я оставался и.о. заместителя главного редактора)» (В.Лакшин, «Не власть в беспамьятство», с.213.)

(19)«...Только произведения, правдиво и талантливо воссоздающие героическое прошлое, сегодняшнюю созидательную деятельность и духовный мир нашего современника — труженика и борца, могут правильно, в марксистско-ленинском духе воспитывать людей», такова официальная линия партии, писал автор статьи «Когда отстают от времени», призывая непослушные журналы пересмотреть свои позиции.

(20)«Христа тоже распинали вместе с разбойником», — невесело шутил по этому поводу Александр Трифонович, — пишет Лакшин в статье «Не власть в беспамьятство». —/...Между тем, — продолжает Лакшин, — трудности с цензурой всё нарастали, и подписание каждого номера в печать становилось мукой. Был остановлен уже наполненный отпечатанный роман А.Бека «Новое назначение», и типография понесла убытки, пустив готовые листы «под нож». Не прошла цензуру и вёрстка «Дневников» 1941 года Константина Симонова. Каждую следующую книжку журнала мы составляли как последнюю» (В.Лакшин, «Не власть в беспамьятство», с.213).

(21)Ю.Трифонов, «Вспоминая Твардовского», «Огонёк», 44, октябрь 1986, с.23.

(22)Как сообщала об этом десять дней спустя (29 марта) «Литературная газета», на обсуждении присутствовали редколлегия «Нового мира», секретари правления СП, представители СП РСФСР и СП союзных республик, а также члены редколлегий печатных органов СП СССР. С отчётом выступил главный редактор Твардовский, затем был обмен мнениями о различных сторонах работы журнала. Участвовали в этом обмене: А.Сальпский, А.Чаковский, Н.Тихонов, Л.Новиченко, М.Турсун-Заде, В.Озеров, Н.Грибачёв, К.Воропков, Л.Соболев, А.Сурков, Г.Марков.

(23)Подробные сведения об этом заседании — стенограмма выступлений — были напечатаны в 70-е гг. в «Политическом дневнике» (т.1, с.184—195):

Твардовский начал с заявления о том, что не будет делать отчёта, так как номера журнала — это и есть отчёт его редколлегии, и что членам секретариата была роздана подробная справка о работе журнала, содержащая все необходимые статистические сведения.

Затем Твардовский перешёл к оценке той противоречивой, по его выражению, ситуации, в которой протекала работа журнала в последние годы.

«...Так сложилось, — начал Твардовский, — что «Новый мир» в последние годы приобрёл значительное общественное мнение и никакой другой журнал не слышал о себе столько безоговорочно добрых и безоговорочно отрицательных отзывов, как этот журнал... В самом деле, что же мы такое — «Новый мир»? С одной стороны, очевидный факт, что по крайней мере две трети художественных произведений, привлекавших в последнее время самый широкий читательский интерес и составляющих неотъемлемую часть того, чем в нашей литературе вправе гордиться общество, появились на страницах «Нового мира». С другой стороны, деятельность журнала как в печати, так и в устных выступлениях характеризуется как порочная, очернительская. И выходит, что послушать одних, послушать читателей, посмотреть редакционную почту — хороший журнал, вызывающий широкий интерес не только художественной своей частью, но и публицистической; а если послушать других, то журнал публикует как на подбор вещи сомнительные, приносящие нашу действительность, ориентируется на Запад, отбирает произведения, способные вызвать у советских людей настроения безысходности...».

Твардовский охарактеризовал затем идейно-эстетическое направление своего журнала: что он понимает под правдой, реализмом и пр. В последней части выступления Твардовский взял под защиту своих авторов и объявил собранию, что считает «значение повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в литературном развитии огромным, так как повесть оказалась и оказывала влияние на целый ряд других, наиболее талантливых художников: Чингиза Айтматова в «Прощай, Гольсары» (спросите Айтматова, он скажет), «на повесть Можаяева «Из жизни Фёдора Кузькина», отчасти замолченной, отчасти обруганной, чрезвычайно ценной повести, по крайней мере по заявлению читателей».

Наконец, Твардовский назвал цензуру «пережиточным органом нашей литературы» и сожалел о том, что публикации на Западе произведений советских авторов — вина цензуры, не пропустившей их в печать в собственной стране. Книга Гизбург-Аксёновой, «Записки» Лидии Чуковской, — перечисляет Твардовский, — «и у меня беспокойно на сердце относительно «Ракового корпуса», — что он не выскажит там...».

За выступлением Твардовского следовали так называемые прения.

Вступился и поддержал А.Твардовского секретарь Союза писателей А.Д.Сальвинский. В целом положительно отзывался о деятельности «Нового мира» и А.А.Сурков, который в 1954 году был одним из организаторов травли «Нового мира», с 1959 года перестал быть секретарём СП СССР и «сильно поделел», по выражению Ю.Буртина.

Выступления А.Чуковского, Н.Тихонова, Г.Маркова и Н.Грибачёва выявляют суть их чисто конъюнктурной позиции — «что прикажут». Все они осудили, в принципе, как политику журнала, так и последние его публикации — «Один день...», статью В.Лакшина о повести Солженицына, «Тёркина на том свете» Твардовского. Любопытно, что почти все ораторы, за исключением Новиченко, очень путано говорили о двух «правдах»: «правде века» и «правде факта».

Н.С.Тихонов назвал «Новый мир» журналом «воинствующим», журналом «разоблачительного характера» и посоветовал к этому воинствующему пессимизму «добавить воинствующий оптимизм»; Н.М.Грибачёв отметил, что произведения Б.Можаяева и А.Макарова глубоко огорчили его. «Дело в том, — объяснил Грибачёв, — что Фёдор Кузькин — это ситуация вчерашнего дня». Оратор отрицательно отзывался и о статье Ф.Светова «О ремесленной литературе» и вообще о критическом отделе журнала. «Сейчас уже ряд выступлений «Нового мира» по определенным адресам приводит к накаливанию групповой борьбы, возни, — заявил Грибачёв. — А между тем, товарищи, нам пора решительно от этого очищаться — от того, что может питать среду склочной групповой борьбы, возни...». Г.М.Марков был возмущён тем, что редакция «Нового мира» никак не ответила на критику в свой

адрес, прозвучавшую в речах некоторых делегатов 23-го съезда КПСС, а также в ходе серии идеологических совещаний. Об «Одном дне Ивана Денисовича»: «...Да, эта вещь появилась в тех условиях, когда это было целесообразно, важно и нужно», но теперь «новые времена, новые критерии и новые события в самой литературе».

Позиция Л.Н.Новиченко, М.Т.Турсун-Заде и К.В.Воронкова была однозначно реакционной.

Новиченко заявил, что как линия «Нового мира», так и повесть Солженицына не лежат в плоскости соцреализма.

«Я бы вовсе не назвал, — сказал он, — коммунистической позицией авторскую позицию повести Солженицына... Какие бы ни были личные признания Айтматова о том, что он писал «Прощай, Гольсарь» под влиянием Солженицына, для меня «Прощай, Гольсарь», с одной стороны, и «Один день Ивана Денисовича», с другой стороны, — это явления совершенно противоположные. Дай бог каждому из нас написать по-настоящему партийный облик коммуниста Тапабая, о котором даже намёка нет в повести Солженицына и в идейную систему он не входит».

Новиченко далее подверг критике рассказ А.Макарова «Дома», повесть В.Быкова, статью Лакшина «Писатель, читатель, критик» и перешёл к пресловутым рассуждениям о двух правдах.

М.Т.Турсун-Заде заявил: «Когда я читал «Один день Ивана Денисовича», я пришёл к мысли, что автор недоволен нашей системой, он не является другом моего народа».

К.В.Воронков отметил, что «Новый мир» критиковался делегатами 23-го съезда партии, журнал критиковался участниками Идеологического совещания ЦК КПСС в 1966 году, журнал критиковался в армейских кругах, в печати и, совсем недавно, в «Правде», и «во многом эта критика была справедлива». Но, «несмотря на критику в газете «Правда», либералы в «Новом мире», по-видимому, не приведены к молчанию путём запугивания» («Политический дневник», т.1, с.184—195).

«Литературная газета» от 29 марта 1967 г. под заголовком «В секретариате правления Союза писателей СССР» опубликовала коммюнике об обсуждении журнала «Новый мир» на секретариате СП СССР.

Итоги обсуждения: «идейно-художественные просчёты и недостатки в деятельности журнала»; «многим опубликованным на его страницах произведениям недостаёт качества высокого искусства соцреализма»; «в ряде произведений односторонне освещена наша действительность, обедняется образ советского человека»; «очевидные просчёты и ошибки имели место также в разделе критики и библиографии журнала. Всеобщее резкое осуждение получила статья Кардина «Легенды и факты», проникнутая ложной тенденцией к необоснованному пересмотру и приближению революции и героических традиций советского народа»; «в ряде случаев» — «ошибочные суждения в толковании проблемы героя и художественной правды»; «проявлялись пережитки групповых пристрастий»; «в ходе обсуждения критиковались отдельные статьи В.Лакшина, А.Шарова и др.»; «отмечалось, что редколлегия «Нового мира» слабо реагировала на критику недостатков в работе журнала со стороны общественности» («В секретариате правления Союза писателей СССР», «Литературная газета», 29 марта 1967, с.2).

(24) А.Твардовский, «Письма о литературе», с.316.

(25) Однако, как сообщает в своём письме в секретариат правления СП СССР от 12 сентября 1967 года Солженицын, его обращение к Четвёртому съезду СП, «поддержанное более чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа»; кроме того, несмотря на готовность «Нового мира» печатать его повесть «Раковый корпус» — тому будет уже год, — журнал не получил до сих пор разрешения (А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.486—492).

22 сентября состоялось обсуждение писем Солженицына, повести «Раковый корпус» на заседании секретариата СП СССР, окончившееся тем, что Солженицыну

предложили написать публичное письмо, в котором он должен был отмежеваться от той роли лидера политической оппозиции, которую ему приписывают на Западе.

В конце декабря наконец вопрос об издании «Ракового корпуса» в СССР был решён секретариатом СП отрицательно, тогда Твардовский в середине января 68-го года лично вручил председателю ССП К.Федину письмо, в котором изложил своё мнение о роли творчества Солженицына и о том, что скрывать от читателей «Раковый корпус» — «преступление. Твардовский просил Федина сказать последнее слово. Однако Федин отказался пересмотреть решение бюро секретариата и заявил Твардовскому, что «Новый мир» — орган СП СССР, следовательно, Твардовский должен подчиниться решению бюро и уничтожить уже набранные в вёрстке части романа. Письмо это стало достоянием самиздата, а затем попало за границу и было там издано полностью в октябре 1968 года. Забегая вперёд, скажем, что «Раковый корпус» и «В круге первом» вышли вскоре, в 1968 году, на Западе. А 4 ноября 1969 года Рязанская писательская организация, в которую входил Солженицын, приняла решение об исключении Солженицына из Союза писателей.

(26) Курсив А.Солженицына.

(27) А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.247—250.

(28) Там же, с.250.

(29) Как следует из материала, опубликованного в «Политическом дневнике», из 42 членов секретариата СП писателей СССР, которых заставили подписать письмо, адресованное СП Чехословакии, «в середине сентября было 28 подписей, и оно так и не было опубликовано» («Политический дневник», т.2, сент. 1968).

(30) Курсив А.Солженицына.

(31) А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.251.

(32) Там же.

(33) Вот версия Б.Закса об истории с резолюцией (из интервью автору настоящей работы):

Закс рассказывал, что решение было принято не редколлегией, а партийной организацией редакции — всего около десяти человек. «И секретаря парторганизации Ирину Архангельскую просто прижали к стенке. На этом маленьком заседании было два представителя райкома. Причём единственное, что она сумела сделать, — это отвертеться от резолюции развёрнутой и принять просто голую формулу: заслушали и одобрили. С трудом ей удалось, это было максимум, что она могла сделать. Иначе был бы разгром не только журнала, но полетели бы все эти люди, она не могла себе этого позволить, она к этому была не готова совершенно, да ещё Твардовского нет./.../ Не знаю, я при этом не присутствовал, я рассказываю то, что знаю со слов других — это происходило именно так».*

И.Виноградов в интервью автору настоящей работы в ответ на вопрос: «Считает ли он, что смерть журнала наступила с момента подписания резолюции?» — заметил:

«Да, я считал, что мы изменяем себе. Тем не менее публика понимала, что нас поставили на колени, измазали грязью, но мы не переменились тем не менее. Конечно, если бы мы героически поступили, это имело бы большой вес, но это не значило, что после этого надо разбредаться, и всё. Ну что же делать: мы проглотили это, мы сказали гадость, мы сделали гадость, но мы надеялись, что нас будут понимать как-то.

Что касается меня, то я понимал, что наше время кончилось, но не потому, что мы себя предали — это уж ладно, как-нибудь, может, Бог простит и обществу тоже, — а потому, что 68-й год обозначал начало новой эры, в которой «Новому миру» всё равно было не существовать. Дело было только в сроке. Год прошёл, и нас уже не стало. «Новый мир» действительно разгромили, и разгромили после 68-го года. Но не потому, что он себя предал, — сами мы не кончились, мы пытались что-то делать

после 68-го года, старались... И то, что журнал после этого остался на прежнем уровне, — это тоже факт...»*.

Из статьи В.Лакишина 1988 года «Не власть в беспамьятство»:

«Пражская весна» сказала на нашем положении самым прискорбным образом. Литературы стали бояться ещё больше, всюду искали «неконтролируемый подтекст». Из апрельской книжки «Нового мира» сняли главы «Дерзевского дневника» Ефима Дороша, ни один из материалов не остался без вымарок. Из майского номера сняли повесть Василия Быкова, требовали уничтожить (и уничтожили) уже отпечатанные листы с разоблачительной биографией Гитлера — «Преступник номер 1»./.../В редакцию одна за другой стали навещать комиссии райкома и горкома партии. /.../«Новый мир» снова был на краю, и Твардовский решился просить встречи у Л.И.Брежнева. Я был в его кабинете, когда раздался долгожданный телефонный звонок. Брежнев был благодушен, расположен, обещал встретиться после переговоров с арабским лидером Насером и ряда других неотложных государственных дел. Свидание откладывалось с недели на неделю и было перечёркнуто молча и окончательно 20 августа 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу» (В.Лакишин, «Не власть в беспамьятство», с.213).

(34)В.Лакишин, «Не власть в беспамьятство», «Знамя», 1988, 8, с.213—214.

(35)Лакишин приводит текст письма Твардовского от 15 октября 1968 года Лакишину, отдыхавшему в Ялте:

«...Со времени «событий» силы стали окончательно покидать меня, я начал приучать себя к мысли, что ничего уже не поделаешь, — так оно, должно быть, и есть. Во всяком случае, потеряв возможность с кем-нибудь «на этажах» «советоваться», искать защиты или хотя бы сочувствия, види своё полное одиночество в этом смысле, я почти что сознательно избегал «тыркаться» в какие-либо двери, и, может быть, как я уже говорил, это было отчасти к лучшему для журнала — не навлекало на него дополнительной дозы раздражения «этажей». ...Так я и в отпуск свой ушёл, чтобы хоть не числиться это время, надеясь, что, может быть, развиднеет, но надежда эта всё более меркнет» (В.Лакишин, «Не власть в беспамьятство», с.213—214).

(36)В.Лакишин, «Не власть в беспамьятство», «Знамя», 1988, 8, с.213-214.

(37)К 68-у году появился «чёрный список» писателей — тех, кто в январе-феврале подписал письма в защиту Гинзбурга и Галагосова, объявленных антисоветчиками. Занесённых в этот список решено было «в порядке наказания» не публиковать. Как сообщается в «Политическом дневнике», «у писателя Б.Сарнова... был рассыпан набор книги о Пантелееве»; «прекратилась редакторская подготовка сборников стихов Б.Ахмадулиной»; были «задержаны несколько статей Л.Копелева и Р.Орловой; не «проходят» несколько вещей у В.Аксёнова»; «приостановлена работа над двумя письмами В.Войновича./.../ Что касается Солженицына, то его имя исключается цензурой даже из литературоведческих статей. В провинциальных библиотеках изымаются все прежние издания «Ивана Денисовича» («Политический дневник», т.1, апрель 1968, гл. «Чёрный список писателей»).

Некоторые другие события этого года: выход из партии по собственному желанию и в знак протеста против акции советского правительства в событиях в ЧССР семидесятидвулетнего писателя А.Е.Костёркина, члена партии с 1916 года; репрессии против генерала П.Григоренко — друга Костёркина; «госпитализация» Ж.Медведева; исключение из партии писателя Г.Свирского за поддержку журналиста Ю.Карякина, исключённого из партии (Ю.Карякин был вскоре восстановлен в партии. — Н.Б.); письмо рабочего А.Марченко против политики ЦК КПСС, которую оно проводит по отношению к Чехословакии, и арест Марченко 29 июля; письмо 30 июля 68-го года П.Литвинова, П.Григоренко, И.Рудакова, И.Белгородской, Л.Богораз с требованием освободить Анатолия Марченко; письмо Лидии Чуковской в «ЛГ» в поддержку Солженицына; письмо из Киева на имя Л.И.Брежнева, А.Н.Косыгина и Н.В.Подгорного от представителей творческой

интеллигенции — 150 подписей — против политических процессов над молодыми людьми из среды творческой и научной интеллигенции, которые идут уже на протяжении нескольких лет. За год было исключено из партии или уволено с занимаемой должности большое количество добросовестных и честных граждан («Политический дневник», т.1, апрель 1968, с.300—307).

(38) Ж.Медведев, «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», Macmillan, London LTD, 1973, с.138.

(39) Там же.

(40) В.Лакшин, «Не власть в беспамятство», с.214.

(41) Там же.

(42) Ю.Буртин в статье «Вам, из другого поколения...» раскрывает смысл названия и объясняет направленность поэмы, истоки её зарождения:

«...Поэма родилась как акт сопротивления, как продолжение той борьбы, которую её автор и руководимый им журнал вели против наступающей реставрации./.../

И в той же мере, в которой инструментом бюрократической реставрации явилась широкомасштабная кампания по организации общественного беспамятства, в той же мере оружием сопротивления ей стала п а м я т ь» (разрядка Ю.Буртина. — Н.Б). А главным органом «этой не поддающейся насильственному усыплению или урезыванию исторической памяти» был журнал Твардовского, «для которого и предиазначалась его последняя поэма» (Ю.Буртин, «Вам, из другого поколения...», «Октябрь», 1987, 8, с.200—201).

В той же статье Буртин даёт подробную информацию (основанную на сохранившихся у него рапортниках о ходе подготовки текущих номеров, которые каждый день раздавались работникам заведующей редакцией журнала Н.П.Бианки) об истории «непрохождения» поэмы Твардовского через цензуру. Так, мы узнаём: 23 апреля 1969 года поэма получена редакцией и сдана в типографию для уже набранного пятого номера; 30-го уже готовы две вёрстки поэмы, однако нет разрешения Главлита; чтобы не задерживать весь номер, редколлегия передвигает поэму в шестой, июньский выпуск. «Та же картина: недели, месяцы — разрешения нет, — пишет Буртин. — Наконец, в рапортнике от 8 июля даются сведения о том, что «стихи Твардовского заменяются стихами Злотникова, Айбека и стихами африканских поэтов». Поэма передвинута в восьмой номер — тот же результат. Твардовский борется, настаивает перед секретариатом правления Союза писателей СССР на обсуждении поэмы в писательской среде — слова его уходят как в вату. Тем временем поэма начинает ходить по рукам, её переписывают; наконец без ведома автора печатают за рубежом. Это будет использовано как средство морального давления на непокладистого редактора...» (Ю.Буртин, «Вам, из другого поколения...», с.202).

(43) В.Лакшин, «Не власть в беспамятство», с.215.

(44) В редакции стали появляться странные люди. Один из них, попросив меня, — пишет Лакшин, — принять его наедине, шептал на ухо: «Предупредите Александра Трифоновича. Пусть осторожнее переходит улицу, возможен случайный наезд...» (В.Лакшин, «Не власть в беспамятство», с.215).

«А знаете, Юрий Валентинович, — признавался Твардовский писателю Трифонову летом 69-го, — иногда проснешься утром и думаешь: а не бросить ли всё это? Не послать ли куда? Ведь сил не хватает на борьбу... Ведь, ей-богу же, сам я кое-что ещё могу написать, руки есть, голова есть... А вот силы кончатся... А потом подумаешь, сколько же людей ждёт этот журнал, как праздник, как надежду какуто-то! В захолустных городках где-то, в деревнях подписываются, ждут, я же знаю... Обмануть их? Уйти в благополучную жизнь? Нельзя, невозможно. И говоришь себе, как протопоп Аввакум своей Марковне: «Марковна, до самых смерти!». Она его

спрашивала: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» (Ю.Трифонов, «Вспоминая Твардовского», «Огонёк», 1986, 10, с.24).

(45)В.Лакшин, «Не власть в беспамятество», с.215.

(46)Ю.Трифонов, «Вспоминая Твардовского», с.24.

(47)В.Лакшин, «Не власть в беспамятество», с.215.

(48)О существовании группы «обиженных» на «Новый мир» литераторов упомянул в беседе с автором настоящей работы Г.Владимов, об этом пишет и Ю.Трифонов в своих воспоминаниях о Твардовском. Трифонов рассказывает, в частности, о том, что после «артподготовки к главному сражению: снятию Твардовского с поста редактора», он с другими писателями на даче у Г.Бакланова составили письмо протеста против этой позорной кампании, а затем «побежали по посёлку за подписями». Утром Трифонов и Бакланов приехали в Москву и зашли «к старому приятелю по Литинституту»: «— Нет, ребята, я этого подписывать не стану! Тут мне открылось многое, — пишет Трифонов. — Мне представлялось раньше, что громадное большинство писателей стоят на стороне Твардовского и только очень немногие являются врагами Александра Трифоновича и его журнала. Однако дальнейшее показало, что между друзьями и врагами Александра Трифоновича колышется необмеримое море ни тех и ни других, но всё же склоняющихся ближе к недоброжелателям, а ещё точнее — к ущемлённым, обиженным за что-то, когда-то.

Я, вообще говоря, — продолжает Трифонов, — убеждён в том, что «Новый мир» страдал от того, что взорвался пороховой погреб писательских самолюбий» (Ю.Трифонов, «Вспоминая Твардовского», с.24).

Того же мнения относительно главной причины разгрома журнала придерживается и И.Виноградов (см. статью И.Виноградова «Птицы певчие и птицы ловчие», «Московские новости», 52, 31 дек. 1989).

(49)Ю.Буртин, «Почта «Октября», «Октябрь», 1987, 12, с.202.

(50)В.Лакшин, «Не власть в беспамятество», с.216.

(51)Ж.Медведев, «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». с.142.

(52)«Именно 11 февраля, — пишет там же (в своей книге «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича») Ж.Медведев, — в «ЛГ» было опубликовано и сообщение о реорганизации редакции «Нового мира», и, таким образом, читатель мог решить, что эти два события действительно связаны между собой» (с.142).

(53)См.(51).

(54)В.Лакшин, «Не власть в беспамятество», с.216.

(55)В декабрьском номере должна была идти моя статья, — пишет Лакшин, — «Мудрец» Островского — в истории и на сцене». Я сильно за неё опасался. Последние годы ни одна из моих работ не проходила, не ободрав бока. И вдруг статью подписали без замечаний, но указанию важного лица, заметившего вскользь: «На прощанье. Всё равно он уходит» (В.Лакшин, «Не власть в беспамятество», с.216—217).

(56)Ю.Буртин, Почта «Октября», с.205.

(57)См. о событиях последнего года жизни журнала также: А.Кондратович, «Последний год. Из «Новомирского дневника». Публикация В.А.Кондратович, «Новый мир», 1990, 2. О событиях 1967—1970 гг., непосредственно связанных с «Новым миром», Твардовским и Солженицыным, см. также: Ю.Буртин, «Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов (Твардовский, Солженицын, «Новый мир». По документам Союза писателей СССР. 1967—1970)», «Октябрь», 1990, 8—11.

(58)Ю.Буртин, «Вам, из другого поколения...», с.199.

(59)В.Г.Белинский, собр. соч. В 9 т. М., 1976—1982, т.7, с.346.

(60)E.Rogovin Frankel. "Novy Mir" (A case study in the politics of littérature 1952 - 1958), Cambridge University Press, 1981.

(61) Alexandra Kviatkowski, "Aspects du non-conformisme soviétique dans la presse littéraire post-khrouchtchévienne: Le Novi Mir (1965 - 1975), Thèse de doctorat du 3ème cycle d'études slaves, Université de Paris IV, 1975.

(62) Dina R. Spechler, "Permitted Dissent in The URSS /Novy mir and the Soviet Regime/, Praeger, New York, 1982.

(63) А. Солженицын, «Бодался телёнок с дубом» (Очерки литературной жизни). YMCA- PRESS, Париж, 1975.

(64) Эта полемика (с указанием на источники) рассматривается нами в главе настоящей работы, посвящённой изучению творчества В. Лакшина.

(65) Ж. Медведев, «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», Macmillan, London LTD, 1973.

(66) Ю. Трифонов, «Вспоминая Твардовского», «Огонёк», 44, октябрь 1986.

(67) «Фёдор Абрамов об Александре Твардовском (По материалам личного архива Ф. Абрамова)», «Север», 1987, 3. Публикация Л. Крутиковой.

(68) А. Твардовский «Из рабочих тетрадей (1953- 1960)», «Знамя», 1989, 7—9; «Письма о литературе. 1930—1970», «Советский писатель», М., 1985.

(69) А. Кошдратович, «Последний год (Из «Новомирского дневника)», «Новый мир», 1990, 2. Публикация В. А. Кошдратович.

(70) В. Лакшин, «Не власть в беспамятство», «Знамя», 1988, 8; «Новый мир» во времена Хрущёва (1961—1964)», «Знамя», 1990, 6, 7; «Открытая дверь (Воспоминания, портреты)», «Московский рабочий», М., 1989.

(71) И. Виноградов, «Перед лицом неба и земли», «Литературная учёба», 1988, янв./февр.; «Птицы певчие и птицы ловчие», «Московские новости», 1989, 31 дек.

(72) Ю. Буртин, «Реальная критика» вчера и сегодня», «Новый мир», 1986, 7; «Возможность возразить», Библиотека «Огонька», 1988, 24. Изд-во «Правда», М.; «Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов (Твардовский, Солженицын, «Новый мир» по документам Союза писателей СССР. 1967—1970)», «Октябрь», 1990, 8—11.

(73) С. Чупринин, «Позиция (Литературная критика в журнале «Новый мир» времён А. Т. Твардовского (1958—1970 гг.)», «Вопросы литературы», 1988, 4.

Г Л А В А I. ОБЩИЕ ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ «НОВОГО МИРА»

(1) А. Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с. 4.

(2) Там же, с. 4.

(3) См. перечень новомирских публикаций этого рода в Приложении I.

(4) «Правда», 27 января 1967г.

(5) Здесь и в других местах, кроме специально оговоренных случаев, жирным шрифтом (реже разрядкой) выделено автором настоящей работы.

(6) Стенографическая запись выступления А. Твардовского на обсуждении журнала в СП СССР в марте 1967 года, «Политический дневник /1964—1970/, Фонд им. Герцена, Амстердам, т. 1, 1972, с. 184—185.

(7) Цитируется (в переводе автора настоящей работы) по книге Дины Р. Спешлер "Permitted Dissent in The URSS /Novy mir and the Soviet Regime/, Praeger, New York, 1982, с. 214.

(8) С. Чупринин, «Позиция», «Вопросы литературы», 1988, 4, с. 28.

(9) Там же, с. 26.

(10) «От редакции», «Новый мир», 1965, 9.

(11) С. Чупринин, «Позиция», с. 28—29.

- (12) «Новый мир», 1967, 12, с.203, 206—208.
- (13) Г.Бровман, «Живая жизнь и нормативность», «Москва», 1964, 7.
- (14) В.Лакшин, «Необходимая реплика», «Новый мир», 1964, 8.
- (15) Там же, с.274—275.
- (16) Там же, с.275.
- (17) Ж.Медведев, Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», Macmillan London LTD, 1973, с.68.
- (18) Ю.Буртин, «Вам, из другого поколения...», «Октябрь», 1987, 8, с.197.
- (19) А.Солженицын, «Очерки литературной жизни», YMCA - PRESS, Париж, 1975, с.278.
- (20) В.Гроссман, «Жизнь и судьба», L'Age d'homme, Lausanne, 1980, с.187.
- (21) А.Терц, «Что такое социалистический реализм», в книге: «Фантастический мир Абрама Терца», Inter-Language literary associates, Нью-Йорк, 1967, с.431.
- (22) А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.13.
- (23) В.Гроссман, «Всё течёт...», «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1970, с.89.
- (24) «От редакции», «Новый мир», 1963, 10, с.287.
- (25) «Когда отстают от времени», «Правда», 27 янв.1967 г.
- (26) А.Метченко, «Кровное завоевание», «Октябрь», 1966, 5.
- (27) «Революцией мобилизованная и призванная», «Октябрь», 1966, 6, с.221.
- (28) См. Приложение II.
- (29) См. Приложение I.
- (30) И.Виноградов, например, во вступительной части статьи «Точка опоры», «Новый мир», 1959, 1.
- (31) «Лица», Нью-Йорк, 1955, с. 213.
- (32) А.Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с.13.
- (33) «Октябрь», 1966, 6, с.221.
- (34) «От редакции», «Новый мир», 1965, 9, с.287.
- (35) «От редакции», «Новый мир», 1962, 10, с.286.
- (36) «От редакции», «Новый мир», 1959, 10, с.287.
- (37) «От редакции», «Новый мир», 1962, 10, с.286; 1960, 10, с.287; 1961, 10, с.319.
- (38) «От редакции», «Новый мир», 1964, 10, с.287.

Г Л А В А II. ТВОРЧЕСТВО В.Я.ЛАКШИНА

(1) Частота публикаций Лакшина о Марке Щеглове (две в «Новом мире» Твардовского, три в последующие годы) объясняется разным рода обстоятельствами. Во-первых, по-видимому, дорогой памятью о старшем товарище по факультету, восхищенном талантом и гражданской смелостью критика ранней «оттепели», с которым Лакшина объединяло большее, чем литературная близость, и тем, повторных, что Лакшин вошёл в комиссию по литературному наследию М.Щеглова. Однако все напоминания Лакшина о судьбе критика и значении его творчества, рассыпанные во времени, являются, по существу, различными редакциями одной и той же работы. Начать хотя бы с того, что глава «Марк Щеглов -- вечный юноша» из книги воспоминаний В.Лакшина «Вторая встреча» 1984 года без изменений перешла в другую книгу воспоминаний -- «Открытая дверь» 1989 года. В свою очередь, эта глава является незначительно изменённой редакцией новомирской публикации воспоминаний Лакшина о М.Щеглове 1969 года («Марк Щеглов /Напоминание об одной судьбе/, 1969, 5); наконец, предисловие Лакшина к публикации «Студенческих тетрадей» М.Щеглова в «Новом мире» в 1963 году (1963, 6) содержит ряд абзацев, использованных в последующих названных уже трёх работах. Несколько иначе (хотя опять-таки с введением нескольких старых параграфов в

качестве биографического материала из своего вступления к публикации «Студенческих тетрадей» М.Щеглова) построена статья В.Лакшина о М.Щеглове, напечатанная в журнале «Литературное обозрение» («Три года и вся жизнь. /Путь Марка Щеглова/», 1987, 3), которая, в какой-то степени является и рассказом о своём творческом пути.

(2)Эта проблема возникала, например, при рассмотрении «конкретного» анализа Лакшиным повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», рассказа «Матрёнин двор» и романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» — то есть, по существу, тогда, когда критик оценивал произведения, плоть которых была результатом философской мысли, неадекватной новомирскому мировоззрению.

(3)См. Ж.Нива, «Солженицын», в русском переводе С.Маркиша, Overseas Publication Interchange LTD, London, 1984.

(4)С.Рассадин, «Что было, чего не было...», «Литературная газета», 2. 5. 1990, с.4.

(5)В.Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» (писатели, редактор и журнал)», «20-й век», выпуск 2-й, 1977, Лондон, с.168.

(6)Такая трактовка опыта сталинизма и опыта людей, прошедших лагеря, уже немыслима в критике Лакшина после публикации повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». «Нравственная» максима того, что даже и в лагере советские люди сохраняли веру в коммунистическую правду, станет чуть позже главным аргументом консерваторов, которые противопоставят повести Солженицына оптимистическую повесть о лагерях Б.Дьякова.

(7)Разрядка в тексте.

(8)«Гражданственность и патриотизм» Пастернака «не имели ничего общего с казённым оптимизмом и квасной народностью», — писала в книге воспоминаний о поэте О.Ивинская.

«Удивительно, что и сегодня некоторые люди, даже близко знавшие Б.Л., — пишет О.Ивинская в книге «В плену времени», — не понимают социального содержания его поэзии. Н.Б.Башников утверждает, что Б.Л. «не был социальным мыслителем». А в письме Максима Горького: «...Это — голос настоящего поэта, и — социального поэта в лучшем и глубочайшем смысле понятия».

Мог ли эти стихи написать поэт, который «не был социальным мыслителем?»

Я лынул когда-то к беднякам —

Не из возвышенного взгляда,

А потому что только там

Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком

И с публикою деликатной,

Я дармоедству был врагом

И другом голи перекастной...

(О.Ивинская, «В плену времени», Fayard, 1978, с.136).

Характерно, что Лакшин, соглашаясь с тезисом Александрова об антисоциальности поэзии Пастернака, не принимает во внимание и тех его стихотворений социального звучания, которые печатались в 50-е годы, в частности, и в «Новом мире». Речь идёт о стихотворениях «Хлеб», «Перемена», «Быть знаменитым некрасиво...», «Во всём мне хочется дойти...», «Смелость» и других его вещах гражданского звучания, в которых «чувство» отнюдь не «питается самим собою», как писал Александров, и как раз наоборот — «включает в себя жизнь других людей».

Кроме того, говоря о том, что «за двадцать с лишним лет, прошедших со дня появления» статьи В.Александрова «Частная жизнь», «никто, кажется, не сказал о Б.Пастернаке убедительнее и лучше» (с.247), Лакшин проходит мимо новомирской статьи С.Шуг «У карты нашей литературы» 1956 года, в которой творчеству поэта

была дана иная оценка. С.Штут в своей статье «У карты нашей литературы» так писала о Пастернаке:

«Мы равнодушно «обошли» Б.Пастернака, хотя, зная вслед за М.Горьким, «как много хорошего» в его поэзии, мы обязаны были глубоко задуматься над трагедией его лирического героя. «...Всякий великий поэт потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общественности и истории, — цитирует Штут Белинского. — Только маленькие поэты и счастливы, и несчастливы от себя и через себя, по зато только они сами и слушают свои птичьи песни, которых не хочет знать ни общество, ни человечество...!.../ И если поэт, в мужественной искренности которого нельзя усомниться, сказал о себе: «И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней», — то это обязывает нас исследовать «корни его страдания и блаженства» (С.Штут, «У карты нашей литературы», «Новый мир», 1956, 10, с.245).

И тут, естественно, напрашивается вопрос: отчего же критик не учитывает стихотворений поэта 50-х годов, не упоминает статью С.Штут, а полностью разделяет оценку Александрова двадцатилетней давности, считая её наилучшей работой о Пастернаке? Что это — недобросовестность?

Мы бы не стали делать такого утверждения. Скорее всего, в своём отношении к Пастернаку Лакшин искренен, и не случайно он предпочитает позицию В.Александрова позиции С.Штут.

(9)Так, в более поздних, назови-мирских своих работах о критике — «Критика сегодня и завтра» («Вопросы литературы», 1968, 11) и «Три года и вся жизнь» о творчестве М.Щеглова («Литературное обозрение», 1987, 3) Лакшин выдвигает ряд уже знакомых нам по ранним работам критериев оценки художественного и литературно-критического творчества: «ответственность за слово», «искренность», требование содержательности и мастерства формы, подчёркивает важность профессионального, а не ремесленного отношения критика к своей профессии, ощущения критиком своего призвания («Критика сегодня и завтра», с.29). Как пишет Лакшин в своей мемуарной книге «Вторая встреча», в критике действует «один закон», в который «А.Т. твёрдо веровал»: «в литературе, искусстве, как в любви, хорошо лишь то, что в охотку. Принуждение себя, любой оттенок неискренности сразу скажутся в деревянном слого, фальшивом тоне, как ни заблестись укрыть своё равнодушие» («Советский писатель», М., 1984, с.163).

Вместе с тем «повод для вдохновения в критике, — пишет Лакшин в статье «Критика сегодня и завтра», — вряд ли могут дать «проходные», заурядные книги». «На обычные упреки в «отставании» от литературы существует ответ, кажущийся неотразимым: литература имеет ту критику, какую заслуживает. Для появления Белинского нужны были Пушкин и Гоголь. Добролюбов родился как критик Гончарова, Тургенева и Островского» («Три года и вся жизнь», с.25). — словом, подчёркивает Лакшин, «большую критику всегда рождала только большая литература». Но «такие редкостные критические таланты, как Белинский или Добролюбов, — пишет далее Лакшин, — умели и самый скромный литературный повод использовать для важного высказывания» («Критика сегодня и завтра», «Вопросы литературы», 1968, 11, с.30). Следовательно, каков бы ни был уровень литературы, в критике важен не материал, который может и устареть (Щеглов, например, писал о пьесах Корнейчука, Софронова и Штейна, об очерках В.Полторацкого и Татьяны Тэсс, о романе Ф.Панфёрова «Волга-матушка река» и рассказах Ильи Лаврова), но «вереница мыслей», вызванных теми или иными произведениями, а также «искусство разбора» («Три года и вся жизнь», с.25—26). В этой же статье, в одном месте, Лакшин также отмечает, что «если, по замечанию Пушкина, проза требует мыслей и мыслей, то критика требует мыслей тройне» (с.28).

Итак, какова литература, такова и критика, важно лишь, чтобы само отношение к делу было добросовестным, профессиональным, ответственным. Важно и «чтобы социальные и нравственные идеи критика рождались из потребностей его времени и находили отклик во множестве душ его современников и сограждан», пишет Лакшин в статье «Критика сегодня и завтра» (с.31). И в связи с этим последним положением Лакшина вводит ещё два новых критерия искусства критики: «современность и своевременность критического слова» («Критика сегодня и завтра», с.31).

«В недавние времена и по сей день критику рассматривают как обслуживающий персонал в литературном доме...», пишет Лакшин в статье «Три года и вся жизнь» (с.28), но теперь существует и другая тенденция — видеть в критике «предмет равноправный с собственно литературой. Мол, это такой же род творчества, как и словесное искусство — и оттого высказывание критика автономно, оно вправе даже идти по касательной к смыслу разбираемого произведения...». Для Лакшина такой взгляд является «дурной пародией на «реальную критику» Добролюбова, которая, по его замечанию, отойти не сводится к «проверке искусства жизнью», а имеет в виду «эманации» мыслей и впечатлений критика» от произведения искусства («Три года и вся жизнь», с.27). В другой своей статье Лакшин объясняет, что в критике, «как и во всяком искусстве, исключенная из существа дела и скромно сказанная правда... важнее надуманной оригинальности, пусть с виду она и цветиста и остра» («Вопросы литературы», с.30—31). Такое понимание Лакшиным места и задач литературной критики вполне соответствует, как можно заметить, общенормативской концепции. Оригинальным же для Лакшина является, пожалуй, его обобщенное определение искусства критики, которое он даёт в своей статье «Критика сегодня и завтра».

«Художник имеет дело с непосредственной реальностью жизни, критик — с реальностью, воссозданной и осмысленной автором. Истолковывая книгу, критик тоже по-своему пишет картину жизни, но пользуется при этом уже добытым художником жизненным материалом — идеями, образами, красками. И хотя критик получает художественный материал уже, так сказать, готовым, он из чужого тотчас делает его своим, размышляя и сравнивая его с действительностью, соотнося с тем, что он сам переведал и переживал, и включая в новые идейные и смысловые связи» («Вопросы литературы», 1968, 11, с.30—31). А раз так, то критика есть искусство интерпретации, определяя, равно как профессия дирижера, пианиста, скрипача. Такая трактовка кажется нам довольно удачной, хотя и не совсем в традициях русской критики 19-го в. (Критик «должен быть эстетиком и мыслителем», писал Г.Плеханов («Эстетическая теория Н.Г.Чернышевского», 1897 г.), в определении же В.Белинского, критика — это «движущаяся эстетика»).

Важно ли, однако, для понимания критического темперамента Лакшина и его литературной позиции это его определение критики как искусства интерпретации? Нам кажется, что как и все перечисленные выше критерии и требования к искусству и профессии критики, так и это глобальное определение должны быть приняты как законы, установленные критиком для самого себя. Они и составляют некий свод обязательных правил, которые должны ориентировать наши суждения и оценки относительно и тех больших повомирских работ В.Лакшина, которые будут рассмотрены ниже и на примере которых можно будет, вероятно, судить, насколько верным и искусным интерпретатором является Лакшин.

(10) Ж.Медведев, «Десять лет после «Одного дня Ивана Ленского», Macmillan, London LTD. 1973, с.23.

(11) Там же, с.26.

(12) Там же, с.29.

(13) Лакшин, «Открытая дверь», «Московский рабочий», 1989, с.205.

(14) Это статьи — Н.Кружкова «Так было, так не будет», («Огонёк», 1962, 49); В.Бушина «Герой — жизнь — правда» («Подъём», 1963, 5); «Насущный хлеб правды» («Нева», 1963, 3); Н.Губко «Человек побеждает» («Звезда», 1963, 3).

(15) Ж. Медведев, «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», с.24.

(16) В. Лакшин, «Открытая дверь», с.205.

(17) В своей статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», опубликованной в 1977 году на Западе в ответ на книгу А. Солженицына «Бодался телёнок с дубом» (Общественно-политический и литературный альманах «20-й век», Т.С.Д. Publication, Лондон, 1977), Лакшин даёт нам более точную дату написания статьи: лето 1963 года (с.154).

(18) Лакшин, «Открытая дверь», с.209.

(19) Письмо В. Лакшину, приведённое критиком в его книге «Открытая дверь», с.206.

(20) Б. Можяев, «Ещё о каиновой печати и нательном кресте», «Книжное обозрение», 1990 г., 14, с.7.

(21) Остальная критика на повесть сводилась к следующим замечаниям: Ф. Чапчатов из журнала «Дон» (1963, 1) поставил под сомнение образ главного героя (с.226); Л. Фоменко в своём обзоре прозы отметила, что повесть Солженицына «ещё не даёт всей правды о тех временах» («Литературная Россия», 11 янв. 1963); Г. Ломидзе («Лит. Росс.», 18 янв. 63) хотя и перечеркнул аргумент Фоменко («нельзя требовать от автора объять необъятное»), но сделал это неудачно («Солженицын написал не роман-эпосию, а всего лишь маленькую повесть»), ибо, как объясняет Лакшин, сам не заметил, как «установил некую иерархию жанров, согласно которой роман-эпосия в отношении правды изображения заранее получает преимущество перед повестью» (с.227). Критерии, использованные названными критиками (чего-то автор «не отразил», «не обобщил») в их анализе произведения, были выработаны в сталинские времена нормативной школой критики, и Лакшин, объявляя их недействительными, противопоставляет нормативному подходу аналитический. Критик должен «исходить из свидетельства художника» и на этом материале «выносить суд о самом произведении и о жизни, в нём изображённой» (с.226), это — «азы материалистической эстетики» Добролюбова, ленинской теории отражения, объясняет Лакшин (с.226). И применительно к повести Солженицына, по словам критика, удивляться надо «тому, напротив, как широко захватил он жизнь, как много сумел рассказать в столь малых пределах, как один день одного лагерника», из которого «мы не только узнали обиход жизни заключённых, их подневольную работу и скудный радостями быт», но и «людей, в каждом из которых отозвалось что-то типическое, существенное для понимания времени» (с.227).

(22) Здесь и далее выдержки из статьи Сергванцева приводятся по статье Лакшина. Разрядка в тексте.

(23) Разрядка в тексте.

(24) Разрядка в тексте.

(25) В. Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», «20-й век», Лондон, 1977 г., с.196.

(26) А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», ч.3, собр. соч., YMCA - PRESS, Вермонт, Париж, 1980, т. 6, с.238.

(27) Разрядка в тексте.

(28) А. Солженицын, «Из 7-го дополнения» (май 1982) к «Очеркам литературной жизни», «Наши плюралисты», «Вестник РХД», 1983, 139, с.143.

(29) Ж. Нива, «Солженицын», Overseas Publication Interchange LTD, London, 1984, с.84.

(30) А. Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», YMCA - PRESS, Париж, 1975, с.258.

(31) Разрядка В. Лакшина.

(32) Интервью Солженицына для радио Би-би-си (дек. 1982 г.) (К 20-летию выхода в свет «Одного дня Ивана Денисовича»), «Вестник РХД», 1983, 138, с.156.

(33) С. Рассадин. «Что было, чего не было...», «Литературная газета», 2. 5. 1990, с.4.

(34) Р. Медведев. «Книга о социалистической демократии», изд-во Грассе Фаскель, Амстердам/Париж, 1972, с.228—229.

(35) «Комсомольская правда», 2 марта 1990, с.4.

(36) А. Солженицын. «Бодался телёнок с дубом», с.260.

(37) «Сама публикация этого произведения... — пишет С. Рассел, — является частью гарантий того, что ни советский народ, ни весь мир никогда больше не испытают нарушений социалистической законности» («Дейли уоркер», 31 января 1963 года)» (1964, 9, с.231).

«Что заставляет Шухова так вдохновенно трудиться? — спрашивает В. Страда и отвечает: «Как можем мы определить его сознание, если не социалистическим, социализмом «в самом сердце»!... /.../ Я, может быть «советизировался» настолько, — выражает далее догадку такого своего прочтения повести Страда, — что читаю Солженицына, как его читает большинство советских читателей? Тем лучше» («Ринашита», 6 июля 1963 г., «Еуропа лёттерариа», 1964, 26)» (1964, 9, с.235).

(38) Ж. Нива, «Солженицын», с.84.

(39) Лакшин в своей книге «Открытая дверь» писал о реакции критики на его статью «Иван Денисович. Его друзья и недруги»: статья «наделала много шума и принесла немало неприятностей автору», но «на какое-то время повесть вышла из-под удара». «Особенно негодовали на то, что я будто бы обозначил творчество Солженицына как магистральный путь развития советской литературы, а всё общество, или, во всяком случае, литературную общественность, разделил на «друзей» и «недрузей» Ивана Денисовича» («Открытая дверь», с.207—208).

В самом деле, судя по откликам на статью (появившимся в советской прессе ещё до вынесения решения комитета по Ленинским премиям), особенно не по душе оппонентам Лакшина пришлось его деление критики на нормативную и аналитическую, а критиков — на друзей и недругов.

В откликах П. Строкова, Ю. Барабаша и «Литератора» на статью Лакшина, появившихся ещё во времена правления Н. Хрущёва, то есть ещё в условиях общедемократического подъёма, была сделана попытка выставить самого Лакшина догматиком и приверженцем нормативной школы критики.

«Чего стоит уже само название статьи, редкостно отвечающее её содержанию», — писал П. Строков в статье «Окрыляющее слово». — «Попробуй теперь посягнуть на критику «Одного дня Ивана Денисовича», или «Матрёнинного двора», или «Случая на станции Кречетовка» — посягнешь на самые священные заветы». Не мешай!»

«Разделив всю критику на «нормативную» и «аналитическую» и провозгласив себя страстным поборником последней, Лакшин с успехом демонстрирует принципы своего «аналитического» метода: без тени смущения извращает мысли тех, с кем ведёт полемику, грубо третпирует даже самых безобидных «недрузей», в угоду своему кумиру цинично оскорбляет гражданские чувства другого уважаемого писателя... (Б. Дьякова. — Н.Б.)/.../

Однако лицо критики, — заключал П. Строков, — конечно, определяется не этими рецидивами «вчерашнего дня нашей жизни» («Октябрь», 1964, 3, с.177—180).

В апрельском номере журнала «Октябрь» некий «Литератор» в статье под названием «Большой разговор в критике» привёл выдержки из выступлений А. Годорского и Б. Дьякова о статье Лакшина на дискуссии в Центральном Доме литераторов, организованной советом по критике при Московском отделении Союза писателей. Обидевшийся на Лакшина Дьяков и Годорский «утверждали, — пишет Литератор, — что критик подошёл к острой и сложной теме легкомысленно». Б. Дьяков упрекнул Лакшина в «искажении фактов, цитат», в

«пренебрежении логикой» и в «оскорблении самого святого в душах наших людей» «во имя утверждения старой «проработочной», субъективистской критики».

Литератор, вслед за П.Строковым, возмущился «произвольным, бездоказательным» разделением критики на «нормативную» и «аналитическую» и выразил протест против деления литераторов на «друзей» и «недрузгов», а также поддержал Л.Крячко, которая жаловалась в своей статье «Железобетон» и «изящная критика» («Молодая гвардия», 1964, 1) на «бесцеремонные разносы в «Новом мире», которым за последнее время, по её словам, были подвергнуты «произведения А.Рекемчука, Б.Бедного, И.Лаврова, Л.Обуховой, Е.Карпова, В.Очеретина», «А.Андреева, Вл.Фёдорова, Г.Свирского...» («Октябрь», 1964, 4, с.189).

Статьи П.Строкова и «Литератора» появились в журнале «Октябрь» ещё в дни работы комиссии по Ленинским премиям. Однако поддержка повести Солженицына в центральных газетах — в «Известиях» (В.Паллон, «Здравствуй, кавторанг», 15. 1. 64) и в «Правде» (С.Маршак, «Правдивая повесть», 30. 1. 64), то есть двумя центральными газетами, не могла быть случайностью, как пишет Ж.Медведев в книге «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». «о других произведениях, выдвинутых на премию, писалось мало и без ясной определённости» (с.33).

Но вот 11 апреля 1964 г. в «Правде» на последней странице появилась большая статья, озаглавленная «Высокая требовательность», которая была посвящена обзору писем в редакцию о повести «Один день Ивана Денисовича». Выводы, к которым якобы пришла основная масса читателей повести, состоят в следующем: «повесть А.Солженицына заслуживает положительной оценки, но её нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии» (с.34). «Было очевидно, — пишет Ж.Медведев, — что за этой статьёй стоит намерение консервативных кругов подготовить советскую общественность к тому, что Ленинский премии А.И.Солженицын не получит» (с.35).

Несмотря на усилия Твардовского добиться премии для повести, её присудили О.Гончару. И хотя кампания была проиграна Твардовским, полемика в советской прессе вокруг повести Солженицына и статьи Лакшина продолжалась ещё несколько месяцев, и было ясно, что тут борьба не литературная, а политическая.

Одним из значительных выступлений против Лакшина, гораздо более определённым в политическом смысле, была статья Ю.Барабаша, опубликованная в «Литературной газете» за 12 мая 1964 г. («Руководители», «руководимые» и хозяева жизни /Заметки критика/»), то есть уже после победы консерваторов в борьбе за Ленинские премии. И хотя «ЛГ» предоставила возможность новомирскому критику ответить Барабашу, мнение, выраженное редакцией газеты, сопровождавшее эту публикацию, показывало, что «ЛГ» заняла позицию консервативного лагеря.

Барабаш, равно как и П.Строков и «Литератор», пытается в своей статье представить себя поборником идей 20-го съезда партии, однако такие термины и понятия литературы «оттепели», как «руководимые и руководители», «маленький человек», «винтик», которые Лакшин использует в своей статье, Барабаш перетолковывает или сводит на нет.

Так, например, Барабаш заявляет о том, что деление «развития советской литературы» на до и после 20-го съезда — «схема», «искусственность, надуманность разграничения геросв советской литературы», ибо советская литература и в 20—40-е годы знает своих «простых» людей: таких, как Григорий Мелехов, Морозка, дед Шукар и погодинский человек с ружьём, Василий Тёркин, Егор Дрёмов... Лакшину Барабаш тем самым инкриминирует «схематичность» мысли и незаметно снимает критерий «руководимые и руководители». Отменяет Барабаш и термин «простой» или «маленький» человек, подчёркивая, что в нашей литературе «обыкновенный труженник выступает как человек отнюдь не простой и поистине необыкновенный: его роль в обществе определяется не должностью только, не чинюм, а прежде всего тем, что он по праву чувствует себя хозяином жизни. И если он становится

«начальством», то не вопреки, а благодаря тому, что кровно, всей своей судьбой и всеми помыслами связан с «руководителями», с народом, есть плоть от плоти его». И «традиция создания таких образов — одна из животворнейших традиций литературы соцреализма...». В пример берутся герои Г.Маркова, О.Гончара, М.Алексеева, которых «роднит», по словам Барабаша, «мироощущение хозяина жизни», невзирая на должности и чины.

Говоря о герое повести Солженищина, Барабаш подчёркивает, что «никак нельзя примириться с попыткой сделать Ивана Денисовича чуть ли не знаменем советской литературы последних лет», — нельзя потому, как пишет критик, что «рядом с ним были люди, «озабоченные не только тем, чтобы выжить, но и тем, чтобы сохранить в неприкосновенности человеческое достоинство, совесть и убеждённости коммуниста, веру в леинскую правду». Барабаш повторяет основные положения статьи Сергюванцева и далее заключает: «долг писателя» состоит в том, чтобы «находить в народе и художественно отображать черты новых людей, которых можно было бы назвать необыкновенными обыкновенными людьми», «великими «маленькими» людьми». «Такова наша концепция человека, такова наша концепция народного характера».

Объявляя себя сторонником идей 20-го съезда партии, Барабаш, по существу, сводит их на нет, но делает это уже более нагло и открыто, нежели его предшественники.

Лакшин решительно отстаивает в своём ответе Барабашу позиции 20-го съезда.

«Я считал и продолжаю считать», — подчёркивает Лакшин, — что не просто бестактно, но кощунственно упрекать Ивана Денисовича, отбывающего восьмой год в бериевском лагере, за то, что он не чувствует себя «хозяином жизни», кощунственно называть трудовых людей, подобных Шухову, «бездумными роботами», кощунственно приписывать Шухову «жертвенность» на том основании, что он оказался жертвой репрессий периода культа личности.

Таковы мои подлинные представления, и, как легко убедиться, они существенно отличаются от тех, что навязаны мне Юрием Барабашем...» («ЛГ», 14. 5. 1964) (Закавыченные выражения взяты Лакшиным из статьи Барабаша).

«Литературная газета», предоставившая Лакшину возможность ответа, в свою очередь даёт оценку этой полемике в колонке «От редакции». Здесь говорилось, в частности, о том, что Лакшин «не слышит, не замечает существа адресованных ему упреков», «существа вопроса». Существо же спора для автора заметки состоит в «принципиальной позиции, изложенной в статье «Иван Денисович. Его друзья и недруги», где Лакшин назвал своих оппонентов критиками «нормативного» подхода, «врагами» Ивана Денисовича:

«...Мы считаем и продолжаем считать, — писал автор заметки, — что приём, посредством которого ставится знак равенства между реальным человеком с реальной судьбой и героем художественного произведения, есть рецидив догматической критики, с которой нередко приходилось сталкиваться в период культа личности. Подобного рода приём открывает широкие возможности для шельмования каждого, кто высказывает своё, не совпадающее с мнением того или иного критика, мнение об этом литературном герое.

Понятно ли нашему оппоненту, что мы имеем в виду? Нужны ли разъясняющие аналогии?

Допустим, не в столь давние времена литературный персонаж той или иной книги был наделён автором рядом отличительных качеств, но тем не менее вызвал противоречивые оценки. Как бы вы, товарищ Лакшин, отнеслись к критику, который на журнальных страницах стал бы упрекать своих оппонентов в том, что они критикуют этот персонаж лишь потому, что не приемлют его... преданность делу партии, его патриотических убеждений и т.д.? Как бы вы отнеслись к критику «тех

времен», который озаглавил бы подобного рода статью, скажем, так: «Друзья и враги советского человека?»»

Завершалась заметка «От редакции» словами о том, что вклад Солженицына в борьбу против культа личности большой, но почему читатели «не вправе, наконец, мечтать и об ином герое, показательном в тех же жестоких обстоятельствах», в каких изобразил Шухова Солженицын. «Что отвечаете вы, тов. Лакшин, этим читателям и критикам? — возмущённо спрашивал редактор «ЛГ». — /.../Вы кощунственно бросаете тень на отношение каждого своего оппонента не к герою художественного произведения, нет, а к реальным жертвам сталинского произвола».

Эта публикация отразила обоюдную решительность «друзей» и «врагов» Ивана Денисовича стоять на своей позиции, чему подтверждение дальнейшая история взаимоотношений «Нового мира» с другими журналами.

(40) А.Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с.16.

(41) Там же, с.16.

(42) Смотрите Приложение II, где использована часть материала статей В.Лакшина «Читатель, писатель, критик».

(43) Надо сказать, что в упомянутой работе Твардовского мы находим сгусток тех положений и мыслей, которые, собственно, будут развиты и тщательно проиллюстрированы в двух статьях Лакшина о читателе, писателе и критике.

(44) Разрядка в тексте.

(45) Разрядка в тексте.

(46) Разрядка в тексте.

(47) Курсив и разрядка в тексте.

(48) И в самом деле, уже в условиях начавшейся реакции, начало которой ассоциировалось с арестом новомирских авторов А.Синявского и Ю.Даниэля в сентябре 65-го года и с захватом архива Солженицына сотрудниками КГБ, Лакшин, вслед за публикацией нового рассказа Солженицына «Захар-Калита» в «Новом мире» (1966, 1), поддерживает автора и в этой своей статье.

Лакшин в статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» писал, в частности, о поддержке журналом в эти дни Солженицына: «В январе 1966 года, как раз в те месяцы, когда, испуганный захватом на квартире Теуша его рукописей, Солженицын, как он пишет, «реально ожидал ареста почти каждую ночь» (с.118), «Новый мир» напечатал его рассказ «Захар-Калита». Не всем в редколлегии этот рассказ нравился, но все согласились, что надо поддержать печатаемым оказавшегося в трудном положении автора. А в августе 1966 года, когда уже ни одна газета, ни один журнал в СССР давно не поминали добром имя Солженицына, мне удалось опубликовать на страницах «Нового мира» большой сочувственный разбор его рассказа «Матрёнин двор», где суждениям неумной казённой критики были противопоставлены отзывы читателей. 5 октября 1966 года Солженицын прислал мне, — пишет Лакшин, — ...обширное благодарственное письмо, где весьма лестно отзывался о моём «отменном критическом стиле» и даже разбирал по пунктам его особенности и черты. Нескромно, быть может, об этом помпидать, но что делать, если о разное «Известиями» «Матрёнинного двора» Солженицын в «Телёнке» говорит, а о защите «Новым миром» этого рассказа — ия полсловечка» (с.155—156).

Точно так же была встречена и предыдущая статья Лакшина «Иван Денисович. Его друзья и недруги».

В откликах на неё того времени как Твардовский, так и Солженицын выразили свою благодарность и высоко оценили её.

А.Твардовский в своём письме к Лакшину обратил внимание на «серьёзность разговора» о «значительных и важных политических, этических и эстетических мотивах в связи с «Ив. Денисовичем» («Открытая дверь», с.208). Солженицын также был доволен работой Лакшина. В его письме к критику он хвалил Лакшина, во-первых, за то, что критик «верно истолковал, что не о народе и интеллигенции речь

идёт, а о тех, кто принимает на себя удар и кто от него уклоняется», во-вторых, за то, что «по глубокой сути» критик верно истолковал образ Цезаря, и, в-третьих, за «великолепный удар по дяковской повести» («Открытая дверь», с.208).

(49)Р.Медведев, «Книга о социалистической демократии», Амстердам/Париж. Фонд имени Герцена. Издательство Грассе Фаскель, 1972, с.234.

(50)Разрядка В.Лакшина.

(51)Разрядка В.Лакшина.

(52)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», YMCA - PRESS, Париж 1975, с.258.

(53)Разрядка Лакшина.

(54)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.259.

(55)Курсив Солженицына.

(56)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.260.

(57)В самом деле, как сообщается в комментарии к публикации отрывка из статьи Лакшина в «Политическом дневнике», «статья Лакшина «не была пропущена цензурой, её содержание подверглось тщательному обсуждению в отделе литературы ЦК КПСС. Однако после некоторых купюр статья Лакшина была всё же разрешена к печати» («Политический дневник», сент. 1968, т.1, с.277).

(58)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.260.

(59)Курсив А.Солженицына.

(60)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.260.

(61)Там же.

(62)Разрядка Солженицына.

(63)С.Чупринин, «Позиция», «Вопросы литературы», 1988, 4, с.29.

(64)Любопытно сравнить это изречение с идентичным заявлением редактора журнала «Знамя» В.Кожевникова, которое по архивным документам приводит Ю.Буртин в своём новомирском дневнике: «Редактор «Знамени» В.М.Кожевников заявлял на одном из заседаний секретариата Союза писателей: «Из опыта нашей редакции. У нас в продолжение 19 лет, когда я работаю, не было ни одной рукописи, задержанной цензурой» (Ю.Буртин, «Новый мир и его противники (Попытка редакционного дневника. 1969 г.)», «Литературная газета», 20. 6. 1990, с.7).

(65)В.Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», «20-й век», Лондон, с.201.

(66)Там же, с.211.

(67)Курсив Лакшина.

(68)Ф.Светов, «Разделение...», «Вестник РХД», Париж, 1977, 121; С.Чупринин, «Позиция (Литературная критика в журнале «Новый мир» времён А.Т.Твардовского: 1958—1970 гг.)», «Вопросы литературы», 1988, 4.

(69)См. хронику событий истории журнала «Новый мир» во Вступлении.

(70)А.Твардовский, «Несколько слов к читателям «Нового мира», 1961, 12, с. 253.

(71)И далее: «Оба рассказа («Самый маленький город» и «Голубиная гибель». — Н.Б.) прошли без замечаний, однако «Голубиная гибель» только в «Новом мире» прошла в первоначальной редакции. В двух сборниках моих рассказов, выпедших в «Советской России» и в Гослитиздате, рассказ опубликован в изувеченном виде. Теперь это просто сентиментальный рассказ» (Ю.Трифонов, «Вспоминая Твардовского», «Огонёк», 1986, окт., с.23).

(72)См., в частности, статьи А.Дементьева «Две позиции» (1961, 12) и «На провидиальном уровне» (1962, 11).

(73)В.Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», с.168.

(74)В.Лакшин, «Ответ Аркадию Сахнину», «Московские новости», 24 апреля 1988, с.15.

(75)В.Лакшин, «Не впасть в беспамяństwo», «Знамя», 1988, 8, с.213.

(76)Ф.Светов, «Вестник РХД», 1977, 121, с.199, 200.

(77)В.Лакшин, «В редакцию «Вестника РХД», «Поиски и размышления», вып.1, Париж, 1980, с.20.

(78)С.Чупринин, «Позиция (Литературная критика в журнале «Новый мир» времён А.Т.Твардовского: 1958—1970 гг.)», «Вопросы литературы», 1988, 4, с.32.

(79)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.251—252.

(80)Курсив А.Солженицына.

(81)И.Виноградов в беседе с автором настоящей работы, вспоминая этот эпизод из истории журнала, сказал, что он отказался наотрез участвовать в собрании и пытался уговорить членов редколлегии не проводить его. Твардовский, к которому члены редколлегии поехали за советом, предложил им «поступать, как они считают нужным». Когда же подошёл последний день и необходимо было принять какое-то решение, Лакшин, по словам Виноградова, предложил провести собрание, на что Виноградов ответил, что в таком случае будет выступать с критикой. «Тогда поезжай домой, ты не имеешь права выступать против редколлегии», — сказал Лакшин.

Виноградов уехал домой, но сожалел впоследствии о том, что не остался и не выступил с критикой*.

(82)Ф.Светов, «Разделение...», «Вестник РХД», 1977, 121, с.200.

(83)Ф.Светов, «Разделение...», с.199, 200.

Соглашаясь с Ф.Световым в данном пункте его критики позиции В.Лакшина, нельзя тем не менее принять другое его положение — о «тактике принципиального компромисса», которая якобы была установкой журнала «Новый мир».

(84)Разрядка в тексте.

(85)В.Лакшин, «Без покаяния», «Комсомольская правда», 2 марта 1990, с.4.

(86)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.305.

(87)Разрядка в тексте.

(88)Жирный шрифт А.Солженицына.

(89)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.305.

(90)В.Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», с.174.

(91)Так случилось, по свидетельству И.Виноградова, на одном из собраний: Кондратович выступил чуть ли не с доносом против Буртия. Так было и в момент, когда Виноградов предложил обсудить статью Лакшина «Пути журнальные» на редколлегии. «Вместо понимания, вместо разговора на идеологически содержательном уровне, — свидетельствует Виноградов, — личная обида автора. Так что какой-либо сплочённости не было и в самой редколлегии. Размежевание уже чувствовалось, и требовать впоследствии, после разгона редколлегии, какого-то единства действия, мобилизации от сотрудников и авторов было странным, не говоря о том, что сама политика бойкота была малоэффективной в тех условиях*.

(92)В.Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», с.185.

(93)В.Некрасов, «Взгляд и нечто», «Континент», Париж, 1976, 13, с.76—77.

(94)К.Озерова в интервью автору настоящей работы мотивировала свою позицию точно так же: «У редакторов осталось на руках очень много произведений, рукописей, которые нельзя было просто так бросить, — стояли заполненные материалами шкафы, которые надо было разобрать. И первый год действительно удалось кое-что из этого багажа напечатать. А через год меня с Берзер и так уволили*». Берзер, Озерова, Некрасов считали, что журнал — это прежде всего то, что там публикуется, поэтому главная задача редакторов — давать дорогу литературе.»

Наконец, сам Твардовский отнюдь не был на стороне Лакшина. По свидетельству Б.Закса, Твардовский придерживался всегда того мнения, что авторы имеют право печататься где угодно, потому что бессмысленно и бесчеловечно от них требовать не печататься. Закс вспоминал в интервью автору этой работы о том, что и оставшимся при новой редколлегии сотрудникам редакции Твардовский не предъявлял никаких

претензий, потому что понимал, что если они сами уйдут, то их никуда не возьмут на работу, у них будет положение безвыходное. Что касается членов редколлегии — тех, кто не сразу вышел, — А.Марьямова главным образом, — то Твардовский, по словам Закса, простить не мог ему того, что тот продолжает ходить в журнал*. М.Хитров подал заявление об уходе в первый же день, но Твардовский, по словам Буртина, просил его остаться ещё на год в журнале для передачи дел новому редактору.* «60-летний тяжелобольной Дорош, — как пишет в книге «Бодался телёнок с дубом» Солженицын, — подал заявление, не отпустили — предатель!». Остались после января 1970 г. в редколлегии лишь «нерабочие» члены — Ч.Айтматов, Р.Гамзатов, А.Кулешов, К.Федип. А А.Кондратович, уволенный секретариатом СП и устроенный им же на другую должность, через год пошёл печататься в «Новый мир» — и это уже было нарушением всякой этики, актом предательства*, рассказывал Б.Закс.

(95)В.Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», «20-й век», Лондон, 1977. Далее везде указание на страницы цитируемых мест из этой статьи приводятся в тексте.

(96)См. «Этюд» о Лакшине в: А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.253—260.

(97)А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.174.

(98)А.Солженицын, «Ещё о «Новом мире», «Вестник РХД», 1982, 137, с.125—126.

(99)Б.Можаев ссылается на слова из статьи В.Лакшина «В запале полемики», «Вечерняя Москва», 28. 2. 1990.

(100)Б.Можаев, «Ещё о кашновой печати и пательном кресте», «Книжное обозрение», 1990, 6 апреля, с.5, 7.

(101)Там же, с.7.

(102)Книга А.Солженицына «Бодался телёнок с дубом» впервые опубликована в СССР в журнале «Новый мир» за 1991 г.

(103)А.Солженицын, «Ещё о «Новом мире», «Вестник РХД», 1982, 137, с.127.

(104)«В «АиФ» напечатан отрывок из мемуаров А.И.Солженицына, главная мысль которого в том, что в 1970 году «Новый мир» погибал «без красоты»... 15 лет назад я написал полемический ответ на книгу «Бодался телёнок с дубом».../... «опубликовал на Западе...». «Теперь положение изменилось: наши газеты и журналы наперебой печатают и хвалят Солженицына... Не сомневался в том, что в ближайшее время ему будет возвращено гражданство... Но истина есть истина. Публикация «АиФ» вынуждает меня к ответу. Предлагаю читателям отрывок из полемического очерка «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», который будет опубликован полностью, как только в СССР появится в печати мемуарная книга Солженицына» (В.Лакшин, «АиФ», 1989, 52, с.4).

(105)В.Лакшин, «АиФ», 1989, 52, 4—5.

(106)«Вестник РХД», 1982, 137, с.124—125.

(107)Там же, с.129.

(108)Там же, с.129—130.

(109)«Вечерняя Москва», 28. 2. 1990.

(110)Б.Можаев, «Ещё о кашновой печати...», с.5.

(111)См.:А.Солженицын, «Вестник РХД», 1982, 137, с.127—129.

(112)Б.Можаев, «Ещё о кашновой печати...», с.5.

(113)В.Лакшин, «Утрата достоинства», «ЛГ», 1. 5. 1991, с.9.

(114)См.: А.Солженицын, «Вестник РХД», 1982, 137, с.126.

(115)Там же, с.126.

(116)Разрядка Солженицына.

(117)Курсив Лакшина.

(118)Курсив Лакшина.

(119)В.Лакшин, «Открытая дверь», «Московский рабочий», М., 1989, с.102.

- (120) Там же, с.103.
 (121) Там же, с.105.
 (122) Там же, с.106.
 (123) Там же, с.107.
 (124) Там же.
 (125) «Вестник РХД», 1977, с.107, 233.
 (126) См. А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», с.278.
 (127) См. (113).
 (128) «В редакции «Вестника РХД», «Поиски и размышления», 1980, 1, с.18.
 (129) «Бодался телёнок с дубом», с.260.

Г Л А В А III. ТВОРЧЕСТВО Ю.Г.БУРТИНА

- (1) А.Твардовский, «Из рабочих тетрадей», «Знамя», 1989, 8, с.174.
 (2) А.Твардовский, по замечанию Ю.Буртина, не совсем точен в изложении этого инцидента: первая попытка его выдвижения стоила Ю.Буртину лишь выговора по партийной линии, после второй попытки, предпринятой вслед за первой в ходе той же избирательной кампании, Ю.Буртин был исключен из кандидатов в члены партии.*
 (3) «Новый мир», 1954, 4.
 (4) А.Твардовский, «Письма о литературе», «Советский писатель», М., 1985, с.140.
 (5) Известный публицист Лен Карвинский, например, считает, что «появление, где-то с 1966—1967 гг. довольно сильного научного корпуса (исходя из выбора учёных, которые здесь печатались) в разделе рецензий на научные темы, во главе которого стоял Ю.Буртин, послужило одной из причин краха «Нового мира»*.
 (6) «Октябрь», 1987, 8. См. также: «Почта «Октября», «Октябрь», 1987, 12.
 (7) «Прогресс», М., 1988.
 (8) «Новый мир», 1987, 6.
 (9) «Октябрь», 1989, 11, 12.
 (10) См. во Введении «Хронику событий истории журнала «Новый мир».
 (11) «Вопросы литературы», 1988, 6.
 (12) Ф.Светов, «Опыт биографии», YMCA - PRESS, Paris, 1985, с.151—163.
 (13) Разрядка Буртина.
 (14) Ю.Буртин, «Ахиллесова пята исторической теории Маркса», «Октябрь», 1989, 11—12.
 (15) А.Солженицын, интервью радиостанции Би-би-си, «Вестник РХД», 1978, 127.
 (16) В.Савин, «Парламентаризм на современном этапе», «Новый мир», 1968, 5.
 (17) «Новый мир», 1969, 11.
 (18) В.Борншчева, «Наш семейный бюджет», «Новый мир», 1968, 4.
 (19) «Народ безмолвствует?..», «Огонёк», 1988, 41, с.6.
 (20) Там же, с.7.
 (21) Там же, с.22.
 (22) Там же, с.23.
 (23) Разрядка Буртина.
 (24) Разрядка Буртина.
 (25) Разрядка Буртина.
 (26) Разрядка Буртина.
 (27) Разрядка Буртина.
 (28) Разрядка Буртина.
 (29) Разрядка Буртина.

(30)Ссылка на книгу И.Виноградова «В ответе у времени», М., 1966 г. Редакция сняла название книги и имя автора, так как Виноградов был тогда членом редколлегии «Нового мира».

(31)Разрядка в тексте.

(32)Разрядка Буртина.

(33)Разрядка Буртина.

(34)Разрядка Буртина.

(35)Разрядка в тексте.

(36)«Огонёк», окт. 1986, 44, с.23.

(37)См. Письмо «одинадцати»: «Против чего выступает «Новый мир», «Огонёк», 1969, 30.

(38)См. об этом подробно в статье Ю.Буртина «Возможность возразить» Библиотека «Огонька», 1988, 24, М., «Правда».

(39)Разрядка Буртина.

(40)И.Виноградов. «Птицы певчие и птицы ловчие», «Московские новости» 1989, 31 дек., с.11.

(41)Ю.Трифонов. «Вспоминая Твардовского», «Огонёк», 1986, 44, с.24.

(42)См.(40).

(43)См.(38), а также статьи Ю.Буртина: «И нам уроки мужества даны...», «Почта «Октябрь», «Октябрь», 1987, 12; «Новый мир» и его противники», «ЛГ», 20. 6. 1990, с.7; «Процедурный вопрос», «ЛГ», 17. 10. 1990, с.7.

(44)«Литературная газета» от 6 июня 1990 г., с.10.

(45)См.статьи Ю.Буртина: «Из наблюдений над стихом Твардовского», «Вопросы литературы», 1960, 6; «Нестареющая правда», Сб. «Живая память поколений», М.,1965 г.; статья о поэме А.Твардовского «Василий Тёркин» в «Литературном наследстве», т. 78, кн.1, М., 1965; «Три поэмы Твардовского» (Послесловие к книге «Твардовский А. «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у дороги», М., 1970; послесловие к двум первым томам шеститомного собрания сочинений Твардовского, М., 1976—1983.

(46)См.статьи Ю.Буртина: «Приобщая к опыту опыт...» (Твардовский. Этапы духовного пути), «Литературное обозрение», 1986, 6; «Вам, из другого поколения...» (К публикации поэмы А.Твардовского «По праву памяти»), «Октябрь», 1987, 8; «И нам уроки мужества даны», «Октябрь», 1987, 12; послесловие к воспоминаниям Ивана Твардовского «Страницы пережитого», «Юность», 1988, 3; «Неудобный некролог», «Московские новости», 24 июня 1990, с.14; «Твардовский и его время», изд-во «Художественная литература», М., 1990.

(47)Ю.Буртин, «Вам, из другого поколения...», «Октябрь», 1987, 8, с.211.

(48)Ю.Буртин, «Приобщая к опыту опыт...», «Литературное обозрение», 1986, 6, с.54.

(49)Там же, с.52.

(50)Там же, с.52, 53.

(51)Там же, с.53.

(52)«Вам, из другого поколения...», «Октябрь», 1987, 8, с.193.

(53)Поэма «По праву памяти», как известно, была предназначена для публикации в пятом номере журнала за 1969 год. Но Главлит не пропустил её ни в 6-й, ни в 8-й номера. Поэма Твардовского пошла в самиздат и была опубликована за границей. А через 18 лет, в 1987 году, её напечатали одновременно журналы «Новый мир» и «Знамя».

(54)«Вам, из другого поколения...», «Октябрь», 1987, 8, с.193.

(55)Там же, с.194, 201.

(56)Там же, с.201.

(57)Ю.Буртин, «Приобщая к опыту опыт...», «Литературное обозрение», 1986, 6, с.54.

(58) Там же, с.54.

(59) Там же.

(60) А.Солженицын, «Отрывки из второго тома «Очерков литературной жизни», Из «7-го Дополнения» (май 1982), «Вестник РХД», 1982, 137, с.130.

См.также: А.Солженицын, Интервью для радио Би-би-си, «Вестник РХД», 1983, 138, с.159–160.

Г Л А В А IV. ТВОРЧЕСТВО И.И.ВИНОГРАДОВА

(1) И.Виноградов является автором книг:

«Проблемы содержания и формы литературного произведения», М., «Издательство Московского университета», 1958; «Как хлеб и вода (Искусство в нашей жизни)», М., 1962; «В ответе у времени (О деревенском очерке 50-х гг.)», М., «Советский писатель», 1964; «Искусство, истина, реализм», М., «Искусство», 1974; «По жиному следу (Духовные искания русской классики)», М., «Советский писатель», 1987; участник сборника «Иного не дано», М., «Прогресс», 1988; автор нескольких десятков статей по вопросам современной советской литературы, истории русской общественной мысли, истории русской литературы 19-го века, истории эстетики и т.д.; автор множества других работ (рецензий, эссе, полемических заметок) по тому же кругу проблем.

(2) Статья И.Виноградова о романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» была опубликована не в «Новом мире», а в журнале «Вопросы литературы», но рассматривается в настоящей главе (в частности, третья главка статьи) ввиду того, что имеет важное значение для уяснения общей мировоззренческой позиции И.Виноградова в этот период его творчества.

(3) Разрядка в тексте.

(4) Разрядка в тексте.

(5) «Литературная учёба», 1988, 1.

(6) Там же, с.79, 84.

(7) Курсив Виноградова.

(8) «Литературная учёба», 1988, 1, с.85–86.

(9) Разрядка в тексте.

(10) Разрядка Виноградова.

(11) Наталья Ильина, «Мои продолжительные уроки», «Огонёк», 1988, 17, с.26–27.

(12) Разрядка И.Виноградова.

(13) Разрядка в тексте.

(14) И.Виноградов, «Двадцать лет спустя», «Литературное обозрение», 1985, 1, с.58.

(15) См. об этом статью Виноградова «Точка опоры» 1959 года, которая посвящена конкретному изучению работы председателя Покровки Мельникова (роман Михаила Жестева «Золотое кольцо»).

(16) Разрядка И.Виноградова.

(17) Н.Добролюбов, Полное собр. соч., т.2, М., Гослитиздат, 1935, с.48.

(18) Здесь необходимо оговориться относительно того, что среди уже рассмотренных нами статей и рецензий И.Виноградова есть работы, хронологически относящиеся ко второму периоду (статьи об очерках Дороша и Овечкина, рецензия на повесть Распутина), которые, однако, тематически, по тем задачам, которые ставит перед собой автор, не выходят, в принципе, за рамки той проблематики, которая была характерна для первого периода творчества критика. Поэтому мы их и рассмотрели в первой части нашей главы об И.Виноградове как наиболее яркие выражения того, что было «наработано» им в ранний период.

- (19)Разрядка в тексте.
- (20)И.Виноградов, «По живому следу (Духовные искания русской классики)», М., «Советский писатель», 1987 г., с.4—5.
- (21)Там же, с.5.
- (22)Разрядка Виноградова.
- (23)Разрядка Виноградова.
- (24)Разрядка Виноградова.
- (25)Разрядка Виноградова.
- (26)Разрядка Виноградова.
- (27)И.Виноградов, «По живому следу», с.43.
- (28)Курсив Виноградова.
- (29)«Книга Некрасова дважды обсуждалась в Союзе писателей — на специальном заседании президиума и на совещании, созванном военной комиссией», — писал обозреватель журнала «Знамя» в 1947 году. А в следующем обзоре, отвечая оппонентам, приводил такие, к примеру, отзывы: «Произведение, которому больше всего недостаёт идейности», «Содержание вещи не совпадает с самым главным и существенным, с нашей Отчественной войной», «Реализм на подножном корму» и т.п.».
- В другой рецензии на повесть, выдержки из которой приводит в статье «На краю земли» И.Виноградов, читаем: «...Война показана в романе с точки зрения того участника ближнего боя, который словно бы ничего не подозревает о ходе войны в целом, да и не думает о нём»; «в романе не выражены достаточно полно и глубоко те мысли и чувства, которые вдохновляли наших воинов на величайшие подвиги»; «характерно, что с точки зрения автора не поддаётся объяснению — почему в ходе Отчественной войны происходит крутой перелом» (И.Виноградов, «На краю земли», «Новый мир», 1968, 3, с.228).
- (30)И.Виноградов, «Мир без ненужных вещей», «Московские новости», 11 сент. 1988, с.11.
- (31)И.Виноградов, «Бьгтя возвратное движение», «Знамя», 1987, 2, с.224—227.
- (32)И.Виноградов, «О повести Сергея Каледина «Смирненное кладбище», «Новый мир», 1987, 5, с.81—85.
- (33)Н.Сергованцев, «Возвращение к герою», «Огонёк», окт. 1968, 44, с.26.
- (34)Из речи Л.И.Брежневца на 19-ой конференции Московской городской организации КПСС, 29 марта 1968 г.
- (35)Разрядка Виноградова.
- (36)Разрядка Виноградова.
- (37)И.Виноградов, «По живому следу (Духовные искания русской классики)», М., «Советский писатель», 1987 г.
- (38)И.Виноградов, «Перед лицом неба и земли», «Литературная учёба», 1988, 1, с.93.
- (39)Е.Шкловский, «Продолжение понска», «Знамя», 1988, 9, с.220.
- (40)Разрядка И.Виноградова.
- (41)См.(39).
- (42)И.Виноградов, «Критический анализ религиозно-философских взглядов Л.Н.Толстого», «Знание», 1981, 4, с.63.
- (43)И.Виноградов, «Диалог Белинского и Достоевского: философская алгебра и социальная арифметика», «Знамя», 1986, 6.
- (44)«Московские новости», 1 окт.1989.
- (45)«Новый мир», 1987, 5, с.85.
- (46)Разрядка Виноградова.
- (47)С.Чупринин, «Позиция (Литературная критика в журнале «Новый мир» времён А.Т.Твардовского: 1958—1970)», «Вопросы литературы», 1988, 4.

- (48) И. Виноградов, «Мир без нужных вещей», «Московские новости», 11 сентября 1988, с.11.
- (49) «Московские новости», 11 июня 1989, с.11.
- (50) Разрядка Виноградова.
- (51) «Московские новости», 11 июня 1989, с.11.
- (52) И. Виноградов, «Может ли правда быть позташной» в книге: «Иного не дано», «Прогресс», 1988, с.282.
- (53) Е. Шкловский, «Продолжение поиска», с.221.
- (54) М. Санин, «Я гимны прежние пою...», «Литературное обозрение», 1988, 7, с.60.

Г Л А В А V. ТВОРЧЕСТВО А.Д.СИНЯВСКОГО

- (1) А. Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с.17.
- (2) А. Сияевский, «Диссидентство как личный опыт», «Синтаксис», Париж, 1986, 15, с.136.
- (3) Там же, с.134.
- (4) Там же, с.142.
- (5) Там же, с.132, 136.
- (6) «День русской поэзии», «Новый мир», 1959, 2, с.215.
- (7) А. Т. Твардовский, «О поэзии Маршака», Собр. соч. в шести томах, изд-во «Художественная литература», т.5, 1980, с.161.
- (8) Там же, «Поэзия и народ», с.309--310.
- (9) Из интервью с В.П. Некрасовым: «...Он не любил Евтушенко и Вознесенского, имея, вероятно, хороший вкус. Но тогда же Евтушенко и Вознесенский звучали, они были кумирами! А он эту лиру не любил. И вообще, он не очень любил поэтов. Он не любил всё то, что называется авангардом. Я представляю себе, что будь он сейчас жив, он всех этих Сапн Соколовых и «Ожог» Аксёнова очень бы не любил, и все эти половые увлечения, слова, которые сейчас употребляются...А было трудно без этих слов...»*.
- (10) «Мы придерживаемся линии реализма, правдивого изображения действительности, верности великим заветам русской классической литературы, являющей миру непрезойдённые образцы реалистического искусства. /.../ Мы против ухищрений модернизма и тлетворного эстетического влияния Запада, того самого Запада, приверженности к которому нас понаслышке попрекают» (Из речи А. Твардовского на обсуждении в секретариате СП СССР журнала «Новый мир», 1967 г., «Политический дневник», т.1, март 1967, с.185).
- (11) «Литературная газета», 22 ноября 1990, с.15.
- (12) «Литературная газета», 17 января 1990, с.7.
- (13) А. Сияевский, «Диссидентство как личный опыт», с.133, 131—132.
- (14) Там же, с.146.
- (15) Там же, с.132—133.
- (16) Курсив Сияевского.
- (17) А. Сияевский, «Диссидентство как личный опыт», с.136.
- (18) Там же, с.141.
- (19) Там же, с.142.
- (20) Там же, с.133.
- (21) А. Сияевский, «Опавшие листья» В.В. Розанова», «Синтаксис», Париж, 1982, с.301.
- (22) А. Сияевский, «О критике (Выступление на конференции в Лос-Анджелесе)», «Синтаксис», Париж, 1982, 10, с.150, 148—149.

(23) А. Терц, «Что такое социалистический реализм», в книге «Фантастический мир Абрама Терца», Inter-Language literary associates, Нью-Йорк, 1967, с.428—429.

(24) А. Сияневский, «Достоевский и каторга», «Синтаксис», 5, с.110.

(25) А. Сияневский, «Диссидентство как личный опыт», с.143, 142.

(26) Абрам Терц, «В тени Гоголя», Overseas Publications interchange, Collins, London, 1975, с.29—30.

(27) А. Сияневский, «Опавшие листья» В.В.Розанова», «Синтаксис», Париж, 1982, с.88.

(28) "Siniavski prof et voyou", "Libération", 12 sept. 1984, p.32.

(29) А. Сияневский, «Чтение в сердцах», «Синтаксис», 1987, 17, с.193, 194.

(30) А. Терц, «Что такое социалистический реализм», с.432—433.

(31) А. Сияневский, «Диссидентство как личный опыт», с.142.

(32) А. Терц, «Что такое социалистический реализм», с.433.

(33) А. Сияневский, «Диссидентство как личный опыт», с.132.

(34) Там же, с.147.

(35) Там же, с.142.

(36) Там же.

(37) Там же, с.146.

(38) А. Сияневский, «Чтение в сердцах», с.204.

(39) А. Сияневский, предисловие к сборнику стихотворений и поэм Б.Пастернака. «Библиотека поэта», Большая серия, «Советский писатель», М.—Л., 1965, с.61, 35.

(40) Там же, с.35.

(41) Там же, с.22.

(42) «Первое условие трагедии — величие страдающего. — пишет Сияневский. — Трагедия появляется лишь на стыке скорби и силы и возбуждает не столько жалость, сколько восхищение, вызывает духовный подъём, нравственное просветление» (с.225). «Счастье» — вот то слово, которое, пожалуй, чаще всего произносит Берггольц, рассказывая о героической борьбе осаждённого Ленинграда и находя в ней источник душевной энергии» (с.225). За этими словами стоит уже личность поэта и отношение критика к этой личности.

Пять лет спустя, в заключении, Сияневский будет ощущать такое же сложное творческое счастье. В лагере, как рассказывал критик, ему «открылась история страны в разных поворотах, здесь были люди с какими-то необыкновенными судьбами, разных национальностей, верований — словом, весь Советский Союз в миниатюре».* «Опыт познания каторги, — пишет Сияневский в своём эссе «Достоевский и каторга», — совпал и соединился у Достоевского — с самопознанием» («Синтаксис», 5, с.111). Опыт каторги для Достоевского (для Солженицына, сказавшего однажды А.Твардовскому: Не знаю, каким бы я стал писателем, если бы не лагерь...), для Сияневского, равно как и опыт войны для Берггольц, по-видимому, и можно сформулировать словами «Трагедия и сила дают творческое счастье». Однако Сияневский спешит оговориться: «так бывает не у всякого, и страдания не всегда облагораживают человека. Бывает, что это ведёт к раскату не просто физической, а нравственной. Это показал в своих Колымских рассказах В.Шаламов»*.

(43) «Коммунистка с 1940 года, она понимала всё и в то же время не понимала ничего, потому что хотела не видеть, не слышать. Явление Солженицына она встретила как благодать, а трещину, возникшую между её приверженностью партии и порывом к правде, — эту трещину заливала водкой. Иногда у неё были просветы, тогда она позволяла себе говорить прямо и дерзко, но сразу же заглушала сознание вином, и в тот же миг обаятельная, умная, храбрая женщина становилась гадким животным. Её болезнь — это преступление общества. Всё то, что общество заставило её пережить, — и гибель ребёнка, и расстрел мужа, и блокада, и ждановщина, и космополитизм, — не могло не разрушить её: так или иначе, «частицы» должны

были раздвинуты, — она могла сойти с ума, покончить с собой, отойти от литературы. Она осталась поэтом и в то же время членом партии, и вот этого раздвоения не выдержала» (Е.Г.Эткинд, «Советский писатель и смерть», «Время и мы», Тель-Авив, 1978, 26, с.142—143).

(44) А.Синявский, «В защиту пирамиды. Заметки о творчестве Евг.Евтушенко и его поэме «Братская ГЭС», «Грани», 1967, 63. Далее указание на страницы цитируемых нами мест из статьи будет приводиться в тексте.

(45) Предисловие к публикации статьи А.Синявского «В защиту пирамиды. Заметки о творчестве Евг.Евтушенко и его поэме «Братская ГЭС», «Грани», 1967, 63, с.114.

(46) Разрядка Синявского.

(47) Разрядка Синявского.

(48) А.Терц, «Что такое социалистический реализм», в книге «Фантастический мир Абрама Терца, с.442.

(49) Ефим Эткинд в беседе с автором настоящей работы высказал свою точку зрения по этому поводу:

«У Евтушенко есть стихотворение: «Я разный/ Я натруженный и праздный/ Я целе- и нецелесообразный...». На него плюют и говорят: вот он сегодня пишет против советской власти, а завтра — за советскую власть, он двурушник!

Неправда, он не двурушник. Двурушник — это тот, кто врёт. А Евтушенко не врёт: он человек советский и антисоветский. И это сложно, потому что в нём живёт два человека. И не два, а двадцать два. В этом особенность советских людей».

(50) «От редакции», «Новый мир», 1961, 10, с.319.

(51) «Несколько слов к читателям журнала», «Новый мир», 1961, 12, с.255.

(52) Разрядка Б.Руфина.

(53) Разрядка Б.Руфина.

(54) Разрядка А.Меньшутина и А.Синявского.

(55) «Молодая гвардия», 1960, 7.

(56) Разрядка А.Синявского.

(57) Здесь уместно вспомнить другую новомирскую работу — большую статью Е.Поляковой под названием «Современный путевой очерк» (1966, 5), в которой она высмеяла тот же примитивный характер передачи своих зарубежных впечатлений в книгах В.Кочетова и А.Кулешова. Е.Полякова отметила в частности, что в своих путевых записках Кочетов и Кулешов для воссоздания местного колорита той или иной посещённой ими страны чаще всего ограничиваются перечислением «элементарных общеизвестных информационных сведений», которые можно почерпнуть в туристических справочниках. У В.Кочетова, например, в его книге «По двум тысячелетиям» находим такое описание Венеции: В Венеции «катера повезут нас по Большому каналу, повезут к мосту Риальто, к площади Святого Марка, на остров Лидо — вокруг всех 118 островов, на которых расположена Венеция, по всем 160 каналам, под всеми четырьмя сотнями мостов через каналы...». У А.Кулешова: «Венеция расположена на 118 островах...» и т.д. (с.233). У А.Кулешова же читаем о Париже: «Елисейские поля... Они незабываемо красивы. Перспектива, открывающаяся от Лувра, когда поднимаешься вверх к Триумфальной арке, великолепна!» Больше всего авторы таких очерков, как отметила Е.Полякова, любят перечислять виденные произведения искусства, по типу: «Перед нами известная картина Рафаэля «Преображение» (вероятно, имеется в виду рафаэлевское «Преображение». — Е.П.). На неё надо смотреть издали... тогда она оживает, становится рельефней» (с.232). «Читаешь такое и думаешь: для кого же это написано? Для того, кто не знает, что Париж — столиций город Франции, а Сикстинская капелла расписана Микеланджело?.../Ведь самый факт посещения такой-то страны говорит не больше, чем надпись на скале: «Петя и Маня были здесь».

Ну, были. Здесь. Это факт их биографии. Писательское дело — превратить своё посещение в факт и а ш е й биографии» (с.233) (Разрядка Е.Поляковой).

(58)Разрядка А.Синявского.

(59)«Огонёк», 1969, 30, с.27.

(60)«Октябрь», 1966, 6, с.221.

(61)В.Кочетов, «Скверное ремесло», «Октябрь», 1966, 3, с.217.

(62)А.Терц, «Литературный процесс в России», «Континент», 1974, 1, с.156.

(63)«Все заедино», «Огонёк», ноябрь 1989, 48, с.6.

(64)То, о чём в своём послесловии к «Голосу из хора» пишет И.Голомшток:

«В барабный жаргон врываются сентенции, вроде:

— Кто заплатит? — Пушкин!

— Что я вам — Пушкин — за всё ответить?

— Пушкиншулер! Пушкинзон!

И в реальном Пушкине Синявский-Терц начинал видеть живые черты, дававшие основания для подобных внелитературных о нём представлений».

Точно так же родилась книга о Гоголе.

«Творчество, писательство, «изгоговление», — заключает Голомшток, — — всё это было интенсивно пережито и эмоционально осмыслено Синявским не как умозрительная идея, а как собственная судьба...» (Игорь Голомшток, послесловие к «Голосу из хора» А.Терца, Изд-во Стенвалли, Лондон, 1974, с.334—335).

И.Золотусский, в статье «Завет Пушкина», подчеркнул, что книга подписана А.Терцем, а не А.Синявским, во-первых, и во-вторых, что заветы Пушкина каждый понимает по-своему. Он отметил также, что следует помнить о том, что книга написана в лагере, в 1968 году. Книга А.Терца — «вызов, оппозиция, насмешка над официальным пушкиноведением, официальным Пушкиным». Да, «Прогулки с Пушкиным» «дразнят, раздражают откровенной вольностью в обращении с Пушкиным, непозволительной свободой в отношении к нему», подчёркивал в своей статье Золотусский, но в свободе-то и дело: «если свобода была дана Пушкину от рождения, то Андрею Синявскому пришлось обрести её в лагере». «Андрей Синявский, — ещё раз подчёркивает Золотусский, — быть может, и не посмел бы так написать о Пушкине, но Абрам Терц смог, эта игра имён серьезнее, чем кажется: в ней есть целомудрие, оправдывающее фамильярность текста» («Московские новости», 8 июля, 1990, с.14).

Очень характерны для уяснения художественной специфики творчества Синявского-Терца последние главы книги Синявского о В.В.Розанове (А.Синявский, «Опавшие листья» В.В.Розанова», изд-во «Синтаксис», Париж, 1982, глава «С носовым платком в царстве небесное»), где автор даёт ключ к пониманию намеренного сочетания «высокого» и «низкого» у Розанова, но тем самым и к пониманию «Прогулок с Пушкиным» А.Терца.

(65)«Все заедино», сцены 6-го пленума правления Союза писателей РСФСР 13—14 ноября 1989 г., «Огонёк», ноябрь 1989, 48, с.6.

(66)А.Синявский, «Диссидентство как личный опыт», с.146.

(67)Ап.А.Григорьев, «Критический взгляд на основы, значение и приёмы современной критики искусства», в книге: «Русская прогрессивная художественная критика второй половины 19-го — начала 20-го века», «Изобразительное искусство», М., 1977, с.137—139.

(68)Ф.Достоевский, примечание к статье Н.Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве», Ф.М.Достоевский, «О русской литературе», «Современник», М., 1987, с.156—157.

(69)Наиболее адекватно эстетическая позиция Твардовского, его концепция творческой «активности» в поэзии была выражена в статье Наума Коржавина «В защиту банальных истин (О поэтической форме)», которая публиковалась в рамках

дискуссии о лирической поэзии («Новый мир», 1961, 3) и которая, однако, не получила никакого отклика в редакционной заметке, закрывающей общую дискуссию.

Н.Коржавин видел у молодых «ошибки именно общие, теоретические, изначальные...», считая сами формальные поиски неоправданным желанием модернизации стиха.

«...У взглядов на поэзию, — писал Коржавин, — которые мне кажутся нелепыми, против которых и написана эта статья, есть своя история...» (с.244), восходящая к поэзии декадентов которые, по словам Коржавина, «создали язык, понятный лишь посвящённым». Их замкнутость от внешнего мира, по словам Коржавина, породила «требование преувеличенной экспрессии», «обязательно непрямые высказывания» и т.д. Но если поэзию декадентов можно ещё как-то объяснить: «всё было не так просто, как я сейчас пишу», — оговаривался Коржавин, — «у всего были свои причины», то «сегодняшние наши испровергатели традиционного стиха заминаются этим, как мне кажется, из чистого энигоизма, без всяких оснований и причин»(с.246).

Ту же точку зрения высказывал и Твардовский в своей рецензии на «Избранное» Марины Цветаевой (Гослитиздат. М. 1961.), опубликованной в рубрике «Коротко о книгах» в первом номере «Нового мира» за 1962 год. Твардовский, отдавая дань искусству Цветаевой, заметил, «кстати»:

«...Когда некоторые особенности стиха Цветаевой (рифмы, ритмы, звукопись) станут общим достоянием (Цветаева у нас не издавалась, кажется, с 1922 года), полезно будет уже и то, что откроется один из источников завлекающего простакан «новаторства» некоторых молодых поэтов наших дней. Окажется, что то, чем они щеголяют сегодня, уже давно есть, было на свете, и было в первый раз и много лучше» (с.281).

(70)С.Чупринин, «Позиция», «Вопросы литературы», 1988, 4, с.27.

(71)А.Твардовский, «По случаю юбилея», «Новый мир», 1965, 1, с.17.

Г Л А В А VI. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТВОРЧЕСТВО В.ЛАКШИНА, Ю.БУРТИНА, И.ВИНОГРАДОВА, А.СИНЯВСКОГО И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» В ЦЕЛОМ

(1)См. Приложение II.

(2)См., в частности, статьи А.Дементьева: «В.И.Ленин и литературная журналистика», 1963, 5; «Горький и книга», 1964, 11; «На первом съезде писателей», 1966, 10; «А.В.Луначарский и советская журналистика», 1966, 12).

(3)Речь идёт о статье Ю.Буртина «О частушках», его рецензиях на книгу рассказов и очерков П.Ребрин «Это было осенью...», на первую часть романа Ф.Абрамова «Наши братья и сёстры», на книгу А.Любимова «Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны».

(4)Мы имеем в виду статьи И.Виноградова о «деревенских» очерках Е.Дороша и В.Овечкина, о романе М.Жестева «Золотое кольцо», его рецензии на повесть В.Распутина «Деньги для Марин».

(5)Если за основу брать тематический принцип сходства, то список названных работ Буртина и Виноградова, посвящённых деревенской проблематике, можно, конечно, пополнить рядом названий статей и рецензий других новомирских критиков. Мы имеем в виду: статью А.Туркова «Действенная летопись» (О переизданной книге А.Н.Энгельгардта «Из деревни. 12 писем /1872–1887/», «Деревенском дневнике» Е.Дороша и «Владимирских просёлках» В.Солоухина)

(1958, 10); статьи В.Лакшина «Спор с вострой мудростью» (О повести Ф.Абрамова «Безотцовщина») (1961, 5) и «Три меры времени» (Выдвижение на Ленинскую премию «Деревенского дневника» Е.Дороша) (1966, 3); статью И.Соловьёвой «Проблемы и проза (Заметки о творчестве Владимира Тендрякова)» (1962, 7); статью О.Чайковской «Природа и время (Заметки о пейзаже в современной литературе)» (1965, 10); статью В.Сурвилло «Звонит труба Мещерякова» (О творчестве С.П.Зальпина) (1969, 6) и др.

(6) «Пока не поэзию... (Открытое письмо членам Политбюро ЦК КПСС)», «ЛГ», 14. 2. 1990, с.7.

(7) «Против кого выступает «Новый мир»?», «Огонёк», 1969, 30, с.27.

(8) М.Злобина в рецензии на роман Семёна Бабаевского «Белый свет», опубликованный в журнале «Октябрь» (1968, 3, 4), отмечала те же «чуждинки» в описаниях деревенского быта, что и Буртин в своей рецензии на роман «Хлеб — имя существительное» М.Алексеева.

Герой романа Бабаевского — бывший секретарь обкома, «большой человек», вышедший, разумеется, из народа, «всеми уважаемый товарищ, привыкший перемещаться по родному краю исключительно на персональной машине» (с.252), — вдруг «покинул дом, надел простое платье, пошёл бродить по родной земле» пешком, за что близкие считают его чудачком (модная теперь тяга к земле, к «истокам», но в романе подаётся как нисобьное, экстравагантное и подозрительное чудачество») (с.252), пишет М.Злобина. Ушёл он из дома, оказывается, для того, «чтобы узнать, как живёт его народ, помочь добрым людям и наказать злых, неправедных» (с.253). Но, как иронично отмечала Злобина, в отличие от Дон-Кихота, «путешествующий герой Бабаевского» «чрезвычайно успешно устраивает подмеченные недостатки и злоупотребления» (с.253). Как же это ему удавалось? — По телефону: «Вы берёте трубку, вызываете райком и говорите: «Привет, Григорий. Это я...» (с.254).

Концовка, как, впрочем, и вся рецензия М.Злобиной, выдержана в остросатирическом ключе:

«...Я, — с едкой иронией замечает Злобина, — со своей стороны считаю нужным подчеркнуть, что «Белый свет» принадлежит к числу тех замечательных литературных произведений, которые поучительны даже своими недостатками, поэтическими преувеличениями или заблуждениями» (с.257).

А.Берзер в рецензии на повесть Владимира Чивилихина «Елки-моталки» (1965,1) высмеивает примитивное понимание автором почвеннических традиций, которым он пытается следовать. В плане стилистики — «земляной», «нутряной» язык — «зыркнул вверх», «сердце тяжко ворохнулось, будто кровь загустела вдруг»; в плане символики — «богатырская сила Родиона Гуляева», которой не перестаёт любоваться автор». Характерно для такого понимания почвенничества и грубое, вульгарное, предвзятое отношение ко всему «чужому»: москвичи — «тунядцы», «чужаки» — они «сволочи», и «чужое дерьмо», и «прилипчивые люди»; Евксентьевский — «дьямод московский», «московский чужестранник», «ботало», «хмырь», подонок», «пиявка» и т.д. В предисловии к этой публикации в книжном издании Н.Грибачёв охарактеризовал повесть как произведение, «обладающее достоинствами героической поэмы, увеичанной сильной и чистой любовью» (с.263). В чём же автор предисловия увидел этот героизм?

Главный герой Родион Гуляев — «бережно и умиленно относится» «ко всякой ползучей и летучей твари»: «мурашат» (муравьёв) он велит вытащить из пожара, воробьям наливать воду на подоконник, а когда зяблик поёт — оторваться не может», пишет Берзер. «С особой нежностью Родион говорит о сидящей на яйцах глухарке, которую он обнаруживает в лесу во время пожара», «нежная душа не могла выдержать, когда он увидел, как Евксентьевский разорил гнездо глухарки и съел яйца. Родион бросился к нему и убил его» (с.260). И этот поступок, по словам

рецензента, оправдан автором, который считает, что такие люди, как Гуляев, имеют право убивать таких, как Евксентьевский.

(9) Из материалов «Полигического дневника 1964—1970 гг.», Амстердам, фонд им. Герцена, т. 1, 1972, с. 194.

(10) Говоря о новомировских разоблачительных статьях и рецензиях, следует упомянуть и о работах в этом направлении И. Виноградова (тема беллетристики в рецензии на роман Ф. Колущева «У Никитских ворот» и в статьях о «женском романе» и о современном герое) и В. Лакшина (тема нормативной методологии критики в статьях о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Читатель, писатель, критик» и в полемических репликах). В числе других новомировских работ, поднимающих этот тематический пласт, можно назвать статьи: И. Роднянской — «О беллетристике и «строгом» искусстве» (1962, 4); Н. Ильиной — «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести» (Опыт литературного анализа)» (1963, 3) и «Литература и массовый тираж» (1969, 1); М. Туровской — «И. о. героя — Джеймс Бонд» (1966, 9) и «Преступления века» и «массовая цивилизация» (1968, 7). На ту же тему написаны рецензии Ф. Светова: на повесть Ю. Нагибина «Далеко от войны» (1965, 4), на повесть И. Лаврова «Очарованная» (1966, 2), на повесть В. Драгунского «Сегодня и ежедневно» (1964, 10), на повесть Ю. Семёнова «Петровка 38» и его статья «О ремесленной литературе» (1966, 7); рецензия А. Лебедева на роман И. Ефремова «Лезвие бритвы» (1964, 6).

«Штурмовщина», беллетризация истории, описательство, иллюстративность, лжеромантизм, пошлые книги, «высокопарная низкопробность», заданность, безграмотность, бескультурье, неуважение к чужой культуре, конъюнктурное составление аннотаций в книжных издательствах — вот темы, которые стоят в центре других новомировских статей и рецензий: в рецензиях Ф. Светова — на повесть «Синие ветры» Е. Карпова (1963, 7) и на роман Б. Полевого «На диком берегу» (1964, 3); в статье Г. Владимова «Деревня Огнищанка и большой мир», посвящённой анализу первой части романа В. Закруткина «Сотворение мира» (1958, 11); в рецензии Ф. Светова на вторую часть романа В. Закруткина «Сотворение мира» («Специфика иллюстративности», 1968, 2); в трёх статьях В. Сурвилло под названием «На путях романтики» (1959, 4; 1959, 9; 1960, 7); в статье А. Берзер «Общественный вкус к изящному» (1960, 3); в статье С. Бабёньшевой «Солдаты идут на проверку», 1960, 3); в рецензии Н. Ильиной на рассказ Б. Евгеньева «Катя за границей» (1967, 7); в рецензии А. Кондратовича на роман И. Мельниченко «Дело наживное», 1961, 9) и в статье Е. Травкиной «Реклама и книга, или «всем сёстрам по серьгам» (1967, 2).

(11) Разрядка в тексте.

(12) Разрядка в тексте.

(13) Разрядка в тексте.

(14) Разрядка И. Золотусского.

(15) Разрядка Э. Соловьёва.

(16) Разрядка Э. Соловьёва.

(17) Разрядка Э. Соловьёва.

(18) Разрядка Э. Соловьёва.

(19) См. новомировские работы З. Паперного: «Смех Саши Чёрного» (1960, 9); «О лирике Ярослава Смелякова» (1961, 10); «В плане языка и по линии стиля» (1964, 3); «Читательский марафон (1965, 4); «Литература и «ведение» (1969, 11); «Смех Чехова» (1964, 7).

(20) Разрядка в тексте.

(21) Приведём основные мысли и замечания М. Чудаковой и А. Чудакова, которые, как увидим, созвучны кригике Синявского:

«В противовес «письменной», газетно-книжной традиции языка» прозы конца 50-х гг. «новую» повесть заполнила речь устная, — отмечали авторы статьи. —

Всевозможные жаргонные слова, причём не только вульгаризмы, но и слова профессиональных жаргонов...». «Но дело было не только в языке: пафос «новой» повести был более широким. Она отрицала весь строй, всю выработанную усилиями многих писателей систему «производственного романа», который стоял в центре литературы тех лет» (с.222). «Возникла литература, тесно связанная с... отрицанием прежней фразеологии. Литературные герои отрицали любые высокие слова. Это означало: они отрицают ложь, подчас стоявшую за этими словами. Простое, «быговое» слово в поэзии и прозе стало синонимом правды, истинного, искреннего чувства.

Прошло время. Стало очевидно, что отбросить знак ещё не значит отбросить означаемое. Но приверженцы «нового» стиля ещё не замечают, что юмористическое, ироническое, пародийное слово, так широко проникшее в литературу, лишь по традиции выступает сейчас в качестве сигнала чего-то нового. За ним давно уже стоят свои каноны, своя инертность мысли и стиля» (с.231—232).

«Ясно различимые черты сходства» авторы статьи находили в прозе А.Гладилина, В.Аксёнова, М.Анчарова, И.Штемлера, С.Шатрова, А.Кузнецова, Э.Брагинского и Э.Рязанова, В.Тевекляна и др. Это — литература, которая, по словам критиков, «выработала уже свой, единый, условный, доступный для усвоения стиль, свою систему проверенных средств воздействия на читателя». Вместе с тем «возникает передка в истории литературы ситуация — обретя некоторые новые качества, литературная школа задерживается на «переходном этапе», увлекшись эксплуатацией своих завоеваний, не чувствуя истощенности раз найденных путей» (с.232).

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПОРТРЕТ ОТДЕЛА КРИТИКИ

- (1) «Литературная газета», 27 янв. 1988 г., с. 3.
- (2) А.Твардовский, «По случаю юбилея», 1965, I, с.5.

ПРИЛОЖЕНИЕ II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЧИТАТЕЛЕМ

(1) В.Лакшин, «Литературный энциклопедический словарь», Москва, «Сов.энциклопедия», 1987, с.171.

(2) Разрядка В.Лакшина.

(3) Только в начале 1988г. был создан в СССР Всесоюзный центр изучения общественного мнения. Об этом сообщили «Московские новости» за 28 августа 1988 года (с.10.). Директор центра академик Татьяна Заславская охарактеризовала ВЦИОМ как «вневедомственную» организацию, «работа которого является гласной, открытой и ориентирована на постоянный диалог с населением, его информирование, активизацию его социально-политического сознания».

«Московские новости» поясняют, что за создание такого центра «долгие годы бились учёные и специалисты». «Бились потому, — пишет автор заметки, — что хотели судить об общественном мнении на современной научной основе. — И далее: — Конечно, опросы проводились, но бессистемные и не по всей стране. Да и те, кому следовало делать выводы из их результатов, называли опросы «провокационными». Мол, социологи парочно «подсказывают» людям, что им не хватает жилья, что в магазинах мало продуктов, плохо работает общественный транспорт и т.д.»

Более подробно на эту тему см. «Народ безмолвствует?..» (Беседа с академиком Т.И.Заславской), «Огонёк», 41, 1988, с.6—7; 22—24.

(4) «Политический дневник 1964—1979», Амстердам, 1972. Фонд им.Герцена, т.1, с.580.

(5) Там же.

(6) Ж.Медведев, «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», Macmillan, London LTD, 1973, с.71—72

(7) В.Лакшин, «Не власть в беспамятство», «Знамя», 1988, 8, с.214.

(8) «Политический дневник 1964—1979», Амстердам, 1972. Фонд им.Герцена, т.1, с.581.

(9) Там же.

(10) А.Твардовский, собрание сочинений в 6 томах, «Художественная литература», Москва, 1978, поэма «За далью — даль», т.3, гл. «Литературный разговор», с.241.

(11) Разрядка В.Лакшина.

(12) Ю.Буртин, «Вам, из другого поколения...», «Октябрь», 1987, 8.

(13) Ю.Буртин, «Почта «Октября», «Октябрь», 1987, 12, с.199—200.

(14) Е.Эткинд, «Записки незаговорицыка», Overseas Publications Interchange, London, 1977, гл.8, «Отступление о революционном правосознании», с.392—394.

(15) Там же.

(16) Там же.

(17) Разрядка Эткинда.

(18) Цитируется по сборнику «Политический дневник», Амстердам, 1972, Фонд им. Герцена, т.1, с.343—346.

(19) «Литературные споры и чувство ответственности», «Литературная газета», 1969, 27 авг., с.3.

(20) В.Лакшин, «Не впасть в беспамятство», «Знамя», 1988, 8, с.215.

(21) «Социалистическая индустрия», 31 июля 1969 г.

(22) Там же.

(23) «Социалистическая индустрия», 9 августа 1969 г.

(24) Там же.

(25) Здесь неточно, «Трибуна читателя» существовала ещё в первом журнале Твардовского (1950—1954).

(26) «Новый мир», 1957, 1, с.308.

(27) Н.Ильина, «Мои продолжительные уроки», «Огонёк», 17, апрель 1988г., с. 26.

(28) Ю.Барабаш, «Что есть справедливость», «Литературная газета», 31 авг. 1963 г.; «Новый мир», 1963, 10, с.193-198.

(29) В.Лакшин, «Не впасть в беспамятство», «Знамя», 1988, 8, с.212.

(30) Ж.Медведев, «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», Macmillan, London LTD, 1973, с.88.

(31) Некоторые сведения о взаимоотношениях редакции журнала «Новый мир» с цензурой

Если во времена «Отечественных записок» Некрасова и Щедрина предварительная цензура не имела юридического обоснования, так как вся периодика столичных городов, в частности, была освобождена от предварительной цензуры с 1865 года (а с 1905—1906 гг. — всякая предварительная цензура была отменена), то и в советской России предварительная цензура, установленная «Декретом о печати», подписанным Лениным 28 октября 1917 г., то есть сразу после Октябрьской революции, была оговорена в «Декрете о печати» как «временная и экстренная мера», которая будет отменена, «как только новый порядок упрочится». Тогда «всякие административные воздействия на печать будут прекращены: для неё будет установлена полная свобода в пределах ответственности перед судом согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону» (Р.Медведев, «Книга о социалистической демократии», Изд-во Грассе & Фаскель, Амстердам/Париж, 1972, с.209—210). Однако никакого закона о печати до совсем недавнего времени не существовало. Созданный в 1922 году Главлит, который стал инстанцией, осуществляющей по воле ЦК КПСС и его отдела идеологии и пропаганды надзор за всей печатью, также являлся антиконституционной инстанцией (Солженицын в своём письме к Четвёртому съезду писателей СССР назвал Главлит «не предусмотренной и потому незаконной» инстанцией, «осуществляющей произвол литературно-неграмотных людей над писателями») (А.Солженицын, «Бодался телёнок с дубом», YMCA-PRESS Париж, 1975, с.486).

«Новый мир», таким образом, испытывал гнёт незаконной предварительной цензуры. Е.Эткинд в своей книге «Записки незаговорщика» перечисляет двенадцать ступеней предварительной цензуры, на каждой из которых книга может быть задержана:

Сверху вниз:

— редактор

— заведующий редакцией

— главный редактор

— первый рецензент

- второй рецензент
- директор
- цензор (сотрудник Главлита)
- райком или обком КПСС
- Комитет по делам печати РСФСР
- Комитет по делам печати СССР
- Отдел пропаганды или
- Отдел культуры ЦК КПСС
- КГБ

(Е.Эткинд, «Записки незаговорщика», Overseas Publications Interchange, London, 1977, с.319).

Что касается советских журналов и этапов прохождения номера, подготовленного редакцией к печати, по инстанциям наджурнальной цензуры, то об этом автору настоящей работы рассказал бывший ответственный секретарь редакции «Нового мира» Б.Закс, одно время деливший с А.Кондратовичем обязанности сношений журнала с Главлитом.

«Цензором, куратором «Нового мира» в Главлите, — рассказывает Б.Закс, — долгое время был В.С.Голованов.

Как читается материал, предназначенный для номера? Цензору дают два экземпляра, на одном он подчёркивает для себя красным карандашом все сомнительные места, потом вызывают меня, и начинается согласительный процесс: что-то я принимаю, что-то нет. Они потом ещё у себя обсуждают... Цензор (так они себя и именовали) ничего не решает ещё, он идёт выше — к заместителю начальника отдела Инне Николаевне Куликовой. Она, в свою очередь, могла не решить вопроса и тогда шла выше — к Галине Константиновне Семёновой, начальнице отдела. Если эти две дамы ничего не решали, они шли к заместителю начальника Главлита — Степану Петровичу Аветисяну, он уже выносил своё решение. А если речь касалась таких вещей, которые, скажем, им «не по зубам», то тогда материал поступал к начальнику Главлита — Романову П.К.. Но к нему ездил уже только А.Кондратович. Когда, например, снимали «Дневники 1941 года» К.Симонова, то это решал Романов, и переговоры вёл А.Кондратович. Однако и Романов не решил проблемы и отправил дневники в ЦК, и, получив отрицательное мнение в ЦК, Главлит настоял на том, чтобы вырезать текст из уже готового номера: треть тиража была напечатана, и «Дневники» надо было вырезать из номера и вклеивать туда другое что-то, — в общем, эта операция обошлась журналу в очень большую сумму. Когда же Кондратович сообщил Романову об этом, то тот посмотрел на него и сказал: «Товарищ Кондратович, когда речь идёт об идеологии, копейки не считают!» А так, повседневно, — продолжает Б.Закс, — по каждому номеру я с ним сносился многократно по телефону, потом я приезжал либо к цензору в Гослитиздат, либо в Главлит.

Итак, один экземпляр у цензора был чистый, а на другом он обсуждал предварительно все свои подчёрки и снимал что-то до разговора со мной в результате переговоров со своим начальством, а некоторые предъявлял мне. Я приезжал за своим экземпляром, и мы делали идентичную правку на моём экземпляре и на его, после чего я уезжал к себе, передавал эти поправки корректору за своей подписью, там всё проворачивалось — типография и пр., и уже чистые листы цензор сверял со своим экземпляром, после чего подписывал, если у него не появлялось за это время чего-нибудь нового. Такое тоже бывало».*

О том, что «Новый мир» получал внушения и предупреждения, особенно в последние годы, уже немало было сказано в советской прессе. В 1975 году В.Лакшин в статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир» писал:

«...Каждый лист сверки прочитывался и штамповался цензором, а в последние годы фактически целой цензурской коллегией, испещрявшей текст такой густоты

красным карандашом, что багровело в глазах, неподписанные листы типография автоматически не принимала к печати; журнал, и без того опаздывавший книжками на месяц — на два, вовсе не вышел бы в свет, если бы, выждав все возможные сроки, апеллируя во все вышестоящие кабинеты цензуры (сколько их было написано Твардовским!), редакция не заменяла бы материал другим, часто не менее серьёзным, беря цензора на измор» (В.Лакшин, «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», «20-й век», Лондон, 1977, с.212).

А.Твардовский, по словам Б.Закса, иногда говорил: «До революции цензорами были профессора Московского университета, а эти кто? Если я завтра умру, можно ли будет на моё место назначить цензора? — Не потянет, а почему же учить он меня может?!»*.

«Советские цензоры времён «Нового мира», — рассказывал Б.Закс в частной беседе с автором настоящей работы. — были людьми неквалифицированными. Когда речь шла, скажем, о способе увеличения производительности труда в сталелитейной промышленности, тут они были в своей тарелке: они знали, что можно упомянуть, чего нельзя. Ведь цензура и называется — Главное управление по охране государственных тайн в печати.

Куратор «Нового мира» в Главлите — Виктор Сергеевич Голованов был человеком довольно тупым. Он сидел в Гослитиздате, читал какие-то книжки, а заодно и наш журнал, — рассказывает Б.Закс. — Он был службист, педагог, на всё у него была определённая статья.

У цензоров есть книжечка, — продолжает Закс, — где всё перечислено: что можно, чего нельзя. В некоторых случаях пишут только о том, что можно, и тогда получается, что то, что не указано, — нельзя. Цензор смотрит по этой книжечке — он её чуть ли не наизусть знает — и вычёркивает...

Но когда дело идёт о художественной литературе, он не знает, как к этому подойти: чувствует, что что-то не так, но что делать — не знает, теряется. Их потрясло, когда в ответ на их «Знаете, Борис Германович, всё-таки тут чувствуется какой-то душок...» я говорил: «Хорошо, вот вычёркнем это слово», и они принимали и испытывали какое-то облегчение».

Б.Закс привёл в пример историю обсуждения в Главлите второй части романа Домбровского «Хранитель древностей».

«Заседание протекало очень остро, — вспоминает Закс. — Длинный стол, в конце стола сидит начальник Главлита, сбоку расселись начальница отдела, заместительница начальницы отдела, цензорша Нилия Алексеевна(?) (в это время Голованов куда-то ушёл или был в отпуске), которая тяготилась своей должностью и при первой возможности ушла в какой-то журнал, по обязанности свои выполняла точно. В конце концов они что-то мямлят, не подписывают и не объясняют почему. Я говорю, что не могу уйти без подписи, потому что типография предупредила, что будет поставлена на машину «Дружба народов» (печаталась в той же типографии «Известий»), и тогда к тому месяцу, на который опаздывает номер, прибавятся ещё три недели, — поэтому я обязан... Давайте, подписывайте, я вам выдвигаю конкретное предложение: снимите пять фраз любых, дайте мне только возможность скруглить так, чтобы не получилось нелепости... Цензоры были удивлены». Закс же пояснил в беседе, что в своём предложении он основывался на том, что, сняв две-три фразы из романа, его этим не испортишь и номер выйдет.

«Не помню, чем кончилось дело, — говорил Закс, — но они подписали.»*

И.Виноградов в беседе с автором настоящей работы рассказывал о том, что под конец существования «Нового мира», когда цензоры «резали», по его выражению, почти всё, что давалось журналом Главлиту, там придумали специальный параграф — «неконтролируемый подтекст», и ввели его в инструкцию внутреннего пользования. «**Неконтролируемый подтекст**» освобождал, по словам Виноградова, цензора от всяких объяснений, мотивировок своих решений «снять» такую-то вещь

из номера. Если раньше мотивировка снимаемого параграфа или материала была необходимой обязанностью цензора, этикой его отношений с издателями и можно было «поторговаться», дойти до главы цензурного комитета, апеллировать к начальству, то есть существовали какие-то возможности бюрократических ходов, то с появлением этой новой статьи цензор ограничивался ссылкой на «неконтролируемый подтекст», и это словосочетание стало формой цензурского запрета. Так, например, в последние годы существования журнала, по свидетельству Виноградова, была снята одна большая интересная публицистическая работа «Преступник № 1. (Политическая биография Гитлера)» Д.Мельникова и Л.Чёрной. Материал и в самом деле отличался «неконтролируемым подтекстом», по словам критика, но это было результатом мастерства авторов.*

В «Новом мире» в ответ на это нововведение цензуры появились термины для обозначения обходных средств, такие, например, как «симуляция правки» — выражение, имевшее хождение в редакции, по словам Б.Закса, и которое означало «изложить инкриминируемое цензурой место в тексте другими словами». Твардовский, как вспоминал Закс, говорил: «Хочу цензора с красным карандашом!». Он имел в виду цензурскую практику времён журнала «Отечественные записки», когда негодная цензору строчка в тексте просто вычёркивалась редактором, «без всех этих, как выразился Закс, отнимающих дико количество времени хождений по отделам Главлита, — конечно, если только, — добавил Закс, — не идти им навстречу сразу, что делали во многих других журналах»*.

Любопытна аналогия, которую можно провести, читая статью В.Лакшина «Пути журнальные», между действиями цензора «Отечественных записок» Фукса, который мог «запретить самый безвинный рассказ», предложенный редакторами «Отечественных записок», «цинично объясняя при этом: «Если бы он был помещён в другом издании, то мог бы пройти незамеченным» (В.Лакшин, «Пути журнальные», «Новый мир», 1967, 8, с.239), и действиями цензоров «Нового мира», которые точно так же произвольно порой снимали тот или иной предложенный «Новым миром» материал для публикации именно потому, что предложенный «Новым миром». Так было, например, и с уже упомянутым материалом — книгой Л.Чёрной и Д.Мельникова «Преступник №1», которая, как пишет В.Лакшин в статье «Не впасть в беспамятство», чуть позже «благополучно вышла в издательстве АПН».

Советская цензура породила и самую, пожалуй, губительную, разрушающую произведение в зародыше, **автоцензуру**.

В поэме «За далью — даль» Твардовский описывает внутреннюю борьбу писателя со своей «тенью» — внутренним цензором, живущим в нём постоянно. Вот писатель склонился «над белой бумагой», «объятый творческой мечтой», он готов «не соглашаться, не уступать» никому и ничему во имя правды, которую хочет высказать в будущем произведении, он готов трудиться «и днём и ночью — Душу сжечь», готов «на все суды и толки/Махнуть рукой. Всё дело в долге, /Всё в этой доблести. А там...»:

Вдруг новый голос с верхней полки:

— Не выйдет...

— То есть как?

— Не дам...

Не то чтоб это окрик зыбкий,

Нет, но особый жёсткий тон,

С каким начальники обычно

Отказ роняют в телефон.

— Не выйдет, — протянул вторично.

— Но кто вы там, над головой?

— Ты это знаешь сам отлично...

—А всё же?

—Я — редактор твой.

/.../

—Ты думал что? Что ты уехал
И от меня? Нет, мильй, нет.

Мы и в пути с тобой соседи,
И всё я слышу в полустие.
Лишь до поры мешать беседе,
Признаться не хотелось мне.
Мне было попросту занято,
Смотрю: ну до чего хороши,
Ну как горяч невероятно.
Как смел! И как ты на попятный
От самого себя пойдешь.

Как, позабавившись игрою,
Ударил сам себе отбой.
Зачем? Затем, что я с тобою —
Всегда, везде — редактор твой.

И т.д. (А.Твардовский, «Литературный разговор», собр.соч. в шести томах, Москва, «Художественная литература», том 3, 1978 г., с.243—244).

В.Лакшин в своей новомирской рецензии 1969 года на книгу «Текстология произведений советской литературы» поднимает вопрос об автоцензуре. «Есть немало случаев, — пишет Лакшин, — когда позднейшей редакции» подвергали свои книги сами авторы. Например, «Цемент» Ф.Гладкова, печатаемый теперь в собрании сочинений, «имеет мало общего с книгой, вышедшей под тем же названием в 1925 году», — автор перерабатывал текст в течение тридцати лет. В исследовании текстолога Л.Н.Смирнова, как рассказывает Лакшин, говорится о том, что «начиная с одиннадцатого издания (1928) Гладков прибегает к «олитературиванию» речи, сглаживает её самобытную метафоричность», «приглушает драматизм таких эпизодов, как партисетка, главного своего героя Глеба Чумалова лишает черт стихийности, партизанщины, характерных для него взрывов бешенства»; «прежняя сторонница теории «свободной любви» Даша становится мало-помалу добродетельной, верной женой». Конечно, все эти «переделки и переписывания, — замечает Лакшин, — вызваны не творческой потребностью, а обстоятельствами и соображениями, внешними писательскому труду», то есть цензурными требованиями: желание «осовременить» книгу — есть нечто иное, как желание автора «удовлетворить своих новых критиков и редакторов». «Цемент» Ф.Гладкова, «Бронепоезд» Вс.Иванова, «Перегонной» и «Правонарушители» Л.Сейфуллиной и прочие произведения советской литературы, с которыми знаком читатель по редакции 40—50-х годов, — пишет Лакшин, — ничего общего не имеют с первоначальными изданиями книг, «которыми зачитывались и о которых спорили наши отцы». Лакшин заключает: такая «очевидная автоцензура, навязанная редактором или вызванная опасениями проработки со стороны конъюнктурной критики», может вызвать лишь досаду (В.Лакшин, «От рукописи к книге» («Текстология произведений советской литературы». «Вопросы текстологии». Выпуск 4. «Наука». М. 1967), «Новый мир», 1969, 2, с.250—251. О взаимоотношениях журнала «Новый мир» с цензурой см. также: А.Кондратович, «Последний гед» (Из «Новомирского дневника») — «Новый мир», 1990, 2; В.Лакшин, «Новый мир» во времена Хрущёва (1961—1964), «Знамя», 1990, 6; Ю.Буртин, «Мёртвое и живое» — «ЛГ», 1990, 27; Ю.Буртин, «Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов», «Октябрь», 1990, 8).

Говоря о взаимоотношениях журнала с Главлитом, следует отметить и такой феномен, как внутрижурнальная самоцензура. Так, особенно в последние годы жизни журнала какие-то предназначенные для публикации вещи отклонялись советом редколлегии или самим Твардовским для того, чтобы не обострять взаимоотношений с Главлитом. Так, например, редакция журнала отклонила рассказ В.Войновича «Путём взаимной переписки» и его роман о солдате Чонкине. Характерен в этом смысле и другой пример — история «непубликации» в журнале Твардовского рассказа Л.Петрушевской «Такая девочка». В примечании к публикации его в октябрьском номере «Огонёк» за 1988 год говорилось:

«Этот рассказ хранился у автора с 1968 года с резолюцией главного редактора «Нового мира» А.Т.Твардовского: «От печатания воздержаться, по связи с автором не терять» («Огонёк», 1988, 40, с.9).

(32)В.Лакшин, «Не впасть в беспамятство», с.214.

(33)См. письма читателей: о записках М.Галлая — «Новый мир»,1967,7; о рассказе А.Кузнецова «Артист миманса» — «Новый мир», 1969, 1.

(34)См. письма читателей о стихах В.Бокова — «Новый мир», 1969, 4.

(35)См. замечательный рассказ читательницы зоотехника В.Юдиной «Наши заботы» — «Новый мир», 1968, 6.

(36)В.Лакшин, «Не впасть в беспамятство», с.216.

(37)Там же.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абашидзе И. 330
Абрамов Ф. 5-7; 12; 15; 16; 18; 39-41;
43; 49-50; 57; 113-115; 117-118;
127-128; 284-285; 342; 396;
417-418
Абэ Т. 336
Аветисян С. 423
Агапов Б. 342
Аджубей А. 387
Аджони В. 342
Азольский А. 376
Айбек 394
Айги Г. 285
Айтматов Ч. 11
Айхенвальд Ю. 342; 351
Аксёнов В. 146; 179; 204; 300; 309;
310; 342; 390; 393; 413; 420
Аладдин О. 336
Александров В. 39; 43; 45-47; 290;
398; 399
Алексамян Е. 342
Алексеев К. 330; 342
Алексеев М. 10; 14; 32; 115; 118; 150-
153; 271; 285; 293; 297; 298;
335; 404; 418
Альшиц Д. 342
Амосов Н. 332
Анар 330; 342
Анастасьев А. 327; 336; 342
Анастасьев Н. 342
Андреев А. 403
Андреев К. 342
Андреев Л. 237
Андреев Ю. 288
Андреева И. 327; 333; 342
Аликин В. 342
Аликет А. 324; 336; 337; 342
Алпвицкий Л. vi; 321; 342
Алгокольский П. 12; 39; 45; 49; 308;
328; 329; 342
Алгонович М. 223; 290; 327; 335
Антопольский Л. 342
Анчаров М. 420
Аракчеев Ю. 360
Арбузов А. 377
Аржак Н. 9
Арутюнов П. 330; 342
Архангельская И. 8; 318; 392
Архипов В. 288
Асаркан А. 342
Асеев Н. 328
Астафьев В. 331
Атаров Н. 329; 342
Аузюв М. 330
Ахмадулина Б. 255; 280; 285; 393
Ахматова А. 8; 15; 157; 229; 235; 238-
240; 242; 244; 256; 275; 276;
278; 285; 308; 326; 329; 360;
383
Бабаевский С. 297; 418
Бабёньшева С. 16; 332; 334; 342; 419
Баграмян И. 387
Байтальский М. 342
Бакланов Г. 6; 284; 342; 377; 395
Бакунин М. 209
Бальзак О. 85; 338
Банников Н. 398
Барабаш Ю. 342; 374; 403; 404; 422
Баранов В. 342
Баранова Н. 342
Баранская Н. 362
Бараташвили Н. 330
Барышников Е. 342
Баскаков В. 342
Бачелис Т. 342
Бедный Б. 403
Бедный Д. 229; 262
Бек А. 15; 285; 375; 389
Беккет С. 336
Белая Г. 332; 334; 342
Белинский В. 45; 85; 159; 209; 210;
212; 224; 321; 324; 326; 327;
331; 354; 395; 399; 400; 412
Белкин А. 342
Бель Г. 360
Белов В. 13; 15; 284; 291
Белгородская И. 393
Бельх Г. 328
Беншох О. 294
Берггольц О. 6; 231; 239; 243; 244;
250; 285; 307; 328; 360; 414
Бердыев Н. 3; 223; 225; 226; 284
Берёзина В. 342
Берёзкин Г. 293; 330; 335; 342
Берзер А. vi; 7; 8; 11; 15-17; 98; 228;
286; 293; 294; 297; 298; 308-
311; 317; 318; 328; 332; 334;
335; 341; 342; 350; 351; 362;
375; 407; 418; 419
Берковский Н. 342

- Берняцк Г. 342
 Биачки Н. 394
 Бирюков Ф. 329; 330; 342
 Благосветлов Г. 1
 Блинова М. 342; 350
 Блок А. 237; 245; 262; 289; 295; 328
 Блок В. 342
 Боборыкин В. 331; 342
 Богораз Л. 393
 Богуславский Ал. 342
 Бойко М. 342
 Боков В. 138; 139; 427
 Бомбар А. 300
 Бондарев Ю. 285; 343
 Бондарец В. 6
 Бондарчук С. 304
 Борисова И. 8; 11; 17; 318; 331; 343; 350; 351
 Борилчева В. 120; 343; 409
 Босняцкий Е. 343
 Бочаров А. 133; 343
 Братинский Э. 420
 Брайнш И. 8; 114; 318; 321; 343
 Брежнева Г. 377; 378
 Брежнев Л. 220; 276; 357; 377; 378; 393; 412
 Брейтбург Г. 336; 343
 Бронман 24-26; 30; 67; 397
 Бродский И. 367; 368
 Бросов В. 229; 262
 Булгаков М. 3; 72; 223; 225; 226; 284
 Булгаков С. 338
 Булгарин Ф. 354; 369
 Буши И. 10
 Буртин Ю. vi; 7-11; 13-16; 18; 19; 26; 30; 33; 98; 99; 113-157; 162; 166; 169; 190; 191; 223; 265; 271; 273; 278; 280; 282-287; 290-299; 310-313; 318; 320-322; 329; 332; 335; 341; 343; 350; 351; 357; 359; 367; 372; 377-379; 390; 394-397; 406-410; 417; 418; 421; 426
 Бушин В. 1592; 259; 293; 400
 Бывков В. 10; 13; 14; 15; 16; 37; 285; 391; 393
 Бялый Г. 343
 Вальдман Э. 338; 343
 Вашленкин К. 343
 Варламова И. 343
 Васищев С. 263
 Вафа С. 343
 Вебер Ю. 333
 Великовский С. 337; 343
 Венжер В. 120
 Верцман И. 343
 Весёлый А. 139
 Вигорелли Д. 232
 Видмар И. 336
 Видулов С. 14; 139
 Вильмонт Н. 343
 Виноградов И. vi; 5; 7; 9-11; 13; 15-19; 33; 89; 95; 98; 99; 114; 116; 153; 158-227; 233; 257; 273; 278-287; 291; 294; 295; 300-304; 306; 310-313; 317-321; 323; 324; 327; 329; 330; 332; 333; 341; 343; 350; 357; 361; 362; 378; 392; 395-397; 407; 410; 411-413; 417; 419; 424; 425
 Вирта Н. 298
 Владимов Г. vi; 5; 7; 12; 15; 16; 163; 286; 293; 297; 298; 308; 332; 334; 335; 343; 356; 359; 362; 363; 372; 373; 377; 378; 382; 383; 395; 419
 Власова З. 137; 140
 Водолагов Г. 120
 Вознесенский А. 15; 251; 252; 260; 262-264; 280; 285; 386; 413
 Войнович В. vi; 7; 8; 13; 16; 280; 286; 343; 356; 357; 360; 393; 427
 Володин А. 120; 290; 327; 329; 343
 Волошин М. 235; 236
 Волгек Ю. 343
 Волынский Л. 343
 Воробьев В. 343
 Воронин С. 14
 Воронков К. 11; 13; 14; 389; 391
 Воронцов Н. 13; 329; 377
 Воронский А. 3
 Вучетич Е. 73; 387
 Выходец П. 254; 264; 298
 Вышинский А. 119
 Гаевский В. 343
 Галанов Б. 343
 Галансков Ю. 393
 Галый М. 8; 343; 360; 427
 Гамзатов Р. 7; 11; 318; 365; 366; 367; 377; 408
 Галиш М. 286; 309
 Гарпакерьян А. 294; 298
 Гегель Ф. 24
 Гей Н. 343
 Герасимов А. 275
 Герасимов Е. 7; 16; 285; 300; 318; 382

- Герасимов В. 343
 Герцен А. 76; 85; 107; 207; 209-211;
 387; 388; 396; 406; 419; 421;
 422
 Гефтер М. 120; 341
 Гинзбург А. 393
 Гинзбург Е. 343; 390
 Гитлер А. 393
 Гитович И. 343
 Гладилли А. 309
 Гладков А. 308; 328; 343; 426
 Гладков Ф. 426
 Глюцер В. 343
 Гнедин Е. 120
 Гоголь Н. 236; 277; 327; 399; 414; 416
 Големба А. 138
 Голованов В. 423; 424
 Голомшток И. 416
 Голубов С. 318; 382
 Гольдберг Б. 343
 Гончар О. 9; 399; 403; 404
 Гор Г. 338
 Горбатов А. 9; 35; 285
 Горбов Д. 337; 343
 Горбунов А. 343
 Гордин Я. 343
 Горелов А. 137; 140
 Горчаков О. 343
 Горький М. 71; 74; 276; 326; 328; 398;
 399; 417
 Гоффеншперер В. 330; 343; 351
 Грамши А. 337
 Гранин Д. 5; 39-41; 43; 49; 50; 57; 285;
 Г 329; 330
 Грекова И. 50; 64; 66; 67; 68
 Грибачёв Н. 258; 297; 298; 389; 390;
 Г 418
 Григоренко П. 393
 Григорьев А. 2; 223; 278; 279; 416
 Григорьев И. 253
 Гриш Г. 337
 Громова А. 343
 Гроссман В. 4; 27; 28; 285; 397
 Губко Н. 400
 Гудний Н. 8; 327; 343
 Гулыга А. 296; 323; 336; 343
 Гусев Н. 343
 Гюго В. 85
 Давыдова Н. 373
 Далеца Н. 298
 Даль В. 71
 Данилов С. 72
 Данилюк Г. 386
 Давид Д. 333; 343
 Дашгаль Ю. 9; 232; 405
 Даггес 276; 277
 Дагтон 79
 Дежков И. 15; 291; 292; 297; 311; 313;
 330; 335; 336; 343
 Дейч А. 343
 Деметьев А. 5-7; 11; 15; 16; 27; 29; 88;
 100; 113; 228; 287-290; 292;
 293; 311; 317; 318; 323; 327;
 328; 333; 334; 336; 341; 343;
 344; 350; 351; 369; 370; 376;
 382; 387-389; 406; 417
 Демичев П. 387
 Денисов Н. 344
 Джорджоне 275
 Джержинский И. 328
 Дюба И. 344
 Диккенс Ч. 85
 Дикущина Н. 327; 328; 343
 Добин Е. 344
 Добролюбов Н. 2; 4; 25; 29; 30; 45; 46;
 50; 116-118; 134; 159; 166-168;
 204; 223; 290; 291; 321; 324;
 326; 327; 399-401; 411
 Довженко А. 331
 Долгополов Л. 344
 Долматовский Е. 32; 238; 239; 265-
 268; 270; 271; 275; 278; 285;
 298
 Домбровский Ю. 9; 219; 225; 285; 375;
 424
 Дорощ Е. 5; 7; 10; 11; 13; 15; 16; 39;
 43; 48; 50; 112; 159; 160; 179;
 182-186; 190; 199-204; 284;
 290; 291; 300; 318; 329; 332;
 344; 389; 393; 408; 411; 417;
 418
 Достоевский Ф. 6; 47; 48; 107; 210;
 212; 216; 224; 236; 279; 303;
 304; 326; 412; 414; 416
 Драгунский В. 298; 419
 Дрёмов А. 73
 Дружинин А. 223
 Дружинин В. 344
 Друцэ И. 169; 171; 172; 175
 Дубов Н. 8
 Душинцев В. 5; 6; 287; 382
 Дымшик В. 344
 Дьямшиц А. 32; 70; 257
 Дьяков Б. 55; 56; 398; 402
 Дюпен И. 344
 Евгеньев Б. 419

- Евтушенко Е. 15; 228; 229; 239; 244-251; 261; 262; 281; 285; 360; 377; 413; 415
- Егорьчев Н. 9
- Екатерина II 85
- Еленин М. 373
- Елистратова А. 336; 344
- Епишев А. 388
- Еременко А. 187
- Ермилов В. 387
- Есенин С. 246; 262; 268; 295; 360
- Ефимов Ф. 344
- Ефремов И. 419
- Жданов В. 290; 327; 344
- Желябов А. 77
- Жестев М. 6; 161; 167; 189; 190; 193; 411; 417
- Жирмунский В. 15; 329; 344
- Жуков Д. 298
- Жуховицкий Л. 178-180; 182; 183; 344
- Заболоцкий Н. 285
- Загорский В. 79
- Закруткин В. 14; 293; 332; 334; 335; 419
- Закс Б. *vi*; 7; 11; 16; 88; 100; 317; 318; 344; 357; 360; 371; 376; 382-385; 388; 389; 392; 407; 408; 423-425
- Зальпигин С. 5; 9; 12; 284; 329; 330; 344; 418
- Замятин Е. 31
- Заславская Т. 121; 421
- Захаров М. 369-371
- Зелинский К. 295
- Зигмонте Д. 171
- Зингерман Б. 344
- Зимянин М. 388
- Зигченко Г. 372; 373
- Злобин А. 344
- Злобин С. 6; 287; 288; 334
- Злобина М. 297; 298; 327; 331; 344; 350; 351; 418
- Злотников 394
- Золотусский И. 13; 302; 304; 311; 313; 416; 419
- Зонина Л. 337; 344
- Зорин Л. 76
- Зоценко М. 308
- Иванов А. 328
- Иванов В. 344
- Иванов Вc. 426
- Иванова Р. 122
- Ивантер Н. 6; 285
- Ивинская О. 383; 384; 398
- Ивич А. 333; 344
- Идашкин Ю. 177
- Икрямов К. 344
- Илупина А. 344
- Ильина Н. 8; 15; 150; 176; 177; 290; 291; 293; 297; 298; 300; 313; 321; 327; 332; 335; 344; 373; 411; 419; 422
- Ильичёв Л. 54
- Инбер В. 39; 45
- Иофьев М. 344
- Исааков Э. 344
- Исаковский М. 268; 326; 328; 329; 377
- Исарова Л. 344
- Исбах А. 32
- Искандер Ф. 10; 12; 15; 16; 37; 284; 286; 300; 310; 329; 344
- Каверин В. 84; 85; 328; 329; 344; 383
- Кадар Я. 109
- Каждан А. 120; 344
- Казаков Ю. 309; 329
- Казикова Р. 288
- Кайдаш С. 344
- Каледин С. 219; 224; 412
- Калипин А. 32; 287; 288; 334; 335
- Калитин Н. 344
- Калмановский Е. 344
- Каменский А. 344
- Кампо А. 337
- Кант Э. 24; 344
- Кантор В. 344
- Канэ Ю. 344
- Капиева Н. 344
- Капица П. 378
- Капусто Ю. 344
- Караганова С. 8; 11; 318; 337; 344
- Кардин В. 10; 17; 116; 296; 297; 302; 313; 328; 332; 335; 341; 344; 350-352; 391
- Кармалига С. 344
- Карнаухова И. 137
- Карвинский Л. *vi*; 409
- Карпов В. 32; 403; 419
- Карякин Ю. 9; 62; 63; 313; 335; 344; 393
- Кассиль Л. 344
- Кастере Н. 300
- Катаев В. 15; 328; 386
- Катала Ж. 328; 336
- Катапан В. 295; 333; 344
- Катков М. 1
- Княтько-жская А. 17

- Кедрина Э. 344
 Келдыш В. 344
 Кешиков А. 330
 Кин Ц. 344
 Кирилленко А. 9; 23
 Клепкинова Е. 344
 Клямкин И. 115
 Коваленков А. 298
 Ковальджи К. 345
 Ковский В. 345
 Коган А. 345
 Коган Л. 122
 Кожевников В. 406
 Козипцев Г. 302
 Кофтинская Г. 8; 11; 318; 319; 345
 Колушцев Ф. 164; 165; 419
 Кондратович А. 7; 11; 15; 16; 18; 95;
 100; 289; 290; 297; 302; 311;
 318; 330; 341; 345; 350; 351;
 375; 395; 396; 407; 408; 419;
 423; 426
 Конецкий В. 12
 Конрад Н. 337; 345
 Константинов Ю. 6; 345
 Конелев Л. vi; 16; 100; 322; 336; 345;
 346; 350; 351; 352; 393
 Коптнев А. 171
 Кораллов М. 336
 Коржавин Н. 331; 345; 416; 417
 Корняков Б. 285
 Косолопов В. 15; 96; 97; 359; 375
 Костерин А. 393
 Костерин Н. 9; 285
 Костылев О. 345
 Косыгин А. 377; 393
 Қотлов А. 345
 Кочегов В. 5-7; 149; 238; 266; 271;
 287; 288; 293; 334; 335; 356;
 385; 415; 416
 Крамов И. 290; 327; 328; 341; 345
 Красильников В. 345
 Краснов П. 345
 Краснощёкова Е. 328; 345
 Крахмальникова Э. 345
 Крестинский Н. 79
 Кривицкий А. 296; 299
 Крон А. 377
 Кружков Н. 400
 Крутиков Л. 396
 Крутикова Н. 345
 Крымова Н. 345
 Крячко Л. 70; 403
 Кубилов В. 345
 Кудрова И. 345
 Кузнецов М. 328; 332-334; 345; 350;
 351; 387
 Кузнецов А. 65; 286; 300; 309; 310;
 334; 345; 420; 427
 Кузнецов В. 252; 253; 259; 260
 Кузнецов Ф. 368; 369
 Кузьмин Н. 345
 Кузьмина Э. 345
 Кулеш В. 120
 Кулешов А. 7; 11; 318; 330; 382; 408;
 415
 Кулиев К. 345
 Куликова И. 423
 Куляев С. 276; 277; 293
 Куринюв Ю. 6
 Курбанов Ш. 388
 Кутейщикова В. 345
 Лавренёв Б. 328; 382
 Лавров И. 399; 403; 419
 Лазарев Л. 5
 Лактионов А. 272; 275
 Лакшин В. 5-8; 10-15; 17-19; 23-26;
 33-105; 107-112; 116; 130; 132;
 158; 162; 166; 169; 183; 278;
 282-291; 295; 310-313; 317;
 318; 320; 326-332; 335; 338;
 341; 345; 350; 353-355; 357;
 361-367; 369; 370; 372; 374;
 376-379; 386; 387; 389-391;
 393-408; 418; 419; 421-427
 Ламков Р. 122
 Лацдау Е. 345
 Лацдор М. 3538; 345
 Ларин С. 345
 Лацис А. 345
 Лацис О. 120
 Лебедев А. 13; 24; 280; 290; 297; 303;
 321; 327; 329; 335; 337; 341;
 345; 350; 351; 419
 Левидова И. 345; 351
 Левин Л. 329; 345
 Левин Ф. 345
 Левицкий Л. 303; 306-308; 311; 345;
 351
 Ленин В. 6; 8; 23; 26; 28; 39; 72; 74-76;
 79; 108; 120; 135; 328; 330; 331;
 333; 378; 387; 417; 422
 Ленобль Г. 327; 345
 Леонов Л. 5; 115
 Леонтьев К. 234; 235
 Леонтьев Н. 345
 Лерер Л. 8

- Лермонтов М. 9; 85; 159; 205-208; 210; 212; 217; 222; 224; 226; 237; 262; 302; 303; 327
- Липелис А. 345
- Лисичкин Г. 13; 114; 120; 313; 360; 376
- Лисовский М. 264; 265
- Литвинов П. 393
- Литвинский Г. 345
- Лифшиц М. 5; 9; 27; 113; 115; 298; 321; 335; 336; 345
- Лихоносов В. 8; 12; 284; 291; 292
- Ломирзе Г. 401
- Ломоносов М. 158
- Лукач Г. 63; 109; 110
- Луконин М. 345
- Луначарский А. 3
- Львов К. 171
- Львов С. 332; 345; 351
- Львова И. 336
- Любарева Е. 345
- Любимов А. 119; 123-127; 129; 266; 331; 345; 417
- Люксембург Р. 327; 336
- Майский И. 13
- Маканин В. 300
- Макарян В. 291
- Макаров А. 10; 390; 391
- Макаров Г. 345
- Макарян М. 285
- Македонов А. 328; 345
- Максимов В. *vi*; 17; 159
- Малашкин С. 14
- Мальшкин А. 328
- Мальцев Е. 130
- Мальцев Ю. 235
- Малогин Л. 295; 333
- Мамедкулизаде Д. 330
- Мандельштам О. 157; 229; 231; 240; 276; 308
- Манн Ю. 7; 8; 13; 290; 296; 323; 327; 330; 331; 333; 336; 337; 345; 350; 351
- Маркш С. *vi*; 13; 323; 337; 345; 398
- Марков Г. 389; 390; 404
- Маркс К. 74; 110; 115; 118; 135; 154; 171; 172; 177; 409
- Марченко А. 299
- Марченко А. 393
- Маршак С. 35; 39; 45; 51; 52; 231; 290; 326; 329; 331; 337; 346; 403; 413
- Марьямов А. 7; 11; 15; 16; 114; 288; 289; 311; 318; 321; 334; 346; 408
- Маслов П. 123
- Масловский В. 346
- Матвеева Н. 15; 308
- Мацкин А. 346
- Мацуев Н. 346
- Машинский С. 327; 346
- Маяковский В. 231; 239; 245; 246; 262; 268; 295; 298; 326; 366
- Медведев Б. 346
- Медведев Ж. 13; 14; 17; 26; 51; 52; 356; 357; 375; 376; 393-397; 400; 401; 403; 421; 422
- Медведев Р. 61; 62; 73; 402; 406; 422
- Мейлах Б. 7; 327; 346
- Мельников Д. 425
- Мельников Н. 346
- Мельниченко И. 297; 419
- Мешупутин А. 6; 7; 228; 229; 239; 244; 250-257; 259-261; 263; 264; 280; 331; 333; 346; 415
- Мережковский Д. 3
- Меттер И. 178; 182-184; 285
- Метченко А. 26; 28; 257; 397
- Милютина Д. 346
- Митин Г. 299
- Митчелл М. 322
- Михайлов Ал. 346
- Михайлов В. 300; 301
- Михайлов Л. 346
- Михайлов Н. 385; 388
- Михайлов О. 327; 337; 346; 350; 351
- Михайловский Н. 2; 223
- Михалков С. 73
- Мишпн Р. 346
- Моделевская Н. 336
- Моцильяни А. 48
- Можаев Б. 10; 15; 35; 36; 52; 102; 104; 105; 284; 377; 390; 401; 408
- Мольер 42; 82; 338
- Монгайт А. 346
- Морева А. 138
- Московкин В. 309
- Мотылёва Т. 29; 323; 332; 333; 336; 337; 346; 350; 351
- Мотышков И. 346
- Мулблит Г. 346
- Муравьев Н. 76; 77; 94
- Мурышкин К. 131
- Нагибин Ю. 419
- Нагишкин Д. 329; 346

- Надю М. 289; 322
 Надь И. 109
 Назаренко В. 332; 346
 Назаров А. 346
 Наркевич А. 346; 351
 Наровчатов Н. 346
 Наумов Н. 346
 Наумова Н. 346
 Неверов А. 328
 Некрасов В. vi; 5; 7; 10; 13; 15; 16; 31;
 35; 51; 98; 217-219; 221; 283;
 300-302; 304; 328; 330; 360;
 372; 373; 386; 407; 412; 413
 Некрасов Н. 1; 46; 84-93; 100; 204;
 262; 422
 Немчук Т. 346
 Непомнящий В. 346
 Нива Ж. 57; 63; 398; 401; 402
 Николаев Д. 346
 Николаева Г. 171-176
 Николаева Л. 346
 Нилин П. 7
 Ниязов А. 296; 332; 346
 Новиченко Л. 11; 389-391
 Образцов С. 346
 Образцова А. 346
 Обухов Л. 171; 182; 403
 Овалов Л. 298
 Овечкин В. 5; 7-9; 11; 13; 159; 160;
 179; 182; 186; 190-199; 201-
 204; 284; 318; 329; 332; 382;
 411; 417
 Огарёв Н. 209
 Огнев В. 330; 346
 Озерова К. vi; 8; 11; 16; 100; 281; 318;
 319; 346; 357; 389; 407
 Окуджава Б. vi; 112; 146; 255; 280
 Орлова Р. vi; 16; 322; 336; 346; 350;
 351; 361; 393
 Османова З. 330; 346
 Осповат Л. 346
 Островский А. 15; 35; 326; 331; 395;
 399
 Очеретин В. 6; 8; 32; 297; 331; 334;
 403
 Павленко П. 45; 49
 Павлов И. 330
 Павлов С. 9; 23; 388
 Павлова В. 346
 Павлова Г. 346
 Павловский А. 346
 Палиевский П. 337; 346
 Паллон В. 51; 403
 Пальман В. 129
 Папаев И. 1
 Панкратов Ю. 298
 Панова В. 6; 285; 288; 301; 329; 330
 Пантелеев А. 328
 Панфёров Ф. 399
 Паперный Э. 298; 308; 311; 321; 327;
 329; 330; 346; 350; 351; 419
 Парингтон В. 338
 Пастернак Б. 5; 13; 47; 48; 83; 92; 157;
 229-231; 235; 238-242; 244;
 245; 256; 262; 275; 276; 278;
 285; 308; 360; 367; 382-385;
 398; 399; 414
 Паустовский К. 8; 51; 307; 330; 386
 Первомайский Л. 6
 Пермяк Е. 32; 257
 Пестель П. 76; 77; 94
 Петров И. 292
 Петров Н. 292
 Петровский М. 346
 Петрушевская Л. 427
 Пикассо П. 48; 232
 Пилотович С. 388
 Пименов Ю. 346
 Писарев Д. 2; 223; 327
 Пискунов В. 343
 Письменный А. 346
 Питляр И. 346
 Пиляев Н. 346
 Платонов А. 290; 308; 326-328
 Платонов Б. 257-259; 331; 346
 Плеханов Г. 76-79; 191; 400
 Плимак Е. 114; 120
 Плоткин Л. 346
 Плутчек В. 10
 Побожий А. 9; 285
 Погодин Н. 331
 Подгорный Н. 377; 393
 Подольский Б. 330; 346
 Полевой Б. 332; 419
 Полетика Ю. 347
 Полонский В. 3
 Полторацкий В. 69; 399
 Поляк Л. 332; 347
 Полякова Е. 10; 328; 329; 332; 335;
 347; 350; 352; 415; 416
 Померанцев Г. 5; 31; 113; 115; 259
 Поперечный А. 254; 263; 264
 Портнов В. 347
 Поступальский И. 347; 351
 Прокофьев А. 14
 Проскурин П. 14

- Прянишников Н. 347
 Пустовойт П. 67
 Пушкин А. 46; 80; 85; 88; 137; 139-141; 145; 236; 237; 262; 264; 276; 277; 324; 327; 378; 399; 416
 Радолига И. 336; 347
 Радищев А. 338
 Радов Г. 152
 Разин С. 247
 Разумный В. 298
 Райзман Ю. 7
 Райт-Ковалёва Р. 347
 Ракоши-Герё М. 109
 Распутин В. 133; 134; 190; 285; 411; 417
 Рассадин С. 37; 61; 62; 83; 286; 294; 297; 298; 300; 301; 308; 309; 311; 313; 329; 347; 350; 351; 398; 402
 Рассел Б. 63; 402
 Рафаэль 415
 Рачук И. 347
 Ребрин П. 15; 118; 129; 132; 154; 285; 417
 Ревич В. 347
 Рекемчук А. 403
 Ремарк Э.-М. 5
 Рембрандт 274
 Реформатская Н. 347
 Ржевская Е. vi; 10; 97; 219; 285; 288; 297; 319; 347; 375
 Рифлин Б. 347
 Робеспьер 79; 114
 Роднянская И. 7; 163-165; 335; 347; 419
 Розанов В. 3; 108; 223; 234-236; 279; 347; 413; 414; 416
 Розов В. 179; 204; 331
 Ромапов П. 423
 Роскина Н. 347
 Рошаль Л. 347
 Ропин М. 294; 297; 347; 351
 Рубишчик М. 347
 Рудаков И. 393
 Рудницкий К. 331; 347
 Румянцева А. 9; 388
 Руши Б. 257-261; 280; 331; 347; 415
 Рыбаков А. 375
 Рыленков Н. 306; 307
 Рыльский М. 347
 Рыриков Б. 290; 327
 Рыриков Ю. 298; 332; 347
 Рязанов Э. 420
 Савин В. 409
 Савицкая Р. 333
 Савченко В. 120
 Салтыкова В. 171; 373
 Салтыков-Щедрин М. 1; 85; 87; 90-93; 204; 297; 422
 Сальский А. 390
 Самарин Р. 338
 Самойлов Д. 8; 254; 255; 360
 Санин М. 413
 Сариев Б. 328; 347; 393
 Саргс Ж.-П. 108; 387
 Сахин А. 92; 406
 Сац И. 7; 11; 15; 16; 27; 29; 35; 100; 317; 318; 328; 333; 341; 344; 347; 387
 Саянов В. 39; 45; 49
 Саят-Ноиа 330
 Свердлов Я. 78; 79
 Светлов М. 329; 347
 Светов Ф. 16; 17; 35; 36; 92; 93; 96; 99; 100; 110; 116; 286; 293; 297; 298; 300; 310; 320; 329; 330; 332; 333; 335; 347; 350; 351; 390; 406; 407; 409; 419
 Свицкий Г. 393
 Свободин А. 76
 Семёнов Г. 299
 Семёнов Ю. 419
 Семёнова Г. 292; 423
 Семин В. 50; 69; 73; 74
 Семичастный В. 385
 Сепковский О. (Барон Брамбеус) 84; 85; 90; 93
 Сент-Эжлонери А. 337
 Серафимович А. 329
 Сергеев В. 347
 Сергванцев Н. 53-55; 58-60; 401; 404; 412
 Серебров Н. 336
 Серман И. 347
 Сидельников В. 138
 Сидоров А. 347
 Сильонас В. 347
 Симмонс Э. 289
 Симонов К. 160; 186-189; 203; 285; 301; 330; 358; 363; 372; 373; 375; 377; 382-385; 387; 389; 423
 Синяевский А. (см. также А. Терц) vi; 7; 9; 16; 18; 19; 33; 228-257; 259-287; 294; 295; 297-299;

- 306-312; 328; 331; 333; 341;
346; 347; 350; 405; 413-416;
419
- Скорино Л. 347
Скуратов М. 253
Слудский Б. 377
Смеляков С. 288
Смеляков Я. 253; 419
Смирнов Л. 426
Смирнов Н. 340; 359
Смирнов С. 14; 259; 293; 297; 335
Смирнов С.С. 296; 330; 333
Смирнова В. 328; 347
Смирнов-Черкезов А. 333; 347
Смоктунувский И. 302; 303
Сморodinский Я. 333; 347
Снеткова Н. 347
Собалев Л. 5
Соколов А. 413
Соколов В. 296; 330; 333; 347
Соколов М. 8
Соколова Н. 347
Соколов-Микигов И. 15; 328; 347
Сокольский М. 347
Солженицын А. 7-12; 16; 17; 21; 23;
27; 34-38; 50-64; 69-73; 80; 83;
95; 97-111; 124; 156; 206; 276;
279; 280; 285; 286; 291; 292;
320; 367; 374; 375; 386; 388;
390-393; 395-398; 401-409;
411; 414; 419; 422-424
Соловьёв Б. 257-260
Соловьёв В. 223; 226; 284; 347
Соловьёв Э. 13; 212; 213; 216; 302;
303; 304; 305; 306; 311; 323;
337; 347; 419
Соловьёва И. 280; 286; 300; 301; 308;
309; 311; 329; 331; 333; 337;
341; 347; 350; 352; 418
Соложенкина М. 347
Солоухин В. 285; 329; 347; 417
Сосюра В. 12
Сотник Ю. 347
Софронов А. 32; 152; 238; 239; 265;
266; 267; 268; 269; 270; 271;
275; 278; 285; 298; 385; 399
Шенслер Д. 17; 385; 396
Стадиок И. 32; 271
Сталин В. 4; 5; 9; 23; 31; 42; 54; 91;
108; 109; 138; 149; 155; 187-
189; 194; 249; 276; 287; 323;
367; 385-387
Стальский Н. 347
- Стариков Д. 259
Старикова Е. 286; 300; 301; 302; 309;
329; 330; 347; 350; 351
Старцев А. 338; 348
Стеклов Ю. 79
Степаков В. 388
Страда В. 63; 402
Страхов Н. 2; 223; 416
Стреляный А. 15
Строков П. 402; 403
Строковский П. 28; 118; 145-150; 271;
285; 294
Струве Г. 289
Струве П. 225
Стуруа Д. 388
Сурвилло В. 6; 293; 329-332; 334; 335;
337; 348; 350; 351; 418; 419
Сурганов В. 70
Сурков А. 298; 348; 383-385; 389; 390
Суслов М. 385; 388; 389
Сучков Б. 288
Сэлсбери Х. 385
Талер Р. 338
Тарковский А. 7; 348
Тарле Е. 327; 348
Твардовская В. 348
Твардовская М. 232; 233
Твардовский А. vi; 3-5; 7-18; 20-22; 26;
27; 30-32; 34; 35; 37; 44; 48; 49;
51; 52; 56; 64; 87-89; 91; 92; 95-
106; 108-116; 120; 150; 153;
154-158; 163; 168; 228-233;
238; 256; 259-261; 265; 278-
281; 283; 285; 287; 289; 297;
308; 311-313; 317-320; 322;
325; 326; 328; 329; 341; 348;
350; 355; 357-365; 367-379;
382-398; 401; 403; 405-410;
412-414; 416; 417; 421-427
Тевекелян В. 420
Теккерей У. 85
Тельгугов В. 32
Тендряков В. 5; 7; 160; 179; 204; 223;
284; 309; 329; 377; 418
Тенциг Н. 300
Теплицкий М. 84-86; 91; 287
Терновская Н. 138
Терц А. 9; 21; 27; 228-230; 232-238;
250; 266; 268; 275; 276; 279;
286; 312; 397; 414-416
Тимофеев Л. 348
Тихонов Н. 264; 389; 390
Товстоногов Г. 378

- Толстой Л. 4; 7; 13; 34; 35; 48; 65; 107; 161; 210; 216; 224; 304; 305; 326; 327; 412
- Толстой Ф. 91
- Травкина Е. 419
- Травкина И. 13; 290; 320; 327; 332; 335; 340; 348; 374
- Трапезников С. 387; 388
- Трефилова Г. 330; 348
- Трифонов Н. 328; 348
- Трифонов Ю. 11; 12; 14; 15; 17; 91; 150; 153; 377; 389; 394-396; 406; 410
- Трифорова Т. 6; 348
- Тропольский Г. 5
- Тураев С. 333; 348; 387
- Тургенев И. 4; 399
- Турков А. 290; 321; 326; 329; 348; 350-352; 417
- Туровская М. 7; 9; 281; 302; 303; 311; 323; 331; 336; 337; 348; 350; 351; 419
- Турсун-Заде М. 11; 389; 391
- Тушова В. 348
- Тьчица П. 330
- Тэсс Т. 399
- Тютчев Ф. 360
- Унгаретти Д. 387
- Урнов Д. 348
- Успенский Г. 136; 191; 327; 336
- Файнбург Э. 348
- Федин К. 7; 11; 12; 14; 39; 45; 49; 318; 328; 375; 382; 392; 408
- Фёдоров В. 294; 403
- Федотов Г. 225
- Фейгина Л. 348
- Фейербах Л. 24
- Фельтринелли, издатель 383; 384
- Филёв А. 291
- Фирсов В. 32
- Фишер Э. 63
- Фоменко Л. 13; 401
- Франк С. 223; 225; 226
- Фрейдберг О. 383
- Фрид Я. 348
- Фридлянд В. 347
- Фролов В. 348
- Хаксли О. 337
- Халтурин С. 249
- Харитонов В. 348
- Хейердал Т. 300
- Хелемский Я. 348
- Хемингуэй Э. 13; 304-306; 322; 323; 337
- Хикмет Н. 337
- Хитров М. 11; 15; 318; 348; 378; 389; 408
- Хлебников В. 308
- Хмельницкая Т. 348
- Хорос В. 120
- Храбровицкий А. 348
- Хрущёв Н. 4; 5; 7-10; 21; 28; 51; 52; 54; 59; 91; 158; 177; 186; 188; 205; 206; 272; 321; 333; 334; 383; 385-387; 396; 402; 426
- Хэуорд М. 289
- Цвейг С. 338
- Цветаяева М. 157; 229; 230; 235; 240; 245; 276; 285; 308; 326; 328; 360; 417
- Цейтлин А. 3430; 348
- Цурикова Г. 348
- Цыбин В. 254; 263; 264
- Чаадаев П. 85; 303
- Чайковская О. 329; 330; 348; 418
- Чаковский А. 149; 150; 369; 389; 390
- Чапчахов Ф. 401
- Черкасов А. 291
- Чёрная Л. 336; 425
- Черниченко Ю. 13; 15; 114; 284
- Чёрный О. 115
- Чернышевский Н. 2; 45; 107; 159; 161; 167; 204; 249; 290; 326; 327; 335; 400
- Чернявский В. 360
- Чехов А. 34; 35; 48; 309; 326; 327; 330; 336; 419
- Чивилихин В. 13; 14; 32; 293; 297; 335; 418
- Чкаников И. 138
- Чубаков В. 171
- Чудаков А. 8; 286; 309-311; 330; 332; 334; 348; 419
- Чудакова М. 8; 286; 308-311; 330; 332; 334; 348; 419
- Чуковская Л. 383; 390; 393
- Чуковский К. 52; 286; 301; 309; 326; 329; 331; 348
- Чуковский Н. 328; 348
- Чупринин С. 18; 23; 24; 85; 93; 280; 396; 406; 407; 412; 417
- Шагинян М. 5
- Шаламов В. 285; 307; 308; 414
- Шапиро 387
- Шаров А. 333; 348; 391

Шатров М. 76
Шатров С. 420
Шаховской Б. 253
Шах-Азизова Т. 348
Швейцер В. 348
Швец И. 297
Швецова Л. 293; 332; 334; 335; 348
Шенелёв В. 345
Шевцов И. 7; 9; 238; 239; 265; 266;
272-275; 277; 285; 294
Шекспир В. 324; 337
Шестаков В. 337; 348
Шестаков Д. 348
Шиякуба Б. 11
Шитова В. 347; 348
Шифман А. 348
Шкериш М. 287; 291; 334
Шкловский В. 224; 226; 412; 413
Шкловский Е. 295; 333; 348
Шкунаева И. 336; 348
Шляпентох В. 355; 356
Шмелёв И. 8
Шнайдер Б. 348
Шолохов М. 12; 326; 328; 329; 336
Шошин М. 288
Штейн А. 32; 295; 331; 333; 348; 399
Штейн Н. 348
Штемлер И. 420
Шгут С. 328; 348; 398; 399
Шукст Г. 373
Шукшин В. 8
Шумилов Б. 5
Шуцдик Н. 6; 14; 293; 332-335
Щеглов М. 5; 6; 34; 35; 113; 115-118;
290; 397-399
Щербиша В. 348
Щукин Б. 275
Эйдуви Л. 348
Эльяшевич А. 9; 118; 148-150; 271;
285; 298
Энгельгардт А. 329; 417
Энгельс Ф. 74; 135; 154; 171; 174; 177
Эренбург И. 7; 8; 51; 360; 375; 386
Эткинд Е. vi; 348; 367; 368; 415; 421-
423
Юзовский Ю. 328; 348
Якименко Л. 13
Яковлев К. 137
Яновская Л. 349
Ярацёв Б. 349
Ярославцев И. 349
Ясянский И. 88
Ясный В. 349

Яшин А. 7; 30; 284; 285; 369